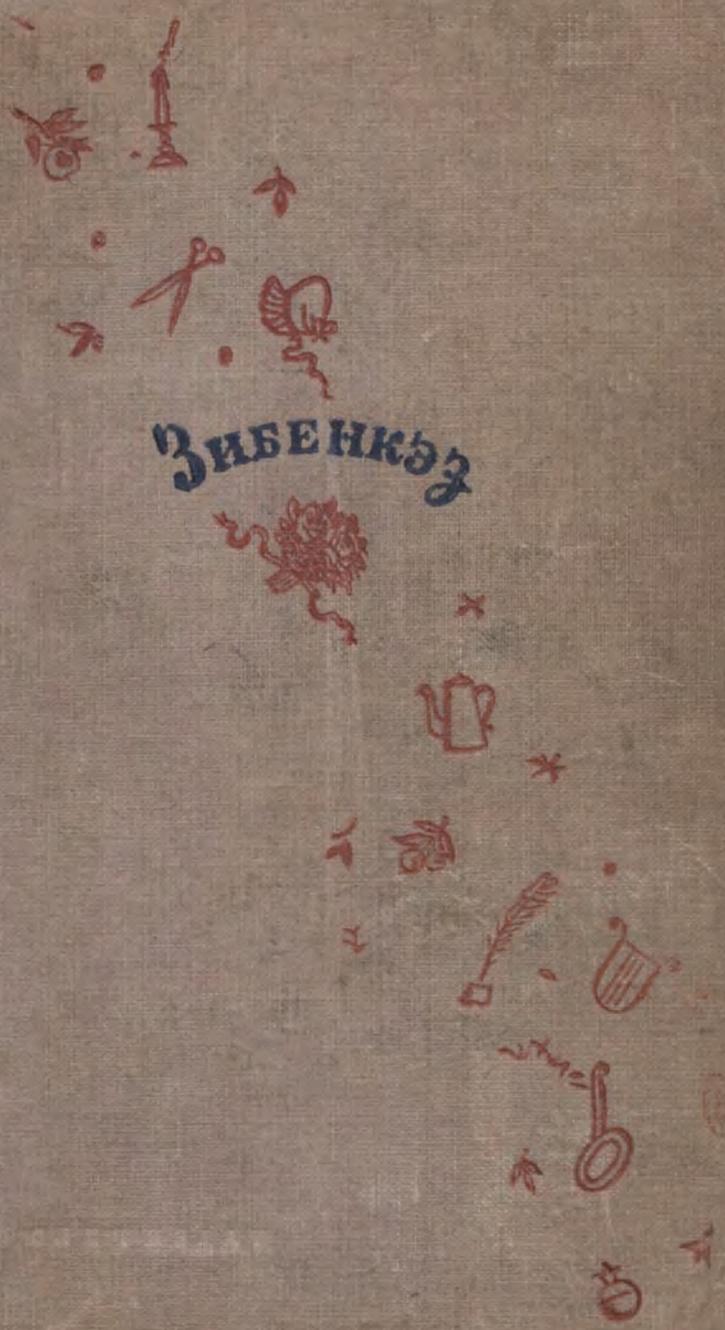


ЖАН-ПОЛЬ РИХТЕР

ЗИБЕНКЪЗ





ЖАН-ПОЛЬ ФР. РИХТЕР

З И Б Е Н К Э З



---

Перевод А. Л. Кардашинского  
Редакция, вступительная  
статья и комментарии  
В. Г. Адмони

---



Государственное издательство  
• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА •  
Ленинград • 1937





РОМАНЫ  
ЖАН-ПОЛЯ



ВСТУПИТЕЛЬНАЯ  
*статья*  
В. Г. Адмони





Уже около 40 лет на русском языке не появлялось произведений Жан-Поля. Перевод «Зибенкэза» в 1899 г. был явлением единичным и случайным. Лишь если мы углубимся еще дальше в XIX век, то найдем сравнительно недолгую эпоху, когда его переводят, читают и критикуют (в том числе им занимаются такие критики, как Белинский и Шевырев) и когда его художественная теория оказывается актуальной и в известной мере влиятельной. Эта эпоха — 30-е и 40-е годы.

Русская радикально-демократическая мысль принимала Жан-Поля не безусловно.

Так, Белинский предостерегал против чрезмерного увлечения им.<sup>1</sup> Однако полное изгнание Жан-Поля вовсе не входило в его задачи. Дело шло скорее об отборе нужного и ценного в творчестве Жан-Поля в противовес некритическому восхвалению наиболее реакционных и расплывчатых сторон его творчества.

Дело шло о борьбе против позднего русского дворянского романтизма и сентиментализма, использовавших, между прочим, и Жан-Поля в качестве одного из «своих авторов».

В 1844 г. Белинский писал: «Великие писатели пишут ясно и определенно потому, что вполне владеют своими

---

<sup>1</sup> Кроме ряда отдельных замечаний в различных статьях, Белинский посвятил Жан-Полю специальную рецензию (рецензия на «Антологию из Жан-Поля», 1844). См. соч. Белинского, т. IX.

идеями. . . Чем общее, следовательно, огромное содержание творений великого писателя, тем доступнее они для всех наций, тем более они суть достояние не одного какого-нибудь народа, но целого человечества. Как ни вытягивайте под эту меру доброго Жан-Поля, он скорее перервется пополам, чем подойдет под нее».

По определению Белинского, основная «душевная способность» Жан-Поля — фантазия. С замечательной проникательностью вскрывает Белинский некоторые основные стороны жан-полевского творчества, которые в произведениях, знакомых Белинскому, были лишь намечены. «Для такого человека, — пишет Белинский, — все равно, где бы ни жить, и он может быть доволен всяким обществом, лишь бы оно не мешало ему жить внутри самого себя, а так как немецкое общество (особенно в то время) всего менее способно вызвать человека из внутреннего мира души его и всего способнее, так сказать, вгонять его туда, — то аскетический, в дико-странных формах развившийся дух сочинений Жан-Поля становится совершенно понятен».

Белинский ставил в вину Жан-Полю чрезмерную уступчивость филистерскому, «гофратскому» немецкому своеобразию начала XIX века, упрекая его за сентиментальность характеров и изложения, за добродушие юмора, за «романтизм» в душе. Он видел в нем, собственно, лишь сентименталиста и дидактика, отличающегося неслыханным стилем. Но даже при этой очень неполной и несколько односторонней характеристике<sup>1</sup> Белинский подчеркивает и положительную, прогрессивную сторону творчества Жан-Поля. «Жан-Поль навсегда утвердил за собой почетное место в немецкой литературе» — пишет Белинский. В произведениях Жан-Поля он усматривает значительную воспитательную ценность. Он находит в них иногда «образы часто странные и дикие, но тем не менее грандиозные», говоря, что «изложение несколько натянuto, но тем не менее исполнено блеска могучей фантазии».

---

<sup>1</sup> Неполнота и односторонность были здесь неизбежны, потому что Жан-Поль был известен Белинскому лишь из немногочисленных переводов, а также по отзывам критики, преимущественно французской.

«Сентиментальный и добродушный» Жан-Поль обладал также рядом иных свойств. Сентиментальности противостояли здравый смысл и рационализм, добродушию — сатира и пафос. Противоречивость Жан-Поля — вот первое, что бросается в глаза при анализе его творческого пути, и эту же противоречивость в той или иной мере и в различных формах найдем мы внутри его каждого значительного произведения. Жан-Поль — писатель сложный. Осмыслить его в рамках одного произведения невозможно. Поэтому нам кажется необходимым дать представление обо всем творческом пути Жан-Поля и об его месте в общем процессе развития литературы на Западе, — тем более, что нашему читателю Жан-Поль совершенно неизвестен.

Жан-Поль (его настоящее имя Иоганн Пауль Фридрих Рихтер, а сокращение Жан-Поль было выбрано им в виду некоторого созвучия этого имени с именем любимого им Жан-Жака Руссо и, с другой стороны, в виду его оригинальности и комичности) родился в 1763 г. в крохотном городке Вунзиделе, где его отец был органистом в церкви и одним из школьных учителей. Детство и отрочество Жан-Поля проходят в деревушке Иодиц, затем в небольших городах Шварценбахе и Гофе,<sup>1</sup> где Жан-Поль посещал гимназию. Отец его умер, когда Жан-Полю было всего 16 лет, и семья Жан-Поля, которая и до того вела весьма скромный образ жизни, стояла на самом краю нищеты. Лишь с величайшими усилиями матери удается отправить Жан-Поля в знаменитый в XVIII веке Лейпцигский университет, где он должен был изучать теологию. Но молодого студента больше интересуют другие предметы и занятия, прежде всего литература (его собственные первые литературные опыты относятся еще к концу 70-х гг.).

В Лейпциге почти всегда полуголодный юноша неутомимо продолжает свое писательство. В 1783 г. выходит в свет первое произведение Жан-Поля — «Гренландские процессы». Это — книга сатир, открыто антифеодалных,

<sup>1</sup> Город Гоф фигурирует в последних главах «Зибенкэза» под своим собственным именем. Но, кроме того, именно Гоф послужил моделью для зибенкэзовского Кушнаппеля.

проникнутых радикальным и демократическим духом. Ни о какой сентиментальности, ни о каком добродушии здесь не может быть и речи. Жан-Поль резок и безжалостен. Он следует за высокими образцами, — мировые сатирики Эразм, Свифт, Вольтер витают над страницами его книги. Впрочем, ему сопутствует и ряд других теней — англичане Поп и Юнг, немцы Лисков, Гиппель и Рабелер.

Успеха у публики и критики «Гренландские процессы» не имели. Осенью 1784 г. Рихтер бежит из Лейпцига, спасаясь от своих кредиторов, и свыше 10 лет проводит в Гофе и маленьких окрестных городках, влача существование домашнего учителя в состоятельных семействах. Его литературная деятельность не прекращается. Он продолжает писать сатиры, в 1789 г. издана его вторая книга: «Избранные места из бумаг дьявола».<sup>1</sup>

Основа сатирического метода Жан-Поля — рационалистическая, острая, идущая еще от Ренессанса критика феодального мира, его нелепостей и уродств. Впрочем, под категорию устарелых нелепостей подводились и иные явления, выдвинутые развивающимися буржуазными отношениями. Одно из первых произведений Жан-Поля, впоследствии лишь частично вошедшее в «Гренландские процессы», так и называется «Похвала глупости», в подражание Эразму. Но тем не менее от Эразма Жан-Поль чрезвычайно далек. Прежде всего у него отсутствуют столь характерные для Эразма, при всей его гиперболичности, ясность и четкость, последовательность и плановость сатиры. Эразм, несмотря на всю горечь своей усмешки, в конечном счете оптимистичен, так как он верит в разум и, таким образом, обладает неким твердым критерием для оценки мира. В этом отношении ранний Жан-Поль ближе к Свифту и, из немцев, к Лискову.

Эти сатирики XVIII века прежде всего пессимистичны. Мир для них не только неразумно устроен, но как бы и неразумно задуман, — это именно и лежит в основе мудрости и отчаяния Свифта и Лискова. Подобный песс-

---

<sup>1</sup> Ряд моментов из этого, также полунищенского периода своей жизни Жан-Поль изобразил в «Зибенкэзе». Характерно, что Зибенкэз, вообще награжденный рядом автобиографических черт Жан-Поля, выступает в романе автором «Избранных бумаг».

сими́зм порождался сохранением противо́речий и оков феодализма и усилением — особенно в Англии — противо́речий буржуазного уклада. Если «глупый мир» Эразма поддавался четкому членению и точной классификации, то теперь возникает тенденция к смешиванию и переплетению самых различных его сторон. Определяющая роль разума оказывается сильно ограниченной. Свое завершение и раскрытие этот процесс получит у Стерна, у которого неразумность найдет даже свое подлинное, не ироническое оправдание (ибо Стерн восхваляет не столько разумность, сколько чудаковатость).

Весь стиль ранней жан-полевской сатиры, вся система его метафор и образов направлены на разрушение «разумной классификации» мира. Действительность, изображаемая Жан-Полем, бессистемна и хаотична. Одна мысль перебивает другую, сопоставляются самые неожиданные и противоречивые вещи, и тем самым подчеркивается нелепость мира.

Во внешнем строении своей сатиры Жан-Поль пытается остаться на позициях Эразма. Так, ряд глав «Гренландских процессов» в известной мере подражает эразмовскому жанру. Например, одна посвящена геологам, другая женщинам и щеголям, словом, они «систематизируют» мир.

Однако жан-полевская классификация мира отлична от эразмовской в самом существенном. Всеобщность охвата эразмовской сатиры у него отсутствует. Эразм давал очерк всего общества, Жан-Поль дает лишь отдельные, частные стороны его. В этом отношении Жан-Поль следует за традициями немецкой бюргерской сатиры, в первую очередь за Рабеном, в творчестве которого сказалась вся слабость, вся мещанская ограниченность немецкого буржуазного развития. Рабнер и бесчисленные немецкие бытописательные журналы XVIII века, так называемые «моральные еженедельники», резко ограничивали свою тематику явлениями мещанской повседневной жизни, типами ученых-педантов, модничающих женщин, захолустных сельских дворян и т. п. Ряд социальных тем с самого начала исключался Рабеном из сферы ведения бюргерской сатиры: прежде всего религия, затем «великие мира сего». Правда, ранний Жан-Поль нередко

выходит за рамки рабеновской сатиры, но основное различие между ними все же не тематическое. Политический пыл Жан-Поля не идет ни в какое сравнение с осторожностью Рабенера. Антидворянские устремления свойственны им обоим, но насколько злее и убийственнее характеристика дворянства у Жан-Поля!

Ранняя сатира у Жан-Поля имеет дело только с образами схематическими, отвергая всякую подлинную индивидуализацию. Его персонажи мертвы, не обладают никакой внутренней динамичностью, — построение каждой сатиры определяется парадоксальным движением жан-полевской мысли, гротескной игрой метафор и сравнений. Фигуры жан-полевских сатир этого периода — абсолютные манекены. Они не являются разработанными, детализированными представителями той или иной социальной группы, а абстрактным и условным значком, представляющим эту группу, и Жан-Поль считает себя в праве обращаться с этим значком как угодно, привешивая к нему множество совершенно случайных и противоречивых ситуаций, свойств и т. д.

«До сих пор, — пишет Жан-Поль в 1791 г., — я рассматриваю каждый сатирический персонаж как манекен (Pfänderstatue), который обтыкают и увешивают всевозможнейшими вещами». Такое случайное сочетание самых различных свойств и определений в одном персонаже не являлось, конечно, реалистической индивидуализацией типа. Объективный смысл его заключался в усилении парадоксальности, которая служила Жан-Полю основным средством разоблачения действительности. Сам Жан-Поль в этот период называет свою философскую позицию скепсисом.

### 3

В начале 90-х гг. в творчестве Жан-Поля происходит перелом. Нет сомнения, что колоссальное значение имеет здесь величайшее событие конца XVIII века — буржуазная революция во Франции. Общественная жизнь становится содержательней и значительнее. Ее положительный и отрицательный аспекты становятся определеннее и

привлекают внимание Жан-Поля с еще большей силой. В 1791 г., с прямым намеком на французскую революцию, Жан-Поль пишет, что XVIII столетие становится все плодотворнее и новее к своему концу. Жан-Поль обращает серьезнейшее внимание на проблемы истории и права. Он говорит, что если прежде занятия правом казались ему пыткой, то теперь он занимается им с наслаждением. 90-е годы — эпоха, когда закрепляются все основные стороны жан-полевского мировоззрения. Именно теперь Жан-Поль подходит к центральному жанру своего творчества, к роману.

Основная направленность его мировоззрения не меняется. Демократические, антифеодальные идеалы сохраняются у него, сперва даже усиливаясь. Жан-Поль — за революцию. Он — немецкий якобинец. Его герои будут мечтать о том, чтобы сражаться под знаменами французской революции, хотя их «моральная высота» будет плохо уживаться с грубыми повадками борющейся массы и освободительная борьба героя будет постоянно компрометироваться «низкими материальными интересами» народа. Но все же Жан-Поль в какой-то мере воплощает протестующие устремления демократических плебейских масс Германии. Его борьба направлена против богатых (о чем подробно ниже), против всех социальных верхов. Впоследствии Жан-Поль будет отмежевываться от радикальных сторон революционной практики, но — в отличие от подавляющего большинства немецких идеологов — никогда не предаст ее полностью.

Именно теперь наибольшую отчетливость получают и философские взгляды Жан-Поля. Совершенно четко формулируется очень поучительный в своей откровенной наивности дуалистический подход Жан-Поля к миру. Жан-Поль одновременно требует признания подлинной реальности, материальности мира и настаивает на наличии мира идеального.

Исходный пункт Жан-Поля удивительно конкретен. Это — стремление немецкого бюргерского мировоззрения своей приподнятостью оправдать и компенсировать неприглядное бюргерское бытие. Такое стремление еще не означало полного переключения повседневности и реальных интересов в область религиозно-мистических упова-

ний. С мистикой и спиритуализмом у Жан-Поля сочетаются обращенность к реальной жизни, наблюдательность и бытописание. Сам по себе Жан-Поль вовсе не «верующий»; бог — это лишь необходимая гипотеза, чтобы свести концы с концами в жизни и идеологии. Специфическая жан-полевская религиозность является лишь одной из форм выхода за пределы мира (конкретного мира социального и экономического угнетения), выхода, совершенно необходимого жан-полевскому человеку.

Жан-Поль пишет: «Этот внутренний универзум (т. е. внутренний мир человека), который еще более великолепен и изумителен, чем универзум внешний, нуждается в ином небе, чем то, что над нами, и в ином мире, чем тот, который согревается солнцем». «Для чего к грязной глыбе земли было бы прилеплено существо с ничемными святащимися крыльями, если бы ему суждено было ступить на глыбе, где оно родилось, не взлетев на своих эфирных крыльях ввысь?»

Бессмертие необходимо Жан-Полю. Иначе реальный мир, который он сам характеризует как сумасшедший дом, худший из возможных кабаков и т. д., окажется совершенно невыносимым и бессмысленным, и несправедливость его станет нестерпимой. Он должен быть компенсирован где-то в потусторонности — в фантастичном мире бессмертия, в сфере религиозных упований и абстракций.

Перенос реальных отношений в сферу высочайшей абстракции составляет, как известно, вообще одну из характернейших и важнейших сторон идеологии в Германии на рубеже XIX века. Последовательность и систематичность этого «абстрагирования» составляют, между прочим, силу великих немецких мыслителей того времени, — они работали над созданием идеального мира, который оказался настолько верным отражением мира реального, что мог послужить одним из ключей к его пониманию.

Такой последовательности и систематичности у Жан-Поля, конечно, нет. Идеальное должно у него непосредственно дополнять реальное, бессмертие души должно быть непосредственно связано с правилами поведения

полунищего бюргера и со всем захоластным бытием. Он ни за что не хочет оторваться от своей неприглядной конкретности и в то же время ни за что не хочет остаться только при этой конкретности (из великих философских систем XVII—XVIII веков Жан-Поль особенно близок к последовательно-дуалистической системе Лейбница). В этом и сила Жан-Поля, выражающаяся в близости к реальным вещам (произведения Жан-Поля в значительной своей части действительно описывают Германию конца XVIII века, а не какую-то условную страну), но в этом и слабость Жан-Поля, выражающаяся в некоторой общей суженности горизонта, в усилении пиетистической, слезливой мещанской традиции.

Компенсация убогого бюргерского бытия религиозно-мистическими упованиями имеет солидную традицию в Германии. Возникший в конце XVII века пиетизм проповедывал непосредственное общение души с богом, культивирование экстатических чувств. В «чувствительности», получившей широкое распространение к середине XVIII века, непосредственно религиозный момент ослаблен, но задачей оставалось именно выведение человека за пределы реальных житейских отношений. Основу пиетизма и сентиментальности в Германии вскрывает Энгельс, говоря о возникающей из экономического нищенского положения Германии с 1648 по 1830 г. смертельной расслабленности и импотентности немецкого мещанства, которое прежде всего выразилось в пиетизме, затем в сентиментальности и рабском подчинении князьям и дворянству.<sup>1</sup>

В противовес буржуазному просвещению в Германии и немецкому классицизму, особенно в противовес Канту и Шиллеру, утверждавшим наличие особого чувственно непознаваемого идеального мира, представителями «чувствительности» утверждалось наличие связей между реальным и идеальным мирами, наличие переходов между ними и возможность чувственного познания идеального мира.

В 70-х гг. XVIII века это — точка зрения «бури и натиска», в 90-х гг. эта точка зрения представлена Гердером

<sup>1</sup> Ср. К. Маркс и Ф. Энгельс, Письма, Соцэкгиз, 1932, стр. 407.

и Якоби. Человеческое переживание, эмоционально-чувственная сторона человеческой личности, служит переходом от эмпирически-данного к идеально-божественному. Здесь немало мистики, но есть и элементы материализма, — эмпирическая действительность не лишается всякого интереса для философа, само «идеальное» показано как момент деятельности субъективного сознания и чувства.

У Гердера и у Жан-Поля этот протест против «трансцендентности» приобретает ярко выраженный демократический характер. Так, Шиллера и Гете Жан-Поль обвиняет в аристократизме, в высокомерном формалистическом отношении к действительности, к реальным человеческим интересам.

Отделение иллюзорных представлений о мире от реальных интересов было основным путем немецкой буржуазной мысли в эпоху французской революции.<sup>1</sup> Немцы, пишет Маркс об этой эпохе, движутся в области «чистого духа».

Но если немецкая мысль переселялась в иллюзорный мир чистейшей абстракции и с презрением глядела вниз, на грешную землю, то немецкое чувство останавливалось на полпути. Истинный социализм, — говорит Маркс в «Немецкой идеологии», — обращается в своей экзотерической [предназначенной для непосвященных, для профанов] литературе «уже не к немецкому «мыслящему духу», а к немецкой душе (Gemüt)».<sup>2</sup> Это различие духа и души, душевности кажется нам в известной мере приложимым и к эпохе Жан-Поля. Сам Жан-Поль, признавая всю философско-моральную значительность Канта, поддерживает все же борьбу Гердера и Якоби против кантианской трактовки мира, борьбу «чувства» против «мыслящего духа». Чувство является для него тем, что связывает конечное с бесконечным, «чистое мышление» лишается своей автономности, разум становится одним из моментов человеческого существа.

Особенно в области искусства, в пределах художественной литературы становится очевидным это расхо-

<sup>1</sup> Ср. К. Маркс и Ф. Энгельс, *Немецкая идеология*, Партиздат, 1933, стр. 175 сл.

<sup>2</sup> Там же, стр. 446.

ждение между «духом» и «душевностью», и выясняется большая роль последней, — массовый бюргерский читатель очень плохо принимает литературу «духа», предпочитая «душевность» в ее различных проявлениях, от Иффланда до Жан-Поля.

4

Чувство было путем к реальному миру. Жан-Поль приближается теперь к конкретным формам жизни, к действительным вещам. От общих сатир он переходит к идиллическим и сатирическим новеллам, наконец к романам, продолжая, правда, и свою непосредственно-сатирическую линию. В 1791 г. создается идиллия «Жизнь довольного школьного учителя Марии Вуда из Ауэнталя». через год сатирическая новелла «Путешествие Фельбея с его учениками». В 1795 г. закончена крупнейшая идиллия Жан-Поля «Жизнь Квинтуса Фикслеяна». В эти же годы создаются его первые романы: в 1793 г. выходит «Невидимая ложа», в 1795 — «Геспер», через год — «Зибенкэз».

В его произведениях появляются интерьеры, пейзажи, описания персонажей. Только здесь, собственно, у Жан-Поля вообще возникают подлинные персонажи, конкретные образы. Теперь это уже не схемы, а более или менее последовательно проведенные характеры. Жан-Поль старается освободить их от случайных добавлений, служащих лишь целям авторского остроумия, которым он прежде злоупотреблял. Но при этом, как пишет сам Жан-Поль, его персонажи оказывались сперва «тем более голыми», их схематичность выступала явственно наружу. И именно чувствительность, множество разработанных, даже преувеличенных переживаний, неразрывно связанных с мыслью, с богатством рефлексии, явились тем живым содержанием, которое наполнило теперь жан-повелевские образы.

О полной победе над схематизмом говорить не приходится. Чувствительность сама имела тяготение к односторонности, к пассивной слезливости, лишенной действительности и силы. Схематический сентиментальный герой на-

личен у Жан-Поля почти в каждом произведении 90-х гг. Особенно резко этот схематизм выступает в идеальных женских образах и в ряде идеальных мужских фигур (Эммануил из «Геспера», «гений» и частично Виктор из «Невидимой ложи» и др.). С другой стороны, ряд чисто сатирических, разоблачающих фигур (Фельбель и др.) приобретают конкретность и типичность, включаясь в реалистическое повествование и очищаясь от случайных примесей.

Действительной жизненности, настоящей реалистичности достигал Жан-Поль, лишь преодолевая обе свои одно-сторонности — и абстрактно-сатирическую и сентиментальную. В этом смысле очень показателен «Зибенкэз», принадлежащий к числу значительных удач Жан-Поля. Оба противоречивых отношения к действительности — сатирическое, т. е. уничтожающее, и идиллическое, т. е. идеализирующее, — должны были сочетаться, чтобы дать глубокие определения той картине современной Германии, которая создавалась у Жан-Поля. Идиллический образ наслаждающегося, благодаря силе своего воображения, своим убогим бытом Марии Вуды (1791), исполненный сентиментальности, пользующийся глубоким сочувствием и даже некоторой завистью автора, но в то же время взятый иронически, — вот первое крупное достижение жан-полевого реализма.<sup>1</sup>

## 5

Переход Жан-Поля к роману был процессом трудным и сложным. Еще в 1788 г. Жан-Поль пишет в письме к своему другу Герману: «Пусть меня чорт поберет, если

---

<sup>1</sup> Для Жан-Поля идиллия — показ полного счастья в условиях ограниченности, т. е. в бедности, ничтожестве и т. д. Мещанский быт, домашность, семейственность изображаются источником величайшего блаженства. Момент иронии, несовпадения автора и его героев, идиллически наслаждающихся бытом, несомненен. Именно здесь на авансцену выступает жан-полевыи юмор, который смеется над своим объектом, испытывая к нему глубокое сочувствие, ощущая свою связанность с ним. И тем не менее именно идиллическая струя составляет важнейшую сторону того привкуса филистерства и мещанства, который все же присущ Жан-Полю в его менее удачных произведениях.

я не всажу когда-нибудь твой характер в роман», но только в 1793 г. был напечатан его первый роман «Невидимая ложа». Работа прерывалась. Непосредственный переход от сатиры (даже обладающей элементами сюжетной организации и обрамленной, как «Избранные места из бумаг дьявола») к роману не удавался. Необходимы были обходные маневры, привлечение нового материала, создание новых точек зрения. Спасительной явилась здесь как раз идиллия о Вуде, написанная в то время, когда работа Жан-Поля над романом прервалась.

«Автор «Невидимой ложи», — пишет сам о себе Жан-Поль в предисловии ко второму изданию, — после сатир, написанных в 19-летнем возрасте, еще 9 лет оставался и работал в своей укусной фабрике сатир, пока он, наконец, в декабре 1790 г. не совершил блаженного перехода в невидимую ложу через посредство еще несколько кисло-сладкой жизни школьного учителя Вуда».

И сам же Жан-Поль делает здесь примечание: «Вуд стоит в конце второго тома «Ложи», но был написан прежде, и школьный учитель предшествовал в качестве мастера ложи и старшего мастера и барана-вожака моим романтическим героям Густаву, Виктору, Альбано и т. д.».

Непосредственно после окончания романа, в 1792 г., Жан-Поль сообщал: «Наконец-то по истечении года закончились конвульсивные роды моего романа». А между тем легкость, с которой Жан-Поль обычно писал, поразительна.

Трудности перехода к роману у Жан-Поля неразрывно связаны, таким образом, со всей сложностью перехода в мир сентиментальности и идиллии, т. е. к показу различных измерений и планов жизни, а не только одного, отрицательного.

Но, в конечном счете, за этими специфическими трудностями, с которыми сталкивается Жан-Поль, кроются несравненно более глубокие и общие противоречия, свойственные всему основному потоку буржуазного романа XVIII века.

В XVIII веке роман овладевает реальным миром. Несмотря на наличие очень сильной струи «всеобщего», философско-сатирического романа (Вольтер, Свифт, Ди-

дро), общественное бытие в XVIII веке входит в кругозор романа в самых разнообразных своих проявлениях. Однако это положение нуждается в существенных дополнениях.

Овладение реальной действительностью совершалось в XVIII веке не только в романе. От Мариво и Лило до Коцебу и Иффланда буржуазная драма всемерно разрабатывала ту же «реальную действительность», что и роман, нередко являясь даже передовой, ведущей. Особенно в Германии наличие Лессинга, Ленца (и других «натуралистических» драматургов «бури и натиска»), молодого Шиллера заставляет очень серьезно поставить вопрос, в каком жанре и как конкретный современный мир входит в литературу и в чем заключается специфическое участие романа в этом процессе.

Характерно, что завоевание реальной действительности совершается наиболее последовательно и интенсивно в жанрах, вообще стоящих на самом краю художественной литературы, в жанрах полупублицистических. Именно специфическая дидактико-сатирическая журналистика XVIII века, в первую очередь моральные еженедельники, вышедшие из классической буржуазной страны, Англии, и покорившие Западную Европу, ввели в литературу эту конкретную повседневную действительность. В связи с ними колоссального развития достигла сатира, укрепившаяся как совершенно особый жанр новеллистическо-публицистического характера. Немецким примером здесь является Рабнер, доведший сатирический очерк до одного из популярнейших жанров в бюргерской Германии. Личный путь Жан-Поля, шедшего к роману и новелле от сатирического очерка, отражает, таким образом, одну из общих тенденций создания эпоса буржуазного общества.

В этих сатирико-дидактических жанрах происходит грандиозное накопление жизненного материала, здесь открываются новые стороны действительности, новые социальные типы. Здесь дается широкий обзор мира, никак не сводящийся к общим и абстрактным определениям.

Мир моральных еженедельников мы условно назовем миром бытоописательной литературы. Ранняя жан-полевская сатира примыкает к этой литературе очень близко.

Реалистический роман XVIII века должен был возникнуть на схожем «бытоописательном» материале. Задача заключалась в том, чтобы научиться создавать из этого материала цельные, законченные произведения. В этом была заинтересована идеология третьего сословия, стремившегося осознать и силой своей мысли упорядочить мир.

Ведущее противоречие романа XVIII века состояло в трудности найти в повседневной частной жизни конфликты достаточной силы и емкости, способные выразить существенные закономерности и противоречия современного общества.

XVIII век — век всяческого углубления и укрепления буржуазного жизненного уклада. Особенно в Англии заметно его победоносное внедрение в жизненный уклад других слоев, даже дворянства. Победа эта выражается, между прочим, и в расцвете буржуазного морализма и в приобретении им общезначимости. Нормы буржуазного бытия и повседневные интересы становились ведущими, — естественно, что они должны были найти свое выражение в литературе и уже не в «мелких жанрах», а в жанре генеральном. Роман начал заниматься частной жизнью. Но это означало, что в центр романа должна была быть поставлена именно новая «нормальная форма» буржуазного существования и что ее внутренние конфликты и закономерности должны были стать основным содержанием и узловым конфликтом в романе. Не пестрый хаос социальной жизни, не разбитые или ломающиеся формы общественных отношений, нашедшие свое отражение в плутовском романе XVI—XVIII веков, а устойчивые и самодовлеющие элементы буржуазного жизненного уклада, в первую очередь буржуазная семья, — вот что теперь являлось основным объектом «буржуазной эпопеи».

Характеристику буржуазной семьи и ее отношения к буржуазному обществу дает «Немецкая идеология»: <sup>1</sup>

«Молодой буржуа делает себя независимым от своей собственной семьи, когда может это сделать; он практически упраздняет для себя семью, но брак, собственность, семья остаются теоретически неприкосновенными, пото-

<sup>1</sup> Стр. 161 цитированного издания.

му что они образуют практические основы, на которых воздвигала свое господство буржуазия, потому что они в своей буржуазной форме являются условиями, благодаря которым буржуа есть буржуа. . .»

«Буржуазия исторически придает семье характер буржуазной семьи, в которой скука и деньги являются связующим звеном и к которой принадлежит также буржуазное разложение семьи, не мешающее тому, что сама семья продолжает существовать. Ее грязному существованию соответствует священное понятие о ней в официальной фразеологии и во всеобщем лицемерии».

«В XVIII веке понятие семьи было упразднено философами, потому что действительная семья уже начала разлагаться на вершине цивилизации. Разложилась внутренняя связь семьи, например, повиновение, пиетет, супружеская верность и т. д.; но реальное тело семьи, дружественное отношение, исключаящее отношение к другим семьям, вынужденное сожителство, — все это сохранилось, хотя и с многочисленными нарушениями, потому что бытие семьи сделалось необходимым вследствие ее связи с независимым от всего буржуазного общества способом производства».

Тема брачной жизни играет огромную роль и в «Зибенкэзе»: быт и психология брачной жизни бюргера показаны здесь в деталях. Роман Жан-Поля, как и весь немецкий роман XVIII века, подходил, однако, к изображению частной жизни — семьи, индивида, опираясь в первую очередь на опыт английского романа.

Семья как центр частной жизни (а не как условное соединение любящих, например в галантном романе, или как бытовой эпизод, например в плутовском романе) играет организующую роль в английском романе середины XVIII века.

В наиболее законченном виде перенос всего существа действительности в семью совершился у Ричардсона. Основной принцип романов Ричардсона: «Если ты хочешь изучить людские нравы, то тебе достаточно одного дома». Моральный конфликт «Клариссы» порожден совершенно недвусмысленно и четко показанными внутрисемейными отношениями, содержание которых — денежный расчет и эгоизм. Линия оболыщения Клариссы Ловеласом не исчер-

пывает собой всего содержания романа. Эта линия была бы невозможна без другой: Кларисса — ее родные (отец, мать, брат и сестры), которые в эгоистических целях вступают в союз с отвратительным женихом Сольмсом.

Ричардсону неоднократно делали упреки за рассудительность Клариссы, за отсутствие у нее непосредственного чувства и наивности. Но ведь «юридический стиль» Клариссы, математическая точность ее анализа созданы как раз всем характером той борьбы, которую ведет Кларисса, характером тех отношений, внутри которых она существует. Основное понятие в семье Клариссы, представляющей все буржуазное общество, — голый чистоган. Отсюда — чисто-утилитарное отношение к человеку. Такие понятия и отношения по самой своей сути стремятся к юридическому выражению. И хотя Кларисса в своем моральном величии противостоит «семье», т. е. стихии буржуазных отношений, но не как независимая от нее величина. Кларисса все же связана с ней, и не внешними узами, а своим внутренним чувством, ощущая эту связь как моральный долг. И именно эта причастность к «семейному миру Гарлоу», желание морально победить этот мир внутри него самого (бегство Клариссы из семьи в конечном счете оказывается слабостью) — вот что создает и трагизм судьбы Клариссы и самое мышление Клариссы, ее аналитический способ переживания.

«Клариссу» с правом называют семейным романом. С еще большим правом «Клариссу» можно было бы назвать антисемейным романом, настолько зло и беспощадно разоблачается здесь суть «дома», суть буржуазной семьи. Независимо от воли автора семья оказалась уничтоженной с точки зрения морали свободной личности, ибо противоречия между индивидом и обществом, деградация индивида в буржуазном обществе были здесь показаны в форме деградации человека в семье.

Якобинцы любили Ричардсона. Острота его критики соответствовала их революционным стремлениям. Напротив того, английская буржуазия, которая тогда уже «стала скромной, но признанной частью господствующих классов Англии» (Энгельс), не могла согласиться с отрицанием основных форм своего существования. «Кларисса» стоит

особняком. У самого Ричардсона в «Грандисоне» (а еще до «Клариссы» в «Памеле»), у Фильдинга, у Смолета проходит сочетание критики, которой подвергается буржуазная организация семьи, с восхвалением семьи. Если семья (в «Томе Джонсе», например) содержит в себе порочные тенденции (Блейфил), то успех порока возможен лишь благодаря случайности и недоразумениям (неизвестность происхождения героя, легковёрность Алворти). Когда недоразумение разъясняется, то семья возвращается к мирному, счастливому бытию, а порок наказан. Характеристика семьи здесь двойственна, но в основном «благоприятна», т. е. считается, что в семье лишь частично действуют общие безжалостные закономерности капитализма.

В пределах английского романа реабилитация семьи достигает своего апогея у Гольдсмита и Стерна. Совершается эта реабилитация по-разному. У Гольдсмита при сохранении общей фильдинговской схемы романа (семья — внешний мир — семья) резко меняется характеристика семьи, — она опускается в иную, мелкобуржуазную сферу, переносится в провинцию, опрощается, приближается к идиллии. Морально семья исключается из общих закономерностей буржуазной частной жизни, хотя и подвержена ударам этой жизни. Сама фигура гольдсмитовского героя Примроза, совершенно наивного и беспомощного при столкновении с жизненной практикой, свидетельствует об идилличности того семейного мира, во главе которого стоит Примроз. Эта идилличность для Гольдсмита глубоко положительна. Она имела целью противопоставить реальному миру, миру наживы и интриги, моральный общественный идеал. Утопичность этого последнего была достаточно очевидна. Жизненная практика разрушает его, — судьба самого Примроза и его детей достаточно показательна. Но идеал этот все же должен быть утверждён — и вот появляется спасительный лорд, восстанавливающий поправную справедливость.

(Мы подошли здесь еще к одному значительному противоречию романа и других жанров XVIII века: диктуемое интересами оптимистической третьесловной идеологии положительное разрешение сюжетного конфликта

сталкивается с логикой событий и фактов житейской практики, которые ведут конфликт к неблагоприятной развязке.)

Стерн также выключает семью из системы гражданского общества. Делает он это путем подчинения семьи совсем иным законам, чем те, что существуют в трезвом мире буржуазных отношений. Чуждость стерновских героев есть их принципиальное отличие от людей практического и потому чудовищного мира. Чуждость есть оправдание как самих этих героев, так и семьи, их особого мира, неподвластного логике. Они смешны, нелепы, но в конечном счете должны завоевать симпатию читателя. Освободясь от законов буржуазной частной жизни, став максимально индивидуальными, стерновские герои тем не менее не лишаются претензий на общечеловечность. Дело не в том, что тот или иной отдельный человек нерационалистичен в своем поведении, — дело в том, что именно такова по Стерну истинная натура каждого человека.

Каждый отдельный человек приобретает свою самостоятельную мерку для мира, свой особый угол зрения. Этот сдвиг к принципиальному индивидуализму у Стерна коренится в его общей борьбе против механистической и рационалистической картины мира. Вместо механистической разобщенности отдельных сторон мира Стерн подчеркивает его единство, основывающееся, по Стерну, на субъективном чувстве.

По сути дела уже у Стерна семья, как центральный организующий элемент мира, уступает свое место отдельному человеку. Такой центральной клеточкой, через которую раскрывается вся действительность, становится «чувствительный индивид», — все жизненное многообразие доходит до читателя через усложненные и детально показанные переживания героя.

Сентиментальность Стерна одновременно означала и непосредственный эмоциональный подступ к реальному миру, момент чувственного завоевания его, и перенос основных противоречий в сферу субъективных переживаний, во внутренний мир сентиментального субъекта. Но в этом отношении Стерн останавливается еще

на полдороге — его герои по преимуществу отстранялись от значительных общественных противоречий и выражали их (как и весь метод Стерна) лишь косвенно.

Полное перенесение мировых конфликтов во внутренний мир человека совершится в немецком романе, в «Страданиях юного Вертера» Гете, а с большими традициями стернианства — у Жан-Поля.

6

Сентиментальность была всеевропейским обращением к чувству. В упражнении своих «душевных способностей» видело третье сословие путь к подъему своего самосознания, к подлинному и более глубокому освоению мира. В своем внимании к психологическому, к природе, сентиментальность означала безусловное обогащение общеполитической идеологии. Налична даже редакция сентиментальности, придающая ей революционный оттенок. Именно Руссо во Франции и в меньшей мере «буря и натиск» в Германии показывают, как апелляция к чувственной естественной природе человека могла стать орудием резкого размежевания со старой феодально-сословной системой общества. «Чувствительность» становится здесь боевой; но несомненна ее связь с умеренной сентиментальностью, обращенной лишь на внутренний мир человека и на его семейный круг и ведущий к пошлой слезливости. Таков преобладающий, характерный немецкий сентиментализм, сентиментализм Лафонтена, Иффланда, Коцебу.

При всей мягкости центральной фигуры «Вертер» относится к сравнительно героическим произведениям немецкого сентиментализма. Для нас интересна исключительная последовательность композиционного принципа «Вертера». Весь мир не только виден через героя, но и проявляет все свои противоречия, разыгрывает все свои битвы в вертеровской душе. Чувство Вертера — вот где получает свое единство — пусть противоречивое и трагическое — раздробленность частной жизни. Здесь, таким образом, происходит дальнейшее (по сравнению с Ричардсоном) сужение объекта романа: вместо семьи от-

дельный человек выступает заменой мира, становится тем космосом, в котором полностью должно отразиться общество.

Однако в «Вертере» емкость субъекта-космоса оказывалась огромной. Если противоречие между общественным целым и индивидуумом как выражение всего атомистического характера буржуазных отношений с самого начала препятствовало развитию самого жанра романа, создавая две противоречивые тенденции (одна — сделать упор на общественном целом, другая — на разорванности этого общественного целого и на индивидуе, на раздробленности), то как раз последовательная субъективность «Вертера» — сколь странно это ни звучит — возвращала роману единство, восстанавливала тесную, органическую связанность индивида и общества. Правда, связь эта носила субъективно-эмоциональный, лирический характер. Но существенно, что реальный мир вовсе не объявлен в «Вертере» фикцией. Подлинная основа Вертера пантеистична, чему вовсе не противоречит то обстоятельство, что в утверждаемой Гете неразрывной связанности субъекта и объекта исходным пунктом в «Вертере» является именно субъект.

Перенесение сюжетного развития во внутренний мир человека не случайно наиболее развернуто произошло в Германии. В виду общей отсталости Германии, изображение противоречий капитализирующегося общества через соответствующие яркие и содержательные ситуации и конфликты немецкой социальной жизни было делом невозможным. Буржуазные отношения еще не пронизали настолько отношений бюргерской Германии, в частности еще не наполнили настолько своим содержанием семейные связи, чтобы здесь можно было найти материал для воплощения существенных сторон создающегося буржуазного общества.

Умеренные немецкие бюргерские писатели середины XVIII века по всему своему положению тяготели к открытой моральной войне против роковых неурядиц хаотической частной жизни, против эгоистического частного интереса. Но, не умея заглянуть в истинные причины и основания этой частной жизни, они были лишены воз-

возможности воплотить своего противника в действительно адекватных ему образах. Известнейший моралист и баснописец Геллерт, желая написать роман ричардсоновского типа с целью утверждения разума и добродетели, создал любопытное авантюрное произведение, несравненно больше напоминающее пестрый приключенческий роман, чем двухцветного Ричардсона. Геллертовская «Жизнь шведской графини фон Г.» использует для изображения морального развития своей героини и других персонажей исключительно неправдоподобные, нагроможденные друг на друга внешние события — войны, пленения, бегства, убийства, кровосмесительство и т. д. Большого противоречия ричардсоновскому методу вообразить нельзя. У Геллерта отсутствуют и повседневная «частная жизнь» и вытекающий из нее типический конфликт. Геллертовские приключения и случайности, особенно в их скоплении, — ультранеестественны; нельзя найти никакой формулы перехода от них к реальной общественной жизни.

В 70-х гг. это же противоречие между стремлением изобразить существенные стороны реальной действительности в типических внутренних для нее образах и отсутствием предпосылок для такого изображения ярко сказывается в романе Гермеса «Путешествие Софии из Мемеля в Саксонию», также ориентирующегося на Ричардсона. В «Путешествии» Гермес переносит действие на немецкую почву (его прежние романы протекали в Англии), считая это средством к достижению оригинальности, хотя сам отмечает, что «наша нация (т. е. немцы) еще недостаточно свободна для этого». Самый выбор героини (небогатая провинциальная девушка), а затем эпистолярная форма повествования отвечают задаче показать внутренний конфликт бюргерского общества. Но сразу же вызывает подозрение избранный жанр — роман-путешествие. И, действительно, морализующий роман вскоре превращается в запутаннейшее авантюрное повествование, с таинственными интригами, незнакомцами и т. д. Его сюжет оказывается совершенно внешним и случайным по отношению к реальной немецкой жизни того времени.

Комически утрируя существующее положение вещей и

попутно делая выпад против авантюрного романа вообще, замечательный немецкий сатирик, один из наиболее трезвых немецких буржуазных идеологов XVIII века, Лихтенберг так и определяет основное препятствие для возникновения немецкого романа отсутствием... удобных дымоходов, по которым могли бы спускаться любовники, невозможностью означенным любовникам пробраться на крышу, так как у немецких домов крыши очень неудобны для этой цели, плохим устройством почтовых карет, так как без этого во время путешествия, при сохранении правдоподобия, не могут завязаться никакие знакомства. Единственное утешение, говорит он открыто пародийно, это наличие монастырей, еще дающих пищу для всякого рода авантур. У Лихтенберга за этим шутливым положением о невозможности реалистического обоснования авантюрного сюжета кроется чрезвычайно значительная мысль: в Германии есть обширная галерея типов, огромный мир бытового и типического материала, но нет средств оформить его, придать ему художественную композицию. Характерно, что сам Лихтенберг десятки лет мечтал создать роман, заключить обширный, но бесформенный мир Рабенера и моральных еженедельников в цельную и законченную форму, но из его планов и набросков никакого романа не получилось.

Именно эта специфическая напряженность противоречий в немецком романе ричардсоновско-фильдинговского направления позволяет нам понять ту мощь, которую приобрело в Германии стерниански-руссоистское направление, переносящее выражение общественных закономерностей и конфликтов во внутренний мир героя. Гениальный «Вертер» открывает целый поток сентиментальных романов, где внешние события, художественная достоверность и правдоподобие которых меньше всего интересуют автора и читателя, являются лишь поводом для развертывания действия в сердцах героев. Однако завоевания Вертера оказываются чаще всего утерянными. Омытый слезами «сердечный сюжет», находивший свое максимальное развитие в романах Августа Лафонтена, позволял обойтись без реально мотивированного сюжета с подлинно общественным содержанием.

Непосредственный подступ к реалистическому изображению живой и типической бюргерской действительности в романе не мог увенчаться успехом. Нужны были обходные маневры. К числу наиболее удачных из них относятся сыгравшие большую роль для молодого Жан-Поля: «Жизненные пути в восходящем порядке» Гиппеля и «Антон Рейзер» Карла Филиппа Морица.

Роман Гиппеля разыгрывается в значительной мере во внутреннем мире героев. Роман субъективен по всей своей свехстернианской композиции (замысел, правда, невыполненный, — рассказать сначала о герое, затем о его отце, затем о его деде; отсюда и заголовок), но фактически перед романом стоит совершенно четкая задача: показать развитие героя к определенному мировоззрению и к активности в практической жизни. Достигается эта задача и путем показа большой дозы переживаний, которые, однако, реалистически мотивированы событиями из биографии героя, и путем рассуждений, диспутов и т. д., которые занимают значительную часть романа. Таким образом элементы сентиментальности и субъективизма оказываются здесь обузданными (Гиппель, между прочим, соединяет сентиментальность с острой антифеодалной сатирой, предваряя и в этом отношении Жан-Поля). Подчеркивается зависимость развития человека, а следовательно, и его внутреннего мира от внешних причин, — без объективной предпосылки ничего произойти не может: «Обстоятельства (буквально, поводы — *Gelegenheiten*) создают воров, обстоятельства создают и героев». Беспорядочность, бессистемность своего изложения Гиппель оправдывает ссылкой на точное соответствие с реальным положением вещей, — по образцу ряда других романистов XVIII века Гиппель заявляет, что пишет истинную повесть, а не роман, и поэтому должен изображать все в таком спутанном виде.

Карл Филипп Мориц называет свой роман «биографией». Он интересуется внутренним миром человека («хочет преимущественно изображать внутреннюю историю человека»), но тоже не как самопроизвольным, а как внешне обусловленным. Его основное положение за-

ключается в том, что то, что сначала кажется мелким и незначительным, впоследствии может стать очень важным.

Жизнь Антона Рейзера интересна в первую очередь не своими внешними фактами, а своеобразием и интенсивностью и в то же время типичностью психологической жизни этого одинокого бедного юноши, идущего многострадальным путем немецкой бюргерской интеллигенции XVIII века. Но психологическая история дана в непосредственной связи, как порождение той несложной и типической действительной жизни, которую ведет Антон. Именно таким путем достигает Мориц большой победы: добывается построения содержательного романа на реалистическом материале немецкого бюргерского бытия.

Мориц так и не закончил своего Антона Рейзера. Для немецкого романа в полной силе оставались противоречия между логикой событий и благополучной развязкой, осуществлением положительных целей автора.

Гиппель и Мориц показывают «человека внутреннего мира» в развитии, в закономерном изменении, и тем самым закладывают прочный фундамент для «романа воспитания», который изображает путь героя от неопытного юноши до зрелого, сложившегося человека. Еще до них такой роман воспитания в его философской форме был выдвинут на немецкой почве Виландом («Агатон», 1766). Отражая стремление немецкого бюргерства познать пути и закономерности своего развития, роман воспитания был прекрасно приспособлен в то же время и к тому, чтобы сформулировать те расчеты на будущее, те идеальные прогнозы и требования (преимущественно утопического свойства), которые выдвигались бюргерскими идеологами.

## 8

Жан-Поль продолжает линии и романа воспитания, и «субъективного» и семейного романа, часто соединяя их. При этом он возвращает роману широкий охват действительности.

Если первые попытки Жан-Поля создать роман шли в пошло-сентиментальном направлении Лафонтена («Абеляр и Элоиза»), то первый настоящий, хотя и незаконченный роман Жан-Поля непосредственно примыкает к

линии «романа воспитания», соединяя традиционную чувствительность с попыткой мотивировать, обусловить и ограничить чувства. Не случайно именно Мориц помог «Невидимой ложе» Жан-Поля попасть в печать. Не случайно Жан-Поль обратился к нему, совершенно незнакомому человеку, с письмом о помощи. Мориц был для него автором «Рейзера», и он усматривал в этом определенную родственную связь. Свой первый роман Жан-Поль, вслед за Морицем, называет биографией; роман равняется для него человеческой жизни. В своем первом письме к Морицу он пишет: «В этой черной клеенке, как в жизни, завернут характер человека, радость, боль, прерванный посередине план, короче говоря, роман; я чуть было не написал — человек».

«Невидимая ложа» полна отступлений. Сатирические отступления, «экстренные листки» прерывают основную тему. Ряд фигур окружает героя, нередко даже заслоняя его. Жан-Поль погружает своего героя в гущу жизненных отношений, хотя и имеющих странный, случайный характер. «Невидимая ложа» — это биография с широким общественным фоном, но все же, по замыслу Жан-Поля, биография. Родители героя (Густава), затем его детские годы, то странное воспитание, которое он получает, наконец, его юношеская жизнь — вот что составляет каркас расплывающегося романа.

Еще обширнее фон в «Геспере». Жизнеописание героя Виктора отступает за множеством иных, более ярких образов и сюжетных линий. Сам гротескно-утопический педагогический замысел романа (воспитание мудрого князя) перерастает рамки личной истории Виктора, воплощаясь в оживленной картине нравов мелкого немецкого княжества. Тенденцию Морица и Гиппеля — соединить изображение внутренней жизни, душевного развития индивида с реальными обстоятельствами и житейскими предпосылками этого развития — Жан-Поль ведет все дальше и дальше, подчеркивая и выдвигая на передний план «обстоятельства», т. е. широкий разворот общественного существования. Самое слабое место Жан-Поля при этом состоит в отсутствии органической увязки между обстоятельствами и героем, в невозможности найти единый композиционный принцип для романа.

Идиллии Жан-Поля в этом отношении выгодно отличаются от его первых романов. Персонаж идиллий целиком вырастает из того мира, в котором он живет, неразрывно связан с ним. Отказываясь от обширных социальных горизонтов, жан-полевская идиллия оказывается более единой и монолитной. В то же время она добивается глубокого, многообразного охвата того участка жизни, который подлежит ее ведению. Уже «Фикслейн», рассказывающий о том, как чудаковатый бедняк-учитель добивается своего маленького счастья, является по сути своей небольшим романом. А за «Фикслейном» следует «Зибенкэз», семейный роман, наиболее органично и цельно соединяющий в себе элементы идиллии и широкого романа.

Жизненный фон «Зибенкэза» несравненно богаче, социально значительнее и глубже, чем в других идиллиях Жан-Поля. Одновременно «Зибенкэз» обладает всей бытовой конкретностью и жизненностью мира жан-полевских идиллий.

## 9

«Зибенкэз» создается на одном из узловых пунктов жан-полевского жизненного и творческого пути. Из своего гофского уединения Жан-Поль выходит на общенемецкую арену. Блестящий успех «Геспера», окончание «Фикслейна» и «Зибенкэза» являются подготовкой. В 1796 г. Жан-Поль посещает Веймар, знакомится с Гердером, Гете и Шиллером. С Гердером Жан-Поль завязывает тесную дружбу. Через год он уже навсегда оставляет Гоф, живет некоторое время в Лейпциге, затем в Веймаре, в Берлине. Его известность все растет. В 1801 г. Жан-Поль женится и через год поселяется в Байрейте, который и является его резиденцией до самой смерти (1825 г.).

Начиная с 1793 г., он работает над своим массивнейшим романом «Титан», который заканчивает в 1803 г.; в том же году выходит оставшийся незаконченным роман «Озорные годы». Последний крупный роман Жан-Поля «Николай Маркграф, или Комета» (1820—1822 гг.) также остался незавершенным.

В годы байрейтской жизни Жан-Поль попрежнему чрезвычайно продуктивен. Он пишет множество политиче-

ских сатир и трактатов, где защищает радикально-демократические установки, особенно остро во времена посленаполеоновской реакции. Он пишет очень интересную и глубокую книгу о педагогике («Левана», 1807 г.), чрезвычайно содержательную поэтику («Предварительная школа эстетики», 1804 г.; особенно свежи и плодотворны главы о юморе и о романе). Из его более значительных художественных произведений этих лет назовем идиллическую «Жизнь Фибеля» (1811 г.) и сатирическое «Путешествие д-ра Каценбергера на курорт» (1809 г.).

В области романа Жан-Поль идет к дальнейшему раскрытию «жизненного фона». В конце своей жизни он пишет о своем первом романе: «Если нас спрашивают, почему какое-либо произведение осталось незаконченным, то еще хорошо, что нас не спрашивают, почему оно было начато. А разве... жизнь не прерывается на наших глазах? И если мы жалуемся, что оставшийся незаконченным роман так и не сообщает нам, что случилось со второй любовной связью Петера и с Эльзиным отчаянием по этому поводу; как спасся Ганс из когтей судьбы, а Фауст из когтей Мефистофеля,<sup>1</sup> то пусть послужит нам утешением, что и в своей действительности (Gegenwart) человек ничего не видит, кроме узлов, — и лишь позади его гроба лежит развязка: и вся мировая история является для него незаконченным романом».<sup>2</sup>

Роман перестает быть биографией, т. е. «человеком», и становится «миром», «жизнью». Жан-Поль идет к тому, чтобы вместо раскрытия социального мира через внутренний мир человека показать самый этот мир. «Человек», герой, будет наличен и в этом мире, но он не будет его подменять. Иными словами, Жан-Поль пытается синтезировать психологический роман воспитания с широким социальным романом, вернее — с теми обширными бытоописательными жанрами, которые в XVIII веке воплощали буржуазное стремление к энциклопедическому роману. Упор на объективность, обостренный наивный реализм Жан-Поля — вот мировоззренческий источник этого синтеза.

<sup>1</sup> Вторая часть гетевского «Фауста» в то время (1820 г.) была еще не написана.

<sup>2</sup> Подчеркнуто мною. В. А.

Принципиальное значение имеет тот факт, что осуществление этого синтеза следует искать не в отдельных произведениях Жан-Поля, а в их системе. Тот «мир бытописания», которым овладевает Жан-Поль, расположен вовсе не в пределах одного романа. Взаимосвязью, взаимопроникновением отдельных произведений, принципом цикличности Жан-Поль устраняет неразрешимую, казалось бы, трудность максимального охвата конкретной действительности.<sup>1</sup> Дело не ограничивается одними романами. У Жан-Поля есть множество как бы «полуроманов» — черновых, философских, публицистических произведений в беллетристической форме, незавершенных набросков, имеющих, однако, самостоятельное значение. Все эти «Биографические развлечения под черепом великанши», «Кампаньская долина», «Палингенезии или судьба и произведения перед Нюрнбергом и в нем», «Письма Жан-Поля и предстоящий жизненный путь» — тысячами нитей связаны с романами и друг с другом, выводят буквально те же типы, обладают той же проблематикой.

## 10

Реальный жизненный фон в романах Жан-Поля представляет очень верную картину специфического феодально-бюргерского общества Германии конца XVIII века. Он охватывает в первую очередь само бюргерство: горожан, ремесленников и особенно бюргерскую интеллигенцию. Учителя, пасторы, чиновники, адвокаты составляют наиболее многочисленный слой в жан-полевском обществе. К ним Жан-Поль относится с наибольшим вниманием и сочувствием. Подчас здесь фигурируют и наиболее эксплуатируемые слои — крестьянство и городская ремесленная беднота, вызывая всегда горячие демократические симпатии Жан-Поля, переходящие в гневную сатиру против эксплуататоров. Жан-Поль изображает и настоящих буржуа — бессердечных капиталистов, принесших все свои чувства и человечность в жертву голому денежному расчету, разоблачает и эксплуататорскую суть патрициев, этих дворян города. Жан-Поль очень выразительно изображает теснейшие связи между

эксплуататорской верхушкой третьего сословия и дворянством. Его богачи Орман (из предисловия к «Зибенкэзу») и Репер (из «Невидимой ложи») приобретают дворянство, становятся помещиками, судебными сеньорами и т. д. Само дворянство играет у Жан-Поля немалую роль. Он показывает и грубоватое поместное дворянство и изощренных, морально испорченных придворных. Жан-Поль показывает элементы бюрократической машины мелкого абсолютистского государства.

Таков бытописательский фундамент Жан-Поля. Однако эту группу образов Жан-Поль скрещивает с другой, имеющей своим основанием сентиментальный морализм. Здесь намечаются следующие типы:

Прежде всего положительный для Жан-Поля тип сентиментального человека. Он представляет бюргера, бюргерский идеал, хотя часто воплощается в людях высших сословий. Сюда относится в ряде полуроманов сам Жан-Поль, когда он выступает персонально, Густав из «Невидимой ложи», Виктор из «Геспера», большинство женских фигур — Беата, Клотильда, Диана и т. д.; идиллическим вариантом этого типа являются Вуц, Фикслейн, более практическим вариантом — Альбано. Богатство внутреннего мира, душевность, словом, все признаки сентиментализма и идилличности скрещиваются здесь, и ими обычно дело и ограничивается. Сам Жан-Поль постоянно пытается расширить ассортимент свойств своих сентиментальных героев, они должны быть приближены к практике, войти в реальную жизнь. Но это удается Жан-Полю лишь в гротескно-идиллическом плане; таков, например, преданный своей работе учитель Фикслейн. Когда же герои вступают в серьезную практику (Густав, Альбано), что является основной темой большинства романов, то они оказываются схематичными и художественно пустыми.

Затем идет тип ограниченно-рационалистического человека, бездушного и порочного. Он воплощает мертвечину феодального бюрократического мира с его сословной иерархией, формализмом и педантичностью, а также голый практицизм буржуазии. Обе эти классовые линии перекрещиваются. К отрицательному типу рационали-

стов относятся и придворные, и богачи, и патриций, и ученые-педанты (Фельбель, Катценбергер). Борьба против этих представителей рационалистического мира сочетается с борьбой против представителей мира субъективного идеализма (Шоппе-Лейбгебер), хотя последние и несравненно положительнее для Жан-Поля.

Момент крайнего субъективизма перекрещивается в жан-полевских образах с другими свойствами. От него не свободен и Зибенкэз, который причастен, однако, и к сентиментальному человеку; такое промежуточное положение Зибенкэза делает его вполне положительным для Жан-Поля. Вообще мир Жан-Поля богат промежуточными, переходными персонажами.

## 11

Соотношение между «фоном» и сложными «идеальными» конструкциями у Жан-Поля не исчерпывается, конечно, соотношением между «полуроманами» и романами настоящими. Есть романы, которые всячески тяготеют к фону, неразрывно связаны с ним именно потому, что свои движущие конфликты они строят на живом материале подлинной немецкой действительности. Таков «Зибенкэз».

Вся история создания «Зибенкэза» подтверждает его причастность к «фундаменту» жан-полевского мира. Он возникает как прямой антипод «Титана», наиболее претенциозного в своей возвышенности романа Жан-Поля. В черновых тетрадах Жан-Поля (за 1793—1794 гг.) ясно виден этот процесс «отсеивания» зибенкэзовских элементов из пестрого хаоса возникающего «Титана». Все «низкое», грубовато-повседневное должно было отойти; в «Титане» была сохранена лишь некоторая «голландская провинция», преимущественно идиллического характера (детство Альбано).

Для самого Жан-Поля «Зибенкэз» был выражением прежней идиллической бытописательской линии. Он чувствует, что пишет новую вещь в манере «Фикслейна», что это будет «дурацкая биография». Но «Зибенкэз» занимает все же совершенно особое положение и среди

жан-полевских вещей, написанных в манере «Фикслейна», ибо он является максимально реалистическим произведением Жан-Поля.

Основа «Зибенкэза» — глубокая критика собственного, жан-полевого же идилизма. Ведущим мотивом романа, определяющим его сюжетное построение, является проблема бедности. «Зибенкэз» представляет собой экспериментальную проверку пропагандируемого бюргерскими идеологами XVIII века (и самим Жан-Полем в том числе) положения об идиллических достоинствах бедности, о счастливой жизни бедняков.

Пропаганда этого положения имела в революционной идеологии XVIII века великий смысл. Тема об идиллической бедности, сочетающейся с высокой добродетельностью, противопоставлялась суетному роскошеству и разврату аристократии, привилегированных. Трудовая счастливая бедность служила одной из тех форм, в которые воплощались общие третьесословные, народные идеалы. В то же время тема о счастливом бедняке работала на повышение третьесословного самосознания и самоуважения, — аристократическим формам жизни противопоставлялись несравненно более ценные, более человеческие формы.

Неслучайно по преимуществу именно к концу XVIII века, когда буржуазная действительность выступает в обнаженном виде, происходит отрезвление. Третьесословные идеалы подошли к своей практической проверке. Сохранение «идиллии бедняков» теперь означало бы затушевывание общественных противоречий.

На немецкой почве переоценка бедности проскальзывает то тут, то там. «Я не имею мужества помочь тебе и не верю в продолжение твоей любви, когда мои прелести будут уничтожены тяжелой работой, а она ожидает нас: работа наемника, который должен употреблять не только день, но и добрую половину ночи для того, чтобы добыть свой орошенный слезами хлеб, и который проклинает свой оставшийся ночной отдых, ибо тот не может подкрепить его для кроваво-горькой работы грядущего дня» — так устами героини характеризуется «идиллия бедняков» у Вехтера (Фейта Вебера), одного из популярных немецких романистов 90-х гг.

В «Зибенкэзе» роль имущественного положения героев ясна с самого начала. В I главе автор бросает ироническое замечание, что он бы постыдился изображать такого «адвоката для бедных, который сам нуждается в подобном адвокате», но что у него «в руках побывали отчеты по опеке над моим героем», доказывающие наличие у героя тысячи двухсот рейнских гульденов, «не считая процентов». В этой связи богатство, деньги названы у Жан-Поля «металлическим колесом механизма, движущим человечество», «циферблатом нашего достоинства», и это определение никак не остается общей фразой, моральной сентенцией. Тут же намечается важный конфликт: герой относится к деньгам презрительно, может в шутку «навешивать на себя нищенскую суму» и т. д. Речь идет о двух разных точках зрения на связь между богатством и счастьем, и в романе эти точки зрения вступают в борьбу.<sup>1</sup>

Оказывается, одно дело — навешивать на себя нищенскую суму в шутку, другое дело — нести ее всерьез, когда злостные ухищрения опекуна Блэза лишают адвоката и 1200 рейнских гульденов и процентов.

К тому же меняется само положение адвоката. Еще уверенный, что он владеет своими «серебряными рудниками», адвокат женится. И вот его прежних рецептов неуязвимости и иммунитета от нищеты больше не существует. Таких панацей было две: презрение Зибенкэза к деньгам, пишет Жан-Поль, было почерпнуто «у древних и из собственного юмора». Под древними здесь недвусмысленно подразумевается античная стоическая философия (Эпиктет, Антонин), понятая Жан-Полем как морально обоснованное спиритуалистическое презрение к мирским благам, как восторженный аскетизм. Под юмором же, в соответствии с общей трактовкой юмора у Жан-Поля, здесь скрывается тот скептический субъекти-

---

<sup>1</sup> В начале романа сам Зибенкэз подчеркивает идилличность и идеальность бедности: «сколь справедливо в переносном смысле то, что издавна было истиной и в буквальном, — грубый холст греет лучше, чем тонкое полотно или даже шелк, и в деревянном доме зимою теплее, чем в каменном, а летом прохладнее, — и, как признано всеми врачами, грубая черная ржаная мука несравненно более питательна, чем крупчатая белая».

визм, к которому Жан-Поль был причастен и против которого он отчаянно боролся, тот взгляд на мир, который рассматривает всю землю как бедлам и нелепицу, где все перепутано, где низкое и высокое непосредственно переходят друг в друга.

Иными словами, в той или иной форме Зибенкэз приближался прежде к позиции идеалистического разрыва с реальным миром, к позициям немецкой классической философии. Ведь древние и юмор у Жан-Поля имеют конечной тенденцией своего развития кантианский морализм и фихтеанское «я». Недаром другом и двойником Зибенкэза является Лейбгебер, который стоит как бы вне мира, лишь в малой степени подчиняется его обычным, житейским условиям (вспомним хотя бы таинственность его заработков, — Жан-Поль намекает, что он кормился не одним искусством вырезать силуэты, да и само силуэтное искусство является эксцентрическим).

Жан-Поль возражал против свойственного немецкому «духу» игнорирования действительности как средства избавиться от ее невзгод. Женитьба Зибенкэза означает его вхождение в реальную жизнь, непосредственное столкновение с ее повседневным бытовым укладом. Тут уже нужны иные средства примирения с неприглядностью существования — средства бытовой идиллии (типа «Вуда»). Выбор Зибенкэза для этой цели не случаен. У него несравненно больше бытовых, идиллических данных, чем у атеистического, принципиально скептического Лейбгебера, у него много мягкой сентиментальности, готовности ко всепрощению и всеобщей любви.

Но оказывается, — и это величайшее реалистическое открытие для сентиментального идиллика, — что прежде всего не все живущие неприглядной немецкой повседневной жизнью способны идиллически преобразовать ее (Ленетта) и что затем даже те, кто как будто способен к этому, постепенно также доводятся — в условиях реальной нищеты и соприкосновения с людьми прозаически — до крайне неидиллического, несчастного и раздраженного существования (сам Зибенкэз). Ремесленники, соседи Зибенкэза, живут, правда, в условиях нищеты

всю свою жизнь, но при всех своих симпатиях к ним Жан-Поль подчеркивает несравненно большую духовную сложность Зибенкэза.

Итак, роман экспериментален. Зибенкэза и Ленетту автор подвергает испытанию, чтобы обнаружить возможность идиллии, — и испытания они не выдерживают. Но в вину им это не вменяется. Каждый из них по-своему, в конечном счете, прав, и хотя они подвергаются длительной критике, обнаруживающей все их недостатки, но положительного у них все же остается несравненно больше. Жан-Поль относится к ним с теплотой и любовью, с глубоким психологическим пониманием.

Зибенкэз и Ленетта совершенно разные люди. Ленетта — человек насквозь прозаический и земной. Самые внешние формы бюргерской жизни являются для нее священным ритуалом. Ее мир — это кухня, игла и метла. Проблема «что скажут люди» определяет все ее поведение. Она крайне религиозна, но основным атрибутом ее религии является наличие традиционных лютеранских блюд — например, гуся в Мартынов день.

Она не может следовать за парением мысли и души своего мужа. Один пример: Зибенкэз произносит, обращаясь к ней, возвышенный монолог о вечности и смерти и получает в ответ: «Не надевай завтра левого чулка, я должна его сперва заштопать». И все же она была бы хорошей женой Зибенкэзу, если бы надвинувшаяся нищета и ряд других испытаний (интриги Мейерна) не ожесточили ее, не заставили ее все враждебнее относиться к супругу. А ее жалобы, все ее неумение юмористически презреть неприятности и лишения несказанно мучат Зибенкэза, лишают и его нравственных точек опоры.

Правда, и до полного обнищания между супругами начинаются стычки. Если III глава совершенно идиллична, то в IV намечается переход, а V глава посвящена нарастающей расправе, с удивительным психологическим умением показанной Жан-Полем на бытовых мелочах. Но здесь уже тень приближающегося «финансового краха» витает над комнатой Зибенкэза. Во всяком случае сам Жан-Поль подчеркивает в романе, что без обеднения не возникло бы такой обостренности в их отношениях.

Ограниченность Ленетты показана Жан-Полем очень обстоятельно, но это еще не является основанием, чтобы обвинить именно ее в крушении идиллии. Сам Зибенкэз знает, что Ленетта иначе и не могла себя вести и что она обладает в рядом значительнейших достоинств: верностью, скромностью, трудолюбием. Однако не виноват и Зибенкэз. Его резкость и вспыльчивость, так же как и ошибки Ленетты, являются неизбежным следствием всей жизни супругов, и Жан-Поль проявляет большое мастерство в изображении и в психологическом мотивировании развития Зибенкэза и Ленетты. Он показывает роковое влияние мелочей (особенно примечательна V глава) и раскрывает те общие, основные предпосылки, которые определили судьбу героев: бедность, различие натур.

Различие натур Зибенкэза и Ленетты лишь под влиянием нищеты превращается в их несовместимость. Путь Зибенкэза к возвышенной и тонкой Натали менее всего «свободное развитие» его души. Натали, конечно, несравненно «идеальнее» Ленетты, она стоит ближе к Зибенкэзу, но они находят друг друга лишь в результате воздействия множества жизненных обстоятельств, которые их буквально толкают друг к другу в объятия. Натали становится для героя романа символом освобождения, символом прекрасной жизни, — недаром Зибенкэз встречает ее впервые в Байрейте, в этом светлом сияющем саду, куда он вырывается из тюремной обстановки своего Кушнаппеля. Путешествие в Байрейт (XII глава) является переломным в жизни Зибенкэза, — контраст между Кушнаппелем и Байрейтом настолько велик, что Зибенкэз решается на все, даже на свою ложную смерть, чтобы спастись из своего кушнаппельского плена, и образ Натали идентифицируется здесь для Зибенкэза со всем этим переломом и со вновь обретенной жизнью. Но и для Натали, бедной и одинокой девушки, разочаровавшейся в своем женихе, вертопрахе Мейерне, Зибенкэз является последней надеждой, которая ей еще осталась в жизни. Крайне существенно, что медленное и мучительное освобождение Зибенкэза от кушнаппельского убожества и от кухонного мира Ленетты происходит не только в возвышенно-духовном плане (соединение с Натали), но и в не-

посредственно-материальном. Место инспектора в Вадуде, которое Лейбгебер передает своему двойнику Зибенкэзу, является необходимой предпосылкой зибенкэзовского успеха, создавая ту базу, на которой сможет реализоваться счастье любящих. Это путь из нищеты, без устрашения которой никакое внутреннее спасение Зибенкэза также не было бы возможным.

## 12

Судьба Зибенкэза делится на две части: нисходящую (Кушнапфель, брачная жизнь с Ленеттой) и восходящую (сначала она параллельна с первой, намечаясь путешествием в Байрейт, затем к ней относятся Вадуд, «свадьба» с Натали). Между ними лежит эксцентрическая смерть Зибенкэза. Основное внимание Жан-Поля направлено на первую, нисходящую часть и на переход между частями, — недаром только в XX главе (всего глав — 25) кушнапфельская жизнь героя заканчивается. Такое распределение центра тяжести в романе чрезвычайно важно.

Кушнапфельское существование адвоката для бедных дано с наибольшими мотивировками. Здесь жан-полевский реализм выражен непосредственно и развернуто. Зибенкэз взят в теснейшей связи со всем, что его окружает. Брачная жизнь Фирмиана, протекающая преимущественно в четырех стенах его комнаты (в изображении «домашности», мелочей повседневной жизни супругов Жан-Поль достигает максимального мастерства), дана на богатом и разработанном кушнапфельском фоне. Здесь важен и дом Мербицера, в котором обитают супруги, дающий понятие о повседневной нищенской жизни городской мелкоты, подлинного народа. Здесь интересны и живописные картины стрелковых состязаний, проводящие читателя по всему городу, и оживленная сцена ярмарки, в суতোлке которой бродит Фирмиан. С жизнью и обычаями Кушнапфеля знакомят читателя и аукцион и осенняя прогулка супругов.

Живой и красочный показ кушнапфельской действительности неразрывно сопряжен с четкой социально-по-

литической обрисовкой Кушнаппеля. Наличие богатых патрициев и бедных ремесленников, хищных эксплуататоров Блэзов и придавленных Мербицеров ощущается в каждой городской сцене романа. Нелепость и несправедливость, антидемократичность всей «государственной машины» Кушнаппеля (дающей типическую характеристику всему тогдашнему германскому государственному устройству) даны в наиболее обнаженном, публицистическом виде в уничтожающе-сатирическом приложении ко II главе («Правление Кушнаппеля»), но и зловещая фигура Блэза, играющего немаловажную сюжетную роль в романе, воплощает в себе кушнаппельский государственный строй!

Предначертанные законом формы кушнаппельской жизни страшны и уродливы. Недаром Жан-Поль характеризует конституцию имперского местечка как средство для радикального искоренения всех... не-патрициев.

Жан-повелеские политические экскурсы имеют ближайшее касательство к действию романа — течение процесса о наследстве, который приходится вести Зибенкэзу, производит впечатление последовательного приложения кушнаппельской конституции на практике. Дикий характер блэзовской победоносной интриги является лишь последовательным выражением дикости общественных отношений. Имя оказывается важнее самого человека. Зибенкэз, обменявшийся с Лейбгебером своим именем, не может юридически доказать, что он — это он, и поэтому лишается причитающегося ему наследства. Фактически существующий живой человек оказывается уничтоженным; в бездушном Кушнаппеле его место заняла некая документная и денежная абстракция. Жан-Поль непосредственно раскрывает антигуманистичность, бесчеловечность старой, феодально-крепостнической Германии, ее специфические способы угнетения человека. А в них, — и это очень существенно, — проявляются и более общие социальные противоречия: создаваемая капитализмом (выступающим у Жан-Поля в образе богатства, — Эрманн) автоматизация мира, деградация человека.

На этом действенном фоне становится понятнее переход от кушнаппельской части романа к Вадуду и Натали.

Шутовская и дикая «смерть» Зибенкэза оправдывается именно соответствующими свойствами того мира, от которого эта смерть должна избавить. Для того чтобы спасти от нелепой, безумной действительности, надо было употребить нелепые, безумные средства. По сути дела Зибенкэз и Лейбгебер лишь повторяют то, что уже сделали Блэз и кушнапельская юстиция, т. е. отрывают живую, подлинную суть человека от юридической формы его существования. Смерть Зибенкэза — лишь комическое проявление этого трагического разрыва, своего рода юридически-бюрократическая уловка, чтобы перехитрить врага на его же почве.

Смерть ведет Зибенкэза сначала в чистилище (пребывание в Вадуце), затем в рай (встреча с Натали). Здесь, однако, роман становится бледнее и лапидарнее. Жизнь Зибенкэза в Вадуце лишь намечена, о судьбе Ленетты в ее браке со Штифелем мы узнаем лишь из письма Штифеля и косвенными путями. Наконец, к самому «раю» нас, в сущности, только подводят. Его реализация совершается уже за страницами романа.

Ужасу и автоматизации немецкой жизни, где гнет феодализма соединился со страданиями от капиталистических язв, Жан-Поль противопоставляет подлинную человечность, любовь и дружбу, высоту чувств и мысли. Но, подходя к наступившей после долгих мытарств победе этих идеальных сил, Жан-Поль смолкает.

Дело здесь не просто в неудовлетворительной технике романа. Дело в том, что благополучный исход намеченных в романе коллизий мало вязался с реалистичностью повествования. Свойственное буржуазному роману противоречие между активной развязкой и логикой изображаемых событий наличествует и в «Зибенкэзе». И если Жан-Поль всячески сокращает свой благополучный конец, дает его чуть ли не в конспективной форме, то это относится к преимуществам, а не к недостаткам романа. Большое достоинство «Зибенкэза» в том, что Жан-Поль не пытается создать в нем обширный рай на основе непомерно разбухшей сентиментальности, вообще не уравнивает реалистические тернии идиллическо-абстрактными цветами. То обстоятельство, что из намеченных цветов, пло-

дов и терниев по сути дела в романе остались одни тернии,<sup>1</sup> можно только приветствовать. Жан-Поль мог с полным правом поставить в качестве одного из заголовков на титульном листе романа: «Правдивая повесть о терниях».

Отмеченный нами еще у Стерна протест против механического членения мира, отразившийся в парадоксальности языка Стерна, получает свое дальнейшее развитие в языковой системе Жан-Поля.

Сатирически-гротесковое осмысление и изображение реальной общественной жизни вело к гротеску в стиле и языке. В ранних сатирах Жан-Поля пестрота языка и причудливая система метафор являлись основным средством разоблачения действительности. Ими отмечались привычные рамки и ограничения, благодаря им «высокие» понятия смешивались с «низкими», открывались неожиданные сходства между отдаленнейшими вещами и идеями. К Жан-Полю вполне можно отнести слова Лихтенберга, сказанные им о «буре и натиске»: «там друженственно сопрягались идеи, которые никогда не встречались друг с другом иначе, чем в бедламе».

Пестрый гротесковый языковой стиль характеризует и зрелого Жан-Поля.

Словарь Жан-Поля непомерно разносторонен. Иностранные слова, термины из различнейших областей науки и быта, разнообразные провинциализмы и новообразования кишат на страницах его произведений. Его синтаксис усложнен. Нередко возникают длинейшие периоды, в эмоционально повышенных местах происходит нагнетание эпитетов, параллелей, сочиняющихся предложений, создается их необозримое нагромождение.

---

<sup>1</sup> «Цветы и плоды» свелись к трем добавлениям, непосредственно никак не связанным с действием. Они имеют преимущественно общемировоззренческий характер (трактуют вопросы о бессмертии, о боге и т. п.), создавая философское обрамление для романа. В наше издание они не включены. О философских установках Жан-Поля см. настоящую статью.

Стилевая система Жан-Поля несет на себе две важнейшие функции: функцию положительную, утверждающую истинность и объективность повествования, уточняя объект изображения, и функцию сатирическую, разоблачающую ту или иную сторону изображаемого предмета.

Первая функция состоит, между прочим, в том, что движение действия непрерывно перемежается у Жан-Поля с сентенциями, которые относятся не только к данному случаю, но имеют и общее значение. Они как бы обосновывают, оправдывают соответствующие ситуации и происшествия романа.

Общие положения («рефлексии», по выражению Жан-Поля), подтверждающие и обосновывающие действие, смыкаются с многочисленными средствами документации повествования, употребляемыми в романе. Жан-Поль неоднократно намекает, что в его распоряжении имеются материалы, подтверждающие каждую строчку романа; эи говорит, что перед вторым изданием романа сумел лично побывать в Кушнапеле, познакомиться со своими героями и т. д. Частично этой же цели служат многочисленные «ученые» примечания, преимущественно указывающие на источники жан-полевских (иногда очень фантастических) ученых ссылок и параллелей. Этот ученый аппарат важен Жан-Полю, с одной стороны, именно для документации излагаемых им мыслей.

С другой стороны, «ученые» ссылки и параллели Жан-Поля обладают непосредственно-ироническим острым. «Научно-исторические» примеры и сравнения, обосновывающие действие, заведомо гротескны. Сопоставления платья Зибенкэза с коронационным костюмом немецких императоров, его сапог — с телами немцев и т. п. дают комическое освещение различным сторонам государственной жизни и общественных отношений. Наукообразная форма изложения, несоответствие между сравниваемыми предметами, между серьезностью тона и ничтожеством содержания лишь повышают сатирическую действенность жан-полевского стиля.

Существенно, что соединение разноплановых понятий совершается у Жан-Поля обычно с крайней степенью приближения их друг к другу. Простые сравнения, указывающие на сходство какого-либо предмета или понятия

с другим, встречаются у Жан-Поля редко. Значительно чаще мы имеем дело с развернутым сравнением, где отождествляются целые сложные отношения между вещами, с развернутыми метафорами, в которых сам предмет и его метафорическое обозначение различнейшим способом сливаются друг с другом.<sup>1</sup>

Так, образ радостного Фирмиана переплетается с образом жаворонка. «Вместе с первым жаворонком и с достойным последнего пением и силами Фирмиан вспорхнул из борозды своей постели». Помирившиеся, но сидящие без копейки супруги переключаются на образ солдата в мирное время, который, в свою очередь, получает дальнейшее развитие. «Но вы, дорогие люди, что дает вам мирное положение? При половинном воинском окладе, в холодном и пустом сиротском доме земли?..» Радость отождествляется с радугой, и возможное исчезновение этого чувства дается в форме судьбы радуги: «он боялся, что возвышенная многоцветная радуга его радости растает вечерней росой и исчезнет вместе с солнцем». Употребление родительного падежа («радуга его радости»), вместо сравнивающего «как», очень характерно для Жан-Поля, стремящегося как можно теснее и непосредственнее связать сопоставляемые понятия.

Но чисто логические, абстрактные сравнения, характерные для раннего Жан-Поля, уступают место развернутым метафорам, подлинным образам. Между ними и изображаемым предметом возникают многообразные связи и параллели, которые позволяют подчас полностью заменить данную ситуацию ситуацией метафорической, указать лишь на принцип перехода между ними. Так, «радуга его радости» достаточна, чтобы раскрыть истинное значение «природной картины» в нашем последнем примере.

При этом, как мы уже видели, само отношение между сравниваемыми вещами нередко заключается не в том, чтобы дополнить наше представление о данном предмете, проиллюстрировать его, но в том, чтобы обосновать, сделать достоверным само его существование.

---

<sup>1</sup> Жан-Поль с исключительным усердием использует представляемые строем немецкого языка возможности словосложения, являющегося самым радикальным средством сближения и переплетения понятий.

Самые неожиданные ассоциации привлекаются в деловом порядке с целью пояснения и уточнения содержания: «в бороздах было так мало снега, что его нехватило бы, чтобы остудить ореховую скорлупу с вином или сбить колибри».

Тенденция к преодолению разобщенности вещей, к их сближению и единству ярко сказывается и в излюбленном Жан-Полем сочетании слов по их внешне-фонетическим признакам.<sup>1</sup> *Предисловия и славословия; тропические ураганы, изобилующие тропами; выудить и вылудить*, — во всех этих случаях фонетическое сходство между словами, неожиданным образом сближающее их, выражено в оригинале еще более явно.

Становясь образами, сравнения получают богатое эмоциональное содержание, глубокое символическое значение. В этом отношении очень характерны некоторые лейтмотивы, разбросанные по роману. Например, одинокий сверчок в поле, присутствующий на протяжении всей кушнапельской части романа, или с криком пролетающая над городом стая перелетных птиц. Они воплощают одиночество и болезнь Зибенкэза и в своей эмоциональной насыщенности помогают созданию соответствующего настроения в первой половине романа. Они же своей вторяемостью способствуют единству романа.

Становясь символами, многие из этих деталей не теряют, однако, своего реального существования, не превращаются в абстракцию. Жан-Поль иногда играет на переходах между реальной и символической сторонами, намекает на их более глубокий внутренний смысл. Так, «королевский выстрел» служит для автора поводом к сложной игре с «королевским званием» Зибенкэза, которая прежде всего со всей силой жан-полевской иронии направлена прстив монархов; жан-полевская сатира является здесь достойной предшественницей сатиры Гейне, который в «Германии» тот же образ стрелкового состязания (стрельба по птице) возвысит до символа надвигающейся революции.

---

<sup>1</sup> В настоящем переводе была сделана попытка передать все случаи игры слов в оригинале аналогичными на русском языке.

В образной партитуре «Зибенкэза» наличны мотивы, подготовляющие те или иные характеристики к ситуации романа или напоминающие о них. Так, постоянная игра с именем Штифеля («штиблет») подготовлена еще фигурой зайца, выступающего в качестве одного из блюд на брачном пире Фирмиана. Так, в последней главе Фирмиан видит одну из тарелок, когда-то заложенных им, и тем самым мы вспоминаем о его нищенской жизни в Кушнаппеле. Для романа характерно прекрасное использование ряда деталей, интересна, хотя подчас и слишком гротескная, игра вещами и словами. И здесь парадоксальная, сатирическая направленность жан-полевского стиля играет существеннейшую роль, хотя никогда не перерастает в «нигилизм», т. е. в отрицание реальности всего повествования.

Моменты игры, иронии, парадокса служат не только беспощадной борьбе против бездушной, мертвящей организации общества. Они служат и юмористической подаче того, что близко и дорого автору, — например супружеского быта. Между жан-полевской сатирой и жан-полевским юмором существует ряд очень тонких переходов.

Однако, если в ряде сентиментальных по преимуществу произведений Жан-Поля особенности его языковой и образной системы вступают в противоречия с замыслом вещи, то в «Зибенкэзе» они вполне соответствуют основному сатирико-реалистическому тону романа. Ограниченности идиллически-сентиментального плана во всем романе отвечают его стилистическая пестрота и гротескность, просачивающиеся почти повсюду (исключение: идиллическая третья глава, некоторые байрейтские пассажи).

Более того, языковая и метафорическая система романа всячески поддерживает реализацию его сатирического замысла. Осмеяние, доведение до абсурда основных черт феодально-бюрократического государства, вскрытие всей его нелепости осуществляются здесь постоянно. В этом отношении крайне показательно систематическое, последовательное пародирование современного канцелярского, бюрократического языка и стиля. Ничтожнейшие события излагаются с помощью юридических формул: вспомним

хотя бы трактат о совместном вскармливании и последующем разделе коровы, или же рукописные «декреты» Фирмиана, или 26 статей «положения о бережливом питании», выработанного обнищавшими супругами. По поводу скромной пирушки ремесленников на свадьбе Фирмиана приводятся имперские указы о допустимости пьянства, и автор рассуждает о них самым ученым образом.

Сатирическая сила жан-полевского стиля сосредоточена на его основном враге — на феодально-бюрократическом, эксплуататорском государстве. Мобилизованы все средства литературы, чтобы раскрыть его бессмысленность, античеловечность и жестокость. И, действительно, книга Жан-Поля — это яркий обвинительный акт против угнетений народа, — акт, стимулированный великими революционными потрясениями конца XVIII века.

#### 14

Середина 90-х гг., время создания «Зибенкэза», означает и дальнейшую кристаллизацию философско-эстетических воззрений Жан-Поля. Это первый этап его размежевания с классицизмом и романтикой.

Жан-Поль обладал твердой, непоколебимой уверенностью в существовании реального мира и в его постигаемости. Здравый смысл, свои пять чувств, все средства наивного реализма он противопоставлял философским построениям, посягающим на объективность вещей. Выдвижение чувства вовсе не означало для него господства чувства над действительностью, а было лишь путем к действительности. Чувство не было абсолютным, чувствующий субъект не был всемогущим. Жан-Поль возражал против романтически-поэтического нигилизма, заменяющего изображение реального мира изображением своих фантазий. Ни чувство индивида, ни мысль индивида не наделены для него правом создавать мир из себя, отрицая существование реальных вещей.

Этим определялось отношение Жан-Поля к раннему романтизму. Философский радикализм ранних революционно настроенных романтиков, диктатура субъективности, всеуничтожающая ирония фихтеанской философии были восприняты Жан-Полем как величайшая опасность,

как углубление абстрактности и презрение к «позитивизму». Позиция Фихте вызвала у него жестокую полемику, несмотря на ряд совпадений в политических установках обоих. Оба немецких якобинца поняли друг друга лишь приблизительно и не смогли договориться. Жан-Поль отзывался о Фихте как о величайшем схоласте. Их якобинство, в конечном счете отразившее демократически-освободительные, революционные чаяния и требования широких народных масс, было по-разному окрашено; они выражали различные линии развития немецкого бюргерства, немецкой бюргерской интеллигенции: Жан-Поль — более архаическую, более «земную» и чувственную, пережившую расцвет своего бунтарства в 70-е гг.; Фихте — более современную, перелавившую все отношения реальной действительности в категории чистой мысли и достигшую апогея своего бунтарства именно теперь, именно в суверенном субъекте Фихте. Короче говоря, в лице Жан-Поля выразилась «душевность», в лице Фихте — «мысль».

Отход от реальной жизни, подчеркнутая абстрактность ставили для Жан-Поля под подозрение и немецкий классицизм.

Являлась ли мысль или чувство базой для гиперболического индивидуализма — это было для Жан-Поля в основном безразлично. Наивно-реалистический Жан-Поль боролся против всякого «титанизма» («Титан», говорит Жан-Поль, должен был бы называться «Антититаном»), т. е. против всякого направления, узурпирующего права объективной действительности. В первую очередь для «титанов» характерна все же рефлексия, чистая мысль, но как раз на примере самого значительного из «титанов» — Шоппе видно, как сдавленное, ограниченное чувство перерастает в дерзкое своеволие разума. Своеобразным смещением рефлексии и преувеличенного живого чувства является другой значительнейший титан — Роквейроль. Сюда же в значительной мере относится «титанида» — Линда.

Шоппе переходит в «Титан» из «Зибенкэза». В «Зибенкэзе» его зовут Лейбгебером. В конце «Зибенкэза» Лейбгебер-Шоппе уступает свое имя Зибенкэзу, оставаясь сам безыменным.

Сложные манипуляции с именами не случайны. Имена служат здесь исходным пунктом для запутанной игры с лейбгеберовской индивидуальностью, т. е. для борьбы против крайностей индивидуализма. Лейбгебер стоит между двумя крайностями — между полным отказом от всякой индивидуальности, растворением в море людей,<sup>1</sup> с одной стороны, и невероятным выпячиванием своей индивидуальности, ее неповторимости — с другой. Зибенкэз по своей внешности его двойник, и когда в последних главах «Титана» Лейбгебер неожиданно видит Зибенкэза, то умирает, приняв его за свое второе «я». Эта смерть подготовлена. В конце «Титана» Лейбгебер вообще выступает безумным, ибо он не снес своего гордого индивидуалистического одиночества, не сумел разрешить проблему своей субъективной единственности и объективной множественности человеческого сознания. Противоречия, уничтожающие Лейбгебера, — это противоречия последовательного философского субъективизма, принужденного вступить в общение с практической действительностью. В конечном счете это — противоречия абстрактной возвышенной буржуазной идеологии Германии в ее столкновении с реальным бытием. Жан-Поль борется за то, чтобы устранить эти противоречия.

Двойничество Зибенкэза-Лейбгебера, наличие тождественного в людях имеет у Жан-Поля реалистическую направленность. Это протест против чрезмерной индивидуализации персонажей, борьба за признание определенных типических образов.<sup>2</sup> С другой стороны, обмен именами богат и элементами гротеска.<sup>3</sup> Как мы видели, это сатира на мертвящую бюрократическую регламентацию тогдашней жизни.

---

<sup>1</sup> Лейбгебер говорит: «Я прыгну с суши в безбрежный океан человечества и, действуя своими брюшными, спинными и прочими члениками, поплыву по волнам и топам жизни».

<sup>2</sup> Ср. рассуждения Жан-Поля о душевном и телесном сходстве (в I главе «Зибенкэза», стр. 26).

<sup>3</sup> Ср. стр. 497.

За реалистическим «Зибенкэзом» следует утопический «Титан». Центральное место в «Титане» занимает философски окрашенный мотив воспитания героя. Воспитание осмысливается здесь как путь к осуществлению гуманистического идеала Жан-Поля. Неверие в плодотворность непосредственной, немедленной революции характерно для Жан-Поля во вторую половину 90-х гг. и в дальнейшие годы. Вскрывшиеся противоречия революционного третьего сословия испугали его и во многом остались ему непонятны. «Не говорите о политике... Если вы знаете, что Франция освободилась, то это совершенно достаточно, и это больше того, что я сам знаю» — так обращается однажды Жан-Поль к девушкам, и за этой шуткой, как обычно у Жан-Поля, скрывается весьма серьезное содержание.

«Пусть только каждый исправляет и революционизирует прежде всего свое «я», вместо современности (Gegenwart), тогда все образуется, потому что современность состоит из «я».

Идеальный человек Жан-Поля не всегда был одним и тем же. В 90-х гг. подчеркивалась моральная, сентиментально-любовнообильная возвышенность героя, который в принципе должен выступать и как практический человек. На рубеже восьмисотых годов особое значение приобретает «красота», гармоническое сочетание нравственности, красоты и силы. Жан-Поль выдвигает теперь идеалы классицизма. «Нравственная красота должна обладать в поэзии только исполнительной властью, красота — законодательной; в настоящее время я в меньшей степени настаиваю на любви к людям, чем на силе и самоуважении...» На этих путях Жан-Поль ищет реального, практического человека, хотя самым противоречивым образом именно это наличие великой красоты и силы рассматривается им как опасность, как кощунственный «титанизм».

Дуалистичность жан-полевской картины мира, его разорванность (с которой до конца не могли справиться никакие ухищрения «чувства») ощущались Жан-Полем очень болезненно. Его приближение к клас-

сицизму, противоречивое по самому своему существу, имело свое обоснование именно в этом.

Жан-Поль приближается к классицизму и в отношении самого своего метода. Характерная для классицизма последовательность проведения своего идеала в художественном произведении, умение подчинить конкретный материал организующему замыслу, целостность идейной и художественной системы — вот что считает Жан-Поль для себя образцом. Как раз «Титан» должен был быть построен столь же организованно, как произведения классицизма. Недаром гетевский «Тассо» неоднократно фигурирует в черновых набросках «Титана», являясь одним из заведомых образцов для Жан-Поля.

У Жан-Поля были особые отношения с Гете. Гете обладал конкретностью, во всяком случае постоянно стремился к ней. Категория практики была решающей для Гете, — и нет сомнения, что Жан-Поль это понимал, не отождествляя Гете и Шиллера, разграничивая их. Но вся суть была в том, что само понимание практики и тот уровень, на котором эта практика должна была строиться, были очень различны у Гете и у Жан-Поля. Вместо мелкого буржуазного или заранее иллюзорного гротескно-утопического мира жан-повелевской «практики» Гете шел к созданию величественного образа целесообразного общественного труда. Гете понимал практику (даже в тех произведениях, где она как будто принимает непосредственную форму буржуазного хозяйничанья) несравненно глубже, социальнее и всеобщее, чем Жан-Поль, который никогда не сумел создать своего Фауста.

Поиски цельности, монистической и органической трактовки мира приводили Жан-Поля и в непосредственное соседство с более поздними романтиками. Как раз романтизм послепфизтевского периода, начала восьмидесятих годов, привлекает Жан-Поля своей попыткой теоретического «снятия» противоположности между идеальным и реальным.

В романтических воззрениях на мир и на искусство Жан-Поль думал найти секрет сочетания величайшей разбросанности и субъективности художественного произведения с величайшей цельностью и единством.

Фридрих Шлегель требует, чтобы «роман во всем составе своей композиции» находился «в отношении к единству, более высокому, чем мертвое формальное единство, от которого он так часто отступает и в праве отступать»; он заявляет, что «это более высокое единство заключается в идейной связи, в наличии духовного средоточия». Ко всему этому Жан-Поль явно присоединяется, когда говорит в своей эстетике, что каждый роман должен приютить у себя всеобщий дух, который «должен тайно, и не препятствуя свободному движению, объединять и вести к единой цели историческое целое, как некий бог свободное человечество». Наличие тайной высшей закономерности во внешней свободе — такой композиции мира придерживается теперь теоретически Жан-Поль. Однако очень характерно, что Жан-Поль пытается уточнить общие понятия романтиков,<sup>1</sup> хотя в конечном счете конкретное выражение «высшего единства» и «всеобщего духа» в жан-полевских произведениях принимает чрезвычайно плачевные формы. Помимо авторских рефлексий и сентиментализма, это сюжетная и прочая фантастика, разнообразные чудеса, которые в конце концов очень натянуто разъясняются.

Романтический псевдосинтез не мог удался Жан-Полю хотя бы потому, что он в своем художественном творчестве всё же охраняет реальную действительность от растворения в мистическом «высшем единстве». Даже в своей «Эстетике» он выступает прежде всего против уклоняющихся от конкретного мира «поэтических нигилистов», которых, хотя и с оговорками, представляет у него глава романтиков — Новалис. В своей практике Жан-Поль отмежевывался от реакционного смысла синтетического искусства романтики.

В свою очередь романтики, очень многим обязанные художественной практике Жан-Поля в период формирования своих эстетических воззрений, признавали его все же далеко не полностью. Для Шлегеля Жан-Поль был

<sup>1</sup> Он сам приводит примеры: в «Геспере» духом является «идеализация действительности» (т. е. восторженная сентиментальность), в «Титане» — «война титанов» (т. е. титаническое возмущение человека). «Зибенкэза» Жан-Поль примером не приводит: очевидно, его «дух» казался Жан-Полю, автору «Эстетики», слишком низким!

слишком «kleinstädtisch» (жителем маленького города), а надо было быть «gottesstädtisch» (жителем божьего града). Со свойственной романтикам двойственностью, критической силой и бессилием в позитивных замыслах Шлегель очень правильно указал на мещанскую ограниченность Жан-Поля, но призывал его к субъективизму и мистике!

Затушевать и пригладить свои противоречия Жан-Полю не удавалось. К счастью, потому что борьба этих противоречий составляла основу реалистичности и художественной высоты Жан-Поля.

## 16

Жан-Поль занимает совершенно особое и чрезвычайно почетное место в немецком романе 90-х гг.

В эту эпоху изображение реальной жизни вообще отодвинулось на второй план. На авансцену выступил «черный», «рыцарский», «разбойничий» роман Г. Х. Хейнзе, Шписа, Крамера, Вехтера и т. д. «Черный роман» (в той или иной мере этот роман расцветает во всех литературах Запада) служил выражением смутной, хаотической картины мира, которая возникала в сознании бюргерства, не могущем раскрыть и воплотить социальную действительность реалистически. Характеристика Маркса, которую он дал штирнеровской философии истории как логическому продолжению всей немецкой философской историографии, помогает нам понять, почему именно в этой форме происходило постижение и изображение исторической действительности бюргерскими идеологами.

Маркс пишет:

«Гегелевская философия истории — это последний, достигший своего «чистейшего выражения» плод всей этой немецкой историографии, для которой все дело не в действительных и даже не в политических интересах, а в чистых мыслях... Еще последовательнее святой Макс Штирнер, который решительно ничего не знает о действительной истории: ему исторический процесс казался просто историей о «рыцарях», разбойниках и призраках...»<sup>1</sup>

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, *Немецкая идеология*, Партиздат, 1933, стр. 30. Подчеркнуто мною. В. А.

К периоду, когда в виде реакции на французскую революцию немецкое мещанство стояло на крайне консервативной и чисто умозрительной позиции, это определение Маркса кажется нам приложимым.

Поучительно само употребление термина «истории о «рыцарях», разбойниках и призраках» (прямая метафора из области литературы, — так как именно так называют черный роман конца XVIII века).

Любопытно, что у некоторых представителей «разбойничьего и рыцарского романа» сохраняются освободительно-бунтарские традиции. Недаром у истоков этого романа стоят такие имена и произведения, как гетевский «Гец» и шиллеровские «Разбойники». Благородные разбойники, злодейские монахи и тираны то и дело встречаются в произведениях Вебера, Крамера, Филиберта и др. Но изображение противоречий современности в их подлинном, конкретном виде, изображение «действительной истории» требовало совершенно иной, несравнимо более значительной остроты художественного взгляда.<sup>1</sup>

Современность попадала в поле зрения лишь романа сентиментального, растворявшего ее в чувствительности героев и смывавшего все объективные противоречия слезами, и присутствовала в романе немецкого классицизма.

«Ученические годы Вильгельма Мейстера» поднимают психологический роман воспитания морицовского типа на высоту философского и социального романа воспитания. Социально-педагогический смысл романа — в создании цельного, гармонического человека, стоящего над противоречиями реального классового общества, — этот идеальный человек должен был быть к тому же человеком практическим, уметь хозяйствовать.

На параллельность гетевского и жан-полевого идеалов мы уже указывали. Есть большая близость и в принципах художественного построения этого идеала.

Воспитание Вильгельма Мейстера совершается благодаря таинственным направляющим силам из «общества башни». Не свободное развитие героя, а зависимое, руко-

---

<sup>1</sup> Особое место, занимаемое Жан-Полем в отношении показа немецкой действительности, подтверждается словами Маркса, ссылающегося на Жан-Поля как на источник информации о Германии соответствующих эпох. «Немецкая идеология», стр. 176.

водимое, ведет к высокой намеченной цели. Но кто же руководит героем? Здесь Гете вводит две инстанции: непосредственно руководство привлекается, по ходу романа, в форме таинственных событий, необъяснимых происшествий, — роман приобретает вид как бы «*Gespengeschichte*», где на судьбу героя влияют мистические силы, к которым герой относится с подозрением и недоверчиво. Но впоследствии мистический, ирреальный характер «руководящих сил» снимается, они оказываются воплощением принципа разумного гуманизма, явлением чисто человеческим — содружеством благородных и мудрых людей.

Если в готическом, в черном романе людьми руководит некий мистический хаос (такой вид приобретают здесь общественные отношения, определяющие человеческую судьбу), вторгающийся в жизнь, то у Гете сам мистический хаос оказывается руководимым. Если для «рассказов о привидениях» конкретная действительность была лишь видимостью, за которой скрывалось таинственное, то для Гете видимостью было также само таинственное. К концу романа оно снималось и, по мысли Гете, руководство конкретной действительностью оказывалось в руках людей, стоявших посреди этой действительности, порожденных ею, но сумевших особенно хорошо и универсально развить свою человеческую природу. Таким образом в «Вильгельме Мейстере», в конечном счете, должна произойти реабилитация реального мира — человеческой судьбой все же управляют люди.

Именно это было одной из причин, почему романтики в конце концов разочаровались в «Вильгельме Мейстере». Они хотели, чтобы третий, окончательный план романа подымал его в мир мифологии и религии, — в этом направлении развивается «Генрих фон Офтердинген» Новалиса.

«Три этажа» встречаем мы, впрочем, и в ряде готических романов — действительность, таинственное, разъяснение тайн. Однако разъяснение тайн означало здесь лишь их сведение к случайностям, которые никак не вышались над уровнем исходного плана эмпирической случайной действительности. «Разъясняющийся» готический роман был движением внутри, возвращением к прежнему состоянию. Между тем весь смысл «Вильгельма

Мейстера» в том, чтобы третий план был качественно иным, чтобы с вершины его башни открывался наиболее пространный и поучительный вид; действительность по замыслу возвращается тут существенно обогащенной.

Незаконченный роман Шиллера «Духовидец» обнажает эту тенденцию классического романа, давая ее более внешне и упрощенно. Он весь построен на том, что в реальный мир врываются таинственные, мистические силы, которые, однако, перекрываются иными силами: сначала еще более таинственными и мистическими, а затем человеческими, реальными, имеющими глубокий смысл и содержание, — таков был замысел Шиллера, оставшийся неосуществленным. В ранних подготовительных работах к «Титану» в качестве одного из образцов, по которым Жан-Поль хотел равняться, назван именно «Духовидец» («Вильгельм Мейстер» тогда еще не был закончен).

Воспитательная линия жан-повелевского романа использует принцип тройного плана, но непосредственное сближает действительность с утопическим идеалом. Развитие этой линии состоит в том, что мистическое расширяется и нарастает. Так, колоссальное развитие получил промежуточный мистический план в «Титане». Под объединенным воздействием классицизма и романтизма действительность оказывается здесь игрушкой в руках у загадочных волшебных сил, но когда дело доходит до «третьего плана», до осмысления всей этой мистики, то получается нечто маловразумительное, натянутое и глубоко прозаическое.

Художественная неудача всей классическо-романтической линии «Титана», его классической идеальной композиции и его романтических чудес свидетельствовала о невозможности для Жан-Поля органически усвоить ни метод классицизма, ни метод романтики. В какой-то степени это должен бы ощутить и сам Жан-Поль;<sup>1</sup> действительно,

---

<sup>1</sup> Вернее, он ощущал это все время. Противоречивость Жан-Поля проявлялась в постоянной внутренней борьбе. Характерно, что у него одновременно создавались два произведения, по существу отрицающих друг друга (например, «Зибенкэз» рождался параллельно с первыми замыслами «Титана»).

в дальнейших произведениях (назовем хотя бы почти одновременные с «Титаном» «Озорные годы» и значительно более позднюю «Комету») соответствующим элементом объявляется война, которая проводится методами иронии и пародии.

«Озорные годы» хотят спасти принцип воспитания, сблизив его с реальной жизнью, с одной стороны, и, с другой стороны, дав его сюжетную случайность и нетипичность открыто, резко-гротескно.

Итак, в лучших романах Жан-Поля обе его «романские линии» объединяются, воспитательный сюжет материализуется и переосмысливается, сближаясь с «бытописанием», с обширным «фундаментом» жанр-полевского мира.

## 17

Роман Жан-Поля является синтезом, пусть несовершенным, важнейших тенденций в развитии романа XVIII века. Дело не в том, что у Жан-Поля переплетаются элементы романа воспитания, например, с элементами семейного романа. Это лишь внешняя сторона. Дело в том, что Жан-Поль органически соединяет тенденцию к воплощению общественных конфликтов и закономерностей в отдельных, узких «клеточках» буржуазного общества (преимущественно в отдельном изолированном человеке, в семье) с тенденцией к конкретному показу многообразия самого этого общества. Жан-Поль не подменяет частной жизни отдельными элементами ее, но и не показывает этой частной жизни в виде хаоса, путем разрозненного и бессвязного перечисления составляющих ее элементов.

Жан-Поль подымает бытописание до романа и притом (это как раз и выделяет Жан-Поля) он не жертвует по случаю этого переноса конкретностью, богатством и многообразием «быта», вообще общественной жизни, сохраняя за собой право энциклопедичности. Направление его развития: изображение в романе не только «одной биографии», одной человеческой жизни, но всей жизни в целом. И в этом смысле заслуживает особого внима-

ния созданный им особый мир, живущий не внутри одного его произведения, а во всей их совокупности, отдельные элементы которого часто даже совершенно непонятны и не завершены, если судить о мире на материале лишь одного произведения. Разрешая значительнейшее противоречие романа XVIII века, Жан-Поль нащупал тот принцип, который в XIX веке стал ведущим при создании эпических изображений общественной жизни в ее целостности, при осмыслении и изображении ее как некоего космоса — принцип цикличности.

Не в рамках одного романа, не в пределах одного человеческого существования, не через изолированную семью, даже не в пределах отдельного круга людей, целой, но обособленной социальной группы может быть создано подлинное эпическое изображение общественного целого. Зрелость буржуазных отношений в XIX веке, возрастающая оформленность буржуазного общества и одновременное обнажение подлинной сути капитализма, подлинных пружин буржуазной деятельности, вообще всей анатомии капиталистической эксплуатации, — вот что создает предпосылки для великих замыслов эпического охвата всего общественного организма.

Мы имеем в виду, естественно, Бальзака. Но ведь гениальная «Человеческая комедия» не одинока. Ведь к тому же идеалу нового эпоса, в разных формах и с разным успехом, стремились и Гейне с его «Путевыми картинами» (где эпическая всеобщность и энциклопедичность достигались путем колоссального напряжения противоречивости героя, через которого был виден мир) и весь немецкий «Zeitroman», сильно снижавший этот огромный замысел, — а в какой-то степени и Сю и Теккерей. Ведь во второй половине века попытке Бальзака на несравненно более низком уровне будет подражать Золя. И если не у всех у них цикличность выступает в чистом виде, то как раз блистательный пример Бальзака учит нас, что эта форма была весьма пригодна для целей высокого реализма в романе.

Известно, что романтическая теория оказала существенное влияние на создание реалистической литературы XIX века, в частности на Бальзака. Особое значение имело

выдвинутое романтиками требование универсальности, всеобъемлющей функции искусства. Между тем на создание немецкой романтической теории, особенно в разделах, касающихся романа, немалое влияние оказал Жан-Поль. Он был для ранних романтиков одним из немногих писателей, чье творчество, по их мнению, содержало в себе следы универсальности, гротеска, вообще романтики. Жан-Поль является исходным пунктом для «Письма о романе» Фридриха Шлегеля, — здесь, правда, преимущественно подчеркивается фантазия, гротеск, вообще преувеличиваемый романтиками субъективизм Жан-Поля, но ведь для романтиков субъективизм являлся необходимым условием подлинной универсальности, ибо только он, по их мнению, обеспечивал свободное и, следовательно, плодотворное овладение миром.

Во всяком случае мы вспоминаем о знакомстве Фридриха Шлегеля с Жан-Полем, когда читаем в его «Фрагментах»: «Не излишне ли писать более одного романа, если художник за это время не стал новым человеком? Очевидно, что романы одного и того же времени тесно связаны друг с другом и в известном смысле составляют один большой роман».

Здесь дается в субъективистской интерпретации, как это и характерно для раннего романтизма, лозунг циклического романа.

Все вышесказанное не нужно понимать в том смысле, что Жан-Поль явился прямым или косвенным учителем Бальзака и всего реализма XIX века. В какой-то степени это было бы верно. Ибо Жан-Поль непосредственно подготовил во многом Гейне, он оказал влияние на Э. Т. А. Гофмана, а последний был хорошо известен Бальзаку. Но не в этом заключается главное.

И независимо от таких прямых воздействий огромно значение Жан-Поля как писателя, в творчестве которого нашел себе яркое выражение великий переход от одного этапа мировой литературы к другому, от одного вида реализма к другому — более высокому. Великое достоинство Жан-Поля — в том, что он, находясь между двумя великими отрядами реализма, оставался и сам, в своей основе, реалистическим писателем.

Ненависть и презрение широких масс народа к оковам феодально-бюрократического государства и к капиталистической эксплуатации пронизывают все творчество Жан-Поля. Клеветой и злостным искажением исторической истины является поэтому попытка фашистских «литературоведов» представить Жан-Поля чуть ли не певцом немецкой ограниченности, мещанином, вполне удовлетворенным своим рабским и нищенским положением. Как мы показали, Жан-Поль жестоко клеймит и осмеивает убожество тогдашней Германии, выступает гуманистом и космополитом. В реалистическом показе крушения сентиментально-мещанской идиллии состоит основная заслуга «Зибенкэз», но и до этого романа и после него Жан-Поль, при всей своей противоречивости, никогда не складывал оружия, не отождествлял себя с Марией Вуцом.

Белинский некогда писал: «Вообще из сочинений Жан-Поля можно было выбрать для перевода на русский язык не одну весьма полезную книжку». Нам кажется, что это замечание Белинского не потеряло своего значения и по сейчас. А в первую очередь интересен и полезен для современного советского читателя будет, по нашему мнению, именно «Зибенкэз».



ЦВЕТЫ, ПЛОДЫ

*и*  
*Тернии*

или

СУПРУЖЕСТВО,

СМЕРТЬ и СВАДЬБА

*Ф. Ст.*



**ЗИБЕНКЭЗА,**

*адвоката*  
*для бедных*

ВИМПЕРСКОМ МЕСТЕЧКЕ

КУШНАППЕЛЬ





## ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Какая мне польза от того, что это новое издание «Зибенкэза» я выпускаю с величайшими увеличениями и улучшениями, какие только от меня зависели? Правда, его будут покупать и читать, но не будут долго изучать и достаточно тщательно оценивать. Пифия критики прорицала мне столь же неохотно, как Пифия древней Греции другим вопрошавшим смертным, и только жевала листья лавра, не возлагая лаврового венца на голову, возвещая лишь немного или же совершенно безмолвствуя. Так, например, автор настоящей книги еще прекрасно помнит, что за второе издание своего «Геспера» он взялся, держа в правой руке садовничью пилу, а в левой — окулировочный нож, и чрезвычайно много поработал ими над своим творением; однако тщетно ожидал он, чтобы об этом появились пространные сообщения в ученой и неученой прессе. Значит, он может сколько угодно хозяйничать в своих новых изданиях (тому порука и свидетели — «Фикслейн», «Осенние цветочные богини», «Введение в эстетику», «Левана»), развешивать в них новые картины и повертывать к стене старые, выселять и вселять идеи, улучшать или ухудшать различные поступки и убеждения своих персонажей, — короче говоря, обращаться с изданием в тысячу раз бесцеремоннее, чем критик или сам дьявол: ни тот, ни другой не заметят этого и ни единым словом не известят публику; но при таких условиях я мало чему научаюсь, не знаю, что у меня

получилось хорошо, а что плохо, и лишаюсь, быть может, причитающейся мне хвалы.

Таково положение дел. Впрочем, это довольно естественно: читатель наиболее враждебный полагает, что автора не исправит никакая критика, а наиболее восторженный убежден, что автор не нуждается ни в каких поправках; оба согласны лишь в том, что все его творения вытекают и выливаются у него просто сами собою, как у травяных тлей на заднем конце их тела вытекает медвяный сок, столь лакомый для пчел, но что, в отличие от упомянутых пчел, автор не трудится над изготовлением своего меда и соответствующего воска.

Действительно, многие желают, чтобы каждая строка оставалась непосредственным излиянием и творческим порывом, — как будто ее улучшение не является в свою очередь тоже непосредственным творческим порывом. Другие критики вообще не становятся ни на чью сторону, а потому предпочитают стать на две сразу. Чтобы выразить это кратко, я мог бы ограничиться следующим замечанием:

Во-первых, они спрашивают: «Почему поэт не дал своему сердцу свободно говорить?» Во-вторых, если он это сделал, то они восклицают: «Насколько полнее и богаче высказывалось бы такое сердце, пользуясь грамматикой искусства и критики!»

Но ту же мысль я могу изложить и гораздо пространнее, что и делаю ниже. Если поэт слишком резко обуздывает себя, если он меньше следует зову своего мощно пульсирующего сердца, чем хитросплетениям искусства, и критикой дробит свой многоводный поток на мельчайшие струйки пота, то эти люди отмечают: «Поистине, чем шире и стремительнее бьет струя водомета, тем выше она взлетает, побеждая и пронизывая воздух, тогда как тонкая струя рассыпается на полупути». Если же автор поступает наоборот, если он в едином порыве изливает все свое переполненное сердце и дает волнам своей крови свободно мчаться, то упомянутые критики заостряют свой период, — но не той метафорой, которой я от них ожидал. «Произведение искусства, — говорят они, — подобно бумажному змею, который взлетает все выше, если маль-

чик тянет и удерживает его за бечевку; если же дитя его отпустит, он тотчас же опускается».

Мы возвращаемся, наконец, к нашей книге. Пожалуй, наиболее крупные поправки в ней — это исторические. Дело в том, что со времени первого издания мне удалось посетить и осмотреть самое место действия, Кушнапель (о чем уже давно сообщалось в «Письмах Жан-Поля»), а также, путем переписки с самим героем, ознакомиться с неопубликованными эпизодами его семейной хроники, о которых, конечно, нельзя было бы узнать никаким иным путем, если только я не захотел бы попросту выдумывать их. Я раздобыл даже новые *Лейбгуберианы*, которые меня несказанно радуют, так как я теперь могу сообщить их публике.

Далее, новое издание выиграло в том, что из него изгнаны все те слова-чужестранцы, которые отнимали место у самых способных здешних уроженцев. Кроме того новое издание обогатилось тем, что оно тщательно очищено от всех неудачных окончаний родительного падежа в сложных или составных существительных. Конечно, необычайно трудную работу выметания букв и слов на протяженных четырех толстых книг никто, не исключая и благодарного потомства, не способен оценить так высоко, как сам метельщик.

Таковы важнейшие улучшения, о которых я был бы весьма рад получить отзыв любезных критиков, поскольку они согласятся сравнить оба издания: он увеличил бы мою эрудицию, а может быть, и славу. Но так как нет ничего скучнее сопоставления старого текста с исправленным, то я сдал в книжный магазин берлинских реальных училищ печатный текст старого издания, в котором легко сразу найти все места, где черная типографская краска исправлена черными чернилами (то есть все зачеркнутые места); нередко там встречаются умерщвленные полустраницы и целые страницы, так что есть от чего прийти в изумление. Конечно, критику, который живет далеко от Берлина (и, подобно критику из окрестностей Берлина, мало расположен тянуть лямку корректуры и сличать каждую страницу обоих изданий), пришлось бы удовольствоваться тем, что он может положить томы обоих изданий на две

чашки весов для приностей и посмотреть, что получится: тогда он увидит, что новое издание весит гораздо больше старого. Из строгости, проявленной мною в отношении второго издания, оба критика легко могли бы сделать вывод о моей строгости в отношении первого, а из количества помарок в печатном тексте сделать вывод о предшествующих помарках в рукописи; для меня это безусловно было бы торжеством.

*Д-р Жан-Поль Фр. Рихтер.*

Байрейт, сентябрь 1817.

## ПРЕДИСЛОВИЕ,

*которым мне пришлось усыплять негоцианта Якоба Эрманна, так как я хотел рассказать его дочери «Дни собачьей почты» и настоящие «Цветы» и т. д., и т. д.*

Когда из книгоиздательства, выпускавшего в свет оба названных произведения, а, следовательно, из Берлина, я накануне Рождества 1794 года прибыл в город Шерау, то, выйдя из почтовой кареты, я сразу же направился в дом господина Якоба Эрманна (моего бывшего судебного сеньера), так как имел венские римессы, которым он мог найти отличное применение. Даже малому ребенку понятно, что я тогда совершенно не думал о предисловии: было очень холодно — уже наступило 24 декабря, уже горели фонари, — и я промерз и ооченел не менее, чем туша дикой козы, которая, в качестве безбилетного пассажира, приехала со мною в почтовой карете. В самой лавке, изобиловавшей дующими сквозняками и дутыми ценностями, такой разумный составитель предисловий, как я, не мог бы работать, ибо там уже находилась составительница их — дочь Эрманна (она же — продавщица в его лавке), снабжавшая устными предисловиями продаваемые ею наилучшие из имеющихся рождественских альманахов, книжонки мелкого формата, напечатанные на пропускной бумаге, но с содержанием поистине из золотого и серебряного века: я имею в виду сборники пустословных изречений, полные сусального золота и серебра, которыми Рождество, подобно осени, золотит или, подобно

зиме, серебрит свои дары. Я не осуждаю бедную служительницу прилавка за то, что она, осаждаемая столь многими покупателями этого праздничного вечера, едва кивнула старому поставщику столь многих праздничных вечеров, — мне, старому клиенту, и, хотя я только что прибыл из самого Берлина, сразу же направила меня внутрь дома, к отцу.

Там внутри, в конторе, пылали дрова в печи, и пылал гневом сам Якоб Эрманн: он тоже сидел над книгой, но не для составления предисловия к ней, а для записей и выписок, выводя общий баланс своего *libro maestro*. Он уже дважды просуммировал его, но к ужасу своему убедился, что сумма кредита упорно превышает сумму дебета на четверть шиллинга, то есть на 13½ крейцеров в цюрихской валюте. У этого человека было достаточно хлопот с самим собой, а также с рукояткой счетной машины, работавшей в его голове; он лишь мельком взглянул на меня, хотя я в свое время был подчиненным ему судьей, а теперь привез венские римессы. Для коммерсантов, которые, подобно обслуживающим их возчикам и корабельщикам, чувствуют себя как дома во всем мире и к которым другие суверены торговли, даже из самых отдаленных стран, ежедневно отправляют послов и посланников, а именно коммивояжеров, — для этих коммерсантов нет ничего замечательного в том, что человек прибыл из *Берлина* или из *Бостона*, или из *Багдада*.

Привыкнув к такому холодному отношению коммерсантов, я спокойно стоял у огня и предавался размышлениям, которыми я намерен здесь поделиться с читателями.

Дело в том, что, стоя у печки, я мысленно исследовал публику и нашел, что ее можно разделить на три категории — на *покупающую, читающую и избранную публику*, подобно тому, как многие мистики различают в человеке тело, душу и дух. *Тело*, или покупающая публика, состоящая из дельных теоретиков и дельцов-практиков, это истинное *corpus callosum* империи, требует и покупает самые крупные, объемистые и увесистые книги и поступает с ними как женщины с поваренными книгами, а именно — раскрывает, чтобы работать, руководствуясь ими. С точки зрения этой части публики, на свете имеется два рода явных безумцев, отличающихся друг от друга лишь на-

правлением своих сумасбродных идей, причем у одного рода это направление слишком глубокое, а у другого — слишком высокое, — короче говоря, здесь подразумеваются философы и поэты. Уже Нодеус, перечисляя ученых, которые за их познания в средние века почитались чародеями, делает остроумное замечание, что это случалось лишь с философами, но отнюдь не с юристами и теологами; а в настоящее время, когда благородный образ чародея и мага, spiritus rector'ом и шотландским великим мастером которого был сам сатана, унижен кличкой шарлатана или циркового мага и фокусника, философ вынужден мириться с тем, что и его трактуют как такового. Участь поэта еще плачевнее: философ все же имеет в университете свой четвертый факультет, является должностным лицом и может читать лекции по своим предметам; но поэт — ничто и ничего собою не представляет в государстве, — иначе он не рождался бы поэтом, а производился в этот чин имперской дворцовой канцелярией, — и люди, которые считают себя в праве его критиковать, бесцеремонно упрекают его за то, что он пользуется выражениями, не принятыми ни в быту, ни в синодальной переписке, ни в общих служебных уставах, ни в *conclusis* имперского дворцового совета, ни в медицинских диагнозах и в историях болезней; за то, что он явно расхаживает на ходулях; за то, что он напыщен и никогда не изъясняется достаточно *подробно* или *кратко*. Однако я убежден, что подобные суждения о поэте не менее правильны, чем классификация соловьев у Линнея, который не обратил внимания на их пение, а потому справедливо причислил их к смешным трясогузкам, отличающимся угловатостью движений.

Вторая часть публики — *душа*, или читающая публика, — состоит из девушек, юношей и праздных людей. Я воздам ей хвалу в дальнейшем, ибо она читает всех нас, причем имеет привычку пропускать непонятные страницы, заполненные лишь умствованиями и болтовней, предпочитая, подобно честному судье и следователю, придерживаться фактов.

Избранную публику, или *дух*, я мог бы и не упоминать; те немногие, которые, подобно Гердеру, Гете, Лессингу, Виланду и еще нескольким, умеют ценить не только ис-

кусство всех наций и все эстетические ценности, но и более возвышенные, как бы космополитические красоты, составляют меньшинство при голосовании; но они еще и потому мало существенны для автора, что не читают его.

Во всяком случае, они не заслуживают того благоволения, с которым я, стоя у печки, вознамерился подкупить великую покупающую публику, эту действительную опору книготорговли. Надо сказать, что я хотел формальным порядком посвятить «Геспера» или кушнапельского «Зибенкэза» судебному и торговому сеньеру Якобу Эрманну. Но это было лишь маской.

Дело в том, что Якоб Эрманн — такой человек, пренебрегать которым не приходится. В течение четырех лет он был служителем амстердамской биржи, то есть в качестве купеческого понамаря звонил с без четверти двенадцати до полудня в биржевой колокол. — Затем, путем подкопов и стяжательства, он превратился в главу солидного торгового дома, отнюдь не живя открытым домом, и возвысился до ранга хранителя печати или, точнее, хранителя целой коллекции дворянских печатей, красовавшейся в разрозненном виде на долговых обязательствах благородного дворянства. — Подобно знаменитым писателям, он отказывался от общественных должностей, предпочитая писать: но общинная милиция города Шее-рау (у которой душа обычно на месте, а именно — в наиболее безопасном месте, и которая, когда неприятельские войска проходят через город, смело появляется перед ними в качестве зоркого обсервационного корпуса) принудила его стать ее капитаном, хотя он и готов был удовольствоваться должностью ее поставщика сукон. — Он достаточно честен, особенно в своих отношениях с кушцами, и, будучи весьма далек от того, чтобы по примеру Лютера сжечь книги церковного права, выжигает в гражданском праве лишь некоторые статьи по части седьмой заповеди или даже только прижигает их (как венская цензура полузапрещенные книги), и то лишь когда имеет дело с людьми из категории возчиков, ответчиков или дворянчиков. Перед таким человеком я могу без угрызений совести слегка покурить благовонным фи-  
миамом, чтобы в возносящихся волшебных парах эта

фигура, достойная кисти голландской школы, казалась увеличенной подобно шрепферовскому призраку.

Теперь я хотел бы дополнить его портрет несколькими штрихами, свойственными покупающей публике вообще. Ведь Якоб Эрманн является ее портативной миниатюрой: подобно своему прототипу, он ценит лишь хлебные и питейные занятия; не признает никаких речей, кроме застольных, и предпочитает политиканствующие газетки ученым; знает, что магнит создан лишь для того, чтобы притягивать брошенные к нему ключи от лавки, пробочник — для того, чтобы вытаскивать пробку, а дочь Паулина — чтобы заменять и тот и другой (впрочем, она может тащить на себе также более тяжелые вещи и с большей силой); в мире ему неизвестно ничего более священного, чем хлеб насущный, а потому он глубоко презирает городского живописца, счищающего хлебными шариками пятна пастели. Якоб Эрманн и его сыновья, замурованные в трех ганзейских городах, не читают и не пишут ни одной книги, менее значительной, чем грессбух и черновая книга. . .

«Чорт побери, — размышлял я, греясь у жарко натопленной печки, — ведь для покупающей публики мне ни за что не найти лучшего воплощения, чем Якоб Эрманн, который является лишь ее отпрыском или частицей. — Однако публика может не понять моего замысла», — вдруг подумал я и, в виду этой погрешности в моих расчетах, составил на сегодня совершенно иной план.

Как только я обнаружил ошибку у себя, дочь Эрманна, войдя в комнату, нашла ошибку у отца, а заодно вывела и общий баланс. . . Теперь отец удосужился взглянуть на меня и удостоить меня своим вниманием; когда же я предъявил в качестве верительных грамот венские заемные письма, которые он ценит в той же мере, как Паулиновы письма или письмена поэтов, — то из немой фрески на стене конторы я превратился в нечто одушевленное и обладающее желудком: с этим последним я был приглашен к ужину.

Теперь — хотя бы критики натравили на меня все немецкие земли, и хотя бы по случаю этого похода отлили новый трофейный колокол, как в память турецкой войны, — я откровенно скажу, что прибыл к Эрманну и

остался у него только ради его дочери. Я знаю, что эта добрая душа прочла бы все мои новейшие произведения, если бы старик оставлял ей хоть сколько-нибудь досуга; именно поэтому я считал своим нравственным долгом усыплять отца если не пением, то разговором, а затем рассказывать бодрствующей дочери все то, что я рассказываю публике через посредство печатного станка. Понятно, что в виду такой цели я всегда приходил беседовать с Эрманном в дни, посвящаемые им корреспонденции, когда он был утомлен и легко засыпал.

В этот рождественский вечер мне предстояло изложить свои «Сорок пять дней собачьей почты» приблизительно за такое же число минут: столь длинное произведение предполагало достаточно долгий сон отца.

Мне бы хотелось, чтобы гг. редакторы рецензий и рецензентов, вменяющие мне здесь многое в вину, хоть один раз посидели на канаве рядом с моей тезкой Иоганной Паулиной: они рассказали бы ей большинство моих жизнеописаний и половину синей библиотеки в таких же удачных и связных выдержках, как они это делают, выстукая со своими статьями перед совершенно иными лицами; они утопали бы в блаженстве от правдивости слов Паулины, от наивного выражения ее лица, от непринужденности и шаловливости ее поступков и, взяв ее за руку, сказали бы: «Пусть поэт всегда создает для нас только такие трогательные творения, как то, что рядом с нами, и тогда мы признаем его за достойнейшего». — Да, если бы редакторы зашли еще дальше в пересказывании книг и растрогали бы самих себя и Паулину еще больше, чем я мог ожидать от столь строгих судей-критиков, и если бы они тогда увидели или, вернее, почти перестали различать взором, затуманенным слезами, ее кроткое заплаканное лицо (ибо девичья душа, подобно золоту, тем мягче, чем она чище) и в небесном блаженстве, конечно, почти забылись бы сами и забыли о храпящем отце. . . Клянусь небом! Я сам теперь донельзя забылся, так что предисловие рискует затянуться до завтра. Придется уж мне, очевидно, в дальнейшем быть хладнокровнее. . .

Мне кажется вероятным, что в рождественский вечер писание писем весьма утомило негоцианта и судебного сеньера, так что для быстрого его усыпления требовался

лишь человек, способный держать долгую и цветистую речь. Таким человеком несомненно был я. Но вначале, за ужином, я, естественно, касался лишь вопросов, доступных пониманию хозяина. Пока он еще держал вилку или ложку, и пока еще не была прочитана молитва, произносимая после трапезы, он был еще неприспособлен для длительного сна; поэтому я развлекал его немаловажными веселыми рассказами — застреленным и выпотрошенным пассажиром (вышеупомянутой дикой козой), — попутно и несколькими банкротствами мелочных торговцев, — своими мыслями о войне с Францией, — утверждением, что берлинская Фридрихштрассе имеет полмили в длину и что в Берлине существует большая свобода печати и торговли; я отметил также, что, путешествуя по различным немецким землям, я мало видел таких мест, где нищие дети не отменяли бы (в качестве высшей или ревизирующей инстанции) приговоры газетных корреспондентов. Дело в том, что газетные писаки своими чернилами, словно живой водой, воскрешают всех павших на поле брани и могут ими снова воспользоваться для ближайшей баталии, тогда как солдатские дети, напротив, охотно умерщвляют своих родителей, чтобы просить милостыню, ссылаясь на списки убитых, и готовы за пфенниг застрелить своего отца, которого газетный чудотворец за грош снова воскресит, так что обе стороны, путем встречного вранья, становятся хорошим взаимным противоядием. Вот почему газетный корреспондент, подобно знатоку орфографии, не может связывать себя Клопштоковским правилом «писать лишь то, что слышишь».

Когда со стола убрали скатерть, я увидел, что пора качать колыбель, в которой лежал капитан Эрманн. Уж очень толст был мой «Геспер». В прежние времена у меня бывало достаточно времени, и обычно, чтобы сложить для сна лепестки этого большого тюльпана, я начинал с войны и воинственных возгласов, затем переходил к естественному праву или, точнее, к естественным правам (ибо каждая ярмарка и каждая война создает новые), — после чего мне оставалось лишь несколько шагов до высших принципов морали, и таким образом я незаметно погружал негоцианта в целебный кладезь истины, словно в магнетический бак; или же я подсовывал

ему под нос несколько философских систем, подожженных моими возражениями, и одурманивал его дымом до тех пор, пока он не падал обессиленный. . . Тогда наступал мир, тогда я и дочь открывали окно наружу, к звездам и цветам, и я утолял жажду этой бедной души медвяным соком прекраснейшей флоры поэзии. . .

Таким путем я обычно шел прежде.

Сегодня я избрал более краткий путь. После молитвы, ознаменовавшей окончание трапезы, я сразу же насколько возможно углубился в дебри непонятого и обратился к торговому представительству эрманновской души, к его телу, с вопросом, не встречается ли среди владетельных князей больше картезианцев, чем ньютонианцев.

«Я имею в виду отнюдь не вопрос о животных, — говорил я медленно и монотонно, — которых Декарт считал бездушными машинами, причем в эту категорию было безвинно зачислено и благороднейшее животное — человек. Нет, моя мысль и вопрос заключаются в следующем: великий Декарт усматривал главное свойство материи в протяженности, а еще более великий Ньютон — в цельности; верно ли, что, подобно этому, важнейшим свойством государства многие князья считают протяжение, и лишь немногие — солидарность и единство».

Он испугал меня бойким ответом: «Единственно солидные люди, платящие по своим обязательствам, — это флаксенфингенский и . . . ский князь».

Теперь дочь поставила возле стола бельевую корзину, а на самый стол поставила ящичек со штемпельными буквами, чтобы полностью отпечатать на рубашках своих ганзейских братьев их имена. Когда же я увидел, что она извлекла из корзины и подала отцу высокую белую тиару, а взамен получила низенькую парадную ермолку, то это побудило меня заговорить так темно и скучно, как того требовали появление ночного колпака и моя собственная цель.

В виду того, что Эрманну мои книги и вообще вся изящная литература внушали самую искреннюю антипатию, я решил добить и прикончить его именно этими ненавистными материями. Мне удалось нанести такой удар: «Господин капитан, я почти опасаюсь, что вам, в конце концов, покажется странным, почему я до сих пор вас не ознакомил сколько-нибудь подробно с двумя моими но-

вейшими opusculis, или творениями, из которых более раннее называется, как это ни странно, «Дни собачьей почты», а более позднее — «Цветы». Но если я сегодня сообщу хоть самое существенное из первого и хотя бы лишь через восемь дней дополню его вторым, то, как мне кажется, я этим немного заглажу свою вину. На меня падает вся ответственность за то, что вы ничего не знаете о первом opus'e и, может быть, принимаете его за гербовник или за трактат о насекомых, или за идиоматический словарь, или за старый Codex, или за Lexicon Nomenclaticum, или за сборник диссертаций, или за полный конторский справочник, или за героические поэмы и эпосы, или за убийственные проповеди... Однако это просто хорошая повесть, хотя и с прослойками из всех вышеперечисленных трудов. Конечно, господин капитан, я бы сам желал, чтобы это было что-нибудь лучшее и, в особенности, хотел бы сделать это творение настолько ясным, чтобы его можно было и читать и сочинять в полусне. Впрочем, господин капитан, я еще мало знаком с вашими критическими воззрениями, а потому не знаю, предпочитаете ли вы английский или афинский стиль; но моей повести, пожалуй, повредит, что в ней можно обнаружить такие места (надеюсь, немногочисленные), в которых содержится более одного смысла, или всяческая образность и цветистость, или же кажущаяся серьезность, за которой скрываются полное отсутствие серьезности и сплошные шутки (а ведь немцу непременно изволь подать его излюбленный деловой слог); в особенности же я опасаюсь, что, несмотря на все мои усилия, в этом столь обширном произведении мне не удалось с желаемым успехом подражать современным рыцарским романам, которые часто вызывают у нас иллюзию, будто они действительно написаны доблестными и простодушными старинными рыцарями, лучше владевшими тяжким булатом, чем легким пером. — Кроме того в моей книге я мог бы чаще допускать нескромности и смущать слух дам, как это найдут многие светские люди; ведь книги, оскорбляющие не высокопоставленных, а лишь высоко нравственных читателей, и подрывающие не государственный строй, а лишь библейскую мораль, отнюдь не считаются непристойными и даже, напротив, причисля-

ются к той части нашего литературного достояния, которая предназначена для того, чтобы красоваться на ночном столике и быть литературной утварью именно для женщин (очевидно, на том основании, на каком 25 § 10 de aug. arg. и руководствовавшийся им покойный Хоммель причислили ночные сосуды к mundo muliebru, то есть к женской домашней утвари)».

Тут я спохватился, — но слишком поздно, — что этими словами я навел его на игривые мысли. Я перескочил было на другую тему и добавил: «Вообще для запрещенных книг самое надежное хранилище — это библиотеки общего пользования, обслуживаемые обычными библиотекарями: их угрюмые лица успешнее, чем запреты цензуры, отпугивают публику от чтения». Однако Якобус все же высказал свою мысль: «Паулина, напомни мне завтра, что Штенциха все еще не уплатила налог, причитающийся с непотребных женщин». Мне было крайне досадно, что когда я уже почти на все сто процентов усыпил капитана, тот вдруг снова выпалил нечто такое, чем в одно мгновение был развеян по воздуху мой лучший снотворный порошок. Вообще труднее всего нагнать скуку на того, кто сам всегда является ее источником; я скорее возьмусь наскучить за пять минут знатной и несколько не деловой даме, чем за столько же часов — деловому человеку.

Милая Паулина, которой сегодня так хотелось выслушать повесть, отвезенную мною в рукописном виде в Берлин, вынула поодиночке из ящичка несколько букв для штемпелевания белья и потихоньку сложила из них у меня на ладони: «Рассказывайте». Это означало, что я сегодня непременно должен рассказать «Дни собачьей почты» этой славной наборщице (которая, впрочем, печатала не на бумаге, а на сорочках).

Я возобновил атаку и, вздохнув, повел такую речь: «Господин старший судья, ваш покорный слуга своим новейшим произведением приведет в движение в Берлине буквы такой же формы, и, подобно высокочтимым именам ваших трех сыновей, мои «Дни почты» будут набраны на первосортных рубашках (но уже побывавших в виде тряпья под голландером и превратившихся в почтовую бумагу). Однако я должен сознаться, что когда я

сидел в почтовой каретѣ, подсунув правую ногу под пакет с моей рукописью, а левую под тюк с прошениями, посланный вдогонку за шеераусским князем, выехавшим в армию, то мне нечем было утешаться, кроме естественной мысли: пусть сам чорт этим займется. Да только никто не занимается этим в меньшей степени, чем именно он! Ведь в такую эпоху, как наша, когда оркестр всемирной истории еще только настраивает инструменты для будущего концерта, а потому все они, пока звучат вразброд, невероятно визжат и свистят (по этой причине одному марокканскому посланнику при Венском дворе настройка инструментов понравилась больше, чем опера), — в такую эпоху, когда трудно отличить труса от храбреца, ленивого от деятельного, увядшего от цветущего, подобно тому как теперь, зимой, плодоносные деревья по внешнему виду не отличаются от засохших, — в такую эпоху для автора существует лишь одно утешение, о котором я сегодня еще не думал, а именно: что он все же может вполне освоиться с этой эпохой, в которую высшая добродетель, любовь и свобода сделалась редкостными фениксами и китайскими соловьями, и может до тех пор рисовать всех этих птиц, пока они сами не прилетят к нам; когда же они в своих прообразах присутствуют на земле, то их описание и восхваление становятся для нас, поэтов, пресным и противным занятием, просто толчением воды в ступе. — Для печатного прессы работает лишь тот, кто неспособен проявить себя делами».

«По работе и плата, — перебил меня бодрствовавший коммерсант, — торговое дело всегда прокормит дельца, но писание книжек, это немногим лучше, чем бумагопрядение, а от прядения уже совсем недалеко до нищенства. Не в обиду вам будь сказано, все неудачливые бухгалтера и обанкротившиеся купцы принимаются в конце концов за фабрикацию арифметических учебников и прочих книжонок».

Читатели видят, как мало уважения к себе я внушил торгующему и командующему Эрманну тем, что занимался творчеством вместо коммерции, хотя помимо того, в качестве саксонского младшего нотариуса, я в любое время суток оказывал ему помощь при протесте вексе-

лей. Мне известен образ мыслей экстраординарных профессоров этики; но я все же берусь оправдаться перед ними в том, что от такого возмутительного обращения со мною я сразу же пришел в ярость и на грубые выходы этого субъекта (хотя он уже был невменяем) без всякого снисхождения ответил не более, не менее, как — дословным пересказом «Добавочных листков» из «Геспера».

Этим он был окончательно добит — то есть усыплен. . .

Тогда для его дочери и для автора настоящей книги вззошли бесчисленные звезды счастья, тогда настал наш праздник исхода, — тогда я смог стать с нею в нишу окна и рассказывать ей все то, что давно уже находится на руках у читателей. Я пропустил (да и то по веским соображениям) лишь последнюю главу «Геспера», в которой я, как известно, возведен в сан князя. Поистине, слаще всего на свете посылать могучее войско на выручку заточенному в темницу, осаждаемому проповедями нежному, невинному сердцу, которое не смеет согреться даже семейном балом (хотя бы у самого супер интендента и его супруги) и даже чтением романа (хотя бы его сочинил сам местный судья); сладко как мед — выручить из осады изголодавшееся сердце и расширить хоть одну петлю в густой монашеской вуали, чтобы сквозь шелку показать закутанной душе цветущий, мерцающий сказочный мир, — раскрыть ей глаза и исторгнуть из них слезы затаенных мечтаний, — вознести ее над ее помыслами, освободить кроткое сердце от долгого гнета тоски, от тяжких оков, убаюкивать его, овеять весенним дыханием поэзии и в ее теплой и влажной атмосфере выращивать в этом сердце лучшие цветы, чем те, что восходят на иной почве. . .

К часу ночи я уже подошел к концу и добрался до сорок четвертой главы; чтобы рассказать три части романа, мне потребовалось всего только три часа, так как, имея в виду дамскую аудиторию, я вырвал из книги все «Добавочные листки». «Если отец — покупающая публика, то дочь — читающая публика, и ее не следует мучить тем, что непосредственно не относится к действию», так сказал я и пожертвовал моими любимыми отступлениями, дебри которых вообще отнюдь не выигрывают от такого очаровательного соседства. . .

Тут старик кашлянул, поднялся с кресла, спросил, который час, пожелал мне сперва доброй ночи и, тем самым лишив меня таковой, заставил удалиться, после чего увидел меня только через восемь дней, в новогодний вечер.

Мои читатели наверное еще не забыли, что в тот вечер я обещал нанести следующий визит, так как желал и считал своим долгом рассказать хозяину о «Цветах, плодах и терниях», то есть именно о настоящей книге.

Заверю благосклонного читателя, что я ему здесь излагаю события в точном соответствии с действительностью.

Итак, в последний вечер 1794 года, на багряных волнах которого умчалось в море вечности столько окровавленных трупов, я снова явился к Эрманну. Хозяин оказал мне холодный прием, который я наполовину приписал тогдашней холодной погоде (ибо в морозы и люди и волки становятся особенно свирепыми) и наполовину — венским римессам, то есть их отсутствию, — на этот раз у меня не было решительно никаких деловых поводов для визита. Но ведь я намеревался выехать из Шерау в день нового года, с четверговой почтой, и мне очень хотелось рассказать милой, дорогой Паулине еще несколько *Paulina*, а именно — лежащее перед вами сочинение, ибо я знал, что это единственный товар, который никогда не попадет на прилавок ее лавки; а потому ни один редактор, если он — человек с принципами, не должен гордиться из-за моего вторичного появления. Если все же найдется такая горячая голова, то пусть хоть выслушает, какой у меня был план: я хотел сначала подарить тихо цветущей душе Паулины «Цветочные эскизы», как две фантазии, мозаично составленные из цветов, — затем «Терновый эскиз»,<sup>1</sup> где мне приходилось отломить шиш, то есть изъять сатиры, чтобы для нее там осталась лишь причудливая повесть, — и под конец (как и в самой книге) предстояло поднести «Плодовый эскиз» в качестве

---

<sup>1</sup> Так были действительно расположены все «Эскизы» в первом томе первого неисправленного издания; но доброй Паулине, разумеется, безразлично, что во втором, столь значительно улучшенном издании, я больше забочусь об интересах всех немецких читателей, а потому располагаю весь материал во многом иначе.

сладкого фруктового десерта; и в этом наливном спелом плоде, в яблоке (откуда я предварительно выжал бы устно весь холодящий философский сок, который впоследствии был в нем оставлен типографским прессом) я хотел бы засесть сам в качестве яблочного червя. Это было бы прекрасным переходом к моему уходу или прощанию, так как я не знал, случится ли мне, после того как станет известным мое новое княжеское звание, когда-либо еще раз увидеть или услышать Паулину, этот цветок-полип, с его трепетными, нежными щупальцами, которые лишены зрения, но обладают чувством и лишь потому тянутся к свету. Для общения со старым гнилым стволом, на котором цвел этот полип, у меня, помимо венских римесс, было мало поводов.

Однако, несмотря на всю близость справедливых пожеланий нового года, старому году еще предстояло завершиться неисполнившимся пожеланием.

Впрочем, я мало в чем могу себя упрекнуть, ибо на хозяина, на этот ходячий Ост-Индский торговый дом, я постарался нагнать скуку и сон, как только я пришел и он уселся. Единственное приятное, что я ему сказал, заключалось в следующем: так как судебный сеньер Эрманн произнес несколько оскорбительных эпитетов по адресу моего преемника, то есть теперешнего подчиненного ему судьи, то я распространил эти эпитеты на всех юристов, тем самым возвысив пасквиль до уровня благородной сатиры, и прибавил сладким голосом: «Я могу представить себе адвокатов и клиентов в виде построенной в два ряда пожарной команды, заливающей жажду золота; первый ряд клиентов передает сверху вниз пустые ведра или кошельки, а полные передаются снизу вверх во втором, адвокатском ряду». Вот и все.

Как мне кажется, с моей стороны не было необдуманым, что Эрманну, этой покупающей публике в малом масштабе, длиной и шириной лишь в несколько футов, я изобразил обширную покупающую публику в таких чертах, в которых он мог усмотреть намеки на собственную личность; ведь я хотел лишь испробовать на нем, что скажет настоящая покупающая публика в ответ на следующие мои размышления: «Нынешняя публика, господин капитан, постепенно превращается в солидную

Норд-Ост-Индскую компанию и, как мне кажется, по части солидности уже может начать конкурировать с голландцами, для которых как ром, так и романы — лишь статья экспорта и которые аттической соли предпочитают настоящую, использованную Бёкельсцооном для засолки рыбы; хотя Эразму, не евшему рыбы, они за его аттическую соль воздвигли статую, я их оправдываю тем, что статую изобретателю засолки они заказали еще того раньше. Даже Кампе, который авторов прялки и брауншвейгского пива ценит никак не меньше, чем резчиков и пивоваров наших героических поэм, признает мою правоту, если я скажу, что из немца теперь уже вырабатывается нечто стоящее, а именно степенный, положительный человек, — оборотливый человек, — деловой человек, — умудренный летами человек, который умеет отличить питательное от мечтательного и умеет вытравить последнее, который не смешивает честных авторов с презренными контрафакторами и, тем более, не смешивает почтенных мануфактуристов ни с теми, ни с другими, — спекулянт, который, подобно курицам, улетающим от арф со струнами из лисьих кишек, не может внимать ни одной поэтической арфе, хотя бы струны для нее арфист свил из своих собственных внутренностей, — который вскоре не позволит ничего рисовать, кроме как на ярлыках тюков с товарами,<sup>1</sup> и не позволит ничего печатать, кроме как на ситце».

Тут я, к своему изумлению, увидел, что коммерсант уже заснул и закрыл лавочку своих органов чувств. Мне было досадно, что я его напрасно боялся и держал к нему столь длинную речь: тут я сыграл роль чорта, а он — роль царя Соломона, которого сатана ошибочно считал живым.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Убедительно прошу ту часть публики, изображая которую, я имел в виду торгующего и командующего Эрмана, не принимать вышесказанного на свой счет; ведь я здесь лишь пошутил, и мое намерение совершенно ясно.

<sup>2</sup> В Коране сказано, что черти были вынуждены служить царю Соломону. После его смерти из него набили чучело, которому посредством жезла, вложенного в руку, и другого, упертого в крестец, придали такую позу, что оно сидело, как живое. Даже сами черти заметили обман лишь после того, как задняя ось была источена червями, и монарх скувырнулся. См. «Коран» С. Бойзена в «Восточной библиотеке» Михаэлиса.

Для того, чтобы слушатель, усыпленный моей речью, не проснулся от внезапного молчания, я продолжал спокойно разговаривать с ним, но в то же время постепенно отступал и ускользал по направлению к окну, говоря *diminuendo*, то есть все более тихим голосом, следующее: «И вот, я твердо надеюсь, что эта публика когда-нибудь научится предпочитать кухонную утварь священной и, решая вопрос о моральном и философском кредите какого-либо профессора, будет прежде всего спрашивать: «Хороший ли это человек?» И далее, можно надеяться, что теперь, дражайшая слушательница (добавил я, не изменяя тона, чтобы спящему слышались все те же звуки), я смогу рассказать вам «Цветы, плоды и тернии», которые я не успел еще набросать на бумаге и которые я сегодня легко доведу до конца, если вы там (это относится к отцу Якобусу) будете достаточно долго спать».

И вот я начал свой рассказ следующим образом:

N. S. Так как «Цветы, плоды и тернии» уже фигурируют непосредственно ниже, в самой книге, то было бы смешно, если бы я захотел полностью повторить их в предисловии. Однако к концу первой книги я добавлю конец предисловия и этого новогоднего вечера, а затем возьмусь за второй том, чтобы читатели смогли получить его к Пасхе.

*Жан-Поль Фр. Рихтер.*

Гоф, 7 ноября 1795 г.

З Ш Б Е Н К Э З



П Р А В Д И В А Я

*п о в е с т ь*

о

Т Е Р Н И Я Х





# ЗИБЕНКЭЗ



ПЕРВАЯ КНИГА



## ПЕРВАЯ ГЛАВА

*День свадьбы с суточной просрочкой. — Двойники. — Двухактный квинтет из блюд. — Застольные речи. — Тройные объятия.*

Зибенкэз, адвокат для бедных в имперском местечке Кушнапель, провел весь понедельник, глядя в слуховое окно и ожидая появления своей невесты; она должна была прибыть из Аугсбурга рано утром, незадолго до заутрени, чтобы успеть выпить чего-нибудь теплого и немного закусить, прежде чем начнется церковная служба и свадебный обряд. Местный школьный советник, который как раз к этому дню должен был вернуться из Аугсбурга, обещал захватить с собою в качестве обратной поклажи нареченную Зибенкэза и привязать ее свадебную колесницу или приданое к своему сундуку, позади повозки. Невеста, уроженка Аугсбурга, — единственная дочь покойного лютеранского магистратского писца Эгелькраута, — жила в Фуггеровом квартале, в просторном доме, пожалуй, большем, чем иной салон, и вообще была не без средств, так как в отличие от придворных субреток, переведенных на пенсию, питалась трудами своих рук, а не чужих; к ней в руки, раньше чем к самым богатым барышням, попадали новейшие женские головные уборы (хотя и такого формата, что их не могла бы надеть даже утка), и по этой маленькой модели она изготовляла в крупном масштабе прекраснейшие чепцы, если они были заблаговременно заказаны.

Во время ожидания Зибенкэз не делал ровно ничего (если не считать сделанных им нескольких клятвенных заявлений, что поиски выдумал чорт, а ожидание — его бабушка!). Наконец взамен новости к нему еще довольно рано прибыл ночной курьер с письмом, в котором школьный советник сообщал, что ранее вторника он и назначенная ни в коем случае не смогут прибыть, так как они еще работают, она — над своим подвенечным платьем, а он — в библиотеках бывших иезуитов и тайного советника Цопфа и братьев Фейт, а также занимается некоторыми городскими воротами. Последние, как известно, хранят еще для нас римские древности.

Однако мотыльковый хоботок Зибенкэза находил в каждом синем цветке чертополоха судьбы достаточно раскрытых нектариев; так, в этот незаполненный понедельник он мог в последний раз пройтись напильником и гладилкой по своей комнате, смести со стола писчими перьями припудрившую его пыль и просыпанный из песочницы песок, истребить бумажный мусор, накопившийся за зеркалом, с неимоверным трудом оттереть и сделать более белой фарфоровую чернильницу, выдвинуть вперед и выстроить в ряд на тронном помосте шкафа масленку и кофейные чашечки и начистить до яркожелтого блеска медные гвозди кожаного дедовского кресла. Это новое очищение храма он предпринял в своей комнате лишь от скуки, ибо ученый считает порядком лишь тот порядок, в котором находятся книги и бумаги; кроме того адвокат утверждал, что «любовь к порядку, если ее правильно истолковать, является ничем иным, как похвальной готовностью человека в течение двадцати лет располагать какую-нибудь вещь всегда на одном и том же месте, тогда как самое это место может быть расположено, где ему угодно». — Он взял внаем не только просторную комнату, но и длинный красный обеденный стол, который он придвинул к другому, низкому, а также высокие кресла; хозяев мебели и комнаты, которые все проживали в том же доме, он тоже намеревался взять во временное пользование для своего понедельничного праздника, который, следовательно, протек бы великолепно, так как совпал бы с понедельничным праздником гостей:

большинство жильцов дома были простые ремесленники, и лишь домохозяин был человеком несколько более высокого ранга, а именно парикмахером.

Я постыдился бы расходовать драгоценные краски моей палитры исторического живописца на изображение такого адвоката для бедных, который сам нуждается в подобном адвокате, будь это в самом деле так; но в моих руках побывали отчеты по опеке над моим героем, которыми я в случае судебного разбирательства могу в любое время доказать, что он был обладателем по меньшей мере тысячи двухсот рейнских гульденов, не считая процентов. К сожалению, у древних и из собственного юмора он почерпнул неоспоримое презрение к деньгам, к этим металлическим колесам механизма, движущего человечество, к этому циферблату нашего достоинства, хотя благоразумным людям, например купцам, человек, наживающий деньги, внушает не менее почтения, чем тот, кто их раздаривает (подобно тому как наэлектризованный человек и при втекании и при истечении эфира приобретает светящийся ореол вокруг головы). Более того, Зибенкэз даже говорил — а прежде и осуществлял это на деле, — что иногда нужно в шутку навешивать на себя нищенскую суму, чтобы приучить к ней спину на случай, если придется сделать это всерьез; и он полагал, что спасает себя и заслуживает похвалу, упорно утверждая, будто легче терпеть бедность по примеру Эпиктета, чем избрать ее по примеру Антонина, и что легче, будучи рабом, спокойно дать сломать свою собственную ногу, чем оставить в целости ноги своих рабов, владея скипетром длиною в целый локоть. Поэтому Зибенкэз ухитрился прожить десять лет вне Кушнаппеля и полтора года в самом местечке, не потребовав от своего опекуна ни одного крейцера процентов с наследства. Свою невесту, лишенную как родителей, так и денег, он хотел неожиданно ввести в качестве штейгерши в снабженный прочным креплением серебряный рудник, каковым он считал свои тысячу двести гульденов с недоплаченными процентами; и поэтому во время своего краткого пребывания в Аугсбурге он усердно внушал ей, будто имеет лишь хлеб насущный и вынужден немедленно расходовать на свое пропитание скудный заработок, добытый в

поте лица, но работает не хуже кого иного и не нуждается ни в чьей помощи. «Будь я проклят, — давно уже сказал он, — если я женюсь на такой, которая знает о моем доходе; женщины и без того уже считают мужа за воплощенного чорта, которому они отдают свою душу, а часто и ребенка, чтобы злой дух приносил им неравную монету и пищу».

В этот понедельник за самым долгим летним днем последовала самая долгая зимняя ночь, хотя чисто астрономически это невозможно. На следующее утро спозаранку приехал школьный советник Штибель; из ковчега своей кареты (ученого человека изысканные манеры украшают вдвойне) он извлек манекен для чепцов, взамен невесты, а затем, приказав выгрузить прочее ее приданое, заключившееся в обитом белой жемчужной дорожном сундуке, взял манекен подмышку и взбежал с ним наверх к адвокату. «Ваша высокочтимая невеста, — сказал он, — прибудет сейчас же вслед за мной; она остановилась в фольварке, чтобы принарядиться к свадьбе, и просила меня поехать предупредить вас, чтобы вы не беспокоились. Поистине, она подобна жене, которую ставит в пример Соломон, и я искренно вас поздравляю с такой супругой!»

«Господин адвокат Зибенкэз, моя красавица? Я могу вас проводить к нему, он у меня самого и находится. любезнейшая, и я готов вам услужить» — сказал парикмахер внизу, у дверей, и хотел вести ее под-руку наверх; но так как у нее еще оставался в повозке второй манекен для чепцов, то она обхватила его, как ребенка, левой рукой (парикмахер тщетно пытался сам понести манекен) и, неуверенно шагая, поднялась за хозяином в комнату к обоим мужчинам. Жениху она лишь протянула, с глубоким реверансом и тихим приветом, правую руку, и на полном круглом личике — на нем все было округлое, лоб, глаза, рот и подбородок — лилии сменились пышно расцветшими розами; но тем милевиднее выглядело оно под большой черной шелковой шляпой, а белоснежное муслиновое платье с многоцветным искусственным букетом и белые кончики башмаков придавали еще больше прелести застенчивой фигуре невесты. Так как до начала свадебного обряда и для выполнения парикмахерского уже оставалось мало времени, она поспешно развязала

ленты своей шляпы, а миртовый веночек (спрятанный под нею от взоров посторонних людей во время пребывания в фольварке) положила на стол, чтобы ее голова, подобно головам прочих участников предстоявшего торжества, могла быть, как должно, причесана и напудрена уже приготовившимся к тому домохозяином.

Милая моя Ленетта! Хотя невеста для всякого, кто на ней не женится, а для меня тем более, много дней остается скудным, жалким священным хлебом, выставленным лишь для поглядения, а не для съедения, однако я делаю изъятие для одного часа, а именно для предсвадебного утра, когда она прощается со своей прежней свободой и, трепеща в своем тяжелом уборе, вся в цветах и перьях (которые как в буквальном, так и в переносном смысле скоро будут оборваны судьбою), с тревожным и задумчивым взглядом, в последний раз делится с матерью прекрасными изливаниями своего сердца; да, для меня трогателен этот час, когда она, в своем брачном наряде, справляет на разукрашенном помосте празднество, приносящее ей столько разлук и лишь один новый союз, — когда мать отвращается от нее, уходит к другим детям и покидает ее, боязливую, с чужим человеком. О радостно трепещущее сердце, — думаю я в этот час, — не всегда будешь ты так биться в тяжелые годы брачной жизни. Нередко тебе придется проливать собственную кровь ради большей устойчивости при нисхождении в старость, подобно тому как охотники за сернами держатся на липкой крови собственных пяток. Когда девушки завистливым взглядом провожают невесту на пути в церковь, я хотел бы подойти к ним и сказать: не завидуйте так сильно блаженству бедняжки — быть может, это лишь обманчивая мечта. Ах, ведь брачное яблоко красоты и раздора вы, как и невеста, сегодня видите лишь со стороны, освещенной солнцем любви, где оно так румяно и нежно; но скрытую в тени зеленую, кислую сторону яблока не видит никто. И если вам когда-либо довелось от души сострадать несчастной супруге, которая через десять лет случайно вынула из сундука свой обветшалый подвенечный наряд и вдруг залилась слезами, оплакивая утраченные за десять лет отрадные иллюзии, —

то уверены ли вы, что никогда такую не увидите ту, которая сегодня в праздничном блеске проходит мимо вас и внушает вам зависть?

Но я не сбился бы здесь на этот чуждый растроганный тон, если бы не представил себе слишком живо тот миртовый веночек под шляпой Ленетты (только я до сих пор не хотел говорить о своих чувствах) и ее одиночество сироты, лишенной матери, и ее напудренное белорозовое личико, и, в довершение всего, ту готовность, с которой она вложила свои юные мягкие ручки (ей было едва ли больше девятнадцати лет) в полированные железные браслеты брачных цепей, даже не поглядев, куда ее в этих цепях поведут. . . Я мог бы здесь поднять персты и принести присягу в том, что жених был растроган так же, как я, если не больше, — в особенности когда с цветущего лица невесты, напудренного подобно аврикуле, он нежно стер пудру и оставил его цвести неприкрытым. Но он был вынужден проявлять большую сдержанность, чтобы любовные эликсиры и слезы счастья, переполнявшие его сердце, не могли перелиться через край и осрамить его перед веселым парикмахером и серьезным школьным советником. Кроме того подобные излияния были для него несносны и сами по себе. Он скрывал даже самые чистые чувства и старался закалить себя против них, потому что всегда помнил о поэтах и актерах, дающих фонтанам своей чувствительности бить напоказ, и потому что вообще ни над кем не смеялся так часто, как над собой. Поэтому сегодня его лицо было сведено и искажено странной неловкой усмешкой, которую не позволял превратно истолковать лишь влажный блеск его глаз. Наш герой вскоре заметил, что, ограничиваясь ролью подручного при парикмахере или провиантмейстера, хлопочущего над завтраком, он еще недостаточно скрывает свои чувства, а потому прибегнул к более сильному средству и начал расхваливать перед Ленеттой самого себя и свое движимое имущество, причем спросил: «Не правда ли, m-lle, местоположение моей комнаты весьма приятное? Отсюда я могу глядеть прямо в окна ратуши, на стол для заседаний и на чернильницы. — Многие стулья были куплены весной, причем за них переплачено более, чем втрое: и они, по всей вероятности,

привлекательны. Но мое старое уютное дедовское кресло (он сел на него и положил на его пухлые ручки свои тощие руки), кажется, ведет за собою стулья в grosфатере; как мирно они здесь выстроились и покоятся рука об руку. — Моя скатерть украшена изящно вытканными цветами, но кофейный поднос, как я слышал, заслуживает предпочтения за свою лакированную флору; во всяком случае, оба они приносят вам свою цветочную дань. — Мой Лейзер весьма украшает комнату своими «Meditationes», переплетенными в свиную кожу, а кухня выглядит еще красивее: горшки там выстроились друг подле дружки, а рядом с ними находится все прочее, в том числе даже дробилка для заячьих костей и вилка, служившая для снятия со сковороды тех зайцев, которых стрелял мой покойный отец».

Невеста так весело улыбулась ему, что мне начинает казаться, будто она в своем Фуггеровом квартале через двадцать составленных вместе слуховых трубок и рупоров услышала почти всю правду о тысяче двухстах рейнских флоринах жениха и о процентах с них; тем понятнее мне, что читатели с нетерпением ждут того часа, когда он вручит невесте эту сумму.

Моим читательницам будет небезынтересно узнать, что жених шествовал со своей модисткой к заутрене и к венцу, облачившись в праздничный коричневый фрак и не затянув шею узким галстуком, а волосы — жгутом заплетенной косы, и на пути, для собственного удовольствия, сатирически представлял себе ехидные взгляды кушнапельских кумушек, провожавшие незлобивую незнакомку через рыночную площадь вплоть до самого алтаря, где она должна была принести в жертву свою девичью фамилию. «Если замужня женщина умеренно сплетничает, — всегда говорил Зибенкэз, — то ее надо скорее поощрять, чем осуждать за это занятие, так как оно несколько компенсирует ей комплименты, которых она лишилась». — Тем временем советник Штибель охранял комнату новобрачных и набрасывал на письменном столе краткий критический разбор некой программы.

Хотя я теперь вижу влюбленную пару коленопреклоненной у перил алтаря и мог бы снова осыпать ее, как цветами, моими пожеланиями и, в частности, мог бы вы-

сказать пожелание, чтобы она уподобилась супругам на небе, которые, согласно видению Сведенборга, всегда сливаются в одного ангела, — впрочем, на земле они, разъярясь, нередко тоже свариваются в одного ангела, а именно — падшего, причем глава жены, муж, изображает собою бодливую голову дьявола, — итак, я мог бы пожелать... Но мое внимание, как и внимание всех свидетелей брачного обряда, отвлечено необыкновенным случаем — появлением загадочной фигуры на хорах, за доской с обозначением песенного репертуара.

Действительно, сверху вниз глядит (а потому все мы, находящиеся в церкви, смотрим снизу вверх) дух Зибенкэза, как сказало бы простонародье, то есть тело Зибенкэза, как оно должно было бы сказать. Когда жених поглядит вверх, он может побледнеть и вообразить, что видит самого себя... Но публика ошибается: он лишь покраснел. Наверху стоял его друг Лейбгебер, который уже много лет тому назад поклялся прибыть на его свадьбу с единственной целью — двенадцать часов под ряд выслушивать его. Подобный княжеский союз двух столь редких душ встречается не часто. Одинаковое пренебрежение к претендующим на величие ребяческим шалостям жизни; одинаковая вражда к мелочности при всей снисходительности к мелкоте; одинаковая ненависть к бесчестному своекорыстию; одинаковая готовность смеяться в том сумасшедшем доме, которым является наша прекрасная земля; одинаковое равнодушие к голосу молвы, но не к голосу чести, — все это было лишь первыми признаками сходства, делавшего их единой душой, приписанной сразу к двум телам, словно к двум церковным приходам. Что они были молочными братьями по образованию и были вскормлены одинаковыми науками, вплоть до юриспруденции, я тоже не считаю наиболее существенным, так как именно одинаковые учебные занятия часто становятся растворителями, разъедающими дружбу. Даже и самое несходство их разноименных полюсов (так, Зибенкэз предпочитал прощать, а Лейбгебер — карать: первый скорее был Горациевой сатирой, а второй — Аристофановой площадной песнью, с непоэтическими и поэтическими шероховатостями) не было решающим для их взаимного влечения. Но подобно тому, как подруги охот-

но носят одинаковые платья, души этих двух друзей носили полонез и утренний костюм жизни, то есть свои два тела, с одинаковыми обшлагами, окраской, петлицами, обшивкой и покроем: у обоих был тот же блеск в глазах, тот же землистый цвет лица, та же долговязая тощая фигура и так далее: ведь сходство лиц вообще встречается чаще, чем думают, но эту игру природы замечают лишь тогда, когда таким телесным отражением обладает коронованная особа или великий человек. Я бы очень хотел, чтобы Лейбгебер не хромал, дабы его нельзя было отличить по этому признаку от Зибенкэза, тем более, что ту свою приметку, которая могла его сделать не похожим на Лейбгебера, Зибенкэз искусно вытравил и уничтожил, заставив околеть на означенной примете живую жабу; это было пирамидальное родимое пятно возле левого уха, имевшее форму треугольника или зодиакального света, или сгустившегося хвоста кометы, а говоря короче — ослиного уха. Наполовину из дружбы и наполовину вследствие склонности к смехотворным сценам, разыгрывавшимся в обыденной жизни, когда их принимали друг за друга, они хотели еще дальше продолжить свое алгебраическое уравнение, а именно — хотели носить одинаковые имя и фамилию. Но это вовлекло их в нежную распрю; каждый хотел сделаться тезкой другого, пока наконец они не уладили распрю тем, что оба остались при обмененных именах, подражая в этом таитянам, у которых влюбленные, обмениваясь сердцами, обмениваются и именами. Так как прошло уже много лет с тех пор, как мой герой лишился своего честного имени, уворованного дружественным похитителем, и взамен получил другое честное имя, то здесь, в этих главах, я уже ничего не могу поделать и вынужден всюду регистрировать его в качестве *Фирмиана Станислауса Зибенкэза* (как я его уже представил у порога), а другого — в качестве *Лейбгебера*, хотя я и без указаний критиков знаю, что более комичное имя «Зибенкэз» больше подходит к более юмористическому характеру пришельца, с которым публика рано или поздно должна будет познакомиться еще лучше, чем со мною самим.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> «А именно — в самой длинной, но и в самой лучшей биографии из всех, когда-либо мною написанных, — для которой мне еже-

Когда оба двойника увидели друг друга в церкви, то их покрасневшие лица странным образом сморщились и смягчились, что заставило зрителя улыбаться до тех пор, пока он не сопоставил их со взорами, плавающими в текущем огне трогательнейшей любви. В то время как менялись кольцами, Лейбгебер вдали, на хорах, вынув из кармана ножницы и четвертушку черной бумаги, вырезал силуэт невесты. Обычно он утверждал, будто во время его бесконечных путешествий вырезание силуэтов является для него походной хлебопекарней, и так как этот загадочный человек, повидимому, не хочет открыть, с каких высот текут те ключи, которые внизу брызжут на него талерами, то я предпочитаю добродушно и доверчиво повторить здесь то, что он часто говорил о своем силуэтном искусстве: «Ведь даже при разрезании белой бумаги переплетчику, писцу и адвокату вместе с бумажными обрезками переппадают и нарезанные ломти хлеба; при разрезании же черной бумаги, будь то для силуэтов или при вскрывании белых траурных писем с черной каймой, человеку переппадает еще больше. А если он вполне овладел свободным искусством изображать своего ближнего в очерненном виде посредством различных конечностей, например языком (что немного умеет делать и сам он, Лейбгебер), то фортуна — эта истинная вавилонская блудница — лишится от усталости рук и ног, звеня дорожным колокольчиком и обеденным колоколом такого человека».

Еще до того, как викарий закончил обряд возложения рук, Лейбгебер сошел вниз; подойдя вплотную к обитой красным бархатом предалтарной скамье, он произнес, когда обряд свершился, следующее приветствие, пожалуй, несколько более длинное, чем следовало после полугодовой разлуки и при таких узах дружбы: «С добрым утром, Зибэнкэз!» Встречаясь по прошествии многих лет, никогда они не говорили друг другу больше этого; а потому и при воскресении из мертвых Зибенкэз

---

дневно подвозят к дверям целые телеги деловых бумаг, актов, аттестатов и т. д. Ибо я не желаю написать ни одного слова, которое я не мог бы подтвердить документами». Все это примечание было помещено в прежнем издании; но в теперешнем оно, очевидно, будет излишним, так как «Титан» уже давно находится у всех на руках.

ему будет отвечать совершенно так же, как сегодня: «С добрым утром, Лейбгебер!» Однако для деликатности, хотя и совместимой со всяческим юмором, двенадцатичасовое вышучивание, которым друзья, пока находятся в разлуке, нередко с легким сердцем грозят друг другу, сделалось невозможным вследствие того умиления, которое неизбежно наступает, когда наблюдаешь за вступлением друга в преддверие нового лабиринта нашего подземного бытия.

Теперь пред моим письменным столом воздвигается длинный свадебный стол, причем можно пожалеть, что его изображения нет на вазах, погребенных с Геркуланумом, — иначе оно было бы теперь выкопано вместе с ними и воспроизведено на мецпотинтовых копиях геркуланумской живописи, — и эти репродукции я мог бы здесь поместить вместо всего прочего. Творческие возможности моего пера мало кто ценит выше, чем я сам, но мне очевидно, что ни оно, ни я не в силах изобразить хотя бы с грехом пополам, черной манерой, какой вкусной показалась трапеза гостям (их было почти столько же, сколько стульев), — как здесь к тому же не сидел среди честных людей ни единый плут (ибо опекун жениха, тайный советник фон Блэз, не явился и, в качестве извинения, велел передать, что страдает рвотой), — как домовладелец и домохозяин, веселый чахоточный саксонец, сегодня выпивал, как обычно пудрил: не столько во здравие свое, сколько за упокой, — как стучали вилок по стаканам и мозговой костью по тарелкам, требуя наполнения первых и опорожнения вторых, — как во всем доме никто, ни сапожник, ни переплетчик, не трудились ни над чем, кроме еды, и как даже старая Забель (Сабина), обычно сидящая на корточках под пыльными серыми воротами, сегодня закрыла свою мелочную лавочку не одновременно с закрытием ворот, а раньше, — как была подана не одна лишь перемена блюд, но и вторая, — словно некий двойник, так что блюда начали даже двоиться в глазах. Конечно, тот, кому случалось кушать за столом у вельмож и кто видел там, как пять блюд при двух переменах выстраиваются по табели о рангах, не усмотрит ничего необычайного или чрезмерно пышного в том, что

Зибенкэз (для которого все было приготовлено парикмахершей) при первой перемене блюд велел поставить:

1) в центр — суповую миску или пруд из мясного бульона, где можно было ловить ложками раков, если бы эту жидкость не заправляли только раковыми шейками, — подобно тому, как тогдашним Конвентом уже заправляли только противники Робеспьера;

2) на первый конец света — прекрасный бычий торс или мясной четырехгранник, в качестве подножия для всего кулинарного шедевра;

3) на второй — шницель, безупречный образчик мясного товара, преподнесенный под сладким соусом;

4) на третий — не карпа, а целого бегемота, который мог бы проглотить пророка Иону, если бы сам не разделил участи сего мужа;

5) на четвертый — население целого курятника, запеченное в паштет, куда каждая из этих домашних птиц, подобно нзроду при выборах в ландтаг, послала свои лучшие части.

Не могу отказать себе и моим читательницам в удовольствии набросать здесь хотя бы слабый кулинарный эскиз второй перемены блюд:

1. В центре стола стояла, подобно корзине для садовых цветов, корзинка с испанским кресс-салатом. — 2. Далее на четырех углах его выстроились четыре силлогических фигуры или четыре факультета. — На первом углу стола восседал, в качестве первой фигуры и факультета, быстроногий заяц, отнюдь не похожий на босоногого монаха, ибо даже на сковороде сохранил он свои природные меховые штiblеты; но, несмотря на неповрежденные ноги, он (как правильно заметил Лейбгебер), в отличие от пехотинцев, уйдя из-под огня вражеских ружей, лишь благополучно угодил в полымя кухонного очага. — Вторая силлогическая фигура была представлена бычьим языком, почерневшим не от диспутов, а от копчения. — Третья фигура и факультет, а именно листовая капуста, но без кочерыжек, обычно служащая пищей обоим вышеназванным факультетам, теперь поедалась в качестве приправы к ним; так происходит на этом свете: один возносится, а другой низвергается. — Заключительная фигура состояла из трех фигур, испеченных

на масле, которые изображали новобрачных и их возможного в будущем младенца; эти три преобразенных тела, подобно телам трех отроков, вышедшие невредимыми из огневой печи и начиненные, вместо душ, изюминками, людоеды-гости сожрали, словно своих подданных, с кожей и с костями, за исключением лишь ручек младенца, который, подобно птице Фениксу, воплотился еще до начала своего бытия.

Эта картина утомляет меня. Между тем, ее еще требуется раскрасить, и здесь, при изображении роскоши пиршества, мне не отделаться, например, простейшим для меня сравнением ее с роскошью пиров саксонских курфюрстов. Правда, курфюрсты этого округа много чего потребляют (поэтому в прежние времена их ежегодно взвешивали), и мне прекрасно известно, что в начале XVI столетия один саксонский счетовод занес в свою приходо-расходную книгу следующую статью: «Сегодня наш милостивый курфюрст со своим двором изволили угоститься в трактире вином, за что я должен был уплатить *пятнадцать* гульденов. Вот это называется — *нализаться!*» Но что написал бы саксонский счетовод, с каким изумлением воздел бы он руки к небу, если бы он увидел в первой главе моей книги, что адвокат для бедных прокутил на целых три гульдена и семь грошей больше, чем его курфюрст.

Подобно многим природным источникам, которые днем останавливаются, водометы веселья в груди гостей к вечеру начали бить все выше. Правда, об адвокате предупредили честную компанию, что, как они помнят с университетских времен, право немца напиваться допьяна весьма сильно урезано государственной властью и что имперские указы от 1512, 1531, 1548 и 1577 годов запрещают пьянство; но вместе с тем не утаили, что Кушнапель, как и все имперские чины, имеет право не признавать в своих собственных владениях имперские законы, поскольку они являются частными законами. — Только школьный советник совершенно не знал (и, раздумывая об этом, он мысленно раз двадцать покачал головой), как ему отнестись к тому обстоятельству, что двое ученых или, по крайней мере, двое адвокатов, сочли возможным совершенно запросто и всерьез обмениваться шутками и

даже беседовать о всяких глупостях со столь неучеными плебеями и пустоголовыми невеждами, как те, что облокотились здесь о стол. Советник неоднократно пытался завязывать нити ученой беседы о новейших, превосходно отшлифованных речах для школьных актов и о многочисленных пристрастных рецензиях на эти речи; но адвокаты оставались равнодушными к его нитям и вместо того слушали в пересказе переплетчика речь, произнесенную им некогда в качестве подмастерья, возводимого в звание мастера (причем сапожник, по собственному почину, пришел и притачал к ней еще и речь сапожничьего подмастерья).

Зибенкэз, обращаясь ко всем сидевшим за столом, высказал общее замечание, что собрания знати отличаются от простонародных гораздо большею серьезностью, скукой и пустотой; если там случится, что празднество обойдется без чертовской и смертной тоски, то об этом говорят в течение целых недель, тогда как здесь каждый вкладывает в веселый словесный пикник так много своего, что редко ощущается нехватка чего бы то ни было, кроме пива. «Ах! — продолжал он. — Если бы в нашем сословии каждый поразмыслил, сколь достойны зависти низшие сословия и сколь справедливо в переносном смысле то, что издавна было истиной и в буквальном: грубый холст греет лучше, чем тонкое полотно или даже шелк, и в деревянном доме зимою теплее, чем в каменном, а летом прохладнее, — и, как признано всеми врачами, грубая черная ржаная мука несравненно более питательна, чем крупчатая белая. Точно так же нельзя не изумляться тому, что в Париже дамы, носящие в прическе брильянтовые шпильки, не умеют жить и в половину так безмятежно весело, как тамошние женщины, которые кормятся тем, что собирают дешевые шпильки в уличном мусоре. Изумительно также, что многие, в чьих печах горят лишь сухие еловые шишки в качестве собственноручно собранного суррогата ели (это замечание сидевшая за столом дровосберегающая компания приняла полностью на свой счет), часто умеют жить не хуже, чем те, кто может себе позволить лакомиться свежими еловыми шишками в засахаренном виде».

«Друг мой, адвокат для бедных, — отвечал Лейбгебер, — как правильно вы это сказали! В кабаке или в корчме, к счастью, даже самая тяжкая беда постигает каждого сразу; свою порцию побоев, пинков, ругани он получает немедленно, тогда как удовольствие растет лишь постепенно, вместе со счетом. Иначе происходит во дворцах: palais знати получают в Palais знатное угощение и удовольствие в одно и то же время для каждого рыла. Как травяные тли все сразу приподнимают свои зады и выбрызгивают сладкий сок,<sup>1</sup> так и здесь он поглощается одновременно и сообща; напротив, скукой, пресыщением и тошнотой, лишь постепенно и искусно распределяемыми среди многочисленных радостей, здесь одаряет и наделяет весь долгий Festin, подобно тому как собаку всю обмазывают рвотным лекарством, чтобы она его постепенно слизала и проглотила, а затем выблевала».

И много подобных речей было произнесено. Когда веселье уже идет во-всю, то оно возрастает само собою. Многие рядовые участники заседания воспользовались особой привилегией питья и судебного следствия, а именно стали говорить друг другу «ты». Даже господин в красном плюшевом фраке (советник любил носить этот костюм во время школьных каникул) облизывался и улыбался, млея, как старые девы в присутствии старых холостяков, и намекал, что хранит у себя дома две бутылки настоящего шампанского, достойные Горация. — «Так, значит, это — Non Mousseux?» — спросил Лейбгебер. — Советник, который именно лучшее шампанское принимал за худшее, ответил с некоторой надменностью: «Ну, уж если оно не будет шипеть, то я клянусь, что выпью его один». Бутылки были доставлены. На первой Лейбгебер осторожно распилил таможенную заградительную цепочку и, сняв с этой бутылки прикрывавший ее шлем, вскрыл ее как завешание... Я никогда не изменю своего мнения, что если оба бальзамоносных райских дерева жизни, остроумие и человеколюбие, когда-либо засохнут до самой верхушки, то им все же можно будет помочь хорошей поливкой из упомянутых бутылок: через три минуты деревья постанут рстски. — Когда в головах собутыльников

<sup>1</sup> Вильгельми, Беседы по естественной истории. Насекомые, т. I.

фольга напитка, серебристая пена, отчеканилась в пышно растущие воздушные замки, как засверкал и вспенился тогда каждый мозг. Каких только мыльных пузырей — порхающих, радужных — не пускали тогда все идеи советника Штибеля, как простые, так и сложные, а также врожденные и навязчивые! Разве когда-нибудь можно будет забыть, что он уже не делал никаких ученых сообщений, кроме как о прелестях Ленетты, и открыл Зибенкэзу свое намерение жениться, правда, уж не на десятой музе или на четвертой грации, или на второй Венере, — ибо он хорошо знает, кто уже владеет ею, — но на какой-нибудь там ее дальней родственнице и побочной богине. По его словам, он во время всего пути восседал в своей колымаге, как проповедник на кафедре, и всевозможными красками рисовал невесте счастье супружеской жизни, да так живо, что сам искренно возжелал его; и жених должен был бы его, Штибеля, поблагодарить за то, что она посмотрела на него таким благодарным взглядом. — И в самом деле, невесте удивительно шло все, в особенности в этот свадебный вечер, и больше всего то, что в такой торжественный день она больше прислуживала другим, чем получала услуг сама, — что она сняла тяжелый брачный наряд и оделась в домашнее платье, — что ее гости так поздно давали ей приватные уроки кулинарного искусства, читая ей диктанты собственного изготовления, — и что ее уже занимали хозяйственные заботы о завтрашнем дне. В своем воодушевлении Штибель предпринял почти невозможные вещи: он подставил свою левую руку, в качестве носильщика, под правую, чтобы удержать последнюю, вместе с грузом плюшевого рукава, в горизонтальном положении, и при всей публике снял ею нагар со свечи, но не как попало, а подобно садовнику, который, стоя на земле, поднимает прикрепленные к шесту ножницы и, смыкая их легким натяжением шнура, обрезает наверху все, что надо, — он без церемонии попросил у Лейбгебера силуэт Ленетты, а затем, во время прощания, попытался даже (и это было единственным предприятием, оказавшимся выше его сил) поймать ее руку и поцеловать ее.

Но вот уже все огни радости маленького веселого союза начали догорать, подобно свечам, и ночь отводила в иные

русла все райские потоки, один за другим. Гостей и свечей стало меньше: под конец остались лишь один гость, советник Штибель (ибо Лейбгебера нельзя считать за гостя), и одна длинная свеча. Прекрасна и трогательна минута, когда отшумело буйное пиршество и остается лишь тесный кружок друзей, притихших и даже опечаленных, забывшихся в отголосках минувшей радости. Наконец, советник снял предпоследнюю палатку этого увеселительного лагеря и ретировался; но он не позволил, чтобы те пальцы, которые он безуспешно пытался поймать губами, взялись за холодный медный подсвечник и посветили ему на лестнице. Роль светоча был вынужден взять на себя Лейбгебер. И вот новобрачные впервые остались сидеть одни, в темноте, рядом и рука об руку. . .

Прекрасный час, когда из каждого облака улыбался ангел и ронял оттуда, вместо дождевых капель, цветы, — пусть твой отблеск падет и на бумагу, на которой я пишу, и останется видимым даже на ней.

Новобрачный еще никогда не целовал своей невесты. Он знал или полагал, что его лицо скорее отличается умным, сосредоточенным выражением и угловатыми, резкими чертами, чем безупречной красотой, а так как он к тому же всегда сам старался выглядеть смешным, то думал, что таким его считают и другие. Поэтому он, обычно пренебрегавший взглядами и языками целого переулка, все же не мог набраться достаточной храбрости, чтобы поцеловать, — если это происходило не в минуту восторгов дружбы, — хотя бы лишь своего Лейбгебера, не говоря уж о своей Ленетте. Теперь он крепче сжал ее руку, смело повернул лицо к ее лицу (тем более, что ничего не видел) и пожелал, чтобы лестница имела столько же ступеней, сколько башня собора, дабы Лейбгебер подольше не возвращался со свечой. Вдруг по его устам скользнул мгновенный, трепетный поцелуй, — и все пламя его любви теперь вспыхнуло из-под развеянной золы. Ибо Ленетта, невинная, как дитя, думала, что подарить этот поцелуй является долгом невесты. С настороженной, застенчивой смелостью обнял супруг робкую дарительницу и со всем пылом любви, опьянения и радости обжег ее уста своими;

но она — такова странность этой половины рода человеческого — отстранилась своим безвольным ртом от его пылающих уст и обратила к этим осчастливленным устам свои щеки. Кроткий супруг прильнул к ним долгим поцелуем и выражал свое блаженство лишь неизреченно сладкими слезами, которые, подобно каплям пламенеющей лавы, падали на щеки Ленетты, а затем проникали в ее трепетное сердце. Свое лицо она все дальше отклоняла назад, но в прелестном изумлении от силы любви Фирмиана все же привлекала его к себе все ближе.

Он выпустил ее из объятий прежде, чем вернулся его любимец. Тому мало что открыл осыпавший жениха предательский снег пудры — мотыльковая пыльца, остающаяся на пальцах от малейшего прикосновения к этим белым мотылькам (почему Питт поступил благоразумно, обложив пудру налогом в 1795 году); но ему все сказал влажный блеск в глазах друга и его невесты. Друзья обменялись долгим взглядом, смущенно улыбаясь, а Ленетта опустила глаза. Лейбгебер дважды сказал «гм! гм!» и, наконец, испугавшись молчания, заметил: «Наш вечер прошел прекрасно». Чтобы на него не смотрели, он встал за стулом жениха, положил руку на его плечо, крепко и сердечно пожал его; но тут счастливец уже не мог совладать с собой, — он встал, добровольно покинув руку невесты, и вот оба друга, связанные ангельскими узами и вознесенные в небеса, после долгого томительного дня в свою очередь отпраздновали мужественно-безмолвным объятием миг сегодняшнего свидания. В возрастающем упоении супруг, чтобы расширить высокий союз, хотел привлечь любимую в объятия своего любимца; но невеста и друг остались разделенными и обняли только его одного. И три чистых неба, сияя, разверзлись в трех чистых сердцах, — и ничего не было в них, кроме бога, любви, радости и крохотной земной слезы, повисающей на всех цветах нашего счастья.

Изнемогенные необычными переживаниями и почти изумленные собою, счастливцы не решались встретиться полными слез взорами. И друг новобрачных тихо вышел из комнаты, не произнося пожеланий и не прощаясь,

## ВТОРАЯ ГЛАВА

*Семейные забавы. — Езда с визитами. — Газетное объявление. — Нежные упреки с малой толикой оскорблений. — Очерняющие чернила на стене. — Дружба сатириков. — Образ правления имперского города Кушнапцеля.*

Описывать жизнь иного человека так же приятно, как и жить ею; такова и жизнь, описываемая здесь, ибо ее материал, подобно обточенному розовому дереву, чудесно благоухает даже на моем токарном станке. Хотя Зибенкэз встал с постели в среду, он намеревался только в воскресенье вручить своей трудолюбивой грации, — которая сегодня надела чепец на свой манекен еще до того, как на себя, — в качестве крепостного палисада ее жизни, завернутые в пропускную бумагу столбики серебряных монет из опекунской кассы; да он и не мог сделать этого раньше, так как опекун выехал за границу, то есть за пределы городка, и должен был вернуться лишь в субботу. «Я просто не могу тебе выразить, старина Лейбгебер, — сказал Зибенкэз, — до чего мне приятно заранее предвкушать, в какой восторг это приведет мою жену. Право, ей в угоду я искренно хотел бы иметь тысяч тридцать талеров. Бедняжка до сих пор лишь перебивалась с одного чепца на другой; как же она будет поздравлять себя в воскресенье, когда неожиданно сделается обеспеченной женщиной и сможет осуществить сотню хозяйственных проектов, с которыми (я это очень хорошо вижу) она мысленно уже носитя. И затем, старина, за счет этого серебра сразу же после вечерней проповеди начнется моя серебряная свадьба: пиво на целых пол-гульдена будет роздано по всем комнатам. Послушай-ка! Почему бы голубю или воробышку моего брака не изливать на людей столько же пива, сколько франкфуртский двуглавый орел во время коронации извергает вина?» Лейбгебер отвечал: «А потому, что отнюдь не для выжимания винограда служат когти этого орла, а извергаемое им кислое вино (или, точнее, выжимки) — это лишь погадка, которой не переваривает ни один орел».

С моей стороны будет бесцельно, — ибо сотня кушнапцельцев опровергнет меня письмами в «Имперский вест-

ник», — если я здесь солгу (как бы мне этого ни хотелось), а именно — сообщу, будто оба адвоката провели краткую неделю их совместного пребывания с той благопристойностью, которая столь приличествует всякому человеку, а в особенности адвокату, внушая почтение к этому представителю ученого сословия даже самым низменным душам, не говоря уж о кушнаппельских.

К сожалению, я здесь вынужден петь на иной лад. В имперском местечке Кушнаппель, как и во всех имперских и федеральных городах, Лейбгебер меньше всего проявлял истинной серьезности. Так и в этом местечке он начал с того, что под видом приезжего художника явился в здешний клуб лишь для того, чтобы улечься в уголок на канаве и, не обменявшись ни с кем ни единым словом или даже слогом, публично заснуть перед всем «Отдохновением» (так назывался клуб). По словам Лейбгебера, такого обыкновения он придерживается во всех городах, обладающих клубами, казино, филармониями или музеями; ибо редко оказывается возможным спокойно спать, как полагается, ночью и в безлюдной спальне, по крайней мере — для него лично, при тех шумных драках, в которые вступают мысли у него в голове, и при тех вспышках фейерверка, когда вереницы образов беспорядочно мчатся с таким неистовством, что еле слышишь и видишь свое собственное Я. Когда же он полулежит на клубном канаве, то все это прекращается и между мыслями устанавливается перемирие; чудесная беспорядочная болтовня общества, пикник политических и прочих разговоров, состоящий из метких, во-время сказанных словечек, из которых он слышит то *ultima*, то *antepenultima*, — все это уже начинает навевать некоторую дремоту. Если же происходит нечто более основательное, — если какое-нибудь весьма упорно отстаиваемое положение подвергается яростнейшей всесторонней критике с помощью оглушительных криков, — то он крепко засыпает, подобно цветку, который буря колеблет, но не может разбудить; и его ртуть оказывается в состоянии полной неподвижности.

Некоторые известные мне города, несомненно, еще помнят того приезжего, который постоянно спал в их «Отдохновениях» и филармониях, и до сих пор вспоминают, что, вставая с канаве и берясь за шляпу, он всегда оки-

дывал всех таким веселым взглядом, словно хотел сказать: «Благодарю вас, я превосходно освежился».

Впрочем, я смотрю сквозь пальцы на всякий сон и бодрствование Лейбгебера в Кушнапеле, ибо он скоро отправится снова странствовать по всему свету; но для меня отнюдь не может быть безразлично, что мой собственный герой, который как раз водворяется здесь со своей супругой и дурачества которого мне предстоит описывать заодно с тем, как за них одурачили его самого, ведет себя так, словно его зовут Лейбгебером, хотя это уже давно не соответствует действительности, ибо он уже заявил своему опекуну, что обменял свою фамилию на Зибенкэза. Разве не рассчитано было, например, на заправский фарс, — мы здесь ограничимся порицанием лишь одной выходки, — что когда хор бедных школяров-пансионеров, поющий для сбора подаяний, хотел затянуть и разукрасить на разные лады свою обычную уличную песнь перед расположенными против дома Зибенкэза домами самых видных духовных лиц, то, во-первых, Лейбгебер заставил выглянуть в окно свою гончую (он всегда был неразлучен с каким-нибудь большим псом), надев на нее изящный чепец родильницы, и, во-вторых, было ли более степенным поступком, что Зибенкэз, на виду у певческой капеллы, стал поспешно надкусывать лимоны и тем самым привел в действие у всей капеллы слюнные железы? Это ясно показывали достигнутые результаты: при виде гончей, наряженной в чепец, певцам было так же трудно сложить губы для чинного пения, как трудно бывает свистать тому, кому хочется смеяться. И разве усиленным слюноотечением не были затоплены все органы пения, так что каждому звуку пришлось с большим трудом переправляться в брод по слюне? И разве не заключался умысел обоих адвокатов именно в том, чтобы создать столь смехотворную помеху для уличных певцов?

Конечно, Зибенкэз еще преисполнен воспоминаниями о недавно покинутых университетских вольностях, а потому и позволяет себе слишком много таковых. Кроме того некоторый избыток юношеских сил в университетские годы, по-моему, соответствует жировому тельцу, которым, по мнению Реомюра, Бонне и Кювье, питается гусеница во время окукливания и превращения в бабочку:

вольность юноши питает будущую свободу мужа, а из согбенного питомца муз не может получиться ничего, кроме чиновника, пресмыкающегося на четвереньках.

Впрочем, следующие дни оба друга провели не совсем беспорядочно, занимаясь лишь писанием визитных карточек. С этими бумажками, на которых, конечно, не значилось ничего, кроме следующих слов: «Фирмиан Станислаус Зибенкэз, адвокат для бедных, имеет честь представиться со своей супругой, урожденной Эгелькраут», — итак, с этими бумажками и с женой оба друга собирались разъезжать в субботу по городу, и Лейбгебер должен был высказывать перед каждым аристократическим зданием и нести наверх по лестнице вышеуказанный меморандум. Таков обычай — притом ничуть не глупый — в тех городах, где умеют жить! Однако даже по стезе самых разумных городских и сельских обычаев империи братья Зибенкэз и Лейбгебер, повидимому, шли только со злыми сатирическими умыслами и следовали прекрасным бюргерским обыкновениям, хотя и по всем правилам, но весьма по-шутовски; каждый из них в одно и то же время был для самого себя подвизающимся на сцене Касперлем и прямо на него глядящей ложей. Мы оскорбили бы имперское местечко Кушнапфель, предположив, будто в усердии, с которым Зибенкэз примыкал ко всем процессиям этого маленького государства (будь то шествие в церковь или из церкви, в ратушу или на стрельбище), оно совершенно не разглядело удовольствия, которое он испытывал, стараясь своей малоизысканной одеждой и нелепыми манерами больше обезобразить и испортить, нежели действительно украсить эту вереницу расфранченных и мыслящих существ; даже то искреннее рвение, с которым он домогался быть записанным в число почетных и стреляющих членов Кушнапфельского стрелкового общества, приписывалось не столько его происхождению от отца-егеря, сколько его охоте к шуткам. — Что касается Лейбгебера, то в подобных делах он и сам по себе дьявольски подвижен, так как собирается вскоре отправиться в путешествие и так как он более молод.

И вот, в субботу оба разъезжали по местечку, — останавливались там, где проживал кто-либо из местечковых грандов, и, сдав свой проездной билет, чинно и благопри-

стойно ехали дальше. Впрочем, многие господа и дамы попадали пальцем в небо и смешивали разносчика билетов с сидевшим внизу молодоженом; но разносчик билетов сохранил серьезность, сознавая, что сейчас не время для шуток. Листочки, из которых часть была с подчистками, вручались, согласно адрес-календарю, сначала представителям династий, царствовавших в большом и малом совете, — семидесяти господам ратманам из большого совета и тринадцати из малого, так что следующие персоны (ибо из таковых состоит малый совет) — бургомистр, казначей (то есть президент финансовой коллегии), два рентмейстера (то есть советники финансовой коллегии), тайный советник (в своем роде — народный трибун) и прочие восемь ратманов — получили по одной карточке, после чего карета поехала в низшие сферы и снабдила карточками менее высокопоставленных чинов различных камер и комиссий: ибо здесь имеются лесная и охотничья камеры, а также камера реформ, занимающаяся борьбой против неумеренной роскоши, и комиссия по установлению мясной таксы, возглавляемая единственным здешним мастером мясницкого цеха, притом очень славным стариком.

Боюсь, что я сам себе подставил ножку, или даже целых две ноги, тем, что не привел здесь, для сведения учебного мира и лиц, занимающихся статистикой, никакого *Conspectus'a*, никакого плана, вообще — ничего об официальной конституции имперского местечка Кушнаппель, которое, в сущности, является небольшим имперским городом, а некогда было даже большим. Однако здесь, на середине течения главы, я не могу останавливаться, а потому придется выждать, пока мы все не окажемся у ее устья, где мне удобнее будет открыть свою статистическую лавчонку.

Колесо Фортуны вскоре начало скрипеть и разбрызгивать грязь, ибо когда отпечатанный на осьмушке бумаги пробный оттиск извещения о супружестве Зибенкэза Лейбгебер занес в дом его опекуна, тайного советника фон Блэза, то хотя советница — длинная, сухопарая и жесткая женщина-жердь, обвитая ситцевыми вымпелами, — оказала ему горячий прием, однако горячность последнего была той, с которой обычно колотят людей; и эта же

дама произнесла зловещие слова: «Мой муж состоит здесь в городе тайным советником, а сейчас его совсем и вовсе дома нет. Вы у него ничего не вызибенкэзите, он tuftor, да притом и опекун самых знатных патрициев. Вам лучше убраться подобру-поздорову, потому что здесь вы не на такого напали». — «Да я уже сам вижу, что он скорее на нас нападет» — отвечал Лейбгебер.

Подопечный, Зибенкэз, попытался было несколько примирить своего письмоносца или билетносца с этой женщиной, говоря, что, подобно всем хорошим собакам, она сперва лает на незнакомца и лишь затем приносит ему поноску. Когда же более предусмотрительный друг стал его спрашивать, позаботился ли он отклонить юридическим путем все ядовитые возражения против выплаты наследственного капитала, которые опекун мог высосать из факта обмена именами, то Фирмиан успокоил его, сообщив, что, прежде чем обосноваться в качестве Зибенкэза, он испросил от опекуна письменное разрешение, которое дома Лейбгебер сможет увидеть собственными глазами.

Однако по возвращении домой найти письмо фон Блэза не удалось нигде — ни в сундуках, ни в тетрадах с записями университетских лекций; не было его даже среди чистых листов бумаги. «До чего же я глуп, — воскликнул подопечный, — разве оно мне нужно?»

«Давай-ка, лучше пройдемся» — внезапно произнес многозначительным тоном его друг (который до сих пор перелистывал субботние газеты, а теперь сложил их и спрятал в карман). Выйдя из дому, он с озабоченным видом подал Зибенкэзу «Шаффаузенский справочный листок», «Швабского Меркурия», «Шуттгартскую газету» и «Эрлангенца» и сказал: «Полюбуйся-ка на твоего негодяя-опекуну!»

Во всех этих газетах были помещены следующие одинаковые тексты: «Понеже Осия Генрих Лейбгебер, коему уже исполнилось 28 лет от роду, аппо 1774 отбыл в Лейпцигский университет и с того времени не подавал о себе никаких вестей, то в уважение ходатайства его двоюродного брата, г-на тайного советника фон Блэза, — который за истечением срока, потребного для признания факта безвестной отлучки, просит о передаче ему в собственность состоящего в его опекунском распоряжении имуще-

ства, заключающагося в 1200 рейнских флоринах, — означенный Осия Генрих Лейбгебер edictaliter оповещается и уведомляется о том, что он, собственною персоной или в лице своих законных наследников, в течение шести месяцев a dato (из коих два месяца назначены в качестве первого срока, два месяца — в качестве второго срока и два месяца — в качестве последнего и окончательного срока) имеет явиться в местную камеру по делам о наследствах, дабы должным образом оформить свои права и принять имущество, ибо в противном случае таковое — в силу постановления местного совета от июля 24 дня de anno 1699, коим объявлен pro mortuo всякий безвестно отсутствующий свыше десяти лет, — будет передано и присуждено вышепоименованному его опекуну, г-ну фон Блэу. Кушнаппель (в Швабии), 20 августа 1785.

Камера по делам о наследствах  
вольного имперского города Кушнаппеля».

Читатель-юрист и без моих указаний будет знать, что данное постановление Кушнаппельского городского совета соответствует не судебному обычаю Чехии, где для признания безвестной отлучки требуется тридцать один год, а прежнему французскому праву, согласно которому для этого достаточно десяти лет. Когда адвокат добрался до последней строки объявления и вперил в нее неподвижный взор, то его духовный брат с сочувственным трепетом взял его за руку и сказал: «Ах, мой милый, в этом виноват я: ведь все это вышло из-за обмена именами». — «Ты виноват? Ты? — Только сам дьявол!» — «Но должно же найтись письмо» — воскликнул он; и оба они возобновили квартирный обыск во всех бумагохранилищах, где оно могло квартировать. Через час Лейбгебер откопал послание, скрепленное раскroшившейся печатью опекуна; грубая бумага, умело согнутая так, что можно было обойтись без конверта, доказывала, что оно было написано не женщиной и не человеком из придворных или торговых кругов, а пером совершенно иной птицы. Тем не менее, на письме, снаружи и внутри, не было видно ни слова, за исключением имени Зибенкэза, написанного рукою Зибенкэза же. Последнее вполне есте-

ственно, так как адвокат имел непохвальную привычку пробовать свое перо и почерк или подражать чужому, вычерчивая свое имя на конвертах полученных писем.

Внутри, на письме, прежде тоже было что-то написано; однако о своем согласии на обмен имен тайный советник Блазиус, — желая сберечь бумагу, расходуемую со столь невероятной расточительностью, — написал такими чернилами, которые затем сами собою исчезают с бумаги и, улетучиваясь, реабилитируют или восстанавливают ее репутацию или белизну *in integrum*.

Вероятно, многим особам из высших сословий, которые теперь чаще, чем когда-либо, вынуждены писать векселя и прочие письменные обязательства, я мимоходом окажу услугу, если приведу здесь заимствованный из авторитетной книги<sup>1</sup> рецепт этих чернил, улетучивающихся после высыхания: пусть вельможа соскоблит ворс с поверхности тонкого черного сукна (например, такого, какое он носит при дворе), разотрет оскребки еще мельче на мраморе и после многократного отмучивания этого мелкого порошка в воде разбавит его ею же, а затем пишет им свои векселя: он увидит тогда, что, как только испарится влага, с нею улетучится в виде пыли и каждая написанная буква, так что из чернильного мрака воссияет, подобно звезде, белизна бумаги.

Однако я надеюсь, что не меньше, чем векседедателям, я услужил здесь держателям и предъявителям подобных векселей, потому что в дальнейшем они должны принимать в качестве надежного письменного обязательства лишь такое, которое несколько времени пролежало на солнце.

Чернила из оскребков шерсти я в первом издании этой книги совершенно не отличал от симпатических чернил, тоже бледнеющих и исчезающих через некоторое время и обычно применяемых для написания как предварительных, так и окончательных текстов договоров между князьями, но отличающихся красным цветом. Мирный договор, имеющий трехлетнюю давность, уже не в состоянии прочесть даже самый зоркий муж в расцвете своих

---

<sup>1</sup> «Жизнь игрока и т. д.», Гота, 1813.

сил, ибо *красные* чернила, — *encaustum*, которыми прежде имели право писать лишь римские императоры, — очень уж легко бледнеют, если зря покуситься на людской материал, из которого изготовляют подобные краски, как из червецов — кошениль; поэтому такой трактат часто приходится заново вырезать и гравировать на теле страны хорошими остроконечными инструментами, которые служат остроумными аргументами для умиротворения и надеваются на передний конец ружей.

Оба друга ничего не сказали беззаботной новобрачной о первом громовом раскате грозы, надвигавшейся на ее супружеское счастье. Они хотели по-приятельски посетить господина тайного в воскресенье утром, перед богослужением, — но, к сожалению, он уже находился на нем. Тогда они решили развлечь его визитом в послеполуночное время, — но он уже сам развлекался визитом в приютскую церковь, после того как весь цветник сирот, мальчики и девочки, нанесли таковой ему самому, как приютскому попечителю, и были допущены к целованию его руки; ибо, как он сам метко, но скромно отмечал, попечительство над приютом было доверено его недостойным рукам. После вечерней проповеди он сам произносил проповедь; короче говоря, в течение этого дня духовные алтарные перила трижды отрезали доступ к нему обоим адвокатам. Со стороны тайного было прекрасным поступком, что он позволял своим домочадцам если не есть, то хотя бы молиться за одним столом с ним. Он предпочитал трудиться в течение всего воскресного дня, распевая с ними, так как молитвой ему легче всего было отвлечь их от осквернения субботы, которое они совершили бы, работая на себя, занимаясь шитьем, штопанием и т. д.; вообще лучше всего было провести этот день, упражняясь и подготавливаясь к предстоящим трудам целой недели, подобно тому как комедианты, находясь в местностях, где им запрещено играть по воскресеньям, все же устраивают в эти дни *репетиции комедий*.

Впрочем, болезненным людям я советую остерегаться близости и запаха таких красивых, небесно-голубых растений, которые в церковном вертограде служат лишь украшением, подобно тому как английский парк укра-

шаётся небесно- или *иезуитски-голубым*<sup>1</sup> цветом ядовитых пирамидальных голубых лютиков (*aconitum* Nap.), достигающих высоты человека. Такие люди, как Блэз, взбираются на Синай и Голгофу не только для того, чтобы, подобно козам, пасться во время этого подъёма; нет, они выискивают священные высоты, чтобы с них вести вниз атаки, по примеру талантливых стратегов, всегда стремящихся занять высоты, в особенности — украшенные *виселицами*. Тайный возносится с земли в небеса чаще, чем Бланшар, хотя и с такими же целями, и даже умеет парить душою в течение полусуток (хотя ему все же далеко до бумажного дракона, которого мандарины Сиамского короля, чередуясь, ухитряются держать на привязи так, что его пребывание в поднебесьи длится целых два месяца); но он взлетает не для того, чтобы музицировать наверху, подобно жаворонку, а для того, чтобы сверху устремиться на кого-нибудь, подобно благородному соколу. Если я вижу его молящимся на *Масличной горе*, — это означает, что он хочет построить на ней маслобойню; если же он проливает слезы у Кидронского потока, — то хочет ловить в нем раков или утопить в нем кого-нибудь. Он молится, чтобы приманить к себе блуждающие огни грехов; он опускается на колени, но лишь по примеру первой шеренги стрелков, то есть — чтобы открыть огонь по тем, кто находится против него; он с горячим дружеским приветом простирает руки, желая сжать кого-нибудь, например подопечного, в своих жарких объятиях, но лишь для того, чтобы, как раскаленный Молох, испепелить их содержимое; молясь, он набожно складывает руки, — чтобы разрезать свою жертву, как это делают пресловутые железные девы.

Наконец, озабоченные друзья увидели, что до некоторых людей можно добраться лишь при условии, если к ним явиться без предупреждения, подобно ворам; еще в

---

<sup>1</sup> Небесно-голубой цвет — это орденский цвет иезуитов, а также индийского Кришны и гнева. Гипотезу физика Марата, согласно которой синий и красный цвета дают при смешении черный, следовало бы проверить, добавив к иезуитской лазури кардинальский пурпур. Сам Марат впоследствии, во время революции, получил из синего, красного и белого цвета превосходную костюную чернедь или китайскую тушь, которой затем рисовал Наполеон.

то же воскресенье, в восемь часов вечера, они sans façon вошли в дом г-на фон Блэза (или, по-немецки, Блазиуса). Все было тихо и пустынно; через безлюдные сени они прошли в безлюдную гостиную, откуда через полуоткрытые двустворчатые двери можно было заглянуть в домашнюю молельню. В просвете между створками дверей они увидели лишь шесть стульев, — на каждом из которых лежала раскрытая, брошенная кверху корешком книга церковных песнопений, — и покрытый клеенкой стол с «Небесным лобзанием для души» Мюллера и пятикратными «Избранными текстами на все воскресные и праздничные дни» Шлихтгабера. Они протиснулись сквозь длинную щель и, представьте себе, — у верхнего конца стола сидел в одиночестве сам тайный и продолжал во сне свою молитву, облокотившись на пуховый колпак. Дело в том, что по воскресеньям служители его дома и его церкви всегда читали ему вслух до тех пор, пока сон не превращал его в окаменелость или в соляной столп (потому ли, что как от съеденной и выпитой, так и от духовной пищи его веки тяжелели не менее, чем его голова, — или же потому, что подобно всем слушателям, осыпаясь семенами божественной премудрости, он имел привычку закрывать глаза, как это делают люди, которых пудрят, — или же потому, что как домашние молельни, так и большие церкви и соборы до сих пор сходны с древними храмами, где поучения оракула воспринимались во сне). После этого слуги читали все тише, чтобы постепенно приучить его к наступающему молчанию. Затем эти набожные служители оставляли хозяина до десяти часов вечера в его молитвенной позе, возлежащим на кресле, словно на ложе, и все тихо расходились; в десять часов (кстати сказать, тогда возвращалась из гостей госпожа тайная советница) домашний причетник, при содействии ночного сторожа, внезапно будил его пронзительным «аминь», и он снова надевал что-нибудь на озябшую голову.

Сегодня случилось иначе. Лейбгегер несколько раз сильно постучал по столу сгибом указательного пальца, чтобы разбудить отца города от его первого сна. Когда тот, при своем lever, увидел обе тощие взаимные пародии и копии, то, еще не вполне протрезвившись от сна и

пива, он вместо свалившейся ермолки взял с манекена парик из стеклянных нитей и надел поверх своего собственного. Подопечный дружелюбным тоном заговорил с опекуном и сказал, что хочет представить ему друга, которому, путем обмена, спустил свое имя, словно карточного козыря. Тайного он при этом величал: «Высокопочтимый господин кузен и опекун». Лейбгебер, менее сдержанный и более разгневанный, потому что был моложе и потому что несправедливость затрагивала не его лично, неучтиво подошел на три шага ближе и выпалил возле самых ушей тайного: «Кого же, собственно, из нас двоих ваша милость объявила *pro mortuo*, чтобы в качестве мертвого успешнее вызвать — судебной повесткой? Здесь пред вами два призрака сразу!» Блэз гордо отвернулся от Лейбгебера к Зибенкэзу и сказал: «Милостивый государь, если, обменявшись вашим почтенным именем, вы хоть не обменялись одеждой, то уважаемая особа, с которой я до сих пор имел честь неоднократно беседовать, это вы. — Но, быть может, это все же — вы? — обратился он к Лейбгеберу; тот затряс головой, словно одержимый бесом. — Так вот, — продолжал тайный гораздо более дружелюбным тоном, — признаюсь вам, господин Зибенкэз, до сих пор я действительно питал надежду, что вы — то самое лицо, которое десять лет тому назад отправилось отсюда в университет и чье небольшое наследство я принял под свою опеку или, точнее, под попечительство. Мое заблуждение, если только я действительно заблуждаюсь, очевидно было вызвано преимущественно тем, что вы, милостивый государь, повидимому, обладаете *praeter propter* сходством с моим без вести пропавшим подопечным, ибо многие *tertia comparationis* у вас все же отсутствуют, как, например, родимое пятно возле уха».

«Это дурацкое пятно, — вмешался Лейбгебер, — он исключительно из любви ко мне вытравил посредством жабы, потому что оно имело вид ослиного уха; он не предвидел, что эта шутка лишит его не только уха, но и родственника». — «Это возможно, — сухо ответил опекун, — но вы, господин адвокат, будьте свидетелем, что я уже намеревался выплатить вам сегодня наследственный капитал: ибо ваше заявление, будто вы ни с того, ни с сего меняете ваше родовое имя на совершенно чужое, я,

зная вашу склонность к юмору, мог с полным основанием счесть просто шуткой. Однако на прошлой неделе я убедился, что вы действительно объявили себя господином Зибенкэзом, вступили в брак под этим именем и т. п. Тогда я переговорил по этому вопросу с господином председателем (президентом) камеры по делам о наследствах, моим зятем, господином фон Кнэрншильдер, и он мне сказал, что я поступил бы в ущерб своему долгу опекуна и собственным интересам, если бы действительно вручил вам наследство. «Что вы сможете возразить, — совершенно справедливо сказал он, — если когда-либо явится истинный владелец этого имени и вторично потребует от вас выдачи подопечных денег?» И, действительно, было бы слишком жестоко, если бы человек, который, будучи занят столь многочисленными делами, исключительно из любви к своему родственнику и из братской любви<sup>1</sup> ко всем своим ближним, взвалил на себя тяжелое бремя попечительства, хотя по закону отнюдь не был обязан это делать, — повторю, было бы слишком жестоко, если бы в награду за все это он был вынужден еще раз уплатить ту же сумму из собственного кошелька. — Впрочем, господин адвокат Зибенкэз, в качестве частного лица я, быть может, признаю правомерность ваших требований даже в большей мере, чем вы думаете, но вы сами, как юрист, прекрасно знаете, что личное убеждение далеко еще не составляет надлежащего законного основания и что в данном случае я вынужден руководствоваться не своими человеческими чувствами, а своими опекунскими обязанностями, и потому лучше всего было бы предоставить решение посреднику, более беспристрастному к моим интересам, а именно — камере по делам о наследствах. Поскорее доставьте мне удовольствие, господин адвокат Зибенкэз, — закончил он, улыбаясь и кладя руку на плечо своего собеседника, — увидеть доказанным в судебном

---

<sup>1</sup> Он называет ближних своими братьями, как это делают многие гернгутеры и монахи, а также монархи при взаимных сношениях; но, быть может, он имеет к тому основание, ибо обращается с этими братьями не хуже, чем восточный монарх со своими, — и даже гораздо более кротко, подвергая их не телесному, а лишь некоторому духовному обезглавливанию, ослеплению и холощению.

порядке то, чего я пока могу только желать, а именно — ваше тождество с моим кузеном Лейбгебером, так давно пропавшим без вести».

«Разве то небольшое сходство, — с угрюмым спокойствием сказал Лейбгебер, на клавиатуре лица которого сменялись различные гаммы и фуги красок, — которым присутствующий здесь господин Зибенкэз обладает с самим собою, а именно с господином подопечным вашей милости, не может способствовать доказательству, как аналогичное сходство при *comparatio literarum*?» — «Конечно, — ответил Блазиус, — но этого еще недостаточно: ведь было же несколько лже-Неронов и три или четыре лже-Себастиана в Португалии. — Да разве не могли бы оказаться моим уважаемым кузеном и вы сами, господин Лейбгебер?»

Тот спешно вскочил и изменившимся, радостным тоном сказал: «Я и являюсь им, дражайший мой господин опекун, — все это было лишь испытанием, — простите моему другу это небольшое притворство». — «Ну и прекрасно, — отвечал опекун более важно, — однако, господа, ваши собственные уловки должны вас убедить в необходимости официального расследования».

Адвокат для бедных был потрясен этими словами: он стиснул руку своего друга, чтобы заставить его сдерживаться, и спросил тихим голосом, подавленный сознанием чужой вражды: «Разве вы никогда не писали мне в Лейпциг?» — «Если вы — мой подопечный, — отвечал Блазиус, — то я, разумеется, вам писал и даже неоднократно. Если же вы им не являетесь, то, значит, письма к вам попали каким-то окольным путем». Тогда он, запинаясь, еще более тихо сказал: «Неужели вы не помните письма, в котором вы меня заверяли в безопасности моего обмена именем? Совершенно не помните?» — «Право, это смешотворно, — ответил Блэз, — ведь тогда нам не о чем было бы спорить».

Тут Лейбгебер ухватился за каждое плечо отца города, как за седельную луку, стиснул их всеми десятью пальцами, словно заклепками, и, прилавив его к креслу своими ручными тисками, загремел: «Так не было письма? Не было? Не было? Ах, ты, старый честный седой плут! Не смей хрюкать, а не то удавлю! Не было, о боже

праведный! Не шевелись, опекун! Мой пес тебе глотку перервет. Отвечай тихо. Не получил никакого письма, говоришь ты?»

«Я лучше помолчу, — прошептал Блазиус, — помимо того, вынужденное показание вообще недействительно». Тут Зибенкэз оттащил от него своего друга, но тот крикнул гончей: «Мордакс, живо, иси!» — снял с сановника его стеклянный парик и, обламывая самые крупные локоны, — причем гончая приготовилась к прыжку, — сказал Зибенкэзу: «Держи его крепко (раз уж нельзя это поручить собаке), чтобы он меня выслушал: я буду ему говорить комплименты, а ты не давай ему пикнуть. — Господин тайный, урожденный фон Блазиус, я сейчас вовсе не намерен наносить вам оскорбления или говорить импровизированные пасквили; я предпочитаю вас назвать старым мошенником, вероятным грабителем сирот, лакированным плутом и всем прочим в том же роде, например польским медведем, след которого выглядит как человеческий.<sup>1</sup> Титулы, которые я сейчас применяю, как то: плут, Иуда, висельник (при каждом слове он ударял стеклянным тюрбаном в другую руку, словно медной тарелкой в турецком оркестре), подлец, пиявка, кровопийца, — все эти определения и дефиниции не являются оскорблениями, во-первых, потому что согласно L § de injur<sup>2</sup> даже величайшие оскорбления можно совершенно безобидно говорить в шутку, а я сейчас именно шучу; во-вторых, для защиты своего права всегда можно прибегать к оскорблениям (см. у Лейзера).<sup>3</sup> Да и согласно «Основам уголовного права» Квисторпа можно без iniuriandi animus упрекать даже в величайшем преступлении, если оно еще не расследовано и не наказано. А разве твоя честность уже расследована и наказана, ты, седовласое бесчестное отродье? И разве, подобно фрейбургскому тайному советнику<sup>4</sup> (хотя надо полагать, что он — человек получше

<sup>1</sup> У них обоих одинаковая хищная и когтистая лапа скрывается под видом человеческой стопы.

<sup>2</sup> Кодекс Юстиниана, L 15 § 38 de injur.

<sup>3</sup> Leyser, Sp. 547 n. tr.

<sup>4</sup> Тайный советник во Фрейбурге пользуется неприкосновенностью в течение трех лет пребывания на своем посту и в течение трех лет после выхода в отставку. См. «Ганзейскую Газету», № 415 за 1817 год.

тебя), ты не являешься неприкосновенным в течение ряда лет?.. Тысяча дьяволов, уж я сегодня до тебя доберусь, лицемер! — Мордак!» — пес насторожился, ожидая приказания.

«Довольно, отпусти его» — просил Зибенкэз, которого удручал вид съезжившегося грешника.

«Сию минуту, только не раздражай меня, — сказал Лейбгебер, уронил ошипанный парик и, встав на него, вынул ножницы и черную бумагу. — Сейчас я самым спокойным образом вырежу пухлую рожу этого благочестивого ночного колпака и захвачу с собою в качестве *gage d'amour*. Ведь я могу носить это ессе *homunculus* по целому свету и просить всех: «Отколотите его! Блажен, кто вздует кушнапельского тайного, Блазиуса, до его кончины; к сожалению, я был слишком силен для этого».

«Устный отчет о достигнутых успехах, — продолжал он, повернувшись к Зибенкэзу и заканчивая вырезание удачного силуэта, — я смогу отдать нашему понурому проныре не раньше, чем через год, ибо тогда те немногие оскорбления, которыми я, быть может, задел этого плута, будут вполне погашены законной давностью, и мы с ним снова сделаемся такими же друзьями, как прежде».

Затем он неожиданно попросил Зибенкэза остаться возле гончей, — которую одним движением указательного пальца заставил расположиться в качестве обсервационного корпуса против тайного, — так как должен был на минуту выйти. Дело в том, что во время недавнего посещения блэзовского парадного зала (служившего для приема представителей кушнапельского большого и среднего света) он заметил там бумажные обои и необычайно замысловатую печь, — ей была придана форма богини Фемиды, которая, однако, так же часто опалает, как и греет, — а потому при настоящем посещении принес с собою хорьковую кисточку и пузырек чернил, состоявших из кобальта, растворенного в крепкой водке, куда было добавлено несколько капель виносольного спирта. В отличие от чернил из оскребков черной шерсти, которые видны с самого начала и лишь впоследствии становятся невидимыми, эти симпатические чернила сначала неразличимы и лишь при нагревании бумаги проявляются на ней, приобретая зеленый цвет. И вот, Лейбгебер теперь

намалевал хорьковой кистью на бумажных обоях, возле самой печи, или Фемиды, следующий невидимый настенный букварь:

«Богиня правосудия настоящим апеллирует ко всем гостям, протестуя против того, что она здесь, *in effigie* (в изображении), хуже, чем повешена, а именно поставлена, и попеременно разгорячается и простужается по произволу блюстителя неправосудия, тайно мошенничающего тайного Блазиуса.

Адресовано в судебном порядке.  
Фемида».

Втихомолку оставив на стене этот посев из пристлеевского зеленого вещества, Лейбгебер ушел с приятным сознанием, что будущей зимой, когда зал будет основательно нагрет богиней по случаю парадного приема гостей, внезапно перед ними весело расцветет целый зеленой рынок.

Итак, Лейбгебер вернулся в молитвенный кабинет и увидел, что гончая, в силу служебного долга, еще пребывает в предписанном ей созерцательном состоянии, тогда как Зибенкэз, в свою очередь, продолжает созерцать собаку. Захватив с собою своих спутников, Генрих весьма вежливо простился с тайным и даже просил не провожать их до выхода на улицу, так как иначе было бы затруднительно помешать Мордаксу произвести некоторое растерзание.

На улице Лейбгебер сказал своему другу: «Чего же ты корчишь такую глупую рожу? Ведь я всегда бываю у тебя мимоходом, — проводи меня за городские ворота; я должен еще сегодня выбраться за вашу границу, — давай, побежим, чтобы мы не позже, чем через шесть... минут, оказались на территории соседнего княжества».

Когда они миновали городские ворота, то есть их руины, отнюдь не напоминавшие Пальмиру, то над темно-зеленой землей уже раскрылся и мерцал хрустальный отсвечивающий грот августовской ночи, и безбрежный штиль, царивший в природе, составлял контраст с бурями человеческой души. Ночь без единого дуновения ветерка подняла над землей и опустила за нее небесный покров, усаянный безмолвными солнцами; срезанные колосья

стояли в снопах, не шелестя, и единственными живыми существами на широком темном просторе казались монотонный кузнечик и безобидный старичок, собиравший улиток на разводку. В груди обоих друзей внезапно догорело все пламя гнева. Лейбгебер, понизив тон на две октавы, сказал: «Слава богу! На ободке набатного колокола моей души эта ночь пишет миролюбивое изречение. Мне кажется, что она, обтянув мой барабан своей черной тканью, заглушила его грохот и превратила в тихую похоронную музыку. После столь долгой перебранки мне приятно чувствовать себя немного опечаленным».

«Старина Генрих, — отвечал Зибенкэз, — ты так забавно разъярился на этого обветшалого грешника. Но мне прискорбно, что это произошло из-за меня». — «Хотя хлестать людей по лицу сатирой, — сказал Лейбгебер, — тебе обычно не так легко, как мне, но на моем месте ты бушевал бы еще сильнее; человек, в особенности такой кроткий, как я, вполне может терпеть обиды, наносимые лично ему, но не обиды, нанесенные его другу; кроме того, ведь ты, к сожалению, сделался мучеником во имя мое и сегодня одновременно оказался терпеливым очевидцем и самым страстотерпцем. Вообще же могу тебя заверить, что если уж меня оседлает демон злобы или, вернее, если я оседлаю его, то я стараюсь загнать эту клячу до полусмерти, чтобы снова возить меня она смогла лишь месяца через три. Но тебе я заварил славную чортову кашу, да еще оставляю тебя одного расхлебывать ее». Зибенкэз уже давно опасался, чтобы не зашла речь о тысяче двухстах гульденах, в которые обошелся обряд его перекрещения и которые, вместе с тем, являлись отступным за его новое имя; поэтому он сказал настолько весело и бодро, насколько это позволяла его грудь, стесненная тоскою внезапной ночной разлуки: «Я и жена еще имеем в нашей кенигштейнской крепости достаточно провианта, а кроме того можем там сеять и собирать урожаи. — Дай бог, чтобы нам иногда приходилось раскусывать твердый орешек; после такой закуски столовое вино нашей выдохшейся жизни снова приобретает вкус. — Завтра я напишу искоевое прошение».

Грусть от часа разлуки, который должен был вскоре пробить, оба старались замаскировать шутками. Когда

наши двойники<sup>1</sup> поровнялись с колонной, воздвигнутой на месте встречи прибывшей из Англии \*-ской княгини с ее спустившейся с Альпов сестрой, то, видя, что этот радостный памятник веселого свидания сегодня становится памятником совершенно иного события, Лейбгебер сказал: «Теперь марш домой! Твоя жена беспокоится, ведь сейчас позже одиннадцати. Вот уже виден эшафот — этот пограничный знак и пограничный форт вашего города. Пока что я отправляюсь в байрейтские и саксонские земли и буду там кормиться стрижкой своих овец, то есть бумажек, — буду кроить чужие рожи и скрою им впридачу еще более глупую сам. Шутки ради я, пожалуй, навещу тебя по истечении одного года и одного дня, когда словесные оскорбления будут как следует погашены давностью. — Кстати! — быстро добавил он. — Дай честное слово, что окажешь мне небольшое одолжение». Зибенкэз преждевременно дал слово. «Не посылай мне вдогонку оставленное мною здесь имущество,<sup>2</sup> — ведь тебе, как автору искового прошения, придется нести издержки по его изданию. — Так прощай, мой дорогой!» — поспешно проговорив это, он, после быстрого поцелуя, внезапно бросился бежать вниз с невысокого пригорка. Печальный покинутый друг только глядел вслед беглецу, не отвечая ни звуком на его прощальный привет. В ложбине беглеца приостановился, низко нагнулся и — распустил пошире подвязки своих чулок. Тогда Зибенкэз воскликнул: «Разве ты не мог сделать этого здесь, наверху, — сбежал к нему вниз и сказал: — Мы не расстанемся до самого эшафота». Песочной баней и отражательным пламенем благородного гнева сегодня были согреты все их нежные чувства, подобно тому, как жаркий климат усиливает жгучесть ядов и пряностей. Так как первое прощание уже наполнило слезами глаза друзей, то они могли сохранять лишь напускное спокойствие голоса и выражения. «Надеюсь, что та неприятность не повредила твоему здоровью» — сказал Зибенкэз. — «Если смерть домашних животных, —

<sup>1</sup> Так называются люди, которые являются самим себе.

<sup>2</sup> Оно заключалось, главным образом, в налоговых деньгах (пяти викариатских дукатах и т. д.), собранных Лейбгебером с ценителей его силуэтного искусства.

сказал Лейбгебер, — действительно является предвестником смерти домохозяина, как думают в народе, то я никогда не умру; ибо весь мой зверинец<sup>1</sup> еще жив и здоров».

Наконец они остановились перед высоким уступом на подступах к местечку — перед лобным местом. «Взбе-ремся-ка наверх» — сказал Зибенкэз.

Когда они взошли на это возвышение, послужившее пограничным холмом для столь многих погубленных жизней, и когда Зибенкэз взглянул на поросший зеленью каменный алтарь, место заклания стольких невинных жертв, и представил себе в ту омраченную минуту, какие страшные, мучительные капли крови, какие жгучие слезы нередко роняли истерзанные, умерщвляемые государством и любовником, детоубийцы<sup>2</sup> на эту скамью их последней и наименее продолжительной пытки, на эту кровавую ниву, — и когда с этой последней губительной отмели, скрытой в туманах бытия, он окинул взглядом широкий простор земли, над которой, у горизонта и поверх ручьев, дымились ночные испарения, — то он, плача, взял друга за руку, возвел взор к чистому звездному небу и сказал: «Ведь должны же туманы наших дней когда-нибудь разделиться на созвездия там, в вышине, подобно тому как туманности Млечного пути распадаются на солнца. Генрих! Неужели ты еще не веришь в бессмертие души?» —

«Друг! — отвечал Лейбгебер. — Пока что оно еще не укладывается у меня в голове. Ведь Блазиус едва ли достоин даже однократной жизни, не говоря уж о двукратной или многократной. Правда, иногда мне кажется, будто в картину нашего мира, чтобы придать ей цельность и законченность, вписали кусок иного мира, подобно тому, как я часто видел на полях рисунков посторонние предметы, нарисованные там наполовину, чтобы главное изображение как бы отделялось от рамы и становилось цельным. Но в настоящую минуту люди кажутся мне похожими на раков, которых попы, прилепив им на спинку горящие свечи (защищенные от ветра стеклянными колпачками), пускали иногда ползать по кладбищам и выдавали за

<sup>1</sup> Как известно, Платон изображает наши низменные страсти в виде скотного двора, который копошится у нас в утробе.

<sup>2</sup> Зибенкэзу как раз предстояло защищать одну мнимую детоубийцу.

души покойников; так и мы, мнимые бессмертные, ползаем по могилам со свечками наших душ. Вероятно, они когда-нибудь погаснут». Его друг бросился к нему на грудь и пылко воскликнул: «Мы не угаснем. Прощай. Тысячу раз желаю тебе счастья. Мы непременно еще увидимся. Клянусь моей душой, мы не угаснем. Прощай, прощай!»

И они расстались. Генрих медленно и с опущенными руками шел по тропинкам между жнивями, не поднося ладони к заплаканным глазам, чтобы ни одним жестом не выказать своего горя. Но осиротевший друг был охвачен великой скорбью, ибо люди, редко дающие волю слезам, проливают их тем обильнее. И вот он вернулся домой и лег, прильнув измученным, ослабевшим сердцем к беспечному сердцу супруги, не волнуемому даже ни одним сновидением; но еще долго, до самого преддверия снов, его преследовали тревожные мысли о будущем Ленетты и об одиноком ночном пути, которым его друг шел там, вдали, под звездами, глядя на них без надежды когда-нибудь к ним приблизиться; и оставшись наедине с самим собою, он дольше всего оплакивал именно участь друга...

О вы, оба друга, ушедший и оставшийся! — Но зачем же мне постоянно подавлять в себе то давнее, бывшее ключом чувство, которое вы с такой силой пробудили во мне и которое обычно во дни моей юности у меня вызывала, пусть стыдливо, но так сильно умиля и услаждала меня, дружба, например, между Свифтом, Арбетнотом и Попом, выраженная в их письмах? Разве не были многие другие, подобно мне, согреты и ободрены трогательной спокойной любовью этих мужественных сердец, которые, несмотря на свою холодность, язвительность и резкость ко внешнему миру, нежно и пылко трудились и бились друг для друга в их общем внутреннем мире, подобные высоким пальмам, защищенным длинными шипами против низменного, но с вершиной, полной драгоценного пальмового вина крепчайшей дружбы?

И если все это справедливо, то я безусловно могу и на менее высокой ступени, занимаемой нашими друзьями, встретить нечто подобное, встретить то, что мы и любим и помним в них. Не спрашивайте слишком настойчиво,

почему они побратались; объяснения требует лишь ненависть, но не любовь. Источник всего благого, начиная со вселенной и восходя до бога, скрывается во мраке, полном звезд, слишком отдаленных. — В свои университетские годы, в пору вешнего блеска юности, полной жизненных соков, оба друга впервые заглянули друг другу в сердце, — но их взаимное притяжение исходило от разноименных полюсов. Зибенкэзу больше всего нравились в Лейбгегере его суровая сила и даже гневность, его высокий полет и насмешки над всяким показным величием, над показной чувствительностью и даже над показной ученостью (ибо яйцо своего деяния или своего веского слова он, подобно кондору, клал без гнезда на голый утес и предпочитал жить безыменным, а потому назывался всякий раз другим именем). Поэтому Зибенкэз имел обыкновение по многу раз рассказывать ему два анекдота, наслаждаясь той досадой, которую они у него вызывали. Первый заключался в том, что в Дерпте один немецкий профессор, во время хвалебной речи в честь тогдашнего великого князя Александра, внезапно прервал поток своих слов, замолчав, долго глядел на бюст князя и наконец произнес: «Умолкшее сердце все сказало своим молчанием». Второй заключался в том, что Клопшток послал роскошное издание своей «Мессиады» в Пфортское училище, с просьбой, чтобы могилу его учителя Штубеля самый достойный пфортовец<sup>1</sup> осыпал весенними цветами и тихо произнес при этом имя дарителя Клопштока; когда же Лейбгегер несколько раздражался, то Зибенкэз еще добавлял, будто певец «Мессиады» предложил, чтобы четыре других пфортовца трижды выступили перед публикой, читая отрывки из его поэмы, и обещал, что за это один его друг выдаст каждому из них золотую медаль; в заключение Фирмиан выжидал, чтобы Генрих начал метать громы и молнии в того, кто (говоря языком Лейбгегера) молится на самого себя, словно на Reliquarium собственных мощей, наполненное священными костями и конечностями.

Напротив, Лейбгегеру, — в этом он почти уподоблялся морлакам, которые, по сообщению Тоунсона и Фортиса,

<sup>1</sup> См. «Немецкий Меркурий», 1809 г.

с одной стороны, одним и тем же словом *osveta* обозначают месть и святость, а с другой стороны, сочетают и благословляют друзей перед алтарем, — больше всего нравилась и внушала любовь та брильянтовая булавка, которой в душе его молочного брата-сатирика поэзия и кротость были сколоты с несокрушимым стоицизмом. И, наконец, оба постоянно переживали счастье полного взаимного понимания, не только когда друг шутил, но даже и тогда, когда он был серьезен. А таких друзей обретает не каждый друг.

### ПРИЛОЖЕНИЕ КО ВТОРОЙ ГЛАВЕ

*Образ правления Кушнапельского вольного имперского местечка (в Священной Римской империи).*

В двух предшествующих главах я все забывал сказать, что вольное местечко Кушнапель, тезка которого предположительно находится в округе Рудных гор,<sup>1</sup> расположено в Швабии, в качестве тридцать второго города в области, занимаемой тридцать одним городом. Вообще Швабия может считаться инкубатором или теплицей для разведения имперских городов, этих немецких поселений и постоянных дворов богини свободы, которой благородные люди поклоняются как своей домашней богине и которая по предопределению спасает грешников. Здесь я, наконец, должен удовлетворить всеобщее желание и дать хороший очерк кушнапельского образа правления; но лишь немногие читатели, как то Николай, Шлецер и подобные им, поверят, сколько труда и сколько денег на почтовые расходы мне пришлось затратить, чтобы получить такие сведения о Кушнапеле, которые были бы достовернее широко распространенных слухов: дело в том, что имперские и швейцарские города заклеивают и застраивают свои медовые и восковые соты так, словно их конституции — краденая серебряная посуда, еще имеющая на себе клеймо с именем законного владельца, или словно эти городишки и земельки являются крепо-

<sup>1</sup> По новейшим сведениям, это скорее не тезка, а рифма, а именно селение Потчапфель возле Дрездена.

ётями (хотя они и служат таковыми не столько против врагов, сколько против собственных граждан), план которых отнюдь нельзя показывать иностранцам.

Конституция нашего достопримечательного имперского местечка Кушнаппеля, повидимому, явилась в свое время тем образом, которым воспользовался Берн, в сущности расположенный достаточно близко; однако в своей конституции он ее скопировал в увеличенном виде, как бы посредством пантографа. Действительно, Берн, подобно Кушнаппелю, имеет свой большой совет, который, как и в Кушнаппеле, объявляет войну, заключает мир и утверждает смертные приговоры, причем состоит из бургомистров, казначеев, рентмейстеров, тайных советников и ратманов, но только более многочисленных, чем в Кушнаппеле; далее Берн тоже имеет свой малый совет, представляющий президентов, посланников и пенсии и стремящийся дорасти до большого совета; две апелляционных камеры, комиссия по установлению мясной таксы и прочие комиссии (ибо здесь достаточно убедительно самое сходство наименований) очевидно лишь воспроизводят в более грубом и угловатом виде основные черты Кушнаппеля.

По правде говоря, это сравнение между обеими республиками я произвел лишь для того, чтобы моя книга, без лишних слов, была понятна, а может быть и приятна, швейцарцам, в особенности — гражданам Берна. Ибо в действительности Кушнаппель, по сравнению с Берном, очастливлен значительно более совершенной и более аристократической конституцией, которую отчасти можно было бы найти также в Ульме и Нюрнберге, если бы во время революционной грозы развитие их обоих не пошло больше назад, чем вперед. Нюрнберг и Ульм недавно пользовались таким же благоденствием, каким и сейчас еще наслаждается Кушнаппель, а именно — они управлялись не простыми ремесленниками, а лишь чистокровными дворянами, причем в это управление не смел вмешиваться — ни лично, ни через своих представителей — ни один хурододный горожанин. К сожалению, насколько мне известно, теперь в обоих этих городах в пивной бочке конституции вследствие того, что из ее *верхнего* крана вытекала кислая бурда, просверлили новое выпуск-

ное отверстие *внизу*, лишь на дюйм выше уровня самой гущи племса. Но я не смогу продолжать это описание, если предварительно не расчищу себе путь, опровергнув одно слишком распространенное заблуждение, касающееся больших городов.

Полагаю, будто бегемоты и кондоры среди городов — Петербург, Лондон, Вена — всюду должны были бы ввести равенство свободы и свободу равенства; эту конечную цель угадали весьма немногие статистики, а между тем она столь очевидна. Действительно, столица, имеющая два с четвертью часа пути в окружности, является для всей страны как бы кратером Этны и способствует подъему своих окрестностей не только своими *извержениями*, как вулкан, но и *поглощением* окружающего; она успешно очищает страну от селений, а впоследствии и от провинциальных городов, — первоначально игравших роль *хозяйственных строений* при столицах, — так как из года в год все раздвигается, обстраиваясь и срастаясь с обрамляющими ее селениями. Как известно, Лондон уже превратил ближайшие села в свои улицы; но по прошествии столетий все растущие и удлиняющиеся *щупальцы* каждого большого города должны будут захватить и возвести в ранг пригородов не только деревни, но и провинциальные города. Вследствие этого проселки, поля и луга, расположенные между городом и окрестными селениями, будут, подобно руслу высохшей реки, перекрыты каменной мостовой, и, следовательно, земледелие сможет процветать лишь в *цветочных горшках* на подоконниках. За отсутствием же земледелия, земледельцы не смогут сделаться ничем иным, как *тунеядцами*, которых не потерпит ни одно государство; но так как лучше предотвращать проступки, чем карать их, то, прежде чем такое крестьянство превратится в тунеядцев, разумное государство должно либо избавиться от него посредством *надлежащих запретительных эдиктов*, либо истребить крестьян, словно гусениц, или же облагородить их возведением в звание солдат и чиновников. В самом деле, когда село делается *замковым камнем*, вделанным в арку города, или *втиснутой* в обручи клепкой Гейдельбергской бочки резиденции, то крестьяне, которые еще останутся в подобном селе, будут так же смешны, как и никчемны; ко-

райловые ветви селений, прежде чем они срастутся и образуют высокий риф или остров города, должны быть в известном смысле опустошены.

Тем самым, очевидно, будет сделан труднейший шаг на пути к равенству: с таким же успехом, как и крестьян, столица должна будет побороть и, по возможности, истребить и внутренних врагов равенства, а именно бюргеров; достижение этой цели скорее является вопросом времени и не требует особых законодательных мероприятий. Впрочем, то, что кое-где достигнуто отдельными столичными городами, пока является лишь началом. Но если представить себе, как идеал, что когда-нибудь, в результате стечения многих счастливых случайностей, бюргеры и крестьяне, эти две наиболее мощные преграды и оппозиционные партии, противодействующие равенству, действительно исчезли бы из гигантских городов и что даже мелкое дворянство, существующее за счет земледелия, поггло бы вместе с ним, — тогда на земле наступило бы более совершенное равенство, чем это было в Галлии, населенной лишь равными друг другу простолюдинами: существовали бы лишь взаимно равные дворяне, и все человечество обладало бы единой дворянской грамотой и не внушающими никаких сомнений предками. В Париже революция писала все (как это было принято и в древнейшие времена) с малых, или строчных, букв; если же осуществится мое предположение, то будут применяться, как и в позднейшие времена, лишь заглавные, или большие, буквы, которые теперь лишь изредка торчат, словно башни, среди многочисленных меньших. Но если бы такой высокий стиль, такое облагораживание человечества и остались лишь прекрасным вымыслом и пришлось бы удовлетвориться меньшим счастьем, а именно — если бы в городах оставить лишь по одной улице для жительства бюргеров, как теперь для евреев, — этим все же было бы завоевано для мыслящего человечества достаточно много, как ясно каждому, кто принимает во внимание, сколь высоким совершенством обладает высшее дворянство, особенно же та часть его, которая составляет в нем совершенное большинство.

Но такое облагораживание всего человечества имперские города нам обеспечивают в гораздо большей мере,

чем даже величайшие столичные города. Это заставляет меня вернуться к вопросу о Кушнаппеле. В самом деле, повидимому, забывают, что нельзя требовать слишком многого и воображать, будто четыре квадратных версты, составляющих примерную величину столицы, могут осилить, переварить и превратить в свои составные части свыше тысячи квадратных миль окружающей страны, подобно тому, как удав проглатывает животных, более крупных, чем он сам. Лондон имеет немногим больше шестисот тысяч жителей: какая это неравная, малая сила против пяти с половиной миллионов населения всей Англии (даже не считая Шотландии и Ирландии), с которыми столица вынуждена бороться в одиночку, чтобы подрезать им крылья и отрезать подвоз! Со славными имперскими городами дело обстоит не так: здесь число селений, крепостей и бюргеров, которых надо одолеть, выморить голодом и изгнать, находится в правильном соотношении с величиной города и с численностью патрициев или правящих родов, которые должны взяться за это дело и наладить рубанок, долженствующий выравнивать все человечество. Здесь бюргера, словно грубую примесь, плавающую в дворянстве, нетрудно выделить путем осаждения. Если патрициям не удастся произвести это осаждение, то виноваты лишь они сами, так как они часто проявляют неуместное милосердие к бюргерскому сословию и принимают этот род людей за некий род дерновой скамьи в саду, траву которой — хотя она и растет лишь для того, чтобы ее придавливали, садясь на нее, — все же поливают, дабы она не завяла под тяжестью стольких задов. Если должны существовать лишь свободные люди и притом благороднейшего сословия, а именно — прямые имперские подданные, люди с прямым правом голоса, то нужно налогами и податями совершенно содрать кору с коричневых деревьев бюргерства (лишь плебейские авторы называют это грабежом и живодерством), после чего деревья и сами собою зачахнут и засохнут. Конечно, эта имперская вольность обойдется в немало людей. Но мне кажется, что ценою нескольких тысяч человек она будет куплена довольно дешево, ибо за гораздо меньшие вольности американцы, швейцарцы и голландцы в свое время выложили наличными на стол полей сражений и уложили

там выстрелами целые миллионы людей. Кроме того современные государства редко впадают в ошибку, свойственную современным батальным живописцам, картины которых порицают за *перегруженность* человеческими фигурами. Напротив, стоит отметить, какими разумно выбранными *кровогонными* средствами многие немецкие государства избавляются от избыточного населения, как от болезнетворного вещества и *plethorae*, отвлекая его, по примеру всех хороших врачей, вниз, а именно в северную Америку, расположенную как раз под Германией.

Возвращаясь к ранее сказанному, надлежит отметить, что Кушнапель опередил целую сотню других городов. Я признаю, что, по утверждениям Николаи, население Нюрнберга, прежде составлявшее шестьдесят тысяч человек, теперь уменьшилось вдвое и составляет лишь тридцать тысяч; конечно, и это уже что-нибудь да значит; но все же на одного патриция здесь еще приходится пятьдесят (и даже более) бюргеров, то есть изрядное число.— Зато я берусь в любое время доказать списками новокрещенных и умерших, что в имперском местечке Кушнапель число бюргеров лишь немногим больше числа патрициев; это тем более удивительно, что последним, по причине их голодного состояния, труднее жить. Спрашивается, какое из современных государств может похвастаться столь большим числом свободных людей. Ведь даже и в свободных Афинах и Риме (не говоря уж о Вест-Индии) рабов было больше, чем свободных, почему и не решались заставить их носить особую отличительную одежду. Даже и теперь во всех государствах податное состояние многочисленнее дворянского, хотя последнее уже давно могло бы получить перевес, ибо крестьян и бюргеров сеет лишь природа, а патриции не только возникают *естественным* путем, но и подсеваются *искусственно* имперскими и княжескими канцеляриями.

Если бы приложение не было отступлением, от которого обычно требуют краткости, то я достаточно пространно доказал бы здесь, что Кушнапель если и не выступает впереди швейцарских городов, то и не уступает им многими другими достоинствами: например, имеет все удлиняющийся и хорошо оттачиваемый меч правосудия и вообще ловко орудует увесистой, узловатой и усеянной

шипами дубиной судебной расправы; содержит духовный таможенный барьер, но не против вывоза, а против ввоза — идей и множества прочих высоких материй; преуспевает даже в торговле зеленью или, точнее, зеленой молодежью, ибо что касается этой последней, то до сих пор сбыт молодых кушнапельцев во Францию, для применения в качестве швейцаров или защитников престола, происходит так вяло лишь вследствие ужасной конкуренции швейцарцев, заполнивших рынок здоровенными парнями, которые становятся перед каждым подъездом, а в случае войны — перед каждой пушкой, — если бы не это обстоятельство, то, право же, почти перед каждым подъездом увидели бы мы кушнапельцев, стоящих и произносящих: «Никого дома нет». (Даже и теперь, во втором издании, я могу утверждать, что Кушнапель еще сохраняется, наподобие курфюршеского сана, свой титул имперского местечка, оставляя в силе свой прежний запрет ввоза идей и вывоза известий, и продолжает уплачивать Франции свой кровавый десятинный налог так же усердно, как это делает Швейцария, подобная кастеляну Вартбургского замка, постоянно подновляющему на стене неизгладимое пятно, оставленное чернильницей, которую Лютер швырнул в чорта.)

### ТРЕТЬЯ ГЛАВА

*Медовый месяц Ленетты. — Хмель сочинительства. — Школьный советник Штибель. — Monsieur Эверар. — Канун праздника. — Кровавокрасная корова. — Михаэлев день. — Опера нищих. — Сатанинское искушение в пустыне, или бонтонный человек. — Осенние радости. — Новый лабиринт.*

Весь мир как нельзя более просчитался, ожидая, что в понедельник увидит нашего героя на траурной колеснице, в траурном плаще, в траурных манжетах и с заржавевшими пряжками башмаков, скорбящим над мнимым трупом своего счастья и капитала.

О небо! Как может мир до такой степени заблуждаться? Адвокат не был не только в малом трауре, но даже ни в малейшем трауре, и, напротив, веселился, словно ему

самому предстояло писать эту третью главу и словно он ее начинал совершенно так же, как это делаю я.

Причина было в том, что он сочинил превосходное исковое прошение против своего опекуна Блэза, которое украсил многими остротами, понятными лишь для их автора, и подал в камеру по делам о наследствах. Если, очутившись в беде, хоть что-нибудь предпринимаешь, то уже чувствуешь себя бодрее. Пусть судьба пошлет на нашу голову самый лютей леденящий осенний ветер, — если только он не сломает нам, как лебедям, верхний сустав крыльев, то хотя бы они и не могли унести нас в более теплый климат, от их взмахов нам все же делается не менее теплое. — Из любви к жене Зибенкэз скрыл от нее задержку в получении наследства, а также и упроченную многолетней давностью сделку обмена именами: он рассчитывал, что супруге адвоката, домоседке, никогда не придется ни заглянуть в карты интриг высокопоставленного патриция, ни взглянуть на его визитную карточку.

Вообще, чего могло нехватать человеку, который от тихих месяцев одинокого затворничества внезапно перешел к веселью медового месяца с его затворничеством вдвоем. Лишь теперь Зибенкэз впервые по-настоящему обнял свою Ленетту обеими руками, — раньше он всегда удерживал левой рукой своего друга, который то приближался, то удалялся, летая по жизни, — и она, наконец, смогла с гораздо большим удобством расположиться во всех закоулках его сердца. И, насколько хватило смелости у робкой женщины, она это действительно сделала: хотя и с опаской, но призналась мужу, что, кажется, чувствует себя лучше с тех пор, как под столом не лежит озорной пес, так страшно глядевший оттуда. Однако при послушном нраве супруги от нее никогда не удалось бы добиться признания, не думала ли она того же и о неистовом хозяине пса. Адвокат испытывал к ней прямо отцовские чувства, и этот долговязый отец умилялся ее каждой небольшой причуде.

Когда он уходил из дому, она провожала его взглядом на протяжении всей улицы; но это было еще мелочью по сравнению с тем, что она со щеткой в руках выбегала за ним из входных дверей, если замечала из окна, сзади, что к фалдам его сюртука прилипли снизу комья дорож-

ного грунта: тогда Ленетта считала своим долгом зашить мужа обратно в дом и чистила там сюртук щеткой так тщательно, как если бы дорожные пошлыны в Кушнапеле действительно шли на содержание дорог. Зибенкэз терпеливо выдерживал чистку, а затем целовал жену и говорил: «Правда, внутри у меня еще засела всякая всячина, но ее ни одна живая душа не увидит, а когда я вернусь, то мы с тобою там, наверху, вычистим и выбросим весь этот сор».

Хотя муж этого не ожидал и не требовал и даже находил, что это уж слишком (но, впрочем, от этого любил не меньше), каждое его хотение и веление Ленетта не только выслушивала с девичьей кротостью, но и выполняла с дочерним послушанием. «О дочь магистратского писца, — говорил он, — не будь же так чрезмерно послушна мне; ведь я не твой родитель, магистратский писец, а всего лишь адвокат для бедных, сочетавшийся с тобою браком и, насколько мне известно, подписываюсь фамилией «Зибенкэз». — «Ну, что ж, — отвечала она, — ведь и покойный мой отец, по всей вероятности, многие бумаги сначала собственной своей рукой составлял начерно, а уж затем чисто и аккуратно переписывал набело». Но этот странный ответ, хотя он и шел вкривь и вкось, все же очень понравился адвокату; и когда она из-за своего благоговения перед ним не понимала ни одной его шутки над самим собою, — потому ли, что не могла примириться с его ироническим самоуничижением, или же потому, что безоговорочно соглашалась с его ироническим самовосхвалением, — то адвокату эти духовные провинциализмы его супруги доставляли немало удовольствия. Она могла, не долго думая сказать: «бегущу, ползущу, несущу», вместо «бегущему, ползущему, несущему»; эти религиозные древности из лютеранской Библии были весьма ценными дополнениями к идиоматическому лексикону ее переживаний и его медового месяца. — Когда Ленетта однажды примеряла очень хорошенький чепчик последовательно на трех манекенных головках, которые она иногда, в шутку, слегка целовала, и Фирмиан, нахлобучив и натянув этот чепчик перед зеркалом на ее собственную головку, сказал: «Надень и поглядишь, твоя голова, пожалуй, не уступит деревянной», то она, необычайно до-

вольная, улыбнулась и ответила: «Уж до чего ты галантен с нашей сестрой!» Поверьте мне, это наивное непонимание настолько растрогало его, что он поклялся себе никогда не произносить подобных шуток иначе, как самому себе и про себя. Но все это было ничто в сравнении с более возвышенной радостью медового месяца. Зибенкэз ее испытал, когда его Ленетта в ближайший канун поста не позволила ему поцеловать ее, тогда как она, цветущая белизной и румянцем юности в черных кружевных манжетах головного убора и в темной листве одежд, казалась ему втрое похорошевшей. «Такие мирские помыслы, — сказала она, — вовсе неприличны перед церковной службой, когда уже надеты одежды покаяния. И, значит, надо подождать». — «Ладно, — сказал он сам себе, — я готов просунуть сквозь мою нижнюю губу большую суповую ложку, по примеру северозападных индианок,<sup>1</sup> если еще хоть раз позволю себе сунуться с поцелуем к этой богобоязненной душе, когда она одета в черное и когда звонят колокола». И хотя он не был особенно усердным богомольцем, это данное себе и ей слово он сдержал. Такими, о невесты, бываем мы, мужчины, в браке!

После всего этого вам нетрудно будет догадаться, какой полноты блаженства достиг наконец адвокат, когда то, что он раньше делал сам и притом весьма плохо и неохотно, Ленетта стала как нельзя лучше и охотно исполнять за него и, неумоимо работая метелкой и щеткой, уничтожила поэтический беспорядок его кельи и сделала ее чистой, ровной и гладкой, как бильярдный стол; в медовом месяце Зибенкэза она насаждала целые медоносные деревья, полные медовых сот, тем, что жужжала вокруг него утром, словно хлопотливая пчелка, и тем, что для их маленького улья, — пока муж ткал процессуальную нить своих тяжёбных документов и возводил осиное гнездо юриспруденции, — она собирала воск, строила и чистила

---

<sup>1</sup> На западном побережье северной Америки, от 50 до 60° северной широты, женщины носят в продырявленной нижней губе деревянные суповые ложки и притом тем большие, чем знатнее они сами; у одной женщины ложка имела пять дюймов в длину и три дюйма в ширину. «Заметки Лангсдорфа во время кругосветного путешествия», т. II.

ячейки, выбрасывала посторонние предметы и заклеивала трещины; и тем, что когда муж случайно выглядывал из своего осиною гнезда, он видел ее милovidную фигурку в прелестнейшем домашнем платье. Как часто брал он перо в рот, протягивал к ней над чернильницей раскрытую ладонь и говорил сквозь перо: «Ради бога, потерпи хоть до послеполудня, когда ты будешь сидеть и шить: в награду ты получишь вдоволь поцелуев, пока я буду расхаживать по комнате».

Но чтобы у читательниц не возникло опасений насчет подмешивания горечи к сладости этого медового месяца со стороны наследоутаивателя, мошенника Блэза, мне достаточно лишь спросить: разве адвокат не обладал серебряным рудником и обогатительной мельницей семи выгодных судебных процессов, изобиловавших серебряными жилами? Разве его добрый Лейбгебер не послал за ним в арьергарде повозку с полковой кассой, ехавшую на четырех колесах Фортуны и нагруженную двумя очковыми талерами Юлия, герцога Брауншвейгского, тройцыным талером графства Рейсс, чеканки 1679 года, дукатом с хвостиком или косичкой, комариным или осиным талером, пятью викариатскими дукатами и множеством эфраимитов? Ведь Зибенкэз мог без всяких колебаний истребить и пустить по ветру эту коллекцию монет, которую его друг завел в своих карманах лишь в насмешку над теми, кто покупает себе коллекцию за сто талеров. Вообще оба друга установили между собою такую общность имущества, физического и духовного, которая достижима лишь для немногих; они стали настолько возвышенными, что между принимающим и оказывающим одолжение уже не существовало разницы, и они шагали через расщелины жизни, связавшись узами дружбы, подобно тому, как искатели горного хрусталя в Альпах связываются веревками, чтобы предохранить себя от падения в расщелины ледников.

При всем том Зибенкэз однажды под вечер, в праздник богородицы, напал на мысль, от которой уж совершенно воспрянул духом все обеспокоенные читательницы его жизнеописания и которая его самого ошастливила больше, чем это могла бы сделать самая крупная корзина с хлебом насущным, с корзиночками фруктов или вином. Впрочем, он уже заранее знал, что рано или поздно возымеет та-

кую мысль; находясь в беде, он всегда говорил: «Интересно бы знать, какой выход из положения я придумаю на этот раз. Что я на него набреду — это так же несомненно, как то, что у меня в голове имеется четыре мозговых желудочка». — Вышеупомянутая счастливая мысль заключалась в том, чтобы заняться тем, чем здесь занимаюсь я, а именно — сочинением книги, но только сатирической.<sup>1</sup> Тут из раскрывшихся шлюзов его сердца стремительный поток крови хлынул на мельничные колеса его идей, и весь духовный механизм застучал, зашумел, запыл и зазвенел, — так что сразу же было смолото несколько четвериков для творения. Не знаю, бывает ли у юноши большая — и более сладостная — смятенность духа, чем та, с которой он, расхаживая по комнате, принимает смелое решение взять десь писчей бумаги и превратить ее в рукопись, — да, можно даже утверждать, что конректор Винкельман и полководец Ганнибал едва ли быстрее бегали взад и вперед по комнате, когда принимали столь же смелое решение итти на Рим. Решив писать «Избранные места из бумаг дьявола», Зибенкэз был вынужден выбежать из дому и трижды обежать вокруг местечка, чтобы утомлением ног утрясти непрестанно перекатывающиеся мысли и заставить их плотнее улечься в предназначенные для них выемки. Истомленный внутренним пылом, он вернулся домой, посмотрел, имеется ли достаточный запас чистой бумаги для рукописей, подбежал к жене, безмятежно мастерившей чепцы, и поцеловал ее так быстро, что она еле успела вынуть из ротика булавку — последний шип этой розы. Во время поцелуя она, искоса поглядев вниз, преспокойно закрепила булавкой ленту на одной стороне чепца. «Радуйся же, — сказал он, — пляши со мной, завтра я начинаю писать opus, книгу. Зажарь сегодня на ужин телячью головку, хотя это и будет нарушением наших двенадцати таблиц законов об еде». — Надо сказать, что оба супруга еще в среду заседали в качестве комиссии по пищевому законодательству и в числе тридцати девяти статей Положения о бережливом

<sup>1</sup> Эта книга была издана в 1789 году Бекманновским книгоиздательством в Гере, под названием «Избранные места из бумаг дьявола». Ниже я рискну высказать свое мнение об этих сатирах.

питании было принято и декретировано, что по вечерам они, подобно браминам, будут обходиться без мяса, довольствуясь самой скромной и отнюдь не скоромной пищей. Теперь адвокат лишь с величайшим трудом смог объяснить своей Ленетте, что, как он в праве рассчитывать, телячья головка окупится уже одним листом «Избранных мест из бумаг дьявола», а потому он не без основания разрешает самого себя от поста; ибо Ленетта, подобно любому профану или контрафактору, думала, будто писание книг и печатание их оплачиваются одинаково, так что наборщику причитается чуть ли не больше, чем автору. За всю свою жизнь она еще ничего не слышала о чудовищных гонорах, получаемых современными немецкими авторами; она была подобна жене Расина, которая не знала, что такое стих или трагедия, хотя и покрывала за их счет свои хозяйственные расходы. Что касается меня лично, то я не повел бы к алтарю и в супружескую обитель женщину, которая не смогла бы, по крайней мере, безукоризненно дописать под моей фирмой тот период в моих произведениях, на котором меня застигнет смерть со своими песочными часами, или которая была бы неспособна испытывать неописуемую радость, когда я буду читать ей вслух «Научные геттингенские известия» или «Всеобщую немецкую библиотеку», восхваляющие меня, хотя бы и с преувеличениями.

В течение всего вечера авторское воодушевление гнало в таком неистовом беге все кровавые шарики Зибенкэза и кружило в таком вихре все его мысли, что при его пылкости, часто производившей впечатление сердечных припадков, он, несомненно, вспылил бы от всякой медлительности, которая явилась бы задержкой на его пути, — от неторопливого шага девчонки на побегушках или от ее словоохотливости, напоминающей барабанную дробь, — и взорвался бы, словно гремучее золото, если бы сразу же не прибегнул к особому жаропонижающему порошку, приняв его против восторженного возмущения. Легче очистить кровопусканием мутную, вяло текущую кровь и ускорить ее обращение; чем усмирить бурный напор крови, гонимой кипучим восторгом; однако наш герой даже в минуты величайшего счастья всегда умел успокаивать себя мыслью о неисчерпаемо щедрой руке, которой оно было

ниспослано, и кротким умилением, в котором человек потупляет свой взор перед вечным тайным благодетелем всех сердец. Ибо тогда сердце, смягчаемое слезами признательности и счастья, стремится ответить хотя бы тем, что становится нежнее к ближним. Неистовое ликование, караемое Немезидой, лучше всего укрощается этим чувством признательности; и те, кто погиб от радости, — избегли бы гибели, или же хоть снискали бы себе кончину от еще более прекрасной радости, если бы смягчили свою душу, возведя благодарные взоры к небесам.

Первая и лучшая благодарность за то новое, прямое и прекрасное русло, куда теперь была отведена его жизнь, выразилась у него в том, что он с величайшим подъемом повел начатую им защиту мнимой детоубийцы, стремясь избавить ее от пыток. Ее признал виновной Кушнапфельский городской лекарь на основании легочной пробы, при которой плавание, так же безошибочно, как при испытании водой, позволяет топить и казнить женщин.

Тихие дни брачной весны устилали цветочным ковром уединенный путь супругов. Лишь некий господин, одетый в шелк канареечного цвета, несколько раз появлялся внизу под окном, когда Ленетта утром сама высовывалась оттуда, высовывала свою белую ручку и долго трудилась, закрепляя откиннутые ставни засовами. «Право, мне стыдно высунуться наружу, — говорила она. — Какой-то важный господин всегда стоит внизу, снимает шляпу, глядит на меня, словно кот на канарейку, и царапает что-то на бумаге».

Во время субботних школьных каникул школьный советник Штибель исполнил данное им в день свадьбы торжественное обещание приходить в гости весьма часто и являться по крайней мере еженедельно в каникулярные дни школы. Чтобы усладить слух читателей разнообразием, я буду называть советника *Штиблет*, ибо и без меня все местечко уже прозвало его так за штиблеты из беличьего меха с заячьими отворотами, которые он носил на ногах в качестве переносной дровосберегающей печки. Едва ступив на первую половину комнаты, Штиблет уже связал бутоньерку из радостных вестей и вдел ее в петлицу адвокату — пригласил его сотрудничать в «Кушнапфельском вестнике и божественном посланце и ре-

цензенте всех немецких школьных программ» (следовало бы сделать более широко известным это издание, а тем самым и школьные писания, рекомендуемые в нем). Этот договор и писательский заказ меня сердечно радует, ибо моему герою за его рецензии перепадет по меньшей мере хоть грош на похлебку для ужина. Обычно советник, он же редактор «Вестника», с большим разбором замещал судейские вакансии критиков; но в его глазах Зибенкэз сделался единственным существом, стоящим на еще более высокой ступени, чем критик, а именно писателем, так как на пути из церкви он слышал от Ленетты, что ее муж собирается сдать в печать толстую книгу. Тогдашнюю «Зальцбургскую литературную газету» советник не мог себе представить иначе, как апокрифической Библией, а «Иенскую литературную газету» — канонической; голос одного-единственного рецензента, умноженный эхом ученого судилища, всегда казался ему тысячей голосов; его воображение превращало одну рецензирующую голову в многочисленные головы Лернейской гидры, подобно тому, как чорт, согласно старинному поверью, окружает голову преступника ложными головами, чтобы палач ошибся и отрубил не ту, которую следует. Безыменность придает суждению единой личности ту вескость, которая свойственна приговорам целой коллегии; но стоит подписать внизу имя и проставить «кандидат ХУЗ», вместо «Новая всеобщая немецкая библиотека», и авторитет ученой статьи кандидата будет этим слишком уж подорван. Моего героя советник завербовал ради его сатиры, ибо сам, хотя в обыденной жизни был кроткой овечкой, на бумаге своих рецензий превращался в вурдалака: так нередко бывает с кроткими людьми, когда они занимаются писательством, в особенности о humaniora и тому подобном; так, например, по Гиббону, кроткие пастушеские народы, прототипы геснеровских пастухов, охотно затевают войны и доблестно ведут их; да и сам Геснер не только писал идиллические картины, но и рисовал ядовитейшие карикатуры.

Наш герой и свежезавербованный рецензент, со своей стороны, отблагодарил в этот вечер Штибеля нечаянной радостью и предвкушением многих дальнейших радостей, — а именно комариным или осиным талером из

оставленной Лейбгебером маленькой коллекции, — не для того, чтобы в уплату за свое зачисление в осиное гнездо критики дать гостю *doublet*, но чтобы обменять комариный талер на более мелкие монеты. Советник, который, в качестве усердного хранителя серебра в собственном миңц-кабинете, был убежден, что все деньги вообще должны быть достоянием кабинетов, — но не политических, а нумизматических, — просиял и раскраснелся от восхищения при виде талера и торжественно сказал адвокату, пожелавшему получить лишь естественную, а не искусственную стоимость этой монеты: «Вот что я называю истинным дружеским одолжением». — «Нет, — возразил Зибенкэз, — истинное одолжение оказал Лейбгебер, который даже не продал, а подарил мне этот талер». — «Но я, конечно, дал бы за него втрое больше, если бы вы только захотели» — сказал Штибель. — «Но послушайте, — перебила Ленетта (восхищенная восхищением и любезностью Штибеля, она старалась незаметно внушить мужу, чтобы он не уступал, причем проявляла удивившую меня решительность), — ведь мой муж не согласен иначе, и талер всегда остается только талером». — «Но в дальнейшем, — ответил Зибенкэз, — мне скорее следовало бы брать с вас втрое меньшую цену, если я буду сбывать вам всю мою маленькую коллекцию, талер за талером». — О добрые души! Если бы все людские *Да* звучали так же, как ваши *Но!*

В столь приятный вечер холостой Штибель не преминул проявить истинную учтивость к прекрасному полу и, тем более, к женщине, которая ему понравилась, еще когда ехала в его свадебной карете на свою свадьбу, а теперь нравилась ему вдвойне, сделавшись женой столь близкого друга и столь близким другом его самого. Поэтому он довольно ловко привлек ее к участию в разговоре (до сих пор носившем слишком ученый характер), перейдя по трем манекенам для чепцов, словно по трем камням мостовой, к журналу мод; но слишком скоро съехал на более старый журнал мод, а именно на трактат Рубениуса о нарядах древних греков и римлян. Далее он стал с увлечением излагать ей все свои воскресные проповеди, ибо христианской благодати мало в адвокате, а потому в нем нет и ничего богословского. Когда же она искала

свечные шипцы, упавшие к ногам советника, то он держал подсвечник и, низко нагнувшись, светил ей.

Для всего Зибенкэзовского дома или, точнее, комнаты, высокотожественным днем оказалось воскресенье, приведшее туда более высокопоставленную особу, чем выступавшие до сих пор, а именно рентмейстера, г-на Эверара (Эбергартта) Розу фон Мейерна, молодого патриция, который был постоянным посетителем дома господина тайного, фон Блэза, где хотел «набить себе руку в служебных занятиях». Кроме того сей муж был женихом неимущей племянницы тайного, получавшей за пределами Кушнашеля такое воспитание и образование, которое делало ее достойной сердца своего нареченного.

Стало быть, как в местечке, так и в нашей тернистой повести рентмейстер является видной фигурой — и притом в политическом смысле, но не в физическом; его тело было продето сквозь его цветистый наряд совсем как лучинка сквозь букет полевых цветов — под искрящимися надкрыльями его узорчатого жилетного зверинца<sup>1</sup> пульсировал совершенно отвесный, если не вогнутый, живот, а ноги имели в икрах не больший объем, чем те деревянные чулки, которыми, выставляя их в окнах, вязальщики чулок уведомляют о себе почтенную публику.

Рентмейстер весьма сухим и надменно-вежливым тоном сообщил адвокату, что пришел лишь для того, чтобы снять с него бремя защиты детоубийцы, так как ему ведь приходится вести столь много других дел. Но Зибенкэз очень легко разглядел сквозь этот предлог истинную цель визита: было известно, что хотя подзащитная адоптировала в отцы своего ребенка (столь мимолетно посетившего здешний мир) некоего всадника, развозящего образчики товаров, причем указать его имя не смогла ни она сама, ни судебное следствие, — однако второй отец ребенка, подобно начинающему писателю не пожелавший из скромности подписать свое имя под своей *pièce fugitive* и своей вступительной программой, был не кто иной, как сухопарый рентмейстер Эверар Роза фон Мейерн собственной персоной. Часто бывает, что целый город

---

<sup>1</sup> Тогдашние жилеты принято было украшать изображениями цветов и животных.

умышленно не признает (или игнорирует) некоторые вещи; к числу их принадлежало и авторство Розы. Следовательно, тайный, фон Блэз, знал, что оно известно и защитнику Фирмиану, а потому опасался, что последний выместит на его родственнике Мейерне похищение наследства, умышленно плохо защищая бедную подсудимую, чтобы тот был опозорен ее казнью. Какое чудовищно низкое подозрение! — И все же даже самая чистая душа нередко бывает вынуждена подозревать, что ее подозревают в таких умыслах! — К счастью, громоотвод для бедной матери уже был выкован и воздвигнут Зибенкэзом. Когда он предъявил его казуальному и мнимому жениху мнимой детоубийцы, тот сразу же признал, что эта прекрасная Магдалина не смогла бы откопать среди местных адвокатов более ловкого святого-заступника (или, по крайней мере, более благочестивого, — добавят автор и читатели, которым известно, что защитой невинности он хотел возблагодарить небо за первый замысел «Бумаг дьявола»).

Но тут супруга адвоката внезапно вернулась из комнаты соседа-переплетчика, куда она заходила с кратковременным визитом. Рентмейстер бросился к ней навстречу до самого порога, с учтивостью, доведенной до крайнего предела, — так как открыть дверь она все равно должна была раньше, чем он смог поспешить к ней навстречу. Он взял руку, которую она с пугливым почтением наполовину протянула ему, и поцеловал, склонившись, но возведя взоры вверх, причем произнес: «Мэддэм, эту прекрасную руку я уже несколько дней держу в своих руках». Из его слов обнаружилось, что он и есть тот канареечный господин, который ее руку, высунутую в окно, тайком улавливал внизу рейсфедером на бумаге, так как нуждался в прекрасной модели для руки на коленном портрете своей отсутствующей невесты, на котором он решил нарисовать голову, основываясь на собственном воображении. Далее он снял перчатки (так как без них он не осмеливался прикоснуться к ней, следуя примеру некоторых древних христиан, столь же благоговейно обращавшихся со святыми дарами) со своих сверкающих колец и белоснежной кожи: чтобы сохранить эту белизну даже в самый сильный зной, он снимал перчатки только изредка, разве лишь зимой, когда опасность загара невелика. Кушнап-

пельские патриции, по крайней мере молодые, охотно следуют заповеди, которую Христос дал своим ученикам, — никого не приветствовать на улице; рентмейстер тоже был, как должно, невежлив с мужчинами, но отнюдь не с женами: напротив, к последним он проявлял бесконечную снисходительность. Между тем Зибенкэз, уже вследствие своего сатирического характера, обладал тем недостатком, что был вежлив и общителен с простыми людьми, но слишком непочтителен с высшими. Из-за недостаточной светскости он не умел описывать спиною надлежащую кривую линию перед гражданскими авторитетами, а потому — вопреки голосу своего миролюбивого сердца — держался прямо, словно жердь. Помимо недостаточной светскости, причиной тому было его адвокатское звание, воинственный характер которого внушает его носителю известную отвагу, тем более, что адвокат, в силу своего общественного положения, почти всегда может не считаться с чужим, а потому часто дерзает не уступать в этом отношении даже самым высокопоставленным особам (если только имеет дело не с судейскими сановниками и не с клиентами, которых он обязан обслуживать в меру своих скромных дарований). Впрочем, обычно в душе Зибенкэза человеколюбие незаметно сдвигало кобылку под туго натянутыми струнами, так что под конец они издавали только нежный и тихий звук. Лишь теперь проявить вежливость к рентмейстеру, — намерения которого в отношении Ленетты он невольно угадывал, — ему было гораздо труднее, чем проявить к нему грубость.

Вместе с тем, он испытывал врожденную неприязнь к нарядным мужчинам, — хотя нарядные женщины внушали ему совершенно противоположное чувство, — так что часто он подолгу рассматривал в журналах мод изображения фланговых солдатиков франтовства лишь для того, чтобы хорошенько позлиться на них, а также уверял кушнапельцев, будто таким человечкам он охотнее, чем кому-либо иному, наносит обиды, ущерб, оскорбления и даже побои. Кроме того ему всегда нравилось, что Сократ и Катон ходили по рыночной площади босыми; но о современном хождении без шляп (*chapeau-bas*) он был далеко не такого высокого мнения, как о древнем хождении без обуви.

Однако, прежде чем он успел проявить свои чувства иначе, чем выражением лица, подобный засушенному цветку рентмейстер погладил свою кузую бородку и в витиеватой речи предложил себя нашему адвокату в качестве главного покровителя или посредника в известном блэзовском споре о наследстве, отчасти чтобы задобрить адвоката и отчасти чтобы унижить его. Но тот, из отвращения к перспективе получить такого гнома в качестве домашнего гения-покровителя и параклета (утешителя), запальчиво, но по-латыни, воскликнул: «Во-первых, я требую, чтобы моей жене ни слова не говорили об этом пустяковом споре из-за выеденного яйца. Далее, в правом деле я не признаю никакого заступника, кроме правозащитника, а таковым являюсь я сам. Я остаюсь на своем посту, хотя в Кушнаппеле он — весьма *постный*». Он с такой необычайной беглостью выразил эту последнюю игру слов посредством аналогичной на латинском языке, что я еле удерживаюсь от соблазна привести ее здесь; но рентмейстер, который ни эту игру слов, ни все прочее не смог перевести для себя так вразумительно, как мы это можем прочесть здесь, немедленно и лишь для того, чтобы вывернуться и не обнаружить своего невежества, ответил на том же языке «Immo, Immo», чем он хотел сказать «Да». Тогда Фирмиан продолжал по-немецки: «Правда, опекун с подопечным или кузен с кузеном близки друг другу во всех отношениях: но ведь и на лучших церковных соборах, например на Эфесском, в пятом столетии, дело доходило до потасовки. Да, как известно, игумен Барсум и епископ Александрийский, Диоскор, оба — люди сановитые, до смерти ухлопали там доброго Флавиана.<sup>1</sup> И притом все это событие случилось в воскресенье, а не в какой-либо иной день. Между тем, по воскресным и праздничным дням «божий мир», который во времена невежества должен был приостанавливать междоусобия, отменяется именно в кабаках (сигнал об его прекращении подается звоном колоколов и кружек), и люди вступают в драки, чтобы суды могли заниматься разбира-

---

<sup>1</sup> От ран, полученных на соборе, Флавиан скончался на третий день. См. «Историю церкви» Мосгейма, т. III.

тельством и расправой. Действительно, если прежде число праздников увеличивали для уменьшения числа междоусобий, то теперь особы из судебного ведомства, которые, подобно нам, господин фон Мейерн, хотя чем-нибудь корчиться, должны были бы ходатайствовать об упразднении нескольких мирных будничных дней и о замене их новыми богородицыными и апостольскими праздниками, чтобы прибавилось драк, увечий и штрафов за увечья, а также судебных пошлин. Но, увы, мой прекраснейший рентмейстер, разве кто-нибудь об этом думает?»

Почти все это он смог сказать по-немецки, несмотря на присутствие Ленетты; она уже давно привыкла понимать из его речей лишь половину, лишь четверть, лишь одну восьмую, а также привыкла не интересоваться всей особой рентмейстера в целом. Когда Мейерн холодно и высокомерно распрощался, то свою супругу, удвоенную целования руки, Зибенкэз постарался еще более подкупить в пользу рентмейстера, по мере своих способностей расхваливая его нераздельную и неразделенную любовь ко всему женскому полу, остающуюся в силе, хотя он и состоит в звании жениха, и особенно восхваляя его прежнюю любовь к его предварительной невесте, ныне пребывающей в заточении и в ожидании казни; но этим он скорее предубедил Ленетту против рентмейстера. «Будь же вечно так верна себе и мне, о добрая душа» — воскликнул Фирмиан, привлекая ее к сердцу; но она не знала, что осталась верной, а потому спросила: «Кому же это я могла быть неверна?»

В промежутке между этим днем и Михаэлевым днем, на который приходились местная ярмарка и храмовой праздник, счастье, по всей видимости, прокладывало путь, окаймляя его лишь чистым ровным английским газоном, без каких-либо особых цветочных бордюров (в частности — для меня и для читателей), для того чтобы этот праздник и ярмарочный день открылся нашим взорам внезапно, как живописный город в долине, блистающий и пестрый. Действительно, за это время мало что случилось; по крайней мере мое перо, привыкшее вести летопись более важных событий, вынуждено лишь нехотя отметить то незначительное обстоятельство, что переплетчика, жившего под тем же кровельным и небесным меридианом, что и

Зибенкэз, часто навещал рентмейстер Мейерн, но лишь для того, чтобы проследить, как там клеятся «Опасные связи» (liaisons).

Но самый Михарлев день! — Поистине, мир его запомнит. И даже канун его настолько интересен и богат событиями, что о нем несомненно стоит поведать публике.

Пусть же она прочтет описание этого предпраздничного дня, а затем выскажет свое мнение!

В этот день, или в предсубботье храмового праздника, весь Кушнаппель, как водится, был настоящим рабочим или сумасшедшим домом для женщин; во всем местечке нельзя было найти ни одной, спокойно сидящей или чисто одетой, — даже самые начитанные девицы не раскрывали ни одной книжки, кроме книжек с образчиками шелка, и не просматривали ни одного листа, за исключением листов выкроек и железных листов для теста, — за обедом почти ни одна из них не ела, ибо движущим механизмом для этих машин и их будущего веселья являлось лишь изготовляемое ими к празднику печенье.

Женщины считают своим долгом устраивать в день храмового праздника выставку своих произведений искусства, причем роль алтарных картин играют печенья. Каждая хозяйка обгрызает и озирает эти печеные вензеля и мемориальные гербы, знаменующие знатность ее конкуренток; печенье висит на каждой как медальон или как свинцовая пломба на сукне, удостоверяющая его добротность. Они обходятся почти без всякой еды и питья; но густое кофе для них — благословенное вино причащения, а тонкое прозрачное печенье для них — благословенная гостия; однако, когда они находятся в гостях у своих подруг, то означенная гостия кажется им наиболее вкусной, и они с особым наслаждением готовы пожирать ее, если она не поднялась и пришла в состояние совершенной окаменелости, так что ее не пробьешь ни пулей, ни штыком, или если она обуглилась до черноты жженой кости, или же стала негодной по какой-либо иной причине; они охотно признают ошибки, совершенные даже самыми любимыми подругами, и стремятся загладить таковые, приглашая подруг к себе и угощая их совсем по-иному.

Что касается нашей Ленетты, дражайшая читательница, то она всегда пекла так, что в ее печеньях ценители пред-

почитали корку, а ценительницы — мякиш, причем и те и другие утверждали, что лишь вы, моя любезнейшая, смогли бы испечь что-либо подобное. Огонь кухонного очага был второй стихией этой саламандры; ибо первой стихией нашей милой русалки была вода. Купаться, плескаться и, без умолку болтая, рыться, словно в песке, в полной чаше такого богатого хозяйства, как у Зибенкэза, — ибо предстоявшему празднику освящения храма он посвятил все эфираимиты Лейбгебера, — вот что являлось ее призванием. Сегодня ее рдеющее личико не удалось бы поцеловать, но ведь этой трудолюбивой хозяйке действительно было некогда; ибо к десяти часам появилась новая работа, вслед за новым работником, а именно — мясником.

Здесь я сам чихнул, тем самым подтвердив, что публика в конце концов будет благодарна за краткий отчет об этом предприятии, — да кем же еще он может быть дан, если не мной. Дело в том, что уже в начале лета четырьмя хозяйствами вскладчину была куплена и пущена в откормку превосходная тощая корова. Переpletчик, башмачник, адвокат для бедных и парикмахер (последний отличался от своих жильцов только тем, что они нанимали свои помещения у него, а он — у своих кредиторов) решили сделать жизнь и смерть этой коровы предметом пакта (Кольбе, этот блюститель чистоты немецкого языка, по своему обыкновению раскричится здесь на меня, неповинного, за применение иностранных слов в этом документе, хотя он и заимствован из римского права), составленного по законной форме и начертанного искусным пером (каковым водила рука Зибенкэза), причем контрагенты пакта, — все они, за исключением того, который сидел и составлял самый документ, стояли кругом и внимательно смотрели на еще незаполненный лист, — приняли на себя следующие обязательства:

1. Каждый из четырех акционеров-совладельцев одной головы рогатого скота обязан и правомочен доить упомянутую голову в порядке очереди.

2. Все издержки по пищевому довольствию, походной кухне и вообще по всему содержанию вышеозначенной головы рогатого скота персонал, ведающий кухонной или откормочной частью, обязан и правомочен покрывать из общей войсковой кассы, и

3. В канун Михаэлева дня, 28 сентября 1785 года, союзники обязаны и правомочны не только умертвить вышеозначенный объект откормки, но и разрубить каждую четверть такового еще на четыре четверти, согласно земельному закону (*lex agraria*), для распределения между всеми четверьями участниками.

С этого акта о разделе имущества Зибенкэз снял четыре заверенных копии, по одной для каждого участника; и никогда ни одной бумаги не составлял он с более сосредоточенной радостью. Сегодня подлежащей исполнению оставалась всего только третья статья домашнего любовного соглашения этих четырех евангелистов, выбравших для своего общего герба только одно геральдическое и компанейское животное — и к тому же лишь самую того, которое было у Луки.

Однако ученая публика жаждет скорее прочесть мое описание праздника, — а потому этот жанровый эскиз я набрасываю лишь беглыми штрихами. (Тем временем тут выйдет следующее: Кольбе выйдет из себя и снова напустится на меня.) Мясник, этот септембризатор, еще в конце фруктидора добросовестно исполнил свой долг. Четыре тетрарха, совладельца и сотрапезника, все время были ассистентами при этом, и даже старая Сабина здесь много поработала и кое-как заработала. Чтобы угоститься вскладчину (как до сих пор угощали корову, ныне покойную), а заодно пригласить бесплатно и мясника, четверной альянс устроил банкет; но при сем один сочлен лиги — имя его я назову ниже — явился к столу в таком настроении и облачении, которые отнюдь не соответствовали серьезности обряда заклания. — Далее ганзейский союз, заключенный не для боя, а для убоя, стал решать пример на деление по правилу товарищества, и золотой телец, вокруг которого они плясали, был, как должно и по справедливости, разделен различными геральдическими делениями, из коих я для краткости назову лишь волнистое, трилистниковое, зубчатое и ступенчатое, а также рассечение и пересечение. Тем все и закончилось. Обо всей этой зоотомической операции я едва ли смогу отозваться с большей похвалой, чем это сделал ее участник, сам Зибенкэз, который заявил следующее: «Было бы хорошо, если бы двенадцать колен израилевых, а в но-

вейшее время — Римская империя, были разделены так же честно и тщательно, как наша корова и как Польша».

Чтобы воздать должную дань embonpoint коровы, приведем здесь следующую похвалу ей, произнесенную башмачником Фехтом: «Пусть сотня арапских чертей поберет мою душу! Что за славная туша!» (и сразу же, пониженным, смиренным тоном): «Возлюбленную нашу скотинку возлюбленный господь поистине взыскал благодатью своей, а нас, недостойных грешников, благословил превыше всяких мер». Этот веселый озорник напялил на себя тяжелую сбрую пизтизма, и ему все время приходилось подслащивать свои прежние нечестивые восклицания все новыми благочестивыми вздохами. Выше я намекал именно на это не совсем благопристойное настроение Фехта и такое же его одеяние, ибо в течение всего убойного дня он, как это ни грустно, был без штанов и расхаживал по анатомическому театру лишь в белой фризовой юбке своей жены, выступая таким образом в роли своей собственной законной половины. Однако прочие акционеры нисколько не осуждали его; он не мог поступить иначе: пока он пребывал в demi-negligé амазонки и выглядел словно гермафродит, его черные кожаные ножные фуляры находились в красильном котле, подвергаясь перепечатке или переизданию.

(Здесь Кольбе, наконец, становится мне другом, ибо я продолжаю по-немецки.)

Адвокат попросил Ленетту, чтобы в половине пятого вечера она подсела к нему и перестала трудиться, — тем более, что он решил не затруднять ее приготовлением ужина и взамен его скушать лишь на пол-талера пирожных; и вот, уже к шести часам оба супруга покоились в широких кожаных объятиях — одного просторного дедовского кресла (ибо он был лишен мяса, а она — костей) и мирным счастливым взором, словно дети за едой, смотрели на блестящую чистотой комнату, где мебель, казалось, была выравнена землемером, — на ломтики пирожных, в форме полумесяца, которые они держали в руках, — и на текучую позолоту или, скорее, золотую фольгу, которую лучи заходящего солнца, передвигаясь все выше, наносили на мерцающую оловянную посуду. И их отдых, словно сон младенца, был окружен криком и сту-

котней двенадцати геркулесовых работ, выполнявшихся в тот вечер остальными жильцами дома, а ясное небо и свежее-вымытые окна продлили день на целых полчаса, — тихая вечерняя мелодия колоколов, словно ключ настройки, настраивала помыслы во все более высоком ключе, пока они не превратились в сновидения. К десяти часам вечера супруги проснулись и с кресла отправились в постель. . .

Мне самому приятен этот маленький звездный ноктюрн, который в моей душе отражается таким же сверкающим и измененным, как заходящее солнце на позолоченном полушарии моих часов. К вечеру загнанный, изнуренный человек жаждет покоя; для вечера суток, для вечера года (для осени) и для вечера жизни запасается он, собирая жатву с тяжким трудом и с такими большими надеждами. Но разве не случалось тебе видеть после жатвы, на опустевших нивах, твою эмблему — осенник или безвременник, цветущий только поздним летом, остающийся бесплодным под зимними снегами и приносящий плоды лишь грядущею весной?

Но вот бурно нарастающий прилив праздничного утра уже ударяет в колонки кровати нашего героя! Он встает и видит сияющую белизной комнату, которую его Ленетта, по-воровски вставшая еще до полуночи, во время его первого сна, вымыла и превратила в аравийскую степь, посыпав или припудрив песком; таким образом жена поступила как ей хотелось — и вместе с тем не ослушалась мужа. — В ярмарочное утро я советую каждому последовать примеру Зибенкэза, а именно — открыть окно и высунуть из него голову, чтобы созерцать недолговечные деревянные постройки и помещеница маленьких ярмарочных бирж и падение первых капель этого человеческого ливня. Однако пусть читатель имеет в виду, что мой герой действовал отнюдь не по моему совету, когда, зазнавшись от богатства, — ибо самое образцовое из печений всего дома, разумеется, находилось у него за спиной, — он сверху окликал того или иного зеленого патрицианского червячка, который еще заносчивее пробегал мимо и которому он хотел заглянуть в лицо, чтобы самостоятельно исследовать его как естествоиспытатель: «Пожалуйста, поглядите-ка вот на этот дом: вы тут ничего осо-

бенного не видите?» Если червячок быстро поднимал голову и поворачивал к нему свою физиономию, то Фирмиан мог, — а этого он и желал, — с полным удобством обозреть и изучить последнюю. «Так вы тут совершенно ничего не замечаете?» — спрашивал он. Когда насекомое отрицательно качало головой, то он сверху присоединялся к этому отрицанию и заявлял: «Ну, естественно! Я уже с незапамятных времен гляжу тут в окно и тоже ничего не замечаю; но я не верил своим глазам».

Опрометчивый Фирмиан! Вздымающаяся пена твоего веселья легко может рассыпаться и опасть, как в ту субботу, когда ты раздавал визитные карточки. Но пока еще бродила капля суслы, выжатая им из утренних часов, все было исполнено бодрости и оживления.

Галопирующий домохозяин сыпал своей сеялкой семена пудры на добрую почву. — Переплетчик повез на колесах свои товары на ярмарку; они состояли частью из пустых записных книжек, частью из еще более пустых церковных книжек, частью из новинок и календарей, и ему пришлось перевезти их на тачке в два приема; но вечером он смог ограничиться лишь одной обратной поездкой, ибо календари (в сущности являющиеся наибольшими новинками или новостями, так как во всем долгом беге времен ничего нет новее, чем новый год) он сбыв покупщикам и перекупщикам. Старая Забель выставила напоказ под воротами все сокровища своего Ост-Индского торгового дома, фрукты с собственного склада и коллекцию оловянных перстней; свой магазин она не уступила бы даже собственному брату, даже за шесть гульденов, и весьма гордилась тем, что была городской, а отнюдь не сельской торговкой. Башмачник в этот праздничный день не желал иметь никакого дела с башмаками, кроме башмака своей жены.

О герой, продолжай же обсасывать впрок сладкий рафинад жизни и опустошай тарелочку конфет, которыми угостило тебя это утро; пусть не тревожит тебя никакая мысль, ни о чорте, ни об его бабушке, хотя бы они, согласно своей натуре, и готовили тебе горький сюрприз и кубок с рвотным или даже глоток сурьмы или сулемы.

Однако впереди еще предстоит главное развлечение

адвоката — бесчисленное сборище нищих. Я опишу его, чтобы к этому развлечению приобщились и читатели.

Ярмарку, устраиваемую в день храмового праздника, вообще посещают нищие всех рангов; еще дня за два до нее к этому месту обращаются, словно радиусы к центру, стопы всех, у кого нет никакой почвы под ногами, кроме добрых людских сердец; но лишь в самое утро праздника шествие и нашествие попрошаек и калек развертывается во-всю. Тот, кто видел Фюрт или побывал в Элвангене в правление патера Гаснера, может вырезать эти страницы из своего экземпляра настоящей книги; но остальные читатели получают представление обо всем этом не раньше, чем когда я продолжу свой рассказ и введу их в кушнапельские ворота.

И вот начинаются уличные молебны и серенады. Слепцы поют, словно ослепленные зяблики, лучше, но громче зрячих, — хромые шествуют, — нищие сами проповедуют евангельскую нищету, — глухонемые поднимают оглушительный шум и благовестят к обедне своим колокольчиком, — каждый въезжает со своей арией в самую середину чужой, — у дверей каждого дома дребезжит «Отче наш», а внутри, в комнатах, не расслышишь даже собственных проклятий, — одни раздают, а другие прикарманивают целые коллекции грошей, — одноногая солдатня приперчивает свои краткие моления руганью и отчаянно богохульствует, возмущаясь тем, что ее так мало почитают, — короче говоря, местечко, которое собиралось сегодня веселиться, почти взяла штурмом нищая орда.

Но вот, наконец, появляются калеки и недужные. Каждый, кто имеет под собой одеревяневшую подставную ногу и не желает утруждать себя долгим паломничеством к часовням католических чудотворцев, пускает в ход оставшуюся ногу, вместе с длинной третьей ногой и сотруدنником, костылем, и пускается в путь, устремляясь в Кушнапель; возле тамошних ворот он втыкает и сажает в сырую землю свою заостренную деревяжку и ждет, чтобы сухое древо процвело и принесло плоды. Кто лишился рук, тот протягивает там обе за скудным даянием. Кого небо наделило малой толикой нищенского таланта, то есть болезни, в особенности — подагры, этой нищенской иппохондрии, тот использует свой талант и подверженное

болезни тело, чтобы вѣзять свои чрезвычайные сборы со здоровых. — Всякий, кто может красоваться не только под фронтоном церкви, но и на фронтисписе медицинского учебника, повествует о своих болезнях, чтобы выманить монету у дураков, принимающих его слова за чистую монету. — В Кушнапеле теперь большой выбор ног, носов и рук, но людей там еще больше; однако изумление и бессильную зависть, — последнюю, впрочем, испытывают лишь макулатурные душонки, неспособные примириться с чужими преимуществами, — вызывает один удивительный малый, существующий всего лишь наполовину, так как вторая его половина уже покоится в могиле; ему начисто отстрелили ноги, и эти выстрелы позволили ему завоевать себе первенство и генеральство среди калек, и поэтому он, в качестве полубога, дух которого не одет, а лишь полуодет в плоть, словно в короткий камзол, заставляет возить себя впереди всех на триумфальной тележке. «Тот солдат, — сказал Зибенкэз, — который еще обременен одной ногой, а потому негодует на свою судьбу и даже заявляет ей претензию: «Почему я не подстрелен, как тот калека, и добываю такую скудную милостыню?» — не соображает того, что, с одной стороны, имеются целые тысячи других воинов, не обладающих хотя бы одной деревянной ногой (не говоря уж о нескольких), этим бесспорным свидетельством на право сбора подаваний, и что, с другой стороны, скольких бы конечностей его ни лишили пули, он всегда способен спросить: «А почему только этих?»

Зибенкэза веселил вид нищей братии, потому что она и сама была навеселе; но зато адвокат не вопил, — научно обосновывая этот вопль, — о потрясении государственных основ, когда бедняки слишком много жрали и пьянствовали, когда все пассажиры целой лазаретной фуры высаживались перед задним флигелем, и там, в четырех стенах, спадали нарывные пластыри, мученические венцы, власяницы и утыканые колючками пояса, и оставалась лишь бодрая человеческая натура, на минуту переставшая вздыхать. Ведь все люди трудятся не только для того, чтобы жить, но и для того, чтобы хоть иногда пожить в свое удовольствие; понятно, что и нищий не довольствуется лишь хлебом насущным и что богиня ра-

дѣсти, посѣщающая наши балы только en masque, идет в дощатый амбар плясать с калеккой и, вальсируя с ним, сбрасывает с лица душную маску.

В одиннадцать часов чорт, как я и предвидел, швырнул в брачный суп Фирмиана целую горсть жужжащих мух в лице особы, готовящейся вступить в брак, а именно — г-на Розы фон Мейерна, который (вместо realteration) с чисто патрицианской бесцеремонностью прислал сказать, что после полудня явится с визитом, ибо отсюда с большим удобством сможет обозревать ярмарочную площадь. Те бедные сановники, которые не могут повелевать нигде, кроме собственного дома, склонны проделывать в нем бойницы, чтобы обстреливать из них врага, нападающего изнутри. Адвокат мог бы на каждую чашку своих весов Фемиды бросить по одной грубой выходке против рентмейстера и старался лишь выбрать меньшую из них; одна заключалась в том, чтобы через посланца предложить ему оставаться там, где он и сейчас находится, а другая — в том, чтобы пустить его к себе, но затем не замечать, словно эта личность находилась на луне. — В качестве меньшей грубости Зибенкэз выбрал последнюю.

Наши милые женщины всегда вынуждены таскать на себе и поддерживать ту небесную лестницу, по которой мужчины поднимаются в горную лазурь и в пурпур заи; так и этот визит свалился новым грузом на руки носильщицы Ленетты. Снова началось мытье всего движимого имущества и окропление всего недвижимого. Ленетта искренно ненавидела Мейерна, жениха детоубийцы; но, несмотря на это, были пущены в ход все машины для лощения комнаты: ведь для приема своих неприятниц женщины, насколько мне известно, наряжаются еще тщательнее, чем для приема подруг. Адвокат расхаживал, бряцая длинными цепями силлогизмов, словно призрак — железными цепями, и старался убедить жену, чтобы она не хлопотала из-за этого гуся, — но все было тщетно, ибо она твердила: «Что бы он обо мне тогда подумал?» Лишь когда она изгнала из комнаты, как слишком неизящный предмет, старую чернильницу, в которой Фирмиан только что начал разводить чернильный порошок для «Избранных мест из бумаг дьявола», и хо-

тела взяты за священный ковчег письменного стола, супруг и повелитель восстал и поднялся на задние лапы, а передними показал ей демаркационную линию.

Роза явился! В сущности, ни один сколько-нибудь мягкосердечный человек не смог бы проклясть или до смерти исколотить этого юнца; напротив, в те промежутки времени, которые проходили между его проделками, его безусловно можно было полюбить. Он имел белесоватую шевелюру и бородку, был преисполнен кротости, и в его жилах, вместо крови, текло, как у насекомых, почти что молоко, подобно тому, как ядовитые растения обычно обладают тягучими млечными соками. Он был великодушен ко всем, кроме девушек, и по вечерам нередко проливал в театре больше слез, чем сам выжал у многочисленных соблазненных им жертв, — вообще его сердце было не из камня, тем более — не из адского камня, и когда он долго молился, то делался набожным и выискивал древнейшие догматы веры, чтобы признать их. Гром небесный был для него лишь трещеткой ночного сторожа, будившей его от тихого сна грехов. Он охотно протягивал руку помощи нуждающимся, в особенности — красавицам.

Вообще он может снискать вечное блаженство, — тем более, что, не в пример великосветским должникам, не платит своих карточных долгов, а в своем сердце имеет врожденную охранную грамоту против дуэльной стрельбы и рубки. Правда, своего слова он пока что еще не держит; и если бы он был беднее, то, не долго думая, начал бы воровать. Перед влиятельными людьми он ползает, виляя хвостиком, но женщин дергает за шлейф, словно комнатная собачонка, или же, оскалив зубы, принимает оборонительную позу.

Подобные гибкие паразитические ростки уклоняются от каждого удара сатиры, и как бы они его ни заслуживали, нанести его невозможно, ибо воздействия тут не больше, чем противодействия. Зибенкэз хотел бы, чтобы Мейерн был более грубым и неотесанным: ведь именно эти подаглиявые, кающиеся, бессильные и бесцветные кроткие создания крадут счастье, кассовую наличность, женскую невинность, должности и доброе имя, и они

вполне подобны мышьяку, который, когда он по-настоящему ядовит, бывает совершенно белым, блестящим и прозрачным.

Как я уже сказал, Роза явился; но он был бесконечно прекрасен: его носовой платок благоухал, как большой Молуккский остров, а оба локона — как два маленьких Молуккских островка; на жилете (согласно тогдашнему обычаю) был нарисован целый скотный двор, или Циммермановский зоологический атлас; штанишки, кафтанчик и прочее были таковы, что от одного взгляда на них все женщины этого дома, мимо которых проследовал рентмейстер, превратились в соляные столпы. Должен сознаться, что меня самого больше ослепляют его шесть кольценосных пальцев; на их украшение и оковывание золотом пошли силуэты, рисунки, камни и даже надкрылья жуков.

О руке вполне можно сказать, что кольцами она подкована, словно копыто, ибо выражение «подковывать» давно уже применяется к конскому копыту, а между тем Добантон, проанатомировав его, доказал, что по своему строению оно вполне сходно с кистью человеческой руки. Назначение этих ручных или пальцевых оков совершенно невинное; более того, людям, нуждающимся в кольцах для продевания в нос, они необходимы и на пальцах. Ибо общепризнано, что эти металлические наросты на пальцах изобретены для уродования красивых рук, подобно тому как цепи и носовые кольца служат, чтобы смирять суетность; поэтому те кулачищи, которые безобразны сами по себе, легко обходятся без этого обезображения. Мне хотелось бы знать, является ли столь же правильным придуманное мною самим аналогичное объяснение того, почему красивая рука должна превращаться в какое-то подобие армиллярной сферы с торчащими кольцевыми ребрами. Дело в том, что Паскаль носил на голом теле большое железное кольцо с колючками, чтобы, слегка нажимая на него, немедленно наказывать себя болью за каждую суетную мысль: спрашивается, не должны ли меньшие и более красивые кольца, носимые на пальцах, подобным же образом карать каждую суетную мысль слабыми, но многочисленными болями? По-

видимому, их назначение именно таково, ибо как раз самые суетные люди носят наибольшее число колец и больше всего шевелят окольцованной рукой.

Непрошенные визиты часто проходят веселее, чем другие: так и сегодня настроение было достаточно веселое. У себя дома Зибенкэз чувствовал себя как дома — он вместе с рентмейстером глядел на ярмарку. Жена, в силу полученного ею воспитания и согласно обычаю захолустных городишек, принятому и в средних городах, не решалась выйти из роли немой — самое большее, предупредительной — слушательницы на концерте мужской беседы, входила и выходила, вносила и выносила, но большую часть времени просидела внизу, с другими женщинами. Учтивый, галантный Роза-Эверар безуспешно обращал против нее свое чародейство, которым он обычно приковывал женщину к месту. В разговоре с супругом он жаловался на то, что в Кушнапеле мало настоящей изысканности и еще нет ни одного любительского театра, где можно было бы играть, как в Ульме, — лучшие книги и принадлежности моды приходится выписывать из-за границы.

Зибенкэз ответил лишь, что доволен развлечением, которое ему доставляют нищие на ярмарке. Он рекомендовал гостю обратить внимание на мальчишек, трубивших в размалеванные красной краской деревянные трубы, чтобы разрушить своей музыкой если не Иерихон, то хотя бы барабанную перепонку. Вместе с тем он (глубоко обдумав сей вопрос) советовал ему не проглядеть из-за этого прочих бедняков, собиравших в свои шапки оставшуюся от расколотых дров щепу, подобно тому как на полях собирают оставшиеся колосья или как строительные надсмотрщики подбирают щепу от плотничьих работ. Он спросил рентмейстера, осуждает ли тот, по примеру прочих камералистов, лотереи и лото и думает ли он, что общему благосостоянию Кушнапеля причиняет ущерб находящаяся внизу на площади перевернутая старая бочка, на днище которой, по циферблату из пряников и пряничных орехов, двигалась стрелка, за небольшой взнос приводимая в быстрое вращение участниками игры, с риском для лотерейного департамента (в лице жадной старухи), так как иному мальчику вместо орешка перепал пряник. Зибенкэз любил малышей, ибо в его глазах

они были сатирическим, искажающим, уменьшительным зеркалом всей гражданской помпезности. В таких двусмысленных сравнениях рентмейстер не нашел ни малейшего вкуса; впрочем, адвокат и не намеревался разгонять ими ничьей скуки, кроме своей собственной. «Ведь имею же я право, — сказал он однажды, — разговаривать вслух с самим собою обо всем, что мне заблагорассудится; какое мне дело, что это слышит кто-нибудь другой, находящийся у меня за спиною или перед брюхом».

Наконец он, — не без одобрения рентмейстера, надевшегося теперь толком побеседовать с его женой, — бросился вниз и затерялся в ярмарочной толпе. Благодаря уходу Фирмиана Эверар наконец попал в свою стихию, в настоящую заводь для этой шуки. В качестве введения он воздвиг перед Ленеттой модель ее родного города; он знал многие улицы и многих людей в Аугспурге, часто проезжал верхом мимо Фуггерава квартала и как сейчас помнит, что однажды видел ее самое сидящей возле презвычайно почтенной матроны (наверное это была ее мать) и шьющей дамскую шляпу. Не долго думая, он взял и пожал руку Ленетты, которая не сопротивлялась, как бы из благодарности за пробужденные им столь дорогие воспоминания; затем он внезапно ослабил нажим, чтобы посмотреть, не ответствует ли она хоть как-нибудь в этой давке их пальцев и не стремится ли восстановить прекратившееся давление, — но с таким же успехом, как теплую ручку Ленетты, мог бы он пожимать своими воровскими пальцами железную руку Гёда. Тогда он перешел к работе модистки, поговорил о моделях головных уборов как знаток, а не как Зибенкэз, который вмешивался в этот вопрос, не имея о нем ни малейшего понятия, — и предложил ей две партии как ульмских образцов, так и кушнапельских заказчиков. «Я знаком с несколькими дамами, — заявил он и показал ей в своем карманном календаре список своих engagements на танцы будущего зимнего сезона, — которые не посмеют мне отказать: я не буду танцевать ни с одной, на которой не будет надето какое-нибудь ваше изделие». — «Ну, до такой крайности дело, пожалуй, не дойдет» — ответила неопределенно Ленетта. Наконец он вынужден был попросить ее немного поработать в его присутствии, так как хотел

ослабить ядро ее военных сил, разделив его тем, что ей пришлось обратить взоры на свои иголки и выставить против него на сторожевом посту только уши. Она покраснела, когда взяла две булавки и воткнула их в маленькую круглую алую подушечку — своего рта; но этого Эверар не мог потерпеть, он знал все опасности такого обыкновения остриями (*сооружения колючей изгороди* против подобных ему зайцев), ибо женщина может нечаянно проглотить либо этот самый стилет, либо покрывающую его ядовитую ярь-медянку. Он собственноручно извлек это колющее оружие из ножен ее уст, но оцарапал (по крайней мере, он выразил сожаление об этом) ее вишневый ротик, — впрочем, лишь слегка или даже нисколько. В таких случаях каждый честный рентмейстер считает своим долгом принять на себя расходы по лечению и штраф за увечье; Эверар с готовностью вынул своего патентованную английскую помаду, смазал ею указательный палец Ленетты и этой пластырной лопаточкой, — причем был вынужден взяться за всю ее руку, служившую рукояткой для пальца, и несколько раз невольно пожать ее, — нанес целебный бальзам на невидимую рану. Злополучный стилет он воткнул в свою рубашку, а в обмен на него дал собственную булавку из жабо, извлекая которую, открыл и охотно простудил бы свою нежную белую грудь. Людей, понимающих военное дело, я убедительно прошу беспристрастно критиковать моего героя и, устроив по всем правилам заседание военного суда, указать мне, какие маневры и планы были неправильны.

Понятно, что Эверар предложил раненой прекратить работу и лишь показать ему уже готовые произведения; экземпляр одного из них он заказал для уважаемой госпожи фон Блэз. Он попросил мастерицу примерить ее творение и собственноручно оправил убор, чтобы он сидел так, как привыкла носить госпожа фон Блэз. О небо! Это выглядело даже лучше, чем можно было думать; и рентмейстер поклялся, что для тайной советницы убор должен быть оставлен без изменений, тем более, что она одинакового роста с мадам. Последнее было ложью, и советница была на целых пол-носа длиннее, что и заявила Ленетта, которой случилось видеть ее в церкви. Но Роза стоял на своем и прозакладывал свою душу и веч-

ное блаженство (ибо в подобных спорах он позволял себе весьма нечестивые выражения) в том, что госпожа советница не выше, чем он сказал: он готов поклониться в этом на святых дарах, ибо сотню раз мерился с ней, и она выше его самого на пол-дюйма. «Клянусь небом! — вдруг воскликнул он и вскочил. — Ведь я, подобно закройщику ее туалетов, имею при себе мерку ее роста, и остается лишь помериться мне с вами».

Здесь я не утаю от молоденьких девиц выработанное мною лично золотое правило военной тактики: «Никогда не вступай в длительный спор с мужчиной, о чем бы ни шла речь. Пылкость словпрений все же является пылкостью. Наконец забудешься и прибегнешь к доказательством посредством силлогистических фигур, чего неприятель только и ждет, чтобы превратить их в поэтические или даже пластические».

Ленетта, закружившись в стремительном вихре событий, добродушно встала под рекрутскую мерку, которой послужил ее рекрут Роза; он прислонился спиной к ее спине: «Но так не годится, — сказал он, — ведь я ничего не вижу» — и снова расплел свои пальцы, которые он, загнув назад руки, сложил было как раз над областью ее сердца. Он быстро обернулся, встал перед ней, слегка обнял ее и склонился к ней, чтобы ватерпасом своего взгляда проверить, находятся ли их лбы в одной плоскости. Оказалось, что его лоб торчит на целый дюйм выше. Тогда Эверар крепче обхватил ее и, покраснев, произнес: «Вы были правы; но я лишь добавил к вашему росту вашу красоту»; и, воспользовавшись такой близостью, он, словно скрепляя истину своих слов сургучной печатью, прильнул своим красным ртом к устам Ленетты.

Это сконфузило, смутило, взволновало и раздосадовало ее; но она не осмелилась разразиться гневом против знатного патриция. Теперь она упорно молчала. Он уселся с ней около окна и сказал, что надеется прочесть ей песни иного рода, чем те, которые разносчики продают внизу, на ярмарке. Дело в том, что он был одним из величайших поэтов в Кушнапеле, хотя до сих пор больше старался доставить известность своим стихам, чем сам приобретал ее благодаря таковым. Подобно большинству современных стихотворений, они были совершенно

сходны с самими музами, ибо, как и музы, поистине являлись *детьми памяти*. Каждый старомодный город имеет, по крайней мере, одного новомодного фата, который fait les honneurs; и каждое холодное, прозаическое городское общество, стилизованное в судебно-канцелярском духе, имеет своего гения, своего поэта и сентименталиста; нередко обе должности исправляет одна и та же персона, как было и в данном случае. Большой и малый совет величали своего Розу бурным гением, зараженным гениальностью. Эта заразная болезнь сходна с элифантиазисом, который Тройль правильно описывает в своем «Путешествии по Исландии», в 24-м письме, и который заключается в том, что больной, совершенно походя на слона волосами, морщинами, цветом и шишковатостью кожи, лишь не обладает его силой и живет в холодном климате.

Из одного кармана, а именно — левого, Эверар извлек трогательную элегию; там (то есть в элегии) один благородный юноша, сраженный любовью, воспевал собственную грядущую кончину, и автор заранее предупредил слушательницу, что охотно прочтет ей эту элегию вслух, если только сам сможет преодолеть свою собственную растроганность; но вскоре стихи выжали у самого автора немало умиленных слез, и, к чести его будь сказано, он явил новый пример того, что, несмотря на все мужество и хладнокровие, которое он и подобные ему поэты умеют проявлять при величайших страданиях человечества, они все же не могут вполне владеть собою во время любовных страданий и невольно проливают слезы. Конечно, в таких слезах они не раскаиваются. Тем временем Роза, который, подобно карточным шулерам, всегда старался воспользоваться какой-нибудь зеркальной поверхностью, — будь то вода, оконное стекло или полированная сталь, — чтобы улавливать даже самое мимолетное выражение женского лица, заметил в одном зеркальце на перстне левой руки (в которой он держал элегию), что в глазах Ленетты осталось немного трагической росы, как след его стихов. Тогда он извлек из другого кармана балладу (должно быть, она уже давно напечатана), в которой безвинная детоубийца в слезах прощается с возлюбленным и уходит навстречу карающему мечу. Эта баллада, весьма непохожая на прочие плоды его музы,

имела истинную поэтическую ценность, ибо, к счастью, по крайней мере — для баллады, он сам представлял собою такого возлюбленного, а потому смог здесь говорить языком сердца, доходящим до сердца. Трудно описать волнение и растроганность, изобразившиеся на лице Ленетты; вся ее душа была видна в отуманенных слезами глазах; она не привыкла, чтобы ее так сильно потрясали одновременно и действительностью, и поэтическим вымыслом. Тогда воспламененный рентмейстер бросил прочь свою балладу, а сам бросился на шею Ленетте, восклицая: «О сочувствующая, благородная, возвышенная!»

Я не в силах описать то изумление, с которым его отстранила она, совершенно не понимающая этого перехода от слез к поцелуям. Но ничто не помогало: Эверар был растроган, он требовал от нее, на память об этой «*возвышенной, чарующей минуте*» хотя бы прядь волос. Низкое общественное положение Ленетты, напечатанный крупным шрифтом эпитет и вообще ее неспособность понять, что собирается делать рентмейстер с ее черным мехом, хотя бы она остригла целые кисти и матрацные жгуты его, — все это внушило ей нелепую мысль, будто он хочет получить клочок ее волос для чародейства и, может быть, именно для того, чтобы насладиться на нее любовью.

Теперь он мог бы дать себя заколоть, зарубить, посадить на кол в ее присутствии, — она отнеслась бы к этому равнодушно и, быть может, пожертвовала бы для его спасения свою кровь, но ни за что не дала бы ни одного волоска.

Роза имел *in petto* еще одно средство, — хотя вообще с ним никогда еще не случалось ничего подобного, — он клятвенно воздел руки к небесам и заявил, что в угоду ей, если только она возьмет ножницы и отстрижет для него волосяной сувенирчик, хотя бы с одну четверть уса, — он легко добьется от г-на фон Блэза возврата наследства ее мужа и признания последнего кузенком, для чего достаточно лишь пригрозить тайному отказом от женитьбы на его племяннице.

Она ничего не знала о тягбе, а потому рентмейстер был вынужден, в ущерб своему энтузиазму, дать обстоятельное, прозаическое изложение *species facti* всего про-

цесса. К своему большому счастью, он еще сохранил в кармане газету, в которой камера по делам о наследствах печатно справлялась о существовании адвоката, и смог предъявить ее Ленетте. Тогда ограбленная женщина стала горько плакать, огорченная не потерей наследства, а долгим молчанием мужа и в особенности сомнительностью ее теперешнего имени, так как она уже не знала, вышла ли замуж за Зибенкэза или же за Лейбгегера; ее слезы струились все обильнее, и, одурманенная горем, она отдала бы стоящему перед нею обманщику все свои прекрасные локоны, если бы в то время, когда он, коленопреклоненный, просил лишь об одном из них, случай не разорвал всю цепь этих минут.

Однако мы прежде поглядим, где носится супруг Ленетты. Сначала он бродил среди лавок; ибо многоголосый гул и смесь дешевых наслаждений и выставленные для обозрения образцы лохмотьев, из которых мы, как моль, мастерим свои одежды и чехлики, — все это заставило его погрузиться душой в юмористическо-меланхолические думы о мозаичной картине нашей жизни, составленной из пестрых минуток, пылинок, капелек, дымок и точек: Он смеялся и с умилением, понятным лишь для немногих из моих читателей, внимал пронзительному голосу уличного певца, который, держа в одной руке свой посох рапсода, указывал им на большой натянутый и раскрашенный лист с изображением ужасного убийства, а другой рукой раздавал печатные листы меньшего размера, описывавшие публике преступление и преступника не более светлыми, чем поэтическими красками. Зибенкэз приобрел два экземпляра, которые сунул в карман, чтобы прочесть вечером.

Печальная повесть об убийстве обрисовала на фоне его души образ его подзащитной детоубийцы и эшафот, орошенный горячими слезами, которые из его надорванного сердца, понятого лишь одним человеком, струились словно кровь из свежей раны. Он покинул шумную ярмарочную площадь, стремясь на лоно безмолвной природы в изолированное убежище, предназначенное одновременно для дружбы и для преступления. Свообразное и ласкающее чувство испытывает человек, внезапно уйдя из ко-

пошащейся ярмарочной толпы в спокойное и монотонное окружение мироздания, в его немой и темный храм.

Со стесненной грудью взошел Фирмиан на знакомое возвышение, жестокое название которого я не хочу здесь повторять, и, словно существо, оставшееся последним в мире, оглядел его с этой руины: но ни в лазури небес, ни в зелени земли не нашел он себе отклика. Лишь на жниве, на месте срубленного леса колосьев, затерявшийся кузнечик продолжал в раскрытых бороздах свою односложную болтовню. Птицы с нестройным криком собиравлись в стаи и летели в многочисленные зеленые сети птицеловов, а не к отдаленной зеленеющей весне. Над лишенными цветов лугами, над лишенными колосьев нивами блуждали бледные призрачные образы прошлого, а над грандиозными и вечными предметами, над лесами и горами, навис едкий туман, словно в этом дыму распалась вся потрясенная природа, превращаясь в пыль. Но светлая мысль превратила темный пепельный дождь природы и души в белый туман, а затем в радужную росу, и этой росой окропила цветы; Фирмиан посмотрел на северо-восток, на горы, за которыми скрылось его второе сердце: из-за них вставал, подобный ранней осенней луне, бледный образ его друга; и будущая весна, к которой он приурочил новое свидание со своим Генрихом, уже начала прокладывать ему широкий путь к этой встрече, — путь, украшенный зеленью и цветами. Как играет человек окружающим миром и как быстро переодевает его в наряд, сотканный в собственной душе! Теперь чистое небо словно опустилось и приблизило свою лазурь к поблекшей земле. Разве не слышались уже звуки грядущей весны, — доносящиеся издали, через целую зиму, — в вечернем звоне колокольчиков пасущегося скота, в призывном крике лесных птиц и в журчании ручьев, не скованных льдом и текущих с обрыва, усеянного будущими цветами? И когда вблизи от Фирмиана повисла трепещущая куколка, еще не сбросившая остатков сморщенной гусеничной кожицы, но во сне уже видевшая себя мотыльком на цветочных чашечках, — когда внутренний взор воображения разглядел за копами скошенных осенних трав великолепный вечер поры летнего сенокоса, — когда каждое дерево, наряженное в осенние цвета, снова

зазеленело, — когда пестрые горные вершины, подобные огромным тюльпанам, перебросили радужный мост над ссенними ароматами земли, — тогда майские ветерки помчались вдгонку за развевающейся листвою, повеяли на нашего друга бодрящими волнами, взлетели с ним и вознесли его над осенью и над горами, и он смог бросить взгляд через горы и равнины, и вдруг узрел все еще не расцветшие весны своей жизни в виде ряда садов, и в каждой весне стоял его друг!

Фирмиан покинул это место; но еще долго бродил он по полям, где теперь уже не приходилось осторожно выискивать тропинку; ему не хотелось, — особенно потому, что сегодня он встречал столько людей с ярмарки, — чтобы по его глазам можно был угадать, о ком он думал в пути. Однако эта долгая ходьба мало помогла ему: бывают состояния, когда раненая душа, подобно надрезанному деревью, истекает слезами непрерывно и от малейшего прикосновения.

Свидетели, в особенности таких, как Роза, он избегал потому, что (как я вынужден с прискорбием отметить) именно в растроганном состоянии он — из стыдливости или же вследствие пылкого характера — скорее всего был склонен маскировать свое настроение запальчивостью. Наконец ему под-руку подвернулось оружие для победы над собой: мысль о том, что он еще должен принести много извинений и оказать много внимания гостю, чтобы загладить невежливость своего отсутствия.

Когда он прибыл домой — что за странное зрелище! Прежнего гостя уже не было, на его месте был новый — и возле него заплаканная супруга. При появлении Фирмиана она отошла к окну, и снова полился целый ливень слез. «Госпожа адвокатша для бедных, — продолжал говорить школьный советник, держа ее за руку, — ради бога, покоритесь воле божией, все это легко поправимо и устранимо, — я охотно допускаю, что можно испытывать печаль; но пусть же она не будет чрезмерной». Ленетта даже не взглянула на мужа и продолжала глядеть в окно. Лишь теперь советник рассказал все то, что уже рассказано мною, — между тем как Фирмиан, внимательно слушая его, взял горячую руку отвернувшейся Ленетты; затем советник продолжал: «Когда я вошел — о боже

великий! — его милость стоял на коленях перед госпожой адвокатшей, проливая греховные слезы, и мне приходится высказать опасение, что он замышлял похитить ее драгоценную честь. Но я силой поднял его, без всяких церемоний, и спросил его с достойным Паулина бесстрашием, за которое готов держать ответ перед богом и людьми: «Ваша милость, этому ли я вас учил в бытность мою частным преподавателем у вашей милости? Подобаает ли христианину такое коленопреклонение? Фу, стыдитесь, господин фон Мейерн!» — Тут советник снова ужасно разгорячился и, глубоко засунув руки в плюшевые карманы своего фрака, принялся расхаживать взад и вперед по комнате. «Против такого зайца, — сказал Фирмиан, — нетрудно защищаться посредством изгороди и пугала; но почему же ты так расстроена, милая, — спросил он, — и о чем ты так горько плачешь?» Она заплакала еще сильнее; тогда советник уперся руками в бока и гневно сказал ей: «Ах, так? Госпожа адвокатша для бедных, неужели мои сегодняшние утешения так мало на вас повлияли? Вот уж совсем не ожидал ничего подобного. Приходится, стало быть, признать, что когда я имел честь взять вас сюда из Аугсбурга в моем экипаже, то, описывая вам со всевозможным красноречием высокие радости брака (к тому же — еще прежде, чем вы таковые вкусили), я говорил совершенно попусту и на ветер; из вашей памяти, кажется, улетучилось все, что я вам объяснял тогда в карете, — какое блаженство доставляет супруг своей супруге, — как она нередко готова плакать от счастья, что обладает им, — как оба составляют лишь единое сердце и единую плоть и делятся между собою всем, радостью и горем, каждым куском хлеба, каждым помыслом, не утаивая друг от друга даже мелочей. . . Но я вижу, госпожа адвокатша, что советнику Штибелю придется удалиться с предлинным носом! . . .» Тут она быстро отерла и осушила поочередно оба глаза, с напускной веселостью поглядела на него самым дружелюбным взглядом и ограничилась тем, что произнесла с глубоким вздохом, но кротко и не скорбно: «Ах!» — Советник священническим жестом опустил свою не покрытую перчаткой руку и, коснувшись пальцами ее бессильно повисшей руки, сказал: «Господь вам будет исцелителем и утешителем во всех

ваших горестях! (от подступавших слез он сам еле мог продолжать). Аминь. Сим я разумею: да, да, пусть свершится». Но тут он крепко обнял и поцеловал Фирмиана, а затем сказал ему: «Пошлите за мной, если вашей милейшей супруге не помогут утешения, — но я molto всевышнего ниспослать бодрости вам обоим. — Да... чуть не забыл, зачем собственно я пришел... рецензия на пасхальную программу должна быть готова к среде; кроме того вам от меня причитается гонорар за те восемь с лишним строк, в которых вы так славно отделали последнее изделие бездарного писаки».

Но когда он удалился, Ленетта осталась не настолько утешенной, как можно было ожидать; она продолжала стоять у окна, подавленная горем и погруженная в глубокое раздумье. Тщетно убеждал ее Фирмиан, что он ведь никогда больше не переменит своего и ее теперешнего имени и что ее честь и брак и любовь связаны не с жалкими буквами имени, а с личностью и сердцем мужа. Она подавила свой плач, но в течение всего вечера оставалась удрученной и молчаливой.

Не сочтите доброго Фирмиана слишком недоверчивым на том основании, что он, едва избавившись от неудачливого святотатца брачных святынь, рентмейстера, теперь размышляет о вулканическом извержении, которое легко может засыпать на большом пространстве камнями и пеплом его жизненный путь, если друг его Штибель действительно влюбился в Ленетту, хотя бы и невинной любовью. Все поведение последнего, начиная с галантностей в день свадьбы, вплоть до дальнейших частых визитов и до сегодняшнего гнева против рентмейстера, с последующей растроганностью, — все это создавало целостную картину пламенной и все растущей, но вместе с тем честной и неосознанной любви. Не залетела ли в сердце Ленетты и не тлеет ли в нем случайная искра этого пламени? Фирмиан пока еще не мог это знать; но, не смотря на порядочность его друга и жены, он при теперешних условиях имел не меньше оснований для тревоги, чем для надежды.

Но, милый мой герой, оставайся же героем! Мне все яснее становится, что судьба намерена постепенно собрать из отдельных частей сверлильный станок, чтобы насквозь

просверлить алмаз твоего стоицизма; или же она хочет постепенно построить из бедности, домашних невзгод, тяжбы и ревности хитроумную английскую стригальную и палильную машину, чтобы состричь и спалить на тебе каждое негодное волоконец, как на лучшем английском сукне. Если это произойдет, то выйди из-под пресса в виде прекраснейшего английского изделия или издания, какое только посылалось когда-либо на лейпцигскую суконную и книжную ярмарку, — и ты будешь сиять.

#### ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

*Супружеская игра à la guerre. — Послание к волосолюбивому рентгенийстеру. — Самообманы. — Свадебная речь Адама. — Тень на бумаге и тень на душе.*

Наиболее пристально я наблюдаю и наиболее подробно протоколирую два равноденствия: брачное, когда после медового месяца солнце вступает в созвездие Весов, — и внешнее, метеорологическое, ибо на основании той погоды, которая стоит во время их обоих, я чудесно могу предсказывать погоду на долгое время вперед. Важнее всего для меня первая весенняя и первая супружеская гроза, потому что все остальные надвигаются из той же области. Как только ушел советник, наш адвокат обнял свою разгневанную грацию и засыпал ее всевозможными аргументами, бесспорными доказательствами и половинными доказательствами, наглядными доказательствами, торжественными присягами и логическими выводами, какими только можно взывать к чьей-либо любви или подтвердить свою. Но доказательственный срок истекал без всякой пользы: столь же успешно Фирмиан мог бы обнимать твердое и холодное изваяние ангела над купелью в соборе, — таким холодным и немим оставался его собственный ангел. Штиблет был кровоостанавливающим турникетом для вскрытых, кровоточащих артерий Ленетты; когда он ушел, плотина его языка перестала преграждать путь ее слезам, — и теперь они лились нескончаемым потоком.

Зибенкэз не раз подходил к окну или уходил в спальню, чтобы скрыть от жены, что сам следует ее примеру

и что ее столь неразумное горе невольно заставляет его тоже горевать из сочувствия. Легче терпеть и прощать чрезмерную скорбь, которую вызвал сам, чем вызванную другими. На следующий день в комнате царил жуткая, нестерпимая тишина. Так как в супружеском рассаднике зерна яблок раздора пока были посажены лишь в первую грядку, то еще не слышно было шелеста всходов. Во время первой ссоры жена еще не умеет (она этому научается лишь к четвертой, десятой или десятитысячной) одновременно безмолвствовать устами и шуметь торсом, применяя в качестве говорящей машины и валика каждый отодвигаемый ею стул и каждую швыряемую ложку, и создавать тем больше инструментальной музыки, чем продолжительнее пауза, выдерживаемая ею в вокальной. Ленетта-Венделина все делала и спрашивала так тихо, как если бы ее благоверный страдал подагрой и скрючивал свои больные ноги от малейшего прикосновения кроватных досок.

На третий день это начало раздражать благоверного — и не без основания. Признаюсь, что ссориться с моей женой, если бы у меня таковая имелась, я буду охотно и основательно, и я готов с нею вступать не только в переписку, но и в перебранку; однако нечто оказалось бы невыносимым для меня, а именно — долгая мрачная, плаксивая злопамятность жены, которая, подобно удушливому сирокко, постепенно гасит все светочи, все светлые мысли и радости мужа, а наконец, и свечу его жизни. Так для всех нас сильная летняя гроза не лишена приятности, ибо действует освежающе; но поневоле проклянешь ее, лишь из-за противной пасмурной, сырой погоды, которая наступает затем и держится несколько дней. Зибенкэз был тем более раздражен, что сам он раздражался чрезвычайно редко. По примеру прочих юристов, которые причисляют самих себя к категориям лиц, не подлежащих пыткам, он издавна защитил себя Эпиктетом против душевных истязаний горя, подобно тому, как сам защитил детоубийцу против истязаний иного рода. Согласно поверьям евреев, после пришествия мессии ад будет придвинут к раю, чтобы получился большой танцевальный зал, и бог начнет плясать. Зибенкэз круглый год занимался лишь тем, что пристраивал и пригонял все

своей застенки и школы аскетизма к увеселительному павильону своих *bagatelles*, чтобы исполнять там танцы из более грандиозных балетов. Он часто говорил, что следует назначить малую медаль для того гражданина, который способен воздерживаться от воркотни и брюзжания в течение трехсот шестидесяти пяти суток пяти часов сорока восьми минут и сорока пяти секунд.

В лето 1785 сам автор предложения не заслужил бы медали; на третий день, в субботу, он был настолько разъярен молчанием своей жены, что еще больше разъярился против Эверара, нарушителя их домашнего мира. Ведь этот поэт любви и ее похититель мог вскоре опять явиться в их дом и ввести в домашний фольклор адвоката богиню *раздора* (которая в «Генриаде» Вольтера, как правительница и посланница, превосходно выполняет поэтические задачи) в качестве *deae ex machina*, призванной для того, чтобы развязать узел брачного союза и завязать узел иного союза — с самим рентмейстером. Поэтому Зибенкэз написал и адресовал ему следующее академическое и полемическое послание:

«В настоящем прошеньице я осмеливаюсь доложить вашей высокоблагородной милости нижеследующую просьбу:

Благоволите оставаться дома и не удостоивать меня вашими посещениями.

Если у вашей милости встретится надобность в получении нескольких доконов из прически моей супруги, то я, нижеподписавшийся, готов вам услужить поставкой таковых. Если же вашей милости угодно будет осуществить у меня *Jus comrasci*, или право совместной охоты, и прибыть ко мне лично, то я не премину воспользоваться этим благоприятным случаем, чтобы из вас собственноручно надергать с корнями, подобно редискам, такое количество волос, какое потребно для сувенира. В Нюрнберге я неоднократно (хотя и без разрешения достопочтенного магистрата) ходил на пирушки в соседние деревни с одним престарелым дворянским истязателем,<sup>1</sup> то

---

<sup>1</sup> Так назывались прежде (см. примечания С. Клюбера к сочинению де-ла-Кюрн де-Сэнт-Палэ о рыцарстве) надзиратели при турнирных упражнениях; слабой копией этих надзирателей еще являются некоторые домашние учителя в дворянских домах. В те

есть губернатором, который в часы уроков извлек и ната-скал себе из шелковистых волос трех маленьких патри-циев прекрасный парик мышинного цвета и, вероятно, до сих пор его носит. Он занимался этим шелководством или, вернее, ошипывал снаружи эти маленькие головы для того, чтобы лучи его премудрости лучше проникали внутрь и вызывали там созревание плодов, подобно тому как в августе для такой же цели обрывают листву вино-града. За сим пребываю» и т. д.

Мне было бы досадно, если бы я не смог убедить чи-тателя в том, что адвокат, сочиняя это горькое пись-мо, не ощущал в душе ни малейшей горечи: настолько он увлекся подражанием неувыдаемо блестящим сати-рам трех веселых лондонских мудрецов — Бутлера, Свиф-та, Стерна, — этих трех тел великана Гериона сатиры, или трех грозных Парок для глупцов; любуясь сатири-ческим шедевром, он забывал об его теме, и за изящное построение и развитие колкой речи, направленной против него самого, он был способен простить даже самые дли-ные ее колючки. Я сошлюсь на его «Избранные места из бумаг дьявола», доказывающие, что сатирические ядо-витые пузырьки и шипы находились лишь в перо и чер-нильнице автора, то есть в его голове, но не в сердце.

Прошу читателей вдунуть здесь дух кротости в каж-дый звук (ибо наши слова скорее, чем наши деяния, вы-зывают людской гнев), но еще более — в каждую стра-ницу; ведь поистине, хотя бы ваши корреспонденты уже давно простили вам письменное *regeat*, однако когда этот листок кислого щавеля снова попадаетея им в руки, ста-рое кислое тесто вражды опять поднимается. Зато в дру-гом случае вы можете рассчитывать на такую же долго-вечность закрепленных писанием теплых чувств: если бы длительный, резкий декабрьский ветер оледенил мое сердце и сделал его жестоким и непреклонным к тому сердцу, из которого некогда исходили ко мне истинные послания Иоанновы, кроткие пастырские и пасторальные

---

времена рыцарских губернаторов называли «укротителями мальчишек», и можно лишь пожелать, чтобы в наше время, когда стараются вос-кресить все славные остатки рыцарства, наши надзиратели как в гимназиях, так и вне их если и не носили бы такое название, то хоть заслуживали его.

письма, — то для изменения моего теперешнего состояния мне достаточно было бы лишь извлечь эти идиллические письма из моего письмохранилища, наполненного письмоносными сумками или котомками. Вид любимого почерка, желанной печати, и милых слов, и бумажной арены столь многих восторгов снова согрел бы окоченевшее сердце солнечными лучами былой любви; подобно освещаемой солнцем цветочной чашечке, оно вновь раскрылось бы для уютных воспоминаний прошлого, и, хотя бы я был оскорблен лишь третьего дня, все мои мысли сказали бы: «Ах, к автору (или авторше) этих писем я до сих пор, пожалуй, был несправедлив». — Так и многие святые первого столетия изгоняли бесов из одержимых — лишь посредством посланий.

Именно в эту субботу, словно по заказу, явился, подобно еврейскому Шаббату, Штиблет. Я часто видал, как гость играл роль цемента и связующего вещества между супругом и рассорившейся с ним дражайшей половиной, так как они, из стыда и по необходимости, были вынуждены обращаться и говорить друг с другом дружелюбно, — по крайней мере до тех пор, пока их слышал гость. Поэтому каждый супруг и повелитель должен был бы иметь в запасе одного или двух гостей, которые приходили бы, когда он страдает под игом супруги и повелительницы, слишком долго одержимой бесом, насылающим немоту; тогда супруге пришлось бы, — по крайней мере, во время пребывания посетителей, — разговаривать и вынуть изо рта железное яблоко молчания, растущее на одной ветви с яблоком раздора. — Подойдя вплотную к Ленетте-Венделине, школьный советник встал перед ней, словно перед школьницей, и спросил, несла ли она первый крест своего супружества терпеливо, словно крестовая сестра Иова. Ленетта низко потупила свои большие глаза и стала наматывать коротенькую ниточку на белоснежный моток, причем глубоко вздохнула. За нее ответил муж: «Я был ее крестовым братом и нес поперечину ее креста, — не роптали ни она, ни я. — В двенадцатом столетии еще показывали сохранившееся гноище, на котором страдал Иов. Наши два кресла являются такими же гноищами и до сих пор доступны для обозрения». — «Добрая

жена!» — произнес Штибель нежнейшим пианиссимо басовых органичных труб и гудящих волынок мужской груди и возложил свою большую лилейно-белую руку на ее волосы, черные, словно вороново крыло, и ниспадавшие каскадом на лоб. Зибенкэз услышал в своей душе многократное сочувственное эхо этих слов, рукою обнял за плечи Ленетту (которая блаженно покраснела от почетной дружественности человека, облеченного саном) и, ласково привлекая ее к себе, так что ее левый бок прижался к его правому, сказал: «Да, она именно такова — кротка и тиха и терпелива, — но только слишком прилежна; если бы все адское воинство в лице рентмейстера, господин советник, не ополчилось против маленького загородного домика нашего счастья, чтобы сорвать с него кровлю, то мы долго и безмятежно проживали бы там до глубокой зимы наших дней. Ибо моя Ленетта — хорошая, и слишком хороша для меня и для многих других». — Тут растроганный Штибель своими пятью пальцами обхватил в области пульса ее занятую мотком руку, — так как свободную держал муж; и целебный бальзам для наших ран, крупные кашли которого, не отертые заполоненными руками, дрожа, стекали из ее потупленных глаз на щеки, наполнили оба мужских сердца бесконечной нежностью; впрочем, ее муж вообще не мог никого долго хвалить, не прослезившись. Он продолжал говорить, но уже быстрее: «Ей жилось бы у меня очень неплохо, если бы наследство, оставленное мне моей матерью, не было так бесчеловечно задержано. Но и без наследства я осчастливил бы ее, как и она меня; у нас не было ни одной ссоры, ни единого омраченного мгновения, — не правда ли, Ленетта? У нас царили только мир и любовь, пока не пришел рентмейстер! Он много у нас отнял!» — Разгневанный советник поднял сжатый кулак и, ударяя им по воздуху, воскликнул: «О ты, исчадь адаво! О ты, отъявленный разбойник и флибустьер! О ты, разряженный в шелк злорадный Катилина! — Помнишь ли ты, что придется тебе некогда держать ответ за все твои проделки? — Я надеюсь, господин адвокат, что если этот паразит (как вы сами его называете) снова будет выпрашивать волосы на память, то вы, по крайней мере, выведете его отсюда за

Волосы или же похлопаете по плечу служкой и пожметé ему руку острогубцами. — Одним словом, я его здесь больше не потерплю».

Тут Зибенкэз, чтобы охладить взволнованность, чужую и свою собственную, сообщил, что уже сам все сделал и что рентмейстеру посланы надлежащие *inhibitoriales*. Штиблет радостно щелкнул языком и одобрительно кивнул головой; ибо, несмотря на то, что носитель высокого чина был для него вице-королем Христа, граф — полубогом, а император — целым богом, даже один-единственный смертный грех, совершенный кем-либо из них, стоил бы ему всей согбенной преданности советника, а против *золотосной* и даже *венценосной* особы, дерзнувшей нарушить правила латинской грамматики, он, не долго думая, восстал бы в целой латинской пасхальной программе: светский человек обладает гордой осанкой и приниженной душой, но ученый человек часто не обладает ни тем, ни другим. Последние тучки тревог Ленетты окончательно рассеялись, когда она услышала о том, что доступ в ее комнату прегражден рентмейстеру бумажным засовом и рогаткой. «Значит, ему досталось, чтобы он не смел ко мне приставать? Слава тебе, Иисусе! Так ему и надо, вечно лгушу и предаюшу» — сказала Ленетта. — «Так в сущности не говорят, за исключением безграмотных, госпожа адвокатша, ибо неправильные глаголы «ползать», «лгать», «проливать», «благоухать», «увлекать», в качестве *Verba apomalia*, имеют в причастии «ползущий», «лгущий», «предающий» и т. д., которые нашими компетентными грамматистами *склоняются*, то есть флектируются, совершенно правильно (лишь стихотворцы, по своему непохвальному обыкновению, увы, грешат и здесь), — а посему разумно будет говорить о лгушем, ползущем, предающем, поскольку речь идет о *настоящем* времени».

«Ах, оставьте моей милой аугспуржанке, — сказал Зибенкэз, — ее лютеровские флексии; право, она умиляет меня ими, подобными неправильными глаголами; ведь это Шмалькальденские статьи из Аугспургского исповедания». — Тут она ласково притянула ухо мужа к своему рту и сказала: «Что мне приготовить на ужин? — Кстати, объяснил бы ты господину, что я не хотела сказать ничего плохого. И, пожалуйста, милый Фирмиан, когда я

выйду из комнаты, спроси господина (ведь он — духовная особа), дозволено ли такое супружество, как наше, священным писанием». Он задал этот вопрос немедленно; Штиблет ответил с расстановкой: «Если бы даже принять в соображение лишь пример Лии, которая анонимно, под псевдонимом Рахили, была уже в брачную ночь подсунута Якову и супружество которой Библия признала законным, то для нас этого было бы вполне достаточно; кроме того, спрашивается, кто меняется кольцами, имена или тела? И разве цель брака может быть осуществлена лишь именем?» — За это консисторское разъяснение Ленетта его поблагодарила тем, что обратила к нему сиявшее лицо и полный смиренной признательности взор.

Она ушла в кухню, но то и дело возвращалась, чтобы каждый раз подходить к столу, за которым сидели оба мужчины, и снимать со свечи нагар, — что этим проявлялось особое влечение и признательность к Штибелю, пожалуй, не усмотрит никто из присутствующих в комнате, за исключением, может быть, меня и адвоката; впрочем, советник каждый раз отбирал у нее щипцы и заявлял, что снимать со свечи — это его обязанность. Зибенкэз, конечно, видел, что для глазных яблок Штибеля Ленетта была таким же центром притяжения, каким Уран является для своих двух спутников, но охотно прощал рыцарские манеры и, подобно большинству мужчин, легче мирился с соперником, чем с неверной возлюбленной, тогда как большинство женщин, напротив, ненавидят соперницу сильнее, чем неверного возлюбленного; кроме того наш герой понимал, что Штибель сам не знает, чего он хочет и кого любит, и что ему легче рецензировать всех педагогов и авторов, чем самого себя; так, например, советник принимал свой гнев за служебное рвение, свою гордость — за сановитость, приличествующую должностному лицу, свою жизнь — за каждодневное умирание, свои страсти — за невольные грехи и, в настоящем случае, свою любовь — за человеколюбие. Верность Ленетты была, подобно своду, прочно скреплена замковым камнем религии, и, несмотря на вызванное рентмейстером потрясение, этот священный храмовый свод нисколько не оседал.

Но вот по лестнице взобрался почтáрь и водрузил на мирном семейном небосводе новое созвездие нижеследующим письмом Лейбгегера:

Байрейт, 21 сентября 1785.

Милый мой брат, кузен, дядя, отец и сын!

Ибо твои два сердечных ушка и два предсердия — вот все мое родословное древо; так и Адам, когда он ходил гулять, имел при себе всех своих будущих когнатов и всю свою длинную нисходящую линию (ее и сейчас продолжают чертить и все еще не довели до конца), — пока не превратился в родителя и не породил свою жену. О, если бы создателю угодно было, чтобы первым Адамом оказался я. . . Умоляю тебя, Зибенкэз, позволь мне, одержимому этой мыслью, развить ее дальше и во всем письме ограничиться лишь теми словами, которые рисуют мой коленный портрет в качестве прапродителя человечества!

Плохо меня знают те ученые, которые полагают, будто Адамом я желаю быть потому, что, по мнению Пуффендорфа и многих других, вся земля, как европейское владение в Индии вселенной, представляет собою законно унаследованный от меня *Patrimonium Petri, Pauli, Judae* и прочих апостолов, ибо я, в качестве первого и последнего всемирного монарха, хотя бы и не имевшего подданных, мог с полным основанием претендовать на право владения всей землей. С такими замыслами пусть носится римский папа, в качестве святого отца, хотя и не праотца; впрочем, он их возымел уже много столетий тому назад, когда объявил себя наследственным и майоратным владельцем всех земель, входящих в состав земного шара, и даже не постыдился взгромоздить поверх своего земного венца еще пару венцов, а именно — небесный и адский.

Как мало мне нужно! Древним и древнейшим Адамом я хочу быть лишь для того, чтобы в мой свадебный вечер разгуливать с Евой возле рая с его живыми изгородями (причем оба мы нарядимся в наши шкуры и зеленые фарточки) и на древнееврейском языке держать свадебную речь к прапаматери всего человечества.

Прежде чем начать речь, я замечу, что до моего грехопадения я возымел чрезвычайно счастливую мысль за-

писать все наиболее ценное из моего всеведения. Ибо в состоянии невинности я был сведущим во всех науках, — как во всеобщей истории, так и в частной, вплоть до биографий отдельных ученых, — во всевозможных отраслях права, уголовного и прочего, — во всех языках, мертвых и живых, — и был словно воплощенным Пиндом и Пегасом, ходячей масонской ложей высшего просвещения, и ученым обществом, и карманной академией, и кратким золотым *Siecle de Louis XIV*; конечно, при том разуме, которым я тогда обладал, было не столько чудом, сколько счастьем, то, что в часы досуга я изложил на бумаге лучшее из моего всеведения: впоследствии, когда меня постигло грехопадение и я поглупел, у меня на руках остались выписки или комментированный перечень моих прежних знаний, откуда я и почерпнул свою премудрость.

«О дева! — так начал я за пределами рая свою речь. — Хотя мы являемся первыми родителями и намерены породить других, но ты ни о чем не раздумываешь, если только можешь запустить свою ложку в запретный яблочный мусс. Я же, как мужчина и первозданный, мыслю, а потому сегодня, пока мы здесь разгуливаем, я буду проповедником и достойным соломенного венка оратором (хотелось бы мне породить для этой роли кого-нибудь другого) при нашем брачном обряде и в краткой свадебной проповеди представлю тебе и себе:

Основания для сомнений и для их разрешения, или *rationes dubitandi* и *decidendi* первозданных, или первую пару родителей и новобрачных (то есть себя и тебя), погруженную в размышление и созерцание, — причем эта пара будет рассматривать:

в первой *pars* причины и основания для того, чтобы не заселять землю и сегодня же эмигрировать — одному из нас в старый свет, а другому — в новый, и

во второй *pars* основания для того, чтобы все же отказаться от этого намерения и сочетаться браком; после чего придет черед краткого возражения, или *usus erapnototicus*, что и завершит брачную ночь.

### 1-я *pars*

Благочестивая слушательница! Меня, облаченного в овечьи шкуры, ты здесь видишь серьезным, мыслящим и

праведным; но все же я набит — не столько глупостями, сколько глупцами, среди которых изредка в виде про­слойки встречается мудрец. Хотя я небольшого роста, и океан<sup>1</sup> омывал мои ноги значительно выше лодыжек и обрызгал мою новую одежду из шкур, однако, клянусь небом, я здесь расхаживаю с навешенной на меня кош­ницей, в которой лежат семена всех народов, и ношу перед собою оглавление и наборную кассу всего рода челове­ческого, целый миниатюрный мир и orbem pictum, подобно тому, как разносчики носят на животе свой открытый ма­газин. Ведь Бонне, который тоже еще запрятан в моем чреве, усядется, когда будет извлечен, за свой письменный стол и докажет, что все заключено одно в другом, скоб­ки — в скобках, шкатулки — в шкатулках, что в отце си­дит и ждет сын, в деде — они оба, и, следовательно, в прадеде — дед со своей интерполяцией, а в прапрадеде — прадед с интерполяцией интерполяции и со всеми своими вставными эпизодами. И разве в предстоящем пред то­бою женихе, — говоря с тобою, милая невеста, следует выражаться как можно понятнее, — не содержатся все ре­лигиозные секты и даже адамиты<sup>2</sup> (но только не преада­миты), и все великаны, даже сам громадный Христофор­чик, и народы любого образца, все партии негров, отпра­вляемые на кораблях в Америку, и помеченная красным посылка, в которой находятся выписанная англичанами ансбахская и байрейтская солдатня? Хева, разве я, стоя­щий пред тобою, не являюсь (если рассматривать мое внутреннее содержание) целым живым гетто — и Лувром для венценосцев, которых я всех могу породить, если по­желаю и если меня не отговорит от этого первая pars? Ты будешь дивиться мне, но и высмеивать меня, если внимательно на меня посмотришь и положишь руку мне на плечо и подумаешь: здесь, в этом первозданном муже, засели все факультеты и ученые мужи, — все философ­ские школы и все школы кройки и шитья, не полемизи­рующие между собою, — все лучшие старинные княже-

<sup>1</sup> Французский академик Никола́ Андрион определил рост Адама в 123 фута 9 дюймов, а рост Евы — в 118 футов  $9\frac{3}{4}$  дюйма. О том, что после грехопадения Адам перебежал через океан, повествуют равнины. См. вторую библейскую речь Сорэна.

<sup>2</sup> Известная секта, ходившая в церковь неодетой,

ские роды, хотя еще не отсортированные начисто от простых матросов, — все независимое имперское рыцарство, но, конечно, еще упакованное со своими оброчными крестьянами и дворовыми людьми и батраками, — женские монастыри, но в смешении с мужскими, — все казармы и все депутатские собрания, не говоря уж о соборных капитулах, состоящих из своих соборных пробстов, деканов, сеньоров, субсеньоров и каноников! «Что за человек, что за исполин — энак!» — скажешь ты тогда. И ты права, милая! Ведь я именно таков: я неразменный талер человеческой коллекции монет, судилище для всех судов (и, к тому же, совершенно заполненное, так как не отсутствует ни один заседатель), живой *congrus juris* всех цивилистов, канонистов, криминалистов, феодалистов и публицистов; разве во мне не содержатся полностью «Ученые Германии» Мейзеля и «Лексикон ученых» Иехера, а также сами Мейзель и Иехер, не говоря уж о дополнительных томах? Мне хотелось бы предъявить тебе Каина, — если вторая *part* меня убедит, он будет нашим принцем Уэльским, Калабрийским, Астурийским и Бразильским, — и ты бы увидела, будь он прозрачным (я убежден, что он именно таков), как в нем вставлены друг в друга, словно пивные стаканы, все вселенские соборы и инквизиционные трибуналы, и миссионерские конгрегации, и чорт и его бабушка.

Впрочем, красавица моя, перед своим грехопадением ты не последовала моему примеру и ничего не записала из твоей *Scientia media*, так что теперь, глядя в будущее, ничего в нем не видишь, словно слепая. Но я, для которого в нем все ясно и открыто, усматриваю из моей хрестоматии, что если я действительно воспользуюсь своим Блуменбаховским *nisus formativo* и еще сегодня брошу несколько первоначальных взглядов в область *juris luxandae* *soxae* или *primaе postis*,<sup>1</sup> то я сотворю не какой-нибудь десяток дураков, как простой смертный, а целые биллионы дураков, а к ним и единицы, ибо благодаря мне получат бытие все обитающие во мне коренные богемцы, пари-

<sup>1</sup> Это «первая ночь» в собственном смысле, ибо, по мнению многих ученых, Ева уже в то утро, когда она была сотворена, принялась воровать фрукты,

жане, венцы, лейпцигцы, байрейтианцы, гофцы, дублинцы, кушнапельцы (а также их жены и дети), среди которых всегда приходится на каждые пятьсот примерно по миллиону сходящихся с ума, хотя им и не с чего сходить. О *duenna*, ты еще мало знаешь людей и, в сущности, знаешь только двух, ибо змий в счет не идет; но мне известно, что я создаю, и что вместе с моим *Limbus infantum* я открываю бедлам. — Клянусь небом! Я трепещу и сокрушаюсь, когда пробую хоть заглянуть в поколения грядущих лет и столетий и полистать их страницы — и вижу на них лишь кровавые кляксы и пестрые, беспорядочные шутовские арабески; когда я высчитываю, сколько потребуются трудов, пока та или иная эпоха научится писать хоть таким разборчивым почерком, каким пишет министр или слоновый хобот, — пока бедное человечество, пройдя курс в начальных школах и у гувернанток-француженок, сможет с честью поступить в латинские лицеи, в иезуитские и княжеские школы и, наконец, даже посещать уроки танцев, фехтования и рисования и *dogmaticum* и *clanicum*. Чорт побери! Мне становится страшно: тебя, конечно, никто не назовет насадкой, высидевшей будущие стаи скворцов, или самкой трески, в которой Левенгук насчитывает девять с половиной миллионов икринок; все это вменяют в вину не тебе, Евочка, а твоему супругу; «ему следовало быть разумнее, — скажут люди, — и лучше ничего не порождать, чем породить такой сброд, каким является большинство разбойников — коронованные императоры на римском троне и наместники на римском престоле, из которых первые будут именовать себя в честь Антонина и Цезаря, а вторые — в честь Христа и святого Петра, причем среди них окажутся люди, трон которых делается Люнебургским пыточным креслом для человечества и каменным акушерским креслом для рождения сатаны или даже превратится в противоположность Гревской площади, так как будет служить для казни всего человечества и для празднеств одного человека». <sup>1</sup> Кроме того,

<sup>1</sup> Можно истолковать почти как слияние в одном существе свирепого тигра и шаловливой обезьяны то, что Гревская площадь в Париже одновременно является местом казни преступников и местом народных празднеств, так что убийцу короля лошади разрыгают там же, где подданные чествуют короля, а колеса, служащие

меня будут попрекать Цезарем Борджиа, Франциском Пизарро, св. Домиником и Потемкиным. Предположим даже, что я смог бы отпарировать упрек, поскольку речь идет о мрачных исключениях; но мне все же придется признать (и антиадамисты примут это признание *utiliter*), что мои потомки и колонисты неспособны прожить и полчаса, не замышляя или не совершая глупости, — что гигантская война страстей в них никогда не заканчивается миром и лишь изредка прерывается перемирием, — что самый крупный недостаток человека — это наличие у него столь многих мелких недостатков, что его совесть служит ему почти исключительно для того, чтобы ненавидеть ближнего и болезненно ощущать чужие проступки, — что свою душу он облегчает от грехов не раньше, чем при предсмертной исповеди, перед тем как ложится в могилу: так детей заставляю облегчиться, прежде чем уложить их в постель, — что он изучает и любит язык добродетели, но преследует добродетельного собрата, подобно тому как лондонцы нанимают учителей французского языка, но терпеть не могут французов. — Ева, Ева, худую славу мы заслужим нашим браком: согласно подлинному тексту Библии, «Адам» означает красную землю, и поистине мои щеки сплошь превратятся в нее и покраснеют, когда я подумаю о несказанном тщеславии и самомнении наших правнуков, непрерывно возрастающем с течением столетий. Дергать себя за нос и одергивать будет, пожалуй, лишь тот, кто сам бреется, — благородное дворянство будет выжигать свой фамильный герб на крышках отхожих мест и сплетать свой вензель из подхвостного ремня своих коней, — критикующая братия будет свысока глядеть на рифмующую, а та будет ей отвечать тем же, — тайный фон Блэз предоставит свою руку для целования сиротам, дамы свою — всем и каждому, а более высокопоставленные лица предоставят для того же вышитую кайму своего одеяния. Хева, мои пророческие извлечения из всемирной истории я довел только до шестого тысячелетия, ибо ты как раз в это время куснула приманку там,

для колесования, и огненные колеса фейерверков чередуются во взаимном непосредственном соседстве, — ужасающие контрасты, которые не следует нагромождать здесь, чтобы не навлечь на себя упрека в подражании их виновникам.

под деревом, а я спроста тоже принялся кушать вслед за тобою, и у меня все вылетело из памяти; — одному богу известно, как будут выглядеть дураки и дуры прочих тысячелетий. О дева! Применешь ли ты теперь *Sternocleidomastoideum* (которую Земмеринг называет кивательной мышцей), чтобы ею выразить свое согласие, когда я тебе задам вопрос: желаешь ли ты иметь своим законным супругом автора вышеизложенной проповеди?

Ты, конечно, возразишь: «Выслушаем, по крайней мере, вторую *part*, где вопрос рассматривается и с другой стороны». — Ты права, о благочестивейшая слушательница: мы чуть не забыли перейти ко

## 2-й *part*

и совместно взвесить основания, побуждающие первозданных прародителей сделаться таковыми, сочетаться браком и послужить сеяльной и прядильной машиной для льна и конопли, из волокон которых судьба сплетает необозримые сети и неводы, опутывающие весь земной шар.

Главной побудительной причиной для меня и, надеюсь, для тебя, является день страшного суда. Ибо если мы с тобою сделаемся *entrepreneurs* рода человеческого, то всех моих потомков, которые в день страшного суда поднимутся в виде паров из пережженной земли, я увижу выстраивающимися для последнего парада на ближайших планетах, и среди этого изобилия детей и внуков встречу разумных людей, с которыми небезынтересно поговорить; там будут люди, которые провели жизнь в сплошных грозах, да и лишились ее вследствие грозы, — подобно тому как, по римским поверьям, любимцев богов убивало громом, — но которых никакие громы и молнии не заставили зажмурить глаза или заткнуть уши. Далее, как я вижу, там стоят четыре великолепных языческих евангелиста, Сократ, Катон, Эпиктет, Антонин, которые своими глотками, словно привинченными двухсотфутовыми пожарными рукавами, проникали во все дома и защищали их против каждого проклятого пожара страстей и совершенно заливали его чистойшей, лучшей водой альпийских источников. — Вообще, я сделаюсь прапапой, а ты прамамой превосходнейших людей, если нам это будет угодно. Уверяю тебя, Ева, здесь, в моих выдержках и

выписках черным по белому значится, что я буду предшественником, родоначальником, Вифлеемом и творящей природой для Аристотеля, Платона, Шекспира, Ньютона, Руссо, Гете, Канта, Лейбница, — а это все люди, еще более толковые, чем их прародитель. О Ева, действительный, почетный и почитаемый член нынешнего плодоносного общества или производящего класса в государстве, которое состоит из тебя и свадебного проповедника, клянусь тебе, для меня наступит час многих вечных блаженств, когда на соседней планете я окину беглым взглядом собрание классиков и возрожденных и, наконец, в восторге преклоню колена на этом спутнике земли и воскликну: «С добрым утром, дети мои! В старину вы, евреи, тайно выпаливали скорострельную краткую молитву, если вам случалось напороться на мудреца; — но какую молитву я должен творить, чтобы она была достаточно длинной, теперь, когда я сразу вижу перед собою всех мудрецов и ученых и моих кровных родственников, которые, несмотря на весь волчий голод своих страстей, сумели отказаться от запретных яблок, груш и ананасов и, несмотря на всю свою жажду истины, не учили покражи плодов с древа познания, между тем как их прародители атаковали запретный плод, хотя никогда не испытывали голода, и атаковали древо познания, хотя уже обладали познаниями обо всем, кроме змеиной натуры». Затем я поднимаюсь с колен, вбегу в толпу потомков, брошусь на грудь одному моему избранному приемнику, обниму его и скажу: «О ты, мой верный, добрый, миролюбивый, кроткий сын, если бы моей Хеве, пчелиной матке тех роев, которые нас теперь окружают, я мог показать хоть одного тебя, сидящим в виде личинки в ячейке, во второй раз моей брачной проповеди, то жена поразмыслила бы над нею и сделалась бы стоворчивее. . . И этим верным, добрым сыном будешь ты, Зибенкэз, и ты останешься возлежащим на горячей, жестокошерстной груди твоего друга.

### *Приписка и clausula salutaris.*

Не сердись на меня за этот веселый домашний бал и танец ведьм на тряпичной бумаге, хотя ты и являешься бесконечно малой частью германского племени и в каче-

стве таковой не должен был бы ни потерпеть, ни понять подобной пляски идей. Поэтому-то я и не печатаю ничего для неуклюжих немцев; и целые листы, в которых я развел, словно рыбок в пруду, множество шаловливых мыслей, я швыряю не в книжную лавку, а сразу в то место, куда такие творения (поскольку они пользуются правом и сервитутом прохода через книжную лавку) обычно попадают, лишь придя в ветхость. — Я провел восемь дней в Гофе, а теперь живу в качестве частного лица в Байрейте; в обоих городах я кроил рожи, а именно — чужие силуэты; однако многим из тех, кто, стоя или сидя, позировал для моих ножиц, пришло в голову, что у меня в голове не все в порядке. Напиши мне, как с этим обстоит на самом деле: для меня это не безразлично, так как я сразу же оказался бы ограниченным в своей дееспособности по составлению завещаний и прочих актов гражданского права, если бы я, как сказано выше, действительно был не в своем уме. Далее, при сем прилагаю тысячу лобзаний и наилучших пожеланий для твоей красивой и благочестивой Ленетты, а господину школьному советнику Штибелю шлю привет, вместе с вопросом, не состоит ли он в отдаленном родстве с проповедником в Гольддорфе и Лохау (возле Виттенберга), магистром Штибелем, который предсказал светопреставление (и, как я полагаю, ошибочно) на восемь часов утра в 1533 году, а в конце концов дожил лишь до того, что сам преставился. Кроме того прилагаю для вас обоих и для «Вестника программ» две программы здешнего профессора Ланга, посвященные байрейтскому генерал-супер-интенденту, и одну речь д-ра Франка (в Павии). — Здесь, в гостинице «Солнца», проживает на лицевой и фасадной стороне (тогда как я проживаю на тыльной и обратной) одна девица, исполненная прелестей, сил, остроумия и чувства. Я со своей физиономией нравлюсь ей неопишимо, что мне кажется весьма правдоподобным, ибо я столь похож на тебя и отличаюсь от тебя лишь ногами, на которую я прихрамываю. Поэтому перед милыми дамами я не хвастаюсь ничем, кроме своих милых причуд и сходства с твоей милостью. Как я слышал, эта девица является бедной племянницей старого дяди с разбитым стеклянным париком, за свой счет воспитывающего ее в жены какому-

то знатному и высокопоставленному кушнапельцу. Возможно, что она вскоре будет к вам прислана при накладной, в качестве груза, адресованного жениху... Таковы мои старейшие новости! Новейшая, а именно твоя собственная особа, может лишь ожидаться здесь в Байрейте к тому времени, когда я и весна вместе (ибо послезавтра я поеду ей навстречу, до самой Италии) вернемся сюда, и мы — я и она — совместно разукрасим здешний мир так, что ты несомненно вкусишь блаженство в Байрейте: настолько достойны похвал его здания и горы. А теперь желаю тебе немножко счастья!

\* \* \*

Все готовы поклясться, что знатный кушнапельец, для которого воспитывается племянница тайного, — это не кто иной, как рентмейстер Роза: чтобы освещать ей путь к своему дому, он намерен превратить в брачный факел огарочек своего догорающего сердца, до сих пор служившего для зажигания сердец всех женщин мира, подобно тому как свеча трактирщика служит для зажигания трубок всех курильщиков.

Так как в письмо были вложены три небесных улады, по одной для каждого праведника (для жены — комплимент, для Штиблета — программы и для адвоката — самое письмо), то меня несколько не удивило бы, если бы осыпанный дарами трилистник и терпет от радости пустился бы в пляс. Советник в упоении, — ибо взбудораженная кровь бросилась в его умеренную голову, — не обращая внимания на то, что на столе уже была разостлана клетчатая скатерть, раскрыл на нем послания и еще до застольной молитвы принялся разрезать и алчно пожирать с оловянной тарелки три печатных закуски и литературных *petit soupers*, пока просьба остаться не напомнила ему, что пора удалиться. Но во время прощания он — как пошлину за свои труды в качестве верховного арбитра и посредника между обоими супругами или в качестве щелочной соли, соединяющей масло мужа с водой жены, — выпросил себе новый силуэт Ленетты; ибо прежний, вырезанный Лейбгебером и, как известно, подарен-

ный советнику (о чем письмо напомнило последнему), тот случайно засунул в свой ночной камзол, отличавшийся такой же черной окраской, и вместе с ним послал в стирку. «Мы еще сегодня соорудим силуэт» — сказал Зибенкэз. Когда, покидая супругов, советник увидел по выражению лица Ленетты, что брачный перстень, — который он, как ему казалось, надпилил и снабдил шелковой подкладкой, — теперь уже не так тесен для ее безымянного перста, то радостно потряс ей руку и сказал: «Вы оба очаровательные люди. Я охотно буду навещать вас, как только вам хоть что-нибудь понадобится». — «Приходите часто, часто» — ответила Ленетта. — «Еще чаще!» — добавил Зибенкэз.

Однако после этого можно было подумать, что кольцо снова стало тесным, почти как прежде; и адъюнкты философского факультета, читающие курс психологии, будут изумлены тем, что за едой адвокат мало говорил со своей супругой, а она — с ним. Но причина была в том, что возле его тарелки и хлеба лежало вместо белого хлеба письмо Лейбгера, и пламенный любимец Фирмиана светил из Байрейта его душе через мрачную, туманную даль, — над его вздохами парила волшебная мечта об их первом объятии при будущей встрече, — надежда озаряла своим очищающим светом затхлую душную шахту, в которой он теперь задыхался и рылся, — грядущая весна высилась и сияла вдали, подобно увешанной светильниками соборной башне, и слала ему свои лучи сквозь густую ночную тьму. . .

Наконец он снова вернулся к действительности, а именно к своей жене, — мощный образ Лейбгера и без того вознес его над острыми, каменистыми случайностями бытия, — старый друг, некогда вырезавший там наверху, на хорах церкви, силуэт невесты, а затем присутствовавший в первые недели медового месяца Фирмиана, набросил на него в виде петли цветочную гирлянду и привлек его к безмолвной фигурке, находившейся рядом с ним. «Ленетта, милая, ну, как ты себя чувствуешь?» — сказал он, очнувшись, и взял за руку свою примиренную супругу; но она обладала женской бестактной тактикой, заключавшейся в том, чтобы скрывать свое примирение еще дольше, чем гнев, или, по крайней мере, медлить с ним

и требовать пересмотра всего дела, которое только что закончилось мировой сделкой и помилованием. Лишь весьма немногие женщины (чаще это делают девушки) быстро подают мужчине руку и объявляют: «Я уже не сержусь». — Хотя Венделина протянула руку Фирмиану, она сделала это слишком холодно и быстро ее отдернула, чтобы взять скатерть, причем попросила его помочь растягивать ее и складывать по сгибам клетчатого узора. Фирмиан, улыбнувшись, повиновался, — жена упорно глядела на правую квадратную долю белого прямоугольника, — наконец, при складывании последнего и самого толстого четырехугольника муж задержал его, — жена дергала скатерть и старалась сохранить серьезность, — Фирмиан поглядывал на Ленетту полным любви взглядом, — она невольно улыбнулась, — он вырвал у нее скатерть, быстро прижал к ее груди и сам прижался к ней и, очутившись в объятиях Ленетты, воскликнул: «Ах, негодница, не стыдно ли тебе так обращаться со старым чудачком Зибеккэзом, или как там его еще зовут?» — И радуга более счастливой жизни изогнулась дугой над убывающими водами потопа, которые уже поднялись было до сердца обоих супругов... Однако, милые мои, нынешние радуги часто означают противоположное тому, что возвещала первая.

Приз, который во время этого триумфа любви Фирмиан присудил своей королеве, заключался в том, что он у нее выпросил тень ее милого лица, чтобы назавтра одарить и обрадовать ею Штиблета. Я согласен нарисовать здесь для просвещенных читателей процедуру рисования этого силуэта, но я ставлю условием, чтобы перо не принимали за кисть художника, кисть — за стекку скульптора, а стекку — за цветочную тычинку, способную создавать целые поколения лилий и роз.

Адвокат взял взаймы у сапожника Фехта доску для черчения силуэтов, а именно фасад новой голубятни. В овальный портал этой дощечки плечо Ленетты вошло, словно нож в свои ножны, — над порталом был прикреплен гвоздиками листок белой бумаги в качестве грунтовки de Piles'a, — красивая, живая голова была прижата к бесчувственной бумаге, — Фирмиан бесстрастно приставил свой карандаш ко лбу силуэта, как ни трудно было заниматься улавливанием бесплотной тени, находясь так

близко от прекрасной действительности, — и начал спускаться по красивому крутому склону, цветущему розами и лилиями. . . Однако не получилось ничего примечательного; нашли только, что затылок срисован сносно. Зибенкэз все время косился на ту поверхность, которая цвела живыми красками возле его руки, а потому рисовал так же скверно, как ремесленник, расписывающий шкатулки. «Венделина, — сказал он, — твоя голова ни на минуту не остается неподвижной». Действительно, ее лицо, подобно фибрам ее мозга, колебалось в такт учащенному сердцебиению и дыханию; но, с другой стороны, его карандаш споткнулся об изящно приподнятое изваяние ее носика, провалился в расщелину губ и потерпел крушение на отдели подбородка. Фирмиан поцеловал губы, которые он никак не мог верно срисовать, — ибо они то слишком раскрывались, то слишком смыкались, — достал зеркальце для бритья и сказал: «Вот, смотри, разве у тебя не больше лиц, чем у Януса или у индийского божества? Советник подумает, что ты, верно, строила гримасы, а я их срисовывал. Видишь, здесь ты пошатнулась, а я прыжком серны устремился за тобою, и теперь верхняя половина лица выдается над нижней, словно полумаска. Представь-ка себе, какими глазами будет завтра глядеть советник». — «Милый, ну, попробуй еще хоть раз; я буду стараться, как только могу, чтобы получилось хорошо» — сказала, краснея, Ленетта. Теперь ее цепенеющая шея усердно прижимала мягкое личико к рисовальной доске, но муж, скользя своим разметочным острием вниз по контуру лба, казавшегося сегментом белого полушария, вдруг услышал трепетный шелест задерживаемого дыхания и увидел разгоревшееся от напряжения лицо. . . И подозрение, подобно взорвавшемуся запалу, внезапно осыпало его сердце твердыми осколками разбитого счастья, — подозрение: «Ах, может быть она его (то есть советника) все-таки любит по-настоящему? . . .» Перо Зибенкэза, словно заколдованное, уткнулось в тупой угол между лбом и носом, — слышны были только трепетные выдыхи, — гравировальная игла проводила черные борозды вниз по краю тени, и когда Фирмиан остановился у плотно сжатых уст, которые до сих пор не знали ничего более теплого, чем его собственные уста и чем ее утренняя молитва. и когда

он подумал: «Так и это меня постигнет? И эта радость будет у меня отнята? И я должен буду собственноручно начертать себе здесь разводное письмо, которое для меня станет письмом Урии?» — то он больше не мог выдержать — сбросил рисовальную доску с ее плеча, — прильнул к закрытому рту, — уловил поцелуем пленный вздох, — и стиснул насмерть свое подозрение между своим и ее сердцем, повторяя: «Отложим это до завтра, Ленетта! Только не сердись! Разве ты уж не такая, как в Аугсбурге? Понимаешь ли ты меня? Знаешь ли, чего я хочу?» — Она простодушно ответила: «Ах, ты будешь сердиться, Фирмиан; — нет, я не знаю». — И богиня согласия и мира взяла у бога сна венки из маков и вплела его в венок из масличных ветвей — и повела супругов, увенчанных, примиренных и шествующих рука об руку, на сверкающие ледяные поля снов, за магические растущие кулисы яркого, пестрого дня, в нашу камеру-обскуру, полную движущихся изображений миниатюрного мира, где человек, подобно творцу, окружен лишь своими творениями.

### *ОКОНЧАНИЕ ПРЕДИСЛОВИЯ И ПЕРВОЙ КНИГИ*

Читатель, вероятно, еще не забыл, что, как сообщалось в начале предисловия, мне удалось уложить старого коммерсанта на большой сноп маков и устроить его дочери веселый праздник кушей из сердцевинных и сердцевидных листов палисадника настоящей книги. . . Но злой дух умеет наслать ливень на прекраснейшие наши фейерверки.

Я лишь выполнял свой долг тем, что служил карманной библиотечкой для бедной тихой девушки, к которой старик не допускал ни единого разумного собеседника, за исключением попугая и бывшего судьи. Первый сидел в своей клетке около чернильницы и черновой книги Паулины и учился от нее тому, что должен знать бухгалтер по части немецко-итальянской корреспонденции. А так как разговорчивость попугая обычно поощряют посредством карманного зеркальца, помещенного возле клетки, то оба, преподавательница и ученик, глядели в него вместе. Вто-

рым собеседником, а именно судьей, был я. Но капитан не позволял дочери (из боязни перед нами, бесчестными похитителями принцесс и хищными пчелами, а также потому, что мать Паулины умерла, и потому что сама она была ему нужна для конторы) говорить ни с одним кавалером с глазу на глаз, без присутствия третьей пары глаз и стольких же ушей. Поэтому я был здесь единственным частым посетителем, тогда как обычно мы видим, что цветущая дочь привлекает в дом отца целые коллекции насекомых мужского пола, подобно тому как вишневое дерево, цветущее у окна, приманивает в комнату ос и пчел. Не всякий, кто желал перемолвиться с Паулиной словечком (и притом таким, которого бы не слышал ее отец), сумел бы сначала разыгрывать перед ее аргусом в течение целого часа органные мелодии во флейтовом регистре и усыпить сотню зеленых глаз, чтобы поглядеть в два голубых; правда, я это сумел сделать, — но пусть весь мир услышит, какого благодарственного псалма и какого благодарственного адреса я за это удостоился.

Дело в том, что в прошлый вечер мой долгий визит показался подозрительным старику, — и на этот раз он лишь притворился спящим, чтобы выведать, какие у меня намерения. Его поспешное усыпление, о котором читатель помнит из начала этого предисловия, конечно, должно было бы заставить меня скорее насторожиться, тем более, что сам я ожидал совершенно противоположного, а потому намеревался применить в качестве манны св Николая, или снотворных порошков, выдержки не только из настоящего предисловия, но и из других. (Ибо, хотя согласно учению раввинов, с неба упало двенадцать коробов пустой болтовни,<sup>1</sup> причем целых девять из них достались женщинам, — это справедливо лишь с той оговоркой, что означенными девятью коробами пользуются составители предисловий и адвокаты, получившие их в качестве приданого от своих жен.)

Коварный шпион лежал и выжидал, пока я докладывал два «Цветочных эскиза» и четыре главы этой повести; в конце четвертой он вздернулся, словно западня для кротов, на которую нечаянно наступили ногой, и набросился

---

<sup>1</sup> Buxt. lex, стр. 221.

на меня с тыла со следующей похвальной проповедью: «Какой чорт вас дернул? Как это вы смеете являться из Берлина и набивать голову моей родной дочери безбожными, пустыми, дрянными романами, чтобы сделать ее совершенно негодной для конторской работы? Что? Не раздражайте меня, судар-р-р-рь!» — «На одно слово! — сказал я хладнокровно и отвел его в темную, нетопленную соседнюю комнату. — Только на полслова, господин с косичкой».

В темной ризнице я возложил руки ему на плечи и сказал: «Господин с косичкой (ибо так назывался при Карле Великом каждый командир,<sup>1</sup> потому что в те времена солдаты, как теперь женщины, следовали за косичкой, вместо знамени), сегодня, при заходе старого года и при восходе нового, я не стану с вами грызться; заверяю вас, что я — сын. . .,<sup>2</sup> что я больше к вам не вернусь и что вы тем не менее будете получать все венские римессы. Но я вас прошу, ради бога, позвольте вашей дочери, m-lle Паулине, читать. Ведь в настоящее время читает каждый коммерсант, который может на ней жениться, и каждая дама, уже вышедшая замуж за подобного коммерсанта, и, несмотря на все чтение, они в наши дни продолжают усердно прясть и стряпать: это вы видите из наличия достаточного числа рубашек и толстых животов. И начитанному труднее всего соблазнить именно начитанную, а легче всего — полуграмотную. Это вы можете видеть на примере Штенцихи. Прошу вас, господин капитан. . .»

«О чорт возьми! Да кто вас просит заботиться, что там внутри делает эта кукла (его дочь)?» — таков был его ответ. — Поистине, мне послужило во спасение то, что в течение обоих праздничных вечеров я, при всем своем пыле рассказчика, не взял в руки ничего, принадлежащего его дочери, ни даже ее рук — и взамен их ограничился лишь прядью волос (примерно на сумму в один грош), да и та, можно сказать, сама подвернулась мне под-руку. Если бы в пылу автобиографического рассказа я пожал руки Паулины, это было бы мелочью, сущей безделицей; но, как

<sup>1</sup> Мезер, Оснабрюкская история и т. д., т. I.

<sup>2</sup> Тем, кто прочтет «Геспера» позднее, чем это предисловие, здесь будет оставлен повод для невинного любопытства. У остальных читателей оно уже удовлетворено.

уже сказано, я и от этого воздержался: «Послушай-ка, — сказал я самому себе, — наслаждайся красивым лицом, словно картиной, а женским голосом — словно песню словья, но не комкай картину и не души Филомелу! Разве каждый изящный цветок нужно разрезать на салат, а каждый напестольный покров — на камзолы?»<sup>1</sup>

Читателям будет понятно, что при таких своих принципах я в прежние вечера почти всегда с тревогой думал о впечатлении, которое моя внешность могла произвести на сердце Паулины, пока, наконец, не успокоил себя тем, что я, в качестве адвоката и судьи, превосхожу Мильтона, несмотря на все его двойные красоты, поэтические и физиономические, за которые поэт получил насмешливое прозвище «Мисс Мильтон».

Из всех истин труднее всего поверить в ту, что некоторых людей невозможно убедить никакими истинами; я, наконец, догадался, что к числу этих людей принадлежит и господин с косичкой, а потому решил обратиться к нему лишь со следующей увеселительной<sup>2</sup> и обличительной проповедью: «Тише, господин с косичкой, иначе m-лле услышит каждый звук. Вы пришилили к вашей копировальной книге эту милую бабочку; но я на вас буду жаловаться на страшном суде за то, что вы ей не дали читать мои произведения. Если бы вы хоть подольше притворились спящим, чтобы я успел рассказать ей остальные части кушнапельской истории: ведь именно в них содержатся наиболее важные события, тяжба, смерть и свадьба Зибенкэза. Но я попрошу моего почтенного берлинского издателя, m-лле, чтобы он прислал вам следующие части, как только они выйдут из-под пресса, еще влажными, словно газета. А теперь молю бога, господин с косичкой, чтобы вам он подарил вместо нового года — новое сердце, а вашей милой дочери — второе, под пару ее собственному».

---

<sup>1</sup> Прокул, наместник Гензериха, ограбил все ортодоксальные церкви в Цеутанской провинции (в Африке) и приказал выкроить из напестольных покровов камзолы и штаны. *Симонис*, Древнее христианство, стр. 286.

<sup>2</sup> В средние века было принято произносить в первый день Пасхи шуточную проповедь с церковной кафедры.

Стихийная борьба между нашими разнородными элементами становилась все более шумной... но я больше ничего не скажу, ибо каждое добавление показалось бы мстительностью. Однако я безусловно могу утверждать, что счастлива каждая дочь (но лишь весьма немногие сознают это), которой позволено читать мои произведения, когда ее отец бодрствует. Несчастен каждый служащий Эрманна, ибо господин с косичкой морит его голодом, словно борзую, чтобы заставить бегать проворнее, чем бегают пальцы виртуоза по клавиатуре: так детей танцовщиков оставляют без еды, чтобы они лучше скакали. И счастлив каждый бедняк, не имеющий дела с Якобом Эрманном, ибо он оказывает всем людям столько морального кредита, сколько они имеют коммерческого: к этой рекрутской мерке человеческого достоинства он приучен коммерсантами, которые друг друга измеряют металлическими локтями! Он любит только совершенно нищих, как piedestал своей благотворительности, ибо, раздавая милостыню от имени города и из казенного кошелька, считает ее своей... Да процветет он в мире! В то время я еще не помогал справлять праздник мира, описанный мною в «Плодовом эскизе» настоящей книги, и о «годе отпущения» для всех моральных должников (который должен длиться в нашем сердце не меньше, чем долгий парламент) я прочел лишь немного из того, что впоследствии о нем написал; иначе я совсем не стал бы возражать господину с косичкой.

К сожалению, моей прощальной речью, обращенной к его дочери, я снова разозлил его, так как высказывал обоим одинаковые пожелания, чтобы скрыть, кому я их адресую. «С вами, господин с косичкой, и с вами, m-lle, я прощаюсь надолго — я уже не смогу проводить с вами обоими райски-приятные вечера и рассказывать вам обоим без отклонений мои биографические романы; пройдут кануны праздников и самые праздники, и в дом к вам не войдет ни один человек, способный сильно растрогать вас обоих. Пусть вам обоим судьба пошлет хоть книги взамен сочинителей книг; пусть она хоть иногда придает поэтическую напряженность вялому биению сердца и пусть наполняет безмолвную грудь вздохами сладких пред-

чувствий, а взоры — несколькими слезинками, исторгнутыми у вас обоих словно чарующей мелодией, и после жаркого трудового лета да ниспошлет вам вместо осени — цветущую, поющую весну... А теперь — спокойной ночи».

Даже моего непримиримого врага мне было бы жалко, если бы, расставаясь с ним, я знал, что больше никогда его не увижу. А ведь Паулина, собственно говоря, не была мне непримиримым врагом.

По улицам еще сновали многочисленные новогодние поздравители, ночные сторожа, перелавившие свои пожелания на духовую музыку и плохие стихи. Неуклюжий, старомодный, грубый стих, особенно, когда он произносится приличествующими ему устами, всегда трогает меня больше, чем пресный новомодный, разукрашенный убогими ледяными и мишурными узорами, и самая убогая поэзия для меня лучше, чем посредственная. Я решил выйти за городские ворота; мою душу, взволнованную и разгоряченную весьма разнородными переживаниями, влекло на простор, в более спокойные сферы — ведь было еще только одиннадцать часов, и холодная ночь вся сияла звездами, — это была последняя ночь старого года, и мне хотелось перейти в новый, как и в потустороннюю жизнь, не спящим, а бодрствующим...

Человек, выпущенный в необозримую, безлюдную Сахару, а затем загнанный обратно в самый тесный угол, испытал бы такое же странное ощущение своего Я — наибольшее и наименьшее пространство одинаково сильно оживляет сознание нашего Я и его отношений. Вообще ничто не забывается так часто, как то что забывает, а именно наше Я. Не только механический труд ремесленников постоянно отвлекает человека от самого себя, но и напряжение пытливого ума делает ученого и философа столь же (и даже еще более) глухим и слепым к своей личности и ее положению среди прочих существ. Предмет, который мы постоянно мыслим вне нас и, созерцая его нашим внутренним оком, помещаем вдали от последнего, нам труднее всего сделать и сознавать объектом ощущения, который и есть наше око. Нередко я прочитывал целые книги о нашем Я и целые книги о книгопеча-

тании, пока, наконец, не убеждался, к своему изумлению, что Я и буквы торчат перед самым моим носом.

Пусть читатель откровенно скажет: не правда ли, даже и сейчас, когда я к этому придираюсь, он все же забыл, что имеет здесь перед собою буквы, а к тому же и собственное Я?

Но за городом, под мерцающим небом и за покрытой снегом горе, возвышавшейся среди широкой, искрящейся, оцепенелой равнины, мое Я оторвалось от своих объектов (при которых оно было лишь атрибутом) и превратилось в личность, и я увидел самого себя. Все абзацы времени, все новогодние дни и все дни рождений заставляют человека вознестись высоко над волнами бытия, и он протирает глаза и окидывает взглядом окружающий простор и думает: «Как мчал меня этот поток — я был ослеплен и оглушен им! Там внизу я вижу те воды, что увлекали меня! А те, что выше, закружат меня, когда я снова погружусь, и унесут вдаль!»

Без этого ясного сознания нашего Я не может быть свободы и не может быть стойкости против натиска внешнего мира.

Я продолжу мой рассказ. Я стоял на ледяной горе, хотя и с пылающей душой, — расколотый месяц светил с небес, и тени елей, словно черные обломки ночи, разметались вокруг меня на лилейном фоне снега. Казалось, что вдали виднеется неподвижный человек, преклонивший колени на дороге.

Тут пробило двенадцать часов, и столь изобиловавший битвами 1794 год, со всеми его потоками крови, канул в море вечности; отголоски колокольных ударов своим волнообразным гулом сказали мне: «О смертные! Сейчас на аукционе минут судьба двенадцатым ударом оставила старый год за вами».

Человек на дороге поднялся на ноги и поспешно удался. Он и его тень еще долго были мне видны при ярком свете месяца.

Я покинул свою гору, этот пограничный холм между двумя годами, и спустился на дорогу, где раньше стоял на коленях тот человек. Там я увидел перекресток и потерянный маленький и тощий молитвенник, переплетенный

в черную кожу; от долгого чтения его листы пожелтели. На единственном белом листе — заглавном — стояло имя владельца, чьи колени оставили глубокие следы здесь, на обледенелом снегу дороги. Я хорошо знал его: то был безземельный крестьянин; у него в нынешнюю войну взяли в армию двух сыновей. Продолжая разглядывать, я увидел на снегу круг: мой трусливый смельчак начертил его в качестве магического круга против злых духов.

Теперь я обо всем догадался: глупец, душа которого пребывала словно в кольце солнечного затмения, желал в эту торжественную ночь подслушать отдаленный глухой грохот будущих гроз, и не телом, а приниженной душой приник к земле, чтобы издали услышать мерный шаг наступающих вражеских войск. «О боязливая душа, — подумал я, — зачем в эту тихую, ясную ночь должны явиться будущие мертвецы со своими ранами и искаленные тела твоих спящих сыновей? Зачем ты хочешь видеть уже пылающими будущие пожары и внимать ужасным воплям еще нерожденного и еще немного горя? Почему на могилах будущего года, стоящих, как во времена чумы, безыменными рядами, уже должны показаться имена. О, твой магический Соломонов перстень не защитил тебя от злого духа, живущего в нашей груди. И бесформенная огромная туча, за которой скрываются смерть и грядущее, при нашем приближении сама превратится в смерть и грядущее. . .»

В такие часы все мы готовы возложить на гроб свою шляпу и шпагу и самих себя впридачу, — старые раны снова горят, а мнимоисцеленное сердце разбивается снова, как плохо сросшаяся рука. Но страшная, ослепительная молния великой минуты, своим отблеском озаряющая все течение нашей жизни, нужна, чтобы затмить в наших глазах все блуждающие огни и тусклых светлячков, за которыми мы ежечасно следуем; суеверного человека лишь сильное потрясение избавляет от его мелких, назойливых низменных помыслов. Поэтому в нас, мелких ракушках, присосавшихся к земному кораблю, новогодняя ночь, подобно мифологической Ночи, рождает многих богов и становится началом более возвышенного года веротерпимости, чем 1624. И некое чувство — смирение ли, ра-

скаяние ли — побуждало меня преклонить колени на следах бедного отца, лишенного детей...

Но вдруг живительное дуновение ветра примчалось из города ясные, веселые звуки, словно аромат и пыльцу цветов, через оледеневшие равнины; валторны и трубы с городской башни бросали в уснувший мир свою бравурную мелодию, бодро и радостно водворяя среди боязливых людей первый час нового года. И я тоже стал бодрым и радостным; с белого покрывала грядущей весны я возвел взоры к луне; и на ее частых пятнах, зеленеющих вблизи,<sup>1</sup> я увидел нашу земную весну покоящейся в цветах; ее распростертые крылья трепетали среди них, и она готовилась вскоре спуститься к нам вместе с иными перелетными птицами, украсившись трелями жаворонков и радужными переливами павлиньих глаз.

Долетавшие звуки отдаленной новогодней музыки еще порхали вокруг меня; растроганный и счастливый, я увидел грядущие скорби новорожденного года, и они были подобны — так прекрасно они преобразились — некоторым уже минувшим скорбям или окружавшим меня звукам. Так, в Дербиширских горах шум дождя, проникающего в большую пещеру, издали звучит как мелодия.<sup>2</sup>

Но когда я оглянулся вокруг, и белая земля показалась мне белым солнцем, а безмолвный темносиний горизонт — семейным кругом существ, связанных братскими узами, — когда музыка, словно прекраснейшее эхо, откликнулась на мои мысли, — когда на звездном небе я признательным взором созерцал столько тысяч незыблемых очевидцев отцветших прекрасных минут, семена которых продолжает сеять всевышняя благодать, — когда я подумал о спящих людях вокруг меня и пожелал им: «Пусть ваше пробуждение завтра будет более радостным», — и когда я подумал о людях, что бодрствуют там, внизу, и чьи уснувшие души уже давно нуждаются в таком же пожелании, — то моя грудь, истомленная чудными звуками и всеми чарами этой ночи, переполнилась чувствами, изне-

<sup>1</sup> По наблюдениям Шрётера, зеленеющие участки луны кажутся нам пятнами, так как отражают меньше света, чем лишенные растительности белые участки.

<sup>2</sup> См. «Путешествие по Англии» Морица.

могла под их тяжестью — блистающий месяц и горы искристого снега слились и расплылись в едином огромном сиянии... В свете его и среди праздничных звуков мне слышались голоса моих друзей и добрых людей, боязливо и нежно произносивших взаимные пожелания нового года; но они слишком растрогали меня, и я еле смог мысленно пожелать: «О, будьте все вы счастливы каждый год!»

ЗИБЕНКЭЗ



ВТОРАЯ КНИГА



## ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОЙ, ТРЕТЬЕЙ И ЧЕТВЕРТОЙ КНИГЕ

Меня часто одолевала досада, что к каждому написанному мною предисловию я должен приклеивать книгу, словно добавочный лист к векселю или словно приложение sub litt. от «А» до «Я». Некоторым из ученых, частным образом занимающимся писательством, присылают уже готовые, новорожденные и новоиспеченные книги, так что к ним не требуется ничего привешивать, кроме золоченой вывески предисловия, и солнце не нуждается ни в чем, кроме зари. Но меня до сих пор еще ни один автор не просил о предисловии, хотя уже в течение нескольких лет я заранее сочиняю таковые в большом количестве и заготавливаю их на продажу, причем по мере сил расхваливаю в них будущие творения. И вот целая коллекция таких почетных медалей и жетонов, которые я в честь чужих заслуг отчеканил на лучших гуртильных станках, вечно торчит у меня перед глазами и с каждым днем все пополняется; поэтому я в конце концов спущу за бесценок, — поскольку нет иного выхода, — всю коллекцию и издам целую книгу сплошь из предсуществующих предисловий — к вымышленным произведениям.

Однако до пасхальной ярмарки прологи будут продаваться врозницу; и те писатели, которые первыми обратятся ко мне с заказами, смогут выискать себе, — так как им будет выслана вся пачка инструкций, — то предисловие, где, на их взгляд, я больше всего хвалю книгу. Но впо-

следствии при выпуске всего собрания предисловий и словословий, которые я велю сброшюровать вперемежку с ярмарочным каталогом, ученые будут возвеличены сразу, in corpore, in choro, и я, так сказать, предложу дворянскую грамоту всей республике ученых, гуртом и оптом, как в 1775 году императрица австрийская — всему венскому купечеству; впрочем, в лице бедных рецензентов, которые круглый год возятся с кирпичами и цементом, воздвигая храмы славы и триумфальные арки, но наживают лишь гроши и горбы, я имею перед собою печальный пример того, что превозносить ученую республику в шести фолиантах менее выгодно, чем по примеру Саннацаро восхвалять венецианскую в шести строках, из которых каждая превратилась в поэта в дарственную запись на сто пятацалеровых монет.

На пробу я намерен вставить одно из тех предисловий в это и притвориться, будто им по моей просьбе снабдил мою книгу знаменитый автор, что на деле к тому же именно так и есть. Мне легко заставить мое существо или субстрат распасться на два лица, на изобразителя цветов и изготовителя предисловий. Однако я усердно, — ибо нет человека, совершенно лишенного скромности, — стараюсь выбрать для себя наихудшее предварительное замечание, в котором, право же, воздаются довольно умеренные хвалы и которое автора нижеследующего творения возносит не столько на триумфальную, сколько на погребальную колесницу, к тому же ничем не запряженную; между тем другие предисловия напяливают сбрую на потомство — в них оно, вместе с читающей публикой, припрягается к небесной и огненной колеснице бессмертия и везет авторов. . .

В заключение должен отметить, что достойный господин автор «Геспера» любезно согласился просмотреть мои «Цветы, плоды и тернии» и предпослать таковым нижеследующее предисловие, весьма заслуживающее прочтения.

### *Предисловие автора «Геспера».*

Я могу силлогистически, и притом посредством сравнений, постулировать следующее.

Воспламененный дух многих писателей, например Юнга, подобно другой, если не спиритуальной, то спиртуозной

субстанции, *eau de vie*, создает иллюзию, будто все люди, стоящие вокруг мерцающей чернильницы, обладают мертвенным цветом лица; к сожалению, при этом фокусе каждый смотрит лишь на других, а не в зеркало; в каждом человеке и писателе брэнность всего окружающего лишь усиливает ощущение собственного уникального (исключительного) бессмертия; но всех нас это убаготворяет чрезвычайно.

Отсюда, как мне кажется, легко сделать вывод,<sup>1</sup> что в пятом или в пятидесятом этаже поэт может заниматься стихотворством, но не празднованием свадьбы или домоводством, не говоря уж о том, чтобы жить открытым домом: разве не подобен он канарейкам, которым для высиживания птенцов требуется большая клетка, чем для пения?

А если это правильно, что же делает перо писателя? Подобно детскому перу, оно обводит своими чернилами бледные карандашные письмена, которые природа уже вписала в читателя. Со струной писателя созвучны лишь октавы, квинты, кварты читателей, но не секунды и не септимы; несходные читатели не становятся сходными с ним, и только сходные становятся равными ему или более сходными.

Отсюда выводится и вытекает мой четвертый постулат: подкова Пегаса является арматурой при магните истины, и он тогда сильнее притягивает нас, ибо мы — голодные птицы, которые летят на виноградные кисти поэта, словно они настоящие, и которые считают нарисованным лишь юношу, хотя он должен был бы отпугнуть их.

Теперь сам собою напрашивается переход к пятому постулату: человек питает такое почтение ко всякой древности, что продолжает ее чтить, хотя бы она уже представляла лишь покрывку и личину для растворившего ее яда. Я здесь намеренно не упоминаю два примера, подтверждающих это положение, — а именно разъединенную в труху религию и столь же исковерканную свободу, — но

---

<sup>1</sup> Вышеуказанный силлогизм, как таковой, должен обладать связностью: поэтому я старался сообщить ему некоторую связность отдельными словами и переходами и связал звенья силлогистической цепи в нечто целое посредством нитей речи; и она похожа, пожалуй, на цепня, в котором каждый членик является самостоятельным, приватным, идиопатическим червем.

в качестве лютеранина ограничусь лишь третьим — **мощами**; когда они уже съедены червями, приходится молиться на то, что осталось, то есть на червей (согласно иезуиту Васкеду).<sup>1</sup> Посему не прикасайся в червоточине времен твоих, дабы не претвориться в снесь ее: ибо цепь из миллиона червей стоит десятка цепких чертей.

Приходится признать это, чтобы не лишить смысла шестой постулат: ни один человек не может быть совершенно равнодушен к истинам. И даже если он почитает и приемлет лишь поэтические отображения (иллюзии), то именно этим он чтит истину, ибо в каждом вымысле опьяняющим является только истинное, подобно тому как в порывах страстей нас опьяняет только нравственное. Иллюзия, не содержащая ничего, кроме таковой, именно поэтому уже таковой не внушала бы. Всякая *видимость* предполагает где-то свет и сама по себе является светом, только ослабленным или многократно отраженным. Но большинство людей нашей не столько просвещенной, сколько просвещающей эпохи, подобны ночным насекомым, которые скрываются или страдают от дневного света, тогда как ночью слетаются ко всякому ночнику и ко всякой флуоресцирующей поверхности.

Могилы лучших людей, благороднейших мучеников, словно гернгутерские, сравнены с землей, и вся наша земля, подобно Вестминстеру, выложена надгробными плитами, — ах, сколько слез, сколько капель крови, оросивших и взрастивших три краугольных и родословных древа земли — древо жизни, познания и свободы, — были пролиты, но никогда не были сосчитаны. Всемирная история, изображая род человеческий, рисует не зрячий профиль (как художник, рисовавший портрет пресловутого одноглазого короля), а лишь слепой; и только великое бедствие выявляет нам великих людей, подобно тому как полное солнечное затмение выявляет кометы. Не только на поле битвы, но и на освященной земле добродетели, на исконной почве истины, лишь из тысячи павших и сражающихся безыменных героев сооружается пьедестал, на котором история видит окровавленным, победившим и воссиявшим **Одного** с увековеченным именем.

---

<sup>1</sup> *Васкед*, Dictionnaire philosophique, статья «Мощи».

Величайшие подвиги совершаются в четырех стенах; а так как история засчитывает лишь мужское самопожертвование и вообще пишет лишь пролитой кровью, то в глазах мирового духа наши летописи, конечно, являются более величественными и прекрасными, чем в глазах летописца мировой истории; великие исторические акты оцениваются лишь по выступающим в них ангелам или дьяволам, а люди среди них игнорируются.

Таковы основания, на которые я опираюсь, когда имею дерзость утверждать, что если мы со слишком большой горячностью нюхаем распустившиеся цветы радостей, не встряхнув их предварительно, то можем нечаянно всосать сквозь решетчатую кость в самый мозг насекомое, способное причинить страшные мучения;<sup>1</sup> и кто, спрашивается, извлечет обратно эту роковую тварь? Между тем из цветочных эскизов, со всеми их нарисованными цветочными чашечками, едва ли можно вынюхать что-либо опасное, так как нарисованный червяк или червячный эскиз всегда останется торчать там, где он находится.

Вот этого вывода я и домогался своими сравнениями. Публика же домогается, чтобы я высказал свое мнение о нижеприведенных «Цветах». Автор — подающий большие надежды юноша, имеющий пять лет отроду;<sup>2</sup> мы с ним сызмала были друзьями и, пожалуй, можем похвастаться полным единодушием: по Аристотелю это и необходимо для истинной дружбы. Автор представляет мне для прочтения и проверки все, что намерен издать. А так как настоящие «Цветы» я ему вернул с изъяслениями самого пылкого и отнюдь не лицемерного восторга, то он обратился ко мне с просьбой опубликовать мое суждение, которое, как он полагает (хотя это слишком для меня лестно), может иметь некоторый

---

<sup>1</sup> В третьем выпуске «Журнала физики и т. д.» Лихтенберга сообщается случай с одной женщиной, втянувшей из цветка себе в мозг червя, который ее мучил помешательством, головными болями и т. д., пока не выполз живым из носа.

<sup>2</sup> Вольтер доказывает, что человек, доживший до двадцати трех лет, в сущности прожил только три с половиной года. Мне часто случается угощать у себя людей, не имеющих отроду даже одной пятой секунды, и один из них умер, вообще не имея возраста. Зато нашему старому доброму Канту уже стукнуло все двадцать пять лет, если не больше.

всё; тем более, что оно беспристрастно; а потому он хочет его вручить критикам в качестве линейки и линованного листа для проверки правильности их собственных суждений.

В этом своем намерении он заходит уж слишком далеко; я могу лишь заявить, что его твореньице пришлось мне весьма по душе. Самая тема не допускала большего динамического размаха, чем тот, который достигнут в настоящей книге, и как бы ни хотелось автору греметь, бушевать и растекаться в ней, однако, в комнате и спальню адвокат для бедных не хватало места для рейнских водопадов, испанских гроз, тропических ураганов, изобилующих трóпами, и для водяных смерчей, а потому наилучшие непогоды автор приберегает для будущего творения, заглавие которого он мне разрешил объявить заранее, а именно — для «Титана»: <sup>1</sup> в этом произведении он будет Геклой и взорвет свои полярные льды, а заодно и самого себя и (подобно исландскому вулкану) извергнет столб кипящей воды, имеющий четыре фута в поперечнике, на высоту в девяносто или восемьдесят девять футов, и притом с таким жаром, что когда этот мокрый столп огненный обрушится и растечется по книжным лавкам, то все еще будет достаточно горячим для того, чтобы сварить яйца вкрутую, а наседок всмятку. «После этого (всегда говорит он, но говорит весьма печально, ибо видит, что половина наших боев и завоеваний в здешнем мире мало чем отличается от сущей безделицы и что колыбель жизни сей, хотя и качает и убаюкивает нас, не продвигает нас ни на шаг дальше), после этого, — говорит он, — пусть *arbor toxicaria macassariensis* <sup>2</sup> идеала, под которым у меня уже немного поредели волосы, пусть оно совсем отравит меня

---

<sup>1</sup> Произведение, которое господин автор предисловия возвещает подобно предтече, как я и сам уже сделал в первой книге, действительно появится под указанным заглавием и, по возможности, будет служить мне индугенцией, предсмертным отпущением и эпитимией для столь многочисленных уже совершенных мною эстетических грехов. (Теперь, после издания «Титана», мне остается лишь добавить, что на место моих излюбленных грехов большинство критиков при суждении о таковых подставили свои собственные.)

<sup>2</sup> *Arbor toxicaria macassariensis* — ядовитое дерево «боа упас», находясь под которым, человек уже в течение нескольких минут лишается волос.

и отошлет в страну идеалов, — я все же преклонял колени и молился под величавой сенью его бурно шелестящей смертоносной листвы. И для чего бы стоял возле орошаемого вечностью кладезя истины домик для путников, именуемый «Отдохновением»,<sup>1</sup> если бы в него никто никогда не входил?» Чтобы увенчать свое здание этой широкой крышей, он желает себе несколько (хотя бы пару) отменно дождливых лет, ибо огромное, ясное, чистое небо увлекает и отвлекает человека и, наполняя глаза, парализует руку, держащую перо; в этом отношении фабрикант книг чрезвычайно отличается от фабриканта бумаги (своего поставщика боевых припасов), который именно в сырую погоду запирает свое заведение. Далее, я бы желал, чтобы те немногие главы, которые содержатся в первой книге, публика пересмотрела и перечитала, дабы лучше знать, чего собственно хочет автор; ибо книга, не заслуживающая перечитывания, недостойна и однократного чтения.

В заключение я, хотя лишь в качестве самого скромного клубного и голосующего сочлена публики, поощряю господина автора к разведению многочисленных отпрысков и птенцов той же породы и выражаю пожелание, чтобы настоящее произведение и прочие читатели судили так же снисходительно, как я.

*Жан-Поль Фр. Рихтер.*

Гоф, в Фойгтланде, 5 июня 1796 г.

\* \* \*

Здесь кончается предисловие моего друга. Конечно, это, в сущности, будет смешно — однако и мое предисловие должно быть в свою очередь закончено, и, к сожалению, я не смогу подписать его иначе, чем это сделал выше мой Робинзоновский Пятница и тезка, а именно:

*Жан-Поль Фр. Рихтер.*

Гоф, в Фойгтланде, 5 июня 1796 г.

---

<sup>1</sup> В средние века немцы сооружали возле своих замковых колодцев домики, называвшийся «Отдохновением», для усталых путников.

## ПЯТАЯ ГЛАВА

*Метла и щетка как орудия страстей. — Важное значение сочинителя книг. — Церковные диспуты о снимании нагара со свечи. — Посудный шкаф. — Домашние горести и домашние радости.*

Католики насчитывают в жизни Христа пятнадцать таинств, пять радостных, пять скорбных и пять славных. Я осторожно следовал за нашим героем через пять радостных таинств, о которых может поведать полный липового меда первый месяц брака; теперь мы с ним приближаемся к пяти скорбным, которыми большинство браков завершает череду своих таинств. Однако я надеюсь, что брак Фирмиана еще будет иметь пять славных. . .

В первом издании я как ни в чем не бывало начал эту книгу вышеприведенным абзацем, словно это чистая правда; но во втором, значительно переработанном издании я, разумеется, должен внести поправку и указать, что упомянутые пятнадцать таинств не расположились под ряд, как ступени и предки, а перемешались, как удачные и неудачные карты. Однако при этих смещениях в нашей жизни радость все же рано или поздно получает перевес над горем, как это было и с самим земным шаром: хотя он и претерпел несколько дней светопреставлений, но зато после них пережил еще больше весен, то есть миниатюрных дней творения.

Все это я намеренно излагаю здесь, ибо хочу избавить столь многих бедняг-читателей от опасения, будто им теперь придется брести вброд через целый том слез,

частью читаемых, частью проливаемых из сочувствия; иное дело писатель, который, как сущая гремучая змея, способен наблюдать за боязливо мечущимися перед ним многими тысячами зачарованных жертв, пока они не станут его добычей.

Проснувшись на следующее утро, Зибенкэз немедленно послал дьявола ревности и брака ко всем прочим дьяволам, — ибо утешитель-сон замедляет лихорадочный пульс души, и его зерна служат противолихорадочной хинной корой как против лихорадочного озноба вражды, так и против лихорадочного жара любви. — Итак, Фирмиан положил на стол свою силуэтно-чертежную доску и пантографом снял со вчерашнего вольного перевода эгелькраутовского лица уменьшенную точную копию и, как полагается, зачернил такуюю. Покончив с этим, он ласково сказал жене: «Давай, пошлем ему силуэт сегодня же. Пока он сам явится его получить, пройдет много времени». — «Конечно, — отвечала она, — он придет не раньше среды, и тогда это будет уже давным-давно забыто». — «Однако, — возразил Зибенкэз, — его можно бы заставить прийти сюда раньше; если только я отправлю ему и предложу купить троицын талер графства Рейсс 1679 года, то он не пришлет мне за него ни гроша, а сам принесет сюда плату за талер, как и до сих пор делал со всей лейбгегеро-роуской монетной коллекцией».

«Или вот что, — сказала Ленетта, — пошли ему лучше вместе и талер и портрет, он тогда больше обрадуется». — «Чему больше?» — спросил он. На неожиданный и странный вопрос, говорит ли она о большей радости от теневого или чеканного профиля, она не смогла толком ответить и в замешательстве сказала: «Ну, конечно, этим вещам». Щадя ее, он не повторил вопроса.

Но советник прислал лишь ответное сообщение, что он восхищен чудесными подарками, а потому не позже, чем в конце будущей недели, явится лично, чтобы выразить свою благодарность и произвести расчет с господином адвокатом для бедных. Ту небольшую горечь, которую почувствовал адвокат от непредвиденного ответа беспечного и слишком радужно настроенного советника, отнюдь не мог подсластить судебный курьер, вошедший в эту самую минуту и вручивший ему ответ, или первый

тезис, или возражения ответчика, тайного фон Блэза, заключавшиеся лишь в ходатайстве о трёхнедельной отсрочке, которую камера по делам о наследствах охотно ему предоставила. Зибенкэз, будучи своим собственным адвокатом для бедных, разумеется, твердо уповал на то, что обетованную землю наследства, с млеком и медом, текущими по ее золотоносным пескам, обретут его дети через много лет после того, как сам он скончается на пути туда, в пустыне юриспруденции; ибо за добродетель и правоту отцов юстиция охотно вознаграждает их детей и внуков, вплоть до отдаленных потомков: но пока что для Фирмиана все же являлось неудобством то, что ему нечем было жить при жизни. Ибо на рейсский галер с тройцей, — за который Штибель к тому же еще и не заплатил, — и без того нельзя было долго прожить, как и на единственный еще уцелевший дукат с косичкой из числа оставленных Лейбгебером в качестве «Имперской кассы для финансирования военных операций» против тайного. Ибо эти две монетки, золотая и серебряная, были (о чем я до сих пор умалчивал) единственной кассовой наличностью спасительной лейбгеберовской кассы, и на них, конечно, не смог бы просуществовать никто, кроме преемника самого спасителя. Но мое умолчание о предшествующих опустошениях монетной коллекции, пожалуй, является новым доказательством того, насколько я всюду, где только могу, оберегаю читателя от горьких вестей.

«Ну, уж я найду выход» — сказал Зибенкэз самым бодрым тоном и с особенным рвением уселся сегодня за свой письменный стол, чтобы своими «Избранными местами из бумаг дьявола» привлечь к себе в дом солидный гонорар, и притом чем скорее, тем лучше. Но тут вокруг него разводится и все выше вздувается совершенно иной чистилищный огонь, о котором я до сих пор вовсе не хотел говорить и в котором он уже с позавчерашнего дня сидит и жарится. Это жаркое стряпает Ленетта, а письменный стол служит рашпером. Дело в том, что во время немой перебранки, происходившей в предшествующие дни, Фирмиан привык особенно прислушиваться к Ленетте, пока сидел и писал свои «Избранные места»; и это совершенно спутывало все его мысли. Самый легкий звук

шагов, каждое слабое сотрясение действовали на него словно на одержимого водобоязнью или хирагрой и каждый раз умерщвляли одну-две хороших юных мысли, подобно тому как сильный шум умерщвляет канареечное потомство или шелковичных гусениц.

Сначала Фирмиан еще вполне владел собою; он мысленно внушал себе, что жене ведь приходится хоть сколько-нибудь шевелиться и что она не может, пока не обладает преобразенным телом и преобразенной мебелью, двигаться по комнате так же бесшумно, как солнечный луч или как добрые и злые ангелы, незримо следующие за нею. Но пока он выслушивал от самого себя этот изрядный *cours de morale*, эту *collegium pietatis*, он отвлекался от своих сатирических контекстов и концепций, так что дальнейшее писание двигалось очень вяло.

Наутро после того силуэтного вечера, когда души обоих супругов обменялись рукопожатием и возобновили княжеский союз любви, Фирмиан смог изъясняться гораздо откровеннее, и как только он принялся чернить вместо людских силуэтов лишь их прототипы, то есть как только начал работать в сатирической коптильне, он заранее сказал жене: «Если можешь, Ленетта, то постарайся не очень шуметь сегодня, — мне это почти что мешает, когда я здесь сижу и работаю для печати». Она ответила: «А я думала, ты меня совсем не слышишь, ведь я все делаю прямо крадучись».

Когда в жизни человека уже миновали переходные годы неуклюжего неразумия, он все же вынужден ежегодно переживать по несколько недель и дней неуклюжести и неразумия; вышеприведенную просьбу Зибенкэз поистине высказал в неразумную минуту. Ибо теперь он сам себя заставил отвлекаться от своих мыслей и прислушиваться, что предпримет Ленетта после принятия прошения. Она теперь бегала по полу комнаты и по нитям своего хозяйственного рукоделия неслышными паучьими лапками. Ибо она, подобно другим женщинам, противоречила не для противодействия, а лишь для противоречия. Зибенкэзу приходилось усердно следить, чтобы расслышать движение ее рук или ног; но ему все же удавалось это, и он слышал большую часть их. Когда человек не спит, то на слабый шум он обращает больше внимания, чем на сильный: теперь наш писатель неотступно следил за ней; его слух

и душа, прицепившись к ней, словно шагомер, повсюду расхаживали с ней, — короче говоря, в самом разгаре сатиры «Дворянин с его лихорадочным ознобом»<sup>1</sup> Фирмиан невольно запнулся, вскочил и сказал своей крадущейся супруге: «Я уже целый час прислушиваюсь к этому несносному постукиванию каблучков; я бы предпочел, чтобы ты здесь бегала рысью и отбивала такт парой деревянных башмаков, подбитых железом,<sup>2</sup> — милая, ходи уж лучше как всегда!»

Она послушалась и стала расхаживать почти как всегда. Теперь, уже отменив громкое и тихое хождение, он охотно упразднил бы заодно и среднее: но мужчина не любит дважды противоречить самому себе в течение одного утра и довольствуется лишь одним разом. Только вечером он попросил ее, чтобы впредь, пока он будет набрасывать свои сатиры, она ходила в мягких башмаках, тем более, что пол холодный: «Вообще, — добавил он, — так как теперь по утрам я работаю для хлеба, то хорошо будет, если во время моих литературных занятий ты ограничишь свои лишь самым необходимым».

На следующее утро он мысленно производил суд над каждой работой, происходившей у него за спиной, и, выслушивая одну за другою, — при этом он все же продолжал писать, но хуже, — решал, имеет ли она при себе удостоверение о своей необходимости. Нашего пишущего стойка многое заставило бы лишь слегка пожать плечами; но когда Венделина в спальне длинной метлой загоняла под зеленое супружеское ложе матрацную солому, то крест сделался слишком тяжким для его плеч. К тому же, третьего дня он прочел в старых журналах естественных испытателей, что теолог Иог. Пехманн не выносил шуршания метлы, что у него от этого звука захватывало дыхание и что он убежал от попавшегося ему навстречу уличного метельщика: подобное чтение невольно сделало Фирмиана более внимательным и нетерпимым к аналогичному случаю. Не вставая, он крикнул в спальню своей домашней метельщице: «Ленетта, не чеши и не скреби

<sup>1</sup> «Избранные места из бумаг и т. д.».

<sup>2</sup> Древние музыканты имели на ногах такие башмаки, так называемые крупеции. *Бартолин, De Tib. Vet.*, III, 4.

так твоей метлой — она мешает мне думать. Жил-был однажды старый пастор Пехманн, так он скорее согласился бы подметать, как проклятый, венские улицы, чем слушать подметание, и даже порку этим венником предпочел бы проклятому звуку метлы, когда она точит и шлифует. Неужели же я, находясь возле домашней метлы, могу возыметь хоть одну здравую мысль, достойную быть набранной и напечатанной в книге: проникнись хоть этим!»

Тогда Ленетта поступила так, как сделала бы на ее месте каждая примерная жена и ее любимая собачонка: она постепенно затихла. Да, она под конец даже уволила в отставку метлу и, когда супруг стал писать столь же громко, как она мела, лишь продвинула потихоньку щеткой под кровать три соломинки и несколько перышек и пушинок. Но, против ожидания, редактор «Избранных мест из бумаг дьявола» среди своих занятий весьма кстати услышал это передвижение; он встал, проследовал под ворота спальни и сказал туда: «Дорогая, эта адская мука ничуть не меняется, пока я слышу эти звуки. Да смахни злосчастный мусор под кровать павлиньими перьями и церковными кропилами, сдуй его мехами за горшок: я — и моя книга во мне — вытерпим это и, разумеется, будем изуродованы». — Она отвечала: «Я и без того уже кончила».

Он снова взялся за работу и снова вполне бодро уловил нить третьей сатиры: «О пяти чудовищах и об их хранилищах, с которых я первоначально хотел добывать себе пропитание».

Тем временем Ленетта медленно прикрыла двери спальни: из этого он опять вынужден был заключить, что там, в его геенне и монастырском кардере, снова затеваются против него какие-то козни. Он положил перо и закричал через письменный стол: «Ленетта, мне не слышно, в чем там дело; но если ты снова принимаешься за что-нибудь, чего я не могу вынести, то умоляю тебя, ради бога, прекрати это, положи сегодня конец моему крестному пути и моим вертеровским страданиям, — покажись-ка мне!» Она отвечала, но прерывающимся от усиленных движений голосом: «Да ничего, я ничего не делаю». Он снова встал и открыл двери своего застенка. Жена там утюжила и полировала серой фланелевой тряпкой зеленое решетчатое брачное ложе. Автор настоящей истории однажды,

будучи болен оспой, лежал на такой кровати, а потому знаком с этой разновидностью; но читателю, может быть, неизвестно, что подобная зеленая клетка для грез выглядит как увеличенный вольер для канареек, со своими двумя решетчатыми двустворчатыми дверями, или подъемными решетками, и что эта ограда и теплица снов хотя и более неуклюжа, но зато более полезна для здоровья, чем наши плотно завешанные спальне Бастилии, которые своими душными занавесами пеленают нас и не пропускают даже дуновения свежего ветерка. — Адвокат ограничился тем, что быстро проглотил пол-кружки комнатного воздуха и медленно заговорил: «Как я вижу, ты снова метешь и чистишь, — и знаешь, что я там сижу весь в поту и хочу работать на нас обоих и что я уже целый час пишу, почти ничего не соображая, — небесная, дражайшая половина, ради бога, прекрати твою картечную стрельбу и не губи меня вконец твоей тряпкой». Ленетта, исполненная изумления, сказала: «Да не может быть, старичок, неужели тебе там было слышно, милый?» — и продолжала натирать еще поспешнее. Он немного быстро, но ласково, схватил ее за руки и сказал громче: «Изволь перестать! В том-то и есть мое несчастье, что я там не могу слышать и вынужден лишь все воображать, — и проклятая длительная мысль о метле и щетке занимает место других, прекрасных мыслей, которые я мог бы изложить на бумаге. Милый ангел, я сидел бы здесь и работал с величайшим спокойствием и блаженством, если бы ты только палила и гремела за моей спиной картечными и гаубицами и стофунтовыми пушками изо всех здешних амбразур; но вынести легкий шум мне не под силу».

Тут его рассердило, что приходится держать такую длинную речь, и он вывел жену с ее тряпкой из спальни и сказал: «Вообще мне тяжело, что когда я там у себя в комнате напрягаюсь изо всех сил, чтобы доставить радость читающей публике, в моей спальне устраивают арену, чтобы травить меня собаками, и что кровать писателя превращается в траншею, откуда его преследуют навесные выстрелы и дымящиеся каленые ядра. В полдень, за обедом, мне не нужно будет писать, и тогда мы с тобой спокойно поговорим об этом».

В полдень, когда он хотел изложить причины своей утренней стычки, ему пришлось прежде выдержать стычку молитвенную: «молебен» означает в Нюрнберге и в Кушнапеле не то, что у сильных мира сего, то есть не богослужение и особое наследственное служение в дворцовой церкви, а полуденный звон. Дело в том, что обеденный стол супружеской четы стоял у самой стены и выдвигался на середину комнаты лишь тогда, когда за ним обедали. И вот в течение всего своего супружества Зибенкэзу не более двух раз удалось добиться, — ибо то, что женщины<sup>1</sup> забывают однажды, они затем забывают тысячу раз, — хотя бы он проповедывал до тех пор, пока его легкие не высохнут, словно лисьи, служащие лекарством для человеческих, — повторяю, он никогда не мог добиться, чтобы стол был выдвинут прежде, чем на нем задымится суповая миска; лишь после того оба эти предмета совместно передвигались на середину комнаты, причем во время передвигания на скатерть проливалось не больше суповой влаги, чем нужно, чтобы запить слабительную пилюлю.

Сегодня все совершилось точно таким же образом: супруг медленно жевал пилюлю, которую ему предстояло заедать супом, и боязливо глядел с вытянувшимся лицом и затаив дыхание, что было предварением не равноденствия, а запоздалого выдвигания стола; когда же повторилось суповое возлияние, он хладнокровно выпалил: «Право, Ленетта, мы живем на заправском корабле; ибо у мореплавателей суп всегда проливается с тарелок вследствие качки, и у нас с тобой — тоже. Вот, смотри! В общем обеденный стол связан с утренней метлой и способствует ей; если говорить не деликатничая, то эти два заговорщика еще сживут со света твоего супруга».

За этим вступлением к проповеди последовало вместо церковного хора появление вооруженного дубинкой

---

<sup>1</sup> Мужчины тоже, но в меньшей степени. Если мужчина, ежедневно помнящий и регулярнейшим образом выполняющий девяносто дел, раз-другой забудет девяносто первое, то он будет забывать его и впредь при всей прочей своей памятьности. Помочь здесь может лишь человек или обстоятельство, явившиеся напоминанием в самый момент забывания. Если же тот человек хоть раз перестал забывать, то он не будет забывать и в дальнейшем.

блюстителя порядка и увеселителя кушнаппельской публики, который вошел с большим листом бумаги и пригласил адвоката, в качестве уважаемого лица, пожаловать на состязание стрелков, имеющее быть в Андреев день, тридцатого ноября. Все мы, конечно, запомнили из вышесказанного, что в доме только и оставалось золота, что дукат с косичкой. Тем не менее Зибенкэз не мог выбыть из общества стрелков, не написав этим самому себе пред лицом всего города *testimonium paupertatis* (свидетельство о бедности). Кроме того для него, как для сына столь славного стрелка и охотника, жеребьевый билет участника стрелковых состязаний в сущности имел не меньшее значение, чем акция горных разработок или Ост-Индской компании. Вместе с тем, участвуя в стрельбе, он впервые получал возможность публично снискать своей супруге тот почет, на который она вполне могла претендовать как дочь аугсбургского магистратского писца. Однако никак нельзя было убедить важного стрелкового паяца разменять необычайный дукат с косичкой, тем более, что адвокат в сущности сам внушил ему подозрение, повторяя: «В самом деле, это хороший, настоящий дукат, с хвостиком и косичкой. Хотя сам я, — добавил он, — не ношу косы, но золотая монета вполне может это делать ради прусского короля, который изволил вычеканить и увековечить на ней свою. Жена, ведь сюда, наверх, можно позвать моего домохозяина, парикмахера; он должен лучше всех знать, действительно ли это дукат с косичкой, ибо ежедневно держит в руках даже косички без дукатов». Кушнаппельский шут немало смеялся при этих словах. Парикмахер явился и полностью подтвердил, что косичка настоящая, и любезно предложил сам разменять ее. Парикмахеры легки на ногу: через пять минут он принес серебро в обмен на косичку. После того как степенный забавник спрятал в карман причитающуюся долю хвостатого дуката, на лице у Ленетты появились множество двойных вопросительных и восклицательных знаков, и Зибенкэз продолжал свою обеденную проповедь: «При стрельбе в эту птицу, Ленетта, главные выигрыши заключаются в посуде и в деньгах, тогда как при стрельбе в других зверей добываются съестные при-

пасы. Как я поблагаю, мы с тобой будем иметь не только новую кастрюлю для жаркого, но и свежее жаркое в ней, ибо и то и другое я, если постараюсь, могу подстрелить для твоей кухни. Вообще не беспокойся, моя красавица, о том, что наши деньги на исходе; встань лишь за мною, я твой шанцевый мешок или тур, или даже траншейный бруствер, и моим ружьем, а в особенности моей чернильницей, я надеюсь удержать чорта бедности на некотором расстоянии от нас, пока мой честный опекун не вручит мне материнское наследство. Но только, ради бога, не мешай моему прилежанию твоим собственным; сегодня твоя метла и тряпка лишили меня шестнадцати ортсталеров<sup>1</sup> наличными. Ибо если один печатный лист моих дьявольских бумаг я оценю лишь в восемь рейхсталеров (считая рейхсталер по девятиности крейцеров), — конечно, он может стоять еще больше, — то сегодня я мог бы написать на сорок восемь ортсталеров, если бы состряпал не один печатный лист, а полтора. Однако в самый разгар работы мне приходилось говорить тебе в спальню слишком много слов, за которые я не получаю ни одного крейцера гонорара; тебе бы следовало глядеть на меня как на старого, толстого, мертвого паука или сенокосца, которого запирают в коробку (гнездо моей комнаты ничем не лучше ее) и который в ней со временем засыхает и превращается в драгоценную крупинку золота или драгоценность. Ведь я тебе неоднократно говорил, что, поистине, едва я обмакну перо, как вытаскиваю из чернильницы золотую нить, ибо каждый мой утренний час действительно дарит золотом нас».

«Ну, глотай себе да прислушивайся: сейчас я попутно объясню тебе, в чем заключается достоинство автора, и дам тебе ключ ко многому. . . В швабских, саксонских и померанских землях есть города, где заседают оценщики авторского мяса, как здесь наш старый мясник; но их обычно называют пробирерами,<sup>2</sup> или апробирующими, ибо они, будучи людьми со вкусом, пробуют каждую книгу на вкус, а затем пробирают. Правда, со злости мы, авторы, иногда называем их рецензентами; но они могут

<sup>1</sup> Ортсталер равен шести грошам.

<sup>2</sup> Пробирерами в различных городах называют пивных полицей-лейтенантов, которые ходят по пивным и пробуют достоинство пива.

За это привлечь нас к суду. Так как пробиреры редко пишут книги, то имеют тем больше досуга, чтобы просматривать и оценивать чужие. К тому же нередко они сами уже сочиняли плохие книги, а потому заранее знают, что требуется для плохой книги, когда получают такую на просмотр. Святыми-заступниками авторов и их книг многие являются по той же причине, по которой святой Непомук состоит заступником мостов и идущих по ним людей, — а именно, потому что он сам некогда был сброшен с моста в воду. Ко всем этим господам и будет послана моя писанина, как только она будет отпечатана подобно твоему молитвеннику. И вот тогда они насквозь просмотрят мои труды и проверят, писал ли я достаточно четко и разборчиво (не слишком ли грязно или не слишком ли чисто), — не проставил ли я неправильных букв, например маленького «е» вместо большого «Е» или «Ф» вместо «(»», — не получились ли слишком высокими или низкими мои мыслете или даже мысли, и тому подобное, — да, нередко они, хотя им это и не полагается, судят даже о написанных мною мыслях. Если же позади меня ты повсюду строгаешь и точишь своей метлой, то у меня многое выходит неверно и преглупо, а затем это так и отпечатают. Но это немало вредит нашему брату. Ибо пробиреры своими длиннейшими ногтями, — они короче у пуговичников, но не у еврейских обрезателей, — прежде чем нарекут имя книге, как обрезатели еврейскому мальчику, — рвут прекраснейшую бумагу и наносят ей ужасные резаные раны всюду, где только есть опечатки. Затем они рассылают по всей империи, по саксонским и померанским землям, объявления на пропускной бумаге, в которых ругают меня на чем свет стоит и чернят меня, и перед всеми честными швабами напрямик заявляют, что я-де осел... Боже, упаси! И все эти громы в меня будут метать лишь потому, что ты слишком уж любишь подметать. Конечно, если я пишу превосходно и разборчиво и вполне разумно, — и в самом деле ведь ни один лист моих дьявольских бумаг не лишен здравого смысла; если перед написанием я обдумываю каждое слово и каждый лист, если на одной странице я шучу, на другой поучаю и на всех нравлюсь, то, надо тебе сказать, Ленетта, в таких вещах господа пробиреры, как люди со вкусом,

умеют находить вкус, и им ничего не стоит присесть и пустить в обращение циркуляры, в которых обо мне, по меньшей мере, сказано, что я кое-что вынес из университетов, а потому в свою очередь могу принести кое-что таковым. Короче говоря, они заявят, что не ожидали от меня этого и что я не без дарований. Но если мужу, Ленетта, воздают подобную хвалу, то это впоследствии идет на пользу и его жене; и когда по всему Аугспургу начнут спрашивать: «где же собственно проживает этот знаменитый Зибенкэз?» — то в Фуггеровом квартале всегда найдутся люди, которые скажут: «В Кушнаппеле; он женился на дочке здешнего магистратского писца Эгелькраута и очень счастливо живет с этой особой».

«Как часто, — отвечала она, — ты уже рассказывал мне про то, как делают книжки! И переплетчик мне говорит то же самое, потому что он каждый день берет книги в руки и переплетает». — Это упоминание об его повторениях, хотя и сказанное отнюдь не в укор, пришлось ему далеко не по вкусу; ибо этот недостаток, как некая болезнь, до сих пор оставался от него скрытым. В беседе с женой мужа, даже многоумные и малоразговорчивые, под влиянием семейного уюта становятся столь же безбрежно болтливими, как всякий из нас в беседе с самим собой; однако ни перед кем в целом мире человек не повторяется так часто, как перед собственным Я, причем даже не замечает этих повторений, не говоря уж о том, чтобы их подсчитывать. Но и то и другое делает супруга, которая, привыкнув ежедневно выслушивать от своего благоверного остроумнейшие и непонятнейшие изречения, не может их забыть и даже вынуждена их запоминать, когда они повторяются!

Внезапно парикмахер явился вновь и принес с собою непродолжительное ненастье. Он сказал, что обошел всю нищую братию своего дома, но тщетно просил этих голландцев внести вперед — в счет предстоявшего вскоре, в Мартинов день, платежа за квартиру — столько денег, сколько ему сегодня требовалось, чтобы оплатить свой жеребьевый билет участника стрелковых состязаний. Разумеется, за целых шесть недель до платежного срока такой денежный сбор был совершенно не под силу всему гарнизону, хотя бы уже потому, что большинство не оси-

лило бы его и в самый срок. Поэтому саксонец обратился со своим ходатайством к магнатам своего дома, к господину с дукатом, как он величал Зибенкэза. Тот не смог огорчить еще одним отказом терпеливого добряка, безропотно выслушавшего все предшествовавшие, — он и жена собрали всю сдачу с дуката и отпустили обрадованного домохозяина с целой половиной квартирной платы, с тремя гульденами. Теперь у них самих не оставалось ничего, кроме — беспокойства, что к ужину нечего будет — зажечь: ибо налицо уже не было ни двух медяков на покупку полуфунта свечей, ни самих свечей.

Не могу утверждать, что наш герой от этого побледнел как смерть или обеспамятовал, или обезумел. Хвала каждой мужской душе, которая хоть пол-весны смогла пить железистую сыворотку стоицизма и не упала, подобно женщине, обессиленная и оледеневшая, перед хладным призраком нищеты. В наш век, когда в душе людей перерезаны все жилы лучших чувств и уцелела только жилка стяжения, даже самое преувеличенное порицание богатства будет полезнее и благороднее, чем даже самое справедливое уничтожение бедности; ибо пасквили на презренное золото гарантируют богатому неплохое душевное состояние даже в случае потери состояния материального, а бедняка наделяют взамен горьких чувств сладостью их преодоления. Ведь и без того уж все низменное в нас, все чувства, фантазия и все видимые нами примеры являются объединенными панегиристами золота; почему же хотят еще и лишить бедность ее адвоката и *chevalier d'honneur*, которыми являются философия и нищенская спесь?

Зибенкэз прежде всего раскрыл, вместо рта, дверь и посудный шкаф в кухне; оттуда он, тихий и серьезный, извлек и поставил на стул медное блюдо с колпаком и тройню оловянных тарелок. При этом зрелище Ленетта не смогла дольше молчать; она всплеснула руками и сказала, тихо и стыдливо: «Ах, боже милосердый! Ведь не будем же мы продавать нашу посуду?» — «Я хочу лишь превратить олово в серебро, — сказал он, — и переплавить медь в звонкую монету, как это иногда делают монархи со звонкой колокольной медью. Право, тебе не зазорно перечеканить в денежки какую-то жалкую столо-

вую посуду, эти гробницы для бранных останков разной живности, если герцог Христиан Брауншвейгский в 1662 году буквально обратил в деньги, а именно — в талеры, серебряную княжескую гробницу. Ведь тарелка далеко не апостол! А между тем даже со многими апостолами, поскольку они были из серебра, сиятельные князья поступали так же, как Гуго из Сан-Каро и другие с их апостольскими творениями, а именно — разделяли на главы, стихи и легенды и, разобрав, рассылали с монетного двора по всему свету».

«Глупости!» — отвечала она.

Некоторые читатели, пожалуй, скажут: «А разве нет?» — Перед этими немногими мне уже давно следовало бы оправдать адвоката за его непостижимый для Ленетты словесный стиль.

Впрочем, он сам уже достаточно оправдался, говоря, что жена всегда в общих чертах понимала его, хотя бы он выбирал учнейшие термины и делал изысканнейшие намеки, чтобы как следует поупражняться и насладиться собственным красноречием; женщины, повторял он, все понимают по намекам и в общих чертах, а потому не тратят времени, которое может быть употреблено и лучше, на кропотливые изыскания смысла непонятных им слов. Впрочем, это обстоятельство несколько неблагоприятно для словаря Рейнгольда к «Леване» Жан-Поля и отчасти для меня. «Глупости!» — отвечала Ленетта. Фирмиан лишь попросил ее захватить посуду с собою в комнату, где он намеревался разумно обсудить все дело. Но он с таким же успехом мог бы излагать свои доводы человеческой коже, набитой сеном. Жена упирала преимущественно на то, что взносом в стрелковую кассу он опустошил свою собственную. Тем самым она его навела на превосходную реплику: «Некий ангел, — сказал он, — внушил мне, чтобы я сделал этот взнос; в Андреев день я могу снова выудить и вылудить все, что сегодня посеребряю. Тебе в угоду я сохраню и водворю в посудный шкаф не только блюдо и тарелки, но и всю прочую посуду, которую подстрелю в качестве члена стрелкового общества. Признаюсь тебе, первоначально я намеревался продать свои призы».

Что было делать? В сумерки изгоняемая столовая посуда была спущена в корзину старой Забель (Сабины), которая во всем имперском местечке прославилась тем, что помимо своей ргорге (собственной) торговли занималась и комиссионными сделками (торговлей по чужим поручениям) и притом с такой деликатной скрытностью, словно торговала краденым имуществом. «Никто, — говорила она, — не мог бы из меня вытянуть, кому принадлежат все эти вещи, и покойный казначей, от которого я перетаскала весь его скарб, часто говаривал; что таких, как я, поискать надо».

Бедные супруги! Что пользы вам от этого шаббата<sup>1</sup> или «сошествия Христа во ад» в вашем преддверии ада? Сегодня огонь отклонится, и свежий морской ветер прохладит вас; но завтра или послезавтра перед вашими сердцами вновь взовьются прежний дым и прежние пламя! И все же я не наложу запрета на вашу посудную торговлю; ибо даже зная наверняка, что завтра предстоит такой же голод, отнюдь не плохо поступают те, кто стремится избавиться от сегодняшнего.

На другой день Зибенкэз требовал большей тишины вокруг себя лишь потому, что накануне он держал об этом столь длинную речь. Славная Ленетта, которая была живой стиральной машиной и метательным или, вернее, метущим снарядом и для которой списки белья и кушаний были не менее священны, чем свидетельства об исповеди и целомудрии,<sup>2</sup> скорее рассталась бы с чем угодно, вплоть до собственной персоны Фирмиана, но только не с лохильной суконкой и мусорной метлой. Она думала, что это лишь его каприз, тогда как это был ее каприз — нажимать басовые педали и разыгрывать шумные органические концерты за спиной автора именно в утренний час, который вдвойне одарял его золотом, а именно идеальным, из золотого века, и металлическим. После полудня она беспрепятственно могла бы выдвинуть хоть тридцатидвухфуговый регистр, если бы захотела; но ее никак

<sup>1</sup> По учению раввинов, муки грешников в аду прерываются в субботу, а по учению христиан — в день сошествия Христа в преисподнюю.

<sup>2</sup> *Testimonium integritatis* — священническое свидетельство о том, что невеста отнюдь не была ничем больше.

нельзя было заставить свернуть с привычного пути. Женщина — это самый нелепый сплав из упрямства и самоотверженности, какой только мне приходилось видеть; ради своего мужа она позволит парижскому палачу отрезать себе голову, но только не волосы с этой головы. Далее, она способна отказывать себе во многом для чужой пользы, но ни в чем не может себе отказать для своей собственной; она проведет три ночи без сна ради больного, но не согласится прервать даже одну минуту дремоты вне постели для того, чтобы самой же затем лучше спать. Женщина, собирающаяся на бал или к брачному алтарю или стряпающая для гостей, ухитрится есть меньше, чем святые и мотыльки, хотя последние не имеют желудков; но если Исавову трапезу ей запрещают врач и собственное тело, то она ее съедает в один миг. Когда же чем-нибудь жертвует мужчина, то он поступает как раз наоборот.

Движимая взаимно-противоположными силами, его увещаниями и своими наклонностями, Ленетта пыталась итти по женской диагонали и придумала временный компромисс, а именно — прерывала свое подметание и чистку на то время, пока Фирмиан сидел и писал. Но стоило ему лишь на две минуты подойти к фортепиано, к окну или к дверям, как она снова принималась орудовать в комнате стиральными механизмами и полировальными машинами. Зибенкэз скоро заметил это плачевное чередование своей и ее метлы, сменявших одна другую, словно часовые на посту; сознание того, что жена выжидает и подстерегает, чтобы он начал расхаживать, было ужасной помехой ему и его идеям. Сначала он проявлял весьма большое терпение, какое только может иметь супруг, а именно — краткое; но так как он долго размышлял про себя о том, что от вощения комнат страдают он и публика и что судьбы всех будущих поколений зависят от какой-то метлы, которая без всяких неудобств могла бы работать и после полудня, то опухоль гнева вдруг лопнула, Фирмиан взбесился, то есть взбесился еще пуще, подскочил к жене и вскричал: «О черт, опять! Я знаю, чего тебе надо: ты ждешь, чтобы я забегал. Лучше смилуйся и убей меня заблаговременно — ведь голод и до сада все равно истребят меня еще до Пасхи. Ей-богу! Я

\*

этого совершенно не понимаю: она так ясно видит, что моя книга превращается для нас в кухонный шкаф, откуда вываливаются целые порции хлеба, — и все же целое утро связывает мне руки, так что ничего не получается. Я уже так долго сижу в гнезде и еще ничего не высидел, кроме листа Е, где я описываю вознесение справедливости на небеса, — ах, Ленетта, Ленетта!» — «Но как я ни делаю, — сказала она, — все не ладно. Уж лучше позволь, чтобы я мела по-настоящему, как все другие женщины». Кроме того она простодушно спросила, почему же мальчишка-переплетчик, — это мои слова, а не ее, — который целый день импровизировал на детской скрипке и сочинял и справлял на ней триумфы Александра, не мешает Фирмиану своими пронзительными дисгармоническими пассажами и почему недавнюю чистку труб он выносил лучше, чем чистку комнаты. Так как при подобной спешке он был не в силах проанализировать в кратких словах столь большую разницу, то предпочел снова вспылить и воскликнул: «Я должен здесь даром держать к тебе длинные речи, а там от меня уходит один ортсталер за другим. Тысяча чертей! Гражданское право, римские Пандекты не разрешают меднику даже поселиться на улице, где работает профессор, — а моя жена хочет быть безжалостнее, чем старый юрист? И даже хочет сама изображать медника? Послушай, Ленетта, я, право же, спрошу об этом советника!» — Это сильно помогло.

В это время, кстати, прибыла плата, присланная советником за рейсский талер, — такой учтивости и внимательности никто не ожидал бы от столь ученого мужа. Всех читателей, конечно, сильно обрадует (словно они сами являются мужьями Ленетты), что в течение всего дня она была сущим ангелом: работа ее рук сделалась столь же мало слышной, как швейная работа ее пальцев; многое излишнее она даже отложила; одну болливую кумушку — прелестный головной убор которой красовался не на голове, а в руках, так как был принесен в починку — она проводила вниз по всей лестнице, не столько из вежливости, сколько в виду деликатного намерения неслышно для адвоката, находившегося наверху,

еще раз поговорить внизу с заказчицей и оговорить всякую строчку текста и предмета своего словесного договора с ней.

Это растрогало старого шумонаблюдателя и затронуло его слабую сторону и струну, а именно — сердце. Он долго шарил в своей душе, отыскивая достойное выражение благодарности за это, пока наконец не нашел одно совершенно новое. «Послушай, дитя, — сказал он и несказанно ласково взял ее за руку, — разве я не проявлю себя благоразумным человеком, если острить и творить я буду по вечерам: пусть муж тогда изощряет свой ум, когда жена прекращает свой шум. Представь себе заранее нектар и амброзию такой жизни: мы сидим друг против друга, возле одной свечи, ты орудуешь колкой иглой, а я такой же сатирой, весь ремесленный люд нашего дома уже не стучит, а распивает пиво, да и подавательниц чепцов не видно и не слышно было бы в столь позднее время. Я уж не говорю о том, что к осени вечера, конечно, станут расти, а с ними и мои работы и остроты. Что ты думаешь или (если ты предпочитаешь) что ты скажешь о такой перемене в нашем житье и мытье? Ведь ты не забудь, что мы к тому же теперь при деньгах и что рейсский талер с его тройцей как нельзя более кстати перечеканил нас всех, Штибеля и меня, в отца и сына, а тебя в духа святого, от нас обоих исходящего».

«Ах, как прелестно, — отвечала она, — значит, я все же смогу утром выполнять по-настоящему все мои работы, как полагается порядочной хозяйке?» — «Разумеется, — добавил он, — ибо по утрам я буду спокойно писать дальше мои сатиры и дожидаться вечера, чтобы продолжать оттуда, где я остановился утром».

Вечер нектара и амброзии действительно наступил, и нелегко было бы найти подобный ему среди предшествующих вечеров. Двое молодых супругов, *одни*, возле *одной* свечи и за *одним* столом, тихо и мирно работая, конечно могут порассказать, что такое счастье: он непрестанно расточал поцелуи и удачные мысли, а она — улыбки; ее движение сковородой не больше доходило до его слуха, чем движения ее иглы. «Если люди, — сказал он, чрезвычайно довольный домашней реформацией, — при одной свече зарабатывают двойную плату, то, насколько я могу

судить, им незачем стесняться и тесниться к жалкой, тонкой как червяк маканой свече, при которой ничего не видно, кроме самой этой глупой свечи. Завтра мы без долгих разговоров применим литу».

Так как некоторое достоинство этой истории, по-моему, заключается в том, что я извлекаю из нее и сообщаю лишь события первостепенной важности, то я не буду долго задерживаться на том, что вечером появилась литая свеча и зажгла небольшую распрю, ибо адвокат при свете этой свечи снова извлек на свет свою новую доктрину о зажигании свечей. Дело в том, что он придерживался весьма еретического убеждения, будто всякую свечу, а тем более толстую, разумным людям надлежит зажигать с толстого конца, а не с тощего верхнего, и что именно поэтому у каждой свечи фитиль торчит с обоих концов; «в пользу этого закона горения, — добавил он, — мне достаточно привести, по крайней мере для того, чтобы убедить разумных женщин, лишь то очевидное обстоятельство, что сжигаемая свеча, подобно прожигателям жизни, нажившим ожирение и водянку, все более утолщается книзу; и если ее подожгли сверху, то мы наживаем внизу, в подсвечнике, комок, потёк и огарок негодного сала; зато как изящно и симметрично ложится текущий жир с толстой половины на тощую, постепенно сообщая ей равномерность и как бы упитывая ее, если мы сначала зажжем толстую!»

Ленетта противопоставила его доводам нечто сильное, а именно Шэфтсбёриев пробный камень истины, на смешку. «Право же, — сказала она, — всякий, кто войдет вечером и увидит, что мою свечку я вставила в подсвечник наоборот, будет смеяться, и во всем будут винить жену». — Итак, в этом свечном диспуте пришлось для установления равноправия принять конкордат, согласно коему супруг зажигал свои свечи снизу, а супруга свои сверху. Пока же при совместной свече, которая сама по себе была толста сверху, он согласился на interim неправильного освещения.

Однако дьявол, который от изумления при виде подобной картины перекрестился и сотворил молитву, сумел подстроить так, что адвокату еще в тот же день случилось прочесть умилительный рассказ, как Плинию-млад-

шему супруга держала лампу, чтобы ему светло было писать. Теперь, при оживленной работе над извлечениями из бумаг означенного дьявола, адвокату вдруг пришло в голову, что было бы чудесно и избавило бы его от необходимости отвлекаться, если бы Ленетта приняла на себя обязанность снимать со свечи. «Да с удовольствием» — ответила она. Первые пятнадцать или двадцать минут все шло и выглядело превосходно.

После этого он раз поднял и повернул подбородок к свече, словно указательный палец, чтобы напомнить о снимании нагара. В следующий раз он для той же цели только дотронулся молча до свечных щипцов острием пера; позже он слегка подвинул подсвечник и кротко сказал: «Свеча!» Однако затем дело начало принимать более серьезный оборот, так как он стал внимательнее наблюдать на бумаге за потемнением: и тогда те самые щипцы, от которых, поскольку ими должна была действовать рука Ленетты, он надеялся получить так много света для своей работы, сделались помехой его движению, словно цепкие клещи или же словно клешни рака для Геркулеса в его борьбе с гидрой. Жалкая, тощая пара мыслей о свечном нагаре и свечном огарке, взявшись под ручку, нагло плясали взад и вперед на всех буквах его острейших сатир и лезли ему на глаза. «Ленетта, — вскоре сказал он снова, — для нашего общего блага ампутируй, пожалуйста, нелепую черную конечность!» — «Ах, в самом деле, я забыла» — сказала она и быстро сняла нагар.

Читатели с натурой историка (именно таких я и желаю себе) легко смогут здесь предвидеть, что обстоятельства должны будут все больше ухудшаться и запутываться. Действительно, Фирмиан теперь часто приостанавливался, ожидал, надарапывая длиннейшие буквы, чтобы благодетельная рука освободила от черного шипа световую розу, и, наконец, выпаливал: «Сними нагар!» — Он стал разнообразить глаголы и говорил то «Счисти!» — то: «Обезглавь!» — то: «Отщипни!» Или же он пытался внести приятное разнообразие другими частями речи и говорил: «Изготовительница уборов, пора делать уборку на свече. Тут на солнце снова появилось длинное солнеч-

ное пятно» — или: «Прекрасный ночник для ночных размышлений среди прекрасной ночи в манере Корреджио, — а пока что снимай!»

Наконец, незадолго до еды, когда угольная куча в пламени действительно поднялась высоко, он проглотил почти целый поток воздуха и, медленно цедя его обратно по каплям, сказал со свирепой кротостью: «Итак, я вижу, ты не снимаешь и не состригаешь, хотя бы черная головня росла до потолка. Ну, ладно! Лучше уж я сам буду театральным ламповщиком и трубочистом, пока не будет накрыто на стол; но за едой я, как разумный человек, намерен сказать тебе то, что следует сказать». — «Ах, пожалуйста!» — отвечала она весьма радостно.

«Конечно, — начал он, когда она подала ужин ему и себе, по паре яиц на каждую персону, — я возлагал много надежд на мои вечерние работы, ибо рассчитывал, что легкую обязанность снятия со свечи ты всегда будешь выполнять своевременно, тем более, что одна знатная римлянка для своего знатного супруга, Плиния-младшего, выражаясь по-купчески — наследника известной фирмы Плиниев, сделалась даже светильником и держала светильню. Но теперь ничего из этого не получается, ибо я не могу писать ногой под столом, как некий безрукий счастливец, или в полной тьме, как ясновидящий. От всего светильника теперь единственная польза мне та, что он сделался старой лампой Эпиктета, при которой я изображаю стойка. Свечу, словно солнце, нередко постигало затмение, дюймов в двенадцать, и я тщетно желал, душа моя, хотя бы такой прозрачной мглы, какая часто бывает на небе. От проклятых свечных шлаков как раз и рождаются у авторов темные мысли и мрачные образы. О боже, если бы ты снимала как следует!»

«Ты, конечно, шутишь, — отвечала она, — я строчу куда тоньше, чем ты, а между тем я прекрасно все видела».

«Ну, так я докажу тебе психологически и с помощью науки о душе, — продолжал он, — что для писателя и мыслителя совершенно не важно, видит ли он больше или меньше, но свечные щипцы и свечной нагар, вечно торчащие у него в голове, словно путаются под его духовными ногами и мешают им двигаться, как лошадиные пути. Уже после того как ты с грехом пополам снимаешь

со свечи и я начинаю жить в свете, я с нетерпением ожидаю минуты следующей стрижки. Но это выжидание, поскольку оно незримо и неслышно, не может состоять ни в чем ином, как в мысли; а каждая мысль вытесняет все другие, — и так все лучшие мысли писателя идут ко всем чертям. И все же я еще говорю лишь о наименьшем из зол, — ибо я мог бы несколько не заботиться о том, что свечке свойственно смеркаться, а моему носу сморкаться; но когда страстно ожидаемого снятия нагара совершенно не происходит, — черная спорынья спелого свечного колоса растет все больше, — тьма заметно сгущается, — настоящий погребальный факел освещает пишущего полумертвеца, — и последний никак не может выкинуть из головы мысль о супружеской руке, которая одним-единственным движением могла бы освободить его от всех этих тормозящих оков; тогда, милая моя Ленетта, поистине трудно сочинителю не писать как осел и не топтать как трамбовка, — по крайней мере, я мог бы рассказать об этом».

В ответ она стала уверять, что если это он взаправду и всерьез, то завтра она уж сделает, как он хочет.

Действительно, история должна ей воздать хвалу, ибо на следующий вечер она сдержала слово и снимала со свечи не только гораздо чаще, чем накануне, но прямо непрерывно, тем более, что он ее несколько раз поблагодарил кивком головы. «Однако, — сказал он наконец, но чрезвычайно ласково, — ты все же не стриги слишком часто. Если ты будешь исследовать фитиль до слишком мелких субсубсубдивизий (под-под-подразделений), то мы попадем почти что в прежнюю беду, потому что ошипанная свеча горит так же тускло, как при совершенно свободно растущем фитиле, — что ты могла бы иносказательно применить ко многим светочам мира и светильникам церкви, будь ты на это способна; лишь немного спустя после снятия и незадолго до него, словно *entre chien et loup*, наступает для души то прекрасное промежуточное время, когда она отлично видит; поистине, это небесное блаженство, когда черное на белом вдвойне правильно отмерено, в свече и в книге!»

Конечно, я и прочие не слишком обрадованы этим новым оборотом дела; очевидно, адвокат для бедных этим

возлагает себе на шею новое бремя, ибо во время писания он вынужден непрестанно вычислять и выверять, хотя бы лишь приблизительно, среднее расстояние и средний уровень между коротким и длинным фитилем; много ли времени остается теперь ему для творчества?

Через несколько минут, когда она, быть может, слишком рано сняла со свечи, он задал вопрос, хотя несколько неуверенно: «Разве уже снова пора была взяться за черную работу?» Затем, когда она сняла, пожалуй, немного поздно, он вопросительно взглянул на нее: «Да ну же!» — «Сейчас, сейчас!» — воскликнула она. Но когда, скоро затем, они слишком увлеклись, нанося уколы, он — сатирическим жалом, а она — швейной иглой, и он, наконец очнувшись, вдруг взглянул вверх, то узрел на свече длиннейшую из когда-либо им виденных пик нагара, к тому же окруженную несколькими обрывками тлеющего фитиля, заплывшими салом. «О боже, что за несчастное житье!» — вскричал он, свирепо схватил щипцы, и через миг на свече уж не было нагара — да и огня тоже.

Теперь на каникулах, наступивших благодаря потемкам, он имел предостаточно досуга для того, чтобы разговаривать и разгорячиться и обстоятельнее отчитать Ленетту за то, что она ему превращает в пытку самые лучшие его начинания и, подобно всем женщинам, не знает чувства меры и стрижет то слишком много, то слишком мало. Но так как она молча зажгла свечу, он зажегся еще большим гневом и стал вопрошать, требовал ли он до сих пор от нее чего-либо, кроме величайших мелочей, и отказывал ли ему в таковых кто-нибудь столь же упорно, как она, его милая супруга. «Отвечай!» — сказал он.

Она не ответила и лишь поставила зажженную свечу на стол, и на глазах у нее были слезы. Это случилось впервые за все супружество. Тогда он, словно намагниченный, прозрел всю суть своих внутренних недугов и поставил им диагноз, немедленно совлек с себя ветхого Адама и презрительно отшвырнул его в отдаленнейший угол. Нашему герою легко было это сделать, — его сердце было столь открыто для любви и справедливости, что как только появлялись эти богини, гневные интона-

дии его пролога превращались в кратчайшие в эпилоге, и свою боевую секиру он мог задержать, уже размахнувшись ею.

Тут промеж двух заплаканных и двух сияющих глаз был заключен домашний мир<sup>1</sup> и вестфальский договор, коим снимались все ограничения по части снятия нагара со свечи.

Но этот мир вскоре был отравлен сознанием, что домашняя богиня бедняков, Пенна, имеющая незримую церковь и тысячи пустыней по всей стране, а скинии и лариии — в большинстве домов, снова заявила о своем пребывании здесь и проявила свое всемогущество. Денег больше не было. Фирмиан скорее согласился бы продать все, вплоть до своего тела, подобно древнему германцу, чем, при своей возрастающей неспособности к расплате, вписать свою честь и свободу в число невыкупленных заложков или, другими словами, взять займы. Говорят, что английский национальный долг, если бы выплатить его в талерах, образовал бы вокруг земли порядочное кольцо, подобно второму экватору; это кольцо, проточное в нос британского льва, или это кольцеобразное затмение, или венец вокруг английского солнца я еще не измерял. Но мне известно, что Зибенкэз принял бы такой отрицательный поясной кошелек, надетый на тело, за пояс с колючками, за железное ярмо бечевщиков и за ремень голодающих, но затянувший не живот, а сердце. Допустим, что Фирмиан захотел бы занять и затем, по примеру государств и банков, прекратить платежи, — чего умные ответчики и дворянчики избегают с легкостью, ибо они даже и не начинают платить, — то, поскольку лишь один-единственный человек и друг (советник Штибель) согласился бы сделаться его кредитором, он не в силах был допустить, чтобы столь любимый им, доверчивый и верующий человек, который и без того у него

---

<sup>1</sup> Я бы желал, чтобы Маркет в Кетене уже тогда изобрел свою превосходную лампу (гораздо более дешевую и более приятную для глаз, чем лампа Арганда), которую в течение самого длинного декабряского вечера приходится заправлять лишь один раз и которая, питаемая сурепным маслом, дает (у меня — уже не первый год) ровный, чистый, яркий свет, а некоторыми применяется даже над бильярдными столами.

числился среди первоочередных духовных кредиторов, оказался в последней очереди, не имеющей шансов на уплату; от такого двойного греха, против дружбы и против чести, он мог бы уберечься, отдав в заклад нечто менее ценное, а именно — свою движимость.

Он снова подступил, но на этот раз совсем один, к посудному шкафу в кухне и принялся разведывать и высматривать сквозь его решетчатые ограждения, что скрывается за ними во втором или третьем ярусе. Ах, позади одной авангардной стояла лишь одна-единственная тарелка, подобно двойному восклицательному знаку. Вытащив этот арьергард, Фирмиан добавил к нему, в качестве попутчиков и Réfugiés, селедочный судок, соусник и салатник; после этого сокращения численности войска он построил оставшихся рядовых в более разомкнутую шеренгу и разделил три больших бреши на двадцать мелких интервалов. Затем он отнес изгнанников в комнату, вернулся и вызвал свою Ленетту из комнаты переплетчика на кухню: «Я уже в течение полчетверти часа, — начал он, — созерцаю наш посудный шкаф: по-моему, совершенно незаметно, что я недавно вынул блюдо с колпаком и тарелки, — а ты разве замечаешь это?» — «Ах, я каждый день это замечаю» — заверила она.

Тогда он, опасаясь, чтобы напряженное ожидание не затянулось слишком долго, повел ее поспешно в комнату, к судку и прочим отчуждаемым судам и посудинам, готовым отплыть в свое печальное странствие, и открыл свое намерение переложить, как подобает хорошему музыканту, этот четырехголосный квартет с глухого оловянного тона на звонкий серебряный. Продавать их он не собирався, но решил это предложить, чтобы она легче согласилась заложить. Однако она выдвинула все женские органные регистры язычковых труб, закрытых флейт, птичьего голоса, человеческого голоса и, наконец, тремуланта. Муж мог говорить, что хотел: она говорила, что она хотела. Мужчина не старается задержать или отклонить железную руку необходимости, он хладнокровно принимает ее удар, тогда как женщина, по крайней мере, несколько часов нападает на бесчувственный металлический локоть, пока он не придавит ее. Зибенкэз оставался спокоен; но

тщетно предлагал он ей ответить на опросный пункт, известно ли ей другое средство. При таких вопросах в женском мозгу всплывают вместо одного цельного ответа тысячи полувопросов, долженствующих составить одно целое, как в дифференциальном исчислении бесконечно-большое число прямых образует кривую линию, — подобными незрелыми, полупродуманными, мимолетными, лишь во взаимной связи защищающими одна другую мыслями были: «Если бы он только не изменил своего имени, то имел бы наследство, — ведь он может взять займы, — его клиенты живут припеваючи, а он от них не требует гонорара, — вообще он не должен так много раздаривать, — и от детоубийцы он ни разу не потребовал денег за защиту, — и зачем только он отдал вперед половину квартирной платы: ведь на это он мог бы прожить хоть несколько дней». — Попробуйте-ка противопоставить множеству таких женских полудоказательств одно целое, словно меньшинство большинству: это нисколько не поможет; женщины знают из швейцарской юриспруденции, по крайней мере, то, что четыре половинных или недействительных свидетеля перевешивают<sup>1</sup> одного целого или действительного. Тот, кто желает переспорить женщин, поступит разумнее всего, если даст им говорить, пока они не утомятся, а со своей стороны будет молчать; они и без того скоро собьются на второстепенные вопросы, в которых он признает их правоту, да и в главном он им отнюдь не будет противоречить — иначе как на деле. Женщины не терпят никакого возражения, кроме — действительного. К сожалению, Зибенкэз хотел посредством хирургического турникета философии вправить два важнейших сустава Ленетты, голову и сердце, а потому начал: «Милая супруга, в соборе ты подпеваешь всякому, кто проповедует о тщете земных благ, и все же ты их носишь на сердце, словно нагрудные подвески и медальоны. Смотри, я не хожу ни в какую церковь, но имею кафедру в собственной груди и ценю одну-единственную

---

<sup>1</sup> В Берне и в Ваадте для полного доказательства требуются либо два свидетеля, либо четыре свидетельницы. *Реслейн*, Женские права, 1775.

светлую минуту выше всей этой оловянной дряни. Скажи по совести, ощущало ли до сих пор твое бессмертное сердце печальную утрату блюда с колпаком, и было ли последнее твоей околосердечной сумкой? Разве несчастное посудное олово, если оно в кусках будет принято и проглочено нами подобно толченому, которое врачи дают внутрь против кишечных червей, не выгонит также и роковых сердечных червей? Успокойся и погляди на нашего башмачника, разве он ест с меньшим удовольствием от того, что его жестяная *saucière* заодно служит ему и блюдом для жаркого? Ты сидишь за своим шитьем и не видишь, что люди сумасбродны и даже кушают кофе, чай и шоколад из особых чашек, фрукты, салаты и селедку со специальных тарелок, а зайцев, рыбу и птицу со специальных блюд. Но, уверяю тебя, в дальнейшем они станут еще сумасброднее и будут заказывать на фабриках столько фруктовых блюд, сколько в садах вызревает разновидностей плодов, — по крайней мере, я поступил бы так, и будь я наследным принцем или великим магистром, я счел бы своим долгом иметь жаворонковые блюда и жаворонковые ножи, бекасиные блюда и бекасиные ножи, и даже костец оленя о шестнадцати отростках я не стал бы разрезать на тарелке, на которой у меня прежде побывал олень о восьми отростках. Но так как в сем мире придворные сферы — это лишь уборные, и земля — нарядный сумасшедший дом, где, словно в квакерской молельне, все выступают друг за другом с шутливой проповедью и все беснуются во взаимном сослужении, то здешние бедламиты считают дурачествами лишь два рода таковых, а именно — прошлые и будущие, древнейшие и новейшие, — я доказал бы им, что их собственные содержат в себе элементы и тех и других.

Весь ответ Ленетты заключался в неопишимо кроткой мольбе: «Ах, не надо, Фирмиан, прошу тебя, не продавай посуду!»

«Ну, ладно, я согласен!» (ответил он, испытывая кислосладкую сатирическую радость от того, что переливчатая, радужная шейка голубки наконец захвачена силком, который он уже так давно снабдил приманкой). «Хотя император Антонин свою посуду, которая была из чистого

серебра, обратил в монеты, и мне это было бы еще более прощительно, но я согласен! Ни один лот не будет продан, и все будет лишь — заложено. Хорошо, что ты меня навела на эту мысль; ибо в Андреев день, если только я подстрелю хвост или державу или даже сделаюсь королем, мне ничего не будет стоить или, вернее, будет стоить лишь моих денежных призов, выкуп всего этого добра и, в частности, салатника и соусника. Пусть будет по-твоему: ведь есть же у нас в доме старая Забель, которая уносит и приносит все: и деньги и товары».

Тут уж она покорилась. Стрельба в Андреев день была для нее сигнальной стрельбой гибнущего корабля, зовущего на помощь, или волшебным кошелем Фортуната; деревянные крылья птицы-мишени были теперь пристегнуты к ее надеждам, словно искусственные восковые крылья, а порох и свинец превратились для нее, как для монархов, в цветочные семена будущих цветов радостей. Ах, Ленетта, во многом тебя можно назвать бедной! Но именно бедные питают несравненно больше надежд, чем богатые! Поэтому и лотереи, подобно чуме и другим эпидемиям, более опасны для бедняков, чем для богатей. Зибенкэз, который с презрением глядел даже на утрату денег, а не только вещей, тайне решил, что если даже сделается королем стрелков, то навсегда оставит этот хлам торчать в качестве государственного заклада у литейщика и лишь при случае, проходя мимо его мастерской, превратит залоговую сделку в куплю-продажу.

Через несколько тихих, ясных дней Штиблет снова нанес вечерний визит. Среди тягостей их блокады, когда угрожала контрабанда и когда почти каждая краюшка хлеба облагалась пошлиной, уплачиваемой посредством слезы или вздоха, Фирмиан едва ли имел досуг, не говоря уж об охоте, вспоминать о своей ревности. У Ленетты должно получиться как раз наоборот, и если она питает и скрывает в себе любовь к Штибелю, то на его золотоносных землях таковая, конечно, будет расти успешнее, чем на истощенной ниве адвоката. Советник не обладал зорким взглядом, невольно различающим сквозь улыбку скрытые домашние горести, и ничего не заметил. Но именно поэтому дружеское трио пережило веселый,

неомраченный час, озаренный восходом если не солнца, то хоть луны счастья (надеждой и воспоминаниями). Ведь Зибенкэз, наконец, снова имел пред собою образованного слушателя, разбиравшегося в звоне шутовских бубенцов и в пышных фанфарах его лейбгеберовских причуд. Ленетта в них не разбиралась, и даже Штиблет понимал лишь его разговоры, но не писания. Оба мужчины сначала говорили, подобно женщинам, о лицах, а не о делах, с той только разницей, что свои сплетни они называли историей ученых и литературы. Ученый желает знать о великом писателе все, все его мелкие черты, вплоть до предметов одевания и любимых блюд; по той же причине женщина необычайно зорко подмечает все мельчайшие черты появившейся мимоездом великой княгини, вплоть до каждого бантика и оборки. Далее от ученых они перешли к учености, — и тогда рассеялись все тучи жизни, и поникшая траурно голова, окутанная великопостным алтарным покровом, снова открылась и выпрямилась в царстве наук. — Душа человека вдыхает живительный воздух своих родных высот и взирает с высокой вершины Пинда и видит лежащим внизу, подобно трупу, свое тяжело израненное тело, которое до сих пор давило и душило эту душу, словно кошмар.

Когда бедный, затравленный школьный учитель, тотщий, бродячий *Magister legens*, когда многосемейный захолустный пастор или измученный домашний наставник бессильно лежит под орудиями пытки, терзающими каждый его нерв, тогда приходит его коллега, обрабатываемый столькими же орудиями, и целый вечер ведет с ним диспуты и философствует и излагает новейшие мнения литературных журналов. Поистине, тогда переворачиваются песочные часы в застенке,<sup>1</sup> тогда в житейский ад этих двух служебных собратьев, сияя, нисходит Орфей с лирой наук, и давние муки прерываются, грустные слезы перестают омрачать заблеставший взор, змеи фурий свиваются в локоны, а колесо Иксиона становится лишь колесиком на лире, и вращается, извлекая мелодичные

---

<sup>1</sup> До тех пор, пока длится пытка, песочные часы, измеряющие ее продолжительность, не переворачивают.

звук, а бедные Сизифы спокойно внимают им, восседая на своих двух камнях... Ну, а добрая супруга пастора, бродячего лектора, школьного наставника — чем она утешится в такой же беде? Нет у нее утешений, кроме мужа, и потому-то он должен многое ей прощать.

Читатель еще помнит из первого тома, что Лейбгебер прислал из Байрейта три программы; одну из них, а именно д-ра Франка, Штибель принес теперь и поручил Фирмиану прорецензировать ее для «Кушнапельского божественного вестника немецких программ». При этом он извлек из кармана и другое произведение, которое, очевидно, тоже требовало отзыва. Читателю приятно будет видеть оба эти творения, так как мой и его герой сидит без гроша, а критикой их он сможет прокормиться хоть несколько дней. Второе писание, тут же развернутое, было озаглавлено: *Lessingii Emilia Galotti. Progymnasmatibus loco latine reddita et publice acta, moderante J. H. Steffens. Cellis 1778.* — Вероятно, многие подписчики «Божественного вестника немецких программ» будут порицать позднее сообщение об этом переводе и ставить в пример «Вестнику» «Всеобщую немецкую библиотеку», которая, несмотря на обширность обслуживаемой ею всеобщей немецкой территории, все же сообщает о хороших сочинениях уже в первые годы после их рождения, иногда уже на третий год, так что часто похвала сочинению может быть переплетена в таковое, ибо макулатура последнего еще не распродана. Но «Божественный вестник» не сообщил о многих произведениях, появившихся в 1778 году, да и не мог тогда сообщить, ибо он сам — лишь через пять лет после того появился на свет.

Зибенкэз дружелюбно спросил Штиблета: «Не правда ли, поскольку требуется, чтобы я как следует прорецензировал господ Франка и Стеффенса, моя добрая Ленетта не должна скоблить и шуметь щеткой у меня за спиной?» — «Поистине, это было бы уж слишком» — сказал советник серьезно. Тут ему было представлено шутовское и смягченное извлечение из актов домашней тяжбы. Ласковый, пристальный взор Ленетты пытался заранее угадать и прочесть *rubrum* (красный заголовок) и *nigrum* (черный текст) приговора Штибеля на его лице,

на котором имелись оба цвета. Но Штибель, несмотря на то, что грудь его вздымалась, переполненная вздохами страстной любви к ней, обратился к ней со следующей речью: «Госпожа адвокатша для бедных, это никуда не годится. Ибо господь не сотворил ничего благороднее ученого, который пишет и мыслит. Десять сотен тысяч людей сидят вокруг него во всех частях света, словно на школьных скамьях, и ко всем должен он обращаться, — заблуждения, усвоенные мудрейшими народами, должен он искоренять; древности, давным-давно исчезнувшие вместе с их обладателями, должен он в точности описывать; сложнейшие системы должен он опровергать или даже заново создавать, свет его учения должен проникнуть сквозь массивные короны, сквозь тройную войлочную шапку папы римского, сквозь кашпоны и лавровые венцы и просветить все покрытые ими мозги, — он должен и может это сделать; но подумайте только, госпожа адвокатша, с каким трудом! Набрать книгу трудно, но еще труднее сочинить ее. С какими усилиями творил Пиндар и еще до него Гомер (я имею в виду Илиаду!). И так один за другим, вплоть до наших времен. Что ж удивительного в том, что великие писатели, в ужаснейшем напряжении всех своих мыслей, часто едва сознавали, где они пребывают, что делают и чего хотят; — что они становились слепыми, глухими и бесчувственными ко всему, что не подпадало под их внутренние, душевные пять чувств: так ослепшие прекрасно видят во сне, но наяву, как уже сказано, остаются слепыми. Подобное напряжение мне объясняет, почему Сократ и Архимед стояли и совершенно не знали, что неистовствует и бужет вокруг них, почему Карданус в глубоком раздумьи забыл о своей ломоте, другие — о своей подагре, один француз — о пожаре и другой француз — о своей умирающей жене».

«Вот видишь, — тихо и радостно сказала Ленетта мужу, — разве может ученый господин слышать, когда его жена мочет и метет?» Но Штибель невозмутимо продолжил свою цепь умозаключений: «Для такого душевного огня, в особенности пока он еще не разгорелся, совершенно необходим полнейший штиль. Поэтому в Париже

великие ученые и художники живут лишь на улице святого Виктора, так как другие улицы слишком шумны. Точно так же по соседству с профессорами в сущности не должны работать кузнецы, жестяники, золотобойцы».

«В особенности золотобойцы, — серьезно добавил Зи-бенкэз. — Следовало бы лишь принять в соображение, что душа не может одновременно дать приют более, чем полудюжине мыслей: <sup>1</sup> если же мысль о шуме входит в качестве седьмого смертного греха, то одна из тех, которые можно было бы продумать или записать, конечно, удаляется из головы».

Разумеется, Штибель потребовал, чтобы Ленетта с ним ударила по рукам в залог того, что она, подобно солнцу Иисуса Навина, остановится неподвижно всякий раз, когда Фирмиан будет разить врагов своим пером и бичом сатирика. «Да ведь я сама, — возразила она, — уже несколько раз просила переплетчика, чтобы он не колотил так ужасно по своим книгам, потому что мой муж это слышит, когда сочиняет свои книги». Однако она подала советнику руку, и он, довольный, простился с довольными и оставил им надежду на умиротворенные часы.

Но, добрые души, какая вам польза от перехода на мирное положение при вашем половинном воинском жаловании, если вы бедствуете в холодном, пустом сиротском доме земли, среди темных извилистых ущелий лабиринта вашей судьбы, в которых даже ариаднина нить превращается в петлю и в силок? Долго ли сможет адвокат для бедных просуществовать на гроши, полученные под залог посуды, и на выручку за две рецензии, которые ему предстоит состряпать в ближайшем будущем? Однако все мы подобны Адаму в эпопеях, и нашу первую ночь принимаем за день страшного суда, а исчезновение дневного света — за светопреставление. Мы оплакиваем всех наших друзей так, словно не существует лучшей будущности в ином мире, и оплакиваем самих себя так, словно нет лучшей в здешнем, ибо все наши страсти одержимы врожденным атеизмом и неверием.

---

<sup>1</sup> Действительно, Бонне утверждал, что она не может одновременно иметь более шести мыслей. См. «Большую физиологию» Галлера.

## ШЕШТАЯ ГЛАВА

*Супружеская воркотня. — Экспромт о женских разговорах. — Вещи для заклада. — Ступка и табачная мельница. — Ученый поцелуй. — Об утешении людей. — Продолжение шестой главы.*

Эта глава сразу же начинается с безденежья; жалкое, разошедшееся ведро Данаид, которым славная супружеская пара вычерпывала из Пактола свои скудные гроши или крупинки золота, теряло по каплям свое содержимое и дня через два, самое большее — через три, снова оказывалось пустым. Однако на этот раз супруги могли положить на нечто определенное и довольно значительное — на две рецензии двух работ, оставленных для рецензирования: безусловно можно было рассчитывать на четыре флорина, а то и на все пять.

Наутро, после поцелуя, Фирмиан снова уселся на свое судейское кресло критика и начал судить. Он мог бы сочинить целую героическую поэму, так бесшумны были пока все пассатные ветры утренних часов. С восьми часов утра до предполуденного часа он благосклонно возвещал миру о программе д-ра Франка из Павии, под заголовком: *Sermo academicus de civis medici in republica conditione atque officii ex lege praecipue erutis auct. Frank. 1785.* Он судил, хвалил, порицал и цитировал это произведение до тех пор, пока не нашел, что заполнил им достаточно бумаги и что причитающийся за эту бумагу гонорар приближается к сумме, полученной под заклад селедочного судка, *Saladière* и *Saucière* и тарелки, — действительно, его мнение о вышеназванной речи было длинной в один лист и четыре страницы и пятнадцать строк.

Заседая в своем тайном судилище, мститель тайного суда так славно провел утро, что решил учинить в послеобеденное время судебную расправу над оставшимся вторым произведеньцем. До сих пор он на это не отваживался: после полудня он занимался лишь адвокатурой, а не литературой, и работал только в качестве адвоката (защитника), а не прокурора (обвинителя). Подобный свой образ действий он мог превосходно оправдать тем, что в послеобеденное время всегда являлись девицы и служанки с чепцами, имея при себе пасть, наполненную богатым запасом слов, и немедленно раскрывали эту сокро-

вишницу словесности; — что они, более богатые, чем арабы, которые для выражения одной мысли имеют лишь тысячу слов, располагали для нее столькими же фразами и что вообще они, подобно испорченным органам, сразу же, прежде чем до них дотронутся, принимались свистать двумя десятками флейт, как только начинали действовать меха (легкие), — это было ему кстати; ибо в те часы, на которые были поставлены эти бабьи будильники, он давал отхрипеть своим юридическим, и пока Ленетта занималась ведением своих дел, он продолжал вести свои судебные. Все это нисколько ему не мешало; он утверждал: «Адвоката совершенно невозможно сбить с толку, он может развертывать и гнать свои периоды, как ему угодно; период адвокатской речи — длинный цепень, которого я без ущерба пролонгирую и превращаю в аббревиатуру (удлиняю и укорачиваю), ибо каждое звено цепи само является червем, а каждая запятая — периодом».

Однако с рецензированием дело не клеилось. Впрочем, для неученых (так как ученые уже давно прочли эту рецензию) я намерен дословно списать здесь столько, сколько он действительно изготовил после еды. Он написал заглавие стеффенсовского латинского перевода «Эмили Галотти» и продолжал так:

«Настоящим переводом наконец исполнено желание, с которым мы так долго носились. В самом деле, в глаза бросается то явление, что до сих пор лишь столь немногие немецкие классики были переведены на латинский язык для педагогов, хотя последние преподнесли нам на немецком языке почти всех римских и греческих классиков. Немцы могут предъявить произведения, достойные того, чтобы их читал педагог и филолог; но он не может их понять (хотя и может их переводить), потому что они написаны не по-латыни. Карманный календарь Лихтенберга одновременно выходит в свет в немецком издании — для англичан, изучающих немецкий язык, — и во французском — для немецкого высшего дворянства; но почему же немецкие самостоятельные произведения и этот самый календарь не попадают в руки филологам и педагогам в изящном, но все же точном латинском переводе. Эти читатели несомненно первые заметили бы сходство (в оде) между Горадием и Рамлером, если бы последний

был переведен на язык первого. Автор настоящей рецензии, признаться, всегда чрезвычайно сожалел о том, что «Мессиаду» Клопштока выпустили в свет лишь с двумя орфографиями, со старой и с его собственной, но что никто не догадался ни издать эту поэму на латинском языке для учителей (ибо Лессинг в своих «Смешанных сочинениях» перевел только вступительное обращение), ни изложить ее канцелярским слогом, для юристов, или просто прозой, для землемеров, или на еврейском жаргоне, для евреев».

Столько он успел набросать, но затем вынужден был остановиться, потому что одна горничная безостановочно повторяла то, что перед этим было повторено ее госпожой, супругой казначея, а именно — какой отделкой надлежало снабдить ночной чепец: раз двадцать набрасывала она эскиз и чертеж чепца и настаивала на спешности. Ленетта, отвечая, отплачивала за все ее тавтологии подобными же. Едва горничная закрыла за собой дверь, как рецензент сказал: «Я не написал ни слова, пока здесь трещала эта ветряная мельница. Ленетта, неужели же совершенно невозможно, чтобы женщина сказала: «сейчас четыре часа», вместо того чтобы сказать: «сейчас пробило четыре четверти четвертого»? Неужели ни одна не может сказать: « шляпенка завтра будет готова» — и все тут? Ни одна не может сказать: «мне за нее следует орст-талер» — и все тут? Ни одна не скажет: «забегите сюда завтра» — и баста? Разве ты на это неспособна?» Ленетта холодно возразила: «Ты, конечно, думаешь, что все люди думают по-твоему!»

Вообще Ленетта обладала теми двумя женскими недостатками, которые вечно заставляют мужчин слать к небесам миллионы огнедышащих фейерверочных фонтанов или чертей, а именно — проклятий: один заключался в том, что девчонке на побегушках она в комнате вручала каждое поручение, как мемориал, в двух экземплярах, а затем выходила с ней вместе и приказывала ей то же самое еще раза три или четыре; другой состоял в том, что она, сколько бы ни кричал Зибенкэз, всегда спрашивала в первый раз: «Как?» или «Что ты говоришь?» Я сам советую и рекомендую женщинам, коль скоро они не знают, что ответить, потребовать вторичный вексель,

чтобы выиграть секунду-другую отсрочки; но в прочих случаях, когда от них требуют не правды, а лишь внимания, эти ансога и bis, которыми они приветствуют своего торопливого собеседника, будут столь же докучливыми, как и ненужными. В браке такие вещи остаются мелочами, пока страдалец их терпит и не преследует; но когда уже последовало расследование, они становятся хуже, — ибо повторяются чаще, — чем смертные грехи и вероломство и измены.

Если бы автору настоящей книги помехой при его работах были подобные плеоназмы, то в ответ на них он сочинил бы отнюдь не громовую проповедь, а только, — и то лишь потому, что его поощрили, — нижеследующий

### *экспромт о женских разговорах*

«Автор книги «О браке» говорит, что женщина, которая не разговаривает, глупа. Однако легче быть его панегиристом, чем последователем. Умнейшие женщины часто немы среди женщин, а глупейшие и бессловеснейшие часто оказываются таковыми среди мужчин. В общем и для женщин справедливо сказанное о мужчинах, — что больше всего мыслят те люди, которые меньше всего говорят, точно так же, как лягушки перестают квакать, если зажечь свет на берегу пруда. Впрочем, болтливость женщин вызывается тем, что они постоянно работают сидя; подобно им, сидячие ремесленники — портные, сапожники, ткачи — отличаются не только самыми ипохондрическими причудами, но и болтливостью.

«Столики, на которых трудятся женские пальцы, как раз и служат игорными столами, за которыми разыгрывается женское воображение, а вязальные иглы незримо становятся магическими жезлами, превращающими всю комнату в заколдованный остров, полный грез; поэтому письмом или книгой внимание влюбленной отвлекается больше, чем четырьмя парами чулок, которые она вяжет. Обезьяны, по словам дикарей, не говорят, чтобы не работать; но многие женщины говорят вдвое именно потому, что они работают.

«Я старался догадаться, в чем смысл этого явления. На первый взгляд кажется, что всякое повторение сказанного природа предназначает для выработки метафизи-

ческих истин: ведь по Якоби и Канту доказательство есть не что иное, как ряд *тождественных* логических утверждений, а так как женщины вечно твердят одно и то же, то они непрестанно доказывают. И все же для природы несомненно более важен следующий полезный эффект. По мнению пронизательных естествоиспытателей, листья деревьев всегда колышались, чтобы этим непрерывным хлестанием очищать воздух: это колебание выполняет почти что ту же роль, что и небольшой, слабый ветерок.<sup>1</sup> Было бы чудом, если бы экономная природа без всякого умысла наладила гораздо более продолжительное, семидесятилетнее колебание женских языков. Однако умысел тут имеется: он тот же, что и при раскачивании листьев; вечная пульсация женского языка должна способствовать сотрясению и перетряхиванию атмосферы, которая иначе застоялась бы. Луне поручено оздоравливать колебаниями водный океан, а женской голове — воздушный. Поэтому, если бы все женщины сделались прозелитками и послушницами пифагорейского учения, это рано или поздно привело бы к эпидемиям — обители молчалиниц превратились бы в обиталища зачумленных. Потому-то среди цивилизованных народов, которые разговаривают больше, повальные болезни идут на убыль. Потому-то и является благотворным этот заведенный природой порядок, согласно которому женщины больше всего разговаривают именно в больших городах, особенно — зимой, особенно — в комнатах и в большом обществе: ибо из всех мест и времен эти отличаются наибольшим скоплением испорченного воздуха и осажденного флогистона и более всего требуют освежающего опахала. Да, природа здесь преодолевает все искусственные преграды: хотя многие европейские женщины, — в подражание индианкам, набирающим полный рот воды, чтобы молчать, — наполняют его чаем или кофе, когда находятся в гостях, однако именно эта жидкость не столько препятствует, сколько способствует настоящей женской разговорчивости.

---

<sup>1</sup> Впрочем, нельзя сказать, что ветер приносит пользу, отгоняя вредные испарения: ведь взамен всех, унесенных им от меня к позади стоящему, он доставляет мне все от впереди стоящего; а стоячая вода гниет не потому, что отсутствует текучая вода, которая уносила бы из нее гниль.

Надеюсь, что здесь я весьма далек от тех близоруких телеологов, которые каждому великому планетному движению природы подсовывают и приписывают какие-то мелкие окольные пути и конечные цели; таким людям, может быть, и пристойно, — хотя я бы постыдился, — утверждать, будто осцилляция женских языков, польза которой достаточно обоснована движением воздуха, служит еще и для того, чтобы выражать, как прообраз, какой-либо смысл или мысль одушевленных существ, например самой женской души. Сие относится к предметам, о которых Кант сказал, что их нельзя ни утверждать, ни опровергнуть. Уж скорее я бы согласился, что речь есть признак прекращения мышления и душевной деятельности, подобно тому как в хорошей мельнице сигнальный колокол должен звонить не раньше, чем иссякнет запас зерна для помола. Далее, как известно каждому супругу, язык еще для того подвешен в женской голове, чтобы звуковыми сигналами своевременно оповещать, когда в ней царит разноречие, нечто нелогичное или же нечто немислимое.<sup>1</sup> Так и г-н Мюллер применил в своей счетной машине колокольчик, звон которого должен лишь указывать, что в машине происходит ошибочный расчет или какая-нибудь задержка в счете, — а теперь ученому-физику надлежит исследовать дальше эту проблему, дабы решить, ошибаюсь ли я, и намного ли.

Теперь я открою тайну: этот экспромт сочинил наш адвокат.<sup>2</sup>

Свою рецензию он закончил лишь на следующее утро. Конечно, свои немногочисленные мысли о переводе «Эмили» он хотел высказывать публике до тех пор, пока деньгами, вырученными за эти мысли, не удалось бы оплатить новые головки к его сапогам, — за пару Фехт запросил полтора листа, — но на это нехватило времени; он должен был сегодня же глазомером наборщика подсчитать рукопись и получить гонорар.

---

<sup>1</sup> В частности, женщине гораздо легче уступить и замолчать, когда она права, чем когда она неправа.

<sup>2</sup> Все «Избранные места из бумаг дьявола» написаны в таком же тоне; но кажущаяся суровость последнего, направленная против целых сословий и родов, была лишь необходимым эстетическим условием чистой, выдержанной сатиры.

Рецензии были отосланы к редактору: счет критических издержек достиг, — так как лист исчислялся в два флорина, а страница — в тридцать строк, — суммы в три флорина четыре зильбергрошена пять пфеннигов. — Как странно! Люди смеются, встречая указания на зависимость между духовным и телесным, рассудком и гонораром, страхом и страховой премией; но разве вся наша жизнь не есть уравнивание (или правило товарищества) души с телом, и разве всякое воздействие на нас не является физическим, а всякая наша реакция — духовной?

Девчонка на побегушках принесла обратно лишь привет, вместо тех серебряных пластинок, в которые должны были кристаллизироваться чернила нашего критика. Штиблет об этом совершенно не подумал. Присущая учености рассеянность делала советника равнодушным к собственному богатству и слепым к чужой бедности; он, правда, замечал зияние в рукописи, но не замечал зияющей дыры в собственном или чужом чулке, башмаке и т. д. Ослепительный блеск душевного огня скрывал от этого счастливица фосфоресценцию гнилушек вокруг него. В школьном спектакле нашей земной жизни счастлив актер, если возвышенная внутренняя иллюзия заменяет или маскирует ему иллюзию внешнюю; если пред ним, опьяненным своей одухотворяющей ролью, пейзажи размалеванных декораций цветут и шелестят под сыплющимися горошинами дождевой машины и если его не пробуждает перестановка декораций.

Одичко прекраснотдушная слепота советника сильно обеспокоила наших влюбленных; маленькое созвездие, которое должно было сегодня светить им, рассыпалось падающими звездами. Штибеля я не порицаю, ибо он был хотя и слеп, но не глух к чужому горю; зато для вас, богатые и знатные, неуклюже ползущие по медовым сотам ваших наслаждений и с клейкими крыльями плывущие в розовом сиропе, для вас, которым слишком тяжело пошевелить рукой, чтобы из столбика золотых монет отсчитать плату тем, кто помогал наполнять ваши нектарии, — для вас настанет некогда час суда, и вас спросят, достойны ли вы были жизни, не говоря уже о наслаждениях, если вы уклонялись даже от малого труда уплаты, тогда как низшие принимали на себя великий труд заслужить

ее. Но вы исправились бы, если бы подумали, сколько горя часто причиняет беднякам ваша небрежность, когда вы ленитесь вскрыть сверток монет или прочесть короткий счет; если бы вы представили себе отчаяние, с которым жена отшатнется от мужа, вернувшегося с пустыми руками, гибель стольких надежд, нужду и горестную жизнь целого семейства. . .

Итак, адвокат снова соорудил ту дурацкую мину, с которой он обычно производил посеребрение, и обошел все углы, обозревая сквозь лорнет оставшуюся утварь, ибо предпринял этот грабительский поход в надежде выжать из нее доход. Подобно тому как порядочный монарх или английский министр ночью приподнимается в постели и, облокотившись, подпирает рукою голову и перебирает в ней статьи или полные березовым соком стволы, к которым можно приставить бочарный бурав нового налога, или изыскивает (в другой метафоре) такой хитроумный способ выкапывания торфа, то есть налоговых денег, при котором убыль пополнялась бы приростом: так поступал и Зибенкэз. С каперским свидетельством в руках он обыскивал все встречные суда, под любыми флагами: он поднял ввысь свою мыльницу и снова поставил ее; он встряхнул параличную спинку старого кресла и щелкнул ею; еще тщательнее испробовал это кресло, усевшись в него, и снова встал. Я прерву свой период, чтобы вскользь упомянуть, что Ленетта очень хорошо поняла смысл этой опасной вербовки местных жителей и подведения их под рекрутскую мерку, а потому в свою очередь немедленно развернула период и жалобными воплями запротестовала против этой игры, при которой вместо фантов отдавались в залог настоящие вещи. Далее Фирмиан снял с крюка старое желтоватое зеркало с золочеными резными листьями на рамке, висевшее в спальне против зеленых решеток кровати, и, осмотрев его мездряную сторону и деревянную подкладку и немного передвинув стекло вверх и вниз, снова повесил; затем осмотрел старый таган, а также ночные посудины, которых налицо имелось три, в виде тройни; до этих последних он вовсе не дотрагивался, а лишь задвинул их ногой подальше под их прикрытие; с фарфоровой масленки, изваянной в форме коровы (согласно пластическому остроумию того

времени), он мимоходом снял спину и заглянул внутрь, но поставил ее, пустую и полную пыли, на карниз, в качестве украшения; дольше он взвешивал на обеих ладонях ступку для пряностей, но поставил ее обратно в стеной шкаф; принимая все более веселый и грозный вид, обеими руками выдернул из комода ящик, отодвинул назад салфетки и букет искусственных цветов и хотел слегка перелистать траурное платье из клетчатого ситца. . . Но тут Ленетта встрепенулась, схватила его за перелистывающую руку и воскликнула: «Что ты делаешь! С божьей помощью, до этого я никогда не дойду!»

Он хладнокровно вдвинул ящик обратно, снова отпер стеной шкаф, торжественно поставил на стол ступку и сказал: «Что ж, я согласен! Итак, пусть ускачет ступка!»— Благодаря тому, что этот набатный и трофейный колокол он охватил всей рукой, словно сурдиной, он смог весьма успешно извлечь из полости язык, или пестик, не издавая никакого звона и тона. Фирмиан прекрасно знал, что жена скорее согласится заложить телесную одежду своей души, чем носимую поверх этой одежды клетчатую; но он умышленно хотел, подобно папской курии, домогаться целой руки, чтобы легче получить палец, а именно ступку, — кроме того, он надеялся простым повторением своего тезиса заменить обоснование такового и путем частой демонстрации пугала и злого пса заставить Ленетту привыкнуть к последнему, то есть к намеченному закладу клетчатого ситца. Поэтому он повел такую речь: «Конечно, из года в год нам приходится мало толочь, кроме тех дней, когда для нас забивают четверть туши откармливаемого скота, но объясни-ка мне, для чего хранится клетчатое платье, — ведь этот ситец ты сможешь надеть лишь один-единственный раз, когда я, собственной моей персоной, преставлюсь. Ленетта, мне эта мысль изгрызла всю душу, — разменяй это платье, уничтожь его, а я присоединю из моего гардероба две пары траурных застежек, коими надеюсь ничего больше не застегивать!»

Она неукротимо шумела и веско отчитывала всех «легкомысленных, нерадивых хозяев», так как ей приходилось опасаться, что он теперь отведет поодиночке на бойню, под убойный нож, всю утварь, которую он сегодня, как оценщик скота, осматривал и ошупывал, а под

конец — о господи Иисусе! — и клетчатый ситец. «Лучше я буду голодать, — сказала она, — чем спущу ступку за какие-то гроши. Ведь завтра вечером придет господин советник и принесет тебе деньги за писание» (за две рецензии).

«Это резонно» — сказал он и, держа вытянутый пест горизонтально в обеих руках, отнес его в спальню, на изголовье Ленетты; затем он отдельно отнес ступку, как музыкальный ящик этого музыкального валика, и поставил на свое изголовье. «Если соседи услышат, что она звенит, — сказал он, — то могут подумать (так как мы в ней ничего не толчем), что я собираюсь ее обратить в деньги; а мне бы этого не хотелось».

Вся наличность их совместной центральной кассы, обретающаяся в его хлопчатобумажном желто-зеленом кошельке и в ее обширном ридикюле, составляла сумму не свыше трех грошей звонкой монетой. Вечером предстояло купить за наличный расчет один грошевый хлеб, а остаток металлических семян предполагалось разбросать завтра утром — в качестве посева, из коего произрастет утренняя и дневная еда. Девчонка на побегушках побежала за хлебом, но вернулась с грошом и с горестной вестью: «В такое позднее время у всех пекарей на прилавках лежат лишь двухгрошевые хлеба, — отец (башмачник Фехт) тоже ничего не получил». Это оказалось как раз кстати: адвокат мог бы вступить в *compagnie* с сапожником, и, поскольку оба *Associés* вложили бы свои два гроша в общую кассу, легко было приобрести двухгрошевый коровай. Была опрошена фехтовская сторона; сапожник, отнюдь не скрывавший своих ежедневных банкротств, ответил: «Буду очень рад! Накажи меня бог, прости господи, если я и весь мой сброд сегодня хоть что-нибудь жрали или хоть во рту имели, кроме дратвы». Короче говоря, объединение ученого сословия с третьим устранило хлебный кризис, и оба союзника, распилив ковригу, проверили равенство обеих половин на правильных весах, где сам товар одновременно и заменял разновески и создавал равновесие. — Ах! Вы, богачи! Вы, со своими весами для манны небесной, не знаете, как необходимы беднякам мелкие гиришки, аптекар-

ские весы, полушечные хлебы, обед за восемь крейцеров (в счет которых за время еды еще и простирнут рубашку)<sup>1</sup> и торговля хлебными обрезками, где можно купить хлебные обломки и черную хлебную пудру,<sup>2</sup> — и как создается радостный вечер для целой семьи тем, что ваши центнеры продаются на лоты!

Ели досыта и притом весело; Ленетта сделалась ласковой, потому что поставила на своем. Ночью адвокат потихоньку перенес ожидающие заклада вещи на мягкое кресло. Утром она тишиной облегчила ему писание. Но хорошим признаком было то, что она не переместила ступку из спальни обратно в стенной шкаф. Зибенкэз усмотрел в этом нечто вроде уступки ею ступки и теперь уж наверное знал, что не сегодня-завтра этот благовестный и курантовый колокол за небольшую отступную сумму отступит с их территории. Ибо женщина предпочитает выжидать до крайности.

Вечером постучался долгожданный Штиблет. Смешно было надеяться (но так уж свойственно человеку), что первое, с чем явится редактор «Божественного вестника», будет плата за критическое рукоделие, дабы можно было поставить перед редактором хоть разожженный светильник и полный стакан вина. Душевное состояние человека, тщетно пытающегося скрыть свою нищету, неописуемо мучительно, ибо стыд ломает все движущие пружины его души. Зибенкэз ни о чем не спрашивал, так как знал, что Штибель об этом не думает. Но бедная Ленетта, как покраснела она от стыда, усиливаемого ее любовью к Штибелю! Наконец советник вытащил из кармана, — тогда как все ожидали появления дани, причитавшейся рецензенту, — лишь свою табачную мельницу, или терку, и полез было в карман сюртука, чтобы положить на свою маленькую соломорезку пол-пачки Раппе. Но оказалось, что вся пачка уже истерта и стерта с лица земли. Он полез в карман панталон, чтобы достать денег на покупку новой пачки. Представьте себе, — тут он разразился проклятием, за которое был бы оштрафован в Англии, — весь

<sup>1</sup> Такие «Restaurateurs» для нищих имеются в Лондоне.

<sup>2</sup> В Париже производится в значительных размерах торговля хлебными корками и хлебными крошками, падающими со столов богачей.

кошелек, не только вместе с панталонами (плюшевыми), но и с пакетиком точно отсчитанной платы рецензенту, он, по своей дурацкой рассеянности, отослал к портному. Он объяснил, что такие вещи с ним случаются уже не в первый раз и что названный ремесленник, к счастью, весьма честен; но суть была в том, что он никогда не знал наизусть содержимого своего кошелька. Он простодушно попросил Ленетту распорядиться, чтобы ему купили пачку Раппе́, и обещал завтра же прислать деньги в уплату этого долга вместе с гонораром за ученый труд. Зибенкэз лукаво добавил: «Прикажи заодно взять пива, дорогая». — Он расположился с Штибелем у окна, но отлично слышал, что бедная женщина, сердце которой было стеснено вздохами и выдерживало *peine forte et dure*, прокралась в спальню, бесшумно сняла с кресла голландер (служивший для размола не тряпья, а пряностей) и положила в фартук.

Прошло не менее получаса, и наконец в комнату прибыли Раппе́, пиво, деньги, а с ними и веселье; поскольку ступку сплавили и обменяли ее колокольный сплав на монетный, этот колокол превратился как бы в литургийный колокольчик, который здесь не только возвестил, как у католиков, пресуществление или хлебное превращение, но и сам подвергся таковому. Эту толчею для пряностей быстро разняли на пилы для табачной лесопилки советника. Теперь кровь уже не бурлила среди утесов и камней, а плавно струилась мимо лугов, над серебряными крупинками жизни. Таков человек: даже в величайшей беде он испытывает подъем духа, если предвкушает близкую минуту радости, и даже в величайшем счастье его подавляет предстоящая печальная минута, хотя бы и самая отдаленная, еще скрытая за горизонтом. Ни один вельможа, располагающий первосортными поварами, погребными писцами, подавальщиками паштетов и лейб-печарями, не испытывает удовольствия, угощая или угощаясь; он не умеет ни снискать, ни изъять искреннюю признательность; но бедный хозяин с бедным гостем, с которым он делится и ломтем хлеба и кружкой, состоят в союзе взаимной благодарности.

Раны горестного утра вечер перевязал мягкой повязкой, — каждый час поил шестьдесятю каплями радости,

словно целебным маковым соком, нежно усыпавшим и опьянявшим. Прощаясь с добрым старым другом, Зибенкэз сердечным поцелуем поблагодарил его за отрядное посещение; Ленетта, с подсвечником в руке, стояла рядом. Муж захотелось вознаградить ее за то, что он сегодня вдребезги растолок в ступе ее маленькое упрямство; он быстро и ласково сказал ей: «Поцелуй-ка ты его тоже». Румянец пламенем вспыхнул на ее щеках, и она отшатнулась, словно уже уклоняясь от лобзующих уст. Было очевидно, что если бы ей не приходилось исправлять должность факельщицы, она убежала бы в спальню. Советник, ласковый, сияющий дружественностью, — словно белый зимний ландшафт, освещенный солнцем, — стоял перед ней и ожидал, что она его поцелует. Тщетное ожидание наконец раздосадовало его, и еще больше — преждевременное уклонение; обиженный, но все же сохраняя свой ласковый, приветливый вид, он спросил: «Или я недостойн поцелуя, госпожа адвокатша?» Муж сказал: «Неужто вы ждете, чтобы она первая поцеловала вас, — ведь она подождет свечой свои волосы и устроит пожар в целом доме». Тогда Штиблет медленно, важно и властно склонился к пылающим устам и прильнул к ним своими жаркими устами, словно приложил одну половинку палочки расплавленного сургуча к другой. Ленетта, откинув голову назад, предоставила ему больше простора; однако нельзя не отметить, что, протянув левую руку со свечой, в виду опасности воспламенения, далеко в сторону, правой она усердно старалась учтиво отстранить советника, в виду иной, еще более непосредственной опасности воспламенения. После его ухода она казалась несколько смущенной, — в ее походке было нечто парящее, словно великий восторг возносил ее на своих крыльях, — алая заря ее щек продолжала гореть, хотя месяц уже высоко поднялся на небе, — и ее глаза блестели, но взор был рассеянным; улыбка предшествовала всем ее словам, и она произнесла лишь немного их, — о пресловутой ступке не было и помину, — Ленетта все воспринимала более тихо и кротко и несколько раз взглянула в окно, на небо, — у нее пропал всякий аппетит к половине двухгрошевой ковриги хлеба, и она не стала пить пиво, но выпила тем больше воды, несколько стаканов. — Иной очевидец, например я,

покаялся бы с поднятыми перстами, что видит девушку, упоенную первым поцелуем возлюбленного.

Я бы не раскаялся в своей клятве, если бы на следующий день поглядел на утреннюю зарю, которой мгновенно расцвела Ленетта по прибытии денег за рецензии и за Раппе́. Было чудом учтивости, что Штиблет не забыл оплатить заем, заключенный в пользу его табачной скребницы, — мелкие долги в два-три гроша обычно улетучивались из его рассеянной головы. Но богачи, которые всегда носят с собою меньше денег, чем бедняки, а потому берут их взаймы у последних, должны были бы записывать подобные краткосрочные обязательства на мемориальной колонне у себя в голове, ибо грешно залезать в суму нищего и даже не сказать ему спасибо за его грош, падающий в воды Леты. . .

Я бы отдал два листа из этого манускрипта, чтобы наконец наступил день стрелковых состязаний, хотя бы уж потому, что эта милая супружеская пара возлагает столько надежд на нее и на птичий шест. Ибо жизнь этих людей становится все более тяжелой, и дни ее, вместе с календарными, переходят из октября в ноябрь, то есть из позднего лета в раннюю зиму, и душевные морозы и ночи возрастают вместе с физическими. Но я буду продолжать по порядку.

Ноябрь, который ноябризирует бриттов, уж и сам по себе является худшим из всех месяцев, а для меня он сущий сентябрист, и я хотел бы погрузиться в зимнюю спячку до начала декабря. Ноябрь восемьдесят пятого года к началу своего царствования обладал противным свистящим дыханием, мертвенно-холодной рукой и отвратительной слезной фистулой в тучах; он был невыносим. Нордост, нарастающий шум которого летом столь приятен, как предвестник устойчивой погоды, осенью приносит лишь устойчивые холода. Для нашей четы петушок флюгера сделался зловещей птицей; правда, они не отправлялись, подобно бедным поденщикам, с тележками и тачками в лес искать опавшие сучья и прутья, но покупали их в поломанном виде у лесных паломников, на вес, точно драгоценное индийское дерево, причем это топливо надо было предварительно высушить посредством другого. Однако холодное мокрогогоде не причиняло

кошельку адвоката и вполтину столько ущерба, сколько его стоицизму; Фирмиан не мог теперь удалиться за гору, взойти на гору, оглядеться и отыскать на небосводе то, что утешает удрученного человека, что осаждают туманы жизни, что нам за светлеющей туманной грядой показывает хоть затуманенные путеводные звезды. Когда он прежде восходил на возвышение эшафота или на холм, то над горизонтом поднималась сияющая заря, предвестница солнца счастья, — муки земной жизни, подобно прочим ядовитым змеям, ползли и извивались лишь в расщелинах и безднах, и ни одна кобра, с ее смертоносными зубами, не могла допрыгнуть до его вершины, — ах, там на просторе, на берегу океана необозримой природы и высоких небес, там синеватый угольный чад нашей удушливой обыденной атмосферы плывет глубоко под нами, там заботы, словно насавшиеся кровью пьявки, спадают с окровавленной груди, там вознесенный, как бы летя в чистом эфире, распрямляет руки, избавленные от ссаднивших цепей, и стремится обнять все, покоящееся вокруг, и простирает их, словно возвращаясь, к бесконечному незримому отцу и к видимой матери, к природе, и говорит: «О, не лишай меня этого исцеления, когда я снова буду там внизу, среди горестей и тумана». — И потому столь несчастны в своих крепких цепях заключенные и больные; они остаются прикованными в своих низинах, под нависшими тучами, и лишь издали смотрят вверх на горы, откуда, словно с полярных гор в летнюю полночь, можно увидеть в глубине кротко мерцающий, словно дремлющий лик солнца, ушедшего за горизонт. — Но в такую плохую погоду, вынуждающую сидеть взаперти, Фирмиану, взамен утешений чувства, расцветавших под открытым небом, были ниспосланы утешения разума, прозябающие в комнатных цветочных горшках. Наилучшее из них, которое я рекомендую каждому, заключалось в следующем: люди подвержены двоякой необходимости, повседневной, которую они терпят безропотно, и редкой или случайной, которой они покоряются лишь с ворчаньем. Повседневная и вечно повторяющаяся состоит в том, что зимой у нас не цветут никакие злаки, что мы не имеем даже крыльев, хотя ими наделены столь многие твари, или что мы не можем встать на лунные кольцевые горы, чтобы

оттуда, у края пропастей, глубина которых измеряется милями, следить за нисходящим туда прекрасным солнечным светом. Случайная или редкая необходимость состоит в том, что в период цветения хлебных злаков идут дожди, что по иным болотистым лугам нашей земли ходить нам трудно, а иногда, из-за мозолей или отсутствия сапог, и совсем невозможно. Однако случайная необходимость не менее велика, чем повседневная, и восставать против паралича так же неразумно, как против отсутствия крыльев; все прошлое, — а ведь оно одно является источником наших мук, — обусловлено такой железной необходимостью, что в глазах высшего существа одинаково нелепо, ропщет ли аптекарь по поводу своей сгоревшей аптеки или же стонет о том, что не может собирать лекарственные растения на луне, хотя в тамошних склянках он нашел бы многое, чего не имеет в своих.

Здесь я сочиню экспромт об утешениях в нашей промозглой, ветреной жизни. Если из-за этого краткого отклонения кто-нибудь снова будет крайне раздосадован и прямо безутешен, то пусть ему-то и принесет утешение

#### *экспромт об утешениях.*

Еще может, то есть должно, наступить такое время, когда мораль предпишет оставлять в покое и не мучить не только других, но и самого себя; должно наступить время, когда человек уже на земле осушит большую часть слез, хотя бы лишь из гордости!

Правда, природа настолько поспешно извлекает слезы из глаз и вздохи из груди, что мудрец никогда не может вполне снять траурный флер со своего тела: так пусть же он его не носит на душе! Ибо если бодро переносить ничтожные страдания есть наш долг или заслуга, то и претерпевание величайших мук тоже должно быть заслугой; подобно этому, основание, повелевающее нам прощать медкие обиды, действительно и для прощения наибольших.

Первое, что мы должны преодолеть или презреть в горе, — как и в гневе, — это его ядовитая, парализующая сладость, которую мы так неохотно изгоняем и заменяем усилиями разумных утешений.

Мы не должны требовать, чтобы философия одним росчерком пера совершила метаморфозу, обратную произведенной Рубенсом, который на рисунке одним штрихом превратил смеющееся дитя в плачущее. Достаточно, если она большой траур души превратит в малый траур; достаточно, если я смогу себе сказать: «Я охотно вытерплю горе, еще оставленное на мою долю философией; без нее оно было бы сильнее, и я был бы ужален не комаром, а осой».

Даже физическая боль мечет в нас свои искры лишь из электрического конденсатора воображения. Сильнейшие ее приступы мы вытерпели бы спокойно, если бы они продолжались лишь одну терцию; но ведь нам никогда не приходится выносить целый час мучений, а лишь ряд мучительных терций: лишь увеличительное и зажигательное стекло воображения собирает их шестьдесят лучей в жгучий пучок и направляет на наши нервы. Самое тяжелое в телесной боли — это бестелесное, а именно — наше нетерпение и наша иллюзия, будто она длится вечно.

Нам всем достоверно известно, что о многих потерях мы уже не будем скорбеть через двадцать или десять, или пять лет; почему же мы не скажем себе: «Если через двадцать лет я не буду придерживаться того мнения, то лучше уж я от него откажусь сегодня же; зачем мне отрекаться лишь от двадцатилетних заблуждений, а не от двадцатичасовых?»

Если я просыпаюсь от сна, рисовавшего мне Отаити на черном фоне ночи, и вижу, что цветоносная страна растаяла, то я лишь еле-еле вздохну и подумаю: «Это мне только снилось». Ну, а если бы я действительно, наяву, обладал этим цветущим островом и если бы вследствие землетрясения он погрузился в море, почему я тогда не скажу: «Остров был лишь сном»? Почему я более неутешен при утрате длительного сна, чем при утрате краткого (ибо лишь в этом разница), и почему большую потерю человек считает менее неизбежной и вероятной, чем малую?

Вот в чем причина: каждое чувство и каждый аффект — это безумец, который желает подчинить себе весь мир или пересоздает его по-своему; человек способен сердиться оттого, что пробило уже (или еще только) двенадцать

часов. — Какая нелепость! Аффект желает иметь и собственный мир, и собственное Я, и даже собственное время. Прошу каждого человека, чтобы он внутренно хоть раз дал своим аффектам высказаться до конца и выслушал их и расспросил, чего они собственно хотят; он ужаснется чудовищности их желаний, о которых они до сих пор еле осмеливались заикаться. Гнев желает всему роду человеческому одну-единственную шею, любовь — единое сердце, печаль — две слезных железы, а гордость — два согбленных колена!

Когда я в Гофской хронике Видманна перечитывал и как бы переживал жуткие кровавые эпизоды тридцатилетней войны; когда я снова слышал отчаянные крики испуганных людей, мечущихся в Дунайских стремнинах своего времени, и снова видел всплескивание рук и безумную беготню по разрозненным, гнилым мостовым устоям, о которые ударялись пенистые волны и сокрушающие льдины; когда я подумал: «все волны растеклись, лед растаял, шум утих, и людские вздохи — тоже», — то я испытал странное, грустное чувство всеобъемлющей утешенности и спросил: «Стоило ли и стоит ли трусливых сетований это быстротечное горе под кладбищенскими воротами жизни, откуда лишь три шага пути до ближайшей ямы?» — Поистине, если, как я полагаю, лишь при вечной скорби возможна действительная стойкость, то едва ли будет таковой проявленная при мимолетной горести.

Великое, но незаслуженное всеобщее бедствие должно внушать нам не смирение, как того хотят богословы, а гордость. Когда на человечество ниспадает тяжкий, длинный меч войны и тысячи рассеченных им бледных сердец исходят кровью, или когда в лазурный ясный вечер на небосводе мрачно нависает горячая дымная туча города, брошенного на костер, подобная пепельной туче бесчисленных испепеленных сердец и радостей, — тогда да восстанет гордо твой дух, и да презрит он слезы и то, о чем они льются, и да воскликнет он: «Ты слишком ничтожна, жалкая жизнь, для безутешности бессмертного, растерзанная, бесформенная жизнь со всем своим скарбом, — на этом шаре, вылепленном из тысячелетнего пепла, среди этих туманных земных бурь, в этом плачев-

ном сне позорно то, что вздохам и слезам конец приходит не раньше, чем груди и оку, породившим их».

Но тогда укроти твой благородный гнев и задай себе вопрос: «Если бы незримый бесконечный, окруженный лучезарными беспредельными безднами и лишь сам полагающий пределы, раскрыл пред очами твоими бесконечность, и ты узрел бы, как он творит светила, горних духов, малые людские сердца и наши дни, а в них иногда и слезы, — восстанешь ли ты на него из земного праха и скажешь ли: «Изменись, о всемогущий!»

Лишь одна скорбь тебе простится или зачтется: это скорбь о твоих усопших близких. Ибо сладкая грусть об утраченных — это лишь своего рода утешение; когда мы по ним тоскуем, мы лишь продолжаем любить их, но только печальнее, и когда мыслим о разлуке с ними, то проливаем слезы, словно при мысли о радостном свидании, а ведь эти слезы ничем не различаются. . .

#### *ПРОДОЛЖЕНИЕ И ОКОНЧАНИЕ ШЕСТОЙ ГЛАВЫ*

*Клетчатый ситец. — Новые заклады. — Кожаная рука помощи, поданная свыше. — Аукцион.*

В седьмой главе происходит призовая и торжественная стрельба; настоящую же главу заполняет морозный, тернистый промежуточный период с волчьими ямами и волчьим голодом. В те дни Зибенкэз рассердился бы, если бы кто-нибудь ему предсказал, с каким состраданием его торговый баланс будет описан мною и, следовательно, прочтен миллионами людей всех эпох; он не желал сострадания и говорил: «Если я остаюсь веселым, то чего же вы соболезнуете?» Вещи, которых он недавно коснулся, подобно смерти, или затесал лесничьим топориком своей руки, как предназначенные на сруб дерева, постепенно вырубались и истреблялись. Первое, что вызволил из дому погребальный или вечерний колокол, было закутанное в фартук вместо савана цветистое зеркало в спальне, к счастью, не видевшее само себя ни в каком другом. Прежде чем оно вступило в этот хоровод мертвецов, Фирмиан предложил Ленетте заместителя, траурное

платье из клетчатого ситца, чтобы приучить ее к этой мысли. Это было «*senseo Carthaginem delendam*» (голосую за разрушение Карфагена), которое старик Катон производил ежедневно в ратуше после каждой речи.

Затем старое кресло, — тогда как шекспировское распродается по лотам, словно шафран, или по каратам, — было спущено за бесценок оптом, а таган (для дров он был словно кровля или кресло с балдахинном) отбыл в качестве спутника. Зибенкэз был настолько разумен, что заранее сказал: «*senseo Carthaginem delendam*», то есть «разве мы не поступили бы рассудительнее, если бы заложили клетчатый ситец?»

За счет тагана и кресла они еле смогли прожить двое суток.

Тогда был произведен опыт алхимического превращения металлов мыльницы и ночной посуды в порции еды и порционные деньги. Предварительно Фирмиан, конечно, сказал: *senseo*. Вряд ли стоит отмечать, что, сколько ни разрастались его торговые операции, эти ростки, больше похожие на сухие сучья, приносили очень мало плодов.

Тошая фарфоровая корова, или масленка, после продажи едва ли послужила бы обоим супругам питающей дойной коровой дольше одного дня, если бы ее не сопровождали семь монархов (а именно прескверные их гравированные портреты) в качестве придачи, за которую сгорбленная посредница выторговала немного топленого масла. «*Senseo*» — сказал поэтому Фирмиан. Многие читатели моей повести наверно еще помнят, что когда он недавно распределял среди вещей уведомления о кончине, то не обратил особенного внимания на салфетки, лежавшие столь близко от клетчатого платья; однако теперь он и для них сделался зловещей совой и священником, напуганным висельников, и почти поголовно истребил их. Когда их не стало, он, незадолго до Мартинова дня, между прочим заметил, что налицо еще имеется салфеточный пресс, которому, однако, решительно нечего делать и прессовать. «Раз уж так получилось, — продолжал он, повеселев, — то пресс, конечно, может получить отпуск до тех пор, пока мы сами не выберемся начисто из-под лошильного, маслинного и салфеточного прессы судьбы и сможем подвязать себе в петлицу возвратив-

шиеся салфетки». — Сначала он даже намеревался было направить погребальное шествие в обратном порядке и предпослать салфеткам пресс в качестве форзада и форрейтора, чтобы вместе с процессией обернуть и силлогизм: «Я не знаю, к чему нам салфетки и как мы их будем гладить, пока пресс не вернется домой».

Я твердо и крепко убежден, что здесь большинство читателей, подобно Ленетте, будут всплескивать руками над головой и причитать над моим торговым консулом Зибенкэзом и над его ганзейским союзом со всякими торгошами. «Вот шальный человек! Ведь так ты станешь нищим: спустил такие прекрасные вещи!» — Фирмиан каждый раз отвечал ей: «Значит, я должен упасть на колени и выть и, словно еврей, с горя разрывать на себе и без того разорванный сюртук и выдергивать волосы, хотя скорбь часто выщипывает их за одну ночь. Разве недостаточно твоего вытья, разве ты не служишь мне заправской плакальщицей, словно римская *praefica*? Но я тебе клянусь, жена, так торжественно, словно я стою на свиной щетине:<sup>1</sup> если богу, сотворившему меня столь веселым, угодно, чтобы я расхаживал по всему городу с восьмью тысячами дыр в сюртуке, в рваных чулках и в сапогах без подошв, если мне суждено все больше беднеть (тут его глаза невольно увлажнились, и голос дрогнул), то пусть чорт меня заберет и до смерти заколотит кисточкой своего хвоста, если в ответ на все это я не буду петь и смеяться, — а кто вздумает скорбеть обо мне, тому я в лицо скажу, что он глупец. Честное слово! Апостолы и Диоген, и Эпиктет, и Сократ редко имели одежду без дыр и совсем не имели рубашки, — так чего же нашему брату в этот мещанский век сокрушаться о таком пустяке».

Ты прав, мой Фирмиан! Презирай узкое сердце окружающих тебя больших платяных молей и засевших в мебели человекоподобных жучков. А вы, бедняги, читающие теперь эти строки, — сидите ли вы в университетах, или в канцеляриях, или даже в пасторских жилищах, и, быть может, не имеющие не только черной, но и вообще ника-

---

<sup>1</sup> Еврей, приносивший клятву, некогда должен был становиться голыми ногами на свиную шкуру.

кой приличной целой шляпы, — возвысьтесь над обабившейся современностью до величия греческих и римских времен, когда благородный человек, словно изваяние Геркулеса, не стыдился пребывать без храма и без одежд; не допускайте лишь, чтобы ваш дух оскудел вместе со средствами, и тогда вы сможете гордо поднять голову к объятому трепетным полярным сиянием небу, на котором, однако, сквозь просветы близкой кровавой бури мерцают вечные звезды!

Оставалось лишь немного недель до Андреева дня и стрельбы, на которую Ленетта возлагала все свои надежды и упования; и все же наступил день, когда она сделалась не только печальной, но хуже того — безутешной.

Это был Мартинов день, когда вслед за изгнанными из Ленеттинога Зальцбурга салфетками должен был отправиться в качестве их предводителя и пресс; но никто во всем местечке не захотел его взять. Единственным якорем надежды оставался один еврей, ибо в Ноевом ковчеге его лавки спасались всякие твари, то есть товары. К несчастью, салфеточный пресс до него добрался как раз в еврейский праздник, который он соблюдал строже, чем всякое данное слово, а потому он сказал, что, мол, завтра посмотрит.

Возвращаясь к нашему адвокату, я поведаю далее, что утром в Мартинов день он не смог получить покупную плату, а следовательно, и традиционного гуся за таковую. Горе Ленетты об улетевшем гусе, предписанном правилами ее вероучения, было неописуемо. Женщины, — которые менее взыскательны к еде и питью, чем завзятые аскеты-философы,<sup>1</sup> и притом уж более к *первому*, чем ко *второму*, — все же становятся неукротимыми, если лишаются некоторых съестных припасов, имеющих чисто хронологическое значение; женская приверженность к гражданским празднествам доходит до того, что женщины

<sup>1</sup> Во втором исправленном издании я считаю себя обязанным внести здесь оговорку об аппетите дам за дворцовым столом. Долгое сидение, долгие досуги (когда недолго и до скуки), долгая привычка и застольная угодливость побуждают их есть столько, сколько, пожалуй, вместил бы натошак желудок тощего философа-кантианца, но не придворный. Однако именно несварения желудка относятся к числу *honnets* придворных дам.

скорее обойдутся без праздничных песнопений и евангелий, чем без традиционных печений на Рождество, без сырной пасхи на Пасху, без гуся в Мартинов день. Их желудок, словно католический алтарь, требует к каждому святому празднику иной покров. Их каноническое печенье становится для них вторым причащением, которое они, как и первое, принимают не для чревоугодия, а «для порядка». Зибенкэз не нашел в Антонине и Эпиктете таких средств и таких заместителей для гуся, чтобы унять вопли Ленетты, которая все повторяла: «Мы же все-таки христиане и состоим в лютеранской общине, а сегодня у всех лютеран гуси на столе; так было и у моих покойных родителей. Но ты ни во что не вернешь». — Однако этот неверующий еще под вечер еврейского праздника потихоньку пробрался к еврею, содержавшему для иногородних единоверцев отличный постоялый и птичий двор с тощими и жирными гусиными печенями. Войдя в дом, Зибенкэз вынул из кармана древнееврейскую Библию малого формата и, положив ее на стол, сказал хозяину, что рад встрече с человеком, столь усердно изучающим божественный закон: но таковому он, мол, предпочитает совсем отдать свою Библию, не прося за нее ни полупшки, тем более, что ее, непунктированную (без гласных значков), он вряд ли сможет бегло читать, так как ему это не удастся и с пунктированной. «Что касается моего салфеточного пресса, — добавил он и извлек его из-под сюртука, — то я охотно оставил бы его здесь, так как он обременяет меня. Дело в том, что по некоторым причинам я хотел бы взять из вашего хлева одного гусака — пусть даже самого жесткого; если вам угодно, считайте его милостыней, которую вы мне дали ради святого праздника. Когда я приду за прессом, то мы сможем дальше поговорить об этом деле».

Так, чтобы не стеснять свободу совести своей жены, он достал-таки спорного гусака, который чуть было не сделался предметом религиозной полемики и раскола; и на следующий день оба докторанта мартиниста-лютериста подкреплялись гусятиной и подкрепляли ею Шмалькальденские статьи, — подобно тому, как железные Шмалькальденские статьи вывоза нередко служили для

защиты теологических; и Капитолий лютеранского вероисповедания, как мне кажется, легко был спасен этой птицей (изжаренной на аутодафэ).

Но в это самое утро наверх к Зибенкэзу взобрался парикмахер, которого он всегда очень рад был видеть, — но только не сегодня, ибо вчера, в Мартинов день, как известно, требовалось внести квартирную плату за три месяца. Куафер объявился, словно безмолвный вексель на предъявителя; но он учтиво ничего не потребовал, а лишь сообщил, что в понедельник, перед Андреевым днем, состоится большой публичный аукцион, и что буде господину адвокату угодно собрать какие-либо вещи на продажу, то о сем надлежит уведомить его, Мербицера, как постоянного аукциониста, уполномоченного Большим и Малым советом.

Едва он спустился обратно с лестницы, как Ленетта стала изъявлять величайшие, но типайшие признаки горя: «он открыл ей глаза тем, что говорил о вещах, и она видит, что уже все люди в доме знают об их беспорядочном хозяйстве». Непонятно было, как женщина могла надеяться, что до сих пор никто этого не заметил: ведь бедняки первые угадывают бедность. Впрочем, и Фирмиан постыдился сказать куаферу, что до сих пор сам себе выдавал полномочия как аукционисту своих собственных вещей. Тут он почувствовал, что перед одним человеком и перед бедняками больше краснеет за свою нищету, чем перед целым городом и перед богачами, — и он гнѣвно осыпал проклятиями пустую людскую суетность, из-за которой пустота брюха перемещается в сердце и голову.

Даже читателю путь к Андрееву дню, сплошь обсаженный чертополохом, не может показаться более долгим, чем моему герою, которому к тому же приходится брать руками и вырывать все эти чертополохи; сад его жизни все более напоминал настоящий английский, где допускаются лишь колючие и бесплодные, но отнюдь не фруктовые деревья.

Каждый вечер, отодвигая задвижку решетчатой кровати, он с величайшим удовлетворением говорил своей Ленетте: «Вот уж осталось только двадцать (или девятнадцать, или восемнадцать, или семнадцать) дней до

стрелковых состязаний». Но теперь парикмахер и аукционист все отравил: хотя вечера были долгие и темные и весьма удобные для бедных залогодателей и прикрывали стыдливую голую нищету этих бедных людей, Ленетта стыдилась соседей. Фирмиан, одновременно удивлявшийся неистощимости своей головы и своего хозяйства и всегда говоривший себе: «Любопытно знать, что мне сегодня придет на ум и как я выпутаюсь из этого дела», — Фирмиан через несколько дней после Мартиновской трапезы снова наметил две хороших вещи, а именно — длинный ливер и широкую, большую лошадь-качалку (оставшуюся с его детских времён). «У нас нет ни бочки, ни ребенка» — сказал он по этому поводу; но жена взмолилась. «Лошадка, — сказала она, когда лошадку предстояло закладывать в залоговую карету, — и ливер слишком торчат из фартука и из корзинки, и при лунном свете каждый может их увидеть, — ради бога, не срами меня».

И все же нужно было что-нибудь отнести; Фирмиан сказал странным, резким и расстроганным тоном: «Да будет так, — судьба, подобно Прицелю,<sup>1</sup> барабанит снизу по барабану, и овес взлетает вверх, — придется уж нам жрать с барабанной кожи».

«Все, что хочешь, — сказала она, выбившись из сил, — но только, чтобы не торчало, — дай, я сама поищу». Она стала искать, выдвинула верхний ящик комода, вынула букет искусственных цветов и, подняв его, сказала: «Лучше вот это!» — и не заплакала и не улыбнулась. Фирмиан часто его видел, но так как сам в прошлый годоводный день их обручения подарил ей как своей нареченной этот букет и так как он был столь романтически красив — белая роза, два красных бутона роз и обрамляющие незабудки сочетались с пестрым пасленом увядшей флоры, — то все фибры чувствительного сердца Фирмиана возроптали против продажи этого яркого декоративного блюда, уцелевшего со времен довольства и веселья. Смирное, безропотное пожертвование последних цветов с ее груди потрясло его грудь так сильно, словно в ней

---

<sup>1</sup> Читателям, вероятно, известно, что Приделиус приучал боевых коней к барабанному грохоту сражений тем, что насыпал овес на барабан и барабанил снизу по его второй коже, в то время как кони ели с первой подпрыгивающий корм.

стеснилась тысяча тяжких вздохов. «Ленетта! — сказал он, бесконечно умиленный. — Ведь это цветы с нашего обручения».

«Но кто ж их там узнает! — сказала она, довольная и равнодушная. — И ведь они не так велики, как другие вещи».

«Разве ты забыла, — пролепетал он, — как я тогда объяснял тебе значение букета?»

«Ну да, незабудки, — сказала она еще равнодушнее и радуясь своей памятью, — означают, что я тебя не забуду, а ты — меня, — бутоны означают радость, — нет, бутоны означают радость, которая еще не вся пришла, — а белая роза — право, я уж больше не помню...»

«Тоску означает она, — сказал он, увлеченный, — невинность и горе и бледное, белое лицо». Плача, он обнял ее и почти вскричал: «О милая, милая! Ведь я не виноват, — я хотел все, все тебе дать, но я ничего не имею...»

Внезапно он умолк, ибо среди объятий она втокнула ящик обратно в комод... И она глядела на Фирмиана ясными, кроткими глазами, в которых не было ни единой слезы, и продолжала в тоне прежней просьбы, но с большей надеждой: «Не правда ли, лошадка и ливер останутся у меня? И ведь за букет мы получим больше». — Он повторил все более нежно: «Ленетта! Дорогая Ленетта!»

«Почему же нет?» — спрашивала она все более кротко, ибо она его не понимала. — «Лучше заложим последнее платье!» — отвечал он. Но так как теперь она испугалась, что он метит в ее клетчатое траурное платье, и так как именно это ее взволновало, и она сразу же стала произносить самые пылкие проповеди против закладывания крупных вещей, и так как он столь ясно увидел, что ее предшествующее равнодушие не было искусственным, — то, увы, он уже знал все, он знал самое горькое, чего не могут смягчить и изменить своими сладкими каплями никакие философы, — а именно:

либо она его больше не любит, либо же она никогда его не любила.

Теперь были подрезаны сухожилия его рук, прежде отталкивавших беду; обессиленный (душевной) гнилой горячкой, он смог лишь сказать: «Делай, что хочешь; мне

теперь все равно». — Тогда она радостно и поспешно вышла наружу, к старой Забель, но тотчас же вернулась, что ему было к стати, ибо за истекшие три секунды он был гораздо глубже уязвлен скорбью; эту горечь он смог добавочно выместить спокойными словами: «Положи-ка заодно и твой миртовый веночек вместе с букетом; это ему прибавит сколько-нибудь цены и весу, ибо веночек, право же, сработан так изящно, что куда уж моим цветам».

«Мой брачный веночек? — вскричала Ленетта, гневно краснея, и горькие слезы брызнули у нее из глаз. — Нет, его я ни за что не отдам, я его в гроб возьму с собою, как моя покойная мать. Ведь ты сам в день торжества взял его в руку, когда я, причесываясь, сняла его и положила на стол, и ты сам сказал, что он тебе так дорог (я запомнила подлинные слова), даже больше, чем брачный обряд. Нет, я твоя жена и останусь ею, и у меня отнимут веночек лишь вместе с жизнью».

Теперь его сердце, движимое уже совсем иным порывом, устремилось к ней навстречу; но он скрыл свои чувства под маской вопроса, почему она так скоро вернулась. В ответ он услышал, что старая Забель сидела у переплетчика; там же находился и рентмейстер фон Мейерн, имевший обыкновение слезать с коня, отчасти чтобы поглядеть у переплетчика, какие новинки поручали ему переплести дамы и насколько пестро сброшюровать, а отчасти для того, чтобы у башмачника поставить обувь в ботфорт ногу на верстак и дать покрепче пришить отворот, в то же время расспрашивая о разных разностях. Конечно, из всего вышесказанного свет, — а иначе ведь нельзя назвать столь многочисленных языковых молотильщиц, которыми Кушнапель располагает для своей пустоколосицы, — вероятно пожелает сделать вывод, что рентмейстер — настоящий Генрих-птицелов и, быть может, не для одной женщины в этом доме, и что последний для него служит женским вольером; но я требую доказательств. Что касается Ленетты, то она, не опускаясь и не пускаясь ни в какие ловушки и беседы, немедленно обратилась в добродетельное бегство от птицелова Розы.

Без особенной краски стыда за изменчивое человеческое сердце поведаю я далее, что стесненная грудная полость Фирмиана теперь расширилась на много дюймов

и вместила много отрады всего лишь по той причине, что Ленетта так крепко держалась за свой свадебный веночек и держалась на таком почтительном расстоянии от рентмейстера. «Она все ж верна, если и холодна, а в конце концов, пожалуй, и не холодна!» — сказал он себе. Поэтому он радостно согласился с ее (да и своим собственным) желанием, чтобы веночек остался в доме и в сердце. Затем он, хотя и менее радостно, но без дальнейших угроз по поводу роз, подчинился другому ее желанию, ибо это не затрагивало ее чувств, а своими он готов был пожертвовать; маленький кустик-сувенир заложили — у любезной женщины, носившей высокое звание оценщицы, — причем была дана клятва, что он будет выкуплен первым же талером, который в Андреев день упадет с шеста деревянной птицы.

Деньги, полученные за потраву шелкового кустарника, разделили на такие мелкие части, чтобы их можно было разбросать, словно камешки для перехода, по грязной дороге до воскресенья, предшествовавшего призовой стрельбе. Это воскресенье (27 ноября 1785 года) было кануном понедельника, на который был назначен аукцион, — а в среду, как надеется Фирмиан и, надеюсь, мы все, он непременно будет стоять перед птичьим шестом.

Правда, в воскресенье ему пришлось переправляться через большую реку, разлившуюся от многих дождей: все мы за ним последуем, но я предупреждаю, что на ее середине глубоко.

Со времени цветочной баталии всякое закладывание вызывало в желудке его внутреннего человека невероятную тошноту и обратную перистальтику. Дело в том, что он уже ничего не мог говорить в утешение жене: сначала он ей говорил о птичьем шесте; затем, когда из крепости без всякого стука и звука ретировались ступка и кресло, то есть предметы, не висевшие в качестве стрелковых призов вокруг деревянной птицы, он стал говорить о публичных аукционах, выражая уверенность, что сможет на них все приобрести за половинную цену; под конец же он, хотя и продолжал говорить о таковых, но уже с тем, чтобы производить на них не пассивную, а активную торговлю, и не закупать, а сбывать там товары, в чем ему уступает даже Испания.

Человека, победоносно устоявшего против тяжких обид, нередко преодолевают самые мелкие: так случается и с нашими горестями; твердая, стойкая душа, которую тщетно давило полное мук прошлое, может сломиться, словно долго размываемый лед, даже под легкой поступью судьбы. До сих пор он держался совершенно прямо и нес свой транзитный груз не сгибаясь и бодрее, чем многие его ближние. До сих пор ему на все было начихать. Разве не превзошел он своим одеянием, — здесь достаточно лишь немногих примеров, — самого германского императора, которому (по его словам) в высокаторжественный день коронации, во Франкфурте, нечего надеть, кроме ужасно ветхого, заношенного еще Карлом, императорского платья, немногим лучшего, чем старое платье Раблэ, в то время как его платье на много столетий новее, чем императорское? Разве не уговаривал он свою жену, — когда она печально обзревала подобную прозрачному флеру многолетнюю флору его потертых костюмов, — вообразить, будто он с тысячей других ансбахцев служит в Новом Свете и будто корабль, долженствовавший доставить им новую амуницию, захвачен каперами, так что всей команде не во что одеться, кроме обносков, которые она хотела сбросить? И он давно уже возвысился над житейскими невзгодами, встав на котурны истинно-философской невозмутимости, представлявшие для него лучшую обувь, чем его единственная пара сапог, которая вследствие двукратного притачивания новых головок сложилась, точно тромбон или карманная подзорная трубка, и превратилась в неплохие полусапожки: подобно этому и долгая культура значительно укротила немецкие тела и сделала из этих длинноствольных ружей короткоствольные.

Но в то воскресенье, о котором я собираюсь говорить, одна-единственная хищная и злобная птица, хотя и мелкая, пролетев над пустынной Сахарой жизни Фирмиана, уж слишком испугала его. Сам он скорее ожидал бы противоположного; ибо до сих пор он имел обыкновение заранее вооружаться против всех мрачных, печальных сцен посредством пробных комедий или, другими словами, заранее прочитывал все будущие процессуальные бумаги, которые тайный фон Блэз мог сочинить против него, и таким путем играючи взваливал на себя *будущее* бремя

в качестве *теперешнего*, чтобы затем легче было вести игру в обратном направлении, — а потому очень удивился, что даже самая неизбежная и предвиденная беда, как только она из будущего подступает к нам вплотную, вблизи оказывается наделенной более длинными шипами, чем это казалось издали. Действительно, когда в безвоздушное пространство его души прибыл в воскресенье еще и рассыльный камеры по наследственным делам с долгожданным *третьим* ходатайством тайного об отсрочке и с начертанной на этой бумаге третьей резолюцией «Уважено», то от этого нового хода насосного поршня, извлекавшего воздух из-под колокола опустошенной души, она стала задышаться и терять сознание.

В своих многоречивых официальных отчетах я намеренно не упомянул *второго* ходатайства об отсрочке, ибо мог же я надеяться, что каждый читатель, имевший в руках хотя бы пол аптекарского фунта судебных бумаг или хоть одну-единственную «ликвидацию» (адвокатский счет), и без того догадается, что после первого ходатайства неизбежно должно появиться второе. Для нашей юстиции позорно, что честный, порядочный юрист вынужден нагромождать столько повсдов, — следовало бы сказать — вымыслов, — чтоб выклянчить хоть малейшую отсрочку; он вынужден заявлять, что его дети и жена смертельно больны, что он обременен обязательными сроками и тысячами работ и поездок и болезней; а между тем следовало бы считать достаточным, если бы он заявил, что составление бесчисленных ходатайств об отсрочках, которыми он перегружен, оставляет ему мало времени для других писаний. Следовало бы понять, что ходатайства об отсрочках, как и прочие ходатайства, явно рассчитаны на затягивание процесса, подобно тому, как все колесики часов сцепляются между собой лишь для торможения главного колеса. Медленное биение пульса является не только в людях, но и в тяжбах, признаком долготетия. Я полагаю, что адвокат, имеющий совесть, по мере возможности будет навязывать продолжительную жизнь не столько процессу своего клиента, — ибо тот он сразу же закончил бы, если бы мог, — сколько процессу своего противника, чтобы отчасти наказать противника, отчасти отпугнуть, или же чтобы из года в год оттягивать

благоприятное для него решение, которое невозможно предотвратить; так в «Путешествиях Гулливера» людей с черным пятном на лбу постигает в виде мучения бесконечная жизнь. Поверенный противника в свою очередь придумывает, как бы заставить противную сторону подольше воевать, и так оба патрона запутывают обоих клиентов в длинную тяжebную сеть, причем каждый действует с наилучшими намерениями. Вообще правозаступники не являются людьми, которым *права* так же безразличны, как *право*, и которые поэтому предпочитают действовать, а не писать. Как Симонид, чтобы ответить на вопрос царя: «Что есть бог», испросил себе сутки на размышление, — а затем еще сутки, — и еще сутки, — и каждый раз снова сутки, ибо всей жизни мало, чтобы исчерпать столь великий вопрос, так и юрист после каждого вопроса: «Что следует по праву» — время от времени просит об отсрочках: этот вопрос он никогда не может решить, и если бы только согласились судьи и клиенты, он посвятил бы всю свою жизнь составлению письменного ответа на подобный правовой вопрос. Впрочем, сколь ни обычен для адвокатов такой образ мыслей, нельзя сказать, чтобы они им особенно хвастались.

Возвращаясь к моему рассказу. Зибенкэз чуть не упал под тяжестью железной руки мирской власти с ее шестью длинными вороватыми и крючковатыми пальцами. На его жизненном пути испарения сгустились в утренний туман, а тот — в вечерние тучи, а те — в проливной дождь. «Иному бедняку приходится уж слишком туго» — сказал он. Будь у него веселая жена, он не сказал бы этого; но крестоносца, преисполненная иеремиад, элегическая поэтесса, преисполненная иовиад, сама была вторым крестом.

Тогда Фирмиан обдумал все; у него едва ли хватило бы средств, чтобы купить календарь будущего года или пачку гамбургских перьев, ибо на свои сатиры он расходовал меньше сил, чем перьев из Ленеттиной метелки, так что иногда ему хотелось очинить порыжевший мундштук трубки Штибеля, преобразив его в ствол писчего пера, — он охотно превратил бы в провизию тарелки (но их уже не было), в подражание галлам, употреблявшим круглый хлеб сначала как тарелку, а затем как закуску, или же по

примеру гуннов, сначала гарцованных на седле из мяса, пока оно не изжарится, а затем съедавших такое, — для предстоящей призовой стрельбы требовалось в третий раз снабдить новыми головками и переиздать в сокращенном виде его полусапожки, но из всего необходимого для этой работы налицо имелся лишь художник Фехт; вообще в тот великий день ему не во что было нарядиться, нечем подкрепиться и ничего не было ни в кошельке, ни в пороховнице, ни в патронташе. . .

Стоит лишь человеку намеренно преувеличить свои опасения до крайности, как вдруг в его сердце ниспадает с неба утешение, точно теплая дождевая капля. Зибенкэз теперь стал настойчивее вопрошать себя, что, собственно говоря, его мучает: только боязнь появиться на стрельбище без денег, без пороха и свинца и без третьего сокращения сапог. «Только и всего? — ответил он. — Так что же меня заставит вообще туда явиться? Право, я та обезьяна, — добавил он, — которая горюет, что не может без пробочника извлечь полную риза лапу из узкогорлой бутылки, — тогда как мне надо лишь продать мой жеребьевый билет стрелка и мое ружье: мне надо лишь раскрыть лапу и вытащить ее пустой».

Он решил, что в день аукциона возьмет свое ружье и даст его аукционисту-парикмахеру для присоединения к прочим продаваемым вещам.

Весь в ссадинах от пережитого дня, он взобрался на кровать, в эту защищенную от бурь якорную стоянку, мыслью о которой он утешал себя весь день. «Ночь имеет в себе хоть то хорошее, — сказал он, сидя там и разглаживая перину, — что она содержит человека бессвечно, бездровно, бесхлебно, бесплатно и безодежно, — требуется иметь лишь постель. Бедняк счастлив хоть до тех пор, пока *лежит*, и он, к счастью, *стоит* лишь полжизни». Немощи нашей души или бодрости подобны тем телесным недугам, которые, по Циммерманну,<sup>1</sup> прекращаются, если больной принимает *горизонтальное положение*.

Если бы кровать Фирмиана имела полог со шнуром, то я назвал бы последний якорным кабестаном, посредством которого он в понедельник медленно поднял себя со своей

<sup>1</sup> Циммерманн, Об опыте, т. I, стр. 444.

тихой пристани. Затѣм он взобрался на чердак, под стропилами котораго, в старом, заколоченном, длинном походном сундуке хранилось, во избежание неосторожного обращения, его ружье. Это была ценная вещь, доставшаяся ему в наследство от его отца, который был егерем и ружьеносцем у одного великого императора князя. Фирмиан корчевальным рычагом, то есть железными тисками, приподнял доску вместе с корнями, то есть гвоздями; и первое, что лежало сверху, была кожаная рука, при виде которой вся его душа содрогнулась. Ибо эта рука в свое время часто его колотила.

Меня не заведет слишком далеко, если я здесь в двух словах скажу о ней. Дело в том, что эту парадную руку носил на себе, словно в поле герба, Зибенкэз-отец, с тех пор как свою подлинную, прирожденную руку он утратил на военной службе у вышеозначенного великого имперского князя, который его, чтобы несколько вознаградить, немедленно зачислил ружьеносцем в оберъегермейстерский корпус. Прикомандированную руку ружьеносец носил на крюке (заменявшем ему левое предплечье) скорее для красоты, в качестве рукава дождевого плаща или удлиненной рукавицы с нарукавником, чем в качестве самозванца, выдающего себя за настоящую руку. Но при воспитании детей кожаная рука заменяла ему целую книжную лавку, полную учебниками и библиями, и была усердным сотрудником руки из плоти. Ординарные проступки, например, если наш Фирмиан неправильно умножал или ездил верхом на лягавой собаке, или из любви к лакомствам лизал порох, или разбивал трубку, — таковые ружьеносец наказывал снисходительно, а именно просто палкой (которая вообще во всех хороших училищах опускается на детские спины в качестве соконосного канала и ливера и пропитывает таковые питательным соком наук, или же служит дышлом, которое бойко тянут всю зиму целые школы, припряженные к нему). Но две других провинности он карал серьезнее. Если ребенку случалось рассмеяться за едой или же запнуться, или ошибиться в длинных застольных и вечерних молитвах, то отец быстро ампутировал прирожденной рукой благоприобретенную и этой булавой (как он сам ее именовал) отчаянно лупил своих милых малюток. Фирмиан еще пре-

красно помнил, словно это с ним случилось вчера, что однажды во время еды он и его сестры в течение целого получаса поочередно подвергались молотье этим боевым цепом, потому что один из детей начинал смеяться в то время, как вокруг другого, серьезного, порхала эта длинная мышца. Еще и сегодня вид этого куска кожи озлоблял Фирмиана до глубины души. Я вполне сознаю, сколь полезно, когда родитель и учитель благоустроенной рукою отцепляет и держит пустую, чтобы с помощью этого конкордата между светским и духовным руководством наказать державной рукой своего питомца; но только необходимо, чтобы это происходило *всегда*; ничто так не озобляет детей, как новое орудие пытки или *новая* арена его деятельности. Ребенка, привыкшего к ударам по спине и линейкой, не следует атаковать оплеухами и невооруженными руками; опять-таки ребенок, избалованный этими последними, не терпит линейки. В автора настоящих «Цветов» однажды, в его юные годы, швырнули туфель, — душевная рана, причиненная этим швырком, еще и теперь не зажила, тогда как обычные побои он припоминает лишь слабо.

Зибенкэз извлек карающую руку, а заодно и ружье. Но какая находка лежала под ними! Теперь-то он обрел помощь. По крайней мере, он уже мог в Андреев день стрелять вместе с другими, надев укороченные сапоги, и вообще мог хоть несколько дней есть, что ему было угодно. Во всем деле с вещами для него и для меня наиболее поразительно (хотя все же понятно) было то, что он о них не подумал раньше, хотя его отец был егерем; но, с другой стороны, я охотно признаю, что для находки невозможно было бы выбрать лучший день, ибо как раз на него приходился аукцион.

Рогатину, конский хвост, птичье чучело, лисий капкан, длинную шпагу, домашнюю аптечку и маску с шеей — ведь все эти вещи, которых он до сих пор не искал в сундуке, можно было в тот же миг снести вниз и препроводить в рагушу, чтобы куафер-саксонец сбыл их по сходной цене.

Так оно и произошло. После стольких плачевных провалов ему наконец привалило счастье, и он был охвачен пылкой радостью. Он лично отправился вслед за отослан-

ным на аукцион ящиком, — дома остались лишь кожаный ударный инструмент и ружье, — чтобы послушать, что будут предлагать там, на торгах.

В своих слишком длинных полусапожках он встал возле чахоточного домохозяина, позади аукционного стола. При виде беспорядочной груды, в которую, словно при пожаре или разграблении, были свалены все эти домашние доспехи, большей частью продаваемые беднеющими, большей частью покупаемые бедняками, ему с каждой минутой казался все более ничтожным этот круговорот и водоворот и вообще весь водоподъемный механизм, благодаря которому струятся и сверкают несколько мелких водометов жизни; а сам он, механик, чувствовал себя все более мужественным. Ему было досадно, что его дух вчера явил себя фальшивым самоцветом, мутнеющим и теряющим окраску от капли крепкой водки, ибо настоящий продолжает блистать и после такой пробы.

Человек становится особенно насмешливым и равнодушным к сословной чести, если вместо нее воздаст честь личному или истинному достоинству и если он философией, словно Диогеновой бочкой, всегда защищает свою душу от поранений извне, или (употребляя более красивую метафору) если подобно жемчужнице он вынужден для заполнения отверстий, просверленных червями в его перламутре, выделять перлы философских изречений. Впрочем, жемчужины лучше, чем неповрежденная жемчужная раковина: эту мысль мне следовало бы записать золотыми чернилами.

Столь много философии я предпосылаю по весьма веской причине, ибо хочу убедить читателя не поднимать слишком много шума из-за того, что сейчас предпринимает наш адвокат, — в сущности, безобидную шутку, а именно, что он, — так как аукционист, при своих напудренных легких, вообще больше кашляет, чем кричит, — берет у этого молотобойца его боевой молот и сам ведет торги. На самом деле он это делал только в течение полчаса, и то лишь ради своих собственных товаров; да он и не решился бы заарендовать молотилку, если бы его душе не было так неопишимо отрадно поднимать ввысь конский хвост, рогатину, чучело и т. д., ударяя молотком и

выкликают: «Четыре гроша за конский хвост, раз. — Пять крейцеров за чучело, два! — Пол-ортсталева за лисий капкан, раз. — Два гульдена за шпагу, три! Ваша цена!» Как подобало аукционисту, он расхваливал товары: перед присутствующими охотниками (деревянный орел-мишень, словно падаль, приманил их даже из отдаленных мест) он распускал конский хвост, зачесывал его вперед и назад и уверял, что силками из этого волоса берется выловить птиц всего Шварцвальда. Чучело он тоже представил в выгодном свете, показывая честной компании деревянный клюв, крылья, когти, переливчатое оперенье, ловко пригнанное на ловчую птицу, и сожалел, что поблизости нет сокола, так как его можно было бы изловить на эту приманку.

Согласно соответствующим записям в домашней приходо-расходной книге Зибенкэза, по которым я, не доверяя своей дырявой памяти, дважды проверил себя, сумма, собранная им с многочисленных присутствовавших охотников, составила семь франконских флоринов, без грошей. И это даже не считая домашней аптечки и длинношей маски, так как ими не соблазнилась ни одна душа. Дома он высыпал всех своих золотых рыбок в широкий невод вязаного кошелька Ленетты, причем предостерег ее и себя против опасностей большого богатства и привел обоим слушателям поучительные примеры кичливых богачей, не преминувших обанкротиться.

В седьмой главе, которую я сейчас начну, я, наконец, смогу, после стольких тысяч семейных невзгод, повести всю ученую Германию на стрельбище и представить ей моего героя в качестве почтенного стрелкового сочлена, обладающего пулями и огнестрельным оружием и прилично — не столько одетого, сколько обутого: ибо уже отливаются пули, начищаются ружья и обуваются штиблеты. Фехт на своем колене перешивает трехчетвертные сапожки в половинные и притачивает к ним подметки из кожаной руки, о которой уже достаточно говорилось выше. В наше время, когда носят даже кожаные тросточки, похожие на иссохшие руки, из егерской руки могли бы выкроить превосходнейшую трость, не хуже, чем из кожи носорога.

## СЕДЬМАЯ ГЛАВА

*Стрельба в деревянную птицу. — Стрельба в подвижную мишень. — Осенний поход Розы. — Размышления о проклятиях, поцелуях и ландмилициях.*

В этой истории, хотя сама по себе она и прекрасна, мне причиняет величайший убыток то обстоятельство, что я вознамерился втиснуть ее в четыре алфавита; этим я у себя отнял всякую возможность отступлений, ибо для них не остается места. Тут я метафорически попадаю в такое положение, в каком я однажды был (без метафор), когда захотел измерить поперечник и окружность города Гофа. Дело в том, что посредством крючка я прикрепил Кателевский шагомер справа к брючному поясу, а спущенный вдоль бедра шелковый шнур — внизу, на колене, к загнутому стальному острiu; и три стрелки на диске, — ибо первая стрелка показывает 100, вторая — 1000 шагов, а третья — до 20 000, — двигались вполне исправно, как и я сам. Но вдруг явилась некая дама, которую я должен был проводить домой. Я попросил ее извинить меня, ибо я нацепил Кателевский шагомер и уже сделал столь много шагов, измеряя длину Гофа. «Вы, конечно, видите, — добавил я, — что шагомер, подобно совести, отмечает каждый шаг; к тому же с дамой мне придется делать шаги мельче и делать их тысячами вбок и вспять, а три стрелки присчитают их к поперечнику; нет, это не пройдет, любезнейшая». Но именно поэтому она заставляла меня пройтись с ней и высмеивала меня. Однако я уперся — и ни на шаг. Под конец я все же обещал, что со своим шагомером провожу ее домой, если она, — ибо я не мог скрючиться до собственного бедра, — дважды посмотрит на мои стрелки и прочтет мне их показания, в первый раз — теперь, а во второй раз — у себя дома, чтобы те шаги, которые я сделаю с означенной дамой, я мог вычесть из размера Гофа. — Договор был достаточно добросовестно выполнен. Этот краткий отчет когда-нибудь принесет мне пользу, если мой перспективный план названного города, — я не хочу никого лишать надежды на это, — действительно появится на свет и если местные горожане, видевшие меня с дамой и с неразлучным счетчиком на колене, упрекнут меня в том, что у меня все

хромает и что возле женщины едва ли возможно самому избежать ложного шага, а потому нечего пытаться измерить шагами целый город.

Андреев день был погожим и ясным и не очень ветреным; было весьма тепло и так мало снега в рытвинах, что его нехватало бы, чтобы остудить наполненную вином ореховую скорлупу или сбить колибри. Накануне, во вторник, Зибенкэз вместе с прочими зрителями видел, как птичий шест описал свою величественную дугу, чтобы подцепить черно-золотого орла с его раскрытым летательным снарядом и вместе с ним вознестись обратно ввысь. Он почувствовал волнение при мысли: «Сидящая там наверху хищная птица держит в своих когтях и сулит моей Ленетте тревожные или веселые недели, и наша Фортуна съезжилась и преобразилась в эту черную фигуру, сохранив лишь *крылья и шар*».

Утром Андреева дня, когда он, обутый в свои укороченные, снабженные отворотами сапоги, целовал на прощанье Ленетту, она сказала: «Да пошлет тебе господь бог счастья и удачи, и да сохранит он тебя, чтобы ты не натворил беды своим ружьем». Она еще несколько раз переспросила, не забыл ли он чего-нибудь — лорнет или носовой платок, или кошелек. «И не ссорься там, — попросила она напоследок, — с господином фон Мейерн!» И совсем напоследок, когда перед ратушей уже раздавалось несколько пробных громовых раскатов барабана, она с испугом добавила: «Ради бога, не застрели сам себя, — меня все утро мороз по коже будет подирать каждый раз, как выстрелят».

Наконец, плотный, кольчатый клубок стрелков размотался на длинные пряди, и шествие заколыхалось и тронулось при трубном звуке и барабанном стуке, образуя, подобно исполинскому змею, волнистые извивы, и каждый стрелок был изгибом змеи. Городская солдатня, больше блиставшая окладами, чем численностью, просвечивала белыми отворотами мундиров сквозь пестрый узор календарного переплета стрелкового общества. Аукционировующий парикмахер, единственный напудренный простолоудин, в треуголке с побелевшим захватанным углом, приплясывал на должном расстоянии от подлинных знатных кос, которые он сегодня подвязал и напудрил. Окру-

жающая толпа почувствовала, что такое истинное величие, когда, кланяясь, взглянула на стрелкового директора, на г-на тайного фон Блэза, который шествовал с процессией как аорта всей пульсирующей системы, как стихийный огонь всех этих пороховых запалов и блуждающих огоньков и — короче говоря — как великий мастер стрелковой масонской ложи. Счастлива была выглядывавшая из окна супруга, муж которой проследовал перед ней в качестве звена стрелковой цепи, — счастлива была Ленетта, потому что и ее муж участвовал здесь и учтиво взглянул к ней в окно, и был очень изящно обут в короткие сапоги, сработанные одновременно и в старом и в новом стиле и, подобно человечеству, надевшие короткого нового Адама на ветхого.

Мне бы хотелось, чтобы советник Штибель хоть несколько поинтересовался андреевской стрельбой и выглянул посмотреть на своего Ореста; но он, не переставая, рецензировал.

Когда же эти профессиональные шелкопряды снова сползлись, точно на листке, на птичьем дворе стрельбища, — когда орел повис в своем небесном гнездовьи, словно геральдическая птица будущего, — когда духовые инструменты, которые странствующая музыкантская команда до сих пор не могла достаточно плотно приложить ко рту, взревели по-настоящему в устах стоящей команды, — и когда громко топчущее шествие, ударяя об землю прикладами, шумно вторглось в пустой, гулкий тир, то, строго говоря, уже никто не был в здравом рассудке и каждый был душевно пьян; а ведь еще не успели не только выпалить, но даже и жребий вытащить. Зибенкэз сказал самому себе: «Все это сущие пустяки; но поглядите, в каком упоении мы все находимся, поглядите, как увядшая, жалкая, но неразрывная, десятикратно обвившаяся вокруг сердца гирлянда из приятных мелочей наполовину душист и наполовину затемняет его». Наше жадно сосущее сердце сотворено из томящейся от жажды глины, которая разбухает от теплого дождя, и затем, надуваясь и вздымаясь, разрывает корни всех произрастающих на нем растений.

Но вот г-н фон Блэз, который одновременно улыбался моему герою и третировал прочих с властолюбивой грубостью, разрешил тянуть жребии, определявшие и уста-

навливавшие родословную стрелков. Читатели не могут требовать, чтобы случай остановил лотерейное колесо и стал шарить в нем и, несмотря на свою повязку на глазах, нащупал и выудил для адвоката именно первый из семидесяти номеров; но он все же вытянул для него двадцатый. Наконец, доблестные немцы и вольно-имперские горожане открыли ружейный огонь по римскому орлу. Сначала они с приличествующим рвением и пылом метили в его венец; ведь если бы попытка увенчалась успехом, то с этой золотой покрывашкой, когда ее сшибет пуля, были связаны коронные доходы в шесть франконских флоринов, не говоря уж о значительных коронных имуществах, заключавшихся в трех фунтах пакли и в оловянной мыльнице. Стрелки старались, как только могли; но, к сожалению, огнестрельное оружие увенчало орлиной короной не нашего героя, а № 11, его предшественника, чахоточного саксонца. Последний нуждался в ней, ибо он, подобно принцу Уэльскому, обзавелся коронными долгами еще раньше, чем самой короной.

При такой стрельбе в птицу ничто не устраняет скуку так успешно, как благой обычай вклинивать в промежутки стрельбу в подвижную мишень; стрелок, вынужденный выжидать со своим собственным выстрелом, пока шестьдесят девять других медленно отбивают такт, отнюдь не успеет соскучиться, если тем временем может заряжать свое ружье для менее возвышенных целей, вроде, например, капуцинского генерала. Дело в том, что в Кушнапеле стрельба в подвижную мишень не отличается от введенной в других местностях, а именно — из стороны в сторону скользит холст, на котором намалеванные съестные припасы размещены словно на скатерти: их требуется продырывать, чтобы приобрести их оригиналы, подобно тому как наследные принцы возводят портреты своих невест, и тем самым их самих, в это высокое звание, или как колдуньи прокалывают лишь изображение, чтобы поразить его прообраз. На этот раз кушнапельцы стреляли в намалеванный на движущемся холсте коленный портрет, о котором весьма многие утверждали, будто он изображает капуцинского генерала. Мне известно, что многие больше руководствовались красной шляпой нарисованной фигуры и потому объявляли последнюю кардина-

лом или же кардинал-протектором; однако таковые, очевидно, сперва должны были до чего-нибудь договориться с теми, кто возражал обоим указанным сектам и утверждал, что на картине нарисована лишь вавилонская блудница, а именно — европейская. Отсюда можно до некоторой степени заключить, насколько правдив был другой слух, против которого я стал было возражать, а именно — будто аугсбургцы сочли неприличным это аркебузирование *in effigie*, а потому вошли к имперскому фискалу с письменным представлением о том, что считают обидой для себя и ущербом для одного из вероисповеданий, если в Священной Римской империи застреливают лишь одного генерала монашеского ордена, но не делают одновременно того же и с лютеранским генерал-супер-интендентом. Конечно, я бы узнал об этом больше, не будь это сплошным вздором. Я подозреваю даже, что эта небывлица есть не что иное, как искаженная версия другой небывлицы, которую мне недавно нагнал за обедом один высокородный венец: якобы в крупных имперских городах, где ватерпас религиозного мира установил прекрасное равновесие между папистами и лютеристами, многие представители лютеровской стороны волновались и обижались из-за того, что хотя там и ночные сторожа и цензоры, то есть трансцендентные ночные сторожа, а также трактирщики и библиотекари имеются в равном числе, однако среди персонала, подвергаемого повешению, всегда более многочисленны паписты, а потому совершенно очевидно, что, по проискам ли иезуитов, или независимо от таковых, но виселицу, этот столь важный и высокий государственный пост, укомплектовывают отнюдь не с таким соблюдением имперского равноправия, как имперский верховный суд, а с некоторым пристрастием к католикам. Недавно я хотел опубликовать в декабрьском выпуске «Литературной газеты» протест против этого вымысла; но имперское правительство не захотело принять на себя издержки по напечатанию.

Хотя со стрелковой стоянки можно было целить лишь в капюлина, однако стрельба в подвижную мишень была в своем роде не менее важна, чем в стоячую. Надо сказать, что за различные части тела монашеского генерала были назначены съестные премии, заманчивые для стрел-

ков, способных соображать. Целого богемского кабана давали, как охотничий заработок, за сердце вышеназванного капуцинского Пейшвы, которое, однако, обозначили только одним-единственным пятном сажи, не больше косметической мушки, чтобы награду за меткость стрелки зарабатывать в поте лица своего. Добыть кардинальскую шляпу было легче, а потому на эту карту поставили только двух речных щук. Почетная награда окулисту, который в два глазных яблока протектора вставил бы новые, из пуль, состояла в стольких же гусях. Так как тот был нарисован в момент молитвы, то, право, стоило потрудиться, чтобы прошибить пулей его сложенные двузначные, двуместные руки, ибо это было равносильно не меньшему, чем отстрелить у бегущей копченой свиньи обе лопатки. Что касается его ног, то имущественным обеспечением каждой был целый окорок. Я не побоюсь, хотя бы и в ущерб имперскому местечку, объявить во всеуслышание, что во всем протекторе ничто не было так плохо экипировано, — таким скудным приданым и стрелковым призом, — как пуп; ибо из него даже самой удачной пулей нельзя было извлечь ничего, кроме болонской колбаски.

Адвокат лишился короны; но взамен ее счастье подкинуло ему затем кардинальскую шляпу, в которой лежали две речные щуки. Зато орлиная и генеральская головы оказались просто заговоренными против его пуль. Он был бы рад выбить пулей хоть один глаз вавилонской блудницы, чтобы подстрелить гуся, — но и тут не повезло.

Действительно, реестры охотничьей добычи, подлинность которых несомненна, ибо они были написаны секретарем стрелкового общества под личным наблюдением турнирного маршала фон Блэза, гласят, что голова, кольцо в клюве и флажок достались номерам 16, 2, 63.

Зибенкэз, ради своей возлюбленной супруги, ожидавшей его к обеденному супу, очень хотел бы, по крайней мере, выломать из орлиных когтей и прикрепить к своему ружью в качестве штыка скипетр, в который теперь метили.

Все номера, пытавшиеся обломить этот золотой прут, уже миновали, за исключением опаснейшего конкурента, которым был его предшественник и хозяин, — тот выпал, и золоченый гарпун задрожал, — Зибенкэз выпал, и трезубец свалился.

Господа Мейерн и Блэз улыбнулись и поздравили, — в честь прибытия новой конечности птицы дудящие и свистящие музыканты затрубили в свои рожки (как это делают карлсбадцы в честь прибытия нового посетителя курорта) и при этом сурово и пристально глядели в свою партитуру, несмотря на то, что свои фанфарные возгласы они на своем веку повторяли чаще, чем ночные сторожа, — все юные принцы, иначе говоря, все мальчишки, пустились наперегонки за скипетром, — но дубасящий блюститель порядка врезался в их толпу, рассеял ее, подобрал скипетр и одной рукой вручил адвокату этот знак достоинства и власти, держа другой свой собственный — дубинку.

Зибенкэз, улыбаясь, оглядел маленькую ветку, на которой часто уносят целые жужжащие рои налетевших государств, и скрыл свою радость нижеследующей сатирической сентенцией, которую властвующий тайный услышал и принял на свой счет: «Вот славная колотушка для лягушек! В сущности он мог бы служить щупом для меда, но им раздавливают самих пчел, чтобы опорожнить их медоносные зобы; воеводы и монархи, словно дети, умерщвляют трудолюбивых пчел своей страны и вместо сот вскрывают животы. Вот уж нелепое орудие! Оно из дерева, и это как бы отломанный, позолоченный, заостренный, зазубренный кусок пастушеского посоха, которым пастухи на пастбище часто выматывают<sup>1</sup> жир у овец, — лишь постольку, конечно!» Когда он изливал хотя бы величайшую горечь сатиры, то сам этого не чувствовал, ибо ни капли ее не было в его сердце; нередко он шуткой, сказанной лишь в шутку, превращал своих знакомых в своих врагов и не понимал, почему озлобляются эти люди и почему он не может с ними шутить, как всякий другой.

Так как до обеда не успели бы достреляться вкруговую до его номера, он спрятал скипетр под сюртук и отнес в свое жилище. Там он его извлек и, держа перед собою стоймя и торчком, как это делает бубновый король со своим, сказал жене: «Вот тебе в едином предмете щипцы для сахара и разливательная ложка!» Он имел в виду обе стрелковых премии: щипцы и ложку; вместе с двойным

---

<sup>1</sup> Основа этой аллегии, к сожалению, истинна; пастухи умудряются выкручивать жир из брюха живых овец.

лотерейным выигрышем в девять франконских флоринов эти владения объединились теперь под его скипетром. От одного выстрела нельзя было требовать большего. Далее Фирмиан представил отчет о поимке щук. Ленетта, от которой он, по меньшей мере, ожидал, что в первые пять секунд она проделает пять танцевальных па на домашнем балу и в заключение эйлеровский прыжок коня на шахматной доске комнаты, — Ленетта сделала, что могла — а именно ничего, и сказала, что знала — а именно, что домохозяйка, беседуя с переплетчицей, ужасно возмущалась неплатежом квартирных денег, а заодно и своим собственным мужем, который, по ее словам, угодливый комплиментщик и не умеет хорошенько наругать неисправным жильцам. «Говорят тебе, повторил скипетродержец, — я сегодня удачно подстрелил щук и скипетр, о Венделина Эгелькраут!» — и в гневе он скипетром, словно бичом божьим, трахнул по столу, на который были положены оба сервиза и сюрприза. Наконец она ответила: «Лука уже бегом прибежал, и он мне рассказал все, как есть; я очень рада, но только я думаю, ты еще много чего настроляешь. Я так и сказала переплетчице». Она снова свернула в привычную колею; но Фирмиан подумал: «Горевать она умеет как нельзя более громко, но неспособна торжествовать, когда наш брат возвращается домой со щуками и скипетрами подмышкой!» Совершенно такую же была жена нежного Расина, когда он примчался в комнату с подаренным кошельком, наполненным Louis XVI d'or.

Милые женщины, откуда у вас взялась эта противная манера: как раз тогда, когда супруг и повелитель приносит хорошие вести и подарки, умудриться высказывать нестерпимую холодность к его поклаже? И почему в вас, как только судьба даст забродить молодому вину вашей радости, мутнеют целые бочки старого? Происходит ли это от вашего обычая казать миру, как ваше подобие — луна — лишь одну свою сторону, или от брюзгливой придирчивости к судьбе, или от сладкого упоения счастьем, от которого переполняется сердце и немеет бессильный язык? Я полагаю, что это часто происходит от всех причин сразу. У мужчин, — а также и у женщин, у одной из тысячи, — это может происходить и от меланхолических размышлений об акулах, откусывающих нам руку,

которой мы в мрачной морской пучине, до удушья задерживая дыхание, собираем четыре жемчужины радости; или от еще более глубокомысленного вопроса: не является ли душевное блаженство лишь масляничной ветвью, которую нам приносит голубь, пролетев над бурлящим вокруг нас безбрежным потоком, и которую он сорвал высоко над водами, в недоступном для нас лучезарном раю? <sup>1</sup> И если вместо всех плодов и цветов целого маслячного сада мы получаем лишь одну ветку, то могут ли эта ветвь и голубь мира дать нам не только мир душевный, но и нечто большее: надежду?

С душой, полной растущих надежд, вернулся на стрельбище Фирмиан. Человеческое сердце, которое в делах, зависящих от случая, ведет расчеты прямо наперекор теории вероятности и, выиграв три номера под ряд, на этом основании надеется, что такая же удача повторится, — хотя именно отсюда следовало бы заключить как раз обратное, — или же рассчитывает добыть орлиную лапу потому, что достало скипетр для нее, — это человеческое сердце, не знающее меры ни в страхах, ни в надеждах, принес и адвокат с собой на стрельбище.

Однако он не смог подцепить орлиную лапу. В молитвенно сложенные кисти или когти капуцинского генерала, в эти показатели и переводные векселя двух передних окоороков, Зибенкэз тоже выпалил — безрезультатно.

Но это было не важно; от орла все еще уцелело больше, чем от Речи Посполитой, буде таковую или ее герб — серебряный орел в кроваво-красном поле — водрузили бы на трон или призовой птичий шест в качестве мишени для стрелкового общества, состоящего из нескольких армий.

Даже и держава еще не была сбита; № 69, неприятный предшественник, г-н Эверар Роза фон Мейерн, прицелился, чтобы выстрелить, — он хотел сорвать это запретное яблоко; этот мячик, эту игрушку, столь заманчивую даже для монархов, он ловил отнюдь не ради корысти, а лишь потому, что был воспламенен честолюбием; — он выстрелил — и с таким же успехом мог бы целиться в обратную сторону. Увидев, что для фруктов такого рода у него руки коротки, покрасневший Роза втерся в толпу

<sup>1</sup> Беллармин и равнины утверждают, что маслячную ветвь, которую Ною принес голубь, он отломил в раю, уцелевшем от потопа благодаря своему высокому местоположению.

зрительниц и принялся сам раздавать яблоки, а именно Парисовы, и каждой говорил, как она прекрасна, чтобы внушить ей, что сам таков. В глазах женщины ее панегирист сначала является очень *разумным* человеком, а в конце концов и весьма *красивым* человеком; Роза знал, что зерна фимиама представляют собою анисовое семя, на которое, как безумные, слетаются эти голубки.

Нашему герою не приходилось опасаться ни одного из тех, кто должен был сбивать плод перед ним, — ни второго, ни восьмого, ни даже девятого, — за исключением лишь одиннадцатого, а именно — чертовски меткого саксонца с его ружьем. Почти все семидесятники мысленно высказывали пожелание, чтобы этот проклятый висельничный номер отправился ко всем чертям, или, по крайней мере, в растительное царство, где он как раз отсутствует.<sup>1</sup> Парикмахер спустил курок, выстрелил в орлиную лапу, — и она вместе с державой осталась висеть там наверху.

Жилец и адвокат вступил на пост и в свои права; но домохозяин остался в тире, чтобы досыта начертыхаться по адресу своей злосчастной судьбы. Нацеливаясь своим кием в высоко вознесенный бильярдный шар державы, Зибенкэз решил метить отнюдь не в него, а в хвост орла, чтобы просто — стряхнуть плод с ветки.

Через миг держава, не удержавшись, упала, словно источенное червями яблоко. Саксонец разразился неопируемыми проклятиями.

В душе Зибенкэз чуть не сотворил молитву — не потому, что вместе с державой к нему на лоно посыпался золотой дождь, состоявший из оловянной горчичницы, сахарницы и пяти франконских флоринов, но потому, что был умилен благостью судьбы, согрет ее солнцем, вдруг засиявшим из круга дальних туч. «О милосердный рок, — подумал он, — ты хочешь испытать мою душу и потому помещаешь ее, — как люди делают с часами, — во всевозможные положения, в вертикальное и горизонтальное, в спокойное и беспокойное, чтобы посмотреть, верно ли она идет и правильно ли показывает. Клянусь, она выдержит испытание».

Он стал перебрасывать из одной руки в другую этот маленький яркий глобус, одновременно сплетая и разма-

<sup>1</sup> Как известно, не существует растения с одиннадцатью тычинками.

тывая следующий силлогизм: «Тут целая вереница дубликатов: бесконечные картины на картинах и пьесы в пьесах. Императорская держава является подобием земного шара и вместо ядра имеет в себе горсть земли;<sup>1</sup> моя держава, в свою очередь, является миниатюрным подобием императорской и содержит в себе еще меньше земли, а именно — нисколько; обе посудыны для сахара и горчицы опять-таки суть образы этого образа. — Как много последовательных умалений требуется, чтобы человек мог вкушать». — Большинство радостей человека — это лишь приготовления к радости, и добытые им средства он принимает за достигнутые цели; горячее солнце восторга наши слабые глаза видят лишь в семидесяти зеркалах наших семидесяти лет, его отражение каждое зеркало отбрасывает другому смягченным и побледневшим, и из семидесятого зеркала оно еле мерцает нам, оледенев и превратившись в луну.<sup>2</sup>

Фирмиан побегал домой, но без золотого яблока, ибо о том, что сорвал его, хотел поставить жену в известность лишь вечером. Ему было очень отраднo, когда он во время своих стрелковых вакаций мог из многолюдного сборища скользнуть в свою тесную, тихую каморку, поспешно рассказать важнейшие новости и затем снова нырнуть в шумную толпу. Так как его номер был соседом номера Розы, так что оба имели стрелковые каникулы в одно и то же время, то меня удивляет, что адвокат не встретил рентмейстера фон Мейерн на своем пути и под своим окном; ибо тот не преминул расхаживать там, задрав голову, словно муравей. Кто желает убить молодого господина такого сорта, пусть ищет его под окнами (а то и в окне) какой-нибудь девицы; так предусмотрительный садовник, желающий умерщвлять мокриц, знает, что сможет истребить их целыми партиями, если только приподнимет цветочные горшки.

---

<sup>1</sup> По крайней мере, один виттенбергский летописец сообщает, что внутри золотого яблока державы (которое, конечно, не смел тогда взрезать ни один нюрнбергец) содержится земля. *Вагензейль*, *De civ. Norimb.*, стр. 239.

<sup>2</sup> Д-р Гук советует астрономам отражать изображение солнца плоскими зеркалами до тех пор, пока оно не покажется погасшим. «История оптики» *Пристлея*.

В течение всего послеобеденного времени Зибенкэз не сбил больше ни щепочки; он теперь не смог сбить даже хвост, к которому с таким успехом обратился, чтобы овладеть державой Священной Римской империи. Поздно вечером он разрешил проводить себя домой, с местечковой милицией, под звуки флейт и барабанов. Перед дверью своей жены он, урча по-медвежьему, изобразил рождественского деда, пугающего и угощающего детей, и бросил ей, вместо всяких яблок — подстреленное. Пусть читатели не взыщут с него за эту шутку; но в сущности мне бы вовсе и не следовало рассказывать о таких пустяках.

Опуская голову на подушку, Фирмиан сказал жене: «Завтра в это время, жена, мы будем знать, улягутся ли на эти подушки две венценосных головы, или нет, — завтра, ложась спать, я тебе напомню эту минуту». — Когда утром он вскочил с постели, то сказал: «Сегодня я, пожалуй, в последний раз выхожу из дому как простой смертный, без короны».

Он еле мог дожидаться, пока снова увидит покрытую росой искалеченную птицу, всю усеянную огнестрельными ранами и осколками костей; но его надежда достреляться до короля продержалась лишь до тех пор, пока он не увидел орла. Поэтому он охотно согласился на предложение хитрого саксонца, который пулям своего соседа по нумерации все время расчищал дорогу своими; предложение было такое: «Делиться поровну прибылями и убытками от птицы и кардинала». Вступая в компанию, адвокат удвоил свои шансы, вдвое уменьшив их.

Однако за все утро оба соратника не сшибли ни одной крашеной щепки (стреляющим в деревянную птицу могут пригодиться лишь крашенные щепки, тогда как осам — лишь некрашенные). У каждого из них в глазах было написано, что другой его сглазил; ибо в делах, зависящих от случая, человек предпочитает суеверное объяснение полному отсутствию объяснения. Легкомысленная блудница вавилонская оказалась настолько неумолимой и неуловимой, что парикмахер один раз чуть было не влил заряд в парня, таскавшего ее из стороны в сторону.

Однако после полудня он наконец угодил своей стрелой Купидона в ее черное сердце, а заодно и в свинью. Фирмиан почти испугался; он сказал, что из этой свиньи,

этой сердечной опухоли на сердце вавилонской развратницы, он возьмет себе только голову, если не сойдет чего-либо сам. Теперь на шесте, словно на колу, сидел лишь птичий торс, подобный парламентскому охвостью, которое старались окончательно разогнать все жаждавшие монархии. Беглый огонь воодушевления перебегал теперь из одной груди в другую, разгораясь от каждой вспышки затравочного пороха на ружейной полке; и вместе с аркебузируемой птицей каждый раз вздрагивали все остальные стрелки, — за исключением г-на фон Мейерн, который ушел и, так как он видел, что все люди, а в особенности наш герой, пребывают в столь напряженном ожидании, зашагал прямо к г-же Зибенкэзше, надеясь, что ему куда легче будет сделаться королем над этой королевой, чем королем стрелков. Лорнет, сквозь который он теперь делился в голубку, как прежде в орла, — и который он, словно парижанин, держал перед собою и в комнате, — должен был ему помочь, как он полагал, подстрелить хоть голубку. Но прокрасться за ним в зибенкэзовскую комнату я и читатели успеем впоследствии.

Семьдесят номеров уже два раза тщетно заряжали ружья для королевского выстрела; живучий калека на шесте еле шевелился. Каждая пуля словно пронизывала и сотрясала бедные трепещущие людские сердца. Множились тревоги, множились надежды; но больше всего — проклятия, эти краткие моления чорту. В седьмом десятилетии нынешнего столетия часто поминали чорта богословы (когда опровергали или же доказывали его существование); но гораздо чаще — кушнапельские стрелки, в особенности патриции.

В числе средств против гнева Сенека пропустил простейшее: чорта. Правда, каббалисты очень восхваляют целебные свойства Шемгамфораша, имени противоположного; но согласно моим наблюдениям, нервная и желчная горячка гнева, явным симптомом которой является бред пациента, пожалуй, так же успешно, как при увещивании себя амулетами, ослабляется и устраняется, если призвать чорта; за неимением такового древние, совершенно лишённые сатаны, рекомендовали просто произносить весь алфавит, в котором, конечно, заодно плавает и имя чорта, но разбавленное многими буквами. Так и слово *абрака-*

*дабра*, произнесенное *diminuendo*, избавляет от телесной лихорадки; что касается воспалительной лихорадки гнева, то против нее приходится принимать тем больше чорта, чем больше *matéria pessans* (болезнетворного вещества) нужно удалить путем выделения через рот. Против небольшой досады достаточны «Чорт!» или «Дьявол!». Но против гневного колотья в боку я уже прописал бы «Чорта и его прапрабабушку!», и еще смешал бы это лекарство с *adjuvans* (усилителем) из нескольких «Гром и молния!» и «Анафема!», ибо целебная сила электрической материи общеизвестна. Разумеется, я и сам знаю, что против полного бешенства, собачьего или иного, эти специфические средства малодействительны; одержимому недугом этого рода я, конечно, посоветовал бы «провалиться ко всем чертям собачьим!» Чорт всегда является *лекарственным средством*; так как он своим ужалением ввергает нас в гнев, то сам же и должен быть принят против него, подобно тому, как ужаленных скорпионом исцеляют посредством раздавленных скорпионов.

Суэта и волнение ожидания произвели в толпе такую встряску, что дворяне перемешались с галеркой государства; дворяне или патриции забывают в подобных случаях, — так оно бывает и на охоте и в делах экономических, — что они собой представляют, а именно — нечто лучшее, чем *мещане*. По-моему, дворянину ни на минуту нельзя упускать из виду, что по отношению к народу он является тем же, чем современные актеры — по отношению к хору. Во времена Феспида хор пел и разыгрывал всю трагедию, и один-единственный актер, называвшийся протагонистом, добавлял к трагедии несколько речей без пения, Эсхил ввел второго, названного дейтерогонистом, а Софокл — даже третьего, триагониста. В позднейшие времена остались лишь актеры, а хор был совершенно упразднен, если не считать таковым рукоплещущую публику, клаку. Так и на земле, этом национальном театре человечества, хор, или народ, постепенно вытеснялся со сцены, — но только с большей выгодой, чем на менее обширном театре, — и из актеров, на должности которых предпочли определить протагонистов (монархов), дейтерогонистов (министров) и триагонистов (знать), был возведен в звание критикующих и хлопающих зрителей,

и афинский хор ныне восседает с комфортом в партере, возле оркестра и театра наших генеральных государственных представлений и действ.

Было уже половина третьего, а смеркалось рано; дырявая птица оставалась непоколебимой. Все клялись, что столяр, высидевший ее из чурбана, — каналья и смастерил ее из крепкого сучковатого дерева. Наконец, показалось, что облупленный и ободранный орел начинает оседать. Парикмахер, который, как все простые люди, был добросовестен лишь в отношении отдельных лиц, но не общества в целом, теперь, недолго думая, незаметно взял вместо двустволки двухпульные заряды, один для себя, другой для своего сотоварища, что смахивало на мошенничество, но помогло бы смахнуть орла. «Чорт и его прабабушка!» — сказал он после выстрела и тем самым применил, как должно, вышеуказанное прохлаждающее средство.

Теперь он понадеялся на своего жильца и вручил ему поэтому свое ружье. Зибенкэз пальнул вверх. «Провалиться бы мне, — сказал саксонец, — ко всем чертям собачьим», причем он с легкостью удвоил дозу чертей (как и дозу пуль) против своей горячки.

У приунывших компаньонов и ружья и руки опустились; ибо налицо имелось больше претендентов на престол, чем на римский во времена Галлиена, когда их было всего лишь тридцать. Огнестрельная септагинта попеременно вооружалась то ружьями, то подзорными трубами, хотя и небооруженным глазом было видно, что висящее в небесах созвездие уже содержит больше инородных тел, чем астрономическое созвездие Орла — небесных тел. Лица всех зрителей были обращены к птице, как у молящихся мусульман — к Мекке, или у евреев — к развалинам Иерусалима. Старая Забель, с ее лотком, полным всякой жратвы, осталась без покупателей и сама поглядывала вверх. Первые номера даже сочли излишним снова сыпать на полку порох, видя, что все равно придется класть зубы на полку. Фирмиан скорбел об онемевших людских сердцах, затопленных густой венозной кровью, для которых теперь заходящее солнце и закатное небо и просторы земли сделались незримыми или, вернее, съезжились и сосредоточились в деревяжке, разбитой в щепы; верным признаком,

что эти сердца держала в вечном заточении нужда, было то, что ни один не смог сделать шутливого намека на птицу или на добывание королевского сана. Человек способен замечать аналогии и связи лишь в таких вещах, которые не сковывают его душу. Фирмиан подумал: «Эта птица поистине является для этих людей чучелом-приманкой, как проданное мною с торгов, а деньги лежат на ней вместо мяса». Но все же были три причины, в силу которых ему хотелось бы сделаться королем, — во-первых, чтобы до упаду посмеяться над своим коронованием, во-вторых, ради своей Ленетты и, в-третьих, ради саксонца.

Вторая половина синедриона постепенно отстреляла, и первые номера зарядили снова, хотя бы только шутки ради. Уже ни один человек не стрелял без двойного заряда. Очередь наших двух побратимов приближалась, и Зибенкэз достал на время — так как вечер становился все темнее — более сильное зрительное стекло, которое он привинтил на ружье, словно искатель на телескоп.

№ 10 меткой пулей приподнял с петель препарированную птицу, и расстрелянная чурка уже держалась на них только своей тяжестью, потому что стрелки почти сплошь насытили и инкрустировали дерево свинцом, как некоторые источники пропитывают дерево железом.

Саксонцу требовалось лишь еле задеть орла или хоть его шест, чтобы безглавый хищник стремглав полетел на землю; даже было бы достаточно, если бы вечерний ветерок хоть раз дохнул посильнее. Домохозяин приложился, целился бесконечно долго (ибо теперь висели в воздухе пятьдесят флоринов), нажал спуск — вспыхнул только затравочный порох, — музыканты уже держали трубы горизонтально, а нотные листки вертикально, — мальчишки уже стояли вокруг шеста и собирались подхватить падающий остов, — дурашливый блюститель порядка от волнения перестал шутить, и его остолбеневшая душа сидела наверху, вместе или рядом с ошипанным орлом, — парикмахер, задыхаясь, опять спустил курок, — осечка повторилась, — он вспотел, вспыхнул, задрожал, зарядил, приложился, прицелился и выстрелил — в воздух, примерно на два-три гассфуртских дюкя над птицей.

Безмолвный, бледный и в холодном поту, он отступил без единого проклятия и даже, как я полагаю, втайне сотворил несколько молитв, чтобы милосердый господь помог его союзнику подцепить пернатую дичь.

Зибенкэз выступил вперед, — заставил себя думать о чем-то постороннем, чтобы утишить свое сердцебиение, — недолго целился в этот паривший в сумерках якорь своих мелких житейских бурь, — выпалил — и увидел, что чурка, подобно колесу Фортуны, трижды перевернулась наверху и, наконец, соскочила и полетела вниз. . .

При короновании прежних французских королей какая-нибудь птица всегда взлетала в небеса; при апофеозе римских императоров орел подымался из костра к небу; так при коронации моего героя орел слетел на землю.

Мальчишки и трубы загорланили, — часть народа пожелала узнать и увидеть нового короля, а другая хлынула навстречу паяцу, который бежал, неся при содействии ассистентов высоко поднятое вместилище и хранилище пуль, изрешеченное брюхо орла, — парикмахер бросился навстречу, крича: «Да здравствует король!», и сказал, что и сам заодно является таковым, — а Фирмиан молча стоял в дверях тира и был весел, но растроган. . .

Но теперь нам всем уже пора сбегать в город и посмотреть, добыл ли себе Роза у жены Зибенкэза, — в то время как муж восходил на трон, — еще более прекрасный трон, или же лишь позорный столб, и на сколько ступеней он поднялся к тому или другому из них.

Роза постучался в дверь Ленетты и немедленно вошел, чтобы она не успела выйти и увидеть, кто стучит. Он, мол, насилиу вырвался из компании стрелков и пришел сообщить, что вскоре явится и ее супруг, и такового он намерен дожидаться здесь. Тому опять как нельзя более повезло в стрельбе, — с этими истинами он пошел навстречу испуганной женщине, но с напускным, высокомерным полярным кругом на лице. В комнате рентмейстер стал равнодушно шагать взад и вперед. Он спросил хозяйку, не вредит ли ее здоровью нынешняя погода, похожая на апрельскую; его же она изнуряет лихорадкой. Ленетта боязливо стояла у окна, наполовину глядя на улицу и наполовину в комнату. Мимоходом он взглянул на рабочий столик, взял круглую бумажную выкройку чепца и нож.

ницы, но положил все обратно, потому что его заинтересовали несколько пачек булавок. «Здесь даже восьмой номер, — сказал он, — эти булавки слишком велики, мадам. Их головки можно бы взять вместо дробки номер один.<sup>1</sup> Вот вам дробь номер восемь, то есть пачка номер один. Дама, для которой вы ее употребите, должна быть благодарна мне». Затем он быстро подступил к ней и немного пониже ее сердца, где сна воткнула про запас целый колчан или колючую изгородь булавок, смело и спокойно вытащил одну; держа ее перед глазами Ленетты, он сказал: «Смотрите, что за скверная полуда; от каждого укола может сделаться нарыв». Он выбросил булавку за окно и, повидимому, намеревался извлечь остальные из области сердца, — куда судьба и без того уже вонзила множество плохо луженых, — и, пожалуй, даже воткнуть свою пачку в эту прекрасную подушечку для иголок. Но Ленетта с ледяной холодностью сказала: «Не трудитесь». — «Надеюсь, что ваш уважаемый супруг скоро придет, — сказал он и посмотрел на часы. — Стрельба должна бы уже давно закончиться».

Он снова взял в руки бумажный эскиз чепца и ножницы, но, увидев, что ее взгляд выражает опасение, как бы он не испортил ей выкройку, предпочел извлечь окунутый в Гиппокрену поэтический листок и для препровождения времени сложил его в многогранник и стал разрезать по спирали на концентрические сердца. Он, который, словно авгур, всегда стремился похитить сердце у своей жертвы и у которого, словно у кокетки, утраченные сердца немедленно отрастали заново, как хвосты ящериц, — он всегда имел на языке слово «сердце» (которое немцы и вообще мужчины почти страшатся упоминать), а в руках — разные изображения такового.

Как я полагаю, булавки и полные рифм сердца он здесь оставил потому, что женщина всегда с любовью думает об отсутствующем, когда созерцает оставленные им сувениры. Роза принадлежал к людям такого сорта (они бывают и среди мужчин и среди женщин), которые неспо-

---

<sup>1</sup> Для сведения читателей я сообщаю, что крупный номер означает крупные булавки, а для сведения читательниц сообщаю, что он означает мелкую дробь.

собны проявить проницательность, остроумие и сердце-  
вение, кроме как в любви к другому полу.

Теперь он стал путем настоячивых вопросов извлекать из нее всевозможные рецепты стирания и стирки, которые она, несмотря на добродетельную односложность своих ответов, принялась выписывать с величайшим обилием слов и специй. Наконец он стал готовиться к отбытию и сказал, что возвращение ее супруга было бы желательно, так как есть некое дело, о котором с ним неудобно было говорить там, на стрельбище, среди стольких людей и в присутствии г-на фон Блэз. «Я приду еще раз, — добавил он, — но главную суть я скажу вам самой» — и, держа трость и шляпу, уселся перед Ленеттой. Он только что хотел начать, как вдруг заметил, что она стоит; тогда он положил все, что имел в руках, и поспешил поставить для нее стул против своего. Соседство Розы ласкало, по крайней мере, ее шнейдеровскую оболочку; он райски благоухал, его носовой платок был словно мускусный мешок кабарги, а голова — словно кадилый алтарь или увеличенный ци-бетовый шарик. Так и все гадюки, по наблюдениям Шоу, выделяют своеобразно и приятно пахнущие испарения.

Рентмейстер начал: она, конечно, легко догадается, что речь идет о злосчастном процессе с господином тайным.

Хотя господин адвокат для бедных в сущности и не заслуживает, чтобы о нем хлопотали, но он имеет прекрасную супругу, которая этого заслуживает. (Он оттиснул «прекрасную» крупным шрифтом, невзначай стиснув ей руку.) Он, Роза, может поставить себе в заслугу то, что трижды побудил г-на фон Блэз отсрочить его «Нет», ибо сам он до сих пор не мог переговорить с господином адвокатом. Но теперь, после нового инцидента, когда пасквиль, написанный г-ном Лейбгебером (руку которого все хорошо знают), появился на фигурной печи господина тайного,<sup>1</sup> ожидать от последнего уступок и тем более выдачи наследства совершенно не приходится. Однако при мысли об этом у него прямо сердце кровью обли-

<sup>1</sup> Ведь все еще помнят из второй главы, какое оскорбительное обращение к Блэзу написал Лейбгебер симпатическими чернилами на печи, изображавшей Справедливость. Поэтому когда в один холодный осенний день пришлось растопить Фемиду по случаю приема большого общества, то краткий пасквиль, называвший хозяина блю-

вается, тем более, что он, с тех пор как стал хворать, слишком близко принимает все к сердцу; он прекрасно знает, в какое упадочное состояние пришло вследствие этой тяжбы ее (Ленетты) хозяйственное обзаведение, и многократно о том сокрушался, но, увы, тщетно. Поэтому он радостно ей дал бы займообразно, сколько ей требуется, на текущие расходы, — ведь она его еще не знает и, может быть, даже не представляет себе, что он из чистого человеколюбия делает ежемесячно для шести кушнапельских богоугодных заведений, но он имеет на то доказательства.

Действительно, он вытащил и предъявил ей шесть квантаний благотворительных комиссий. Я не оправдал бы своей репутации беспристрастного человека, если бы не признал напрямик, что рентмейстер с юных лет проявлял на деле некоторое стремление благотворительствовать и помогать нуждающимся любого возраста и пола и что именно сознание своего великодушного образа действий, в сравнении с обычной мелочностью и скупостью кушнапельцев, заставляло его несколько гордиться своим превосходством над скаредными судьями его щедро оплачиваемых обольщений. Ибо его совесть удостоверяла, что эти грехи он совершал лишь с предшествующей метаморфозой из паука в благодетельный драгоценный камень, и только после обратного превращения снова принимался ткать переливчатую паутину, усеяв которую сверкающими слезинками росы, улавливал кое-какую добычу.

Однако для такой женщины, как Ленетта, продолжал рентмейстер, он готов сделать несравненно больше; пусть сему служит доказательством хотя бы то, что он не обращает внимания на враждебные замыслы тайного против ее дома, а сам безропотно терпит такие речи ее мужа, которые он, как патриций, право же, не привык проглатывать от кого бы то ни было. «Так ради бога требуйте же денег, сколько вам нужно» — закончил он.

Трепещущая Ленетта сгорала от стыда при разоблачении ее бедности и закладов. Увидев ее волнение, Роза по-

---

стителем неправосудия и тому подобное, от нагрева стал доступен для прочтения большей части гостей, прежде чем догадались соскочить его. Но фон Блэз не утаил, что пасквиль сочинен либо Лейб гебером, либо Зибенкэзом.

пытался утишить эти волны несколькими сглаживающими каплями масла, а потому стал заранее порицать свою байрейтскую невесту. «Она слишком много читает и слишком мало работает, — сказал он, — а потому я хочу, чтобы она поучилась у вас вести хозяйство. Право, женщина, подобная вам, которая, сама того не ведая, обладает столькими достоинствами, столь терпелива, столь прилежна в домашних работах, должна бы иметь аренной деятельности совершенно иное хозяйство». Теперь ее рука лежала неподвижно, подвергшись личному задержанию в колодках его рук; унижительное сознание своей нищеты парализовало Ленетту настолько, что она не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, ни даже языком. Ласковость и жадность рентмейстера по отношению к женщинам не признавали никаких границ и стремились по-воровски скрыть все межевые знаки; большинство мужчин в своей сокрушающей алчности подобно сойке, ошипывающей гвоздику, чтобы выклевать ее семена. Он вперил в потупленные глаза Ленетты долгий, влажный, любящий взор и не отвел его даже и после того, как она их подняла; так он намеренно, — тем, что насильно удерживал веки раскрытыми и притом еще думал о трогательных вещах, — извлек из глазных впадин даже больше капель, чем нужно, чтобы утопить *еще меньших* колибри. Всякое притворное волнение становилось в нем искренним, как у хороших актеров, и каждая лезть превращалась в настоящее обожание. Ощувив достаточно капель на глазах и вздохов в груди, он спросил: «Знаете ли вы, отчего я плачу?» Невинным, просто-душно-испуганным взором она взглянула в его глаза, и из ее собственных заструились слезы. «Оттого, — продолжал он, ободренный этой удачей, — что *ваша* участь не столь хороша, как вы того заслуживаете». — Себялюбивый пигмей! Теперь ты должен был бы пощадить смятенную душу, утопающую в слезах долгого печального прошлого.

Но он, знавший лишь искусственные, мимолетные, ничтожные бутафорские горести и никогда не ведавший настоящих убийственных мук, не пощадил страдальцу. Однако то, что он хотел сделать *мостом* между своим и ее сердцем, а именно — скорбь, сделалось, напротив, *слагбаумом*; а этой *заурядной* честной женщины он танцем или иным увеселением, опьяняющим чувства, до-

стиг бы больших успехов, чем тремя кружками себялюбивых слез. Обнадеженный, он свалил свою благоухающую голову, с ее клажей скорби, на руки Ленетты, лежавшие на коленях. . .

Но Ленетта вскочила так стремительно, что он еле успел последовать за ней. Она посмотрела ему в глаза вопрошающим взором. . . Честные женщины, как я полагаю, имеют собственную теорию о молниях взгляда и умеют отличить серные адские от чистых небесных, — распутник не знал, что его око сверкает, как Моисей этого не знал обо всем своем лице. Ее глаза отвратились от него, словно от опаляющих лучей; однако мой долг историка, — теперь, когда столько тысяч читателей и я сам ополчились на беззащитного Эверара, — не позволяет мне утаить, что Ленетта в течение всего вечера развертывала в своем воображении несколько грубые и вольные зарисовки с театра военных действий всех распутников и в особенности присутствующего, сделанные для нее советником Штибелем посредством очень толстого рисовального угля, а потому смущалась и настораживалась при каждом наступлении и отступлении Розы.

И все же в дальнейшем мне придется вредить бедняге каждым написанным мною словом; и многие дамы, которые из салических законов или из Мейнерса знали, что в старину тот, кто прикоснулся к женским пальцам, должен был платить в точности такую же виру, как отрубивший пальцы мужской руки, а именно — пятнадцать шиллингов, — эти дамы, уже столь сильно рассерженные пожатием пальцев Розы и желающие его наказать, станут совсем непримиримыми, когда я продолжу свой рассказ, так как из Mallet<sup>1</sup> они знают, что в старину люди, целовавшие, не имея на то согласия, изгонялись из страны судебным порядком. Более того, многие современные женщины еще придерживаются суровых древнегерманских кодексов: похитившего поцелуй они хотя и не изгоняют из комнаты, но зато, — так как по закону<sup>2</sup> изгнание из страны и запрещение удаляться из определенной мест-

<sup>1</sup> Малле, Введение в историю Дании.

<sup>2</sup> Стр. 159 Уст. Уголовн. Судопроизв.

ности суть взаимно заменяющие репрессии, — заставляют в ней остаться; точно так же похитившего сердце они не преминут покарать по всей строгости уголовного уложения, а именно уложить на свое ложе.

Вскочившему Розе кровь бросилась в голову, и ему не оставалось ничего иного, как загладить свою вину еще большей, — он бросился на шею мраморной богине. . .

Но прежде чем рассказывать дальше, я должен сделать одно замечание. Дело в том, что многие добросердечные красавицы прикрывают свой отказ согласием; чтобы сохранить достаточно сил для своей добродетельной стратегической операции, они не защищают второстепенных объектов и сдают целый ряд владений и укреплений, словесных и туалетных, дабы искусно предвосхитить и предупредить замыслы атакующего: так разумные коменданты сами сжигают свои предместья, чтобы лучше защищаться наверху, в своей крепости.

Это соображение я привел только для того, чтобы указать, что оно совершенно неприложимо к Ленетте. Она, с ее ангельски-чистой душой и телом, могла бы отправиться прямо на небеса, даже не переодевшись, и могла бы захватить с собой туда наверх все — свои очи, свое сердце, свое одеяние, но только не язык, ибо он произносил невоспитанные и необдуманые речи. Воровскому посягательству Эверара на ее уста она дала отпор такого рода, который был слишком серьезен и невежлив при столь мелкой покраже; он был бы менее резким, если бы суровые предостережения против Розы, высказанные советником, не засели так прочно в памяти Ленетты.

Роза рассчитывал на более приятную степень сопротивления. Его упорство несколько ему не помогло — против большего упорства. Целый комариный рой страстных порывов назойливо жужжал в его душе. Но когда Ленетта сказала — она, несомненно, заимствовала это от советника: «Милостивый государь, ведь гласит же священное писание: не пожелай жены ближнего твоего», — то, сойдя наконец с перепутья между любовью и гневом, он быстро полез к себе в карман и вытащил оттуда букет искусственных цветов. «Ну, так согласитесь вы, противная, бессердечная, взять хоть эти незабудки на память, — чорт побери, мне-то ведь больше ничего ненадобно». Ему

в тот же миг понадобилось бы больше, если бы Ленетта взяла цветы, но она, отвратив взоры, обеими руками отстранила букет обратно. Тогда в его душе медовые соты лубви скисли в крепчайший медовый уксус. Чертовски взбешенный, он свырнул цветы далеко на стол и сказал: «Этo ваши собственные залoженные цветы, — я их выкупил у оценщицы, — уж придется вам оставить их у себя». Теперь он ретировался, но с поклоном, и уязвленная Ленетта ответила тем же.

Она взяла отравленный букет и стала его рассматривать у более светлого окна, — ах, правда, это были те самые розы и бутоны, на железных шипах которых словно засохла кровь двух исколотых сердец. Пока Ленетта, плачущая, изнемогающая, глядела в окно не столько пристальным, сколько оцепеневшим взором, она удивилась, что мучитель ее души, который шумно сбежал вниз по лестнице, все же не вышел из входных дверей дома. После долгого внимательного ожидания, во время которого страх, словно утешение, заглушал горе, а будущее заглушало прошедшее, галопом примчался, насвистывая и заломив шляпу на самый затылок, коронованный парикмахер и на полном ходу лишь мимоходом крикнул наверх: «Госпожа королева!» Ибо ему не терпелось ворваться в свою собственную комнату и провозгласить сразу четырех человек королями и королевами.

Теперь я вынужден взять читателя с собою в тот угол, где засел рентмейстер. Прямо от Ленетты он сошел и снизошел к парикмахерше, одной из тех простых женщин, которым круглый год даже в голову не приходит, — ибо ни одна лошадь столько не работает, сколько они, — что можно бы изменить мужу, и которые это делают лишь в том случае, когда появляется соблазнитель, — причем они его не приманивают и не избегают, а всю историю, пожалуй, помнят лишь до ближайшей выпечки хлеба. Вообще то превосходство, которым, по мнению большинства почтенных горожанок, обладает их верность по сравнению с верностью более высокопоставленных дам, столь же велико, как и сомнительно, ибо в средних сословиях имеются лишь немногие соблазнитель — и к тому же лишь грубые. Роза был, подобно дождевому

чёрвю, имеющему на протяжении своего тельца целый десяток сердец,<sup>1</sup> начинен и наштапован столькими сердцами, сколько существует разновидностей женщин; для изящных, грубых, добродетельных, беспутных — для всех он имел про запас особое сердце. Ибо, подобно Лессингу и другим, которые столь часто порицают одностронний вкус и проповедают критикам вкус универсальный, восприимчивый к красотам искусства всех эпох и народов, светские люди столь же усердно доказывают необходимость универсального вкуса к живой, двуногой красоте, не исключаящего никакую манеру и умеющего наслаждаться всякой. Таковым обладал и рентмейстер. В его душе существовало такое различие между его чувствами к парикмахерше и к Ленетте, что из мести к последней он на лестнице решил пренебречь этим различием и прокрасться к домохозяйке, муж которой тем временем трудился вне дома и вступал в конфедерации, помогаясь совершенно иного коронования. София (так ее звали) всегда расчесывала парики у переплетчика, когда там сидел рентмейстер, отдававший в переплет романы своей жизни; там он и она взглядами сказали друг другу все, что не терпит чужого взгляда. Теперь Мейерн вошел в комнату бездетной семьи с отважным видом поэта, начинающего творить эпопею. В комнате имелась дощатая перегородка, за которой почти ничего не было — ни окна, ни стула, а лишь немного тепла из комнаты, стеной шкаф и супружеская постель.

Сразу же после первых комплиментов Роза стал в дверях перегородки, так как не хотел в столь позднее время внушить непристойные подозрения каждому мимоидущему постороннему зрителю, ибо окно находилось на уровне улицы. Как вдруг София увидела, что мимо окна бежит ее супруг. Грешные намерения выдают себя избытком осторожности; Роза и София так сильно всполошились при появлении бегуна, что последняя посоветовала дворянину укрыться за перегородкой, пока ее муж не отправится обратно на стрельбище. Рентмейстер, спотыкаясь, залез в святая-свя-

---

<sup>1</sup> Их обнаружил брат д-ра Гентера. См. «Путешествие по Англии» Галема.

тых, а София встала во вратах чулана и, когда ее муж отворил дверь и вошел, сделала вид, будто выходит из них, и прикрыла их за собой. Едва он выпалил весть о возведении в высшее звание, как умчался с воплем: «Та, наверно, ничего еще не знает». Радость и поспешная выпивка загуманили и спутали даже самые светлые его мысли; он выбежал на лестницу и закричал снизу наверх, так как хотел поскорее вернуться и примкнуть к шествию стрелков: «Мадам Зибенкэша!» Та быстро спустилась до середины лестницы, с трепетом выслушала отрадное известие — и, для того ли, чтобы скрыть свою радость, или же вследствие усилившейся любви к более удачливому супругу, или же под влиянием тревоги, этой неразлучной спутницы счастья, — бросила сверху вопрос, находится ли еще внизу г-н фон Мейерн. «Разве он был здесь у меня?» — спросил тот, — а его жена, непрошенная, возразила из-за дверей комнаты: «Да разве он был у нас в доме?» — Ленетта недоверчиво ответила: «Да, здесь наверху, — но только он еще не вышел на улицу».

Парикмахеру это внушило подозрения, — ибо чохоточные не верят женам и, словно дети, принимают каждого трубочиста за чорта с рогами, — а потому он сказал: «Тут что-то неладно, Софель». Скоротечная мозговая водянка от сегодняшней выпивки и половинная доля в троне и в пятидесяти флоринах настолько придали ему храбрости, что он мысленно решил отдубасить рентмейстера, если поймает его законопротивно спрятанным в каком-нибудь углу. А потому он пустился путешествовать в поисках открытий — прежде всего в сених, и след и запах дичи ему заменяла благовонная голова Розы; за облачным столпом фимиама он проследовал в комнату и наконец заметил, что ариаднина нить, аромат, становится все крепче и что здесь, под этими цветами, скрывается змея: так по Плинию, благоухающие леса обычно служат приютом для ехидн.<sup>1</sup> София хотела бы провалиться в самый нижний круг Дантова ада, но в сущности она уже пребывала там. Куафер сообразил, что если рентмейстер действительно находится у него в захлопнутой западне чулана, то медведь не уйдет из ловушки, а потому решил

<sup>1</sup> P. H. N. XII, 17.

туда не заглядывать до самого конца поисков. Исторически достоверно, что он схватил завивальные щипцы, чтобы этими акушерскими щипцами извлечь младенца из темной утробы чулана. Внутри он повернул клещи горизонтально, однако ни на что не наткнулся ими. Тогда он стал тыкать своим зондом или шупом во многие места, сначала в кровать, затем под кровать, но каждый раз принимал меры предосторожности, а именно — размыкал и смыкал свои кусачки (они не были накалены), на случай, если железные челюсти капкана захватят в потемках какой-нибудь локон. Но тиски сжимали только воздух. Тут парикмахер добрался до стенового и платяного шкафа, дверь которого уже в течение шести лет оставалась гриоткрытой, так как в этом безалаберном хозяйстве столько же лет тому назад был потерян ключ, а потому приходилось остерегаться, чтобы замок не защелкнулся; но сегодня дверь была плотно притянута — это сделал рентмейстер, который, весь в поту, стоял внутри. Парикмахер, надавив на нее, окончательно запер ее на замок и тем самым накрыл перепела сетью.

Теперь он спокойно мог делать все, что хотел, и не спеша устраивать все дела, ибо рентмейстер не мог улизнуть.

Багрово-красную, огрызающуюся Софию муж послал за слесарем и его стенобитным тараном; но она твердо решила, что вернется с какой-нибудь ложью вместо слесаря. После отбытия жены Мербицер привел с верхнего этажа сапожника Фехта, чтобы тот одновременно был свидетелем и подручным при выполнении его замыслов. Башмачник прокрался за ним в комнату. Чахоточный подошел снаружи к канареечной клетке и заговорил с заточенной внутри нее птицей, постучав клещами в ворота замка св. Ангела: «Сударь, я знаю, вы там внутри, — шевелитесь, не бойтесь, — пока я здесь еще один как перст, я потихоньку взломаю клещами шкаф и выпущу вас!» — Он приложил ухо к дверям этой Шпандауской крепости и сказал, услышав, что арестант вздыхает: «Вот вы теперь пыхтите, сударь, — я тут, у двери, — когда слесарь придет и взломает ее, мы все вас увидим, и я созову весь дом. Но я требую немногого — и дам вам улепетнуть без огласки: я хочу получить только вашу шляпу и малую толику грошей и ваши заказы».

Наконец узник постучал изнутри в дверь своей камеры и сказал: «Да, я торчу тут внутри. Только выпусти меня, ты все получишь. Я изнутри помогу ломать». Парикмахер и башмачник принялись взламывать своим орудием решетку замковой темницы, а пленник напирал на нее изнутри; во время штурма триумфальных ворот куафер продолжал вести переговоры и обязал затворника принять на себя оплату слесаря, — и, наконец, Роза появился на свет, во всеоружии, словно Паллада из вскрытой черепной коробки. «Без меня, — сказал Фехт, — хозяин ни за что не смог бы открыть».

Роза вытаращил глаза при виде этого добавочного избавителя от личного ареста, снял благоуханную шляпу, — хмельной парикмахер водворил ее себе на голову и, следовательно, под вещный арест, — окропил обоих несколькими каплями золотого дождя из жилетного кармана и поспешил (из страха перед этими двумя и слесарем) с непокрытой головой убраться во-своися под покровом темноты. А парикмахер, макушке которого не далеко было до тройного венца прежних императоров<sup>1</sup> и нынешних пап, — ибо птица наделила его короной, рентмейстер — шляпой, а жена тоже хотела нацепить ему кое-что на голову, — парикмахер, развеселившись, пошел в новом фетровом мученическом венце (из-за которого он в течение всей стрельбы завидовал рентмейстеру) из дома на стрельбище, чтобы на этот раз вернуться в торжественном шествии, вместе со своим соимператором и в сопровождении своих верноподданных и вассалов.

Свою шляпу, уже более приличествующую сокоболу, парикмахер снял перед своим царственным собратом, Зибенкэзом, и рассказал ему кое о чем. Тайный фон Блэз улыбался сегодня как Домициан, ласковее, чем когда-либо, причем птичьему королю стало не по себе, ибо ласковость и улыбка действуют на сердце, как *spiritus nitri* на воду, а именно — делают холодное еще холоднее, а горячее — еще горячее; от такой ласковости можно было ожидать лишь противоположного ей, подобно тому, как

---

<sup>1</sup> Как известно, на императоров Священной Римской империи возлагалась золотая корона в Риме, серебряная в Аахене и железная в Павии. Монарх имеет голову, способную носить всякие короны, из всяких стран и из всяких металлов, даже из ртути.

в старинной юриспруденции<sup>1</sup> большая набожность женщины считалась признаком того, что она вступила в союз с дьяволом. Из орудий, которыми пытали Христа, получились священные реликвии, но часто из таких вот святынь реликвий и получают орудия пыток. — Великолепное шествие двигалось под приветливым мерцанием всего трепетного звездного неба, в которое взлетали новые со-звездия взрывающихся ракет. Те номера, чья очередь была после короля, выпалили в воздух и этой канонадой как бы салютовали царственной чете. Два короля шли рядом, и тот из них, который состоял в парикмахерском цехе, от счастья и пива не мог как следует стоять, а потому охотно воссел бы на трон. Но говоря об этом, об этих семидесяти последователях орла и двух имперских наместниках, мы упускаем из виду совершенно иные предметы —

— а именно присутствующих здесь городских или, точнее, местечковых солдат.<sup>2</sup> Я намерен много поразмыслить и лишь немного порассказать о них. Муниципальное или территориальное ополчение, в особенности кушнаппельское, — это внушительная дружина, которую содержат лишь как символ презрения к врагам, ибо она всегда неучтиво обращает к ним спину и то, что пониже ее; так же все карточные фигуры всегда обращены тыльной стороной к противнику. Если враг отважен, то дружина, подобно храбрым спартанцам, поклоняется боже-ству страха; и подобно тому как поэты и актеры должны сами испытывать и глубоко переживать те чувства, которые они желают сообщить другим, так и означенная дружина сначала старается сама проявить панический страх, который она хочет вселить во врага. И вот, чтобы причить к мимике испуга такого оруженосца или мирно-носца, его ежедневно пугают, когда он стоит на посту у

---

<sup>1</sup> Цангер и Гейль считают недобрым признаком учащенные вздохи при произнесении имени Иисуса, ранний приход в церковь и поздний уход оттуда: здесь, мол, что-то неладно, и дело не обошлось без чорта.

<sup>2</sup> Нынешнему ополчению не причитается ничего (или почти ничего) из той хвалы, которую я воздал преждему в первом издании; с гораздо большим основанием на такую теперь могут претендовать регулярные армии мелких суверенов.

ворот: это называется сменять караул. Миротворительный соратник, подступив к караульной будке, с мирными намерениями и боевыми кликами производит перед самым носом часового угрожающие движения; часовой тоже вопит, подает несколько признаков жизни движениями ружья, а затем, положив оружие, удирает; победитель, после краткой зимней кампании, удерживает за собою поле сражения и надевает постовую шинель, которую он снял с того в качестве военной добычи. Но чтобы пуганию не подвергался лишь один-единственный человек, тогда как другие были бы лишены этого преимущества, устроено так, что все попеременно одерживают победу. На войне такой воин, преисполненный божьего мира, часто может оказаться очень опасным, если он во время бегства слишком далеко отшвырнет свое ружье со штыком и таким образом загарпунит чрезмерно пылкого преследователя. Драгоценные ополчения такого рода, для большей их безопасности, ставятся в публичных местах, где они всегда неприкосновенны, например у городских ворот, так что эти гарпунщики превосходно охраняются городом и его воротами; но когда я проходил мимо, мне часто представлялось желательным, чтобы такому дипломатическому рыцарю дали в руку толстую дубину, дабы ему было чем обороняться в случае, если какой-нибудь проезжий вздумает отобрать у него ружье.

Я заранее примирился с мыслью, что многим покажется, будто я здесь стараюсь искусно скрыть недостатки ополчений; но не трудно видеть, что моя хвала распространяется также и на все маленькие регулярные княжеские армии, которые набирают, чтобы с их помощью забирать. Об этом я теперь и намерен высказаться. Вильом советует воспитателям обучать детей игре в «солдатики», воинским упражнениям и караульной службе, чтобы посредством этой игры развить в них гибкость и стойкость тела и духа, то есть чтобы выправить и закалить их. В институте Кампе эта «игра в солдатики» уже давно в ходу среди воспитанников. Но неужели г-ну Вильому ничуть не известно, что эти предложенные им школьные упражнения уже давным-давно были введены каждым порядочным мелким имперским князем? В чем же тут новизна, когда я могу заверить, что молодых здоровых парней, как

только они дорастут до *указной меры*, князя призывают и муштруют, чтобы вышколить своих верноподанных в суровой казенной школе дисциплины и обучить выправке, погес и прочим дисциплинам? И, действительно, даже в самых крохотных имперских землях и княжествах солдаты часто обучены всему, словно настоящие, они отдают честь, стоят навтыяжку у парадных подъездов и хотя не умеют брать крепостей, но зато умеют брать «на караул!» и вообще делать все, чему пудель научается легко, а мужлан — с трудом. Из этих военных экзерциций я заключаю, что многих людей, разумных во всем прочем, удалось уговорить, чтобы они бутафорскую солдатню имперской мелкоты принимали за настоящую и серьезную, хотя они могли бы понять, что со столь маленькими армиями нельзя ни защищать малую страну, ни нападать на большую и что этого и не требуется, так как в Германии равноправие религий уже заменяет равновесие сил. Голод, холод, лишения и тягости — вот преимущества, которые, словно столько же школ терпения, Вильом хочет создать для своих питомцев путем игры в солдаты; но именно эти самые преимущества, — и еще лучше, чем Вильом, — предоставляет вышеозначенным парням казенная реальная школа, в чем и заключается ее смысл. Разумеется, мне известно, что нередко целую треть населения страны не берут в солдаты и, следовательно, ничему не обучают; но, с другой стороны, не подлежит сомнению, что поскольку уже удалось достигнуть, чтобы две трети населения имели на плече ружье вместо косы, то последней трети, — так как ей приходится тогда гораздо меньше косить, жать и жрать, — означенные преимущества (голода и т. д.) достаются почти даром, без единого выстрела. Стоит лишь умножить в достаточной мере число казарм в какой-либо земле, земельке, ландграфстве, маркграфстве или просто графстве, как остальные дома сами собой примкнут к казармам в качестве предместий и служб или даже настоящих монастырей, в которых три монастырских обета, — настоятелем, умеющим настоять на своем, является здесь не кто иной, как монарх, — не столько приносятся, сколько свято соблюдаются,

Теперь мы слышим, как два имперских наместника вступают в свое жилище. Куафер ничем не карает свою супругу, кроме рапорта о происшедшем, и показывает ей головной убор. Адвокат наградил свою поцелуем, в котором она отказала чужим устами, и порадовался если не рассказу, то рассказчице, ничего не утаившей от него, кроме букета и упоминания о таковом: она не хотела омрачить мужу его нынешний радостный вечер и наводить его на мысль об обидах и упреках, имевших место в тот вечер, когда букет отдавали в залог. Как и многие читатели, я ожидал, что уведомление о восшествии на престол Ленетта примет слишком холодно, — однако, вопреки всем нашим ожиданиям, она это сделала слишком радостно, по двум уважительным причинам: известие она получила уже часом раньше, а потому успела отбыть обычный женский траур в честь неожиданной радости и уже начала радоваться ей: ибо женщины подобны термометру, который при быстром нагреве сначала падает на несколько градусов, а затем уже поднимается во-всю. Вторая причина, сделавшая ее столь уступчивой и отзывчивой, заключалась в постыдной мысли о предыдущем визите и утаенном букете; ибо мы часто бываем жестоки потому, что были тверды, и нередко проявляем терпимость потому, что нуждаемся в ней. А теперь я желаю всей королевской фамилии приятного сна и благополучного пробуждения в восьмой главе.

## ВОСЬМАЯ ГЛАВА

*Соображения против уплаты долгов. — Богатая бедность в воскресенье. — Коронационные торжества. — Искусственные цветы на могиле. — Новые рассады чертополоха ссор.*

Зибенкэз, сделавшийся королем и все же оставшийся адвокатом для бедных и собратом дровосберегающей компании, — проснувшись на следующее утро, оказался таким человеком, который мог, за вычетом издержек, в любой момент выложить на стол наличными сорок франконских флоринов. Все утро он вкушал наслаждение, имеющее особую прелесть для добродетельных людей,

расплачиваться с долгами: прежде всего саксонцу за квартиру, по миниатюрным счетам пекарей, мясников и прочих больничных служителей, ухаживающих за нашей немощной машиной. Ибо он был подобен знатнейшим особам, которые у ничтожнейших берут в долг только съестные припасы, но отнюдь не деньги; так и многие судьи позволяют себя подкупить лишь припасами, но не деньгами.

Впрочем, то, что он платит свои долги, отнюдь нельзя ему вменить в вину, ибо известно, что он — человек хутородный или даже совсем безродный. Для человека знатного происхождения естественнее и пристойнее не платить проценты по своим долгам, — к чему его даже обязывают крестовые походы, так как его отдаленные предки, участвовавшие в таковых, числились в непосредственном ведении папского престола: а посему были изъяты от всякого процентного обложения они сами — и, тем более, их долги. Ибо ссужать деньгами человека с деликатным чувством чести, например придворного, означает более или менее поранить таковое. Это оскорбление своего чувства деликатный человек старается простить, а потому стремится выкинуть из памяти все оскорбление со всеми обстоятельствами; если оскорбитель его чувства чести напоминает ему о таковых, то он с истинной деликатностью делает вид, будто просто не может вспомнить, что был оскорблен. Напротив, грубые дворянчики или офицеры в походе действительно платят и сами выбивают, — как в Алжире, где каждый имеет право выпуска денежных знаков, — потребную им монету. На Мальте имеется в ходу и обращении кожаная монета, достоинством в шестнадцать су, ободковая надпись которой гласит «*pop aes, sed fides*»;<sup>1</sup> этой юфтяной монетой, хотя и отчеканенной не в круглой, а в продолговатой форме, подобно спартанским деньгам, — почему она чаще именуется ременной или собачьей плеткой, — провинциальные и мелкопоместные дворяне платят своим кучерам, евреям, столярам и прочим кредиторам, до полного их удовлетворения и умиротворения. — Да, мне лично слу-

<sup>1</sup> «Etudes de la Nature», часть III, стр. 220. Автор настоящей книги, будучи учеником Руссо, является сторонником друзей Руссо.

чалось видеть, как офицеры, дорожащие своей честью, снимали со стены или с пояса шпагу и ею по-настоящему расплачивались означенной античной ходячей монетой, — ведь и у храбрых спартанцев оружие вместе с тем служило и монетой — с чистильщиком сапог, просящим заработанные деньги, причем последний к тому же оказывался лучше отполированным, чем бóльшая часть сапог, за чистку которых он требовал денег. Так неужели же, с точки зрения отвлеченной морали, является проступком, если и носители высших военных чинов так же расплачиваются со своими мелкими долгами и нередко, когда ничтожный портняжка требует от них презренного металла, берут железный аршин у него из рук и отсчитывают ему, — причем, кстати, мерят ему той же самой мерой, какой он мерил их самих и их шубы, — если не на ладонь, то по месту, способному выдержать подобную тяжесть, всю сумму сполна, и не простыми разменными монетами или ассигнациями, но благородным металлом, которого не имело даже богатое Перу, а именно — означенным железом. По крайней мере, британцы не имели никакой монеты, кроме длинных железных стержней; короче их была арабская проволочная монета, так называемый *Lain*, длиною в дюйм и достоинством в шестнадцать крейцеров (см. «Вексельную энциклопедию» Эйлера). Головорезам Суматры отрезанные вражеские головы служат взамен наших *Louis d'or* и монетных головок; и за эту драгоценную монету, за вражескую голову ремесленника, исполнившего заказ, нередко хватает благородный должник, исключительно для того, чтобы ублаготворить кредитора. Однако в обязательственном праве и в самоновейшем прусском кодексе отсутствует требование о том, чтобы в тексте долгового обязательства кредитор заранее оговаривал, каким из двух видов денег, имеющих хождение и взаимно равноценных, он желает получить платеж от своего высокопоставленного и низкопробного должника, звонкой монетой или же по боями. . .

В этот четверг, утром, Зибенкэз имел случай поупражняться в диспутах, решая щекотливый вопрос о половине сердца или свиньи кардинал-протектора, которую вице-король, куафер, хотел ему навязать, чтобы тем вернее по-

лучить половину королевского выстрела. Получив такую, то есть двадцать пять флоринов, саксонец стал спорить менее пылко и, наконец, согласился, чтобы разделенное пополам животное было съедено, — точь в точь, как еврейский пасхальный агнец, — в ближайшее воскресенье, наверху, в комнате Фирмиана, обоими стрелковыми монархами и монархинями сообща со школьным советником, при участии всех прочих жильцов дома.

Теперь цветочная богиня наших дней взяла несколько щепоток семян тех цветов, которые быстро всходят и, подобно воронцу и чемерице, цветут ныне в декабре, и посеяла их возле тропы, по которой наиболее часто ходил Фирмиан. — Но долго ли, о ты, исполненный радости! — долго ли будет украшен их вынужденным цветением твой жизненный путь? И суждена ли твоему философскому серебряному и хлебному дереву, посаженному на место плакучей ивы, такая же участь, как прочим срубленным деревьям, которые в Андреев день сажают в комнате и в известковой воде и которые, ненадолго одевшись желтой листвою и мертвенными цветами, вскоре после того засыхают навсегда.

Сон, богатство и здоровье являются наслаждением лишь после того, как они были прерваны; только в первые дни после того, как сброшено бремя нищеты или болезни, человеку особенно приятна возможность стоять прямо и дышать свободно. Для нашего Фирмиана эти дни длились до воскресенья. Он уложил целый кубический фут каменной кладки для Чортова моста в своих «чортовых бумагах», — он рецензировал, — он процессировал, — он хитро оберегал домашний мир, который мог быть нарушен выкупом заложов. Сначала я расскажу об этом, а лишь затем — о воскресном «Пире» Платона. Дело в том, что уже в свой царский день Фирмиан приобрел карманные часы за двадцать один флорин, чтобы деньги не разошлись незаметно; вообще он хотел бросить якорь спасения в жилетный карман. Когда же Ленетта стала затем просить о выкупе салатника, селедочного судка и прочих фантов, отданных в жизненной игре, причем их пришлось бы выкупать не поцелуями, а половиной всего капитала, то Фирмиан сказал: «Хотя я и против этого, ибо вскоре старая Забель снова унесет их, однако если

тебе угодно, то сделай это, я тебе не препятствую». Если бы он стал воевать с ней, то был бы вынужден уступить; но теперь, так как он высыпал большую часть своих денег в пистолетную кобуру ее кошелька и она ежедневно отмечала там нарастающий отлив, и так как она в любой день могла произвести выкуп, то именно поэтому она к нему и не приступала. Женщинам свойственно откладывать, а мужчинам свойственно настаивать: у тех можно добиться толку терпением, а у этих, например у министров, нетерпением. Всем немецким мужьям, не желающим что-либо выкупать, я здесь еще раз напоминаю, что я им уже сказал и объяснил, как они должны поступать со своими прекрасными и сварливыми оппонентками.

Каждое утро она говорила: «Право же, надо бы нам наконец послать за нашими тарелками». И он отвечивал: «Это ничего, что ты еще не послала, я тебя даже хвалю за это». Так он превращал свое желание в чужую заслугу. Фирмиан хорошо знал человека, но не людей, — он смущался перед каждой новой женщиной, но не перед старой, — в точности знал, как нужно говорить, ходить, стоять среди образованных людей, но не соблюдал этого, — замечал всякую чужую неловкость, внешнюю и внутреннюю, но сохранял свою, — в течение ряда лет проявлял светский такт и превосходство в обращении со своими знакомыми и лишь в путешествии убеждался, что, в отличие от светского человека, он не в состоянии так же держаться с незнакомыми. Словом, что говорить, — наш Фирмиан был ученый.

Пока что, перед воскресеньем, он со своею душой, полной мирных помыслов и мирных договоров, нечаянно чуть было не впутался снова в домашнюю войну мышей и лягушек. Дело в том, что он, — как я слышал из его собственных уст, — когда Ленетта непрерывно мыла руки и плечи и заодно сотню других вещей, хотя преимущественно холодной водой, ибо теплая не могла же все время стоять наготове для этого, — повторяю, что он позволил себе совершить лишь самый невинный поступок, а именно — спросить наименее важным тоном, выразившим искреннюю радость: «Значит, от холодной воды ты несколько не простужаешься?» — «Нет» — произнесла она *протяжно*. — «Она тебя даже согревает?» — продол-

жал он. — «Да» — ответила она *отрывисто*. Исследователи нравов и души докажут, что они, вопреки моим ожиданиям, очень отстали как в общей науке о душе, так и в применении ее к настоящей книге, если они сколько-нибудь удивятся полугневному ответу, последовавшему на столь кроткий вопрос. Действительно, Ленетта уже издавна прекрасно знала, что адвокат, подобно Сократу, имел обыкновение начинать войну нежнейшими звуками, — как спартанцы игрой на флейтах, — и так же продолжать ее, чтобы подобно названному философу сохранить душевное равновесие; а потому и на этот раз она опасалась, что звучащие как мелодия флейты слова содержат в себе объявление войны против женского образа правления, подразделившего свои рабочие округа по водам, служащим для омовения (так нынешняя Бавария подразделяет свои территориальные округа по рекам). «Скажите на милость, — часто бранился поэтому адвокат, — в каком же тоне должен супруг разыгрывать свою пьеску, если в конечном счете и мягкий тон звучит как резкий?»

Однако на этот раз вся его нежность должна была послужить прелюдией отнюдь не к резкостям, а к речи о правильном физическом воспитании детей. Действительно, после реплики жены он продолжал: «Право, ты меня этим радуешь. Если бы у нас были дети, то, как я вижу, ты всегда мыла бы их согласно твоей методе, а именно — холодной водой и по всему телу; а это укрепляло бы, ибо очень согревало бы». Вместо всякого ответа она, как некий библейский пророк, лишь воздела к небу сложенные для победы руки, ибо она полагала, что для детей холодная ванна — это сущая Иродова кровавая баня. Тогда Фирмиан стал гораздо нагляднее пояснять свою закаляющую и защитную воспитательную методику; жена принялась гораздо яростнее топорщиться против нее всем своим оперением, и, наконец, оба, путем искусного изложения мужской и женской педагогики, зашли настолько далеко, что восстали бы друг на друга, словно две зефирных бури, если бы супруг не попал в самую точку дьявольски метким вопросом: «Тьфу пропасть! Да

разве у нас есть дети? Зачем мы сами себя делаем взаимным посмешищем?» Ленетта ответила: «Я говорила только о чужих детях».

И вот, как уже было сказано, войны не последовало, а последовало лишь мирное воскресенье, когда в комнату проследовали гости, желавшие овладеть и угоститься горячим сердцем или свиной вавилонской блудницы или кардинал-протектора. Вообще казалось, будто теперь над этим домом, представлявшим собой сплошной дом призрения бедных, остановилась счастливая звезда трех волхов; ибо еще в прошлую пятницу кстати подоспевшая буря повалила половину магистратского леса и так пышно устлала жизненный путь всех бедняков, до самого Рождества, ветвями и приросшими к ним деревьями, что вся лесная стража была не в силах воспрепятствовать собиранию колосьев, оставшихся при уборке этого урожая; уже много лет в мербицеровском доме не было столь большого запаса дров, как в это воскресенье, — частью кулуенных и частью отважно раздобытых.

Если воскресенье уж и само по себе является настоящим воскресением из мертвых в казарме бедняков, где каждый имеет хоть кусок-другой хлеба, хоть пару (не столько блестящих, сколько лоснящихся) нарядов, двенадцать сидячих и двенадцать лежачих часов в сутки и необходимое число соседей-собеседников, то легко себе представить в сколь полной мере ощущалось воскресенье в доме Мербицера, где каждый уже предвкушал «полусвинью» (столь же искусно состряпанную и ничего не стоившую, как и предшествовавшая воскресная проповедь), — потому что самый именитый жилец, сделавшись монархом стрелков, пожелал отпраздновать коронационные торжества именно здесь и сотрапезниками избрал сплошь ремесленников.

Еще до того как начался трезвон церковных колоколов, явилась старая Забель. При своих несметных сокровищах стрелковый король вполне мог себе позволить нанять ее в наследственные главные поварихи к королеве Ленетте, за несколько крейцеров и несколько сверхсметных тарелок еды. Самой королеве та представлялась излишней и как бы второй сверхштатной королевой, — а на шахматной доске один король действительно полу-

чает двух королей, если простую пешку провели в ферзи, в то время как он еще имеет первую королеву (совершенно так же это происходит и под настоящим тронным балдахином); ибо Ленетта, подобно настоящей гомеровской или каролингской принцессе, предпочитала мыть, варить и подавать без всякой посторонней помощи. Сам стрелковый монарх покинул шумные, пыльные леса воздвигаемого ныне тронного зала и устремился в зеленые просторные поля и леса, покоящиеся в тишине и лазури поздней осени; там бродил он, счастливый и свободный, в своем сюртуке, не задерживаемый никакими тощими рогатками и сторожащими вехами и не разрывая заградительных канатов, более толстых, чем паутинки. Мужьям бывает особенно привольно и приятно разгуливать вне дома или даже в чужих комнатах, когда в их собственных бешено работают толчейные и сахарные и водяные мельницы, и они надеются получить со всех мельничных поставов первосортную поставку для пиршества. Оком идиллического поэта взирал адвокат со своих тихих пажитей на далекую комнату, заполненную шумным сборищем сковород, сечек и метел, и поистине наслаждался, спокойно созерцая чужую суетливую деятельность и воображая приятные аппетитные образы, которые возникают у разгоряченных и изголодавшихся гостей, — как вдруг его лицо вспыхнуло горячей краской стыда. «Хорошим делом ты здесь занимаешься, — обратился он к самому себе. — Это и я умею; но дома бедная жена изведется, изметется и изварится, и никто не оценит ее заслуг». На это он уж конечно не мог не ответить каким-нибудь значительным поступком, а именно — принесением энергичнейшей клятвы, что, сколько бы дома ни оказалось передвинутого и переглаженного, он будет безоговорочно и в высшей степени все одобрять и восхвалять.

И, к чести его будь сказано, история подтверждает, что когда он по возвращении нашел свою книжную полку очищенной от пыли, свою чернильницу — вымытой снаружи добела и все свои вещи — в порядке, хотя и в новом, то, нисколько не вспыхив, ласково похвалил Ленетту и уверял, что она похозяйничала и подмела так, словно угадала его собственные желания: дело в том, что перед простолоюдинками, — а сегодня имел явиться целый

трёзубец этих адских судей, — должно было предстать как нельзя более вычищенными и вылощенными, а по-сему он сегодня умышленно препоручил ей вести герал-интендантством на театре военных действий, — тогда как при ученых мужах, как то Штибель или он сам, она тщетно превращается в лучшую английскую скоблильную, гладильную и чесальную машину и причесывает под гребенку всю комнату: ведь такие люди, при их высоких мыслях, не снисходят до того, чтобы замечать подобные мелочи, хотя бы и полезные.

Но при столь прекрасном настроении председателя обеденного конгресса как мило и весело наладилось все, еще прежде чем собрался самый конгресс. А после того и подавно! Если тринадцать Соединенных Штатов, а именно — их тринадцать представителей, сидя за круглым столом, подкрепляют какое-либо свое решение совместной трапезой, — а по примеру этих представителей можно, по крайней мере, принять то решение, что совместная еда тринадцати за столом не приводит к смерти тринадцатого, — то американским Соединенным Штатам, поскольку они черпают средства из тринадцати касс, отнюдь не будет обременительно, если их депутатов угостят так, как гостей Фирмиана у него в комнате. Приятно видеть пасущихся травоядных, но не Навуходносора, если он расхаживает в качестве такового; точно так же лишь людей высшего круга, а не бедняков, противно видеть слишком алчно пасущимися за обеденным столом, этим лугом для нашего желудка. Между всеми собравшимися царили мир и согласие, даже между супругами; ибо характерная черта простолюдинов состоит в том, что они за сутки обмениваются дюжиной мирных договоров и столькими же явлениями войны и, в частности, облагораживают каждую еду, превращая ее в братскую вечерю, преисполненную братской любви. Фирмиан усматривал в простых людях как бы постоянную труппу, исполняющую комедии Шекспира, и сотни раз ему казалось, что этот драматург является ее незримым суфлером. Фирмиан уже давно мечтал о такой радости, которой он мог бы хоть сколько-нибудь поделиться с бедняками; он завидовал богатому британцу, который оплачивает счета целой таверны, набитой поденщиками, или же, подобно Цезарю, содержит

целый город. Оседлый бедняк подает бродячему, один лаццарони — другому, подобно тому, как скорлупняки служат жилищем для других скорлупняков, а дождевые черви — местожительством для меньших червей.

Штиблет пришел вечером, так как был слишком учен для того, чтобы съест с неучеными плебеями кусок свинины или шеффель соли. Теперь Зибенкэз опять смог выступить с экспромтом, которого не понял никто, кроме Штибеля. Действительно, Фирмиан смог положить на стол отвес для государств, скипетр и яркий стеклянный шарик державы и, в качестве обеденного и птичьего короля,<sup>1</sup> сказать, что его длинные развевающиеся волосы служат ему, как франкским королям, взамен короны, подстреленной его домохозяином; что, как он в праве утверждать, обычай, согласно которому королем становится лишь тот, от чьей руки умрет орел, явно подражает обычаю ордена *fraticellorum Beghardorum*, возводившего в папы лишь тех, у кого на руках погиб ребенок;<sup>2</sup> что хотя имперским местечком Кушнапшелем он сможет править не так долго, как пруский король доменом Эльтен (над которым тот властвует пятнадцать дней ежегодно), а на четырнадцать дней меньше, — и что хотя он получил корону с сильно пониженными и, по правде сказать, наполовину урезанными доходами, и уж слишком уподобился великому Моголу, прежде получавшему двести двадцать шесть миллионов в год, а ныне лишь одну сто тринадцатую часть их, — однако, при его коронации все же был освобожден, вместо всех порочных заключенных, один добродетельный, а именно он сам, — и он как Петр II Арагонский, коронован не чем-нибудь плохим, а хлебом,<sup>3</sup> — при его эфемерном правлении никто не был

<sup>1</sup> Как известно, греки и римляне имели на пирах церемониймейстера, или застольного гонфалоньера, правление которого длилось столько же, сколько еда.

<sup>2</sup> Вольф, *Memoir*. Cent. XIII, стр. 540. Это, конечно, лишь клевета; но во времена невежества больше преследовались деяния еретиков, а теперь — их учения, ибо теперь правверные и иноверные приходят к соглашению, по крайней мере в делах.

<sup>3</sup> Это коронование Петра неквашенным хлебом (см. *Иегер*, Истор. табл.), как и нынешние, совершаемые посредством меновых эквивалентов хлеба, является лишь риторической фигурой, называемой *pars pro toto*.

обезглавлен, обокраден или убит, и, что его особенно радует, он представляет собою древнегерманского князя, который возглавлял, защищал и умножал свободных людей и сам принадлежал к таковым, и т. д.

К вечеру у всех, находившихся в этом королевском appartement, глотки начали делаться все более зычными и сухими, — дымоходы ртов, трубки, превращали комнату в облачное небо, а головы погружали в седьмое небо; за окном осеннее солнце, с пламенными, жаркими крыльями, опустилось на обнаженную, холодную землю, чтобы скорее высидеть весну, — гости вытянули квинтерну, а именно — пять выигранных номеров для пяти чувств, из девяноста номеров или девяноста лет жизненной лотереи, — каждый глаз, всегда омраченный нуждой, сегодня искрился, и в душе Фирмиана бутоны радости переполнились соками, прорвали все свои оболочки и расцвели. Глубокая радость всегда идет рука об руку с любовью, и сердце Фирмиана, до боли упоенное счастьем, несказано влекло его сегодня к Ленетте, чтобы забыть у нее на груди все, чего недоставало ему или даже ей.

Под влиянием всех этих обстоятельств ему пришла в голову странная мысль: он решил сегодня выкупить из заклада шелковый цветочный шедевр и посадить его где-нибудь под открытым небом, в черную землю, чтобы, шутки ради, еще в тот же вечер — или даже ночью — провести мимо Ленетту и полюбоваться ее радостным изумлением при виде таких цветочных всходов. Он украдкой вышел и направился к ломбарду; но, — так как всякое желание в нас возникает в виде ничтожной искорки, а под конец превращается в размашистые молнии, — то по дороге он свое намерение выкупа усовершенствовал и преобразовал в совершенно иное, а именно — в намерение приобрести натуральные живые цветы и, посадив их в землю, предпринять к ним вечером прогулку. Белые и красные розы он легко мог получить из теплицы, устроенной придворным садовником эттинген-шпильбергского князя, недавно поселившимся в местечке. Мимо завешанных цветами отвесных стеклянных крыш Фирмиан прошел к садовнику и получил, что желал, но кроме незабудок, так как выращивание их тот, конечно, предпочитал лугам. А незабудки были необходимы для полноты

иллюзии, задуманной с такой любовью. Поэтому Фирмиан, со своими подлинными образцами осенней флоры, пошел к оценщице — держательнице его шелковых растений, — чтобы вплести среди живых роз мертвые, бесчувственные коконы незабудок. Когда он прибыл и обратился с этим к упомянутой женщине, то, к своему удивлению, услышал, что заклад от его имени уже выкупил и забрал г-н фон Мейерн, причем внес настолько крупный выкуп, что она по сей день благодарна господину адвокату. Потребовалась вся стойкость подкрепленного любовью сердца, чтобы удержать его от намерения сегодня же штурмовать дом рентмейстера в отместку за военную хитрость похищения залога, ибо Фирмиану была почти нестерпима мысль, — конечно, ложная и порожденная лишь умолчанием Ленетты о состоявшемся вручении, — что прекрасный цветущий залог его чистой любви Роза держит своими воровскими кольценосными пальцами. На неповинную, обманутую оценщицу тоже можно было бы вспылить, не будь этот день столь преисполнен любви и радости; но Фирмиан выругался лишь вообще, тем более, что любезная женщина, по его просьбе, доставила ему чужие шелковые незабудки. На улице он стал колебаться, где бы посадить растения; ему хотелось разыскать поблизости свежее-вскопанную грядку из чернозема, чтобы на его темном фоне лучше выделились красные и голубые цветы. Наконец он увидел поле, где гряды вскапываются и летом и зимою и даже в наибольшие холода, а именно — кладбище, которое, вместе со своей церковью, было расположено, подобно винограднику, на откосе холма, вне местечка. Он пробрался сверху через задние ворота и увидел свежее-набросанный холмик, ставший рубежом оконченной жизни и как бы нагроможденный перед триумфальными воротами, через которые одна мать, с ее новорожденным младенцем на руках, ушла в лучший мир. На этом земляном погребальном одре он закрепил свои цветы, словно надгробный венок, и пошел домой.

Его отсутствие едва ли было замечено счастливой компанией, которая в своей стихии, полной посторонних примесей, плавала подобно оглушенным рыбам, как бы обесиленная отравленным воздухом; Штибель оставался в здравом уме и беседовал с хозяйкой. Читателям уже из-

вестно из первой части, а жильцам дома — из прежнего опыта, что Фирмиан любил убегать из общества, чтобы с большим удовольствием в него устремиться, и что он прерывал наслаждение, чтобы острее его ощущать, как Монтень приказывал будить себя, чтобы лучше почувствовать сладость сна; поэтому он лишь сказал, что побывал на свежем воздухе.

Наконец умчались наиболее шумные волны, и отлив оставил только три жемчужных раковины — наших трех друзей. Сверкающие взоры Ленетты Фирмиан созерцал нежными взорами; ибо он ее еще больше любил потому, что приберег для нее радость. Штибель был согрет настолько чистой и добродетельной любовью, что он без грубой логической погрешности мог истолковать свое чувство как искреннюю радость, внушаемую счастьем друзей, тем более, что его любовью к жене любовь к мужу не сковывалась, а окрылялась. Напротив, советник опасался лишь того, что выражает свою радость и любовь недостаточно пылко; поэтому он многократно брал руки супругов в свои и пожимал; он говорил, что вообще мало обращает внимания на красоту, но сегодня это делал умышленно, так как адвокатше для бедных ее красота была уж очень к лицу среди работ и особенно среди стольких простолудинок, на коих он, Штибель, по сей причине и не взглянул ни разу. Все хорошее, что он, Зибенкэз, делает для своей славной супруги, заявил Штибель адвокату, считает он сугубым проявлением дружбы к себе самому, а той он обещал, что его расположение к ней, которое он ей доказал уже своими речами в карете, на пути из Аугсбурга, будет становиться тем сильнее, чем больше она будет любить его друга и, тем самым, его самого.

Разумеется, в этот кубок радостей Ленетты Фирмиан не захотел подсыпать страву неожиданной (как ему казалось) вестью о том, что рентмейстер овладел шелковыми цветами; сегодня ему было так радостно; все кровавые раны его головы, с которой он немного приподнял терновый венец, маленький шуточный венец прикрыл и исцелил так нежно, как диадема Александра — окровавленную голову Лизимаха. Он лишь хотел, чтобы эта

столь отрадная ночь продлилась не меньше полярной. В такие мгновенья у всех наших скорбей выломаны ядовитые зубы, и жала всех змей нашей души, словно мальтийских змей, некий Павел превращает в камни.

Когда Штибель собрался уходить, Фирмиан его не держивал, но настоял на том, чтобы он позволил им обоим проводить себя и притом не до их двери, а до его собственной. Они пошли. Необъятный небосвод и уличное освещение божьего града, где лампами служили солнца, увлекло их из тесных монастырских коридоров местечка на обширную арену ночи, где словно дышишь небесной лазурью и упиваешься дуновениями восточного ветра. Каждое комнатное торжество следовало бы завершать и освящать шествием в прохладный, просторный храм, где на храмовом своде составлен из звездной мозаики грандиозный образ божества. Они брели, освещаемые бодрямицами ветерками, предвестниками весны, сгоняющими с гор талые снега; вся природа обещала мягкую зиму, которая не имеющим дров беднякам помогает безболезненно пройти через самые тяжкие месяцы года и которую клянет лишь богач, ибо он может заказать только сани, но не снег.

Двое мужчин вели беседу, гармонировавшую с возвышенным обликом ночи; Ленетта молчала. Фирмиан заметил: «Какими скучными и мелкими теперь кажутся жалкие устричные отмели селений; когда же мы странствуем от одного селения до другого, то путь нам представляется столь же длинным, как червячку, ползущему по ландкарте между их названиями. А высшим духам наш земной шар, пожалуй, может служить земным глобусом для их детей, — гувернер вертит его и поясняет». — «Но могут ведь существовать, — сказал Штибель, — еще меньшие планеты, чем наша, и вообще должно же быть в нашей что-нибудь особенное, ибо господь наш Иисус умер ради нее». — Эти слова проникли в сердце Ленетты, как волна теплой крови. Но Фирмиан отвечал лишь следующее: «За нашу землю и человечество уже умер не один искупитель, — и я убежден, что Христос некогда возьмет за руку многих добродетельных людей и скажет: «Вы тоже страдали от Пилатов». Да и многие, кажущиеся Пила-

тами, в действительности — Мессии». Ленетта втайне опасалась, что ее муж — атеист или, по меньшей мере, философ. — Извилистыми и спиральными путями он подвел обоих спутников к кладбищу. Но вдруг его глаза увлажнились, словно он шел сквозь густой туман, ибо он подумал об украшенной цветами могиле матери, а заодно и о том, что его Ленетта не подавала надежд сделаться таковой. Он попытался изгнать печаль из души философскими рассуждениями, а потому сказал: «Люди и часы останавливаются, пока их заводят на новый, долгий день, и я полагаю, что темный промежуток, которым сон и смерть разделяют и разграничивают наши бытия, предотвращает чрезмерную яркость света от одной идеи, жар неутолимых желаний и даже слияние идей, подобно тому как планетные системы разделены мрачными пустынями, а солнечные системы — еще большими. Человеческий дух не мог бы вместить бесконечный и вечно текущий поток познаний, если бы не пил из него отдельными глотками, с перерывами; вечный день ослепил бы нашу душу, если бы ночи солнцестояний, которые мы называем то сном, то смертью, не разделяли его на времена суток, обрамляя его полдень восходом и закатом».

Боязливая Ленетта предпочла бы убежать за кладбищенские стены; но ее ввели внутрь. Фирмиан, со съездившейся женой, направился окольным путем к букету. Он захлопывал узкие, блестящие, скрипящие медные дверцы, под которыми были скрыты набожный стишок и краткое жизнеописание. Они подошли к могилам знати, расположенным ближе к церкви и окружавшим своими насыпями эту крепость. Здесь все безмолвные мумии попирались стоячими надгробными памятниками, а выше по откосу на лежащих людях покоились лишь лежащие опускные двери. Когда спавшая под открытым небом костяная голова покатила от толчка Фирмиана, он поднял обеими руками, — сколько ни просила его Ленетта не пачкаться, — эту последнюю оболочку многопокровного духа, поглядел в пустые оконные проемы разрушенного замка веселия и сказал: «В полночь следовало бы взойти на кафедру там в церкви и взамен песочных часов или Библии поместить на попиртр эту оскальпиро-

ванную маску человеческого Я и над ней и о ней проповедывать другим головам, еще упакованным в свои кожи. Если люди согласятся, пусть после моей кончины они обдерут мою голову и, как сеledочную, повесят в церкви на веревке, словно ангела над купелью, чтобы глупцы глядели и *вверх* и *вниз*: ибо мы висим и парим между небом и могилой. В наших головах, господин советник, еще сидит, как в орехах, червячок; но из этой головы он уже вылетел преображенный,<sup>1</sup> так как она имеет отверстия и источенное в порошок ядрышко».

Ленетту испугала эта нечестивая веселость, проявленная в столь близком соседстве с привидениями: но то был лишь замаскированный пафос; вдруг она прошептала: «Там что-то глядит с крыши склепа и поднимается». То было лишь облако; гонимое вверх по небосклону вечерним ветром, оно, в форме гроба, оказалось покоящимся на крыше, и из него высунулась рука, а мерцавшая возле облака звезда казалась красивым белым цветком, приколотившимся к сердцем фигуры, лежавшей в туманном гробу. «Это всего лишь облако, — сказал Фирмиан. — Подойдем к склепу, тогда оно скроется». Так он получил превосходный предлог для того, чтобы вручить ей цветущий миниатюрный эдем на могиле. Едва Ленетту втащили шагов на двадцать вверх по откосу, как призрачный гроб уже был заслонен склепом. «Что это здесь цветет?» — спросил советник. — «Эге! — воскликнул Фирмиан. — Смотри-ка, жена, белые и красные розы, да и незабудки!» Она посмотрела дрожа, недоверчиво, пытливо на это украшенное букетом место успокоения сердца, на алтарь, под которым лежит жертва. «Пусть так, Фирмиан, — сказала она, — это не моя вина, но ты бы не должен был это делать, — разве ты хочешь вечно меня мучить?» — Она зарыдала и прижалась заплаканными глазами к плечу Штибеля.

Дело в том, что она, которая ни в чем не была столь утонченной, как в подозрительности, вообразила, будто видит искусственный букет из своего комода и что муж

---

<sup>1</sup> Если орешек имеет два отверстия, это означает, что жучок, который в виде личинки находился внутри, окуклился и выполз.

знает о подарке Розы и посадил цветы на могиле родильницы в насмешку над ее собственной бездетностью или же вообще над ней самой. Конечно, он и сам сбился и других сбил с толку при этих перекрестных заблуждениях; ему пришлось опровергать чужие и отказаться от собственных; ибо он впервые услышал сейчас от Ленетты, что Роза уже давно вручил ей выкупленные шелковые цветы. Теперь на зеленом чертополохе недоверия к ее любви распустилось несколько цветков; ведь нам больнее всего, если любимый человек впервые скрывает от нас что-нибудь, хотя бы и безделицу. Адвокату была весьма досадна горечь, возникшая взамен того умиления, в которое он рассчитывал привести себя и других. Демон случая, по злобе и в виде кары, переплел и еще вычурнее перепутал его цветочный посев, и сам по себе уже слишком вычурный; а потому остерегайтесь нанимать случай на службу к сердцу.

Растерявшийся советник выразил растерянность своих суждений несколькими пылками проклятиями по адресу рентмейстера; наконец, желая побудить призадумавшихся супругов открыть мирный конгресс, он посоветовал Ленетте дать мужу руку и помириться. Но этого от нее никак нельзя было добиться; после долгих колебаний она заявила, что согласна, но только пусть он прежде вымоет руки. Ее собственные с судорожным отвращением отдергивались от этих двух держателей черепа.

Советник отнял у обоих людей боевое знамя и обратился к ним с теплой, задушевной проповедью мира, — он напомнил им о месте, где они находились, среди людей, уже представших на суд, и вблизи от ангелов, охраняющих могилы праведников, — указал, что покоящаяся у их ног мать с новорожденным на руках (старшему сыну которой он преподавал латынь согласно принципам Шеллера) тоже увещевает их не ссориться из-за цветов у ее мирного холмика, а взять их оттуда в качестве масличных ветвей мира... Святой водичкой его богословия жаждущее сердце Ленетты упивалось несравненно охотнее, чем чистой альпийской водой философии Фирмиана, и возвышенные мысли последнего пронеслись мимо, не находя доступа в ее душу. — Очистительные жертвы

были принесены, и взаимный обмен индульгенциями совершился; однако такой мир, заключаемый при содействии третьего лица, всегда имеет характер лишь перемирия. — Как это ни странно, на следующее утро оба проснулись со слезами на глазах, но совершенно не могли сказать, от каких снов остались эти капли, от радостных или печальных.

ЗИБЕНКО



ТРЕТЬЯ КНИГА



## ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

*Картофельные войны против женщин — и мужчин. — Декабрьская прогулка. — Ржавчина ревности. — Междоусобная война из-за клетчатого ситца. — Разрыв со Штибелем. — Скорбная серенада.*

Мне хотелось бы при случае немного отклониться от темы; но у меня нехватает храбрости.

Ведь в наши дни очень многие читатели, в особенности молодые и знатные, обладают всеведением, и они требуют (я им это охотно прощаю) от своих любимых авторов, чтобы те знали еще больше, что, очевидно, невозможно. Посредством остроумной английской механики энциклопедий — энциклопедических словарей — лексиконов — извлечений из большого лексикона «Всеобщей энциклопедии всех наук» Эрша и Грубера — молодой человек в течение немногих месяцев, работая только днем, — ночей ему для этого даже не понадобится, — превращается в целый ученый сенат академических факультетов, который он представляет единолично и которому он до некоторой степени подчинен сам, как учащаяся молодежь.

Мне никогда не встречалось чудо, подобное столь просвещенному столичному юноше, или разве только в Байрейтской филармонии, где я слышал человека, который тоже представлял собою целую Académie royale de musique, целый оркестр, и единолично своим телом держал все инструменты и играл на них. Перед нами, воплощавшими лишь частичную гармонию, он олицетворял всеобщую — трубил в валторну, которую держал подмышкой правой

руки — последняя, в свою очередь, водила смычком по скрипке, зажатой подмышкой левой руки — а та, опять-таки, ударяла весьма своевременно по барабану, который он повесил на спину — и сверх того он надел шапку с бубенчиками, которую легко сотрясал головой, как принято у турецких музыкантов — а к обоим лодыжкам пристегнул турецкие медные тарелки, которыми усиленно гремел одной о другую; — итак, весь он, от макушки до подошвы, был непрерывным звучанием, так что этого человека хотелось бы сравнить еще с кем-то, а именно с монархом, который сам представляет собою всех народных представителей, все члены государственного организма и все инструменты государственного концерта. И вот, разве может человек, подобный мне (то есть всего только гейдельбергский магистр семи искусств и доктор кое-какой философии), настолько расхрабриться перед столичными жителями и читателями, которые, будучи всеведущими, подобны такому всеиграющему, — чтобы в их присутствии пускаться в хитроумные и остроумные отступления? Гораздо благоразумнее будет, если я здесь продолжу свой рассказ.

Итак, адвоката Зибенкэза мы снова встречаем преисполненным надежд, но это сплошь пустоцветы. Он вознадеялся, что после своего королевского выстрела сможет прожить столько беззаботных дней, сколько их пройдет, пока не будут проедены призовые деньги, то есть по меньшей мере четырнадцать; но траурный черный цвет, принятый теперь для походного обмундирования, нашему герою суждено было носить в течение всего ночного похода по земле, этого *voyage pittoresque* для поэтов. Хомяки и белки, но не люди, ухитряются затыкать в своем жилище как раз ту дыру, которая обращена в сторону надвигающейся непогоды; Фирмиан думал, что когда будет заштопана дыра в его кошельке, то настанет полное благополучие — но, ах, теперь он терял нечто более ценное, чем деньги, — любовь. Его милая Леннетта становилась все более чуждой его сердцу, а он — ее.

Сокрытие ею букета, возвращенного Розой, оставило в душе Фирмиана такой же окаменелый осадок, какой создается в любом кровеносном сосуде тела любимым посторонним предметом. Но это было еще далеко не все.

Ибо утром она подметала и обметала, сколько бы он ни свистел —

Все законодательные постановления и прочие декреты, адресуемые служанке, она попрежнему издавала в нескольких экземплярах и «засвидетельствованных копиях», сколько бы он ни протестовал —

Всякий вопрос она попрежнему задавала ему по несколько раз, хотя бы он перед тем кричал, словно ярмарочный шарлатан, или же затем ругался, словно клиент последнего —

Она попрежнему говорила: «Часы пробили четыре четверти четвертого». Она попрежнему основательно отвечала Фирмиану, когда он с величайшим трудом доказывал, что Аугспург находится не на Кипре: «Но ведь он и не в Румынии, и не в Болгарии, и не в княжестве Иауэр, да и не у Вадуца и Густена — двух очень незначительных местечек». Он никогда не мог ее заставить открыто согласиться с ним, когда он категорически настаивал и восклицал: «Чорт побери, Аугспург находится в Швабии!» Она допускала лишь, что ее родной город расположен где-то между Франконией, Баварией, Швейцарией и т. д., и только в беседе с переплетчицей признавалась насчет швабского местоположения.

Впрочем, такие грузы и чрезвычайная поклажа отнюдь не были непосильными для души, ободрившей себя примерами великих страдальцев, Ликурга и Эпиктета, которые кротко терпели, когда одному Алкандр попортил глаз, а другому его господин — ногу. И все эти червоточины Ленетты я уже предусмотрел в предшествующих главах. Но здесь мне предстоит поведать о совершенно новых изъянах, и я предоставляю на благоусмотрение беспристрастных мужей, принадлежат ли подобные пороки к тем, с которыми супруг может и должен мириться.

Прежде всего: Ленетта мыла руки, пожалуй, раз сорок в день, — к чему бы она ни притронулась, она считала своим долгом обеспечить себя этим повторным св. крещением; подобно еврею, она осквернялась всяким соседством и скорее уподобилась бы, чем удивилась бы, заточенному в темницу рабби Акиве, который некогда при сильнейшей жажде предпочел израсходовать свой скудный запас воды не на питье, а на мытье.

«Она должна быть чистоплотной, — сказал Зибенкэз, — и более чистоплотной, чем я сам, — но надо же знать

меру. Почему она не утирается полотенцем, когда ее овевало чужое дыхание? — Почему она не очищает свои губы мыльным шариком, когда на них засиделась мошка — и заодно засидела их? Разве она не превратила нашу комнату в английский военный корабль, который ежедневно моют и чистят внутри и снаружи, и разве не созерцал я эту чистку так же безропотно, как любой человек из палубной команды?»

Если на ее и его жизнь надвигались широкая туча или грохочущий смерч, то своего супруга и его мужество она умела совершенно затопить водою, словно голландскую крепость, и давала широкий простор слезам. Если же, напротив, солнце счастья посылало в их комнату сноп своих декабрьских лучей, не шире, чем окно, то Ленетта умела делать и видеть сотню вещей, чтобы только не заметить более прекрасные. Ведь Фирмиан вознамерился по возможности счистить всю шелуху и снять все сливки с тех немногих дней, когда у него завелась пара-другая гульденов; а потому он хотел плотно завесить второй лик Януса, созерцающий прошлое и будущее или плачущий; но Ленетта распоролa завесу и заставила его глядеть. Ее муж неоднократно заверял: «Милая, подожди хоть, пока мы не останемся нищими и пока нам не придется совсем туго; тогда я с радостью присоединюсь к твоим охам и вздохам». Толку было мало. — Лишь однажды она ответила ему толком: «Надолго ли это! Ведь скоро у нас дома опять не будет ни гроша». Но на это он смог еще разумнее возразить: «Значит, по-настоящему наслаждаться веселым, спокойным днем ты согласишься не прежде, чем тебе поклонятся на мощах и гробах, что за ними не следует горестный, мрачный и пасмурный? Тогда ты не насладишься ни одним днем. Какой император и король, хотя бы у него были престолы на голове и короны под задом, может быть уверен в течение хотя бы одного почтового дня или присутственного дня, что ни тот, ни другой не окажется черным днем? И все же он безмятежно проводит свой ясный день в Сан-суси или в Бельвю, или еще где-нибудь, ни о чем больше не заботясь, и наслаждается жизнью». — Она покачала головой. — «То же самое я могу тебе доказать печатно и по-гречески, — сказал он и, открыв наудачу Новый завет, стал читать вслух

внесенный им туда следующий текст: — «Если медлишь искренно отпраздновать благодатное время, пока не придет иное, когда лишь благие упования будут предстоять тебе непрерывною чередою на многие годы, то немудрым будет на вечно колеблемом скользком шаре нашей земли ни единая искренняя радость, ибо через десять дней или лет неизбежно наступит скорбь; итак, ни в одном майском дне, хотя бы на тебя слетели все цветы и соловьи, не сможешь ты найти отрады, потому что зима неизбежно покроет тебя своими хлопьями и ночами. Но поскольку ты все же вкушаешь твою теплую юность, не страшась отверстой поодаль ледяной ямы старости, в коей ты еще на некоторое время сохранишься благодаря все возрастающему холоду, то сочти радостное Сегодня долгой юностью, а хмурое Послезавтра — краткой старостью». — «Греческое или латинское, — отвечала она, — звучит уже более по-духовному, и это самое часто проповедуют с кафедры; и я каждый раз прихожу домой очень утешенная, пока у нас опять не кончатся деньги».

Еще труднее было ему заставить ее как следует прыгать от радости за обеденным столом. Действительно, если, вместо их повседневной рубленой соломы, над скатертью дымился изысканный египетский горшок с мясом, с редкостным жарким, которое могли бы без умаления своего достоинства подавать графы фон Вратислав и резать — графы фон Вальдштейн,<sup>1</sup> то по случаю такого пиршества Зибенкэз мог с уверенностью рассчитывать, что его жене придется выполнить перед едою на сотню другую больше работ, чем обычно. — Супруг уже восседает за столом и вознамерился поддеть дичь на рогатину — озирается, сначала сдержанно, а затем свирепо, — все же владеет собою в течение нескольких минут, — имея столь много досуга, размышляет не только о жарком, но и о своем бедственном положении, — наконец раздражается первым громовым ударом своей грозы и восклицает: «Гром и молния! Я тут сижу уже целую вечность, и все застывает — эй, жена!»

---

<sup>1</sup> Первые состояли при богемском королевском дворе в сане ерд-сенешалов, а вторые — в сане наследственных форшнейдеров.

У Ленетты (как и у других женщин) это не было проявлением злости или неразумия, или упорного равнодушия к данному предмету или к мужу, — но она совершенно не в силах была поступить иначе, и тем все достаточно объясняется.

Пока что мой друг Зибенкэз, к которому это описание попадет в руки еще раньше, чем даже к наборщику, не будет на меня в обиде за то, что я разоблачу перед публикой и его прегрешение, относящееся к завтракам, — ведь я о нем узнал из его собственных уст. Дело в том, что когда он утром лежал, вытянувшись и с закрытыми глазами, на своей решетчатой кровати, то ему там приходили в голову такие идеи и образы для его книги, до которых он, стоя или сидя, не додумался бы в течение целого дня; и, действительно, мне известны из истории многие ученые, например, Картезий, аббат Галиани, Базедов — и даже я сам, хотя, конечно, я не в счет, — которые, принадлежа к роду водяных клопов, плавающих на спине (*Notonectae*), наиболее успешно продвигались в лежачем положении и для которых кровать была наилучшим пивоваренным котлом остроумнейших, оригинальнейших мыслей. Кто желает правильно объяснить это явление, пусть сошлется преимущественно на утреннюю энергию мозга, который после внешних и внутренних капризов легче и усерднее повинуетя велениям духа, и пусть присоединит к этому еще и свободу как мыслей, так и мозговых процессов и процессов, которым дневные заботы еще не навязали своих многочисленных маршрутов, и, наконец, пусть упомянет о силе первородства, которой первая утренняя мысль пользуется наравне с первыми юношескими впечатлениями. — В виду таких объяснений для ушей адвоката, когда он так произрастал в теплом парнике из подушек, являясь наиболее цветущим и плодоносным, ничего не могло быть неприятнее, чем доносящийся из большой комнаты призыв Ленетты: «Иди сюда, кофе готово!» Обычно он, продолжая возлежать на своем родильном ложе, наспех производил на свет еще одну-две удачные живые мысли, хотя все время пребывал в тревожном ожидании вторичного приказа о выступлении в поход. Но так как Ленетта заранее знала о тех минутах отсрочки или просрочки, которые он себе предо-

ставлял при вставании, то, когда кофе еще только начинало закипать, она уже кричала в спальню: «Вставай, а то оно остынет». Наш плавающий на спине сатирик, со своей стороны, заметил это предварение равноденствия, а потому, когда жена звала еще только в первый раз, преспокойно продолжал нежиться среди перин, усердно высиживал птенцов и лишь отвечал: «Сию минуту!», пользуясь по закону своим двойным льготным сроком.

Это вынудило жену, в свою очередь, отступить еще дальше, и когда кофе, еще холодное, ставилось на огонь, она уже кричала: «Иди же, оно стынет». Но при этом взаимном опережении и запаздывании, которое с каждым днем все возрастало, нигде не видно было спасительного предела, и скорее можно было ожидать, что Ленетта станет звать Фирмиана к утреннему кофе за целые сутки вперед, хотя таким путем оба супруга под конец вернулись бы на правильные дистанции; подобно этому, нынешние ужины обещают постепенно превратиться в слишком ранние завтраки, а нынешние завтраки — в слишком мешанские и ранние обеды. — К сожалению, Зибенкэу нельзя было воспользоваться в качестве штормового якоря шумом размола кофе, услышав который, он мог бы после несложного расчета встать так, чтобы поспеть к самой точке кипения; дело в том, что за неимением кофейной мельницы и жаровни, они — как и все население их дома — покупали только молотое кофе. Конечно, и жаровню и мельницу могла бы заменить сама Ленетта, если бы ее можно было убедить, что приглашать пить кофе надо лишь в ту самую минуту, когда оно уже бурлит и дымит на столе; но убедить ее было невозможно.

Те ссоры, которые до брака были мелкими, в браке становятся крупными, подобно тому как северные ветры, летом теплые, зимою веют холодом; зефир из супружеских легких подобен гомеровскому зефиру, жестокий хлад которого столь часто воспевается поэтом. С этих пор Фирмиан стал замечать новые царапины, прожилки, муть и пятна в светлом алмазе ее сердца... Бедняга, ведь это значит, что от хрупкого алтаря твоей любви скоро станет отламываться камень за камнем, а твое жертвенное пламя начнет колебаться и угасать.

Он открыл теперь, что его Ленетта далеко не так образована, как D'Ues Бурманн и Рейске, — ни одна книга не навевала на нее скуку, но ни одна и не радовала ее, и сборник проповедей она могла перечитывать так же часто, как ученый — Гомера и Канта, — число светских писателей ограничивалось для нее лишь одной неразлучной парой, а именно бессмертной сочинительницей поваренной книги и Ленеттиным супругом, которого, однако, она никогда не читала. К его писаниям она относилась с величайшим благоговением, но даже не заглядывала в них. Три разумных словечка, которыми она могла перемолвиться с переплетчицей, были ей дороже, чем все печатные слова переплетчика и рифмоплета. Ученому, который в течение всего года выводит новые умозаключения и разводит новые чернила, непонятно, как может жить человек, не имеющий в доме ни книги, ни пера, ни чернил, за исключением рыжих, позаимствованных у сельского школьного учителя. — Фирмиан часто принимал на себя роль экстраординарного профессора и всходил на кафедру, желая преподавать жене кое-какие предварительные астрономические познания; но либо она не имела шишковидной железы, которая служила бы родовым помещением для души и ее мыслей, или же все закоулки ее мозга уже были до самых оболочек заполнены, забиты и насыщены кружевами, чепцами, сорочками и кухонными горшками и сковородками, — короче говоря, он не смог поместить ей в голову ни одной звезды, которая была бы побольше, чем нитяная звездочка на вышивке. Зато когда он пробовал преподавать пневматологию (духословие), то испытывал прямо противоположное затруднение; в этой науке, где исчисление бесконечно малого было бы ему так же кстати, как исчисление бесконечно большого в астрономии, Ленетта растягивала и распяливала ангелов и души и все прочее и швыряла эфирнейших духов в рыбный садок своей фантазии. — Ангелы, целые компании, которых схоластики приглашают на домашний бал, устраиваемый на острие новой иглы и которых они даже могут попарно пропускать в одно и то же место,<sup>1</sup> росли у нее в руках так, что ей приходилось укладывать каждого в от-

<sup>1</sup> Схоластики верят, что два ангела могут одновременно находиться в одном и том же месте. *Оккам*, I qu. quaest 4, и др.

дельную колыбель, а чорт у нее распухал и вздувался, пока не сделался одинакового роста с ее собственным супругом.

Кроме того он выследил в ее сердце роковое пятно жвавичины или оспину и бородавку: он никогда не мог привести Ленетту в лирический восторг любви, в котором она забыла бы небо и землю и все на свете, — она была способна считать под его поцелуями бой городских башенных часов и с крупными слезами на глазах, вышанными трогательным рассказом или проповедью Фирмиана, прислушиваться к перекипающему горшку с мясом и бежать к нему, — молясь, она подпевала воскресным песням, оглушительно звучащим в других комнатах их дома, и внезапно влетала в стихи прозаический вопрос: «Что мне подогреть на ужин?» — И наш герой не мог выкинуть из головы воспоминания о том, как однажды его супруга, растроганно внимавшая его камерной проповеди о смерти и вечности, задумчиво глядела на него, но потупленным взором, и наконец сказала: «Завтра не надевай левый чулок, я должна его сперва заштопать».

Автор настоящей истории вынужден заявить, что он нередко готов был сойти с ума от подобных женских интермедий, против которых никогда не имеет охранной грамоты тот, кто возносится в эфир с нашими нарядными райскими птицами и, порхая возле них, надеется, что там, высоко в воздухе, сможет высиживать яйца своих фантазий на спине этих птиц.<sup>1</sup> — Нередко случается, что крылатая самка вдруг, словно по волшебству, зазеленеет далеко внизу, на земляной глыбе. — Я допускаю, что это является их добавочным преимуществом, ибо тем самым они уподобляются курицам, глаза которых так хорошо отшлифованы университетским оптиком, что они замечают отдаленнейшего коршуна в небе и ближайшее ячменное зерно на навозе. Правда, было бы желательно, чтобы автор настоящей истории, в случае если он вступит в брак, получил такую жену, перед которой он мог бы читать лекции об основных положениях и *dictata* духословия и астрономии и которая бы не попрекала его чулками в минуту его наивысшего вдохновения; но он будет удовле-

<sup>1</sup> Существовали баснословные рассказы о том, что самцы райских птиц парят в эфире, высиживая яйца на спине самок.

творен, если ему достанется жена и с меньшими преимуществами, но все же способная всюду летать за ним, — если в ее открытые глаза и сердце цветущая земля и сияющее небо проникнут в виде величественных масс, а не бесконечно малых частиц, — если для нее вселенная будет нечто большее, чем детская или танцевальный зал, — и если она своей нежной и тонкой чувствительностью, своим невинным и благородным сердцем будет все больше совершенствоваться и освящать даже своего супруга. Вот это, и не выше того, скромно желает автор настоящей истории.

Подобно тому, как с любви Фирмиана уже осыпались цветы, хотя листва еще уцелела, так и любовь Ленетты была словно распутившаяся запоздалая роза, наряд которой готов осыпаться от малейшего толчка. Вечные словопрения ее мужа наконец утомили ее сердце. Кроме того она принадлежала к числу тех женщин, чьи прекраснейшие цветы остаются безжизненными и бесплодными, если вокруг них не роятся наслаждающиеся ими дети; так цветы виноградной лозы не вызревают в гроздья, если по ним не снуют пчелы. На этих женщин она походила еще и тем, что была рождена, чтобы стать спиральной пружиной в хозяйственном механизме или директрисой большого домоводческого театра. Но все мы, от Гамбурга до Офена, знаем, как плачевно выглядели домашние и государственные акты и театральная касса ее хозяйства. Детей у супружеской пары тоже не было, как у фениксов и великанов, и обе колонны стояли порознь, не связанные между собою карнизом с плодовыми гирляндами. В своем воображении Фирмиан уже прорепетировал шуточную роль серьезного отца, приглашающего на крестины, — но дебютировать в этой роли ему не пришлось.

В сердце Ленетты наибольший ущерб ему причиняло каждое несходство его с Штиблетом. Советник имел в себе нечто такое скучное, такое обдуманное, серьезное, сдержанное, накрахмаленное, такое надутое, такое тяжеловесное, как... эти три строчки; это нравилось нашей прирожденной домохозяйке. Напротив, Зибенкэз целый день прыгал, словно тушканчик, — она часто ему говорила: «Как не подумать, что ты не совсем в своем уме», и он возражал: «А разве это неправда?» Он завешивал свое прекрасное сердце гротескной комической маской и скры-

вал свое величие, заменив котурны стоптанными сокками, и превращал краткую трагедию своей жизни в фарс и шуточный эпос. Совершать гротескные поступки он стремился в силу более возвышенных побуждений, чем простая суетность. Ему приятны были, во-первых, ощущение свободной души, избавленной от уз всех общепринятых отношений, и, во-вторых, сатирическая мысль о том, что он больше пародирует людскую глупость, чем подражает ей; действуя, он одновременно сознавал себя комедийным актером и его зрителем. Действующий сатирик является просто сатирическим импровизатором. Это понятно всякому читателю — но ни одной читательнице. Когда белый солнечный луч мудрости, пропущенный сквозь призму юмора, женщина видела разделенным и разноцветным, я часто пытался дать ей в руки хорошо отшлифованное стекло, чтобы этот яркий, пестрый ряд снова засиял белым светом, — но все было тщетно. Все угловатое и шероховатое как бы причиняет царапины и ссадины тонкому чувству пристойного, свойственному женщинам; их душе, прикованной к житейским отношениям, непонятны те дунши, которые против таковых восстают. Поэтому в наследственных владениях женщин — при дворах, и в их Элизии — во Франции, мало кто причастен к сатирам — словом или делом, духом или телом.

Ленетта не могла не сердиться на своего свистящего, поющего, пляшущего супруга, который даже перед клиентами не напускал на себя важности, приличествующей должностному лицу; который, увы, — ей это рассказывали, как достоверное, — часто расхаживал кругом по виселичному холму; — о рассудке которого весьма разумные люди отзывались с сомнением; — который (жаловалась она) вел себя так, что по нему ничуть нельзя было узнать, что он обитает в имперском городе, и который в целом мире стеснялся и робел только перед одной-единственной особой — перед самим собой. Разве не случалось неоднократно, что служанки из самых знатных домов, приносившие ему на дом рубашки в пошивку, видели его стоящим ни с того, ни с сего у обыгранного и заигранного клавесина, который еще имел все клавиши и почти столько же струн, сколько клавиш? И разве не держал он в пасти железный фут, по которому, словно по опу-

ценному подъемному мосту, звуки поднимались с резонансной деки, сквозь опускающую решетку зубов и, наконец, пройдя по Евстахиевым трубам, через барабанную перепонку добивались до самой души? Железный фут он держал в зубах и стоял с ним, словно с аистовым клювом, чтобы посредством этого рупора повысить непрерывное пианиссимо своего клавесина до фортиссимо.— Впрочем, юмор, отображенный в рассказе, принимает более мягкие тона, чем в суровой действительности.

Почва, на которой стояли эти добрые супруги, от стольких потрясений раскалывалась на два острова, все отдалявшиеся друг от друга; со временем последовал новый подземный удар.

Дело в том, что в ответ на иск тайный выступил со своим письменным возражением, в котором не требовал ничего, кроме правосудия и справедливости, а именно наследства, поскольку Зибенкэз должен и не может доказать, что он есть — он, а именно подопечный, отцовское имущество которого тайный до сих пор хранил в своих отеческих руках и кошельках. От этого адского потока юриспруденции у нашего Фирмиана (который через предшествующие три ходатайства об отсрочке перескочил так же легко, как венценосный лев через три потока на готском гербе) захватило дух и до самого сердца проник ледяной холод. Резаные раны, наносимые нам машинами судьбы, быстро затягиваются; но рваная рана, которую нам наносит ржавым тупым орудием пытки несправедливый человек, начинает гноиться и не скоро заживает. Этот порез по обнаженным нервам, ободраным столькими хищными когтями и острыми языками, был очень болезненным для нашего любимца, хотя он предвидел неизбежность пореза и заранее крикнул своей душе: «Gare — убери голову». Но, ах! В каждой боли есть нечто новое. Впрочем, он заблаговременно принял юридические меры: еще за несколько недель он затребовал из Лейпцига, где в свое время обучался в университете, доказательство того, что прежде именовался Лейбгером, а посему является подопечным Блэза. Один тамошний, еще не имматрикулированный нотариус, по имени Гигольд, бывший сожитель по комнате и литературный соратник Зибенкэза, оказал ему одолжение, опросив всех

лиц, знавших об его «Лейбгеккерстве», в частности, одного ржавого, червивого *Magister legens*, нередко присутствовавшего, когда прибывали денежные переводы, посланные опекуном, а также письмоносца или лодмана, вводившего их в гавань, домохозяйина и несколько других превосходно осведомленных людей, которые все согласны были принести *Juramentum credulitatis* (клятву в искренности высказываемого убеждения), — юный Гигольд опросил их всех, а затем препроводил адвокату рудоносную гору подписанных ими показаний. Зибенкэзу было легко уплатить почтовые сборы за ее доставку, когда он сделался королем на соколиной охоте.

Этой толстой пачкой свидетельских показаний он обличал и опровергал своего опекуна и вора.

Когда прибыло блэзовское возражение, боязливая Ленетта вообразила, что она сама и их дело погибли. Ей показалось, что теперь жестокая нужда опутала их обоих сеть из паразитного плюща, и остается лишь засохнуть и упасть. Прежде всего она затеяла ссору из-за Мейерна; ведь он сам недавно сообщил ей, что принудил своего будущего тестя подать три ходатайства об отсрочках, так как хотел ее пощадить: а потому выпад Блэза она истолковала как первый терновый отводок злопамятной души Розы, мстящего за то, что он в жилище Зибенкэза, во-первых, подвергся позорному заточению, виновницей которого он наполовину считал Ленетту, а во-вторых, так много потерял. До сих пор он предполагал, что вызывает неприязнь лишь мужа, но не жены; однако после стрелкового состязания его самоуслаждающееся тщеславие рассеялось и сменилось горечью злобы. Но так как рентмейстер не мог слышать гневных речей Ленетты, то ей пришлось обратиться с ними к мужу, которого она винила во всем, ибо он столь греховно подарил чужому человеку свое имя «Лейбгеккер». Всякий, кто женат, охотно поверит мне без доказательства, — так как оно у него под боком, — что супругу нисколько не помогали все его оправдания и ссылки на злонравие Блэза, который, в качестве величайшего Искарриота и мытаря в нашем земном Иерусалиме, все равно обобрал бы подопечного и изыскал бы тысячу окольных тяжёбных путей для его ограбления, хотя бы тот и продолжал именоваться Лейбгеккером. Эти доводы не

подействовали. Наконец у него вырвалось: «Ты так же неправ, как был бы неправ я, если бы хоть сколько-нибудь вменил тебе в вину последствие твоего обращения с рентмейстером, писание Блэза». Ничто так не раздражает женщин, как унижительное сравнение, ибо *они не признают различий и оговорок*. У Ленетты, словно у богини молвы, даже уши превратились в языки, так что она сделалась *глухой* к словам мужа и в то же время *оглушила* его своим криком.

Зибенкэз был вынужден тайно послать Штиблету запрос, где он так долго пропадает и почему не показывается в их доме. Но Штибель отсутствовал и в своем собственном, ибо по случаю прекрасной погоды отправился на прогулку.

«Ленетта, — вдруг сказал Фирмиан, который часто предпочитал воспользоваться удачной выдумкой в качестве шеста, чтобы перескочить через широкую трясику, вместо того чтобы с трудом извлекать из нее увязающие длинные ходули умозаключений, и который, конечно, хотел совершенно загладить свои невольно вырвавшиеся, безобидные, но превратно понятые Ленеттой слова насчет Розы, — Ленетта, послушай-ка, что мы устроим сегодня после обеда! — крепкое кофе и прогулку: правда, сегодня у нас в городе не воскресенье, но, во всяком случае, Непорочное зачатие, которое празднует каждый католик в Кушнапеле; и, клянусь небом, погода прямо прелестная. После обеда мы будем сидеть наверху в доме стрелкового общества, в нетопленной парадной комнате, потому что снаружи слишком тепло, и будем глядеть вниз и увидим расфрантившимися и разгуливающими всех городских еретиков, а заодно, может быть, и нашего лютеранина Штибеля».

Я бы очень ошибся, если бы утверждал, что Ленетта не была весьма блаженно поражена; ибо кофе — которое еще утром служит для женщин водою крещения и вином причащения — после обеда окончательно превращается одновременно в любовный напиток и в воду вражды (впрочем, последняя направлена лишь на отсутствующих); но какой превосходной движущей водой для всех мельничных колес мыслей должно было оказаться в простой будничныи день настоящее послеобеденное кофе для такой женщины, как бедная Ленетта, которой редко случа-

лось его пить в иное время, чем после воскресной послеобеденной проповеди, потому что ей оно было не по средствам еще до континентальной блокады.

Когда женщина действительно обрадована, то ей требуется лишь немного времени для того, чтобы надеть свою черную шелковую шляпу и взять свой широкий веер, предназначенный для хождения в церковь, и, вопреки всем своим обычаям, немедленно оказаться одетой по-дорожному и готовой к шествию в здание стрелкового общества, причем, одеваясь, она даже ухитрилась попутно сварить кофе, чтобы вместе с молоком доставить его при себе в готовом виде в парадную комнату.

К двум часам повеселевшие супруги выступили в путь, имея в сумке еще нагретыми все припасы, которые впоследствии предстояло снова подогреть.

Хотя было еще не поздно, низко опустившееся декабрьское солнце уже заливало все западные и южные горы вечерним сиянием, а нагроможденные в небе глетчеры облаков отбрасывали на всю местность веселые отблески, и весь блистающий мир был прекрасен, и не одна тесная, мрачная жизнь просветлела.

Зибенкэз еще издали показал Ленетте шест деревянной птицы, послуживший ему альпенштоком или весельным шестом, при помощи которого он недавно перебрался через ближайшую преграду нужды. В стрелковом здании он повел жену в тир — свой конклав или франкфуртский коронационный зал, — где он дострелялся до сана птичьего императора и отстрелялся от целого франкфуртского гетто кредиторов, причем ознаменовал свое восшествие на престол освобождением хоть одного несостоятельного должника, а именно самого себя. Наверху, в просторной парадной комнате, оба супруга смогли расположиться весьма привольно, причем он уселся писать за столом у окна справа, а она села шить за другим столом у окна слева.

Нельзя описать, но можно почувствовать, как согрелось от кофе их декабрьское празднество.

Ленетта натягивала один за другим чулки адвоката, — а именно на левую руку, так как правая орудовала штопальной иглой, — и, сидя с чулком, нередко разверстым на нижнем конце, обладала, по крайней мере, одной рукой, похожей на теперешнюю дамскую, украшенную длин-

ной датской перчаткой с отверстиями для пальцев. Однако этот ручной чулок она натягивала не настолько высоко, чтобы его могли увидеть дамы, прогуливавшиеся по тротуару, расположенному выше. Вместе с тем, она непрерывно кивала в открытое окно, выражая этим свои «покорнейшая слуга» и «с совершенным почтением». Многих из числа знатнейших еретичек она видела внизу разгуливающими в ее собственных искусных чепцовых сооружениях, надетых в честь праздника Непорочного зачатия, и не одна из них первая посылала дружелюбный привет навстречу своей кровельщице.

В силу официального имперского равноправия, существовавшего в имперском местечке, во время католического праздника прогуливались и знатные протестанты, перечисляя которых, я должен буду восходить от общинного писца Бёрстеля, через младшего пастора Рёйеля, до самого г-на старшего санитарного советника Эльхафена.

И все же адвокат, пожалуй, блаженствовал не меньше, чем его супруга. Он одновременно обрабатывал свои «Бумаги дьявола» и обозревал верхи; но не местного общества, а самой местности.

Уже при входе в комнату оставленная и забытая здесь детская труба, лакированная и еще не полинявшая от облизывания, обрадовала Фирмиана не столько своими визгливыми звуками, сколько запахом своей краски, который в этот Христов понедельник наваял на него смутные воспоминания о восторгах Христовых праздников его детства. И так одна радость следовала за другою. Он смог встать, покинув свои сатиры, и указательным перстом показывать Ленетте большие вороньи гнезда на обнаженных деревьях и не осененные листвою скамейки, и столики в садовых беседках, и невидимых гостей, которые на этом самом месте восседали в летние вечера под райскими кущами, и по сей день вспоминают об этом и уже предвкушают, как снова здесь усядутся. Кроме того ему нетрудно было указать Ленетте на поля, где повсюду, в столь позднее время года, добровольные садовницы собирали для него салат, а именно дикий салат, или латук, который он сможет есть за ужином.

В заключение он снова присел у своего окна, глядя на алье от вечернего света противоположащие горы, на кото-

рые, все увеличиваясь, опускалось солнце и за которыми находились те страны, где странствовал и разыгрывал свою жизнь Лейбгебер. «Как хорошо, жена, — сказал он, — что от Лейбгебера меня отделяет не плоская, широкая равнина, с ничтожными бугорками холмов, а солидная, высокая стена гор, на которой он мне представляется стоящим, словно за решеткой для свиданий». Конечно, ей отчасти показалось, будто ее муж радуется наличию разделяющей стены, так как сама Ленетта находила мало приятного в Лейбгебере и полагала, что по примеру недобросовестных перечекальщиков золотой монеты он перекроил ее мужа и сделал его еще более угловатым, чем тот был прежде; впрочем, в таких сомнительных случаях она предпочитала молчать и не задавать вопросов. Но Фирмиан, конечно, подразумевал как раз обратное: когда мы в разлуке с любимыми, то лучше всего, если нас от них отделяют священные горы, ибо лишь за ними, как за высокой каменной оградой, мы можем узреть цветочные заросли нашего Эдема, тогда как за пределами даже самой длинной равнины мы не предвидим ничего более возвышенного и ожидаем лишь увидеть другую, еще более ровную и длинную. Это относится и к народам: Люнебургская степь или окраины Пруссии не заставят даже итальянца обратить свой взор в сторону его отечества, тогда как уроженец этих окраин, находясь в Италии, будет созерцать Аппенины и тосковать по скрытым за ними немецким землям.

В то время как адвокат был занят своей сатирической работой, в его глаза с освещенного солнцем горного рубежа, разделявшего две любящие души, нередко стекало нечто, выглядевшее, как слеза; но он лишь отодвигался немного в сторону, чтобы избежать вопроса Ленетты; ибо он по опыту знал, что расспросы о причине его слез неизбежно заставят его вспылить, а вспылить он не хотел. Разве не был он сегодня воплощенной нежностью, и разве не облекал он ради своей жены весь свой комизм в форму серьезнейших меццо-тинто, ибо наслаждался произрастанием и цветением ее счастья, которое сам же посеял? — Правда, она не догадывалась, что он кротко щадит ее чувства; но своей изысканной предупредительностью он был так же доволен, как прежде своими

изысканными ироническими выпадами против жены, понятными лишь для него самого, но не для нее.

Наконец, исполненные теплоты, они покинули просторную комнату, когда солнце всю ее разукрасило пурпуром; выходя из стрелкового здания, он еще пригласил Ленетту полюбоваться золотыми бликами, струившимися по длинным стеклянным крышам двух оранжерей, а сам он уцепился за солнце, уже разделенное на две части горами, и хотел с ним уйти за далекий горизонт, к своему другу. Ах, как сильно мы любим тех, кто отделен от нас далью пространства или времени, или даже сугубой далью над землей! — Итак, вечер сам по себе мог бы завершиться превосходно; но помешало нечто непредвиденное.

Дело в том, что какой-то находчивый злой дух взял тайного Блэза и отправил его прогуливаться под открытым небом, с таким расчетом, чтобы именно в этот непорочный праздник прекрасных душ адвокат вдруг с ним встретился на дистанции, на которой принято обмениваться салютами, шапочными или огнестрельными. На приветствие опекуна, выполненное по всем правилам, хотя и с такой усмешкой, которая, к счастью, никогда не может появиться на детском личике, Зибенкэз ответил вежливо, тем, что стал дергать и поворачивать свою шляпу, не снимая ее. Ленетта сразу же попыталась возместить несостоявшееся поднятие шляпы сугубо низким опусканием собственной особы в глубоком реверансе; но едва она огляделась, как устроила супругу небольшую семейную и келейную сцену за то, что он умышленно злит опекуна все больше и больше. «Право, милая, я не мог поступить иначе, — сказал он, — я действовал без злого умысла, в особенности сегодня».

Но вот в чем было дело: еще за несколько времени до того Зибенкэз сказал жене, что его фетровая шляпа уже давно страдает от непрерывного снятия, неизбежного в столь захолустном местечке, и что единственной возможной защитой и броней для нее он считает жесткий зеленый чехол из вошеной тафты, в который он ее намерен заключить, чтобы ее, упакованную внутрь этого шика и капюшона, можно было без малейшего износа повседневно применять для акта взаимной вежливости, обязательного для людей, встречающихся под открытым

небом. Затем, надев эту двойную шляпу или шляпу шляпы, он прежде всего отправился к одному торговцу колониальными товарами, у которого выпустил на пастбище тонкую нижнюю шляпу и заложил ее за шесть фунтов кофе, ибо оно согревало его четыре мозговых желудочка лучше, чем валяная заячья шерсть. Оставив на голове лишь вспомогательную шляпу, он спокойно и никем не расшифрованный вернулся домой — и теперь носил пустой футляр по самым извилистым улицам, втайне радуясь тому, что, можно сказать, ни перед кем не снимает настоящей шляпы и не ходит *chapeau bas*, а если в дальнейшем захочет позабавиться еще и другими шутками, то дело в шляпе.

Конечно, в тех случаях, когда он забывал — что сегодня было особенно прощительно — придать подкладке шляпы необходимую искусственную жесткость посредством стропил, то для приветствий ему было слишком трудно и нудно стаскивать эту подкладку, и он мог лишь прикасаться к ней самым любезным жестом, как это делают высшие офицерские чины: но так он невольно должен был прослыть грубияном.

И как раз сегодня он тоже вынужден был казаться таковым и никоим образом не мог снимать для приветствия конверт своей головы, этого послания, полного любви ко всем гуляющим.

Но гулянию суждено было повлечь за собою не только эти злключения, ибо один из вышеупомянутых находчивых злых духов снова передвинул декорации и притом настолько поспешно, что мы теперь уже видим нечто совершенно иное. Дело в том, что впереди обоих супругов шествовал один католик-портной, нарядившийся, подобно всем своим собратиям по профессии и процессии, чтобы праздновать Непорочное зачатие. К несчастью, когда портной проходил по узкой тропинке, то — потому ли, что желал уберечься от грязи, или же под влиянием праздничного веселья — задрал фалды своего сюртука так высоко, что внизу ясно был виден конец или крестец вшитой спинки его жилета, то есть задний план жилета, котрый, как и на картине, обычно расписывают менее пестрыми красками, чем яркий передний план или фасад.

«Эй, мастер, — воскликнула запальчиво Ленетта, — как это у тебя сзади очутился мой ситчик?»

Действительно, из аугсбургского зеленого ситчика, из которого она, немедленно после того как сделалась стрелковой королевой, заказала себе хорошенький лиф или корсаж у этого портного, последний оставил и удержал для себя на пробу столько, сколько он, применительно к бесплатным пробам вина, считал нужным и христиански справедливым. Этой малой пробы еле хватило на весьма тусклый фон для его яркозеленого жилета, для которого он выбрал столь темную изнанку лишь в надежде на то, что она останется невидимой, подобно изнанке ландкарты. — Но так как теперь мастер продолжал преспокойно прогуливаться с обращенной к его спине интерпелляцией Ленетты, словно его это вовсе не касалось, то огонек в ней разгорелся в пламя, и она закричала вдогонку, невзирая на все знаки и шопот Зибенкэза: «Это мой собственный аугсбургский ситец, слышишь ты, во-ришка-портной? И ты его украл, вот оно что!» — Лишь после этого профессиональный похититель ситца хладнокровно обернулся и произнес: «Сначала докажи-ка мне это, а пока и без ситца нечего беситься, я тебя еще пощупаю перед цеховым советом, если только в Кушнапеле есть начальство и порядок».

Тут она разгорелась целым костром, — мольбы и приказания адвоката были только ветром, раздувавшим огонь. — «Ах, ты, грабитель, отдай мне мое добро, мошенник» — восклицала она. В ответ на эти упреки мастер лишь приподнял фалды обеими руками необычайно высоко над индоссированным жилетом и, слегка нагнувшись, заявил «Вот!», а затем продолжал медленно шагать перед нею, оставаясь на том же фокусном расстоянии, чтобы подольше наслаждаться ее жаром.

На этом столь пышном празднестве бедный Зибенкэз, который никакими юридическими и теологическими заклинаниями не мог изгнать беса раздора, заслуживал наибольшего сожаления; как вдруг, на его счастье, сбоку из ложбины появился его ангел-хранитель, прогуливавшийся Штиблет. Для Ленетты сразу же перестали существовать портной — кусок ситца, длиною в четверть локтя — яблоко раздора и демон раздора; подобно лазури вечернего неба

и румянцу вечерней зари, лазурь ее глаз и румянец щек спокойно и бестрепетно цвели перед советником. В эту минуту целый десяток локтей ситца и впридачу полдесятка портных, укравших его себе на жилеты, были бы для нее пустяком, не сдѣвающимъ внимания и даже ломаного гроша. И Зибенкэз тотчас же увидел, что Штибель, подобный ходячей Масличной горе, приближался к ней, сплошь обсаженный масличными ветвями мира, впрочем, оказавшимися кстати и для демона раздора, ибо из маслин ему легко было выжать масло для подливания в огонь супружеского междоусобия, тогда как Штибель был вызван с пожарным ведром именно для тушения этого огня. Если уже на открытом воздухе Ленетта была нежным белым мотыльком или бабочкой, тихо летящей и порхающей над цветущими склонами Штиблета, то в собственной комнате, куда ее сопровождал советник, она буквально превратилась в греческую Психею, и, как я ни пристрастен к Ленетте, я все же вынужден здесь запротоколировать, — иначе мне не поверят во всем остальном, — что в этот вечер она, увы, казалась лишь крылатой душой, освободившейся от навязанной ей обузы тела и вознесшейся на прозрачных крыльях, — душой, которая прежде, когда она еще была облечена в плоть, состояла с советником в любовной переписке, но теперь парила вокруг него на простертых крылах, оведала его шелестящим оперением и, наконец, устав от полета, опустилась в поисках телесного насеста и — поскольку под рукой не случилось другого женского тела — со сложенными крылышками впорхнула в тело Ленетты. Такою казалась Ленетта. Но почему она сегодня была такою? — По этому поводу много неведения и радости было у Штибеля, но мало того и другого у Фирмиана. Прежде чем говорить об этом, я не могу не пожалеть тебя, бедный муж, и тебя, бедная жена! Почему плавный поток вашей (и нашей) жизни постоянно прерывается горестями или прегрешениями, и почему он вынужден, подобно Днепру, пройти через тринадцать порогов, прежде чем исчезнуть в Черном море могилы? Но если Ленетта именно сегодня почти не скрывала за монастырской оградой груди свое сердце, полное нежности к советнику, то причина была в том, что сегодня она чувствовала свое горе, свою бедность: Штибель был полон положи-

*тѣльных даров*, а Фирмиан — лишь *искаженных* (то есть талантов). Мне достоверно известно, что своего Зибенкэза, которого она до брака любила холодной любовью супруги, она в браке полюбила бы, словно невеста, если бы он имел кусок хлеба. Как часто невеста воображает, будто любит своего жениха, тогда как лишь в браке эта шутка — в силу веских *металлических и физиологических причин* — превращается в нечто серьезное. Если бы комната и кухня адвоката были, словно полная чаша, полны доходами и двенадцатью геркулесовскими домашними работами, то Ленетта осталась бы достаточно верной ему, хотя бы вокруг нее увивался целый ученый кружок Штиблетов — ибо она ежечасно говорила бы себе с холодной расчетливостью: «Я уже имею то, что мне нужно» — но теперь, в такой *пустой* комнате и кухне, женское сердце слишком *переполнилось*; одним словом, тут не получается ничего хорошего. Ибо женская душа представляет собою прекрасную фреску, нарисованную на комнатах, столах, платях, подносах и на всем хозяйстве, а потому все трещины и прорехи хозяйства становятся ее собственными. Женщина имеет много *добродетели*, но не много *добродетелей*; она нуждается в тесном окружении и в установленной форме *мещанской жизни*, — без такого опорного колышка эти чистые белые цветы начинают стлаться по грязи клумбы. Мужчина может быть космополитом и, если ему нечего больше заключить в свои объятия, может прижать к своей груди целый земной шар, хотя бы ему и удалось обнять немногим ббльшую его часть, чем та, которую составляет могильный холм; но космополитка подобна ярмарочной великанше, которая странствует по всему свету, не встречая никого, кроме зрителей, и не представляя ничего, кроме представляемой роли.

Этот вечер мне следовало бы изобразить гораздо подробнее, чем я это сделал; ведь он ознаменовался тем, что колеса двухместной супружеской повозки после стольких трений начали дымиться, и пламя ревности угрожало охватить их. Ревность подобна оспе, которая пощадил Марию Терезию при посещении двадцати бараков, переполненных оспенными больными, а затем настигла ее под венгерской и австрийской короной. Кушнапельскую

корону (доставленную подстреленной птицей) Зибенкэз носил на голове уже несколько недель.

С этого вечера Штибель, которому все приятнее было находиться в лучах все выше восходящего солнца Летенеты, стал приходить все чаще и считал себя покровителем мира, а не нарушителем его.

Теперь мне предстоит нарисовать здесь на бумаге, для немцев, достаточно обстоятельное изображение последнего и важнейшего дня этого года, 31 декабря.

Еще до 31 декабря наступили рождественские праздники, которые, нуждаясь в позолоте, оставили только шлаки и обгорелые пни от серебряного века, последовавшего за королевским выстрелом. Деньги были израсходованы. Но это еще не все: бедный Фирмиан изнемог и занемог как от забот, так и от смеха. Если человек, всегда пролетающий на верхних мотыльковых крыльях фантазии и нижних крыльях настроения над всеми предательскими тенетами и ловушками жизни, вдруг наткнется на созревшие колючки отцветшего чертополоха, над лазурью и нектариями которого он прежде парил, то он эпилептически бьется на них, обливаясь кровью и томясь; радостный человек сразу же блекнет от первого палящего луча скорби. Прибавьте к этому, что к тревоге Зибенкэза, которая росла подобно сердечной опухоли, присоединилось еще и его писательское опьянение, ибо он хотел как можно скорее закончить «Избранные места из бумаг дьявола», чтобы за счет гонорара повести свою жизнь и свой процесс. Он просиживал ночи почти напролет, а кресла почти насквозь, и мчался верхом на строгальном станке своей сатиры. Таким писанием он довел себя до болезни, которую автор настоящей книги, вероятно, тоже заполучил лишь в результате неумеренной щедрости по отношению к ученому миру. А именно, у Фирмиана (как это бывает у меня и по сие время) появились внезапные задержки дыхания и перебои сердца, после чего наступало тоскливое ощущение совершенной пустоты и умирания, а затем кровь стремительно прилиwała к мозгу; причем чаще всего это случалось перед его литературной прялкой и моталкой.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> В особенности зимой, по утрам и вечерам, в холодную ясную погоду. Уже более двадцати лет я — а потому и Зибенкэз — одержим

Однако обоим авторам, ему и мне, никто не предложит при этом ни гроша компенсации за инвалидность. Повидимому, писатели должны являться потомству не живыми, а изваянными, подобно тому как нежных форелей перевозят лишь вареными; лавровую ветку нам вкладывают в рот, как лимон кабанам, не прежде, чем нас подстрелят и подадут на стол. Мне и каждому моему коллеге было бы отрадно, если бы читатель, когда нам случится растрогать его сердце и ушки его сердца, сказал бы хоть только следующее: «Этот сладкий трепет моего сердца не обошелся без ипохондрического биения их сердец». Мы просвещаем и просветляем не одну голову, которая никогда не подумает: «Да, они это сделали; но в награду получили всевозможные головные боли, цефалалгию, цефалею, мигрень и ломоту». При сатирах, подобных настоящей, такой читатель должен был бы прервать меня и похвалить: «Сколько страданий ни причиняет мне его сатира, ему она доставляет еще бóльшие: ибо мои, к счастью, являются лишь душевными». Телесное здоровье существует лишь параллельно с душевным; но оно несовместимо с ученостью, с обширным воображением, с большим глубокомыслием, которые имеют так же мало общего с душевным здоровьем, как тучность, ноги скорохода или руки фехтовальщика — с телесным. Я часто желал, чтобы все души разливались по своим телам или бутылкам, как Пирмонтская минеральная вода; ей сначала дают хорошенько выдохнуться, так как иначе она разрывает бутылки. Но, повидимому, эта мера предосторожности применялась лишь к душам членов кардинальской коллегии (если верить Иосифу Горани), многих соборных капитулов и т. д.: их изумительный дух, который вдребезги разнес бы их тела, заставляли испариться, прежде чем послать его в соединении с телом на землю: теперь эти бутылки превосходно сохраняются по 70—80 лет...

этой болезнью, которую ощущаю и сейчас, 24 декабря, когда я ее описываю. Она представляет собою просто онемение легочных нервов — в частности, блуждающего нерва (nerv. vag.) — и может со временем (ибо мы видели, что двадцати лет ей еще недостаточно) вызвать ту легочную апоплексию, которую Левейе в Париже и недавно Хонбаум признали новой разновидностью этой болезни и которая, по аналогии с Миллиаровским кашлем, может быть названа Зибенкэзовской или Жан-Полевской апоплексией.

Итак, с больной душою, немощным сердцем и без денег вступил Зибенкэз в последний день года. Самый день надел свой прекраснейший летний наряд, а именно — цвета берлинской лазури, и выглядел таким же небесно-голубым, как индийский Кришна или как новая секта Грэхэма, или как евреи в Персии, — он разжег печку на монгольфере солнца, и на искусно засахаренной земле, как на некоторых искусственно замороженных декоративных блюдах, белизна снега сменилась зеленью барвинков, как только этот шар поднесли к печке. Казалось, что старый год расстается с временем тепло и радостно, весь осыпанный весело сверкающими каплями. Фирмиан охотно выбежал бы из дому, чтобы погреться в лучах солнца на влажной зелени; но он должен был сначала дать отзыв о байрейтском профессоре Ланге.

Наш герой творил рецензии, как другие люди — молитву, лишь в беде; это соответствовало ремеслу водоноса, к которому прибегал некий афинянин, чтобы, утолив голод, иметь затем возможность предаться изучению любимой науки. Но свое сатирическое жало Фирмиан при рецензиях прятал в ножны; оболочку для своих кротких суждений он добывал лишь из своего мягкого медоносного и восконосного брюшка. «Мелкие писатели, — говорил он, — всегда лучше своих произведений, а великие — хуже. Почему гению я должен прощать моральные недостатки, например тщеславие, а глупцу и педанту — нет? Уж скорее они непростительны гению. — Если человек беден и уродлив не по своей вине, то не заслуживает насмешек, а если по своей, то и тогда не заслуживает, хотя Цицерон мне в этом противоречит. Ведь моральная вина (а следовательно, и ее наказание) не может увеличиться от того случайного физического последствия, которое иногда имеет место, а иногда не имеет. Разве случайно обедневший расточитель достоин большей кары, чем тот, который не обеднел? Уж скорее наоборот». Если применить это к бездарным писакам, которые из-за несокрушимого самолюбия не видят своей негодности, и на безвинные сердца которых критик изливает свою ярость, вышванную виновной головой, то хотя и можно едко выпучивать всю породу, однако отдельное существо надо лишь кротко поучать. Я полагаю, что для ученого, мо-

рально замкнувшегося в самом себе, было бы хорошей золотой и тигельной пробой, если бы ему поручили рецензировать нашу шумевшую плохую книгу.

Пусть меня вечно рецензирует д-р Меркель, если в настоящей главе я позволю себе еще хоть раз отклониться от темы. — Фирмиан с некоторой поспешностью работал над рецензированием Ланговской программы «*Praemissa historiae Superintendentium generalium Baruthi non specialium, continuatione XX*»; ему нужно было заработать еще сегодня несколько ортсталеров, и кроме того он хотел немного прогуляться в этот задумчивый, матерински-ласковый день. Еще накануне, в четверг — новогодний день приходился на субботу — Ленетта справила предварительные празднества очищения (так как теперь она каждый раз предпринимала мытье все более и более заблаговременно), а сегодня она производила полную уборку урожая, то есть мебели, давала комнате слабительное против всего засоряющего, проверяла *index expurgandorum*, гнала на купание все, что только имело деревянные ноги, а затем принималась выводить пятна круглым мылом, короче говоря, при этом левитском очищении комнаты она вволю хлюпала и плюхала в своей влажной и теплой стихии, а Зибенкэз сидел, выпрямившись, в чистилищном огне и уже издавал запах горелого.

Сегодня он уж и сам по себе был сумасброднее, чем всегда: во-первых, он решил, что после обеда непременно снесет в залог ситцевое клетчатое платье, хотя бы против этого с криком протестовали целые женские монастыри, а потому предвидел, что ему еще предстоит весьма сильно разгорячиться; и за этот предлог залага он сегодня ухватился именно потому, что, как он с досадой сознавал, — это, между прочим, и являлось второй причиной, заставлявшей его быть сумасброднее, — хорошие дни снова были прожиты, а их небесная гармония была испорчена траурными псалмами Ленетты. «Жена, — сказал он, — я сейчас рецензирую, чтобы заработать деньги». — Она продолжала скрести. «Предо мною лежит профессор Ланг, и притом седьмая глава, в которой он трактует о шестом байрейтском генерал-супер-интенденте Штокфлете». — Она соглашалась умерить свое рвение через несколько минут, но только не сейчас; женщины предпочитают все

делать как можно позже, поэтому и на свет они появляются позже, чем мальчики.<sup>1</sup> «Об этой диссертации, — снова продолжал он, с напускным хладнокровием, — наш «Вестник» должен был дать отзыв еще полгода тому назад: ибо, в отличие от «Всеобщей немецкой библиотеки» и римского папы, он не обязан канонизировать святых лишь через сто лет». Если бы он был в состоянии сохранить это напускное хладнокровие еще хоть минуту, то дождался бы момента, когда Ленетта уgomонится. Но он не выдержал. «Если так, — вскричал он и вскочил, швырнув перо, — то пусть же чорт возьмет и тебя, и меня, и «Божественный вестник». — Я не соображаю, о чем я пишу, — продолжал он, смирившийся и обессиленный, и присел, ослабев, словно всю его кровь извлекли кровососными банками, — и Штокфлет у меня путается с Лангом. Досадно, что адвокат не может быть таким глухим, как судья; будь я глухим, я не подлежал бы пыткам.<sup>2</sup> — Знаешь ли ты, сколько по закону требуется людей, чтобы признать наличие нарушения тишины? Либо десять, либо ты одна с твоей музыкальной капеллой мытья». Ему не столько хотелось быть справедливым, сколько уподобиться испанским трактирщикам: последние всегда ставят в счет посетителям тот шум и гам, который они учинили. — Ленетта настояла на своем, а потому в дальнейшем вела себя и говорила тихо.

Еще до обеда он закончил свой критический отзыв и послал его своему принципалу Штибелю; тот ответил запиской, в которой сообщал, что вечером лично вручит ему причитающийся гонорар (ибо теперь стремился использовать каждый предлог для визита). Во время еды Фирмиан, в голове которого еще не рассеялся удушливый, ядовитый туман хандры, сказал: «Не понимаю, почему ты так не любишь чистоту и порядок. Было бы лучше, если бы ты переусердствовала в наведении чистоты, чем в обратном. Все говорят: «Как жаль, что у такого аккуратного человека, как наш Зибенкэз, такая неряха жена». На эту иронию Ленетта (хотя и знала, что это лишь ирония) всегда отвечала обстоятельными и вес-

<sup>1</sup> См. у Бюффона о деторождении.

<sup>2</sup> Кодекс Юстиниана, L. t., § D., de postulando.

кими возражениями. Он никогда не мог добиться, чтобы она, вместо возражений на его шутку, как следует оценила ее или даже приняла участие в его высмеивании человеческого общества. Так отказывается жена от своего мнения, как только муж с ним согласится; даже в церкви женщины, чтобы ни в чем не быть в ладу с мужчинами, поют на целую октаву выше.

После обеда приближался торжественный час, когда, наконец, предстояло подвергнуть остракизму, то есть изгнать из страны и из дома, пресловутый клетчатый ситец, и тем самым совершить последнее и величайшее деяние за 1785 год. Этот сигнал к стычкам, это вражеское красное знамя Тимура и Магомета, эту кожу Жижки, которая всегда стравливала обоих супругов, Фирмиан теперь искренно возненавидел; он охотно согласился бы, чтобы ситец у него украли, только бы избавиться от скучных, надоедливых мыслей об этой тряпке. Он не проявил топорливости и подкрепил свое ходатайство всем красноречием, имеющимся в запасе у парламентского оратора; он предложил жене угадать, какое величайшее одолжение она могла бы оказать ему, чтобы этим достойно завершить старый год, — он сказал, что под одной кровлей с ним живет непримиримый враг, дракон и антихрист, сорная трава, которую лютый враг посеял среди его пшеницы и которую Ленетта могла бы выполоть, если бы захотела. Наконец, с полушутливым и полускорбным видом он извлек из ящика комода клетчатый ситец. «Это коршун, — сказал он, — терзающий меня, или тенета, поставленные мне дьяволом; это его овечья шкура, мой балахон пытаемого, моя туфля Казема. Дорогая, прошу тебя, сделай мне одолжение, снеси этот ситец в заклад! погоди, еще не отвечай мне, — сказал он, ласково прикрыв рукою ее уста, — сначала подумай-ка о том, что сделала одна глупая сельская община, единственный кузнец которой был приговорен к виселице. Она предпочла предложить для повешения несколько невинных портных, без которых ей легче было обойтись. Ты умнее ее, а потому шитье этих портных (ведь траурный ситец нам не нужен, пока мы живы) ты должна отдать охотнее, чем металлическую утварь, которая нам ежедневно нужна для еды. — А теперь, милая, скажи, что ты думаешь!»

«Я уже давно заметила, — отвечала она, — что ты у меня хочешь отнять мое траурное платье. Но я его не отдам. Если бы я тебе теперь сказала: «Заложу твои часы, Фирмиан», то было бы то же самое». — Говорить повелительным тоном, не приводя доводов, мужчины привыкают, может быть, именно потому, что эти доводы приносят мало пользы и, вместо того чтобы сломить упорство, лишь вооружают его. «О дьявол! — воскликнул он: — с меня этого довольно. Я не индюк и не дикий бык, который вечно злится при виде цветной тряпки. Не будь я Зибенкэз, если сегодня не состоится заклад!» — «Да ведь ты в самом деле зовешься Лейбгебер» — возразила она. — «Пусть поберет меня чорт, если ситец останется здесь!» — ответил он. Тогда она стала плакать и вопить о своей горькой участи, которая ее лишает всего и даже ее платья. Такие безрассудные слезы часто падают в кипящее мужское сердце, как иные капли воды в kloкочущую расплавленную медь; от них кипящая масса с треском разлетается. «О прелестный, добрый, кроткий дьявол, — воскликнул он, — влети сюда и сломи мне шею! Господи, помилуй такую жену! — Ладно, оставь у себя твой ситец и твоё великопостное траурное покрывало. Но даю честное слово, — и будь я проклят, если не сдержу его, — что я сегодня же возьму из охотничьих трофеев покойного отца оленьи рога, нахлобучу их себе на лоб, как наказываемый браконьер, и среди бела дня понесу их на продажу через все местечко, как бы смешно это ни казалось всем кушнапельцам, и буду говорить, что эти рога мне нацепила ты. Да, я это сделаю, чорт возьми!»

Скрежеща зубами, он подошел к окну и устремил на улицу отсутствующий взор. Внизу мимо дома медленно плелась сельская похоронная процессия. Погребальными носилками служило плечо, и на нем покачивался криво сколоченный детский гробик.

Это зрелище трогательно уже само по себе, если поразмыслить о маленьком скрытом человеке, который переходит от дремоты эмбриона к мертвому сну, из амниона здешнего мира — в саван, этот амнион иного мира, — чьи глаза смыкаются перед сияющей землей, не увидев родителей, глядящих ему вслед влажными глазами, — который был любим, но не любил, — чей маленький язык истлеет, не

заговорив, и чье лицо истлеет, никогда не улыбнувшись на нелепом нашем шаре. Конечно, эти срезанные земные ростки где-нибудь найдут себе ствол, к которому их прильнет великая судьба; эти цветы, подобно некоторым иным уже в утренние часы отходящие ко сну и закрывающие свои чашечки, где-нибудь раскроются под иным утренним солнцем. — Когда Фирмиан увидел, что мимо него движется это хладное, запеленутое в саван дитя, — в этот час, когда он спорил из-за траурного платья, предназначенного для траура по нем самом, — теперь, когда истекла последняя капля старого года, а собственное сердце, свыкшееся с мимолетными обмороками, лишало его надежды завершить новый, — теперь, среди стольких скорбей, он услышал рокот подземного потока смерти у себя под ногами (так бушуют ручьи в каналах, прорытых китайцами под почвой своих садов), и казалось, что та тонкая ледяная кора, на которой он стоит, вскоре рухнет с ним в холодные воды. Несказанно потрясенный, он обратился к Ленетте: «Быть может, ты все же права, оставляя траурное платье, и ты предчувствуешь мою кончину. Делай, как знаешь, — я больше не стану отравлять себе последний декабрьский день, ибо не знаю, не будет ли он для меня последним и в другом смысле, и не окажусь ли я через год ближе к этому бедному младенцу, чем к тебе. Теперь я пойду пройтись».

Она смущенно молчала. Он поспешно удалился, не ожидая окончательного ответа. Его отсутствие должно было послужить ему лучшей риторией. — Каждый человек лучше своих порывов — я разумею, лучше низменных, ибо, вместе с тем, каждый хуже своих благих порывов, — и если предоставить им час-другой, чтобы они могли утихнуть, то не только выиграешь дело, но и выиграешь во мнении своего противника. Кроме того, уходя, Фирмиан знал, что Ленетта крепко призадумается над его честным словом и угрозой насчет оленьих рогов.

Выше я уже описывал, как зима, нагая, без снежной простыни и крестильной сорочки, лежала на земле рядом с тощей, сухой мумией прошлого лета. С беспокойным чувством глядел Фирмиан на обнаженную равнину, которой еще предстояло быть покрытой колыбельным одеялом снега и молочно-белым флером изморози, и на текущие

ручьи, которые еще должны были застыть и оцепенеть. Последние дни декабря, ясные и теплые, смягчая нас, навевают на нас грусть, в которой четыремя-пятью каплями больше горечи, чем в грусти позднего лета; до 12 часов ночи и до 31 числа двенадцатого месяца нас томит зимняя и ночная картина умирания, но уже в 1 час пополудни 1 января живительные утренние ветерки сгоняют тучи с нашей души, и наши взоры встречают глубокую, чистую утреннюю лазурь, восход утренней и весенней звезды. В такой декабрьский день нас тяготит окружающий нас увядший, отсыревший мир окоченелых, обескровленных растений, и разбросанные среди них, засыпанные землей коллекции насекомых и стропила оголенных, морщинистых, засохших деревьев — декабрьское солнце, которое в полдень висит на небе не выше, чем июньское солнце вечером, излучает, подобно горящему спирту, мертвенный желтый свет на блеклые, бесцветные нивы, и всюду дремлют и тянутся, словно при закате природы и года, длинные, гигантские тени, подобные обломкам и кучам пепла, оставшимся от столь же длинных ночей. Зато сверкающий снег, подобно белому туману, стелющемуся на высоте нескольких футов, покрывает под нами плодородную почву; темноглубая завеса весны, чистое небо, далеко простирается над нами, и белая земля кажется нам белой луной, блестящие ледяные поля которой при нашем приближении превращаются в темнозеленые луга, где колеблются и пестреют цветы.

На желтом пожарище природы печальный Фирмиан испытывал сердечную боль. Ежедневно повторяющееся замирание сердцебиения и пульса казалось ему тем умиротворением и умолканием грозowego набата, которое предвещает, что грозовая туча жизни вскоре отгремит и рассеется. Задержки в своем часовом механизме он приписывал застрявшей между шестернями пушинке, сердечной опухоли, а свое головокружение — приближающейся апоплексии. Сегодня шел 365-й акт года, и его занавес уже опускался; разве могло это внушить Фирмиану иные мысли, чем печальные сравнения с его собственным эпилогом, с зимним солнцестоянием его укороченной, омраченной жизни? — Но вот образ его плачущей Ленетты возник в его прощающей, улетающей душе, и он поду-

мал: «Она, конечно, неправа; но я ей уступлю — ведь нам уже недолго жить вместе. Мне, которому суждено истлеть, не удержать ее в моих объятиях, и ее друг примет ее в свои, — и я радуюсь за нее».

Он взошел на грозный и мрачный помост, на котором прекратились объятия его друга Генриха. Каждый раз, когда у Фирмиана было слишком тяжело на сердце, его взоры устремлялись с этой высоты вслед Лейбгеберу, до самых гор; но сегодня они были более влажны, чем обычно, ибо он не надеялся увидеть весну. Эта возвышенность стала для него тем холмом, на который император Адриан позволял иудеям всходить дважды в год, чтобы они с него могли смотреть на развалины священного града и оплакивать то, к чему им не было доступа.<sup>1</sup> Тенями закрыло солнце старый год, и когда, наконец, вечером взойшли те звезды, которые весной украшают утро, то судьба отломил прекраснейшие, цветущие ветви лиан его души, и прозрачный сок заструился из них. «Из будущей весны, — подумал он, — я не увижу и не переживу ничего, кроме ее лазури, которая у нее, словно в финифтяной живописи, появляется первой из всех красок». — Вообще его сердце, рожденное для любви, всегда отдыхало от сатир, от сухих дел и порою от холодности Ленетты, на лоне вечной, ласковой и всеобъемлющей богини-Природы. Сюда, в свободную, открытую, цветущую вселенную, под огромный небосвод, он охотно удалялся со своими вздохами и горестями, и в этом саду он рыл все свои могилы, как древние евреи в маленьких садах. — И если мы покинуты и изранены людьми, то небо, земля и маленькое цветущее деревцо раскрывают свои объятия и принимают в них страдальца, цветы припадают к нашей истерзанной груди, ручьи сливаются с нашими слезами, прохладные ветерки смешиваются с нашими вздохами — горний ангел потрясает и оживляет Вифездскую купель мироздания, подобную океану, и мы, со всеми нашими бесчисленными язвами, погружаемся в ее горячие струи и выходим из этой живой воды исцеленными, с утихшими спазмами.

Фирмиан, с сердцем, полным всепрощения, и с глазами,

---

<sup>1</sup> По Иустину; см. «Иудейскую историю» С. Бастгольма, перевод с датского, 1785 г.

которые он уже не осушал в наступившей темноте, медленно брел домой; теперь он говорил себе все, чем только мог оправдать свою Ленетту, — он старался принять ее сторону, думая о том, что она не могла по его примеру избежать ошибок и ушибов о камни жизни, пользуясь шлемом Минервы, парашютом и парашютом мышления, философии и авторства, — он еще раз (и притом уже в тридцатый раз) дал себе слово, что будет с ней так предупредителен, словно она для него чужая,<sup>1</sup> и даже надел на свое «Я» защитную сетку или кольчугу терпения на случай, если клетчатый ситец в самом деле не заложен и продолжает лежать дома. — Так поступает человек, так затыкает он себе уши обеими руками, чтобы только погрузиться в послеобеденный сон душевного покоя; так всегда бывает с нашей душой, обуреваемой страстями; подобно зеркальным или водным поверхностям, она отражает солнечный свет правды только одной блестящей точкой, тогда как вокруг отражающих мест поверхность лишь кажется еще более темной.

До чего все пошло по-иному! Важно и с видом церковного ревизора, готового разразиться инспекторскими проповедями, выступил ему навстречу Штиблет, тогда как Ленетта едва обратила свои опухшие глаза в наветренную сторону его прибытия. Удерживая на своем лице натянутое выражение, словно натянутую сеть, чтобы оно не смягчилось при виде открытого, дружелюбного лица Фирмиана, Штиблет начал: «Господин адвокат для бедных, собственно говоря, я хотел вам занести деньги за ланговскую рецензию. Но по долгу дружбы от меня требуется нечто более значительное, а именно я вынужден увеще-

---

<sup>1</sup> Желательно, чтобы супруг больше разыгрывал роль любовника, а тот — роль этого. Просто невозможно описать, какое смягчающее влияние оказывает немного учтивости и невинной лести именно на тех особ, которые не ожидают их и не привыкли к ним, — на супруг, сестер, родственниц, — хотя бы они и считали учтивость тем, что она есть. Эту смягчающую помаду для наших жестких, растрескавшихся губ мы должны были бы применять целый день, как только мы произносим хотя бы три слова, и такую же помаду для рук нам следовало бы иметь под рукой при наших действиях. Я надеюсь, что сдержу свое обещание не лстыть ни одной женщине и даже собственной жене; но через четыре с половиной месяца после бракосочетания я начну ей лстыть и буду продолжать это делать всю свою жизнь.

вать вас, чтобы вы к вашей бедной супруге, здесь присутствующей, относились как истинный христианин к христианке». — «Или даже еще лучше, — сказал тот, — но о чем идет речь, жена?» Ленетта смущенно молчала. Она попросила советника быть ее советчиком и заступником в тяжбе о ситце, не столько потому, что в этом нуждалась, сколько для того, чтобы рассказать все. Дело в том, что как раз перед тем, как советник застал ее в самых горьких слезах, она действительно послала в заклад свою клетчатую колючую кожицу гусеницы, ибо после честного слова и клятвы мужа была уверена, — зная, как он держит слово и как равнодушен ко всем условностям, особенно в нужде, — что он, не задумываясь, нацепит на голову смехотворные рога и понесет их на продажу через все местечко. Перед своим духовным пастырем она, может быть, только плакала и молчала бы, если бы смогла поставить на своем и оставить у себя платье; но так как ей не удалось добиться ни того, ни другого, то она жадала возмещения, мести. Сначала она стала исчислять перед ним свои тяготы лишь в отвлеченных, неименованных числах; но когда он стал допытываться, то ее переполненное сердце разверзлось, и все страдания хлынули наружу. Вопреки правилам юриспруденции и многих университетов Штибель всегда признавал правым истца, потому что тот говорил первым; большинство людей принимает беспристрастие своего сердца за беспристрастие своего рассудка. Штибель поклялся сказать ее мужу все, что следует, и добиться, чтобы ситец сегодня же был водворен обратно.

Этот исповедатель позвенел перед адвокатом своей связкой ключей, атрибутом вяжущей и разрешающей власти, и изложил супругу общую исповедь его жены, а затем сообщил о закладе платья. Когда рассказывают о двух различных поступках одного и того же лица, из которых один поступок неприятен, а другой приятен, то главное впечатление зависит от того, который поставить первым; он грунтует настроение, а нарисованный последним становится лишь второстепенной фигурой и оттенком. Следовало бы, чтобы о закладе Ленетты Фирмиан узнал еще на улице, а об ее болтовне — лишь наверху. Теперь же все дело пошло к чорту. «Как, — если не поду-

мал, то почувствовал наш герой, — моего соперника она сделала своим наперником и моим судьей, — я приношу ей примиренную душу, а она ей наносит новую рану, да еще отравляет мне последний день проклятой болтовней?» Этот последний намек его чувств еще непонятен читателю: ибо я ему еще не рассказал, что Ленетта имела несчастье быть плохо воспитанной, а потому имела непохвальное обыкновение превращать знакомых простолюдинок в хранительниц ее сокровенных мыслей и в электрические разрядники для ее мелких гроз; однако вместе с тем она подозревала своего мужа в том, что хотя слуг, служанок и плебеев он не посвящал в свои тайны, но зато следовал за ними в их собственные.

Теперь Штибель — по обычаю всех людей, лишенных светского такта, которые обо всем поучают и ни о чем не догадываются, — прочел со своей кафедры длинную теологическую брачную проповедь о любви супругов-христиан и закончил ее тем, что настаивал на возвращении ситца, словно тот был его Неккером. Этой речью Фирмиан был раздосадован, но лишь потому, что его жена и так уже думала, будто он чужд религии или менее религиозен, чем Штибель. «Из французской истории я помню, — сказал он, — что первый принц крови, Гастон, немножко обеспокоил своего брата междуособной войной, а затем при заключении мирного договора в особой его статье обязался любить кардинала Ришелье. Во всяком случае, статья, в силу которой для супругов обязательна взаимная любовь, должна быть сделана самостоятельной, тайной и особой статьей в брачных договорах, и ибо хотя любовь, подобно Адаму, вначале является вечной и бессмертной, однако затем, после змеиного обмана, она все же становится смертной. Что же касается ситца, то всем нам следует возблагодарить бога за то, что яблоко раздора выброшено из дома». Желая заклать жертву и воскурить фимиам своей возлюбленной Ленетте, Штибель тем отважнее настаивал на обратном походе ситцевого платья, что под влиянием прежней кроткой готовности Фирмиана к небольшим уступкам и одолжениям возымел ложное мнение о своем подавляющем превосходстве. Взволнованный супруг сказал: «Давайте, прекратим этот разговор». — «Нет, — заявил Штибель, — потом! Сейчас я

прежде всего требую, чтобы супруге было возвращено ее платье». — «Господин советник, из этого ничего не выйдет». — «Я вам дам взаймы, — сказал Штибель, крайне неслыханным непослушанием, — столько денег, сколько вам потребуется». Теперь адвокату тем более нельзя было отступить; он раз восемьдесят покачал головой. «Кто-то из нас двоих совершенно заблуждается, — сказал Штибель, — я вам еще раз изложу все доводы». — «В старину, — возразил Фирмиан, — адвокаты имели счастье пользоваться услугами домашних капелланов;<sup>1</sup> но ни одного нельзя было обратиться, — а потому теперь к адвокатам больше с проповедями не обращаются».

Ленетта сильнее заплакала, поэтому Штибель стал сильнее кричать, — первоначальное смущение, вызванное тем, что его ожидания не оправдались, заставило его повторить свое требование в более резкой форме, на что его оппонент был вынужден ответить более решительным отпором. — Штибель был педант, а потому обладал самым откровенным и слепым тщеславием, подобным ветру, непрестанно дующему со всех тридцати двух сторон горизонта (ибо педант становится даже совершенно пустым внутри). По примеру хороших драматургов, Штибель принужден был выдержать роль до конца и сказать: «Одно из двух, господин адвокат для бедных! Либо платье будет возвращено, либо я перестану приходить — *aut, aut*. Возможно, конечно, что мои посещения малозначительны; но я также придаю им небольшую цену, и то исключительно ради вашей уважаемой супруги». — Фирмиан, вдвойне рассерженный, во-первых, надменностью и грубостью столь тщеславного ультиматума, а во-вторых, низкой рыночной ценой, за которую советник сбывал их дружеские встречи, вынужден был сказать: «Ну, уж теперь ваше решение не зависит ни от кого, кроме вас, но не от меня. — Вам будет очень легко расстаться с нами, господин советник, хотя вы и могли бы поступить иначе, — но мне это будет тяжело, хотя я и не могу поступить иначе». — Штибелю, у которого так неожиданно и к тому же в присутствии его возлюбленной, восковые лавры расплавились и стекли с головы, не оставалось ничего иного, как уда-

<sup>1</sup> См. примечания Клюбера к сочинению Де-ла-Кюри де Сент-Пала о рыцарстве.

литься, ощущая три флюющих острых чувства, — ибо его честолюбие страдало, — его подруга плакала, — его друг взбунтовался и упорствовал.

И когда советник распростился навеки, глаза его подруги выражали такую ужасную скорбь, что, хотя их уже прикрыла рука прошлого, я все еще вижу их оцепенелый взор; удаляющегося друга она не могла, как прежде, проводить вниз по лестнице и с переполненным, разрывающимся сердцем вернулась одна в неосвещенную комнату.

Сердце Фирмиана отрешилось от своей суровости, хотя и не от холодности, когда он увидел свою затравленную жену безмолвно и бесслезно скорбящей о крушении всех ее маленьких планов и радостей, и он больше не стал причинять ей боли ни единым упреком и лишь сказал: «Ты видишь, я не виноват, что советник уже не вернется, — разумеется, не следовало ему ничего сообщать, — но теперь все кончено». Она не отвечала. Жало шершня, наносящее тройную рану, или кинжал, словно брошенный в нее мстительным итальянцем, еще застряли в ране, и потому кровь не могла течь. Бедняжка! Сколь многого ты себя лишила! — Но Фирмиан все же ни в чем не раскаивался; он, самый кроткий и уступчивый человек в целом мире, яростно топорщился всем своим мягким оперением против всякого принуждения, а тем более против сопряженного с ущербом для его чести. Подарки он принимал, но лишь от своего Лейбгегера, или от других близких людей, в часы теснейшего единения душ; он и его друг единогласно признавали, что в дружбе не только медный грош стоит золотой монеты, но и золотая монета не дороже гроша, и что величайший дар следует принимать так же охотно, как если бы он был ничтожнейшим; поэтому одним из неосознанных блаженств детей Фирмиан считал то, что им не стыдно принимать подарки.

С оцепеневшей душою опустил он на дедовское кресло, прикрыв глаза рукой, — и вот поднялась туманная завеса, скрывавшая будущее, и в нем открылась обширная безводная равнина, усеянная пожарищами, засохшими кустами и лежащими среди песков скелетами животных. Он увидел, что расселина или пропасть, отделившая его сердце от сердца жены, будет зиять все шире; он увидел так ясно и с такой безнадежностью, что его бывшая прекрасная лю-

бо́вь никогда не вернется, что Ленетта никогда не откажется от своего упрямства, своих причуд и привычек, — что тесные пределы ее сердца и рассудка навсегда останутся незыблемыми, — что она так же мало способна понять, как и полюбить его, — и что, с другой стороны, ее нерасположение к нему лишь возрастает в связи с отсутствием ее друга, — что, вместе с тем, ее любовь к последнему, его серьезность и набожность и привязанность разрывают мучительные узы брака более прочными и нежными узами, — Фирмиан печально предвидел долгие безмолвные дни, полные скрытых вздохов, полные немых враждебных упреков.

Ленетта удалилась в спальню и тихо работала там, ибо ее израненное сердце избегало слов и взглядов, как сурового холодного ветра. Уже было очень темно, — она не приносила свечу. Вдруг внизу, в доме, бродячая певица начала играть на арфе, а ее ребенок — на флейте. Нашему другу показалось тогда, что его напряженное, переполненное кровью сердце подверглось тысяче надразов, чтобы нежно опасть. Подобно тому, как соловьи охотнее всего щелкают при откликах эхо, наше сердце громче всего откликается на мелодии. О, когда звук как бы тройных струн воскресил вереницу его былых, почти *неузнаваемых* надежд, — когда он взглянул вниз, на счастливую Аркадию, уже глубоко погруженную в поток лет, и увидел себя там внизу со своими свежими, юными желаниями, среди своих давно утраченных друзей, со своим полным упования взором, радостно созерцавшим окружающий мир, со своим растущим сердцем, которое накопило и лелеяло в себе любовь и верность, в ожидании другого горячего сердца, — и когда эту гармонию он теперь нарушил диссонансом, воскликнув: «Я не нашел такого сердца, и все погибло», — и когда в жестоких звуках, словно в камере-обскуре, живые, движущиеся образы цветущих весен, живописных стран и любящих друзей прошли перед этим одиноким человеком, который ничем не обладал, не имел сегодня в здешней стране даже ни одной любящей души: то его стойкий дух поник и, размягченный, устало прильнул к земле, и для него теперь ничего не было отраднее его боли. Звуки, подобно лунатикам бродившие во мраке, внезапно умолкли, и пауза сильнее щемила сердце, словно

бездомный мертвец ночью. В этой мелодической тишине Фирмиан вошел в спальню и сказал Ленетте: «Снеси им вниз немного денег!» Но последние два слова он смог произнести лишь запинаясь, так как в свете от трута, горевшего в доме насупротив, увидел все ее пылающее лицо, залитое текущими, неотертыми слезами: ибо когда он вошел, она притворилась, будто занята протиранием оконных стекол, потускневших от ее теплого дыхания. Она оставила деньги на окне. Он сказал еще более кротко: «Ленетта, деньги надо им отнести сейчас, пока они не ушли». Она взяла монеты, — когда, уходя, она обернулась, ее заплаканный взор скользнул по его заплаканным глазам, — но при этом их слезы почти *высохли*, настолько чужды уже были их души одна другой. Они страдали в том ужасном положении, когда уже не примиряет и не согревает даже час взаимной растроганности. Вся грудь Фирмиана вздымалась от прилива любви, но любовь Ленетты ему уже больше не принадлежала, — его одновременно угнетали желание и невозможность ее любить, сознание ее недостатков и уверенность в ее холодности. — Он присел на скамейку в оконной нише, прислонил голову и случайно дотронулся до забытого женой платка, холодного и влажного от слез. После целого долгого, тяжелого дня обиженная женщина на славу отвела себе душу этим кротким излиянием, подобно тому как при тяжелых ушибах пускают кровь. От прикосновения к платку ледяной холод пробежал по его спине, и он почувствовал словно угрызения совести; но сразу же затем его обдало жаром, ибо он подумал, что жена оплакивала утрату совершенно иной особы, чем его собственная. Тут снова послышались, но уже без аккомпанемента арфы, пение и флейты; они сливались в медленной песне, все строфы которой заканчивались словами: «Что прошло, тому не быть, — что мертво, тому не жить». Скорбь, словно спрут, охватила его своим удушающим телом. Он плотно прижал к глазам влажный платок Ленетты и лишь смутно слышал: «Что мертво, тому не жить». И вдруг у него в душе все словно рухнуло от мысли, что его замирающее сердце, быть может, не позволит ему пережить больше ни одного нового дня, кроме завтрашнего, — и он представил себя умирающим, и холодный платок, вдвойне орошенный сле-

зами, охлаждал его горячее лицо, — звуки, подобно колоколам, отсчитывали все мгновения времени, и слышно было, как оно уходит, — и он видел себя спящим в тихом склепе, словно в змеином гроте,<sup>1</sup> и вместо змей лишь черви высасывали из его ран жгучий яд жизни.

Музыка умолкла. Услышав, что Ленетта ходит по комнате и зажигает свет, Фирмиан вышел к ней и подал ей платок. Но внутренний человек Фирмиана был настолько обескровлен и подавлен, что ему хотелось обнять хоть кого-нибудь во внешнем мире; он должен был прижать к этой томящейся груди если не нынешнюю, то хоть прежнюю, если не любящую, то хоть страдающую Ленетту. И все же он не мог и не желал сказать ей ни одного слова любви. Медленно и не сгибаясь, он обвил ее руками и привлек к своему сердцу; но она холодно и слишком поспешно откинула голову назад, уклоняясь от непредложенного поцелуя. — Это ему причинило большую скорбь, и он сказал: «Разве я счастливее, чем ты?» — и прильнул своим склоненным лицом к ее откинутой голове, снова привлек ее к себе и затем отпустил. . . И когда разомкнулись эти тщетные объятия, все его сердце воскликнуло: «Что мертво, тому не жить».

Немая комната, в которой умолкли музыка и слова, была подобна несчастному селению, откуда жестокосердый враг увез все колокола и где тихо весь день и всю ночь, а на башне царит такое безмолвие, будто время окончилось.

Когда Фирмиан ложился, он подумал: «Сном завершается старый год, словно смертью, и начинается новый, словно жизнь, и я погружаюсь в дремоту, в ожидании тревожного, хаотического будущего, скрытого непроницаемой завесой». Так человек засыпает у ворот, за которыми заперты сны; но он не знает заранее, пока эти ворота не откроются, какие сны ожидают его (хотя они отстоят от ворот лишь на несколько минут или шагов), не знает, окружают ли его в быстролетной и бессвязной ночи притаившиеся хищные звери со сверкающими зрачками или сидящие, смеющиеся, играющие дети, и задушит ли его или обнимет принявший плотную форму туман.

<sup>1</sup> В Змеиный грот возле Чивиттавекки в старину приносили полусгнивших больных, у которых, пока они лежали, усыпленные опиумом, змеи высасывали гной из язв. «Путешествие» *Лаба*, VI, стр. 81.

## ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

*Новогоднее одиночество. — Ученейший Шаластер. — Деревянная нога апелляцин. — Комнатная почта. — Одиннадцатое февраля и день рождения в 1786 году*

Поистине, моего героя я не могу поздравить в то новогоднее утро, когда он, с трудом поворачивая опухшие глаза в воспаленных орбитах, обращает взор к багрянцу зари и с опустошенным, одурманенным мозгом снова припадает к подушке. Человека, который редко плачет, подобные телесные недуги всегда постигают вместе с душевными. В постели он остался дольше обычного часа, чтобы поразмыслить о содеянном и о том, что предстояло сделать. Он проснулся гораздо более равнодушным к Ленетте, чем был, когда засыпал. Если два человека не спаяны взаимным чувством, если пыл восторга не превращается в связующее вещество для их сердец, то, охладившись и отвердев, они еще менее способны слиться. Существует опасное состояние неполного, половинчатого примирения, когда стрелка ювелирных весов, вертикально стоящая в стеклянном ящичке, при малейшем дуновении отклоняется от другой стрелки; ах, сегодня у Фирмиана весы уже опустились немного, а у Ленетты — совсем. Он все же готовился и вместе с тем боялся произнести новогоднее поздравление и ответить на него. Собравшись с духом, он вошел в комнату прежней бодрой походкой, как будто ничего не случилось. Чтобы не звать его, жена предпочла предоставить кофейнику возможность превратиться в холодильную кадку, а сама, повернувшись спиной к Фирмиану, стояла у выдвинутого ящика комода и разрывала — сердца, чтобы посмотреть, что скрывается за ними. Это были печатные, изложенные в стихах новогодние поздравления, которые она в лучшие времена получала от друзей и подруг в Аугспурге и привезла оттуда; дружеское поздравление покрывалось рядом вырезанных сердец, наложенных одно на другое по спиральной линии. Подобно тому, как святую деву увешивают восковыми сердцами, другие девы увешиваются бумажными — показными: ибо у этих граций все пылкое и дружеское именуется сердцем, подобно тому как рисовальщики ландкарт тоже находят в очертаниях жаркой Африки сходство с сердцем.

Фирмиан легко догадался обо всех тоскливых вздохах, исторгнутых у его обедневшей подруги столь многими разбитыми мечтами, обо всех печальных сравнениях нынешнего времени с веселым прошлым и о том, что скорбь и прошлое вместе говорят нежному сердцу: «ах, если в день нового года вздыхает даже счастливец, то разве не позволительно плакать несчастному?» — Он кротко сказал свое «с добрым утром» и намеревался, получив кроткий ответ, присоединить свои поздравления к печатным. Но Ленетта, которая вчера гораздо чаще подвергалась обидам и была ими уязвлена гораздо глубже, чем он, ответила ему холодным и быстрым бормотанием. — Теперь он уже был не в состоянии поздравлять; она тоже не сделала бы этого; так плачевно и сурово они вместе протиснулись через ворота нового года.

Надо сказать, что он еще за восемь недель радовался этому утру, сладкому умилению их сердец, тысяче горячих пожеланий, которые он намеревался ей пролепетать, их объятиям и немому упоению слившихся уст... О, до чего все было иным, столь холодным, столь смертельно холодным. — Где-нибудь в другом месте, где я буду располагать для этого бóльшим количеством бумаги, я подробно объясню, отчего и почему, — ибо по наружному впечатлению следовало бы ожидать как раз обратного, — из его сатирической жилки проистекло бродильное вещество или орошающая вода для его чувствительного сердца, которому он радовался, хотя вместе с тем и стыдился его. Больше всего этому способствовало имперское местечко Кушнапфель, на которое, как и на несколько других местностей Германии, не пала роса чувствительности, словно па металлы, и где люди запаслись окостеневшими сердцами, которые, как отможенные конечности, или как ведьм, покрытых клеймами дьявола, невозможно было сколько-нибудь серьезно ранить. Именно среди таких холодных людей даже чрезмерная горячность является прощительной и желательной. Напротив, тот, кто в 1785 году проживал в Лейпциге и т. п., где большинство сердец и артерий были спрыснуты спиртом слез, скорее был склонен к чрезмерному осмеянию их; подобно этому, в дождливые годы повара растирают с водянистыми овощами больше острых приностей, чем в сухие.

Ленетта сегодня трижды посетила церковь; но это было вполне естественно. . . При слове «трижды» я беспокоюсь не о тех богомольцах, которые могут этим снискать блаженство, но о бедном духовенстве, которое вынуждено произносить в этот день так много проповедей, что хорошо еще, если оно при этом только хрипнет, а не губит душу. Проповедуя в первый раз, больше всех, конечно, растрогаешь самого себя, так что становишься своим собственным прозелитом; но с тем, кто проповедует ту же самую мораль в миллионный раз, происходит то же, что с эгерскими крестьянами, которые ежедневно пьют воду эгерского источника, а потому она уже не оказывает на них послабляющего действия, сколько бы *sedes* она ни вызывала у посетителей курорта.

За едой печальные супруги безмолвствовали. Муж нарушил молчание лишь одним вопросом: увидев, что жена собирается к вечерне в одну церковь, где она несколько времени не была, он спросил, кто будет проповедывать. «Вероятно, господин советник Штибель, — сказала она, — хотя обычно он всходит на кафедру лишь утром; но вечерний проповедник Шаластер не может, бог наказал его, он вывихнул себе ключицу». По этому последнему поводу Зибенкэз в другое время сказал бы многое, но теперь он лишь ударил одним зубцом вилки по тарелке и быстро поднес этот камертон к одному уху, одновременно заткнув другое; барабанный бас гудящего эуфона увлек его страдающую душу в волны звуков, и казалось, что в новом году из этой гулкой резонансной деки, из этого вибрирующего языка колокола к нему доносятся слова: «Разве ты не слышишь дальний звон, возвещающий окончание пьесы твоей холодной жизни? Еще вопрос, будешь ли ты слышать в следующий новогодний день и не будешь ли ты уже лежать и распадаться».

После еды он поглядел в окно, не столько на улицу, сколько на небо. Там он в этот самый миг увидел два ложных солнца и почти в зените половинную радугу, которую пересекала другая, обесцвеченная.<sup>1</sup> Эти созвездия красок начали причудливо управлять его сердцем и пре-

<sup>1</sup> Автор сего наблюдал точно такое явление в Байрейте 17 января 1817 года.

исполнили его такой грустью, как если бы он увидел там в вышине изображение или отражение своей полуокрашенной, бледной, раздробленной жизни. Ибо для человека, движимого чувствами, природа всегда является великим зеркалом, полным движущихся образов; только для пресыщенного и покоящегося она является лишь холодным, мертвым окном во внешний мир.

Когда после обеда Фирмиан остался наедине в комнате, когда торжественное церковное пение и слышавшееся у соседей веселое щебетание канареек, словно вопли и стук заживо погребенных годов радости, вторгались в его усталую душу, — и когда яркий волшебный солнечный свет проникал в его комнату, и когда легкие тени облаков скользили по светлому вырезу пола и тысячей печальных подобий вопрошали больное, стонущее сердце: «Разве не все так? Разве не ускользают над мертвой землей и не ульзают во мрак ночи дни твоей жизни, словно туманы в холодном небе?», то он почувствовал потребность вскрыть тонким лезвием музыки свое переполненное сердце, чтобы из него вытекли хоть первые и самые крупные капли скорби, — он взял на клавесине один-единственный *тройной аккорд*, взял его снова и дал ему отзвучать, — подобно облачкам, улетали замиравшие звуки, гармоническое созвучие вибрировало все медленнее, перешло в слабый трепет и оцепенело, и тишина воздвиглась, словно могильный холм. — Пока Фирмиан прислушивался, его дыхание и его сердце замерли, бессилие объяло его душу, и в этот мечтательно-болезненный час поток его сердца — подобно тому, как наводнения выносят погребенных из размытых склепов и могил — выбросил наружу, из-под земного покрова, молодого мертвеца грядущих дней, не покрытого саваном: то было его собственное тело; он был мертв. Фирмиан поглядел в окно на бодрящий свет и сутолоку жизни, но внутренний голос продолжал в нем восклицать: «Не обманывай себя — прежде чем вновь раздадутся новогодние поздравления, тебя уж не станет».

Когда содрогается сердце обнажено, словно дерево с облетевшей листвой, то в каждом дуновении — холод. С какой теплотой и нежностью должна бы прикасаться Ленетта к сердцу Фирмиана, чтобы не испугать его;

ибо оно было подобно ясновидящим, ощущающим холод смерти в каждой руке, дотрагивающейся до них вне магнетического круга.

Фирмиан решил вступить сегодня в так называемую лотерею покойников, чтобы при своем отступлении в иной мир получить хоть отступное. Он сказал об этом жене; но она приняла это решение за намек на траурное платье. Так пасмурно прошел первый день, и еще дождливее была первая неделя. Живая изгородь и забор, окружавшие любовь Ленетты к Штибелю, были вырваны, и любовь ее осталась открытой. В каждый вечер, когда прежде приходил советник, гнев и печаль глубже запечатлевались на ее юном лице, постепенно худевшем и превращавшемся в ажурное рукоделие горя. Чтобы услышать Штибеля, она спрашивала, в какие дни ему предстояло проповедывать, а чтобы его увидеть, она подходила к окну при каждом погребальном шествии. Переплетчица была ее собственным корреспондентом, из которого можно было извлечь новые открытия насчет советника и с которым можно было освежить в памяти наиболее древние. Как много тепла выигрывал советник благодаря своему фокусному расстоянию, и как много терял муж вследствие своего перигея. Подобно этому, земля получает от солнца меньше всего тепла именно тогда, когда она к нему ближе всего, то есть зимою! — Ко всему этому присоединилась еще одна совершенно новая причина для нерасположения Ленетты. Дело в том, что тайный фон Блэз тайно рассказывал об ее муже, что он якобы атеист и не христианин. Прямодушные старые девы и духовные лица выгодно отличаются от мстительных римлян эпохи империи, которые часто выдавали невиннейшего человека за христианина, чтобы ему сплести мученический венец; напротив, означенные девы и духовные лица становятся на сторону человека, навлекшего на себя такое подозрение, и отрицают то, что он христианин. Этим они отличаются даже от современных римлян и итальянцев, которые всегда говорят: «Здесь четыре христианина» вместо «четыре человека». В Ст. Ферье, возле Безансона, наиболее добродетельная девица получала в награду *покрывало* ценою в пять ливров; и вот люди, подобные Блэзу, любят набрасывать на добрых людей тень, словно моральное покрыв-

вало ценою в шесть ливров, столь прекрасно вознаграждающее их добродетель, а потому охотно называют мыслителей неверующими, а инако верующих — лютыми волками (зубы которых служат полировальными зубьями, а также помогают прорезываться детским зубам); подобно этому и лучшие клинки клеймятся изображением волка.

Когда Зибенкэз впервые доложил своей жене блэзовское известие о том, что он не христианин, а, пожалуй, даже нехристь, то она еще не придавала этому особого значения, ибо не могла допустить подобной мысли о человеке, с которым сочеталась законным браком. Лишь впоследствии ей вспомнилось, что в тот месяц, когда слишком долго не было дождей, Фирмиан, не таясь, отвергнул не только католические молитвенные шествия, которые она сама не ставила ни во что, но и протестантские молебны о погоде, причем спросил, смогли ли когда-либо создать всеми своими молениями хоть одно-единственное облако те процессии, так называемые караваны, которые тянутся на целые мили в аравийской пустыне; или же, далее, почему духовенство устраивает шествия лишь против дождей и засухи, но не против суровой зимы, чтобы сделать ее более мягкой хотя бы для участников шествий, и почему в Голландии не устраивают шествий против туманов, а в Гренландии — против северных сияний; но больше всего он дивился, почему проповедующие у язычников миссионеры, столь часто и столь успешно вымалывающие солнце, когда оно закрыто лишь тучами, не просят (хотя это было бы гораздо важнее) о солнце в полярных странах, где оно при ясном небе совершенно не показывается в течение целых месяцев; и почему, спросил он наконец, мы не принимаем мер против полных солнечных затмений (хотя они редко для нас отрадны) и, в сущности, позволяем себя здесь превзойти дикарям, которые их в конце концов прогоняют завываниями и мольбами. — Сколь многие речи, которые сами по себе первоначально были безобидными и даже приятными, лишь в залежах времени приобретают ядовитые свойства, подобно сахару, тридцать лет пролежавшему на складе.<sup>1</sup> Те вольные речи сильно задевали Ленетту теперь, когда она сидела под

<sup>1</sup> Зандер, О величии и красотах природы, ч. I.

кафедрой Штибеля, сплошь построенной из апостолов, и слушала, как он творит одну за другою молитвы то за, то против (о недугах, о властях предержавших, о разрешении от бремени, о посевах и т. д.). С другой стороны, сколь приятен стал ей теперь Штиблет, и какими прекрасными сделались его проповеди, поистине любовные послания для ее сердца. Да и без того ведь духовенство близко женскому сердцу; поэтому на немецких игральных картах сердцевидные черви первоначально означали духовенство.

Что же делал и думал при всем этом Станислаус Зибенкэз? Две противоречащие друг другу вещи. Если ему случилось сказать резкое слово, то он сразу же начинал испытывать жалость к одинокой, бессильной душе, в чьем цветнике радостей были вырублены все кусты роз, чья первая любовь (к советнику) изнывала в горе и бедности, тогда как бесчисленные прелести этой замкнутой души раскрылись бы перед любимым сердцем, — ибо сердце нашего героя таковым не было. «И разве я не вижу, — говорил он себе далее, — что иголка или игольное ушко отнюдь не может служить ей таким острым громоотводом против ее тяжелых грозовых туч, каким мне служит острое перо? Отписаться можно от многого, но отшиться — нельзя. И если я сверх того поразмыслю, какими плавательными платьями и пробковыми жилетами при наивысших приливах являются для меня, — я не считаю здесь даже космологии и психологии — в особенности «К самому себе» императора Антонина и «Эпиктет» Арриана, — тогда как ей незнакомы ни имена, ни переплеты их обоих, — и каких я в них имею пожарных, когда загораюсь гневом, как это было сейчас, тогда как она вынуждена одиноко пылать гневом, пока он сам не догорит, — то поистине мне следовало бы если не обожать, то хоть не обижать ее». — Но, конечно, если случалось, что обидные речи он не произносил, а, напротив, выслушивал, — то он рисовал себе, во-первых, сильную страсть к советнику, которую она во время механической работы шитья могла тайно и беспрепятственно растить, сколько ей вздумается, и, во-вторых, неизменную податливость своего слишком мягкого сердца, за которую его бурный друг Лейбгебер несомненно порицал бы его (но за противоположную крайность его еще больше порицала бы жена) и

которую она едва ли встретила бы у своего накрахмаленного Штибеля, насколько можно было судить по его недавнему резкому заявлению или объявлению о наличном капитале любви.

Будучи настроен подобным образом, Фирмиан однажды в воскресенье, когда жена снова собиралась к вечерне слушать проповедь советника, задал пустой вопрос (хотя сам был полон затаенного гнева): почему вечерние проповеди она прежде посещала так редко, а теперь так часто. В ответ она объяснила, что прежде по вечерам проповедывал Шаластер, которого со времени вывиха его ключицы замещает на кафедре Штибель; если же ключица будет вылечена, то сохрани ее бог от этих молений. Мало-помалу Фирмиан выведал, что юного Шаластера она считает коварным, опасным лжеучителем, отступающим от лютеровского священного писания, ибо он верует в «Мше», в «Иезоса Христоса», в «Петроса», «Павлоса», и все апостолы оканчиваются у него на «ос», чем вводятся в соблазн все христианские души; а небесный Иерусалим он так назвал, что она даже и повторить не может; правда, после того он потерпел увечье на ключице, но не ей, Ленетте, об этом судить. — «Да и не надо, милая моя Ленетта, — сказал Зибенкэз, — бедный юноша либо обладает слабым зрением, или же малосведущ в греческой Библии, ибо в ней буква «у» выглядит как «о». Ах, сколь многие Шаластеры произносят в различных науках и вероучениях «Петрос» вместо «Петрус» и без нужды и без основания родственными гласными отчуждают людей друг от друга».

Однако на этот раз Шаластер их несколько сблизил. Адвокату для бедных было отрадно убедиться, что он до сих пор ошибался и что по вечерам Ленетту влекла в церковь не только любовь к Штибелю, но и любовь к чистой вере. Разница была, конечно, невелика, но в беде люди довольствуются любым утешением; поэтому Зибенкэз втайне радовался, что его жена любит советника не так сильно, как он думал. Не говорите с пренебрежением о тонкой паутине, на которой держимся мы и наше счастье; если мы ее соткали и извлекли из недр своего существа, как паук свою, то она изрядно нас поддерживает и, подобно пауку, мы безопасно висим в центре ее, и бурный ветер раскачивает нас и нашу ткань, не причиняя ущерб.

С этого дня Зибенкэз начал снова ходить к своему единственному другу в местечке, к советнику, маленький проступок которого он ему уже давно (спустя полчаса, как мне кажется) от души простил. Он знал, что его приход был утешением как для ссыльного евангелиста на домашнем Патмосе, так и для жены. Он даже передавал туда и обратно приветы, которые никогда не были посланы.

По вечерам краткие, скользь брошенные сообщения о советнике были для Ленетты словно зелеными знаками, которые роющаяся куропатка выгребает из-под глубокого снега. Однако я не скрою, что мне жаль его и ее; и я не могу быть пристрастным глупцом, которому не могут одновременно внушать сочувствие и любовь два человека, разделенные взаимным непониманием и враждою.

Наконец, с этого зловещего свинцового неба, электризующие машины которого ежечасно заряжались и пополнялись, пал первый оглушительный громовый удар: Фирмиан проиграл свой процесс. Тайный оказался трущейся кошачьей шкуркой и хлещущим лисьим хвостом, которые наполнили судебную камеру или смоляную лепешку юстиции маленькими карманными молниями. Впрочем, в судебном порядке адвокат был признан проигравшим процесс потому, что юный Гигольд, нотариальными документами которого он пытался было вооружиться, еще не был *имматрикулирован*. Едва ли найдется много людей, которым не было бы известно, что в Саксонии действительны лишь документы, составленные *имматрикулированным* нотариусом, и что в другом государстве документ не может иметь большую доказательную силу, чем в том, где его составили. Но хотя Фирмиану было отказано в иске, а потому пока и в наследстве, оно вместе с тем сохранялось для него огражденным от всяких иных притязаний. Ибо никогда имущество не бывает так хорошо защищено от воров, паразитов и адвокатов, как превратившись в *depositum* или в предмет судебного спора (*objectum litis*); никто больше не смеет на него посягать, ибо сумма капитала ясно указана в актах (разве только самые акты будут утрачены еще раньше, чем их предмет); так радуется хозяин, если зерновая моль оплела паутиной и покрыла белыми папильотками все скирды, ибо тогда остальные зерна,

которые не выел этот прядильщик, остаются совершенно защищенными от всех прочих зерноядных насекомых.

Легче всего выиграть процесс, когда он уже проигран: ибо можно апеллировать. — При условии уплаты судебных и внесудебных издержек и канцелярских расходов законы милостиво предоставляют *beneficium appellationis* (льготу жалобы в высший суд), хотя при этой бенефисной комедии правовой милости требуются еще и другие, внесудебные, чтобы можно было воспользоваться судебными.

Зибенкэз имел право апеллировать, — свое имя и свое подопечное состояние он вполне мог бы доказать при содействии другого, но имматрикулированного лейпцигского нотариуса, — и ему нехватало для этого всего лишь орудия или оружия борьбы (которое, вместе с тем, являлось и ее объектом), короче говоря — денег. В течение установленного десятидневного срока, пока апелляция созревала подобно зародышу, он бродил повсюду, болезненный и задумчивый; каждый из этих десяти дней был для него словно одним из десяти гонений на древних христиан и казнил через десятого часы его радостей. Попросить денег у своего Лейбгегера он не мог, ибо срок был слишком краток, а путь слишком долг: молчание Лейбгегера заставляло предположить, что он успел применить силуэтные ножницы в качестве шеста для прыгания и кошек для лазания и уже перебрался через множество гор. — Предав забвению все, Фирмиан пошел к старому другу Штибелю, чтобы утешиться и рассказать об всем; тот возмутился, услышав о топком, непроходимом пути тяжбы и навязал в помощь адвокату ходули, а именно деньги на апелляцию. Ах, томившемуся в одиночестве советнику при этом казалось, что он коснулся любимой, желанной руки Ленетты, и его честная кровь, уже несколько створожившаяся от бесчисленных холодных как лед дней, снова оттаяла и стала обращаться. Отнюдь не было возвращением чувства чести то, что Фирмиан, предпочитавший голодать, лишь бы не брать взаймы, тем не менее принял от Штибеля все талеры в качестве камешков, чтобы замостить ими топкую дорогу тяжбы и, таким образом, пройти по ней, не загрязнившись. Ведь главной причиной была его мысль, что он скоро умрет,

и тогда пусть останется его беспомощной вдове х<sup>б</sup>ть пользование маленьким наследством.

Он апеллировал в первую апелляционную камеру и указал себе в Лейпциге новое оружие в другой нотариальной кузнице, у исповедателя свидетелей Лобштейна.

С одной стороны, новые пытки и раны распинаемого счастья супругов, а с другой стороны — эта доброта и эти ссуды советника словно вдохнули кислород в Ленетту; но укус ее недовольства, как и настоящий, сделался крепче вследствие морозной погоды, о которой я могу тут же сообщить метеорологические наблюдения.

Дело в том, что со времени ссоры со Штибелем Ленетта целые дни молчала как немая; только находясь у чужих, она исцелялась от своего паралича языка. Здесь требуется искусное физическое объяснение, почему женщина часто может говорить только с чужими; для этого нужно отыскать противоположную ему причину противоположного явления, заключающегося в том, что сомнамбула разговаривает лишь с магнетизером и его помощниками. На св. Хильде все кашляют, когда прибывает чужеземец: между тем, кашель является если и не разговором, то предварительным скрипом колесного механизма в говорильной машине. Эта периодическая немота, которая, может быть, вызывается (подобно многим случаям постоянной) *накожными сыпями*, загнанными внутрь, не является новостью для врачей; Вепфер<sup>1</sup> рассказывает, что одна женщина, пораженная апоплексией, ничего не могла произносить, кроме «отче наш» и символа веры; так и в браках нередко случаи немоты, когда жена не может сказать мужу ничего, кроме самого необходимого. Один виттенбергский больной, одержимый лихорадкой,<sup>2</sup> не мог говорить в течение целого дня, кроме промежутка от двенадцати до часу; подобно этому, мы находим достаточно бедных немых женщин, которые лишь в течение четверти часа днем или же только вечером в состоянии произнести хоть слово, а в остальное время прибегают к *колокольчику немых*, применяя в качестве такового ключи, тарелки и двери.

<sup>1</sup> Вепфер, hist. apoplect., стр. 468.

<sup>2</sup> «Reubl. des lettres», октябрь 1685 г., V. 1091.

Эта немота, наконец, настолько ожесточила бедного адвоката, что он ее тоже заполучил. Он стал передразнивать жену, как отец передразнивает детей, чтобы исправить их. Его сатирический юмор часто походил на сатирическую злость; но он поддерживал его в себе лишь для того, чтобы оставаться спокойным и хладнокровным. Когда во время работы его писательской солеварни и пивоварни ему слишком мешали горничные тем, что при содействии Ленетты возвышали его комнату до ранга департамента герольдии и ораторской трибуны, то он стаскивал с трибуны по крайней мере свою жену тем, что (он это с нею и прежде проделывал) трижды ударял по своему письменному столу золоченым птичьим скипетром — у своей сестры-проповедницы ее супруг и повелитель отнимает свободу слова так же легко, как любой монарх у своих подданных. Да, Фирмиан нередко был способен, когда он сидел перед этими заведенными говорящими головами Цицерона и не мог из себя выжать ни одной мысли или строки, и когда он меньше принимал к сердцу ущерб, наносимый ему самому, чем наносимый другим, столь несметно многочисленным, высокопросвещенным и высокопоставленным людям, которые по вине этих виртуозок речи лишались множества мыслей, — итак, он был тогда способен весьма грозно ударить по столу скипетром, линейкой, подобно тому как принято ударять по пруду, чтобы унять кваканье лягушек. Особенно его огорчало, что будут ограблены грядущие поколения, ибо по вине столь суетной болтовни его книга дойдет до них менее содержательной. Хорошо, что все писатели, и даже те, что отрицают бессмертие своей души, все же редко отваживаются оспаривать бессмертие своего имени; и подобно тому, как Цицерон утверждал, что он верил бы в загробную жизнь, хотя бы ее и не существовало, так они хотят сохранить веру в загробную, вечную жизнь своего имени, хотя бы критики неопровержимо доказывали противоположное.

Теперь Зибенкэз объявил своей жене, что он больше ни о чем не будет говорить, даже о самом необходимом, и это лишь затем, чтобы во время писания долгие разговоры о разговорах, мытье и т. д. не заставляли его отвлекаться или расхолаживаться, или разгораться против нее гневом. Одна и та же безразличная вещь может быть

высказана в десяти различных тонах, складных и нескладных; а потому, чтобы оставить жену в состоянии неведения и любопытства насчет тона, которым что-либо могло быть сказано, он сказал ей, что впредь будет с ней говорить только письменно.

Здесь у меня уже наготове превосходное объяснение.

Дело в том, что угрюмо-серьезный и рассудительный переплетчик круглый год ни на кого так не сердился, как на своего лодыря (согласно его собственному выражению), то есть на своего веселого сына, полагавшего, что лучшие книги лучше читать, чем переплетать; ибо он обрезал их косо и слишком узко и, завинчивая переплетный пресс, словно типографский, одновременно удваивал и утончал влажное изделие. Отец прямо не мог смотреть на это; он озлоблялся настолько, что не желал больше сказать ни слова исчадию ада. Свои великолепные законы и золотые правила переплетного дела, составленные в наидание сыну, он передавал своей жене; а та, в качестве конной фельдъегерши (и вооруженная иголкой в качестве фельдъегерской пики), вставала из самого дальнего угла комнаты и относила эти приказы сыну, проклевывавшему бумагу невдалеке от отца. Последний свои ответы и вопросы вручал той же курьерше, что было ему как нельзя более по душе, ибо отец имел меньше возможности браниться. Тот отвык от воркотни и уже ни о чем не желал вести устные переговоры. Впрочем, свои чувства к сыну он пытался выразить мимикой и, подобно влюбленному, обстреливал его, сидевшего напротив, пылкими взглядами; но даже самый выразительный глаз — хотя мы знаем не только нёбные, зубные и язычные, но и глазные буквы — все же является лишь наборной кассой, наполненной перепутанным перль-шрифтом. К счастью, изобретение письма и почты дает возможность сноситься между собою даже людям, из которых один огибает на полярной льдине северный полюс, а другой сидит среди попугаев под пальмой в тропиках, — а потому и здесь отец и сын, когда они сидели друг против друга, разделенные рабочим столом, смогли, благодаря изобретению письма и почты, скрасить и облегчить свою разлуку, вступив в оживленную переписку и обмениваясь посланиями через стол; важнейшие деловые письма пропихивались туда и

обратно незапечатанными, но без риска — так как почтальонской сумкой и пакетботом при этой пенсовой почте служили два пальца: так по ровной, словно стол, дороге и при такой хорошей poste aux apes, часто и беспрепятственно происходил между обеими немymi державами обмен письмами и курьерами, и при такой легкости сообщения отец вполне мог уже через минуту получить от своего корреспондента ответ по любому, хотя бы и самому важному делу; да, они так мало ощущали свою разлуку, словно жили дом о дом. Если какому-либо путешественнику случится еще до меня посетить Кушнапель, то я прошу его отпилить те два угла стола, из которых один служил осведомительной конторой для другого, захватить с собою оба бюро и предъявить их целому любопытствующему обществу в каком-нибудь большом городе или же мне в Гофе.

Зибенкэз наполовину подражал соседям. Он заранее вырезал и приготовил маленькие декретаии для необходимых случаев. Если Ленетта обращалась к нему с непредвиденным вопросом, на который в его портфеле еще не содержалось ответа, то он писал три строки и вручал рескрипт через стол. Собственноручные высочайшие записки или магистратские повеления, которые надо было ежедневно возобновлять, он для экономии писчей бумаги раз навсегда в специальном уведомлении письменно приказал возвращать ему вечером, чтобы на другой день не приходилось снова писать прежнее предписание, — он просто вручал тот же обрезок бумаги. Но что говорила при этом Ленетта?

Чтобы лучше ответить на вопрос, я прежде расскажу нижеследующее. В этом заведении для немых Фирмиан заговорил лишь один-единственный раз, когда кушал капустный салат из глиняной миски, которая под глазурью была расписана не только простыми цветами, но и цветами поэзии. Он снимал вилкой салат, которым было покрыто начертанное на ободке рифмованное изречение, гласившее: «мир всех питает, распря — пожирает». Когда он поднимал нагруженную вилку, то каждый раз мог прочесть еще одну или несколько стоп из этого дидактического стихика, что он и сделал и притом вслух. — «Что же говорила при этом Ленетта?» — спросили мы

выше. «Она не говорила ни слова» — отвечу я; его молчание и гнев не заставили ее отказаться от ее собственных; ибо ей, наконец, показалось, что Фирмиан закоснел в злобе, а потому она не хотела далеко отстать от него. Действительно, он с каждым днем заходил все дальше и пихал все новые разбитые скрижалки по своему столу до самого угла или же относил на ее стол. Я процитирую здесь не все, но лишь некоторые, например четвертушку бумаги, начиненную, словно пыж, следующей картечью (ибо наш герой изобретал для собственного увеселения все новые надписи): «Заткни болтливый рот долговязой бестии, что пришла насчет питья (ведь она же видит, что я пишу), а не то я ее схвачу за надоедливую глотку»; — официальное уведомленье: «Запачкай о меня немного чистой воды: я — чистоплотный медведь и хочу очистить от чернил свои лапы»; — пастырское посланье: «Сейчас я хочу так или иначе иметь покой, чтобы наскоро просмотреть у Эпиктета о терпеливом отношении ко всем людям; а потому не мешай мне»; — пакетик булавок: «Как раз теперь я занят сочинением одной из самых сильных и горьких сатир на женщин;<sup>1</sup> сведи крикливую переплетчицу вниз к парикмахерше и можете там беседовать в свое удовольствие»; — записка из застенка, или же протокол пытки: «Сегодня до полудня я вытерпел много всевозможных мучений и продрался сквозь щетки и метелки, и сквозь манекены с чепцами, и сквозь манекены с языками; не будет ли мне милостиво разрешено провести сегодня к вечеру часок-другой мирно и не подвергаясь никакому уголовному преследованию, дабы я мог ознакомиться с имеющимися уголовными делами?»

Меня вряд ли смогут убедить, будто, оставляя у нее эти визитные карточки, он их в значительной мере лишал характера колкости и шпилек тем, что иногда превращал письменное в словесное и, если налицо были посторонние, устно шутил с ними на аналогичные темы. Так он однажды сказал парикмахеру Мербицеру в присутствии

<sup>1</sup> «Бумаги дьявола», стр. 427. Под иносказанием: «Доброжелательная биография новой приятной женщины, целиком из дерева, которую я изобрел и на которой женился». — Весьма вероятно, что Ленетта своими знойными лучами способствовала созреванию столь едкой сатиры.

Ленетты: «Monsieur Мёрбицер, прямо невероятно, сколько ежегодно пожирает мое хозяйство; одна лишь моя супруга, здесь находящаяся, съедает каждый год десять центнеров пищи, и (когда она и парикмахер всплеснули руками над головой) я — в точности столько же». Правда, он показал Мёрбицеру напечатанным у Шлёдера, что столько пищи ежегодно потребляет *каждый* человек; но разве кто-нибудь из присутствовавших в комнате считал это возможным?

Злость или злопамятность — это духовная катаlepsия, в которой, как и в телесной, каждая конечность остается окоченелой в том положении, в котором ее застиг припадок; и духовная имеет с телесной еще и то общее, что женщины ею заболевают чаще, чем мужчины.<sup>1</sup> В виду всего этого Зибенкэз именно той мнимо злой шуткой, которой он просто хотел подбодрить себя, лишь удвоил оцепенение своей супруги; а между тем многое сошло бы благополучно, если бы только она хоть раз в неделю видела Штиблета и если бы заботы о пропитании, которые проели и расплавили всю оловянную посуду, добытую с птичьего шеста, не растворили и не высушили вместе с тем в ее несчастном сердце последнюю живую и теплую каплю крови. — О страдалица! Но теперь уже ничто не могло помочь ей — и тому, кого она не умела оценить!

Бедность — это единственный груз, который становится тем тяжелее, чем больше любящих существ несут его вместе. Если бы Фирмиан был один, то он нисколько не страшился бы этих трещин и выбоин нашего жизненного пути, ибо судьба расставила уже через каждые тридцать шагов кучки камней для заполнения впадин. И даже в сильнейшую бурю для него всегда был доступен в качестве убежища, помимо прекраснейшей философии, еще один морской порт или водолазный колокол, а именно — его часы с репетицией, то есть их продажная стоимость. Но жена — и ее траурные песнопения и «господи помилуй!», — и бесчисленное множество других вещей, — и непонятное молчание Лейбгебера, — и собственная усиливающаяся болезнь, — все это загрязнило воздух, которым он дышал, и превратило в удушливый, изнуритель-

<sup>1</sup> Тисса, О нервных болезнях.

ный сирокко, вызывающий у человека сухую, горячую, болезненную жажду, против которой он нередко принимает внутрь то, что солдат берет в рот, чтобы ослабить физическую жажду, а именно холодный свинец и порох.

11 февраля Фирмиан попытался найти выход.

11 февраля, в день св. Евфросинии, в 1767 году, родилась Ленетта.

Она это часто говорила мужу и еще чаще своим заказчикам; но он все же забыл бы об этом, если бы не генерал-супер-интендант Циген, напечатавший целую книгу и в ней напомнивший ему об одиннадцатом числе. Суперинтендант предсказал, что 11 февраля сего 1786 года кусок южной Германии вследствие землетрясения опустится, словно полегшие хлеба, и погрузится в преисподнюю. Итак, на спущенном гробовом канате или на опущенном подъемном мосту оседающей почвы кушнапельцы отправились бы целыми корпорациями в ад, куда они прежде прибывали в качестве отдельных посланцев; но из всего этого ничто не осуществилось.

Накануне землетрясения и дня рождения Ленетты Фирмиан после полудня зашел на подъемную машину и трамплин своей души, на тот старый холм, где он был покинут своим Генрихом. Его друг и его жена стояли перед его душой в виде померкших образов; он думал о том, что со времени удаления Генриха и по сей день в его браке произошло столько же основных расколов, сколько их насчитывает Морери в апостольской церкви до Лютера, а именно 124. Мирные, тихие, веселые работники прокладывали путь для весны. Фирмиан прошел мимо садов, деревья которых очищали от мха и осенней листвы; мимо пчельников и виноградников, в которых переставляли ульи и пересаживали лозы; мимо лоскутков пастбищ. Солнце заливало теплым блеском всю местность с ее деревьями, пустившими бесчисленные почки. Фирмиану внезапно показалось — люди с пылким воображением часто испытывают это, а потому легко впадают в экстаз, — что его жизнь пребывает не в твердом сердце, а в мягкой, теплой слезинке, и что его удрученная душа, вскипев, рвется на волю сквозь щель темницы и тает, превращаясь в звук, в голубую эфирную волну: «В день ее рождения я должен ее простить, — воскликнуло все его растроган-

ное Я, — до сих пор я, может быть, поступал с ней слишком сурово». Он решил вернуть к ним в дом советника, а перед тем — клетчатый ситец, чтобы оба они, вместе с новой подушечкой для иголок, послужили подарком ко дню рождения. Он взялся за свою часовую цепочку, и, потянув ее, извлек наружу то средство, тот плащ Ильи-пророка или Фауста, который мог перенести его через все бедствия — именно если бы этот плащ он продал. Ощущая сплошной солнечный свет во всех закоулках сердца, он пошел домой, искусственно остановил часы и сказал Ленетте: «Их надо отдать в починку к часовщику». (Действительно, до сих пор они, подобно верхним планетам, в начале своих часовых суток совершали прямое движение, затем останавливались, а затем совершали обратное.) Тем самым он скрыл от нее свои проекты. Он сам отнес часы на рынок, сбыл их — хотя прекрасно знал, что без их тикания на его письменном столе он не сможет как следует писать, — так у Локка сказано, что один дворянин мог танцевать лишь в той комнате, где стоял старый ящик, — и вечером выкупленный клетчатый саван и рассадник плевел был незаметно доставлен домой. Еще в тот же вечер Фирмиан пошел к советнику и с новым пылом своего красноречивого сердца возвестил ему все: свое решение, — день рождения, — возвращение ситца, — просьбу посетить, — свою скорую кончину и свою покорность судьбе. На истомленного советника, побледневшего от терзаний разлуки или любви, подобно тeneвым частям фресок — от известки, повеяла теплым дыханием жизни весть о том, что завтра все струны его Я смогут откликнуться на звуки любимого голоса, которых он был так долго лишен (тогда как его голос Ленетта слышала хоть в церкви).

Здесь я вынужден вставить одно оправдание и одно обвинение. Первое относится к моему герою, поскольку может показаться, что своей просьбой к Штибелю он почти скомкал дворянскую грамоту своей чести; но этим поступком он хочет доставить большое удовольствие своей оскорбленной жене и небольшое — себе. Дело в том, что даже самый сильный и необузданный мужчина в конце концов не выдерживает, если женщина вечно злится и изводит его; чтобы только иметь покой и мир,

тот, кто до брака тысячи раз клялся, что в нем всегда будет поступать по своей воле, наконец с готовностью подчиняется воле повелительницы. Остальное в поведении Фирмиана не нуждается в моей защите, так как оно — результат не возможности, а необходимости. — Обещанное мною обвинение относится к моим коллегам; ибо в своих романах они так далеко отклоняются от этого жизнеописания или от природы и делают возможным и осуществляют разлучения и соединения людей в столь короткое время, что можно стоять при этом с часами, показывающими терции, и отсчитывать его. Но человек не может сразу оторваться от любимого существа: разрывы чередуются со слабыми повязками из плетеного мочала и цветочных гирлянд, пока долгий торг между влечением и отчуждением не завершится полной разлукой, и лишь так мы, бедные люди, становимся беднее всего. С единением душ дело, в общем, обстоит совершенно так же. Хотя иногда нам кажется, будто невидимая бесконечная рука внезапно толкает нас навстречу новому сердцу, однако, это сердце нам уже давно было знакомо и близко среди *святых образов* нашей страстной мечты, и этот образ мы столь же часто открывали, чтобы молиться ему.

Позднее вечером наш Фирмиан в своем одиноком, уютном, но овеванном заботами кресле снова почувствовал, что не может ждать до завтра со всей своей любовью: самое заточение заставляло ее разгораться все сильнее, и, когда у него возникло прежнее опасение, что он может еще до равноденствия умереть от удара, он чрезвычайно испугался — не смерти, а мысли о том, как трудно будет Лениette добыть денег на уплату сборов за испытание якоря,<sup>1</sup> это последнее испытание в человеческой жизни. Деньги, и притом в избытке, как раз были у него под рукою; он вскочил и еще ночью побегал к заведующему лотереей покойников; там он выполнил необходимые формальности, чтобы после его смерти жена унаследовала хоть пятьдесят гульденов, в качестве приданого, дабы как следует обложить землей, словно отводок, его бrenную плоть. Мне неизвестно, сколько он

---

<sup>1</sup> Оно заключается в том, что якорь бросают на глубокий твердый грунт.

заплатил; но я уже привык к подобным затруднениям, которых совершенно не знает романист, имеющий возможность выдумать любую сумму, но которые чрезвычайно отягчают и замедляют работу правдивого биографа, ибо единственным основанием, на котором он может утверждать что бы то ни было, являются архивные своды и документы.

Утром 11 февраля, то есть в субботу, Фирмиан вошел в комнату, мягко ступая и в мягком настроении, потому что каждая болезнь и исцеление, вследствие болей и потери крови, смягчает нас, и в особенности потому, что предстоял нежный день. Когда мы готовимся обрадовать кого-нибудь, мы его любим гораздо сильнее, чем будем любить часом позже, когда мы его уже обрадовали. — В это утро стояла такая ветреная погода, словно все бури устроили карусель и рыцарский турнир, или словно Эол выдувал воздух из духовых ружей; поэтому многие думали, что либо уже стряслось землетрясение, или же что из страха перед ним кое-кто повесился. — На лице Ленетты Фирмиан увидел два глаза, из которых уже в такую рань пролился на преддверие дня теплый кровавый дождь слез. Она ничуть не догадывалась об его любви и его намерениях и думала вовсе не о них, а вот о чем: «Ах! С тех пор как скончались мои родители, никто больше не интересуется днем моего рождения». Ему показалось, что у нее что-то есть на уме. Она несколько раз пытливо поглядела ему в глаза и, повидимому, намеревалась что-то сказать; поэтому он решил помедлить с излиянием чувств, переполнявших его душу, и с разоблачением маленького двойного дара. Наконец Ленетта, медленно и краснея, подошла к нему, смущенно попыталась взять его руку в свои и с потупленными глазами, на которых еще не показалось ни одной целой слезинки, произнесла: «Помиримся сегодня. Если ты меня чем-нибудь огорчил, я тебя от всего сердца прощаю, а ты мне ответь тем же». Этот призыв поразил его теплое сердце, и сначала он смог лишь молча привлечь ее к своей стесненной груди и только после долгого безмолвия наконец сказал: «Только бы ты простила — ах, ведь я тебя люблю больше, чем ты меня!» И тогда вызванные бесчисленными воспоминаниями былых дней горячие слезы тихо заструились

из переполненного глубокого сердца: ведь глубокие водные потоки текут медленнее. Она удивленно взглянула на него и сказала: «Итак, мы сегодня помирились — и сегодня день моего рождения, но очень грустный у меня день рождения». Лишь теперь исчезла его забывчивость в отношении подарка, который он хотел поднести, — он выбежал и принес его, а именно подушечку для иголок, ситец и сообщение, что вечером придет Штибель. Только теперь она заплакала — и спросила: «Ах, ты это устроил еще вчера? И помнил о моем рождении? — Благодарю тебя от всего сердца, особенно за — прелестную подушечку. Я не думала, что ты будешь помнить о такой мелочи, как мое рождение». — Его мужественно-прекрасная душа, в отличие от женской, не сдерживала своего увлечения и побудила его сказать ей обо всем, даже и о вступлении в число участников погребальной лотереи, которое он вчера учинил, чтобы она могла с возможно меньшими издержками отправить его в могилу. Ленетта была этим так же сильно и явно растрогана, как и он сам. «Нет, нет, — наконец сказала она, — господь сохранит тебя. — Но вот сегодняшний день — удалось бы нам только пережить его. Что же говорит господин советник о землетрясении?» — «Об этом не беспокойся, — он сказал, что его не будет», ответил Фирмиан.

Сердце его согрелось, и он неохотно выпустил ее из объятий. Пока он не ушел из дома (так как писать он был не в состоянии), он не отрываясь глядел на ее сияющее лицо, на котором рассеялись все тучи. Он применил против самого себя старый прием, — который я у него перенял, — а именно, чтобы как следует подобреть к добродушному человеку и все ему простить, он ему долго глядел в лицо. Ибо в человеческом лице, если оно — старое, мы, то есть он и я, видим резонансную и счетную доску тяжелых скорбей, оставивших на нем столь резкие следы, а если оно юное, то нам оно представляется цветущей клумбой на склоне вулкана, которую разрушат первые же его сотрясения. — Ах, на каждом лице изображается или прошлое или будущее, и они нас приводят если не в удрученное, то в смягченное настроение.

Фирмиан охотно целый день, — и в особенности прежде чем придет вечер, — удерживал бы у сердца свою

вновь обретенную Ленетту, а в глазах — свои радостные слезы; но она принимала свою возню за отдых, а слезные железы, вместе с сердцем, за *источники* праздности и нужды. Впрочем, она даже не решалась спросить об источнике, откуда текли золотоносные воды, столь плавно баюкавшие ее сегодня на своих волнах. Но муж охотно открыл ей тайну продажи часов. — Сегодня брак был тем, чем бывает предбрачное состояние, а именно тамбурином, у которого вместо струн две мембраны удваивают благозвучие. Весь день был словно отрезком ясного лунного диска, не затуманенного облачным венцом, или иного мира, куда из нашего переселяются даже обитатели луны. Благодаря своей утренней теплоте Ленетта уподобилась так называемому фиалковому мху, который, если только согреть его трением, благоухает, словно целая миниатюрная клумба.

Вечером наконец явился советник, смущенный и трепещущий, хотя и выглядевший немного надменно; когда же он хотел поздравить Ленетту, то ему помешали это сделать слезы, которые не только стояли у него на глазах, но и подступали к горлу. Его замешательство скрыло чужое. Наконец, непрозрачный туман между ними рассеялся, и они смогли друг друга видеть. Тогда настало веселье: Фирмиан заставлял себя быть радостным, а у тех двух радость сама собою расцветала в душе.

Над тремя примиренными, утешенными сердцами тяжкие грозовые тучи уже не нависали так низко, как прежде, — зловещая комета будущего, удаляясь утеряла свой меч и, уже просветлев и побелев, улетала в лазурь, мимо более ярких созвездий. — К тому же вечером прибыло от Лейбгегера краткое письмо, отрадные строки которого украсят вечер нашего любимца и следующую главу.

Итак, в мозгах тройственного союза — как и сейчас в мозгу читателя — недолговечные трепетные цветы воображения превратились в растущие, живые цветы радости, подобно тому как больной в бреду принимает колышущиеся цветы на пологе кровати за одушевленные фигуры. Поистине, эта зимняя ночь, словно летняя, еле успела погаснуть и охладеть на горизонте; и, расставаясь около полуночи, они сказали: «Да, мы все превосходно провели время».

## ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Послание Лейбгегера о славе. — «Вечерний листок» Фирмиана.*

В предшествующей главе, исключительно из любви к читателю, я ввел его в заблуждение; однако приходится еще оставить его в этом заблуждении, пока он не прочтет нижеследующее письмо Лейбгегера:

Вадуц, 2 февраля 1786.

Мой Фирмиан Станислаус!

В мае я буду в Байрейте; и ты тоже должен туда отправиться. Сейчас у меня нет для тебя более никаких важных письменных сообщений; но достаточно важно уже то, что я тебе приказываю прибыть в первый день веселого мая в Байрейт, ибо, клянусь богом, я замышляю для тебя нечто чрезвычайно сумасбродное и значительное и неслыханное. Моя радость и твое счастье зависят от твоего путешествия; я открыл бы тебе тайну уже в этом письме, если бы из моих рук оно сразу же попало прямо тебе в руки. — Приезжай! — Ведь ты мог бы путешествовать вместе с неким кушнапельцем Розой, который собирается ехать в Байрейт за своей невестой. Но если бы этот кушнапельец, боже упаси, оказался тем самым Мейерном, о котором ты мне писал, и если бы эта золотая рыбка приплыла сюда, чтобы не столько согреть, сколько замораживать свою прекрасную невесту глупыми объятиями своих тощих рук, как в Испании подобными им настоящими змеями обертывают бутылки с целью их охлаждения, — то по прибытии моем в Байрейт я ей внушу о нем наилучшее мнение и буду утверждать, что он в десять тысяч раз лучше, чем ересиарх Беллармин, совершивший в течение своей жизни гораздо больше нарушений брачного обета, а именно две тысячи двести тридцать шесть. Ты знаешь, что этот поборник католичества состоял в непозволительной связи с 1624 женщинами; в качестве кардинала он хотел одновременно доказать возможность католического безбрачия духовенства и возможность обоснования папской энциклики «о блуднице», которая, согласно комментариям, регламен-

тировала армию из 23 000 человек. — Я искренно желаю увидеть тайного фон Блэза; я бы ему, если бы он находился поближе ко мне, время от времени, — ибо у него всегда застревает в глотке нечто такое, что ему трудно проглотить, будь это даже наследство или чужое достояние, — я бы ему наносил (как это делают, чтобы помочь подавившимся) сильные удары по *тощей* спине и ждал бы, что выйдет, а именно — что выйдет проглоченный кусок.

— До сих пор я повсюду шатался и хромал со своими силуэтными ножницами, а ныне отдыхаю в Вадуде у одного ученого библиофильствующего графа, который, право, заслуживал бы, чтобы я его любил в десять раз больше; но тебя одного уже более чем достаточно для моего сердца; вообще же я нахожу, что люди, и зеленый сыр земли, в который они впиваются зубами, с каждым днем становятся все более гнилыми и тухлыми. Не могу не сказать тебе: «Чорт бы побрал славу!» — в скором времени я исчезну и буду бегать среди толпы и еженедельно выплывать под новым именем, чтобы меня знали все, кроме дураков. — О, в моей жизни однажды было несколько таких лет, когда мне хотелось быть чем-то значительным — быть великим писателем или хоть девятым курфюрстом, — быть увенчанным лаврами или хоть епископской митрой, — быть изредка проректором или часто деканом. Тогда я с наслаждением вытерпел бы мучительнейшую каменную болезнь с соответствующим ей числом камней в мочевом пузыре, если бы мог воздвигнуть из этих камней алтарь или храм своей славы, еще более высокий, чем пирамида, которую Рюйш сложил в кунсткамере из сорока двух камней одной честной женщины.<sup>1</sup> Зибенкэз, я привязал бы себе колючую философскую бороду из ос, как Вильдау из пчел, чтобы только приобрести этим известность. «Я допускаю, — говорил я тогда, — что не каждый смертный удостоивается и не каждый может требовать, чтобы его хотел прикончить, как св. Ромуальда

---

<sup>1</sup> «Dictionnaire des Merveilles de la Nature» *Сяго де-ла-Фон*, т. I. — Способ, посредством которого одна египетская царица нагромодила пирамиду из нескрепленных камней, и притом более высокую, но с меньшими мучениями, чем вышеозначенная женщина, известен и не относится к числу «Чудес природы» Сяго.

(о чем повествует в его жизнеописании Бембо), какой-либо город, дабы лишь западать его священное тело в качестве реликвии; но, как мне кажется, любой смертный может, не совершая нескромности, пожелать, чтобы из меховой опушки его сюртука (как это случилось с Вольтером в Париже) или хоть с его собственной макушки было выдернуто на память несколько волосков людьми, умеющими ценить его, — я разумею преимущественно критиков».

Именно таков был мой тогдашний образ мыслей; однако ныне я мыслю разумнее. Слава не заслуживает славы. Однажды в промозглый вечер, сидя под открытым небом на межевом камне, я поглядел на себя и сказал: «Что из тебя, в сущности, может выйти? Открыты ли тебе пути к тому, чтобы подобно покойному Корнелиусу Агриппе,<sup>1</sup> сделаться военным секретарем императора Максимилиана и историографом Карла V? Можешь ли ты возвыситься до ранга синдика и адвоката города Меца, лейб-медика герцогини Анжуйской и профессора теологии в Павии? Полагаешь ли ты, что кардинал Лотарингский пойдет в восприемники к твоему сыну так же охотно, как он это сделал для сына Агриппы? И разве не будет смехотворно, если ты вздумаешь разглашать и хвастаться, будто один итальянский маркграф, английский король, канцлер Меркуриус Гатинариа и Маргарита (австрийская принцесса) все сразу пытались в один и тот же год привлечь тебя к себе на службу; разве не будет это смехотворным враньем, не говоря уже о затруднительности всей затеи, поскольку все эти люди уже много лет тому назад рассыпались в манну св. Николая и снотворный порошок смерти, прежде чем ты вспыхнул в качестве горячего и гремучего порошка жизни? Скажи, пожалуйста, в каком известном произведении Пауль Иовиус называет тебя «Portentosum ingenium», или какой другой автор приравнивает тебя к «clarissima sui saeculi lumina». И разве не указали бы мимоходом Шрёк и Шмидт в своих «Историях реформации», если бы это

<sup>1</sup> Как эти, так и все нижеуказанные звания и почести, которых удостоился Агриппа, упоминаются в трактате *Нодэ* (Наудэуса) «Об ученых, которых считали за чародеев», под заголовком «Агриппа».

было истиной, что ты пользовался чрезвычайным доверием четырех кардиналов и пяти епископов и Эразма, Меланхтона и Капеллануса?

Но если бы даже предположить, что я действительно возлежал бы под той же великой сенью и тенью лавровых венцов, что и Агриппа, то нас обоих лишь постигла бы одинаковая участь: мы преспокойно гнили бы во мраке под этими кустами, и в течение целых столетий ни одна душа не стала бы пробираться сквозь эту чашу, чтобы взглянуть на нас обоих.

Еще меньше я выиграл бы, если бы вздумал поступить разумнее и устроить так, чтобы мне воздали хвалу во «Всеобщей немецкой библиотеке»; ибо со своей лавровой ветвью на шляпе я целые годы стоял бы там внутри, в этом холодном карманном Пантеоне, в моей нише, среди величайших ученых, восседающих или возлежащих вокруг меня на своих парадных одрах; да, повторяю, годами одиноко стояли бы все мы, увенчанные, в нашем храме славы, прежде чем хоть один человек распахнул бы церковные врата, чтобы поглядеть на нас, или вошел бы внутрь, чтобы преклонить колени, — и наша триумфальная колесница лишь превращалась бы время от времени в тачку, на которой этот многолюдный храм, с его избытком славы, отвозят на аукцион.

И все же я, пожалуй, пренебрег бы этим и обессмертил бы себя, если бы мог хоть в самой малой мере надеяться, что, сделавшись бессмертным, я стану известен не только простым смертным. Но как тут воодушевиться, когда я вижу, что именно для самых знаменитых людей, лицо которых с каждым годом все больше зарастает в гробу лаврами, как у других мертвецов — розмарином, я остаюсь неведомой Центральной Африкой: в особенности для таких, как Хам, Сим, Иафет, — Авессалом и его отец, — оба Катона, — оба Антонина, — Навуходоносор, — семьдесят толковников и их жены, — семь греческих мудрецов, — и даже просто чудачки, как Таубманн и Эйленшпигель? — Если Генрих IV и четыре евангелиста, и Бэйль, хотя вообще он близко знаком со всеми учеными, и прекрасная Нинон, хотя она с ними знакома еще ближе, и многострадальный Иов, или, по крайней мере, его сочинитель, совершенно не знают, что на свете когда-

либо был Лейбгебер; если для всех предшествовавших поколений, то есть шести тысячелетий, изобиловавших великим народом, я емь и пребуду математической точкой, непроглядным мраком, жалким *je ne sais quoi*, то я не представляю себе, чем хочет и может мне это возместить в течение ближайших шести тысячелетий потомство, которое, быть может, немногого стоит.

Кроме того, ведь я не могу в точности знать, какие великолепные небесные воинства и архангелы имеются на других планетах и планетках Млечного Пути, этих четок из миров, нанизанных на нить, — какие серафимы, в сравнении с которыми я вовсе ничего не значу, во всяком случае, не больше, чем овца. Конечно, на земле мы, души, значительно продвигаемся вперед и вверх, — душа устрицы уже возвышается до лягушечьей души, — та восходит в треску, — дух трески возносится в гуся, — затем в овцу, — затем в осла, — и даже в обезьяну — и, наконец (думать о чем-либо высшем уже не приходится), в бушготтентота. Но столь длинной перипатетической градацией человек может чваниться лишь до тех пор, пока он не примет в соображение следующее: среди животных одного класса, в котором, совершенно так же, как у нас, должны иметься гении, хорошие светлые умы и сущие простофили, мы в состоянии распознать лишь последних, а самое большее — крайности. Ни один класс животных не находится так близко от нашей зрительной оболочки, чтобы тонкие меццо-тинто и переходы его достоинств не сливались между собою. — То же самое произойдет и с нами, если на небесах сидит и смотрит на всех нас какой-нибудь дух; вследствие своей отдаленности он затратит много труда (тщетного) на то, чтобы распознать действительную разницу между Кантом и его зеркальцами для бритвы, то есть кантианцами, или между Гете и его подражателями, и означенный дух будет плохо отличать, или даже совсем не сможет отличать, университетских ученых от педантов и дома посвященных от домов умалишенных. — Ибо перед тем, кто стоит на высших ступенях, совершенно сливаются низшие.

Но мыслителя все это разочаровывает и обескураживает; и будь я проклят, Зибенкэз, если при таком положении вещей я хоть когда-нибудь засяду за работу и от-

мению прославлюсь, или стану трудиться и сооружу или сломаю остроумнейшую научную систему, или напишу что-нибудь более длинное, чем письмо.

Твой, а не мой  
Я

Л.

Р. С. Я бы желал, чтобы после этой жизни бог предоставил мне вторую, дабы в ином мире я мог заняться реальными вещами; ибо здешний мир, поистине, слишком пуст и бледен: это жалкая нюрнбергская безделушка — лишь опадающая пена жизни, — скачок через обруч вечности, — дряблое содомское яблоко, полное праха, которое я никак не могу выбросить из пасти, сколько бы я ни брызгал слюной. О!»

\* \* \*

Тем читателям, для которых эта шутка недостаточно серьезна, я где-нибудь докажу, что она даже слишком серьезна, и что только стесненная грудь способна так смеяться, что только слишком лихорадочный взор, перед которым фейерверки жизни пролетают подобно *искоркам*, предшествующим «темной воде», способен видеть и рисовать такие бредовые образы.

Фирмиан понял все, в особенности теперь... Но я должен вновь упомянуть об одиннадцатом февруарии, чтобы наполовину отнять у читателя ту симпатическую радость, которую он испытывал при виде радости вновь объединившегося трилистника. Потрясающая просьба Ленетты, чтобы супруг простил ее, была плодом, который, словно на гряде, удобренной дубильною корою, был возвращен Цигеновским пророчеством, сотрясающим землю; Ленетта думала, что предстоит кончина мира и ее собственная, и перед близкой смертью, уже помахивавшей своим тигровым хвостом, она, как подобало христианке, протянула мужу руку в знак примирения. Конечно, перед его бесплотной, прекрасной душой ее душа проливали слезы любви — и восхищения. Но она и сама, может быть, принимала свои порывы *радости* за порывы *любви*, свое влечение — за верность, и надежда, что вечером она снова будет ласкать советника пылкими взорами, бессозна-

тельно выразилась у нее в более пылкой любви к мужу. Весьма важно, чтобы ни один человек не был здесь обойден одним из моих лучших поучений, которое гласит, что, имея дело хотя бы с наилучшей женщиной в целом мире, всегда следует различать, чего она в данную минуту желает; и последним далеко не всегда является тот, кто различает это. В женских сердцах происходит такая беготня всех чувств, такое пускание разноцветных мыльных пузырей, в которых отражаются все, а тем более близкие, предметы, что когда растроганная тобою женщина проливает слезу из левого глаза, она способна размышлять дальше и окроплять правым твоего предшественника или преемника, — что половину нежности, вызванной соперником, наследует, в качестве выморочного имущества, повелитель и супруг, — и что вообще женщина, даже при самой искренней верности, плачет не столько о том, что она слышит, сколько о том, о чем она думает.

Глупо лишь то, что среди нас столько людей мужского пола попадает в эту западню; ибо женщина, так как она больше наблюдает за чужими чувствами, не является при этом ни обманщицей, ни обманутой, а лишь обманом, оптическим и акустическим.

Такие глубокомысленные соображения об одиннадцатом февраля (этот месяц недаром обозначен в календарях эмблемой двурогого тельца) приходят в голову Фирмианам не раньше, чем двенадцатого. Венделина любила советника: в этом и было все дело. Вместе со всеми разумными кушнапелианками она верила в генерал-суперинтендента и его подземный пинок, пока вечером Штиблет не заявил напрямик, что считает это мнение *безбожным*; тогда она перебежала из алтаря вешего суперинтенданта в лагерь неверующего мирянина Фирмиана. Все мы знаем, что у него было так же много мужских причуд, всегда доводящих логичность до абсурда, как у нее — женских, нелогичных опять-таки до абсурда. Поэтому было безумием, что свою подругу, ожесточенную столь многими мелкими излияниями желчи, он надеялся снова задобрить великим излиянием сердца. Даже величайшее благодеяние или наивысшее воодушевление мужчины не могут сразу вырвать из женского сердца злобу, пустившую в

нем тысячи мелких корней. Любовь, которую мы потеряли путем длительного охлаждения, мы можем снова накопить лишь путем столь же длительного согревания.

Короче говоря, через несколько дней выяснилось, что все осталось таким же, как три недели тому назад. Вследствие удаления Штибеля любовь Ленетты возросла настолько, что она со своими листьями уже не помещалась под стеклянным колпаком и проросла наружу. *Acqua toffana* ревности наконец заструилась по всем жилам Фирмиана и потекла в его сердце и стала медленно разъедать его. Он был лишь деревом, на котором Ленетта вырезала свое имя и эмблему своей любви к другому и которое увядает от порезов. В торжественный день рождения Ленетты он тешил себя надеждой, что призванный обратно советник уврачуеет или хоть перевяжет наибольшую рану; но как раз тот, хотя и неумышленно, раздирал ее все шире; и как больно это было бедному супругу! Итак, он и внутренне и наружно сделался, одновременно, еще более неимущим и немощным и потерял надежду увидеть первое мая и Байрейт. Весь февраль, март и апрель небо над его головой было затянуто громадными тучами, откуда моросил дождь; не видно было ни одного просвета, ни клочка лазури или багрянца вечерней зари.

Первого апреля наш герой вторично проиграл свой процесс, а тринадцатого, в великий четверг, он навсегда закрыл свой «Вечерний листок» (как он называл свой дневник, потому что писал его по вечерам), чтобы таковою, вместе со своими «Избранными местами из бумаг дьявола», поскольку они были готовы, отправить, — вместо своего тела, долженствовавшего вскоре исчезнуть, — в Байрейт, в преданнейшие руки Лейбгекера, ибо они, как полагал Фирмиан, конечно, охотнее ухватятся за его душу, — которая и обитала в этих бумагах, — чем за его тощее тело, так как последнее ведь сам Лейбгекер носил при себе во втором, перепечатанном без изменений издании, подобно кукле в кукле, а потому имел под рукою в любую минуту. Весь последний выпуск «Вечернего листка», эту лебединую песнь, отправленную затем на почту, я, недолго думая, воспроизвожу здесь дословно.

«Вчера мой процесс увяз во второй инстанции или трясине. Вражеский поверенный и первая апелляционная ка-

мера обратили против меня старый закон, который действителен не только в Байрейтском княжестве, но и в Кушнаппеле, и, согласно коему, показаниями, снятыми в нотариальном порядке, ни черта нельзя доказывать; требуются показания, снятые в судебном порядке. Две пройденные инстанции облегчают идущий в гору путь к третьей; ради моей бедной Ленетты я апеллирую в малый совет, и мой добрый Штибель даст ссуду. Конечно, вопрошая юридические оракулы, нужно соблюдать церемонию, принятую в старину при обращениях к языческим оракулам; нужно *поститься и умерщвлять* свою плоть. Я надеюсь, что от чиновных подлецов<sup>1</sup> или, вернее, егермейстеров, вооруженных вместо охотничьего ножа или рогатины мечом Фемиды, я уж сумею улизнуть сквозь охотничьи снаряды судопроизводства и сквозь охотничьи ловушки и западни судебных актов — не столько своим кошельком, уже вытянувшимся в жгутик, пока я его протаскивал сквозь все узкие петли тенет юстиции, — я надеюсь, что не столько им, сколько своим телом, которое вблизи от самой высшей инстанции превратится в могильный прах и тогда свободно пролетит сквозь все петли и над ними.

Сегодня я хочу окончательно отнять свою руку от этого «Вечернего листка», пока он не превратился в настоящий мартиролог. Если бы можно было отделаться от своей жизни, подарив ее, то я охотно уступил бы свою любому умирающему, который бы ее пожелал. Однако пусть не думают, будто из-за того, что надо мною сейчас полное солнечное затмение, я стану утверждать, что оно происходит и в Америке, — или что я, так как возле самого моего носа падают хлопья снега, уже убежден, будто на Золотом берегу наступила зима. — Жизнь прекрасна и тепла; даже моя некогда была такой. Если бы случилось, что я высохну еще прежде, чем снежные хлопья, то я покорнейше прошу моих наследопреемников и всех, кто в бога верует, не отдавать в печать ничего из моих «Избранных мест из бумаг дьявола», кроме переписанного мною начисто, то есть кончал «Сатирой на женщин»

---

<sup>1</sup> «Подлецами» или «подлыми людьми» в старину назывались люди низших сословий, тогда как теперь нередко бывает наоборот.

(inclus). Далее, из настоящего дневника, в котором иногда случается вспорхнуть сатирической мысли, ни одна не должна идти в печать; это я строго запрещаю.

Если историку, исследующему этот дневник или, вернее, ночник, придет охота узнать, какие же тяжелые грузы и гнезда и стиранные тряпки были развешаны на моих ветвях и верхушке, так что она столь низко под ними согнулась, — и если он проявит особенное любопытство потому, что я писал веселые сатиры, — хотя сатирическими колючками я лишь пытался (как это делает кактус своими) добыть себе пропитание, словно всасывающими сосудами, — то я скажу этому историку, что его любопытство спрашивает больше, чем я знаю, и больше, чем я скажу. Ибо хрен бывает наиболее едким, когда он *растерт*, а человек, когда он *растерзан*, и сатирик бывает печальнее, чем шутник, по той же причине, по которой орангутанг более грустен, чем простая обезьяна, а именно потому, что он благороднее. — Конечно, если этот листок попадет в твои руки, мой Генрих, мой любимый, и если ты захочешь что-нибудь услышать о том граде, который становился все крупнее и со все большей силой падал на мои посевы, то подсчитывай не растаявшие градины, а побитые колосья. У меня больше нет ничего, что бы радовало меня, кроме твоей любви, — и ничего, что бы уцелело, кроме нее. Так как по ряду причин<sup>1</sup> я едва ли смогу посетить тебя в Байрейте, то распростимся на этой странице, словно духи, и обменяемся воздушным рукопожатием. Я ненавижу сентиментальничание, но судьба, наконец, почти наполнила меня им; и сатирическую глауберову соль, которую обычно с пользой принимают против этого, — подобно тому, как овцы, заболевшие легочной чахоткой на сырых пастбищах, вылечиваются лизанием соли, — я принимаю почти что суповыми ложками, величиной с ту, что я добыл стрельбой в птицу: но это, видно, не помогает. В общем, это и не важно; судьба — не уголовный суд, и она не откладывает казнь до выздоровления нашего брата, осужденных. Мое головокружение и другие предвестники удара обещают мне, что против кровотечений из носу, именуемых жизнью, мне вскоре

---

<sup>1</sup> Вследствие расстройств здоровья и денежных дел.

пропишут основательное галеново кровопускание.<sup>1</sup> Именно поэтому я бы его не желал: напротив, меня способен рассердить тот, кто требует, чтобы судьба, — ибо мы запеленуты в тела, а нервы и жилы служат свивальниками, — немедленно распеленала его, словно мать — ребенка, потому что он кричит и немножко страдает режью в животе. Я бы охотно пробыл еще несколько времени спеленутым ребенком среди отпетых ребят,<sup>2</sup> тем более, что, как я опасаюсь, в ином мире я почти или совсем не найду применения для своего сатирического юмора; но я буду вынужден отправиться. Когда же это свершится, то я просил бы тебя, Генрих, чтобы ты прибыл сюда, в наше имперское местечко, и велел при себе открыть неподвижное лицо твоего друга, который уже не сможет соорудить даже гиппократово лицо.<sup>3</sup> И вот, мой Генрих, когда ты пристально поглядишь на этот пятнистый, серый лунный лик и притом вспомнишь, что он почти не видал ни солнечных лучей, ни лучей любви, ни счастья, ни славы, то ты не сможешь поднять взоры к небу и сказать богу: «И вот, в конце концов, после всех его скорбей, ты, боже милосердый, совсем его уничтожил, и когда он, умирая, простер руки к тебе и твоему миру, ты столь широко расплюснул его, — и таким он, бедняга, и сейчас еще здесь лежит». Нет, Генрих, когда я умру, ты должен поверить в бессмертие.

Теперь, когда я допишу этот «Вечерний листок», я погашу свет, так как полная луна расстилает в комнате широкие белые, залитые светом листы большого формата. Затем — так как в доме все уже спят — я буду сидеть в тихом полумраке и, созерцая белую лунную магию среди черной, ночной, и слыша за окном полет целых стай перелетных птиц, которые в эту светлую, лазурную лунную ночь прибывают из теплых стран (родственных той, куда мне предстоит удалиться), я еще раз беспрестанно высуну рожки из моей улиточной раковины, прежде чем ее закупорит последний мороз; — Генрих, сего-

---

<sup>1</sup> Галеновым называется кровопускание, которым пациент доводится до обморока.

<sup>2</sup> Так называются осужденные тайным судом.

<sup>3</sup> Гиппократовым называют лицо, искаженное предсмертными муками

дня я хочу отчетливо представить себе все, что прошло — май нашей дружбы, — каждый вечер, когда наше глубокое умиление мы выражали невольными объятиями, — мои посевевшие, старые мечты, которые я еле помню, — пять давних, но светлых, теплых весен, которые еще свежи в моей памяти, — мою покойную мать: умирая, она думала, что к ней в гроб положат цветок померанца, но дала его мне в руки и сказала, чтобы я лучше вставил его в мой букет; — и я представляю себе ту минуту моей предстоящей кончины, когда последний раз в этом мире твой образ встанет перед помраченными очами души, когда я покину тебя и с темной, затаенной скорбью, которая уже не сможет исторгнуть слез из охладевших, мертвых глаз, исчезая и затмеваясь, паду пред твоим затаенным ликом и в непроглядном тумане смерти глухо воскликну к тебе: «Доброй ночи, Генрих, доброй ночи».

Ах, прощай. Я ничего не могу сказать больше!»

(Конец «Вечернего листка».)

## ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Исход из Египта. — Отрада путешествия. — Незнакомка. — Байрейт. — Крестильное действо в бурю. — Натали и Эрмитаж. — Самый важный разговор в этом произведении. — Вечер дружбы.*

Когда однажды на пасхальной неделе Фирмиан вернулся домой с получасовой увеселительной прогулки, сплошь состоявшей из форсированных маршей в темпе *Allegro*, Ленетта спросила, почему он не пришел раньше — здесь побывал письмоносец с большой книгой; но он сказал, что муж должен сам расписаться в получении пакетика. — В маленьком хозяйстве подобные эпизоды принадлежат к числу великих мировых событий и важнейших революций в истории. Теперь минуты ожидания впились в душу, словно кровососные банки и вытяжные пластыри. Наконец, желтый почтарь своим приходом прекратил молотьбу горько-сладкой конопли в его артериях. Фирмиан удостоверил получение пятидесяти талеров, пока Ленетта спрашивала гонца, кто их прислал и из какого города. Письмо начиналось так:

«Мой Зибенкэз! Твои «Вечерние листки» и «Бумаги дьявола» я получил сполна. Об остальном — устно!»

Приписка:

«Однако, послушай! Если для тебя хоть что-нибудь значит вальс моей жизни, мои радости и горести и намерения, — если тебе не совсем безразлично, что я тебя франкирую прогонными и порционными деньгами до самого Байрейта, ради осуществления плана, пряжу которого прядильные машины будущего должны испрядь на нити, чтобы сплести либо силки и виселичные веревки для моей жизни, либо веревочные лестницы и якорные канаты для нее же, — если для тебя, Фирмиан, еще представляют интерес подобные и еще более важные вещи, то, ради всего святого, надевай штіблеты и отправляйся сюда!»

«Клянусь твоей священной дружбой! — сказал Фирмиан: — я надену их и пойду, хотя бы еще на пути по Швабии молния апоплексического удара ударила с ясного неба и поразила меня под цветущей черешней. Меня ничто больше не удержит!»

Он сдержал слово: ибо шесть дней спустя мы его видим в одиннадцать часов ночи готовым к путешествию — с чистым бельем на теле и в дорожных сумках, — с надетым на голову чехлом от шляпы, который тайно зарядился и насытился прежней изящной шляпой, — в новейших сапогах (допотопная пара была тем временем снята с ее поста и оставлена дома в качестве гарнизона), — с башенными часами в кармане, взятыми взаймы у Штибеля, — свежее-вымытым, побритым и причесанным, — стоящим возле своей жены и своего друга, которые сегодня с радостной учтивостью упорно смотрят лишь на готового к дороге, но отнюдь не друг на друга. Он еще ночью прощается с обоими бодрствующими, ибо намерен переночевать в большом кресле и выйти в три часа, когда Ленетта будет храпеть. Советнику он поручил заведывать вдовьей кассой у своей соломенной вдовы, а также быть театральным директором или хоть гастролером в своем маленьком Ковентгардене, изобиловавшем гэвскими «операми нищих», театральные дневники которых я веду здесь для половины земного шара. «Ленетта, — сказал Фирмиан, — если ты будешь нуждаться в советчике, то обра-

тись к господину *советнику*; он окажет мне это одолжение и будет приходить часто». Штиблет поклялся всем святым, что будет приходить ежедневно. Вопреки *прежнему обыкновению*, Ленетта не помогала провожать Штиблета вниз по лестнице, а осталась наверху, вынула руку из упитанного кошелька (который раньше настолько отощал, что его желудочные стенки терлись одна о другую) и защелкнула его. Будет недостаточно, если я лишь вскользь упомяну о столь важном обстоятельстве, как то, что Зибенкэз ее попросил итти спать и предоставить ему снимать со свечи, и что он с той сугубой любовью, которую люди ощущают при разлуке и при свидании, прильнул к престелному лицу в долгом прощальном поцелуе и произнес растроганное «прощай» и «спокойной ночи» уже почти под райскими вратами снов.

Возглас уходящего в отставку ночного сторожа, наконец, согнал его со спального кресла и выгнал наружу, в звездное, тиховейное утро. Но прежде он еще раз пробрался в спальню, к своей подруге, увенчанной розами добродетели и погруженной в жаркие грезы, прикрыл окно, — холодный сквозняк которого предательски напал на ее беззащитное сердце, — и удержал свои уста, уже близкие к пробуждающему поцелую, и только глядел на нее так пристально, как это позволяли сияние звезд и бледная утренняя заря, — пока не отвратил свой затуманившийся взор при мысли «Быть может, я вижу ее в последний раз».

Когда он проходил через комнату, на него чинно поглядели ее прялка, со своими широкими пестрыми бумажными лентами, — которыми, за неимением шелковых лент, ее украсила хозяйка, — и ее умолкшая самопрялка, которую она обычно вращала по утрам и вечерам, если из-за темноты трудно было шить; и когда он представил себе, как во время его отсутствия она, совсем одинокая, будет так прилежно орудовать колесиком и пучками льна, то вся его душа воскликнула: «Пусть же бедняжка всегда будет счастлива, хотя бы мне и суждено было с ней снова увидеться».

Когда он вышел наружу, мысль о последнем разе представилась ему еще более живо вследствие небольшого головокружения, которое в его физической природе вы-

зывали порывы чувств и перерыв сна, а также под влиянием печали, с которой он глядел назад, на свой исчезающий дом, на затуманенный город, на превращение авансцены в фон, на удаляющиеся места прогулок и все высоты, на которых он часто согревал свое окоченевшее сердце, замерзшее в прошлую зиму. Позади его тот лист, который он обгладывал, словно листовая моль и листовертка, отделился и упал, с обнаженными ребрами, как у скелета.

Но первая же незнакомая земля, еще не помеченная этапами его страданий, уже высосала, подобно змеевыку, несколько едких, ядовитых капель скорби из его сердца.

Солнечное пламя вздымалось все выше, подступая к загоревшимся утренним облакам, — и, наконец, на небе и в ручьях, и в прудах, и в наполненных росой чашечках распустившихся цветов сразу взошла сотня солнц, и над землею поплыли тысячи красок, а с неба хлынул единственный яркий белый свет.

С души Фирмиана судьба сорвала, как садовник с весенних цветов, почти все старые, желтые, блеклые листочки. — От ходьбы головокружение скорее убывало, чем возрастало. В душе взошло чудесное солнце, пока на небе всходило другое. В каждой долине, в каждой роще, на каждом холме он сбрасывал несколько давящих колед тесного кокона горестной зимней жизни и распускал влажные мотыльковые крылышки, верхние и нижние, и, протирая свои четыре крыла, предоставлял майским ветеркам возносить его в небо, среди наиболее низко летающих дневных бабочек и над наиболее высокими цветами.

Но как мощно забурлила и закипела в нем жизнь, когда он выбрался из алмазной копи тенистой и росистой долины и поднялся на несколько ступеней под небесными вратами весны! — Казалось, что всеильным землетрясением вытолкнута из морских вод и еще не успела обсохнуть необозримая, первозданная, цветущая равнина, полная юных побегов и свежих сил, — подземное пламя пылало под корнями обширных всяческих садов, а небесный огонь нисходил на землю и обжигал цветную глазурь горных вершин и цветов; среди фарфоровых башен белых гор пестрые цветущие холмы стояли, словно подножия

тронов, предназначенных для богинь плодов и злаков, — по всему просторному веселому лагерю раскрывались и оседали цветочные чашечки и тяжелые капли, словно населенные палатки; почва была усеяна кишачными рассадниками трав и маленьких сердец, и одно сердце за другим, на крыльях, плавниках или щупальцах, вырывалось на волю из жарких личиночных ячеек природы, жужжало и сосало, и шелкало, и пело, и для каждого хоботка уже давно была раскрыта чашечка со сладостным нектаром. — Лишь любимец бесконечной матери, человек, со счастливым, ясным взором, одиноко стоял на сияющей и шумной рыночной площади оживленного солнечного города и с упоением созерцал вокруг себя все его бесчисленные улицы. — Но его вечная мать покоилась, скрытая в беспредельности, и лишь идущее к его сердцу тепло говорило ему, что он близок ее сердцу. . .

От этого двухчасового сердечного опьянения Фирмиан отдохнул в крестьянской хижине. Такому больному, как он, буйный хмель этой чаши веселья скорее бросился в сердце, как другим больным он скорее бросается в голову.

Когда он снова вышел на открытый воздух, то ослепительный блеск сменился ровным светом, а восторг перешел в тихую радость. Каждый красный висящий майский жук, и каждая красная церковная крыша, и каждый журчащий поток, мечущий искры и звезды, озаряли его душу радостными отблесками и небесными красками. Когда сквозь шумное дыхание лесов к нему доносились крики угольщиков, отголоски шелкания бичей и треск падающих деревьев, — когда он затем шел дальше и глядел на белые замки и белые дороги, которые, подобно созвездиям и млечным путям, прорезали темнозеленый фон, и на сияющие хлопья облаков в глубокой лазури, — и когда вспыхивающие искры то капали с деревьев, то взлетали над ручьями, то скользили вдаль по лезвиям пил, — то уж ни один туманный закоулок его души, ни один загроможденный угол не мог тогда оставаться без солнечных лучей и весны; растущий лишь во влажной тени мох гложущих, снедающих забот спадал на вольном воздухе с его майских и хлебных деревьев, и душа его невольно примкнула

к хору бесчисленных голосов, порхающих и жужжащих кругом, и пела вместе с ними: «Жизнь прекрасна, юность еще прекраснее, а весна прекраснее всего».

Минувшая зима лежала позади него, словно угрюмый, замерзший южный полюс, а местечко Кушнапель осталось где-то внизу, словно затхлый школьный карцер, где от сырости каплет со стен. Лишь его комнату пересекали веселые широкие снопы солнечных лучей; и к тому же он представлял себе в ней свою Ленетту, в качестве единойдержавной правительницы, которая сегодня могла стряпать, мыть и говорить все, что хотела, и у которой, сверх того, сегодня были заняты и голова и руки в ожидании того отрадного, что должно было последовать вечером. Сегодня Фирмиан от всего сердца радовался тому небесному сиянию, которое внесет в ее тесную яичную скорлупу, серную копь и картезианскую келью, словно в темницу св. Петра, явившийся туда ангел, Штиблет. «Ах, — подумал он, — пусть бог пошлет ей столько же радости, сколько мне, и еще больше, если это возможно».

Чем больше он встречал селений с их бродячими театральными труппами, тем театральнее казалась ему жизнь: <sup>1</sup> ее тягости превращались в гастроли и аристотелевские завязки трагедий; его собственный костюм — в оперный; его новые сапоги — в котурны; его кошелек — в театральную кассу; и одну из эффектнейших сцен театрального узнавания ему предстояло сыграть на груди своего любимца. . .

В три с половиной часа пополудни, когда он еще не вышел за пределы Швабии и находился в одном селении, о названии которого не спросил, его душа внезапно вся растеклась водою, слезами, так что он даже сам удивился собственной растроганности. Окрестность скорее могла навеять противоположное настроение: Фирмиан стоял возле старого, немного поникшего майского дерева с засохшей верхушкой, — на общинном лугу крестьянки поливали блестящий на солнце холст и кормили пушистых желтых гусят, бросая им рубленые крутые яйца и крапиву, — мелкопоместный дворянин, за неимением лучшего служивший сам себе садовником, подстригал живые изго-

---

<sup>1</sup> Каждое путешествие переносит нашу душу из филистерского городишки в космополитический мир и в град божий.

роди, а уже остриженных овец альпийский рожок пастуха сзывал к майскому дереву. — Все было так юно, так мило, в итальянском духе, — прекрасный май полуобнажил или совсем обнажил всех и вся — овец, гусей, женщин, горниста, подстригателя изгородей и самые его изгороди. . .

Почему в столь веселом окружении Фирмиан стал чувствителен? — Собственно говоря, не столько потому, что сегодня он весь день был слишком радостен, сколько потому, что овечий фаготист своим режиссерским свистком сзывал свою труппу под майское дерево. В душе Фирмиана, который в детстве сотни раз выгонял население отцовского овечьего хлева навстречу трубящему бродячему музыканту и пастуху, под сень его пастырского посоха, эта альпийская пастушеская мелодия сразу воскресила пору розового детства; отряхая с себя утреннюю росу и покинув свое гнездышко, сплетенное из нераспустившихся и уснувших цветов, она небесным видением встала перед ним, невинно улыбнулась ему своими бесчисленными надеждами и сказала: «Погляди, как я прекрасна, — мы играли с тобою вместе, — прежде ты получал от меня много подарков, большие царства и дуга, и золото, и прекрасный просторный рай за горами, за долами, а теперь у тебя больше нет ничего? И ты, к тому же, так бледен! Поиграй опять со мною!» — О, ведь в каждом из нас музыка воскрешает детство, задающее каждому тот же вопрос: «Разве не расцвели еще розы из тех бутонов, что были даны тебе мною?» Ах, они уже давно расцвели, но то были белые розы.

Лепестки цветов радости Фирмиана вечер сомкнул над их нектариями, и чем дальше он брел, тем холоднее и крупнее становилась падавшая на его сердце вечерняя роса тоски. Перед самым заходом солнца он подошел к одному селению; к сожалению, у меня из памяти словно вычеркнуто, было ли то Хонхарт или Хонштейн или Иаксхайм; могу лишь утверждать, что это было одно из них, ибо оно находилось возле реки Иагст и у границы Элвангенского епископства, на территории Ансбахского княжества. Перед Фирмианом, в долине поднимался дым над его ночлегом. Прежде чем итти туда, он прилег на холме под деревом, листа и ветви которого служили пиюпитром для целого хора поющих существ. Невдалеке от него сверкала в лу-

чах вечернего солнца трепещущая позолота воды, а над ним шелестели золоченая листва и белые цветы, подобно травам и полевым цветам. Кукушка, которая сама себе служит резонансной декой и многократным эхо, мрачным, жалобным голосом взывала к нему с темных вершин, — солнце стекало за горизонт, — тени окутывали сияние дня все более плотным траурным флером, — наш друг был совсем одинок, — и он спросил себя: «Что-то делает сейчас моя Ленетта, о ком она думает и кто с нею находится?» — И мысль «Нет у меня возлюбленной!» — ледяным холодом пронзила его сердце. И когда он достаточно ясно представил себе прекрасную, нежную женскую душу, которую он часто призывал, но нигде не встретил, — ради которой он с готовностью пожертвовал бы столь многим, не только своим сердцем, не только своей жизнью, но и всеми своими желаниями и надеждами, — то, сходя с холма, он, правда, тщетно пытался осушить заплаканные глаза; но по крайней мере все добрые женские души из числа моих читательниц, испытавшие неразделенную или несчастную любовь, простят ему эти горячие слезы, ибо по собственному опыту знают, что наш дух словно странствует по пустыне, овеваемой ядовитым самумом и усеяной сраженными им телами, от испеленной груди которых отрываются их истлевшие руки, если живой попытается привлечь их к своей жаркой груди. Но вы, в чьих объятиях столь многих охладило непостоянство или леденящая смерть, вы все же не можете так скорбеть, как тот одинокий, кто никогда не знал утрат, ибо никогда ничего не имел, и кто тоскует по вечной любви, ни разу не утешенный даже ее призраком — преходящей любовью.

С тихой, кроткой душой, погруженной в исцеляющие грезы, отправился Фирмиан на ночлег и в постель. Когда он согнал в ней легкую дремоту со взоров, то в его веселые, ясные глаза ласково заглянули сквозь вырез окна мерцающие созвездия и ниспослали ему астрологическое предсказание радостного дня.

Одновременно с первым жаворонком он с такими же трелями и бодростью вспорхнул из борозды — постели.

Когда в этот день усталость ошипала крылья райских птиц его фантазии, он еще не успел окончательно выбраться за ансбахские пределы.

На следующий день он добрался до Бамбергского епископства (ибо Нюрнберг и его *raus* и *soutumiers* и *raus du droit écrit* он оставил справа от себя). Его путь шел из одного рая в другой, — равнина казалась состоящей из садов, сложенных в виде мозаики, — горы как бы стремились расплаться по земле, чтобы человеку легче было взлезать на их спины и горбы, — лиственные леса были разбросаны, словно венки на празднестве природы, и заходящее солнце часто алело сквозь узорчатую ограду листвы на гряде холмов, словно румяное яблоко в резной чаше. — Одна ложбина как бы звала вкушать полуденный сон, другая — утреннюю трапезу; у того ручья хотелось любоваться стоявшей в зените луной, за этими деревьями — ею же, когда она лишь всходила, а внизу, у Штрейтбергских высот, — солнцем, когда оно опускается в чашу леса, словно на зеленую решетчатую кровать.

Так как на следующий день Фирмиан уже к полудню дошел до Штрейтберга, где хотелось сразу испытать все вышеперечисленные наслаждения, то он вполне мог бы (иначе он не был бы таким проворным пешеходом, как его биограф) еще в тот же вечер увидеть, как на яблоки шпицов байрейтских башен ложатся румяна вечерней зари; но он не захотел, он сказал себе: «Я был бы глуп, если бы в первый час прекраснейшего воссоединения вступил таким изнуренным и смертельно усталым и лишил бы себя и его (Лейбгебера) всего сна и, пожалуй, половины удовольствия (ибо долго ли мы смогли бы сегодня беседовать?). Нет, лучше завтра, в шесть часов утра, чтобы мы располагали целым долгим днем для нашего тысячелетнего царствия».

Поэтому он переночевал в «Фантазии» — живописной, цветущей и охотно посещаемой долине, отстоящей на полмили от Байрейта. Бумажную модель этой миниатюры Зейферсдорфа, которую я хотел бы тут поставить, мне трудно будет отодвигать все дальше и дальше, пока не разыщу для нее более просторное место; но все же приходится это сделать, и если я не найду ничего иного, то, во всяком случае, смогу воспользоваться широким чистым листом за текстом, перед переплетом.

Фирмиан поднялся вместе с летучими жуками и майскими жуками — авангардом и аванпостом ясного дня —

и в арьергарде за байрейтцами, закончившими свое восхождение и вознесение (дело было седьмого мая) — и притом так поздно, что молодой месяц смог нанести на зеленую грунтовку весьма четкие силуэты всех цветов и ветвей, — итак, столь поздно поднялся он на возвышенность, откуда мог устремить свои упоенные слезами и счастьем взоры на Байрейт, который весна нежно осенила покровом своей брачной ночи, вышитым лунными блестками, и где пребывал и думал о нем возлюбленный брат его Я. . . От имени Зибенкэза могу удостоверить пометкой «с подлинным верно», что он чуть не поступил так, как сделал бы я на его месте: действительно, с таким сердцем, полным струящегося тепла, в такую ночь, украшенную золотом и серебром и лазурью, я немедленно помчался бы в гостиницу «Солнца», в объятия моего незабвенного друга Лейбгебера. . . Но Фирмиан все же возвратился в свою благоухающую Капую и к тому же натолкнулся там — незадолго до вечерней трапезы и вечерней молитвы и недалеко от хорошо высушенного бассейна или садка, населенного целым сонмом окаменевших богов, — на прелестное, в полном смысле слова, приключение. Я расскажу его.

Дело в том, что возле выложенной камнем бухты стояла женщина, вся в черном и под белым флером, держа в руке увядший букет и перебирая его пальцами. Она стояла, отвернувшись от Фирмиана, лицом к западу; казалось, что она отчасти созерцает хаотически перемешавшиеся скотный двор и коралловый риф морских коней, тритонов и т. д. и отчасти — стоящий вблизи храм, искусственно превращенный в руины. Когда Фирмиан медленно проходил мимо нее, то, поглядев вбок, он заметил, что она бросила цветок, не столько в него, сколько через него, словно этот восклицательный знак должен был пробудить внимание рассеянного. Он слегка оглянулся, желая лишь показать, что уже бодрствует, и поднялся к стеклянным воротам бутафорски ветхого храма, чтобы подольше побыть вблизи от загадки. Внутри храма против Фирмиана оказалось простеночное зеркало, превращавшее весь находившийся за ним средний и передний план, вместе с белой незнакомкой, в зеленую перспективу длинного заднего плана. Фирмиан увидел в зеркале, что незнакомка

бросает в него целый букет, и что, наконец, — когда тот не смог долететь так далеко, — она подкатила оставленный про запас букет померанца почти что ему под ноги. Он, улыбаясь, обернулся. Ласковый, но торопливый голос произнес: «Вы меня не узнаете?» Он ответил: «Нет!» и не успел еще добавить: «Я здесь чужой», как неведомая повелительница подступила ближе к нему и, быстро откинув с лица свой флер, подобно Моисееву покрывалу, сказала в более высоком тоне: «И теперь нет?» И женская голова, которая, казалось, была отпилена с шеи ватиканского Аполлона и лишь смягчена десятком женских черт и более узким лбом, сверкнула перед ним, словно мраморная голова перед пламенем факела. Но когда он добавил, что он здесь чужой — и когда незнакомка поглядела на него вблизи и без забрала — и когда она снова опустила подъемную решетку флера (все эти движения, вместе взятые, заняли меньше времени, чем одно движение маятника астрономических часов), то отвернувшись и, не столько смущенная, сколько по-женски разочарованная, сказала: «Извините!»

Еще немного, и он почти машинально последовал бы за ней; всю «Фантазию» он теперь разукрасил, вместо каменных богинь, бесчисленными гипсовыми слепками исчезнувшей головы, лицо которой имело лишь три плеоназма — чрезмерный румянец щек, чрезмерный изгиб носа и чрезмерный беглый огонь огнестрельных глаз. Он находил, что будь эта голова подобающе убрана, то она могла бы без ущерба выглядывать из главной ложи, рядом с лучезарной головой княжеской невесты, — и он так же мало был способен воспринять это философски, как... воровать.

Такое волшебное приключение охотно продолжают и во сне, тем более, что оно сходно с ним. Возле поникших, трепетных цветов Фирмиана, как и возле других, окружавших его, май теперь воткнул колышки и слегка подвязал их. О, как ярко светят даже малые радости той душе, что стоит на земле, омраченной тучами горя; как отчетливо видны созвездия в пустоте неба, если мы смотрим на них из глубоких колодцев или подземелий.

В чудесное утро следующего дня вместе с солнцем вошла на небо и земля. Голова и сердце Фирмиана были

больше заняты его всегдашним другом, чем вчерашней незнакомкой, — но все же он, любопытства ради, избрал (хотя и *вотще*) путь, проходивший мимо моря и раковины, откуда появилась вчерашняя Венера, — и шел вброд через влажный блеск и ароматные испарения сверкающего серебряного рудника и разрывал подвешенные к цветущим ветвям жемчужные нити паутины, с нанизанными на них перлами и скатным жемчугом росы, — и с шелестящих ветвей, которые были *клаватурой* гласкорда, заключенного в цветущую узорную оправу, он, спеша, стряхивал охладевших мотыльков, цветы и капли, чтобы взобраться на вчерашний Олимп. Он взшел на эти праздничные подмости, — и над Байрейтом висел горящий театральный занавес из тумана. — Солнце, словно королева сцены, стояло на горной вершине и глядело, как догорает пестрая завеса, порхающие и тлеющие клочья которой утренние ветерки мчали и разбрасывали над цветами и садами. Наконец, осталось сиять только солнце, окруженное только небом. В этом сиянии вступил он в потешный лагерь и резиденцию своего друга, и все здания казались ему блестящими, опустившимися из эфира и отвердевшими воздушными и волшебными замками. Как это ни странно, но когда несколько свисающих наружу оконных занавесок, которыми играли уличные сквозняки, кто-то втянул внутрь, наш герой невольно вообразил, что это делает вчерашняя незнакомка, хотя к тому времени — было лишь восемь часов — байрейтианка столь же мало была способна расстаться со своими прелестными грезами, как ноготки или альпийская скерда.<sup>1</sup>

От каждой новой улицы его учащенно бьющееся сердце пылало сильнее; он слегка заблудился, и это было ему приятно как отсрочка или промедление его блаженства. Наконец он очутился перед гостиницей «Солнце», в своем перигелии, возле металлического солнца, которое, подобно астрономическому, притягивало к себе эту комету. Внизу он спросил номер комнаты господина Лейбгекера. «Он проживал в заднем флигеле, в номере восьмом, — ответили ему, — но сегодня он отправился в Швабию, если только

---

<sup>1</sup> Первое растение раскрывается утром, после восьми часов, а скерда — в одиннадцать.

нѣ задержался еще наверху». К счастью, с улицы зашел обратно в гостиницу некто, подтвердивший это последнее предположение и завивавший хвостом перед адвокатом: это сделала гончая Лейбгекера.

Взятие лестницы стремительным штурмом, — победный взлом триумфальных ворот, — падение в объятия друга. . . все свершилось в один миг. — И пустые минуты жизни неслышно и невидимо проходили теперь мимо него, тесного союза двух смертных, — прижимаясь друг к другу, они неслись в потоке бытия, словно два гибнущих брата, которые, обнявшись, плывут в холодных волнах и ничего не имеют, кроме последней отрады — умереть возле братского сердца. . .

Они еще не сказали ни слова, — Фирмиан, которого печальное время их долгой разлуки сделало более чувствительным, плакал навзрыд, прижавшись ко вновь обретенному лицу, — Генрих скривил свой, точно от боли, — оба друга еще оставались в шляпах, словно готовые в путь, — Лейбгекер, в замешательстве, не нашел ничего лучшего, как ухватиться за шнурок от звонка. Прибывавшему слуге он сказал: «Ничего не нужно, кроме того, что я остаюсь. . . Дай бог, Зибенкэз, — добавил он затем, — чтобы у нас с тобой завязалась долгая беседа! Вовлеки-ка меня в нее, брат!»

Ему весьма удобно было начать ее с прагматической истории, *nouvelle du jour* — или, вернее, *de la nuit* — короче говоря, с последней городской или, скорее, загородной новости, которую он вчера пережил вблизи от флѐра *прекрасной je ne sais quoi*.

«Я ее знаю, — отвечал Лейбгекер, — как свой собственный пульс; но сейчас ты лучше ничего не рассказывай, так как иначе мне придется долго сидеть и слушать. Припрячь все, пока мы не будем сидеть на теплом лоне Авраамовом, в «Эрмитаже» (таковой, после «Фантазии», является вторым небом возле Байрейта, ибо «Фантазия» — первое небо, а вся местность — третье). — Далее они совершили вознесение в небеса через все материи и улицы, в которые они углубились. — «Скорее ты мне, — сказал Лейбгекер, ибо Зибенкэз, к сожалению, проявлял такое же необузданное, жадное любопытство к его тайне, какое я замечаю у читателя, — собьешь голову, словно со стебля

мака, чем заставишь меня уже сегодня или завтра, или послезавтра переместить мои мистерии из моей головы в твою; я тебе могу открыть лишь то, что твои «Избранные места из бумаг дьявола» (твой «Вечерний листок» имеет в себе уже больше болезненного) совершенно божественны и прямо прелестны, и очень хороши, и не лишены красоты, так что, пожалуй, даже сносны». И Лейбгебер выразил ему все свое радостное изумление по поводу того, что он, адвокат, в маленьком городке, населенном лишь торгашами и крючкотворами, с привешенной к ним малой толикой высшего начальства, смог возвыситься в своей сатире до такого свободного и чистого искусства; действительно, и я сам, когда читал «Избранные места из бумаг дьявола», иногда говорил: «Даже в Гофе, в Фойгтланде, где многое я написал прямо шутя, я не мог бы создать подобное произведение».

Этот лавровый венец Лейбгебер увенчал заявлением, что ему самому легче высмеять целый мир громко и собственными устами, чем тихо и пером и по всем правилам искусства. — Услышав эту похвалу, Зибенкэз был вне себя от восторга; но пусть за такую радость никто не осуждает адвоката, а также и никакого другого писателя, — который одиноко, без панегиристов, стойко прошел по честно избранному пути искусства, не имея опоры даже в малейшем ободрении, — если в конце, у самой цели, его растрогает, подкрепит и осчастливит пряный аромат нескольких лавровых листьев, поднесенных дружеской рукой. Ведь и прославленный человек, и даже надменный, нуждаются в поощрении чужим мнением, — насколько же больше в нем нуждается скромный и неизвестный! — Счастливец Фирмиан! В какой дали, на самом зюйд-зюйд-весте, теперь низко проплывали грозовые тучи твоих дней! И так как их освещало солнце, то казалось, что из них исходит лишь тихий, благотворный дождь.

За общим столом в гостинице Фирмиан с удовольствием увидел на примере своего Лейбгебера, до чего развязывает язык и просветляет голову непрерывная смена людей и городов (хотя нередко при этом взамен блокады уст наступает блокада сердца); Лейбгеберу нипочем было, — хотя адвокат для бедных, привыкший жить взаперти, едва ли отважился бы на это, даже будучи сильно навеселе, —

в присутствии наиважнейших надворных советников и фаворитов канцелярских правителей (или покровителей), кушавших тут же под открытым небом, держать речь о своем Я и притом весьма шутливо. Адвокату для бедных эта речь показалась замечательной, а потому я ее замурую здесь и помешу над ней заглавие: «Застольная речь Лейбгебера».

### *Застольная речь Лейбгебера*

«Среди всех именитых господ и христиан, которые здесь сидят и орудуют вилами, пожалуй, ни один не был сделан для этой цели с таким трудом, как я сам. Дело в том, что моя мать (уроженка Гаскони), не сопровождаемая моим отцом, который, в качестве прихожанина лондонской общины, оставался в Лондоне, отправилась оттуда на корабле в Голландию. Между тем, никогда еще — с тех пор как на свете существует хоть один имперский надворный советник — Немецкое море не бушевало и не бунтовало так ужасно, как в то время, когда моей матери случилось по нему ехать. Вытряхните в холодное море весь ад с кипучей, клокочущей серой его геенны огненной, с его расплавленной медью и плещущимися чертями и наблюдайте треск, — рев, — взлеты адских огней и морских волн, пока одна из двух враждебных стихий не поглотит или не одолеет другую, — и вы получите слабое (но достаточное на время еды) понятие о той проклятой буре, в которую я впервые очутился на море и — на белом свете. Вы, конечно, представляете себе, что если брюшной, спасательный и полярный пояс большого брамселя (хотя со шкотами грота дело обстояло еще хуже), — а также большой стеньговый штаг и весь бегучий такелаж, тали и шкентели, — не говоря уж о брасах блиндаря, — если даже столь привычные к морскому делу предметы чуть не распростились с жизнью, то было сущим морским чудом, что такое хрупкое существо, каким был тогда я, смогло среди них начать свою жизнь. В то время я имел во всем теле меньше мяса, чем теперь жира, и в общей сложности весил около четырех нюрнбергских фунтов с небольшим, чему теперь, если верить лучшим анатомическим театрам, равняется один лишь вес

моего мозга. К тому же я был лишь новичком и молоко-сосом, еще ничего не выдавшим на свете, кроме этой дьявольской бури, — и даже не малолетним, ибо еще не прожил ни одного лета, хотя жизнь каждого человека длится на девять месяцев больше, чем значится в метрической книге, — был изнежен и, вопреки всем правилам медицины, именно в первые девять месяцев моей жизни содержался слишком тепло закутанным, тогда как меня следовало приучать к холодному наружному воздуху, — был малорослым, словно нежный цветочный бутон, и чувствительным, как первая любовь, а потому в такую погоду от меня не ожидали многого (сквозь шум ветра я еле пискнул раз-другой), и лишь ожидали, что я умолкну и угасну еще прежде, чем буря утихнет. Меня непременно хотели наделить честным именем и малой толикой христианства, прежде чем отпустить из мира сего, откуда человек и без того уносит еще меньше добра, чем приносит туда. Однако моему восприемнику было до невозможности трудно стоять у купели на качающемся корабле, где опрокидывалось все, что не было привязано. К счастью, корабельный священник лежал в подвесной койке и учинил оттуда крещение. Моим крестным отцом был старший боцман, державший меня над купелью в течение пяти минут; его, в свою очередь (ибо сам по себе он не мог стоять настолько твердо, чтобы креститель был в состоянии угодить водою в голову окрещаемого), держал младший фельдшер, — который был прикреплен к канониру, — а тот к боцманмату, — а этот к гальюнщику, — а последний сидел на старом матросе, который его свирепо сжимал в своих объятиях.

Между тем, как я слышал впоследствии, на этот раз и корабль и дитя вышли сухими из воды. Итак, все вы видите, что, как бы трудно ни было человеку среди жизненных бурь сделаться и остаться христианином или приобрести имя, будь то в адрес-календаре или в литературной газете, или в департаменте герольдии, или на медали, — но никому не пришлось столько претерпеть (сколько мне), чтобы приобрести элементы имени — общий фон и отвлеченную формулу крестного имени, куда затем было подставлено именованное число полного имени и немножко христианства, сколько может вместить кон-

фирманд и катехумен, который еще сосет грудь и ничего не понимает. — Существует только одна вещь, которую еще труднее сделать, которую даже самый доблестный монарх делает лишь раз в жизни и которую не могут сотворить соединенными усилиями все гении и даже три духовных курфюрста, и сам император Священной Римской империи, хотя бы они целые годы сидели на монетном дворе и чеканили посредством новейших станков».

Весь стол неотступно просил его назвать эту вещь, которую так трудно вылепить. «Это — наследный принц, — хладнокровно ответил он. — Монарху нелегко уже создавать и владетельных князей, а наследного принца он (как бы ни старался), даже будучи в самом цветущем возрасте, может изготовить, говорю я вам, лишь в одном экземпляре (ибо эта модель — отнюдь не безделка, а, напротив, самое важное изделие, которое целому народу служит валом для мельниц, для говорящих автоматов и для музыкальных ящиков). Но зато, господа, плодить графов, баронов, камергеров, штаб-офицеров и, тем более, простых смертных и подданных, короче говоря, мхи и лишайники этого рода, являющиеся уже *generatio aequivoca*, монарху настолько легко, что подобные *lusus naturae* и первые рои или простейшие организмы он, шутя, выпускает в свет уже на первых порах своей светской жизни, в самой ранней юности, тогда как в более зрелом возрасте ему иногда не удается соорудить хотя бы одного наследника престола. Между тем, после стольких пробных выстрелов и военных упражнений, право же, следовало бы ожидать как раз обратного».

(Конец застольной речи Лейбгебера.)

После обеда оба друга отправились расположиться лагерем в веселом зеленеющем «Эрмитаже», и аркады ведущей туда аллеи казались их радостным сердцам прорубленными сквозь леса счастливой Аркадии; на равнине вокруг них расположилась на отдых юная перелетная птица, весна, и выгруженные ею цветочные сокровища лежали разбросанными по лугам и плыли по течению ручьев, а птиц влекли ввысь длинные солнечные лучи, и весь крылатый мир в упоении парил среди разлитых благоуханий.

Лейбгебер решил, что сегодня в «Эрмитаже» откроет свою тайну и сердце, но предварительно вскроет несколько бутылок вина.

Он просил и требовал, чтобы адвокат прежде всего прочел ему краткую осведомительную лекцию о своих предшествовавших приключениях на суше и на воде. Фирмиан сделал это, но с разбором. О страдальческом годе живота своего, о своих финансовых затруднениях, об аллегорической зиме своей жизни, на снегу которой он вынужден был гнездиться, подобно зимородку, и обо всех холодных северных ветрах, заставляющих человека зарываться в землю, словно воюющего зимой солдата, — обо всем этом он упомянул только вскользь. Я это одобряю: во-первых, потому что мужчина не был бы мужчиной, если бы на уколы нужды он жаловался больше, чем девушка — на проколы ушей, ибо в обоих случаях в эти раны продеваются подвески для драгоценностей; во-вторых, потому, что он не хотел вызвать у своего друга раскаяние по поводу обмена именами, этого источника и ключа всех его злоключений. Но для его чуткого друга уже его побледневшее, поблекшее лицо и ввалившиеся глаза были отчетливым стиском ледяных тисков и выразительным зимним ландшафтом, изображавшим занесенный снегом участок его жизненного пути.

Но Фирмиан еле смог сдержать подступавшие к его глазам кровавые слезы, когда коснулся самых глубоких и сокровенных ран, иначе говоря, когда ему пришлось поведать о ненависти и любви Ленетты. Но если ее слабую любовь к нему и сильную к Штибелю он обрисовал только слегка, то для исторической картины, изображавшей ее честность в отношении рентмейстера, и вообще низость Розы, он избрал гораздо более яркие краски.

«Если ты кончил, — сказал Лейбгебер, — то позволь тебе сказать, что женщины — не падшие ангелы, а нападающие. Чорт побори! При стрижке овец и баранов, которой мы подвергаемся, они снимают с нас не столько шерсть, сколько шкуру. Если бы я шел по мосту, ведущему в замок святого Ангела в Риме, то подумал бы о женщинах, ибо там стоят изваяния десяти ангелов, каждый с каким-нибудь орудием страстей Христовых: у одного — гвозди, у другого — трость, у третьего — дротик.

Так и каждая женщина имеет в руках какое-нибудь орудие пытки для нас, бедных агнцев божьих. Например, знаешь ли ты, кого твоя вчерашняя Афина-Паллада, твоя незнакомка, приковала к ножке брачного ложа обручальным кольцом, словно кольцом, продетым в нос? — Но сначала я должен тебе ее описать: она прекрасна, поэтична, мечтательно влюблена в британцев и ученых, следовательно, и в меня, — и по той же причине живет за городом, в «Фантазии», вместе с одной знатной англичанкой, которая наполовину компаньонка леди Крэвен и маркиза, — ничего не имеет и ничего не акцептирует, бедна и горда, легкомысленно-отважна и добродетельна — и зовется Натали Аквилиана. . . Знаешь, с кем ей предстоит сочетаться браком? — С таким дряблым, выгоревшим подлецом, с такой вялой душонкой, которая вылупилась из своей яичной скорлупы за несколько недель до срока, и теперь, с желтыми перьями вместо волос, пищит возле наших каблуков, — которая, подражая Гелиогабалу, ежедневно надевавшему новое кольцо, проделывает то же самое с обручальными кольцами, — которая отлетит за северный полюс, если я чихну носом, и за южный, если я это сделаю другим способом и не оборачиваясь, — и которую именно тебе я могу не описывать, ибо ты сам только что описал ее мне, — и которую ты опознаешь, как только я ее назову. . . На красавице женится рентмейстер Роза фон Мейерн».

Фирмиан был не только не разочарован, но прямо очарован этой вестью. Короче говоря, неведомая Натали — это племянница тайного, о которой Лейбгебер уже упоминал в одном письме первой книги. «Послушай, — продолжал Лейбгебер, — я позволю разрезать и разругать меня на еще более мелкие кусочки, чем Великую Польшу,<sup>1</sup> на лоскутки, которые не смогут прикрыть ни один древне-еврейский гласный знак, если из этого предприятия что-нибудь выйдет; ибо я его расстрою».

Как известно, с этой девушкой, которую его незапятнанная душа и смелый нрав привязали к нему нерасторжимо, он беседовал ежедневно, а потому, чтобы расторг-

---

<sup>1</sup> Он имеет в виду не позднейший, более точный, анализ Польши, а первый.

нуть ее предстоявший брак, достаточно было лишь повторить и подтвердить ей высказанное Зибенкэзом об ее женихе. Знакомство с ней Лейбгебера и его сходство с Зибенкэзом были вчера виною тому, что нашего Фирмиана она приняла за друга, к которому он направлялся.

Большинство читателей, вместе с адвокатом, возразят мне и Лейбгеберу, что любовь Натали не согласуется с ее характером, а брак из-за денег — с ее равнодушием к деньгам. Но дело объясняется просто: Эверара, эту пеструю мухоловку, она еще никогда не видела, и знала только его Исавову руку — а именно рукописи, то есть его голос Иакова: он лишь писал ей безупречные сентиментальные гарантийные письма (пакетики, полные стрел Амура и штопальных игл), и эти дворянские грамоты служили хорошими *письменными доказательствами* высоких качеств его сердца. — К тому же тайный написал своей племяннице, что «в день св. Панкратиуса (12 мая, то есть через четыре дня) придет и представится ей господин рентмейстер, а если она ему откажет в руке и оставит его с носом, то пусть никогда не смеет заикнуться о том, что была племянницей Блэза, и пусть отправляется с богом умирать с голоду в своем Шраплау». <sup>1</sup>

Говоря, как честный человек, лишь три письма Розы и, повидимому, не из лучших, я с минуту имел в руках и с час — в кармане; но они, в самом деле, были неплохи и были гораздо менее безнравственны, чем их автор.

Едва Лейбгебер сказал, что он хочет сделаться предварительной консисторией для Натали и развести ее с рентмейстером еще до бракосочетания, как она сама подъехала с несколькими подругами и вышла из экипажа, но не стала сопровождать их к сборному пункту общества и поднялась одна по уединенной боковой аллее в так называемый храм. В своей поспешности она не заметила, что против конюшни сидит ее друг Лейбгебер. Дело в том, что посетители байрейтского «Эрмитажа» с древних и маркграфских времен вынуждены сидеть в небольшой рощице, всегда прохладной благодаря тени и сквознякам,

---

<sup>1</sup> Городок в графстве Мансфельд, принадлежащий курфюрсту Бранденбургскому.

и лицезреть лишь сильно растянутое в длину хозяйственное строение и конюшни, имея зато невдалеке, за спиной, прекраснейшие виды, и легко могут сменить на них голую облицовку каменных стен, если встанут и прогуляются за рошу, в одну из боковых сторон.

Лейбгебер сказал Фирмиану, что может немедленно отвести его к ней, так как она, по обыкновению, будет сидеть наверху, в храме, любуясь развернувшейся за пределами парка чудесной панорамой городских башен и вечерних гор в лучах заходящего солнца. Он добавил, что, к сожалению, Натали — почему она и убежала одна в павильон — мало заботится об изысканной, чопорной внешней пристойности, чем сильно огорчает свою англичанку, которая, подобно ее компатриоткам, не любит ходить одна, и без женского страхового или библейского общества не решается приблизиться даже к мужскому гардеробному шкафу. Ему из достоверного источника известно, сказал он, что британка не может мысленно представить себе мужчину, не окружив его необходимыми образами женщин, которые его обуздывают и сдерживают, если у нее в мозгу он вздумает себя вести, словно у себя дома.

Наверху, в открытом храмике, оба друга увидели Натали с бумагами в руке. «Вот я привел и при сем представляю, — сказал Лейбгебер, — нашего автора «Бумаг дьявола», которые, как я вижу, вы именно теперь и читаете». — Слегка покраснев при воспоминании о том, как она в «Фантазии» приняла Фирмиана за Лейбгебера, Натали весьма дружелюбно сказала Зибенкэзу: «Еще немного, господин адвокат, и я опять не отличу вас от вашего друга и, на этот раз, в духовном отношении: ваши сатирические мысли часто звучат совершенно как его собственные; только серьезные «Приложения»,<sup>1</sup> которые я как раз теперь читаю и которые мне очень нравятся, повидимому не он сочинял».

Сейчас я не располагаю временем для того, чтобы на протяжении целых печатных страниц защищать самоволье Лейбгебера, передавшего своей приятельнице чужие

<sup>1</sup> Поэтически-философская глава в «Избранных местах», которые уже много лет тому назад напечатаны в Гере и разошлись, так как были расхвачены на макулатуру.

бумаги, против тех читателей, которые в подобных делах требуют чрезвычайной деликатности и сами соблюдают таковую; достаточно будет сказать, что, по мнению Лейбгебера, всякий желавший его любить, обязан был заодно помогать ему любить прочих его друзей, и что Зибенкэз, и даже Натали, усмотрели в его бесцеремонной передаче лишь дружеский циркуляр и предположение о трехстороннем родстве.

На обоих друзей, в особенности на Лейбгебера, — громадную собаку которого она гладила, — Натали смотрела дружески-внимательно, как бы сравнивая их и стараясь найти различия; действительно, Зибенкэз представлялся ей не совсем похожим, так как был выше и стройнее и казался моложе лицом; но это происходило потому, что Лейбгебер, который был немного шире в плечах и в груди, разговаривая, наклонял вперед свое причудливое, более серьезное лицо и как бы говорил в землю. По его словам, он и прежде никогда не выглядел по-настоящему молодым, даже будучи окрещаемым младенцем, чему свидетелями — свидетели его крещения, и он не надеялся вторично помолодеть — до глубокой старости, пока не впадет в детство. Но если Лейбгебер немного выпрямлялся, а Зибенкэз немного сгибался, то оба выглядели достаточно похожими друг на друга; однако это скорее — указание для составителей паспортов.

Пусть все пожелают счастья кушнапельскому адвокату по случаю того, что он удостоился аудиенции у особы женского пола, столь высокородной и столь высокообразованной — даже по части сатир: сам же он желал себе лишь того, чтобы подобный феникс (до сих пор ему лишь случилось видеть немного летучего пепла этой птицы — в жизни, и пару-другую ее перьев — в книгах) не сразу упорхнул и чтобы можно было подольше послушать ее беседу с Лейбгебером и собственноручно помочь прясть эту нить; как вдруг прибежали байрейтские приятельницы Натали и возвестили, что сию минуту будут пущены фонтаны и что всем следует поторопиться, чтобы ничего не пропустить. Все общество двинулось вниз, к чудесам водного искусства, и Зибенкэз лишь старался держаться как можно ближе к благороднейшей из зрительниц.

Придя вниз, все встали на каменную стенку бассейна и созерцали прекрасные водометы, которые читатель, наверное, уже давно видел либо в натуре, или же на бумаге у различных описателей путешествий, где они изображены с подобающими выразительностью и восхищением. Каждый мифологический полубожественный полускот извергал воду, и из мира, населенного водяными боже-ствами, выросал ввысь хрустальный лес, который своими ниспадающими струями, подобно ветвям лиан, снова пу-скал корни в глубину. Публика долго наслаждалась зре-лищем говорливого, переплетающегося водяного мира. Наконец взлет и рост фонтанов замедлились, и стволы прозрачных лилий начали заметно укорачиваться. «Чем это объяснить, — сказала Натали Зибенкэзу, — что вид водопада воодушевляет каждого, но эта явная убыль подь-ема, это идущее сверху вниз отмирание водяных струй неизменно удручает меня? Ведь в жизни нам никогда не случается видеть такого явного и жуткого умаления вы-сот».

Пока адвокат для бедных еще размышлял, стараясь получше ответить на это столь правдивое выражение чувств, Натали прыгнула в воду, спеша спасти ребенка, который в нескольких шагах от нее упал со стенки в бас-сейн и рисковал утонуть, так как уровень воды превышал по-ловину роста взрослого человека. Прежде чем стояв-шие рядом мужчины, которые еще легче могли спасти ребенка, подумали об этом, она это уже совершила и была права: ибо лишь в поспешности, чуждой всяких расчетов, заключались здесь все достоинство и красота. Она под-няла ребенка из воды и подала женщинам, стоявшим на-верху; Зибенкэз же и Лейбгебер схватили ее за руки и легко подняли пылкую и плававшую румянцем девушку на берег бассейна. «Что ж такого? Ведь это неопасно!» — смеясь, сказала она испуганному Зибенкэзу и убежала прочь со смущенными подругами; но прежде попросила Лейбгебера, чтобы завтра вечером он со своим другом не-пременно пришел в «Фантазию». «Разумеется, — ответил он, — но еще до того, рано утром, я приду один».

Оба друга очень нуждались теперь в самих себе и в уединении; Лейбгебер, снова взволнованный, еле мог дождаться, пока они придут в березовую рощу, где он на-

меревался допрясть до конца нить начатого прежде разговора о домашних и семейных делах Фирмиана. О Натали он лишь мельком заметил удивленному другу, что именно это он в ней так любит: ее прямоту и решительность во всем ее поведении и ее мужественную бодрость; для нее люди и бедность и неприятные случайности были только легкими, светлыми летними облачками, которые плывут и уносятся, не омрачая ясного неба.

«Что касается тебя и твоей Ленетты, — продолжал он в лесном уединении так спокойно, как будто говорил без всякого перерыва, — то, будь я на твоём месте, для избавления от огромного желчного камня брака я применил бы разрушающее (или разлучающее) средство. Если вы еще целые годы будете царапать и тереть брачные узы пилочками и напильниками, то боли сделаются невыносимыми. Бракоразводный суд произведет грубый надрез и разрез, — и вы разделены надвое».

Зибенкэз испугался, услышав про развод — не потому, что он не видел в нем единственный громоотвод, и не потому, что противился бы проистекающему отсюда будущему союзу Ленетты с советником, — но он опасался, что Ленетта, хотя и сама желала бы того же самого, из-за своих гермесовских убеждений и мещанского стыда ни за что не согласится на насильственную разлуку, а также что на пути к разлуке им еще придется пережить ужасные, мучительные часы сердечной боли и нервной лихорадки, и что оба они едва ли смогут оплатить даже брачный обряд, не говоря уже о разводе. Имелось и еще одно побочное обстоятельство: Фирмиану больно было, что бедное, невинное существо, дрожавшее рядом с ним во время стольких холодных жизненных бурь, навеки уйдет из его объятий и комнаты, да еще и с платком у глаз.

Все эти сомнения, одни — убедительно, другие — нерешительно, он изложил своему любимцу и закончил последним: «Сознаюсь тебе также, что если она со всем своим скарбом выберется от меня, и я останусь одиноким, словно в склепе, в опустевшей комнате, вблизи от всех расчищенных и выложенных площадок, где мы прежде провели вдвоем так много приятных часов, любуясь окружающими цветами и зеленью, — и если после этого она, еще носящая мое имя, но уже не моя, пройдет под моим окном,

то во мне что-то воскликнет: битый к ее ногам... Разве не мне, — продолжал он, стараясь на более веселый лад, — если мы только у себя в комнате сам — иначе головокружения? — упаду так за окно и за пределы мира бом?.. Друг Гайн возьмет нож и выскоблит, вместе с моим именем мое имя на ее брачном свертке кольце».

Вопреки всем ожиданиям, у него залось, становился все веселее это, — сказал он, — и умри! им приходится нести большие расходы, приходится дешевле, и к тому же в новой кассе». — Зибенкэз удивился.

Тот продолжал самым равнодушным тоном: я должен тебе сказать, что не знаю, если ты намерен долго собираться выйдешь на тот свет лишь че

ние инспектора вадуцкого апелляционного суда. Затем Генрих вручил своему другу недвусмысленную собственноручную записку графа, и, пока Фирмиан читал ее, извлек свой карманный календарь и хладнокровно пробормотал про себя: «С первого дня триместра (и продолжал громче), — если не ошибаюсь, то вступить в должность мне предстоит в первый день триместра, после троицы. — Так как сегодня у нас день святого Станислауса — слышишь ли ты, Станислауса! — то это будет через — одну — две — три — четыре — пять с половиной недель, считая от сего дня».

Когда обрадованный Фирмиан хотел ему вернуть обе бумаги, он отстранил их и сказал: «Я их прочел еще раньше, чем ты. Спрячь-ка их у себя. Но лучше не откладывая дела до завтра и напиши графу сегодня же».

Но после этого Генрих в торжественном, страстном и юмористическом воодушевлении, — оно росло и ширилось под влиянием вина, — преклонил колени среди длинной узкой тропинки, которая между высокими деревьями дремучей парковой дубравы казалась подземным коридором и далекая перспектива которой на востоке замыкалась флюгером церковной башни, словно турникетом, — преклонил колени, обратившись лицом к западу, и пристально посмотрел на заходящее солнце, которое ниспадало на землю, словно яркая падающая звезда, и над его головой слало с неба широкий сноп лучей, словно золотистый весенний лесной поток, по верху длинного зеленого коридора, — пристально посмотрел на него и, ослепленный и озаренный, начал: «Если теперь возле меня пребывает добрый дух — или некий гений, мой или вот *этого* смертного, — или же если над прахом твоим еще жива твоя душа, мой старый, добрый, замкнутый в глубине отец, — то приблизься, старый непостижимый дух, и окажи ныне твоему чудаку-сыну, — который еще прихрамывает по миру в распашонке своей плоти, — первое и последнее одолжение и войди в сердце Фирмиана и, хорошенько его встряхивая, произнеси в нем такую речь: «Умри, Фирмиан, ради моего сына, хотя, впрочем, лишь для виду и для смеха — совлеки с себя свое имя и, назвавшись Лейбгебером, которым ты ведь и был прежде, выдай себя за него и явись в качестве инспектора в Вадуц. Мой бедный

сын — подобно круглому joujou de Normandie, на котором он обретается, и который, привязанный за ниточку из лучей, парит вокруг солнца, в свою очередь охотно полетает еще немного на этом joujou. Ведь перед другими попугаями висит кольцо вечности, и вы на него вскакиваете и можете в нем качаться и убаюкивать себя. Он же не видит кольца; — так позволь бедному какаду веселиться и прыгать в клетке на жердочке земли, пока нить его жизни не накрутится на мотовило целой связкой, оборотов в шестьдесят: тогда машина звякнет, щелкнет, и нить оборвется и шутке придет конец». — О кроткая тень отца моего, вдохни сегодня отвагу в сердце друга и не дай его устам ответить мне отказом, когда я спрошу его «Согласен ли ты?» Слепленный лучами вечернего солнца, он стал ошупью искать руку Фирмиана и сказал: «Где твоя рука, милый? И не говори «нет». Но Фирмиан, охваченный порывом, — ибо в воодушевлении долго таившейся серьезности Лейбгебер неудержимо увлекал сердца, — безмолвно и весь в слезах пал, словно вечерняя тень, на колени перед своим другом, прильнул к его груди и крепко обнял его и тихо — так как не мог иначе — сказал ему: «Для тебя я готов умереть тысячей смертей, каких бы ты ни пожелал, — лишь назови их. Но скажи же, чего ты хочешь, — заранее обещаю тебе все исполнить, клянусь душой твоего покойного отца, я тебе с радостью отдам свою жизнь — а больше у меня все равно ничего нет!»

Генрих сказал необычайно приглушенным голосом: «Сначала пойдем наверх, побудем среди шума и среди байрейтцев. — Сегодня у меня в груди сухотка или целый кипящий целебный источник, и мой жилет служит ему облицовкой; — в такой горячей ванне сердцу нужен хороший спасательный пояс или скафандр».

Наверху, среди накрытых столов, под деревьями, в веселой толпе, справлявшей храмовый праздник весны, было не так трудно преодолеть свою растроганность. Генрих поспешно развернул там наверху длинные чертежи своих воздушных замков и акты, разрешающие постройку его вавилонской башни. Вадуцскому графу, уши и сердце которого отверзлись для него и взалкали его, он оставил священное честное слово вернуться в качестве его ин-

спектора. Однако он имел в виду, что его особу будет представлять его дорогой помощник и заместитель *sum pre succedendi*, Фирмиан, который своим причудливым правом и обликом был такой его тавтологией, что граф и даже догмат неразличимости тщетно исследовали бы и мерили их обоих, если бы захотели опознать одного из них. Инспекторская должность даже в плохие годы приносила тысячу двести талеров годового дохода, то есть ровно столько, сколько составлял весь наследственный капитал Зибенкэза, обремененный судебным процессом: снова приняв свое прежнее имя «Лейбгебер», Зибенкэз выиграл бы как раз то, что он потерял при его отчуждении. — «Ведь с тех пор, как я видел твои дьявольские «Избранные места», для меня уже немислимо вытерпеть, вынести и выдержать, чтобы ты продолжал торчать в безвестности и под паром в проклятом затасканном Кушнаппеле, одинокий, словно единица, единорог и единоборец. Но неужели для размышления об этом тебе потребуется столько же времени, сколько нужно тому дворцовому канцеляристу, чтобы вытряхнуть золу из своей трубки, — если я тебе скажу, что я не могу исправлять ни одной должности на свете (тогда как ты прекрасно справишься с любой), кроме *graciosos*, и что в любой коллегии я могу быть лишь смешанным и смешаемым советником, ибо я имею больше знаний, чем кто-либо иной, но применить их могу отнюдь не практически, а лишь сатирически, так как моя речь — цветистый *lingua frasa*, моя голова — Протей, а сам я — превосходная компиляция из чорта и его бабушки? — А если бы я и мог, то не хотел бы. — Как? В годы моей цветущей юности я должен стать канцелярской крысой и засест в канцелярии, словно государственный преступник в подземной темнице, топтать копытами и ржать в этом тесном стойле, не имея в виду ничего лучшего, чем вид седел и сбруи, висящих в моей казенной конюшне, а тем временем вдали прекраснейшие Парнасы и Темпейские долины тщетно будут ждать своего Пегаса? Теперь, когда млеко моей жизни стремится образовать хоть сколько-нибудь сливок, чего ради я должен, — хотя и без того скоро придут годы скизания и распада на сыворотку и сгустки, — чего ради должен я позволить, чтобы в мое парное молоко бросали

телячий сычуг службы? — А ты должен петь на иной лад: ведь ты и сейчас уже наполовину стоишь на страже закона и к тому же полностью состоишь в законном браке. Ах, это будет лучше всех бременских «Журналов для утехи рассудка и остроумия» и всех комических романов и комических опер, если я с тобой отправлюсь в Кушнапель, и ты там угаснешь, причем до того составишь завещание, а затем, когда тебе уже будут возданы последние почести, поспешишь убраться, чтобы снискать еще большие, не столько в качестве блаженного праведника, сколько в качестве инспектора; и после твоей смерти тебе не придется предстать пред седалищем грозного судии, а, наоборот, ты сам усядешься на таковое. Здесь бездна шуток! Я еще сам не представляю или плохо представляю последствия — похоронная касса обязана будет выплатить твоей скорбной вдове пособие, — ты его сможешь возместить кассе, когда будешь при деньгах; твой истлевший безымянный перст, с надетым на нем обручальным перстнем, превратится в персть, — вдова твоя, если захочет, сможет вступить в брак с кем угодно, даже и с тобою, а ты тоже».

Но тут Лейбгебер раз сорок хлопнул себя по ляжке, восклицая: «Эй, эй, эй; эй, эй (и т. д.), — а затем продолжал: — Я еле могу дождаться твоей кончины... Послушай, твоя смерть может создать двух вдов... Я уговорю Натали, чтобы она застраховалась в «Королевской прусской всеобщей вдовой кассе» на пенсию в двести талеров в год.<sup>1</sup> Эти деньги ты сможешь вернуть «Королевской прусской всеобщей вдовой кассе», как только будешь иметь необходимый заработок. Твоей будущей вдове, если она откажет рентмейстеру в своей руке, ты должен будешь протянуть руку помощи. Если бы ты оказался не в состоянии платить и, по-настоящему скончавшись, последовал бы сам за собою в могилу, то налицо

---

<sup>1</sup> «Отец имеет право застраховать пенсию для своей незамужней дочери, брат — для сестры и т. д., каждая холостая или женатая особа мужского пола — для любой незамужней особы женского пола, и последняя даже может сама выбрать для себя особу мужского пола, на случай смерти которой будет произведено страхование. — Оба трактуются как супруги, и она, подобно настоящей вдове, при повторном браке сохраняет половину пенсии». Устав «Королевской Прусской всеобщей вдовой кассы» от 29 декабря 1775 г. § 29.

буду я и не потерплю, чтобы хоть одна из этих касс потерпела ущерб, если только моя собственная касса не потерпит очередного крушения». Дело в том, что Лейбгебер, по какой-то таинственной, необъясненной им самим причине, жил в перемежающейся лихорадке обогащения и обеднения или, как он называл это, в чередовании вдохов и выдохов живительного воздуха (*aura vitalis*) денег. Всякий иной, — чем этот азартно играющий с жизнью человек, в душе которого пылал пламень чести, правды и бескорыстия, уже много лет светивший адвокату, словно пламя Фаросского маяка, — озадачил бы подобными речами нашего Зибенкэза (в особенности как юриста) и даже рассердил бы его, вместо того, чтобы убедить; но Лейбгебер заразил и зажег его своим эфирным и хмельным духом и неудержимо вовлек в мимодраму притворства, без всяких своекорыстных, лживых и фальшивых замыслов.

Однако в своем духовном опьянении Фирмиан все же сохранил хоть столько самообладания, чтобы сообразить, что он рискует навлечь опасность и на своего друга. «А что же получится, — сказал он, — если моего подлинного Генриха Лейбгебера, имя которого я похищаю, когда-нибудь встретят рядом со мною, фальшивомонетчиком имени?»

«В том-то и дело, что меня не встретят, — сказал Генрих. — Видишь ли, как только ты снова примешь твое прежнее, каноническое, настоящее имя «Лейбгебер», а моего созданного над взбаламученной купелью Фирмиана Станислауса, даст бог, отпустишь на все четыре стороны, то я прыгну с совершенно неслышанным именем (возможно, что я, чтобы праздновать 365 именин, возьму взаймы имена календарных святых у каждого дня), — повторяю, я прыгну с суши в безбрежный океан человечества и, действуя своими брюшными, спинными и прочими плавниками, поплыву по волнам и топам жизни вплоть до густого Мертвого моря, — и тогда мы с тобой уж не скоро увидимся». . . Он вперил взор в пышно заходившее за Байрейтом солнце, — его неподвижно устремленные глаза засияли более влажным блеском, и он продолжал меленнее: «Фирмиан, сегодня в календаре стоит Станислаус. — это твой, это мой день именин и вместе

с тем день смерти этого странствующего имени, ибо ты от него должен будешь отказаться после твоей мнимой смерти. — Сегодня я, бедняга, желал бы хоть раз за много лет быть серьезным. Иди домой один, через Йоганнисдорф, я вернусь по аллее; мы встретимся в гостинице. — Клянусь небом! Здесь все так прекрасно и багряно, словно «Эрмитаж» — кусок солнца. — Конечно, постарайся не задержаться!» — Но острая душевная боль покрыла глубокими морщинами лицо Генриха; он отвратил это благородное изваяние скорби и ослепленные, полные блеска и слез глаза и, глядя в сторону и притворяясь, будто внимательно всматривается во что-то, прихрамывающей походкой поспешно миновал зрителей и скрылся под аркадами аллей.

Фирмиан, один и с влажными глазами, стоял и глядел на солнце, которое тихо таяло, растворяясь в красках над зеленым миром. Глубокий золотоносный рудник вечерней тучи плавились под огнем близкого солнца и медленно стекал из эфира на соседние холмы, а струившееся кругом прозрачное золото вечерней зари повисло на желто-зеленых почках и на бело-розовых вершинах, и неуловимый дым, словно вьющийся над алтарем, распространял вокруг гор неведомый волшебный отблеск и текучие, прозрачные, далекие краски, и казалось, что горы и счастливая земля отражаются в ниспадающем солнце. . . Но когда оно опустилось за горизонт, то в светящийся мир, который, словно огромный пылающий, огненный метеор, трепетал за полными слез глазами Фирмиана, внезапно прилетел ангел горнего света и, блистая, как день, вступил в ночной хоровод скачущих с факелами смертных, и все они побледнели и остановились. — Когда Фирмиан осушил свои глаза, солнца уже не было видно, и земля стала тише и бледнее, а из лесов надвигалась роистая и по-зимнему холодная ночь.

Но трепетное человеческое сердце теперь томилось тоской по своим родным, по всем любимым и близким людям, и оно неотступно стучало в этой уединенной темнице жизни и хотело любить всех на свете. О, в такой вечер слишком несчастна душа, которая многого была лишена или многое утратила!

В сладостном дурмане шел Фирмиан через висячие сады цветочных ароматов, среди тропической флоры, расцветающей под нашими ночными небесами, через закрытые спальные покои полей и под стоящими в цвету деревьями, роняющими капли росы; и на кровле небесного храма полумесяц сиял в полуденном блеске, который солнце ему слало из глубины, поверх земли и заката. — Когда Фирмиан шел через осененный листвою Иоганнисдорф, дома которого были разбросаны среди плодового сада, то вечерний звон из отдаленных селений убаюкивал дремлющую весну колыбельными песнями, и казалось, что с багряного небосклона доносятся звуки золотых арф, овеваемых ветерками, и мелодии тихо струились в сон необъятного мира и превращались в грезы. Переполненное сердце Фирмиана охватила страстная жажда любви, и когда он в селении увидел игравшее прутиком красивое дитя, то поспешно вложил ему в белые ручки свои цветы, лишь для того чтобы коснуться человеческих рук.

Милый Фирмиан! Иди с твоей растроганной душою к твоему растроганному другу; его внутренний человек тоже простирает объятия к своему подобию, и сегодня только вместе вы можете быть счастливыми! — И когда Фирмиан вошел в их общую комнату, освещенную лишь угасающей алой зарей, его Генрих обернулся, и они молча, с поникшей головой, упали друг другу в объятия и пролили все горевшие в их душах слезы. Но то были и слезы радости, и они положили конец объятиям, но не прервали молчания. Генрих, одетый, бросился на кровать и закутался. Фирмиан опустился на другую, рядом, и слезы счастья продолжали струиться из его сомкнутых глаз. Через несколько хмельных часов, разгоряченных фантазиями, сновидениями и скорбью, слабый свет забрезжил сквозь его горячие веки, — он раскрыл их, — раскаленная добела луна висела перед самым окном, — и он приподнялся... Но когда он увидел, что друг его, тихий и бледный, подобный лунной тени на стене, прильнул к окну, и когда из соседнего сада вспорхнула, подобно шелкающему соловью, мелодия песни Руста: «Был сотворен союз друзей не для земной юдоли», то подавленный тяжелыми воспоминаниями и слишком сильным вол-

нением, он снова откинулся, и затуманенные глаза судорожно сомкнулись, и он лишь глухо произнес: «Генрих, поверь в бессмертие! Как же мы сможем любить друг друга, если истлеем?»

«Молчи! — сказал Генрих. — Сегодня я справил день моих именин, и этого достаточно; ведь человек не имеет дня рождения, а следовательно, и дня смерти».

## ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*«Часы из людей». — Неприятный сюрприз жениху. — Рентмейстер.*

Когда в предыдущей главе я говорил о тех женщинах, которые, словно ранние пташки, просыпаются на шесть часов раньше, чем их антиподки, то, как мне кажется, с моей стороны было разумным поступком то, что модель уже давно изобретенных мною *часов из людей* я не стал втискивать среди тесно сомкнутых событий двенадцатой главы, а приберег для тринадцатой; в нее я и вношу теперь эту модель и устанавливаю ее здесь. Я полагаю, что на мысль о моих «часах из людей» меня бессознательно навели *цветочные часы* (*horologium florum*) Линнея в Упсале, колесиками которых являются солнце и земля, а стрелками — цветы, из коих каждый просыпается и раскрывается позже другого. В свое время я жил в Шерау, в самом центре, у рынка, и занимал две комнаты; в окна одной заглядывали вся рыночная площадь и княжеский дворец, а в окна другой — ботанический сад. И тот, кто живет в обеих комнатах, может наблюдать великолепную предопределенную гармонию между «цветочными часами» в саду и «часами из людей» на рынке.

В три часа раскрывается желтый козлотородник, а также чернушки, и внизу, под комнатой жильца, конюх начинает шуршать кормом и сыпать его в ясли. — В четыре часа (если дело происходит в воскресенье) просыпаются маленькая ястребинка и набожные причастницы, — они представляют собою часы с музыкой или, вернее, с пением, — а также пекаря. — В пять часов пробуждаются судомойки, скотницы и желтоглав, — в шесть часов осот

и кухарки. — В семь часов бодрствуют уже многие камерьёнгферы во дворце и обыкновенный салат в моем ботаническом саду, а также многие купеческие дамы, — в восемь часов все их дочки, «мышьи ушки» и все коллегии раскрывают и раскладывают свои листы от духовок, бумажные листки и цветочные листики; — в девять часов уже шевелятся дворянки и ноготки; даже многие барышни из сельских усадеб, приехавшие в гости, уже наполовину выглядывают в окно. — От десяти до одиннадцати часов расстаются с утренним сном придворные дамы и весь камергерский штаб, и бородавник, и альпийская скерда, и придворный чтец княгини, и до некоторой степени стряхивает с себя дремоту весь дворец, ибо сегодня с высокого неба солнце так чудесно мерцает сквозь яркий шелк. — В двенадцать часов открывает глаза князь, в час — его супруга, а также гвоздика в ее цветочной вазе. — Позже, к четырем часам пополудни, *приходят в движение* лишь красная ястребинка и ночной сторож в качестве «часов с кукушкой», причем оба показывают лишь вечерние и лунные часы. От воспаленных глаз бедняги, который открывает их лишь в пять часов, подобно ялапе, мы печально отвратим наши; это — больной, который принял таковую как лекарство и сменил лихорадочный бред, терзавший его словно раскаленными клещами, лишь на столь же мучительное бодрствование.

Я никак не мог узнать, когда бывало два часа, ибо в это время я (подобно тысячам толстых мужчин) засыпал вместе с желтыми «мышьими ушками»; но в три часа пополудни и в три часа утра я просыпался с точностью *часов с репетицией*.

Так мы, люди, можем служить для высших существ цветочными часами, когда на последнем нашем одре закрываются наши цветочные лепестки, — или песочными часами, когда в подобных же часах нашей жизни песок высыпался без остатка, так что их перевертывают в ином мире, — или фигурными часами, ибо когда здесь, внизу звонит и ударяет наш погребальный колокол, в том мире выходит из футляра бесплотная фигура, сотворенная по нашему образу и подобию; — и во всех этих случаях, когда минуло семьдесят человеческих лет, эти высшие

существа могут сказать: «Еще один час прошел! Боже, до чего быстро летит время!»

Это я вижу на примере настоящего отклонения от темы. — Фирмиан и Генрих весело вступили в соседнее шумное утро, но первый из них до самого полудня был не в состоянии пустить корни ни на одном кресле или стуле и ни на одной половине комнаты: *opera buffa e seria* его притворной смерти непрестанно поднимала перед его душой свой занавес и показывала свои гротескные сцены. Как всегда, он теперь был более юмористически настроен под влиянием присутствия и примера Лейбгебера, который управлял Фирмианом в силу своего внутреннего сходства с ним. Лейбгебер уже за много недель перед тем истощающе обозрел в своем воображении все кулисы и смены декораций бутафорской кончины, а потому сейчас мало думал о них; интересной новинкой для него был план, заключавшийся в том, чтобы из брачного факела Розы, уже отлитого и обмазанного, вытащить фитиль, новобрачную. Генрих всегда становился необузданным, дерзким, яростным и непримиримым, когда наталкивался на несправедливости, причем иногда его благородный гнев, как это было и теперь, в деле с Розой и Блэзом, чрезмерно напоминал мстительность. Фирмиан, более кроткий, щадил и прощал, причем нередко даже с кажущимся ущербом для своей чести; он был бы не в силах лейбгеберовским ключом дантиста извлечь эпистолярного возлюбленного из кровотокащей души прекрасной Натали. Со своего друга, когда тот сегодня отправлялся к ней в «Фантазию», он взял обещание действовать деликатнейшим образом и пока умолчать о «Королевской прусской вдовьей кассе». Поистине, кровавую рану нанес бы благородной душе Натали тот, кто, по поводу ее нравственного отречения от безнравственного рентмейстера, хоть отдаленно намекнул на какое-либо денежное возмещение духовного ущерба; она была достойна и способна победить и при перспективе нищеты.

Генрих вернулся поздно и с немного смущенным, но все же радостным лицом. Роза был отвергнут, а его невеста — повергнута в скорбь. Англичанка находилась в Ансбахе у леди Крэвен и вкушала сбиваемое последней масло наряду с сочиняемыми ею книгами. Когда римлян-

ке — обычно британка так называла Натали — Генрих прочел все объявления черной доски рентмейстера и весь перечь его грехов, слегка повышенным голосом, но серьезно и убедительно, то она встала с большим достоинством, свойственным самоотверженному воодушевлению, и сказала: «Если вы в этом столь же мало обманулись, сколь мало вы сами способны обмануть, и если вашему другу я могу верить столько же, сколько вам, то клянусь вам всем святым, что я не дам ни принудить, ни уговорить себя. Впрочем, через несколько дней тот, о ком мы говорим, явится сам, и моя честь обязывает меня выслушать его, так как у него в руках посланные мною письма. Но как тяжело, что я должна об этом так холодно говорить!» С каждой минутой алые розы ее лица все больше угасали и превращались в белые; облокотившись, она склонила на руку поникшую голову и, когда ее глаза наполнились влагой и, наконец, начали ронять ее, произнесла твердо и мужественно: «Не обращайтесь на это внимания; я сдержу слово. Затем, как бы мне это ни было трудно, я расстанусь с моей подругой и вернусь в Шраплау, к моим бедным родственникам. Я и без того уже достаточно долго жила в великосветском обществе, хотя и не слишком долго».

Необычайная серьезность Генриха покорила ее. Она питала непоколебимое доверие к его честности лишь потому, что он — странная причина! — до сих пор не влюбился в нее, а лишь был ее другом, не нарушая ее притязаний на его сердце — своими. Она, может быть, разгневалась бы на женатого фискала ее жениха, то есть на Фирмиана, если бы у него отсутствовали три-четыре наилучших оправдания — а именно его общее духовное сходство с Лейбгебером, затем физиономическое сходство, сделавшееся совершенно отчетливым вследствие его теперешней бледности, далее его трогательный «Вечерний листок» и, наконец, все его кроткое, любвеобильное существо. Как ни болело все ее сердце, она, к величайшей радости Лейбгебера, повторила вчерашнюю просьбу привести к ней вечером Фирмиана. — Но пусть никто не осуждает ее за ее малый траур по утопающем рентмейстере или за ее ошибочное представление о нем: ведь все мы знаем, что милые девушки так часто принимают чув-

ствительность за честность, писание — за дела и чернильные слезы — за благородную горячую кровь.

Под вечер Лейбгебер привел адвоката, словно незыблемое доказательство, логический аргумент и *rationes decidendi* (решающее основание), так как рентмейстер сплошь состоял из *rationum dubitandi* (оснований для сомнений). При появлении адвоката Аквилиана слегка покраснела, а затем, стыдясь этого, держалась несколько гордо, но все же выказывала расположение к нему, которое он заслужил проявленной им заботой об ее будущем. Натали жила в комнатах англичанки; оттуда она могла созерцать веселую, живописную долину, простиравшуюся перед ней, словно некий мир перед неким солнцем. Столь веселый и живописный парк полезен тем, что незнакомому адвокату легче прицеплять к его ветвям паутинную нить беседы, пока эта нить не повиснет свободно в воздухе, сплетенная в блестящую замысловатую сеть. Фирмиан никогда не мог сравниться с теми светскими людьми, которым, чтобы завязать разговор, не требуется ничего, кроме слушателя; которые, подобно древесным лягушкам, ухитряются уцепиться даже за самые плоские предметы и прыгать по ним; и которые могут держаться даже в безвоздушном и беспредметном пространстве, хотя этого не умеют и древесные лягушки. Но человек с такой свободной душой, как Зибенкэз, недолго оставался бы смущенным в незнакомой обстановке, хотя бы и в придворной, ибо вскоре вновь обрел бы свою свободу благодаря врожденной способности возноситься над всеми случайностями и легко заменять непритязательной простотой изощренные ухищрения светскости.

Когда он вчера видел эту Натали, она, безмятежно наслаждаясь своей юностью и природой и дружбой, улыбалась и пленяла, и увенчала чудесный вечер порывом самоотверженной отваги; но сегодня от тех нежных, светлых радостей осталось так мало. Прекрасное лицо никогда не бывает прекраснее, чем после горестного часа, когда оно проливало слезы об утраченном сердце; ибо в самый час горести нам, быть может, слишком печально и больно было бы видеть скорбную красу. За эту прелестную страдалицу, которая скрывала пронзивший ее сердце жертвенный нож и оставляла его в жгучей ране,

чтобы ничей взор не увидел текущую кровь, Фирмиан был бы рад умереть — более серьезно, чем ему предостояло, — если бы он этим смог хоть сколько-нибудь помочь ей. И, конечно, отнюдь не приходится удивляться тому, что взаимное влечение все прочнее и крепче связывало их по мере того, как сыпался песок в песочных часах: достаточно лишь принять во внимание, что при необычной тройной серьезности — ибо даже Лейбгебер впал в нее — в душе каждого из них внешняя роскошь природы вызывала наплыв тихих грез, — что скорбным, полузаплаканным глазам был приятен сегодня, словно свет вечернего солнца, вид бледного, болезненного лица Фирмиана, свидетельствовавшего о пережитых невзгодах, — что ее предрасполагала в его пользу не лишенная оригинальности заслуга, состоявшая в предупреждении и пресечении хоть некоторых вероломных замыслов ее вероломного жениха, — что все свои сегодняшние мелодии он настраивал на мягкий тон *Moll* своего кроткого сердца, так как хотел искупить и загладить невольную жестокость, с которой он сразу отнял у этой неповинной незнакомки столько надежд и радостей, — и что его украшала даже его почтительная, робкая сдержанность, по контрасту с фамильярностью его двойника, Генриха. — В глазах Натали адвокат обладал всеми видами привлекательности, которая женскую половину рода человеческого покоряет успешнее, чем физическая, телесная. В глазах Фирмиана еще большими и сплошь новыми были достоинства Натали: ее познания, ее мужественное воодушевление, ее изысканный тон и ее лестное внимание, каким его до сих пор не почтила ни одна красавица — достоинство, которое немало персон мужского пола, непривычных к обхождению с женщинами, доводит не только до экстаза, но даже до брака; — и особенную прелесть всем этим качествам придавало то, что они были неожиданны, необычны и что Ленетта обладала как раз противоположными.

Несчастный Фирмиан! Если даже случится, что речка твоей жизни становится *золотоносной*, возле нее всегда торчат виселица или доска с предостерегающей надписью. — При той теплой температуре, в которой ты теперь оказался, обручальное кольцо неизбежно должно было сделаться слишком *тесным* и ущемить тебя, как это

бывает со всеми кольцами в *теплых* ваннах, тогда как в *холодных* они становятся слишком широкими.

Но для какой-то злобной наяды или коварного морского божества было излюбленной забавой взбалтывать и мутить и омрачать море жизни Фирмиана как раз в те минуты, когда оно озарялось чудесным свечением фосфоресцирующих морских существ или безвредным электрическим сиянием, и когда плывущий корабль оставлял за собою мерцающую полосу; так и теперь, когда удовольствие беседы и великолепие парка, видневшегося за окнами, все возрастало, — когда смущение уменьшалось, — когда болезненные воспоминания о новой утрате становились менее явными, — короче говоря, когда уже были открыты нектарии целой оранжереи радостей и разрешенные египетские горшки с мясом и широкая чаша братской вечери, туда вскочила обеими ногами целая мясная муха, и прежде неоднократно влетавшая в клубок радостей Фирмиана.

Вошел рентмейстер Эверар Роза фон Мейерн, с подobaющей пышностью наряженный в шафранное одеяние, намереваясь нанести своей невесте, в качестве аккредитованного при ней посла, первый визит. . .

В течение всей своей жизни рентмейстер всегда приходил слишком поздно или слишком рано; точно так же он никогда не был серьезен, ибо умел быть лишь плаксивым или игривым. Лица трех друзей теперь приняли удлинённый формат, — впрочем, свое Лейбгебер не столько вытянул на волочильном станке, сколько перекрасил в багровый цвет в красильном котле и в пылающей печи, ибо питал особенную ненависть ко всем франтам и развратителям девушек. Эверар явился, имея наготове заимствованный из штольберговского Гомера вступительный экспромт, и хотел, в подражание гомеровским героям, уже с порога обратиться к Аквилиане с вопросом, богиня ли она или смертная, ибо лишь с последней может он померяться силами в единоборстве; но при виде пары мужчин, из которой чорт, словно из двустволки, прицелился в его мозг, в последнем все створожилось, слиплось в комья и застыло; и за двадцать поцелуев он не смог бы произнести свой экспромт. Лишь через пять дней он настолько починил скудное содержимое своей черепной коробки, что смог поднести еще хорошо сохра-

нившийся экспромт одной моей дальней родственнице — ибо откуда же я иначе мог о нем знать? Вообще рентмейстера ничто в женском обществе не парализовало так сильно, как мужское, и он скорее способен был атаковать в одиночку целый женский институт, чем — в присутствии хоть одного-единственного жалкого мужчины — каких-нибудь двух институток, не говоря уж об одной институтской начальнице.

Еще никогда во дворце «Фантазии» не играла оседлая театральная труппа, подобная настоящей, которую сейчас рисует моя кисть. Натали с неучтивым удивлением и холодностью сравнивала это подлинное печатное издание со своим письменным идеалом. Рентмейстер, рассчитывавший на иной результат сравнения, охотно сделался бы явным противоречием и антиподом самому себе, если бы только смог; иначе говоря, если бы он сумел одновременно выразить холодное безразличие к обнаружению столь ненавистной пары и фамильярность и нежность к Натали, чтобы эта нищая пара терзалась бессильной злобой при виде его богатых нив и виноградников. Но так как внешнею Натали он был изумлен столь же сильно, хотя и более приятно, чем она его собственной, а для отмщения и казни еще оставалось достаточно времени, — он предпочел чваниться, чтобы обоим его коллегам по имперской службе визит был вконец отравлен завистью. Кроме того, по сравнению с ними, он обладал преимуществом летучести при нагревании и быстрее, чем они, мобилизовал свое ополчение телесных красок. — Зибенкэз размышлял о весьма отдаленном предмете, а именно — о своей жене; до прибытия рентмейстера мысль о ней была ему полынным пастбищем, ибо шероховатая, растрескавшаяся супружеская рука ласкала его самолюбие не столь нежно, как девичья, с ее мягкими, словно гагачий пух, рожками улитки, то есть пальцами; но теперь мысль о Ленетте превратилась из полыни в сладкий клевер, ибо ревность Фирмиана к Розе, имевшая уже два официальных местожительства, меньше страдала от поведения Ленетты, чем от положения Натали. Взор Генриха становился все более яростным и, полный желчи, словно от желтухи, скользил по желтому шелку летней заячьей шкурки Эверара. Сердито ерзая, Генрих шарил

в жилетном кармане и нащупал там силуэт тайного фон Блэза, который он, как известно, с поразительным сходством вырезал в тот день, когда растоптал стеклянный парик, и который в течение целого года вызывал досаду своего автора лишь тем, что находился в его кармане, а не на виселице — куда его можно было бы пришить в памятный вечер прощания. Вытащив силуэт, Генрих стал его мять и дергать, поглядывая то на него, то на Розу, а затем, устремив взор на рентмейстера, проворчал Зибенкэзу: «A la silhouette!»

Самолюбие Эверара угадало эти лестные, но невольные жертвоприношения оскорбленного чужого самолюбия и, становясь все заносчивее по отношению к адвокату для бедных, он принялся назойливо осыпать смущенную девушку отрывками из описания своего путешествия, привешивая от своих знакомых и вопросами о получении своих писем. Братья Зибенкэз и Лейбгебер протрубили друг другу сигнал к отступлению, но как настоящие — мужчины; ибо они немного сердились на неповинную Наталью, словно она могла бесцеремонно приветствовать вошедшего sponsus'a и эпистолярного жениха следующим восклицанием: «Уважаемый господин! Вам не суждено быть моим господином, хотя бы вы были и не хуже, чем негодяй, дурак, шут, фат и т. д.». Но разве все мы (потому что я не думаю, чтобы сам был исключением) не должны, бия себя в черствую греховную грудь, сознаться, что мы, словно лютые драконы, извергаем огонь, если робкие девушки не решаются сразу же окрыть его по людям, на которых мы в их глазах навели тень и наложили клеймо отвержения, — и что мы требуем от них, чтобы, изгоняя своих негодных кавалеров, они действовали *поспешно*, хотя они отнюдь не делали этого, когда вербовали таковых, — что, по нашему мнению, вопрос о том, чтобы капитуляции их подданных, заурядных крестьян и вообще вассалов, придать видимость почетного отступления. должен заботить этих созеренков так же мало, как нас, прочих их вассалов, — и что мы негодуем на них не только за их неверность, но даже за одну лишь возможность неверности, в которой они неповинны? — Да враждует небо тех людей, о которых я здесь говорил,

Фирмиан и Генрих в течение нескольких часов бродили в волшебной долине, полной волшебных флейт, волшебных цитр и волшебных зеркал, но ничего не слышали и не видели; разговор о недавнем инциденте наполнил их головы горящим топливом, словно балонные печки; и Лейбгебер, трубя в трубу молвы, а posteriori приветствовал сплошными сатирическими оскорблениями каждую байрейтианку, которую он видел прогуливающейся по аллеям парка. Он доказывал, что женщины являются наихудшими из всех судов, на которых мужчина может рискнуть плыть в открытое море жизни, а именно невольничьими кораблями и буцентаврами (а то и челноками, посредством которых дьявол ткет свое охотничье сукно и холсты для своих птичьих ловушек), тем более, что они, подобно прочим боевым кораблям, часто моются, снаружи сплошь защищены ядовитой медной обмазкой и оснащены таким же лакированным такелажем (лентами). Генрих пришел, ожидая, — хотя это было в высшей степени невероятное, — что его друга, как свидетеля и очевидца канонических impedimenta (церковно-правовых препятствий к браку) Розы, Натали опросит и результаты запротоколирует; и теперь ему было крайне досадно, что его надежды не оправдались.

Но как раз в то время, когда Фирмиан занимался критикой невыразительного, шепелявого произношения рентмейстера, речь которого невнятно журчала и словно завивалась на кончике языка, Генрих вдруг воскликнул: «Смотри-ка, вот бежит эта навозная лилия!» — Действительно, то был рентмейстер, подобный щуке, когда она хлещет хвостом, извиваясь в сетке у рыночной торговли. Когда дятел, — ибо дятлами естествоиспытатель называет всех птиц, обладающих пестрым оперением, — пролетел вблизи от них, они увидели, что его лицо пылает от злобы. Очевидно, клей, который должен был скрепить его союз с Натали, распустился и растекся.

Два друга пробывли еще несколько времени в тенистых аллеях, чтобы с нею встретиться. Наконец они отправились обратно в город и по дороге догнали служанку Натали, посланную в Байреит с поручением доставить Лейбгеберу следующую записку:

«К сожалению, вы и ваш друг не ошиблись — и теперь все кончено. — Я бы хотела несколько времени побыть в *одиночестве*, предаваясь размышлениям на руинах моей скромной *будущности*. Человеку, у которого поранена и зашита губа, не разрешается говорить; у меня же не рот, а сердце обливается кровью — при мысли о том, что представляет собою ваш пол. Ах, я краснею за те письма, которые до сих пор писала с удовольствием и заблуждаясь; а, быть может, этого и не следовало бы делать. Ведь вы сами говорили, что невинных радостей так же не следует стыдиться, как черники, хотя она, когда полакомишься ею, на время сообщает рту темную окраску. Как бы то ни было, я от всего сердца благодарю вас. Раз уж мне суждено быть разочарованной, то бесконечно отрадно, что это совершил не сам злой чародей, а вы и ваш столь честный друг. Прошу вас передать ему мой искренний привет.

Ваша *А. Натали*».

Генрих рассчитывал даже получить пригласительную карточку, ибо, по его словам, опустошенному сердцу так же холодно и недостает чего-то, как пальцу, на котором слишком низко срезан ноготь. Но Фирмиан, прошедший школу брака и приобретший в ней барометрические шкалы и циферблаты для правильного суждения о душевных состояниях женщин, благоразумно решил: «В тот час, когда женщина в силу чисто нравственных оснований дала отставку своему возлюбленному, к человеку, который, ссылаясь на них, убедил ее это сделать, она неизбежно относится несколько холоднее, чем следует, хотя бы он и был ее вторым возлюбленным». И по той же причине (это должен добавить я) чрезмерная холодность ко второму сразу же сменится чрезмерной теплотой.

«Бедная Натали! Пусть цветы превратятся в английскую тафтяную повязку для порезов твоего сердца, и пусть нежный весенний эфир станет молочным лечением для твоей стесненной груди!» Таковы были непрестанные пожелания души Фирмиана, и ему так больно было, что и невинную постигают испытания и кары, словно винов-

ную, и что живительный воздух своей жизни она вынуждена вдыхать не со здоровых, а с ядовитых цветов.<sup>1</sup>

На следующий день Зибенкэз не занимался ничем, кроме сочинения письма, под которым он подписался «Лейбгебер» и в котором сообщал Вадуцскому графу, что в настоящее время болен и выглядит таким же серо-желтым, как швейцарский сыр. Генрих все время не давал ему покоя. «Ведь граф, — говорил он, — привык во мне видеть инспектора, пышущего здоровьем и жаром. Когда же новые приметы он усмотрит на бумаге, то свыкнется с ними и в жизни и будет думать, что ты — это я. К счастью, мы оба таковы, что нам не придется расстегиваться ни в одной таможене,<sup>2</sup> и у каждого у нас под жилетом спрятан лишь пуп».

В четверг Фирмиан стоял под воротами гостиницы и видел, как рентмейстер, в придворном одеянии, с головной, увенчанной лаврами парадной прически, и с целым бардтовским виноградником в качестве подбородочного бордюра, ехал в «Эрмитаж», сидя между двух особ женского пола. Когда эту весть он доставил наверх, в комнату, Лейбгебер разразился бранью и проклятиями: «Этот мошенник достоин лишь такой женщины, у которой вместо головы — *головня*, а вместо сердца — *gorge de Paris* или (разница тут лишь в направлении) *cul de Paris*». — Он непременно хотел сегодня же посетить и уведомить Натали; но Фирмиан насильно удержал его.

В пятницу она сама написала Генриху следующее:

«Я отважно отменяю мою отмену приглашения и прошу вас и вашего друга посетить прекрасную «Фантазию» и притом именно завтра, когда ее обезлюдит суббота, а не в последующее воскресенье. Я заключаю природу и дружбу в мои объятия, и ничего больше они не вместят. — В прошлую ночь мне снилось, что вы и ваш друг вдвоем выглядывали из *одного* гроба, и белый, порхающий над вами мотылек все вырастал, пока его крылья не сделались такими большими, как два савана, и затем он вас обоих плотно прикрыл, и под пеленой все замерло

<sup>1</sup> Как известно, ядовитые растения тоже выдыхают кислород.

<sup>2</sup> Например, в Энгельгардцелле австрийские таможенники расстегивают каждое толстое брюхо, чтобы посмотреть, не является ли сало сукном.

и оставалось неподвижным. Послезавтра прибывает моя милая подруга. А завтра придут мои друзья: я на это надеюсь. А затем я расстанусь со всеми вами.

Н. А.».

Эта суббота займет всю следующую главу, и о том жадном любопытстве, которое она вызывает у читателя, я немного могу судить по своему собственному, тем более, что хотя следующей главы я еще не написал, но уже прочел ее, а читатель — нет.

## ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Отставка возлюбленного. — «Фантазия». — Дитя с букетом. — Ночной эдем и ангел у райских врат.*

Ни глубокая лазурь небес, которая в субботу была такой темной и одноцветной, как зимою или ночью, — ни мысль о предстоящей сегодня встрече с печальной душой, которую он изгнал из ее рая, отогнав от содомского яблока змия (Розы), ни болезненное состояние, ни воспоминания о семейной жизни, взятые в отдельности, а лишь все эти полутона и минорные тона вместе создали в душе нашего Фирмиана плавное мажорство, придавшее во время его послеполуденного визита столько же нежности его взорам и мечтам, сколько он надеялся встретить в женских.

Но он встретил как раз обратное; вокруг Натали и в ней самой царила та возвышенная, *холодная*, тихая ясность, подобную которой мы видим лишь на высочайших горах, возносящихся над тучами и бурей, и овеваемых более разреженным и прохладным воздухом, и пребывающих под более глубокой лазурью и более бледным солнцем.

Я не порицаю читателя, если ему теперь хочется внимательно выслушать отчет, который Натали должна дать о своем разрыве с Эвераром; но весь этот отчет можно было бы поместить в виде надписи на ободке прусского талера, — как бы мал ни был последний, — если бы я не

умножил и не дополнил его своим, который я здесь занимаю из-под собственного пера Розы. Дело в том, что пять лет спустя рентмейстер написал очень хороший роман, — если можно верить похвале «Всеобщей немецкой библиотеки», — в который он искусно вставил, словно в оправу, всю историю раскола между ним и Натали, этого расставания тела с душой; по крайней мере так можно заключить из многочисленных намеков Натали. Таков мой воклюзский источник. Духовный кастрат, подобный Розе, способен произвести на свет лишь то, что пережил сам; его поэтические эмбрионы — это лишь усыновленные им дети действительности.

Вкратце дело было так: в прошлый раз, едва только Фирмиан и Генрих удалились под сень деревьев парка, рентмейстер поспешил наверстать упущенную месть и с раздражением спросил Натали, как это она терпит визиты таких мещан и нищих. Натали, уже вспыхнувшая при виде поспешности и холодности, с которой отретировались оба друга, вспылала гневом и обратила его пламя против непрошеного катехизатора, облаченного в шафранный шелк. Она ответила: «Такой вопрос почти оскорбителен, — и, в свою очередь, спросила (пылкая и гордая, она не умела притворяться или выводить): — Но ведь и вы сами часто посещали господина Зибенкэза?» — «В сущности я посещал лишь его жену, — тщеславно сказал тот, — а сам он был только предлогом». — «Так!» — произнесла она; и этот слог был не менее долгим, чем ее гневный взгляд. Мейерн изумился такому обращению, противоречившему всей предшествовавшей переписке, и поставил его в счет обоим побратимам-близнецам; почерпнув величайшую отвагу в сознании своей телесной красоты, своего богатства, бедности своей невесты, ее зависимости от Блэза, а также своих супружеских привилегий, этот смелый рыкающий лев не обратил внимания (на что не дерзнул бы никто иной) даже на разгневанную Афродиту и, чтобы унижить ее и похвастаться своим возведением в звание чичисбея и своими перспективами в сотнях открытых для него гинекеев и вдовьих резиденций, — он, представьте себе, так прямо и сказал ей: «Молиться ложным богиням и отворять врата их храмов было слишком

уж легко, а потому я рад очутиться у вас в вавилонском пленении, навеки возвращающем меня к истинному женскому божеству».

Ее раздавленное сердце простонало: «Ах, все, все было правдой — он бесчестен, — и я теперь так несчастна!» Но сама она словно онемела; негодуя, расхаживала она возле окон. Ее женственно-рыцарственная душа, всегда жаждавшая необычайных, героических, самоотверженных деяний и обладавшая лишь одним мелким недостатком, а именно пристрастием к изысканному величию, теперь, когда рентмейстер попытался сразу загладить свое хвастовство внезапным переходом в легкий, шуточный тон и предложил ей предпринять прогулку<sup>1</sup> по прекрасному парку, который (сказал он) является более подходящим местом для примирения, — а при мелких стычках с девушками такой тон скорее приводит к укрощению и прощению, чем торжественный, — ее благородная душа теперь раскрыла свои чистые белые крылья и навеки улетела из грязного сердца этой извивающейся серебристо-чешуйчатой шуки; и Натали подступила к рентмейстеру и сказала ему, с пламенеющим лицом, но с сухими глазами: «Господин фон Мейерн! Вопрос решен. Между нами все кончено. Мы никогда друг друга не знали, и я вас больше не знаю. Завтра мы возвратим друг другу наши письма». — Если бы он держался торжественного тона, то закрепил бы за собою обладание этой сильной душой на многие дни и, быть может, недели.

Не глядя на него больше, она отперла шкатулку и стала складывать письма. Он всячески заговаривал с нею, пытаясь ей польстить и угодить; но она даже не отвечала. В душе он изливал яд, ибо все происшедшее вменял в вину обоим адвокатам. Наконец, окончательно разъярившись и потеряв терпение, он попытался одновременно смирить и убедить свою глухонемую собеседницу следующими словами: «Только я, право, не знаю, что на это скажет ваш уважаемый кушнапельский дядя;

---

<sup>1</sup> Девушки с первого взгляда видят насквозь такую тщеславную душонку. Натали сразу угадала, что только послужила бы Эверару почетным караулом и триумфальной аркой и что он лишь хотел чваниться ею перед многочисленными посетителями «Фантазии».

мои намерения по отношению к вам он, пожалуй, ценит гораздо больше, чем вы сами; и он даже считает наш брак столь же необходимым для вашего счастья, сколько я — для своего».

Это легло нестерпимым бременем на плечи, и без того уже глубоко израненные судьбой. Натали быстро захлопнула шкатулку и села, и склонилась бессильно поникшей головой на дрожащую руку, и, заслонив ладонью лицо, тщетно пыталась скрыть льющисся жгучие слезы. Ибо попрек бедностью, услышанный из некогда любимых уст, пронзает сердце раскаленным железом и сушит его пламенем. В душе Розы утоленная жажда мести отступила перед жаждущей любовью; эгоистически растроганный, он вообразил, будто и Натали печалится об их расторгнутых узах, и бросился перед ней на колени и воскликнул: «Забудем все! К чему же нам ссориться? Ваши драгоценные слезы все искупают, и я обильно смешиваю с ними мои».

«О, нет! — гордо ответила она и встала, оставив его коленопреклоненным: — то, о чем я плачу, вас не касается. Я бедна, но останусь бедной. Милостивый государь, после вашего низкого попрека вам нельзя здесь оставаться и видеть меня плачущей. Вы должны удалиться».

После этого он ретировался и притом, — если справедливо взвесить, сколько ему наклеили носов и нацепили намордников, — достаточно бодро и бойко. Его жизне-радость — следует отметить ему в похвалу — особенно выделяется потому, что на сердце Натали никакого впечатления не произвели два тончайших и сильнейших его приема. Один из них, уже испробованный прежде против Ленетты, заключался в том, чтобы спиральными линиями и завитушками постепенных сближений, мелких одолжений и намеков ввинчиваться подобно пробочнику; но Натали не была достаточно мягкой и податливой для такого вторжения. От второго приема можно было бы ожидать некоторых результатов, — но он подействовал еще меньше, — а заключался он в том, чтобы, подобно старому воину, обнажать свои шрамы и стараться придать им вид свежих ран; иначе говоря, Эверар обнажал свое страждущее сердце, столько раз уязвленное и пронзенное несчастной любовью и, подобно продырявленному

талеру, висевшее в качестве монеты ex voto на изваяниях столь многих мадонн; его душа облекалась в скорбь, словно во всевозможные виды придворного траура, большого и малого, надеясь, что, подобно вдовице, засияет в нем волшебной прелестью. Однако подругу такого человека, как Лейбгебер, можно было смягчить только мужественной скорбью, тогда как при виде бабьей плаксивости она становилась лишь более твердой.

Хотя, как уже было указано выше, рентмейстер, покидая свою невесту Натали, ничуть не был растроган ее самопожертвованием, он все же и не был особенно рассержен ее отказом и лишь подумал: «А ну ее к чорту!», и не мог нарадоваться тому, что так легко избежал бесконечной доуки — быть обязанным из года в год терпеть и почитать подобное существо в течение дьявольски-долгого супружества; — зато безмерно разыгралась в нем желчь против Лейбгебера и больше всего против Зибенкэза, — которого он считал главным разлучником, — так что из-за адвоката, и в отношении такового, у него теперь оказалось разлитие желчи в глазах и несколько камней в печени и за пазухой.

Вернемся к субботнему дню. Своей безмятежностью и хладнокровием Натали была обязана не только своей сильной душе, но и обоим лошадям — и обоим добродетельным девицам, достойным увенчания розами, — участницам поездки Розы в «Эрмитаж». Женская ревность всегда живет на несколько дней дольше, чем женская любовь; и я убежден, что все достоинства, все недостатки, все пороки, все добродетели, вся женственность, все мужество девушки скорее разжигают, чем расслабляют в ней ревность.

В этот день не только Зибенкэз, но даже Лейбгебер, словно стараясь согреть своим дыханием ее обнаженную, зябнущую душу, лишившуюся своего теплого оперения, был серьезен и участлив, вместо того чтобы, как всегда, облекать в иронию свою хвалу и хулу. Быть может, его укрощало также ее лестное послушание. У Фирмиана, кроме этих побуждений, были и более чувствительные: то, что завтра должна была прибыть британка, которая затруднит или запретит доступ в этот райский сад; — что колотые раны, которые несчастная любовь нанесла Натали, он уже изведal на себе, а потому испытывал к ним

бесконечное сострадание и охотно пожертвовал бы кровью собственного сердца, чтобы пополнить потерянную ею; — и что ему, выросшему среди голых стен и невзрачной обстановки, окружавшие его теперь блеск и роскошь внушали восхищение, без сомнения распространявшееся и на обительницу этой обители.

Та самая служанка, с которой мы однажды уже столкнулись на этой неделе, вошла с полными слез глазами и пролепетала, что она отправляется к святой исповеди, и ежели чем оскорбила и т. д. «Кого? Меня? — ласково сказала Натали. — Ну, от имени вашей госпожи (англичанки) я могу вас простить» — и, выйдя с ней, поцеловала ее, — невидимая никем, словно добрый гений. — Как идет душе, мощно восстававшей против угнетателя, эта кроткая снисходительность к угнетенному!

Лейбгебер взял один том «Тристрама» из библиотеки англичанки и, выйдя с ним наружу, улегся под ближайшим деревом; он хотел предоставить своему другу безраздельно весь анисовый марципан и медовые соты сегодняшней послеполуденной беседы, которые для него самого уже превратились в обыденную еду. Кроме того сегодня, при каждой его попытке пошутить, Натали глядела на него умоляющим взором: «Не делай этого хоть сегодня — не пересчитывай при нем опсенные рубцы моей души, — пощади меня на этот раз!» — И, наконец, — и это самое главное — он хотел, чтобы его Фирмиану легче было, укрывшись за тройной завесой из саванов и замаскировав свой почерк иероглифами, предложить обидчивой Натали (оклад которой с этих пор сократят раз в восемь) сделаться его беспечальной наследницей и владетельной вдовой.

Для Зибенкэза это была землекопная работа, трансальпийское или кругосветное путешествие, или сошествие в Антипаросскую пещеру, или определение долготы на море, — он не думал даже и приступать к этому; да он еще и прежде сказал Лейбгеберу, что, будь его кончина истинной, он с величайшей готовностью говорил бы о ней с Натали; но огорчать ее разговором о мнимой кончине он не в состоянии, а потому согласиться на вдовство ей придется наобум и без заранее оговоренных условий. «Да разве моя кончина уж ни в коем случае не может ока-

заться настоящей?» — спросил он. «Конечно! — сказал Лейбгебер: — иначе что же будет с нашей шуточной? А донна все сумеет выдержать». Очевидно, с женскими сердцами он обрастался не сколько жестче и холоднее, чем Зибенкэз, который, привыкнув в своем уединении созерцать на редкость здоровые женские души, изо всех сил старался щадить столь израненную и горячую; впрочем, не хочу решать, который из двух друзей прав.

Когда Генрих вышел со своим Иориком, Фирмиан остановился перед фреской, изображавшей этого же самого Иорика возле бедной, играющей на флейте Марии и ее козы, — ибо покои сильных мира сего напоминают собою Библии с картинами и *orbis pictus*; эти люди сидят, едят и ходят среди выставок живописи, а потому им тем более неприятно, что они не могут приказать покрыть разрисовкой две из наибольших уже загрунтованных поверхностей, а именно небо и море. — Едва Натали, возвратившись, подошла к нему, как сразу же воскликнула: «Что вы тут нашли интересного? Оставим это!» — С ним она держалась настолько же свободно и непринужденно, насколько сам он был на это неспособен. Свою прекрасную, пылкую душу она обнаружила в том, в чем люди, сами того не зная, больше всего *раскрываются* или *разоблачаются*, — в своей манере хвалить; иллюминированная триумфальная арка, воздвигнутая ею над головой возвращающейся британки, вознесла ввысь ее собственную душу, и она стояла на этих вратах славы, как победительница, в лавровом венке и блестящей орденской цепи добродетели. Ее хвала была подобна эхо или двойному хору, воспевающему чужие достоинства. Она была так искренна и горяча. — О девушки, когда вы сплетаете вашим подругам и возлагаете на них брачные и лавровые венцы, это в тысячу раз прекраснее, чем скручивать для них соломенные венки или гнуть железные ошейники!

Она сообщила Фирмиану о своем пристрастии к напечатанным и ненапечатанным британцам и британкам, которое питала, несмотря на то, что лишь прошлой зимой впервые за всю свою жизнь увидела англичанина. «Если только не считать первым, — сказала она, улыбаясь, — нашего друга там, за окном». Лейбгебер снаружи, на своем зеленом травяном матраце оглянулся и увидел, что

сверху, из открытого окна, оба они ласково смотрят на него; и в трех парах глаз засияла любовь. Какими нежными узами связала одна эта секунда три побратавшихся сердца!

Когда камеръюнгфера вернулась от исповеди в своих глянцовитых белых одеждах, похожих не столько на легкие бабочкины крылышки, сколько на толстые надкрылья, и украшенных некоторым количеством летающих и порхающих лент, пестрых, но полинялых, то Фирмиан, мельком взглянув на эту расфранченную кающуюся грешницу, взял черно-золотую книгу церковных песнопений, которую она второпях положила; расстегнув застёжки книги, он нашел внутри целую коллекцию образчиков шелка — а также павлиньи перья. Натали, увидевшая, что он готовится высказать сатирическую сентенцию насчет ее пола, немедленно отпарировала ее: «Вы, мужчины, так же высоко цените наряды, как и мы, женщины; это доказывают костюмы придворных, франкфуртские коронационные одеяния и все форменные платья и мундиры. — Что же касается павлина, то ведь он — излюбленная птица старинных рыцарей и поэтов; и если им было дозволено клясться или увенчивать себя его перьями, то и нам не предосудительно украсить себя несколькими или находить по ним (если уж не награждать ими) песни». — Наш адвокат не мог иногда скрыть неучтивого удивления, вызванного ее познаниями. Он стал перелистывать песнопения и наткнулся на окруженные золотым ободком изображения богородицы и на гравюру, на которой виднелись два ярких пятна, долженствовавшие изображать двух влюбленных; при них было третье, в виде фосфоресцирующего сердца, вручаемого мужским пятном женскому со следующими словами: «Не ведала ты про любовь мою? Воззри, сколь сердцем я горю». Фирмиан любил семейные и жанровые миниатюры, когда эти картинки были такими жалкими, как здесь. Натали посмотрела на картинку, прочла стихок, поспешно взяла книгу и защелкнула застёжку и лишь тогда спросила его: «Надеюсь, вы ничего не имеете против?»

Смелость в обращении с женщинами — не врожденное, а приобретаемое свойство. Фирмиан до сих пор был знаком лишь с немногими, а потому его робость принимала

женское тело, в особенности знатное, — ибо пренебрегать общественным положением легко и правильно, когда имеешь дело с господами, но не с дамами, — за священный ковчег завета, которого не должен коснуться ни один палец; — и каждую женскую ногу — за ту, на которой стоит (или на которую живет) испанская королева; — и каждый женский палец — за Франклиново острие, откуда брызжет электрическое пламя. Если бы Натали была влюблена в Фирмиана, то я бы мог ее сравнить с наэлектризованной особой, которая сама ощущает все излучаемые ею волшебные искры и легкие уколы. Впрочем, с течением времени его робость уменьшилась, что было совершенно естественно, и наконец, улучив момент, когда Натали случайно на него не глядела, он отважился незаметно дотронуться своими дерзкими пальцами до ее головного банта. Небольшими предварительными упражнениями, предшествовавшими этому рискованному предпрятию, можно считать то, что наш герой раньше пытался брать в руки лучшие из предметов, часто проходивших через ее руки, и в том числе даже английские ножницы, подушечку для иголок и вставочку для карандаша.

То же самое он хотел сделать с восковой виноградной кистью, полагая, что она фарфоровая, как подобные же кисти на крышках масленок. Поэтому он зажал ее в кулаке, словно в виноградном прессе, и раздавил две или три ягоды. Он стал подавать ходатайства о помиловании и об индульгенциях, словно опрокинул и разбил нанкинскую фарфоровую башню. Натали, улыбаясь, сказала: «Потеря невелика. Среди людских радостей есть много таких ягод, которые имеют красивую спелую кожу и совершенно лишены опьяняющего сока и так же легко разрушаются».

Он опасался, что эта великолепная многоцветная радуга его счастья рассыплется вечерней росой и погаснет вместе с солнцем; и он встревожился, увидев, что на зеленом дерне уже нет читающего Лейбгебера. Земля за окном просветлела и превратилась в солнечную страну, — каждое дерево сделалось более долговечным, более великолепным цветком радости, — казалось, что долина, словно уменьшенная вселенная, звенит от мощной, роко-чущей музыки сфер. Но Фирмиан все же не решался

предложить руку этой Венере для прохождения через солнце, то есть через залитую солнцем «Фантазию»; участь рентмейстера и присутствие запоздалых посетителей, разгуливавших по парку, сделали его застенчивым и немым.

Вдруг Генрих постучал в окно агатовым набалдашником своей трости и крикнул: «Марш кушать. Мой набалдашник, это венский фонарик.<sup>1</sup> Ведь домой мы сегодня вернемся не раньше полуночи». Дело в том, что он заказал в соседней маленькой гостинице ужин для себя и своего друга. — Внезапно он снова крикнул: «Тут как раз о тебе спрашивает одно прелестное дитя!» — Зибенкэз поспешил наружу; та же миловидная маленькая девочка, которой он, после великого, торжественного дня, проведенного в «Эрмитаже», во время своего восторженного, окрыленного бега через Иоганнисдорф вложил в руки свои цветы, стояла здесь с букетиком; она спросила: «Где же ваша супруга, которая третьего дня меня вытащила из воды? Мне велено поднести ей цветы от господина крестного, а моя мать, как только сможет, придет и покорно благодарит; но она еще лежит в постели, потому что очень больна».

Натали, слышавшая это сверху, сошла вниз и сказала, краснея: «Милая малютка, ведь это была я. Дай-ка мне твой букетик». Девочка, узнав ее, поцеловала ей руку, затем край платья и, наконец, уста, и хотела повторить этот поцелуйный обход, когда Натали, перебирая букет, нашла среди живых незабудок и белых и красных роз три шелковых имитации их. На удивленный вопрос Натали, откуда у нее такие дорогие цветы, малютка ответила: «Сначала подарите мне пару крейцеров, — а получив их, добавила: — От господина крестного, он очень уж важный» — и убежала вниз через кусты.

Для всех этот букет оказался настоящей головоломкой или цветочной загадкой. Впрочем, совершенное девочкой поспешное венчание Натали с Зибенкэзом Лейбгбер легко объяснил тем, что на берегу бассейна наш адвокат стоял возле Натали и подал ей руку помощи и что люди,

---

<sup>1</sup> Всем нам уже известно из газет, что в Вене на балах теперь носят бумажный фонарик с надписью «Кушать подано».

обманутые физическим сходством, полагали, будто с ней до сих пор чаще всех гулял не Лейбгебер, а Зибенкэз.

Но Фирмиан больше размышлял о театральном машинисте Розе, охотно вводившем вставную пьесу своей жизни в каждую женскую драму, и нашел, что искусственные цветы поразительно похожи на те, которые рентмейстер некогда выкупил в Кушнаппеле для Ленетты; но разве можно было омрачить теперь своими догадками часы блаженства и даже случайное удовольствие, доставленное цветочным подношением спасенного дитяти? — Натали ласково настояла на разделе цветочного наследства, ибо каждый что-нибудь совершил, и оба друга по крайней мере спасли спасительницу. Себе она оставила белую шелковую розу, Лейбгеберу поднесла красную, — но он отказался от нее и взамен потребовал бесхитростную натуральную, которую немедленно взял в рот, — а нашему адвокату она вручила шелковую незабудку и при ней еще несколько живых и благоухающих, словно души тех искусственных цветов. Он взял их с блаженством и сказал, что нежные живые цветы никогда для него не увянут. После этого Натали ненадолго простилась с обоими друзьями; и Фирмиан прямо не знал, как благодарить своего друга за все его мероприятия по продлению льготного срока, который создал вокруг его старой, прожитой жизни новое небо и новую землю.

Ни один испанский король не способен, отведав всего шесть блюд (хотя государственные законы предписывают, чтобы для него подавалась целая сотня их), — скушать так мало, как Фирмиан при трапезе, состоявшей из одного блюда. Но, как нам сообщают заслуживающие доверия историки, пить он мог и притом вино и к тому же поспешно; ибо, сколько он ни блаженствовал сегодня, для Лейбгебера все было мало: хотя последний сам по себе не так легко поддавался наплыву сердечных чувств, тем безграничнее он радовался тому, что в зените небес его милого Фирмиана взошла, наконец, полярная и путеводная звезда счастья, согревающая своими нежными лучами пору цветения столь редко рассаженных цветов его жизни.

Благодаря поспешности, с которой Фирмиан вкушал двойную усладу, он опередил заходящее солнце и снова вернулся к озаренному закатом дворцу, окна которого

роскошный вечер покрыл огненной позолотой. Натали стояла снаружи, на балконе, словно осиянная душа, стремящаяся улететь к солнцу, и своими большими глазами, не отрываясь, глядела на блистающий купол вселенной, вибрирующий от церковных песнопений, на солнце, подобно ангелу нисходящее из этого храма, и на мерцающий святой гроб ночи, куда готовилась опуститься земля.

Еще находясь под решетчатым балконом, на который Натали жестом пригласила Фирмиана, Генрих дал ему свою трость. «Сохрани ее — сегодня мне предстоит нести другие вещи, — если я тебе понадобится, то свисти». — Как в физическом, так и в нравственном смысле добрый Генрих таил за косматой медвежьей грудью прекраснейшее человеческое сердце.

Как счастлив ты, Фирмиан, невзирая на твои бедствия. Когда ты вышел теперь наружу, через стеклянные двери, на железную площадку, то солнце, взглянув на тебя, зашло еще раз, и земля сомкнула свое огромное око, словно умирающая богиня. — Потом горы вокруг тебя задымились, словно алтари; — из лесов зазвучали хоры; — покрывала дня, тени, развеались вокруг зажженных, прозрачных вершин и ложились поверх цветов — драгоценных булавок с яркими самоцветами; и блестящая позолота зари отбрасывала матово-золотистый отблеск на восток и розовыми тонами окрашивала грудь парящего, вибрирующего жаворонка, этого поднебесного вечернего колокола природы! — Счастливый человек! Если великолепный дух пролетит высоко над внешней землей, и если под ним тысячи прекрасных вечеров сольются в один пламенеющий вечер, то он не будет более райским, чем тот, что догорает сейчас вокруг тебя.

Когда огненное сияние окон поблекло, и луна, еще желая, поднялась из-за горизонта, оба, безмолвные и с переполненной душой, сошли в полутемную комнату, Фирмиан раскрыл фортепиано и звуками его воспроизвел свой вечер; трепетные струны превратились в огненные языки его стесненной души; цветочная зола его юности развеялась, и под ней снова зазеленело несколько последних минут молодости. Но когда на сдержанно страдающее, набухшее сердце Натали, с его затянувшимися,

но не исцеленными ранами, звуки заструились теплым живительным бальзамом, то оно смягчилось и словно разверзлось, и все накопившие в нем горькие слезы безудержно хлынули наружу, и оно почувствовало себя бесильным, но облегченным. Фирмиан заметил, что, вводя ее музыкой в некий храм, он снова ведет ее под жертвенный нож, а потому пожертвовал своими ораториями и поспешил увести ее от этого алтаря. — Первая полоса лунного света вдруг легла, подобно лебединому крылу, на восковую виноградную кисть. Фирмиан попросил Натали выйти с ним из дворца, в лунный вечер, в это тихое, туманное позднее лето дня; она молча подала ему руку.

Какой мерцающий мир! Сквозь ветви и сквозь ручьи и над горами и над лесами текли, сверкая, струи жидкого серебра, выплавленного луной из шлаков ночи. Серебристый отблеск дробился на волнах и на колышущейся глянцевигой листве яблонь и неподвижно лежал на белых мраморных колоннах и на светлых стволах берез. Фирмиан и Натали остановились, прежде чем сойти в чудесную долину, правращенную игрой светотени в волшебный грот: в нем все источники жизни — из которых днем взлетали ароматы, голоса и песни, прозрачные крылышки и пернатые стаи — теперь перестали бурлить и влились в глубокое тихое озеро. Они посмотрели на Софиенберг, вершина которого словно расплющилась под бременем веков и на котором, вместо альпийского пика, высился колосс тумана; они посмотрели на бледно-зеленый мир, дремлющий под лучами более дальних и тихих солнц, и на серебряную звездную пыль, сыплющуюся в бесконечные бездонные дали с луны, катящейся вверх по небосклону, — и они взглянули друг на друга невинно и ласково, как могут глядеть лишь полные блаженства, чистые, радостные, первозданные ангелы, и Фирмиан сказал: «Я счастлив. А вы?» — Она ответила, невольно прижимая к себе плотнее его руку, взамен рукопожатия: «Я — нет. Ибо за такой ночью должен был бы последовать не день, а нечто гораздо более прекрасное, более величественное, что утолило бы жажду сердца и исцелило бы его кровавые раны». — «Что же это такое?» — спросил он, — «Смерть!» — сказала она тихо; Возведя на

него влажные взоры, она повторила: — Не правда ли, дорогой друг, для меня — смерть? — «Нет, — сказал Фирмиан, — скорее для меня». Она быстро добавила, чтобы прервать сокрушающий миг: «Пойдемте вниз, на то место, где мы впервые увиделись, и где я за два дня до срока уже стала вашим другом, — но все же это было не слишком рано, — идемте?»

Он повиновался ей; но его душа еще была погружена в предшествующие думы, и пока длилось нисхождение по бегущей перед ними наклонной кремнистой дороге, — на которую падали пятна теней с аркад листвы, и в белом русле которой, среди теней, казавшихся камнями, струился поток лунного света, — он сказал: «Да, в этот час, когда смерть и небеса шлют своих братьев,<sup>1</sup> такой душе, как ваша, дозволено думать о смерти. Но мне — еще более: ибо я счастливее вас. О, счастье любит видеть смерть на своем пиру; ведь сама смерть — тоже счастье и последняя радость земли. Поднебесный перелет человеческих душ в дальнюю страну весны только простой люд способен принимать за блуждание мертвецов и призраков по земле, подобно тому как он принимает за вой привидений крики сов, улетающих в теплые страны. — И все же, милая, чудная Натали, для меня невыносима мысль о том, чтобы вас постигла названная вами участь. — Нет, столь богатая душа должна расцвести вся уже в более раннюю весну, чем та, что нас ждет за гробом; о боже — должна расцвести!» — Теперь они подошли к отвесной скале, залитой широким каскадом лунного света; к ней примыкала живая изгородь из роз. — Натали отломала ветку с зелеными и мягкими шипами, на которой начинали распускаться два бутона, и сказала: «Вам не суждено цвести, — приколола ее к своей груди, взглянула на Фирмиана загадочным взором и сказала: — Пока они совсем юны, они еще мало колют».

Внизу, на священном месте ее первого появления, у каменного водоема, оба еще искали слов, способных выразить чувства их сердец; внезапно кто-то вылез из сухого бассейна. Это смогло вызвать лишь растроганную улыбку, ибо то был их Лейбгебер, который ожидал их

<sup>1</sup> Брат смерти — сон, братья небес — грезы.

прихода, спрятавшись здесь с бутылкой вина, среди изваяний водяных богов. В его необычном взоре виднелось нечто, подобное *возлиянию* из чаши радостей в честь этой весенней ночи. «Это место и гавань вашей первой здешней высадки, — сказал он, — разумеется, следует освятить. И вы должны чокнуться. Клянусь небом! С его *голубого* свода сегодня свисает больше доступных нам драгоценностей, чем с любого *зеленого* и *заплесневелого*». — Они взяли три стакана, чокнулись, и произнесли (причем, как мне кажется, многие из них — приглушенным от волнения голосом): «Да здравствует дружба! Да процветут все рощи и сады, где она возникла и возростала, — и да продлится она и после того, как увянет и облетит их листва». Натали невольно отвратила взоры. Генрих положил руку на агатовый набалдашник своей трости — но лишь потому, что на него уже раньше легла рука его друга, еще державшего трость, и лишь для того, чтобы весьма сердечно и свирепо пожать эту руку и сказать: «Давай-ка трость, сегодня у тебя в руках не должно быть никаких *туч*». Дело в том, что на агате игра природы создала пятна, похожие на облачные гряды. Эта стыдливая маскировка горячих проявлений дружбы повергла бы в восторженное умиление любое сердце, даже не столь мягкое, как у Натали. «Разве вы не останетесь с нами?» — спросила она слабым голосом, когда он хотел уйти. «Я поднимусь наверх, в гостиницу, — сказал он, — и если я там разыщу флейту или валторну, то выйду и стану музицировать над долиной и приветствовать весну».

Когда он скрылся, то Фирмиану показалось, будто удаляется его собственная юность. Вдруг он увидел высоко в лазурном небе, над хмельным хороводом майских жуков и развеянными ночными бабочками и стремительными их преследователями, нетопырями, широкую, подобную разорванному облачку, стаю перелетных птиц, возвращавшихся к нашей весне. И вот все воспоминания о кушнапельской комнате, об его «Вечернем листке» и о том часе, когда, во время такого же возвращения более ранних перелетных птиц, он закончил свой дневник, думая, что вскоре закончится и самая жизнь, — эти воспоминания, со всеми их слезами, хлынули в его

раскрытое сердце и заставили его снова поверить в скорую смерть, — и этой мыслью он захотел поделиться со своей подругой. Необъятная ночь лежала пред ними на земле, словно труп; но от дуновений, прилетавших с востока, ее призрачное тело содрогалось под озаренными ветвями, — и перед рассветом она поднимется в виде всепоглощающего тумана, в виде всеобъемлющего облака, — и люди скажут: «Наступает день». В душе Фирмиана возникли две мысли, окутанные флером, подобные страшным привидениям, и вступили в борьбу между собою; одна говорила: «Он умрет от удара, а потому все равно ее больше не увидит», — а другая говорила: «Он притворится мертвым и тогда больше не посмеет ее увидеть». Подавленный прошлым и настоящим, он взял Натали за руку и сказал: «Простите мне сегодня величайшую взволнованность — я никогда больше не увижу вас. Вы были лучшей из женщин, встретившихся мне, но нам больше не суждено встречаться. — Вам вскоре предстоит услышать, что я умер или каким бы то ни было образом исчез; но мое сердце все же сохранится для вас, для тебя. . . О, как бы я хотел уже оставить за собою настоящее, с его горными цепями из надгробных насыпей, — увидеть пред собою будущее со всеми его отверстыми могилами, чтобы уже сегодня очутиться у могильной ямы, и, еще раз взглянув на тебя, осчастливленным низвергнуться».

Натали ничего не ответила. Ее шаги вдруг замедлились, ее рука дрогнула, ее дыхание мучительно прерывалось; она остановилась и сказала дрожащим голосом, с побледневшим лицом: «Останьтесь здесь — дайте мне лишь на минуту присесть одной там, на дерновой скамье. — Ах, я так тороплива во всем». — Он увидел, что она, трепеща, уходит.словно подавленная тяжким бременем, она опустилась на освещенную дерновую скамью и устремила свои ослепленные взоры к луне, от яркого света которой голубое небо казалось черным, а земля — летучей, словно дым; ее руки оцепенело лежали на коленях; рот вздрагивал с выражением боли, похожим на улыбку, и в глазах не было ни единой слезы. Но перед ее другом жизнь простиралась теперь, словно страна хаотических теней, вся изрытая глубокими подземными хо-

дами, объятая туманами, подобными горным духам, и лишь с одним-единственным, но таким узким, таким далеким, мерцающим отверстием, ведущим вверх, к небу, на вольный воздух, к весне, к светлому дню. Его подруга покоилась там, в белом, хрустальном сиянии, словно ангел на могиле младенца. . . Но от звуков музыки Генриха, внезапно донесшихся сверху и подобных колокольному звону, отражающему грозу, их души, до сих пор оглушаемые грозою, очнулись, и увлеченное сердце растаяло в горячих потоках мелодии. . . И вот Натали кивнула головой, как бы подтверждая принятое решение; она встала и, словно преображенная, вышла из-под цветущей сени зеленого грота и раскрыла объятия и пошла навстречу Фирмиану. Одна слеза за другою стекала по ее алеющему лицу; но сердце ее еще не имело слов, — изнемогая от огромного мира, возникающего в ее душе, она не могла итти. — Фирмиан бросился ей навстречу, — она залилась еще более горячими слезами и отстранила его от себя, пытаясь что-то сказать, — но едва она произнесла: «Мой первый и последний друг, в первый и последний раз», — ее дыхание прервалось, она умолкла и, подавленная скорбью, упала в его объятия, прильнула к его устам, к его груди. «Нет, нет, — пролепетала она, — о боже, дай мне лишь силу сказать. — Фирмиан, мой Фирмиан, возьми, возьми мое счастье, все мои земные радости, все, что у меня есть. Но никогда, ради бога, никогда в жизни не встречайся больше со мной; и в этом, — сказала она тихо, — ты должен мне сейчас поклясться!» — Она откинула голову назад, и долетавшие звуки носились между ними, словно заговорили сами скорби; и она вперила в него взоры, и вид бледного, сокрушенного лица ее друга растерзал ее израненное сердце, и с помутившимися глазами она повторила: «Ах, поклянись!» — Он пролепетал: «О благородная, прекрасная душа, да, я клянусь тебе, я больше тебя не увижу». — Немая и оцепеневшая, как от прикосновения смерти, она с поникшей головой прильнула к его груди, и он повторил, словно умирая: «Я больше тебя не увижу». — Тогда она, подобная светлomu ангелу, подняла к нему усталое лицо и сказала: «Уже все прошло! — Прими лишь предсмертный поцелуй и больше ничего не говори мне». — Он принял его,

и она тихо скользнула прочь; но отвернувшись, еще протянула ему назад зеленую ветку розы с мягкими шипами и сказала: «Помни нынешний день». — Решительный походкой, хотя и дрожа, она удалилась и вскоре исчезла в пересеченных редкими лучами темнозеленых аллеях, не обернувшись более ни разу.

Конец этой ночи сможет и без моих слов нарисовать себе каждая душа, которая любила.





---

**ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА**



## ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Роза фон Мейерн. — Отзвуки и отголоски прекраснейшей ночи. —  
Письма Натали и Фирмиана. — Застольные речи Лейбгебера.*

Если бы в теплую, влажную, звездную весеннюю ночь снять широкий земляной навес над головами шахтеров соляной копи и таким путем внезапно извлечь их из мерцающего свечами тесного погребца в темный просторный дортуар природы и из подземной тишины — к весенним ветеркам и ароматам и шорохам, — эти люди испытали бы совершенно то же самое, что и Фирмиан, душу которого, до сих пор остававшуюся замкнутой, тихой и светлой, минувшая ночь внезапно и насильственно разверзла и затемнила новыми скорбями, исполненными отрады, и целым новым миром. Об этой ночи Генрих хранил весьма красноречивое молчание, тогда как Фирмиан, напротив, выдавал себя усиленными и безмолвными попытками вступить в беседу. Как бы он ни складывал свои крылья, которые вчера, еще влажные, впервые распростерлись вне кокона, они все же оставались длиннее надкрылий. Наконец, Лейбгеберу сделалось тяжело и душно; уже вчера они молчали, идя в Байрейт и в постель, и он утомился, пересчитывая все полутени и оттенки, которые требовалось нанести, чтобы можно было сделать хоть несколько смелых, широких мазков на картине ночи.

В высшей степени прискормно, что коклюш — или страдания молодого Вертера — или возраст двадцати одного года или шестидесяти одного — или приступы ипохон-

дрии — или медовые месяцы — или охота подшутить — бывают не в одно и то же время у всех нас: в качестве хористов одного и того же ансамбля радости или скорби, или кашля, мы так легко обнаруживали бы в чужом состоянии наше собственное и терпеливо прощали бы ближнему все, в чем он подобен нам. Между тем, теперь, когда один, правда, кашляет даже и сегодня, но зато другой — лишь завтра, — если не считать совместного и компанейского кашля после молитвенного пения в швейцарских церквах, — когда один сгибает колени на уроках танцев в то время, как другой сгибает их же на молитвенном собрании, — когда дочку одного отца держат над купелью, а сынка другого, в ту же самую минуту, на гробовых канатах над короткой могилой; теперь, когда судьба в дополнение к основному тону нашего сердца берет в окружающих нас сердцах чуждые тона или же чрезмерные сексты, большие септимы, малые секунды; теперь, при этом всеобщем отсутствии унисона и гармонии, не приходится ожидать ничего, кроме визгливого кошачьего концерта, и не приходится мечтать ни о чем, кроме некоторого арпеджирования, так как нечего и думать о мелодии.

В качестве рукоятки речи или в качестве коромысла насоса, чтобы выкачать из сердца Фирмиана две-три капли, Лейбгебер схватил его руку и обнял ее, горячо и нежно, всеми своими пальцами. Он задавал безразличные вопросы о сегодняшних увеселительных прогулках и поездках; но он не предвидел, что рукопожатие усугубит его замешательство; ибо теперь он (действуя, как должно) был вынужден управлять движениями не только языка, но и руки, и не мог ни с того, ни с сего спровадить чужую, но должен был отпустить ее в постепенном *diminuendo* пожатия. Такая внимательность к чувствам вызвала у него краску стыда и бешенство; и мое описание сего он наверняка бросил бы в огонь; по моим сведениям, он, даже говоря с женщинами — хотя у них *сердце* (а именно — само это слово) всегда на языке, словно поднимающийся из глотки *globus hystericus*, — не в состоянии был произнести это слово: «Оно им служит, — говорил он, — литейным литником для излия-

ний и пулеизвлекателем из собственных сердец; оно является пуговкой на рапирах их вееров, а для меня оно — отравленная и зажигательная пуля, достойная самого Ваала Вавилонского».

Внезапно его рука высвободилась из-под приятного личного ареста; он взял шляпу и трость и выпалил: «Я вижу, ты так же глуп, как я: *instante*, *instantius*, *instantissime*, одним словом: сказал ты ей про вдовью кассу? Отвечай лишь «да» или «нет»! Я немедленно уйду». — Зибенкэз еще быстрее выложил все вести, чтобы навек избавиться от каждой: «Она, конечно, вступит туда. Я ей ничего не сказал и не могу. Ты же можешь с легкостью сказать ей об этом. И ты должен. Я больше не пойду в «Фантазию». А днем, Генрих, мы с тобой хорошенько повеселимся, — пусть наша жизненная игра будет сыграна звонко: ведь на наших арфах еще сохранились все повышающие педали для мажорного тона, так нажмем же их». Генрих снова обрел хладнокровие и сказал, уходя: «Человек — это кремонская лютия, струны которой скручены из живых кишек, и грудь служит лишь резонансной декой, а голова — совершеннейшая сурдина».

Одиночество простиралось вокруг нашего героя подобно прекрасному ландшафту; все затерянные, загнанные эхо могли долетать до него, и на сотканном из полусуток флере, который натягивался перед прекраснейшей исторической картиной его жизни, он мог, трепеща, обводить рисунок мелом и тысячи раз копировать. — Но посещение прелестной «Фантазии», расцветавшей все роскошнее, он вынужден был запретить себе, чтобы не преградить Натали живой изгородью доступ в эту долину цветов. За свои радости он теперь должен был расплачиваться лишениями. Красоты города и его окрестностей сохранили свою яркую оболочку и утратили свою сладостную сердцевину; Фирмиану все казалось похожим на десертную вазу, стеклянное доньшко которой в прежнее время посыпали пестрым сахарным песком, тогда как теперь оно грунтуется лишь цветным настоящим песком, более пригодным для присыпания чернил, чем для жевания. Все надежды Фирмиана, все цветы и плоды его жизни, подобно нашим наиболее возвышенным, росли и

созревали теперь, как подземный душистый горошек<sup>1</sup> — под землей (я разумею притворную могилу, куда он собирался отправиться). Как мало он имел, и как много! Его ноги стояли на засохшем колючем шиповнике, его взор видел вокруг Элизиума его грядущих дней тернистый кустарник, щетинистые заросли и вал, состоявший из могильной насыпи; вся его Лейпцигская долина роз превратилась в одну-единственную ветку розы, которая, не успев расцвести, была пересажена с груди Натали на его собственную. — И все же, как много он имел! От Натали — незабудки всей своей жизни: подаренные шелковые были лишь оболочкой для вечно-цветущих; — душевную весну, наконец наставшую для него после стольких весен, ибо теперь ему впервые выпала на долю такая женская любовь, которую до сих пор грезы и поэты рисовали ему лишь на примере других людей. Из чулана со старым бумажным хламом документов и книг вдруг шагнуть в зеленеющий, цветущий пасторальный мир любви и не только изведать такую любовь, но и унести с собою такой прощальный поцелуй, словно солнце, согревающее всю остальную жизнь, — это было блаженством для прежнего крестоносца. К тому же, он мог всецело отдаться на волю этого райского потока и позволить его чудесным волнам нести и увлекать себя, ибо не мог желать даже встреч с Натали, а не только обладания ею. В Ленетте он прежде любил отнюдь не Натали, а теперь любил в Натали отнюдь не Ленетту. Его супружеская любовь была прозаическим душным летним днем жатвенной поры, а нынешняя — поэтической внешней ночью с цветами и звездами, и его новый мир был подобен названию места его сотворения — «Фантазии». Он не скрывал от себя того, что в Натали, — поскольку он решил умереть для нее, — он любит лишь усопшую, как усопший; вернее, как еще живущий любит умершую, которая для него уже стала светлым ангелом, — и он смело спросил себя: «Разве эту Натали, удалившуюся в прошлое, я не имею права любить так же сильно и пылко, как всякую иную, улетевшую в еще более отдаленное

<sup>1</sup> Хотя душистый горошек имеет над землей часть цветов и плодов, но большинство их (впрочем, они — белые) находится под землей. Линней, Трактат об обитаемой земле.

прошлое, будь то Элоиза Абеляра или Сент-Прё, или Лаура поэта, или Лотта Вертера, хотя я и умру за нее не столь всерьез, как умер Вертер?»

Своему другу Лейбгеберу он, несмотря на все усилия, смог сказать лишь следующее: «Я вижу, она сильно тебя любит, эта редкая душа; ведь только моему сходству с тобою я могу приписать ее небесную доброту ко мне, хотя я столь мало гармонирую с ней своим обликом и никогда не имел успеха у женщин». — Лейбгебер и непосредственно затем он сам улыбнулись этой слишком уж простодушной тираде; но в мае своей любви какой влюбленный не бывает смиренным и кротким, словно настоящий агненок?

Лейбгебер вскоре вернулся в гостиницу с известием, что видел, как в «Фантазию» проехала англичанка. Фирмиан был очень обрадован этим; теперь ему легче было запретить себе доступ во все владения своих бывших радостей. Ведь она была дочерью Вадуцкого графа, а потому не должна была теперь увидеть адвоката, которого ей предстояло принять за Лейбгебера. Зато Генрих, под предлогом собирания ботанической коллекции, в течение целого дня ежечасно взбирался на цветущий откос «Фантазии», чтобы своими ботаническими искателями (то есть своими глазами) выискивать и выпрашивать не столько цветы, сколько богиню цветов. Но нечего было и думать о каком бы то ни было богоявлении. Ах, истерзанную Натали столь многие причины заставляли держаться вдали от руин лучших часов ее жизни и избегать поросшего цветами пожарища, где с ней мог бы встретиться тот, кого она не желала больше видеть!

Через несколько дней рентмейстер Роза фон Мейерн почтил своим обществом то, которое собралось за столом гостиницы «Солнца». . . Если хронологические выкладки автора не совсем ошибочны, то он сам тогда кушал за тем же столом; но я лишь смутно припоминаю обоих адвокатов и совершенно не припоминаю рентмейстера, так как подобные шпигованные зайцы слишком уж приевшаяся дичь, и ее всюду можно получать целыми заповедниками и питомниками. Мне уже неоднократно случалось наталкиваться на живых людей, с которых я затем снимал точный слепок, от макушки до самой подо-

швы, и повсюду возил напоказ в моем биографическом кабинете восковых фигур; но мне хотелось бы всегда знать заранее, — это несколько способствовало бы расцвету моей биографической промышленности, — с кого именно из моих сотрапезников или попутчиков мне предстоит писать портрет. Я бы смог тогда собрать тысячи мельчайших подробностей о каждой такой личности и сохранить в моем архиве; теперь же я иногда вынужден (чего и не отрицаю) просто измышлять второстепенные подробности, — например, происходило ли что-либо в шесть или семь часов, — если не располагаю никакими документами и свидетельскими показаниями. Поэтому в моральном отношении достоверно, что если бы в то же самое утро вместе со мною уселись еще и три других автора, чтобы на основании тех же вспомогательных исторических источников подарить миру «Супружество Зибенкэза», то все мы четверо, при всей нашей любви к истине, составили бы семейные хроники, столь же отличающиеся одна от другой, как те, которые мы в действительности имеем от четырех евангелистов, так что лишь евангельским миром и согласием можно было бы, словно камертоном, восстановить гармонию в нашем тетрахорде.

Выше уже было сказано, что Мейерн кушал под солнцем и в «Солнце». Адвокату для бедных он сказал торжествующим тоном, с некоторым оттенком угрозы, что завтра отбывает обратно в имперский город. Вообще он чванился больше, чем когда бы то ни было; вероятно, он обещал руку и сердце пятидесяти байрейтианкам, словно был сторуким великаном Бриареем с пятьюдесятью сердцами. Он был падок на девиц, словно кошки на *Marum verum*, вследствие чего владельцы названных цветов и трав обычно ограждают их проволочными сетками. Когда подобных браконьеров, всюду осуществляющих охотничью регалию и охотничий сервитут, духовные особы заживо приковывают толстыми обручальными кольцами к дичи, и та с ними мчится напролом сквозь чашу, пока они не истекут кровью, то человеколюбивые еженедельники уверяют нас, будто кара была слишком жестокой; — впрочем, она действительно является таковой для ни в чем неповинной... дичи.

На следующий день Роза действительно прислал спросить адвоката, нет ли у него каких-либо поручений к своей жене, так как он, Роза, отправляется к ней.

Натали оставалась невидимой. Из всего, относящегося к ней, Фирмиану удалось увидеть лишь адресованное к ней письмо; оно было вытряхнуто из почтовой сумки в то время, как он задавал свой каждодневный вопрос, нет ли писем от его жены. Чтобы сочинить послание, Ленетте, пожалуй, требовалось столько же часов, сколько лет понадобилось Исократу для сочинения его «Панегирика» афинянам, а именно — ровно десять. Судя по печати и почерку, письмо к Натали прибыло от фон Блэза, этого не столько отца страны, сколько отчима ее. «О бедная девушка! — подумал Фирмиан: — как медленно будет он водить по всем ранам твоей души обжигающим пучком лучей, собранным в зажигательном стекле его ледяного сердца! Сколько тайных, никем не сосчитанных слез будешь ты проливать; и уж ни одна рука не осушит и не прикроет их, кроме твоей собственной!»

В ясный день он один пошел в единственный незапертый для него парк, в «Эрмитаж». Все пробуждало в нем воспоминания, но лишь печально-отрадные; всюду здесь он утратил или отдал сердце и жизнь, и в этой пустыни, соответственно ее названию, он позволил превратить себя в пустытника. Мог ли он забыть то просторное тенистое место, где он возле коленопреклоненного друга и перед заходящим солнцем поклялся умереть и обещал разлучиться со своей супругой и окружением?

Он покинул парк, обратившись лицом к заходящему солнцу, которое своими почти отвесными огнями преграждало кругозор, и теперь издали огибал город, уклоняясь все дальше на запад, до самой дороги, ведущей в «Фантазию». С взволнованным сердцем он глядел вслед тихо горящему светилу, которое, словно рассыпаясь раскаленными углями облаков, казалось ниспадающим в те дали, где осиротевшая Ленетта, с лицом, озаренным лучами заката, стояла в безмолвной комнате. «Ах, милая, милая Ленетта, — воскликнуло в нем нечто, — почему не могу я теперь, в этом Эдеме, привлечь тебя к этому переполненному, нежному сердцу и задушить в блаженных объятиях, — ах, здесь я скорее простил бы тебя и лучше лю-

бил бы!» — Ведь это ты, благая природа, полная бесконечной любви, превращаешь разлуку наших тел в сближение душ; когда мы, находясь вдали, переживаем искреннюю радость, это ты воссоздаешь перед нами милые образы тех, кого нам пришлось покинуть, и заставляешь нас простирать руки к облакам, летящим из-за гор, за которыми живут наши дорогие! Так разлученное сердце раскрывается навстречу дальнему сердцу, подобно тому как цветы, привыкшие раскрываться под солнцем, развертывают свой венчик и в те дни, когда оно от них скрыто тучами. — Блеск погас, и лишь кровавый след низвергнутого солнца оставался в лазури; земля с ее садами как бы возвысилась, — и Фирмиан вдруг увидел, что вблизи от него колышется и шелестит зелень Темпейской долины «Фантазии», залитой облачными румянами и цветочными белилами; но перед ней стоял ангел небесный, держа, словно меч, сверкающую полосу облаков, и говорил: «Не входи сюда; разве ты не узнаешь покинутого тобою рая?»

Фирмиан пошел обратно и в светлом весеннем сумраке прислонился к оштукатуренной стене первого попавшего байрейтского дома, чтобы исцелить язвы своих глаз и не явиться к своему другу с такими признаками, которые, может быть, пришлось бы еще объяснять. Но Лейбгебера не было; вместо него было нечто неожиданное, а именно записка к нему от Натали. Вы, которые чувствуете или сожалеете, что души всегда и вечно отделены одна от другой Моисеевым покрывалом, алтарными перилами, тюремной решеткой из плоти и земли, вы не осудите нашего бедного, взволнованного, одинокого друга за то, что он, никем не видимый, прижал холодный листок к горячим устам, к трепетному сердцу. Поистине, для души всякое тело, даже человеческое, это лишь реликвия незримого духа; и разве письмо, которое ты лобзаешь, и написавшая его рука — подобно устам, поцелуй которых дает тебе иллюзию близкого соединения — не являются лишь видимыми знаками, освященными высшим или дорогим существом, и разве эти иллюзии не различаются лишь их сладостью.

Лейбгебер пришел, вскрыл письмо, прочитал его вслух:

«Завтра в пять часов я расстаюсь с вашим прекрасным городом. Я отправляюсь в Шраплау. О дорогой друг, я не смогла бы покинуть эту прелестную долину, не обратившись еще раз к вам, чтобы заверить вас в своей бесконечной дружбе, поблагодарить за вашу и пожелать ее себе и на будущее. Мне хотелось бы менее холодно проститься с вами; но затянувшееся расставание с моей британской подругой еще не кончилось, и мне приходится теперь бороться с ее желаниями, как перед этим с моими собственными, чтобы укрыться или, вернее, скрыться в моем мещанском одиночестве. Прекрасная весна ранила меня счастьем и скорбью; но мое сердце, словно Кранмерово, — если уместно столь чуждое сравнение, — уцелело, одинокое, в пепле костра, для моих любимых. — А вы будьте счастливы, счастливы! Более, чем суждено когда-либо мне, женщине. Судьба не может много отнять у вас и даже много дать вам; на всех водопадах для вас сияют смеющиеся вечные радуги; но дождевые тучи женского сердца лишь поздно и лишь после долгого дождя слез расцветают печальным весельем радуги, освещаемой воспоминаниями. — Ваш друг наверно еще с вами? — Горячо прижмите его к своему сердцу и скажите ему: все, что ему желает и дает ваше сердце, желает ему и мое; и никогда не будет мною забыт ни он, ни тот, кого он любит. Вечно

ваша *Натали*».

Во время чтения Фирмиан обратил к вечернему небу орошенное слезами лицо и прильнул им к окну. Генрих с дружеской деликатностью предвосхитил его ответ и сказал, глядя на него: «Да, эта Натали действительно хороша и в тысячу раз лучше, чем тысяча других; но пусть меня колесует ее собственная повозка, если я завтра в четыре часа не дождусь ее и не усядусь рядом с нею; право, я должен прожужжать ей уши, или же мои длиннее, чем у слона, который ими отгоняет мух». — «Сделай это, милый Генрих, — сказал Фирмиан самым веселым голосом, какой только можно было извлечь из сдавленного горла, — я дам тебе с собою две-три строки, чтобы хоть что-нибудь прислать, ибо мне уж никогда больше нельзя ее увидеть». — Существует лирическое опьянение

сердца, в котором не следовало бы писать письма, потому что лет через пятьдесят на них могут наткнуться люди, никогда не ощущавшие в себе ни сердца, ни опьянения. Однако Фирмиан все же написал и не запечатал, а Лейбгебер не прочел:

«Я говорю вам: будь счастлива и ты! Но я не могу сказать: не забывай меня! О, забудь меня! Оставь мне лишь незабудки, что я от тебя получил. — Небесное блаженство миновало, но смерть еще предстоит. Моя уже близка, и лишь поэтому я, а еще более мой Лейбгебер, обращаемся к вам с просьбой, но такой странной: Натали, не откажи ему. Твоя душа высоко парит над женскими душами, которых пугает и устрашает все необычное; ты можешь рискнуть; ты никогда не рискуешь утратить твое великое сердце и счастье. — Итак, в тот вечер я в последний раз говорил, а сегодня в последний раз пишу. Но для меня и для тебя остается вечность!

Ф. 3.».

Всю ночь он не спал, а лишь грезил, так как хотел послужить будильником для Лейбгебера. Но в три часа утра тот уже стоял, в качестве письмоносца и референдаря, под гигантской липой, подвесные койки которой, со спящим в них мирком, свешивались над аллеей, где должна была проехать Натали. Фирмиан в своей постели подражал выжидательной роли Генриха и все говорил себе: «Теперь она прощается с британкой, — теперь садится в коляску, — теперь проезжает мимо дерева, и он ухватился за поводья». Фантазируя, он погрузился в сновидения, терзавшие его своей мучительной путаницей и повторными отказами, якобы последовавшими в ответ на его просьбу. Как много пасмурных дней часто рождается (в физической и нравственной метеорологии) от одной единственной светлой, звездной ночи! — Наконец, ему приснилось, что, подъезжая к коляске, она, с заплаканными глазами, протянула ему руку с зеленой веткой розы со своей груди и тихо сказала: «Я все же говорю «Нет!» Разве я долго проживу, если ты умрешь?» — Она пожала его руку так сильно, что он проснулся; но пожатие продол-

жалось, и перед ним сиял ясный день, и друг, с ясным лицом, говорил: «Она согласилась; но крепко же ты спал».

Он чуть-чуть не упустил ее (так рассказывал он). Со своим одеванием и отъездом она покончила быстрее, чем другие с их раздеванием и приездом. Окропленная росой ветка розы, с листьями, более колючими, чем шипы, покоилась на сердце Натали; ее глаза покраснели от долгого прощания. Лейбгегера она встретила радостно и ласково, хотя вместе с тем испугалась и насторожилась. Сначала, в качестве полномочия, он вручил ей открытое письмо Фирмиана. Ее пламенный взор еще раз зажегся сквозь две крупных капли, и она спросила: «Но что же я должна делать?» — «Ничего, — сказал Лейбгегер, искусно придерживаясь полусутового, полусерьезного тона, — вы должны лишь примириться с тем, что, когда он умрет, прусская касса ежегодно будет вам напоминать об его смерти, словно вы — его вдова». — «Нет» — сказала она протяжно, однако таким тоном, за которым скрывалась лишь *запятая*, а не *точка*. Он повторил просьбы и доводы и добавил: «Сделайте это, по крайней мере, ради меня: я не в силах видеть, когда не сбывается его надежда или желание; он и без того — ученый медведь, которого вожак, государство, заставляет плясать и зимой, не допуская до зимней спячки; — тогда как я редко вынимаю лапы из пасти и постоянно сосу. Он бодрствовал всю ночь, чтобы разбудить меня, и теперь считает дома каждую минуту». — Она еще раз перечитала письмо от слова до слова. Он не настаивал на окончательном решении и вместо того сплетал нить другой беседы из утра, путешествия и Шраплау. Утро уже воздвигло за Байрейтом свои огненные столпы, а город к ним добавлял все больше облачных столпов из своих труб; через несколько минут Генриху пора было бы вылезти из коляски. «Прощайте, — сказал он нежнейшим тоном, опустив одну ногу на подножку коляски, — да уподобится ваша дальнейшая жизнь этому дню, и да будет она все более светлой. — А теперь, какое последнее слово должен я передать от вас моему *милому, дорожному, любимому Фирмиану?*» — (Позже я сделаю по этому поводу одно замечание.) Она опустила дорожную вуаль, словно занавес над доигранной драмой, и сказала,

закрывшись и задыхаясь: «Если так должно, то я должна. Да свершится и это. Но вы меня наделили на дорогу еще одной большой скорбью». — Однако тут он соскочил, и коляска покатила, увозя многократно обедневшую через обломки ее разбитой жизни.

Если бы вместо вымученного «да» он услышал «нет», то снова догнал бы ее за городом и снова уселся бы в коляску в качестве безбилетного пассажира.

Выше я обещал сделать одно замечание; оно заключается в том, что у девушки дружба или любовь к юноше явно возрастает от той дружбы, которую она усматривает между ним и его друзьями, и таковую ее чувство превращает, по примеру полипов, в свою составную часть. Поэтому Лейбгебер инстинктивно проявил свою дружбу теплее, чем всегда. Напротив, нам, влюбленным, лишь в весьма редких случаях ниспосылается в качестве электрической обкладки или магнитной арматуры для нашей любви замечаемая нами дружба между возлюбленной и ее подругой (сколь сильно ни возросла бы наша страсть от такого открытия); обычно мы лишь видим, что наша возлюбленная ради нас становится бесчувственной ко всем другим людям и угощает их только мороженым и холодными блюдами, чтобы сварить нам тем более пламенный напиток. Но способ, при котором сердце, — чтобы сделать его, как вино, более игристым, крепким и кипучим, — замораживают вблизи от точки кипения, может нравиться ослепленной, себялюбивой душе, а не светлой и гуманной. По крайней мере, автор настоящей книги признается, что если он в зеркале или в воде видел Янусову голову, одно лицо которой глядело на него с нежной любовью, тогда как другое искажалось гримасой ненависти, обращенной к целому миру, — то он, автор, признаться, сам тут же строил одну-две таких злобных гримасы Янусовой голове. — В виду такого отображения девушка не должна бы клеветать, браниться, ненавидеть, по крайней мере пока она любит; когда же она станет матерью семейства, будет иметь детей и коров и служанок, то, разумеется, ни один справедливый человек нисколько не осудит ее за умеренный гнев и скромную ругань.

Натали согласилась на то странное предложение по многим причинам: именно потому, что оно было странным, — далее, потому, что для ее мечтательного сердца имя «вдова» соткало траурную ленту, которая продолжала связывать ее с Фирмианом, прелестно и причудливо обвивая картину ночной разлуки и клятвы, — потому, что сегодня она восходила от одного чувства к другому и уже ощутила головокружение от непомерной высоты, — потому, что она была безгранично бескорыстна, а следовательно, мало заботилась о возможности показаться своекорыстной, — и, наконец, потому, что вообще она, пожалуй, меньше заботилась о видимости и вызываемых ею суждениях, чем это позволительно девушке.

Достигнув всех своих целей, Лейбгебер излучал лишь радостный, долгий зодиакальный свет; Зибенкэз не стал его омрачать черной тенью траура по своей ночной красавице и ограничился лишь полутенью. Но теперь он был не в состоянии посещать обе байрейтских увеселительных местности, «Эрмитаж» и «Фантазию», ибо для него они превратились в Геркуланум и Портичи. Кроме того через последний он все равно должен был пройти при своем отбытии, и ему предстояло откопать там многое погребенное. Этого он не хотел откладывать, не только потому, что зашла луна, которая со своих небес озаряла все белые весенние цветы новым серебристым сиянием, но и потому, что Лейбгебер постоянно был его *memento mori* — черепом, который без языка и уст внятно повторял: помни, что надо умереть — в Кушнапшеле — притворно. Сердце Лейбгебера пылало жадной простора, и огни его лесного пожара стремились необузданно мчаться и сверкать на горах, на островах и в столицах; архивное водохранилище в Вадуце — эта судебная палата с бумажным парадным ложем юстиции — *lit de justice* — превратилась бы для него в душную больничную палату с одром мучительной болезни, на котором страдальца, одержимого водобоязнью, в старину люди сами, наконец, душили из сострадания. Разумеется, для жителей маленького городка Лейбгебер был бы столь же несносен, как они для него; ибо они еще менее были способны его понять, чем он — их. Ведь даже в сравнительно большом Байрейте, за общим столом «Солнца»,

его застольную речь (в двенадцатой главе) о столь тяжело для монарха воспроизведении наследных принцев многие судейские чиновники (я это слышал от них лично) приняли за форменную сатиру на одного благополучно здравствующего маркграфа, хотя во всех своих сатирах Генрих всегда метил не в кого иного, как во все человечество сразу. Конечно, разве не вел он себя крайне легкомысленно при всем народе, на рыночной площади, в те несчастные восемь дней, что он провел в нашем Фойтландском Гофе? Разве не подтверждают мне заслуживающие доверия вариски — так, согласно некоторым источникам, именовались во времена Цезаря древние фойтландцы (хотя другие источники называют их нарисками) — что он, наряженный в свое лучшее платье, закупал возле ратуши бергамоты, а на хлебном рынке — печенье к ним? И разве нарисканки не подглядели и не готовы поклясться, что означенные жертвенные яства — хотя повсеместно рекомендуются стойловая кормежка — он уплетал под открытым небом, словно был монархом, и на ходу, словно был римской армией. Имеются вальсировавшие с ним свидетели тому, что балы-маскарады он посещал в шлафроке и пуховой ермолке, причем и то и другое он целый день носил всерьез, прежде чем остаться в них на вечер шутки ради. Один неглупый и весьма памятный нариск, не знавший, что Лейбгебер уже подвластен моему перу историка, оглашал во всеуслышание следующие его дерзкие речи:

«Каждый человек — прирожденный педант».

«В адских оковах лишь немногие обретаются после смерти, а почти все до нее; поэтому в большинстве государств лишь профосы и палачи считаются свободными от общих законов».

«Глупость, как таковая, серьезна; поэтому наименьшую глупость мы учиняем, пока шутим».

«Подобно тому, как отцы церкви признавали бесплотным творческий дух, парящий над водами в Моисеевом пятикнижии, так я признаю бесплодным дух, парящий над чернилами коллегий».

«На мой взгляд достопочтенные конклавы, конференции, делегации, сессии, процессии в сущности не совсем лишены аттической соли, если смотреть на них как на

серьезные пародии чопорной, пустой серьезности, тем более, что в большинстве случаев лишь один во всей компании (или даже его супруга) по-настоящему реферирует, вотирует, апробирует, администрирует, тогда как сам мистический *сoprus* посажен за зеленый присутственный стол скорее для мистификации; так и к музыкальным часам снаружи привинчен флейтист, пальцы которого перебирают короткую, торчащую изо рта флейту, так что дети приходят в восторг от талантов деревянного Кванца; между тем все часовщики знают, что внутри вращается вделанный валик и своими штифтами наигрывает на скрытых флейтах».

Я ответил: «В таких речах явно сказывается дерзкий и, быть может, насмешливый нрав». Здесь я имею возможность (и всякому желал бы того же) предложить нарискам, чтобы они, если могут, уличили меня хоть в одном поступке или слове, сатирическом или отклоняющемся от шаблонов и эталонов какого-либо *raus coutumier*; если я лгу, то пусть меня без стеснения опровергнут.

На следующий день одно письмо оказалось лопаточкой для бросания игральных костей, выбросившей адвоката для бедных из Байрейта; оно было от Вадуцского графа, который дружески выражал сожаление по поводу лихорадки и желтого цвета лица Лейбгекера и вместе с тем просил о скорейшем восшествии на инспекторский престол. Этот листок превратился для Зибенкэза в летательную перепонку, при помощи которой он помчался к своей притворной могиле, чтобы оттуда, словно из кокона, вылететь в качестве свежее-вылупившегося инспектора. В следующей главе он повернет вспять и покинет прекрасный город. Но в этой он еще берет у Лейбгекера, роль которого к нему переходит по наследству, частные уроки по вырезанию силуэтов. Мастер кройки и ментор по части ножиц не совершил при этом ничего такого, что стоило бы довести до сведения потомства, за исключением одного деяния; о нем я не нахожу ни слова в моих материалах, но я лично о нем слышал из уст г-на Фельдмана, владельца гостиницы, который тогда как раз присутствовал за столом и разрезал жаркое. Все дело было в том, что один незнакомец, стоявший перед общим столом, вырезал из черной бумаги многих из застольной ком-

пани и в том числе и силуэтного импровизатора Лейбгера. Последний заметил это и, со своей стороны, под рукой и под скатертью вырезал сверхштатного копииста физиономий, — и когда тот подал один резной портрет, этот протянул ему другой, говоря: «Al pari, платеж той же монетой!» Впрочем, путешественник был знатоком не только силуэтной резьбы, но и различных видов воздуха, причем наиболее преуспевал в том флогистическом, который без труда выдувал из собственных легких: в нем он, подобно растениям, расцвел и приобрел яркую окраску, надувая публику дутыми лекциями о других, неудобоваримых флогистических видах воздуха. — Когда продувной флогистический бездельник унес ноги и свой сдельный заработок закройщика и отправился поучать другие города с переносной кафедры своего тела, Генрих сказал лишь следующее:

«Путешествовать и одновременно поучать должны были бы тысячи людей: всякий, кто посвятит этому делу хотя бы три дня, непременно успеет в течение их прочесть, в качестве экстраординарного преподавателя, курс лекций обо всех материях, в которых он мало что понимает. Пока что я уже вижу, что вокруг всех нас постоянно вращаются блуждающие светила, которые налету просвещают нас насчет электричества, видов воздуха, магнетизма и вообще естествознания; но это еще не все: пусть я подавлюсь этим утиным крылышком, если подобные объездчики кафедр и плохо вышколенные бродячие школяры не могли бы читать лекций, и притом не без пользы, обо всех научных вопросах, в особенности по мельчайшим отраслям. Разве не мог бы один, читая, пропутешествовать через первое столетие по Р. Х., — или через первое тысячелетие до Р. Х., ибо оно не длиннее — то есть изложить таковое дамам и господам в нескольких лекциях, тогда как второй сделал бы то же самое со вторым веком, третий — с третьим, и восемнадцатый — с нашим? По-моему, такие трансцендентные походные аптечки для души вполне мыслимы. Что касается меня лично, то я, разумеется, не ограничился бы этим; я объявил бы себя перипатетическим приват-доцентом по самым узким специальностям — например, при курфюршеских дворах я избрал бы предметом преподавания избирательные ка-

питуляции, при старокняжеских — лишь княжеский союз; повсеместно — экзегетику первого стиха первой книги Моисея Пятикнижия, — морского змея — сатану, который, может быть, наполовину тоже является таковым, — серии гравюр Гогарта в сопоставлении с несколькими ван-дейковскими головами и с гравюрами голов на золотых монетах, — истинное различие между гиппоцентаврами и оноцентаврами, коим превосходно поясняется различие между гениями и немецкими критиками,<sup>1</sup> — первый параграф у Вольфа или же у Пюттера, — погребальный кутеж, которым народ приветствовал погребальный кортеж Людовика Великого или, вернее, преувеличенного (XIV), — университетские вольности, которые университетский профессор может себе позволить сверх гонорара и из коих наибольшая часто заключается в закрытии аудитории, — вообще все на свете. И вот мне кажется, что таким путем — если высшие circulating schools<sup>2</sup> сделаются не менее общедоступными, чем сельские школы, — если ученые (по крайней мере, это уже начали осуществлять) будут в качестве живых ткацких челноков сновать между городами и всюду прицеплять нить Ариадны или хотя нить беседы и стараться из нее соткать что-нибудь; таким путем — если каждое солнце профессуры, согласно Птолемеевой системе, само будет разносить свой свет вокруг темных планетных шаров, посаженных на шею, — что, очевидно, не имело бы ничего общего с Коперниковой, при которой солнце неподвижно стоит на кафедре, среди примчавшихся бродячих сателлитов или студентов, — таким путем, пожалуй, можно было бы прийти к выводу, что мир, наконец, превратится в нечто стоящее или, по крайней мере, в ученый мир. — Философам достался бы лишь философский камень, то есть деньги, а глупцам — сами философы; процвели бы всевозможные науки и, что еще важнее, реставраторы наук, — даже пахать и фехтовать пришлось бы лишь на почве классицизма, то есть классически, — каждый виселичный

<sup>1</sup> Поскольку им приписывается сходство с оноцентаврами, вероятно, имеется в виду всадник Валаам, который должен был дать неблагоприятный критический отзыв, но не смог этого сделать.

<sup>2</sup> Так называются в Англии учителя, которые преподают, странствуя из одного селения в другое,

холм стал бы Пиндом, каждое ночное и княжеское седалище превратилось бы в Дельфийское, — и пусть бы тогда попробовали показать мне во всех немецких землях хоть одного осла. — Вот что воспоследует, если в научные и поучающие путешествия отправится весь народ, за исключением, конечно, той части народа, которая обязательно должна сидеть дома, поскольку необходимо, чтобы кто-нибудь слушал и отсчитывал деньги, подобно тому как на военных смотрах обозреть и отсчитывать войска часто поручают адъютанту».

Внезапно он вскочил и сказал: «Дай бог, чтобы я, наконец, посетил Брюкенау.<sup>1</sup> Там на ваннах я восседал бы, словно на кафедре или на треножке Аполлона. Негоциантка, советница, дворянка или ее дочка будет лежать, словно моллюск, в закрытом бассейне и мощехранилище и высунет, как из всякого иного своего одеяния, лишь голову, которую мне предстоит просветить. — Какие победоносные проповеди буду я, в качестве Антония Падуанского, читать этой нежной форели или сирене, хотя она скорее является крепостью с наполненным водою рвом. Я буду сидеть на деревянной кобуре ее жгучих прелестей — хранимых под водой, словно фосфор — и поучать! — Но разве может все это сравниться с той пользой, которую я мог бы сотворить, если бы сам себя впахнул в такую коробку и футляр и, сидя там в воде, пустил бы себя в ход, словно водяной орган, и в качестве водяного божества испробовал присущие мне по должности скромные дарования на школьной скамье моей ванны; хотя назидательные жесты мне пришлось бы делать под

---

<sup>1</sup> На стр. 163 справочника для посетителей курортов и купаний (1794) значится, что перед дамами, пока они заперты в ваннах, сидят на крышках последних молодые люди и развлекают разговором своих подводных собеседниц. Против этого, конечно, ничего не сможет возразить наш разум — ибо дерево ванны не менее плотно, чем шелк, и так как во всех случаях дама должна быть заключена в оболочку, внутри которой она не имеет оболочки, — а будет выражать лишь чувство или воображение и притом по той же самой причине, по которой перина, толщиной в три четверти локтя, считается менее приличным и плотным одеянием, чем газовое бальное платье. Поскольку не пощадили невинность воображения, уже не приходится щадить никакой иной; а чувственность не может быть ни невинной, ни видовой.

водой, так как я высунул бы из ножен лишь голову с купальной шляпой, словно головку эфеса шпаги, однако я взрастил бы из-под теплой воды моего ушата прекрасную доктрину, точно пышные рисовые колосья или водоросли на философском подводном сооружении, и всех дам, окружающих мою квакерскую и Диогенову бочку, я отпустил бы окропленными премудростью. — Клянусь небом! Надо бы мне поспешить в Брюкенау — не столько для пользования ваннами, сколько для приватного преподавания».

## ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Отбытие. — Радости путешествия. — Прибытие.*

Фирмиан распрошлся. Из гостиницы, служившей для него рейнским Моп-герос или среднемаркрийским Sans-souci, он неохотно отправился менять нарядную комнату на пустую. Ему, который прежде не знал никаких удобств — подобных мягкой подкладке, смягчающей удары судьбы — и не имел никакого слуги, кроме служки, было необыкновенно приятно, что наверх, на свою комнатную сцену, он своим режиссерским колокольчиком так легко мог вызванивать первого актера, кельнера Иоганна, из-за кулис нижнего этажа; к тому же, актер являлся, неся в руках тарелку и бутылку, но не для собственного угощения, а лишь для режиссера и публики. Еще находясь под воротами гостиницы «Солнца», Фирмиан мимоходом воздал ее владельцу, г-ну Фельдману, устную хвалу, — которую тот немедленно получит от меня тисненой в качестве второй парадной вывески, как только она выйдет из печати, — в следующих выражениях: «У вас постоялец не нуждается ни в чем, кроме самого главного, а именно времени. Желаю вашему «Солнцу» достигнуть созвездия Рака и пребывать в нем». Многие байрейтцы, присутствовавшие при этом и слышавшие похвалу, приняли ее за жалкий пасквиль.

Генрих проводил Фирмиана на протяжении около тридцати шагов, за реформатскую церковь, вплоть до

кладбища, а затем легче, чем обычно, — ибо надеялся снова увидеть его через несколько недель, на смертном одре, — вырвался из его объятий. Он решил не провожать своего друга в «Фантазию», чтобы тот мог в полной тишине отдаться волшебным отзвукам ангельской гармонии минувшего блаженного вечера, которые ему сегодня будет слать весь парк.

Оставшись один, Фирмиан с благоговейным трепетом вступил в долину, словно в храм. Каждый куст казался ему озаренным и преображенным, каждый ручей — текущим прямо из Аркадии, и вся долина — Темпейской, перенесенной сюда мановением магического жезла. И когда он подошел к тому священному месту, где Натали просила его «Помни нынешний день», то ему представилось, что солнце излучает божественный свет, что в жужжании пчел слышатся замирающие голоса духов, и что он должен повергнуться здесь на землю и припасть сердцем к ее зеленому покрову, окропленному росой. Он снова шел по дороге, где проходил тогда с Натали; почва вибрировала под его ногами, словно настраивающий камертон; одна струна за другой, то в шпалерах роз, то в роднике, то на балконе, то в беседке, откликались отголосками былых настроений. Его упоенная душа переполнилась до боли; его глаза застлало влажное, прозрачное, непроходящее мерцание, которое слилось в крупную каплю; лишь блеск лучезарного утра и белизна цветов еще проникали с земли в полные слез глаза и сквозь цветочный флер мечтаний, в лилейном аромате которых поникла одурманенная и усыпленная душа. — Казалось, что, наслаждаясь близостью своего Лейбгебера, он лишь наполовину ощущал свою любовь к Натали; столь мощно и нежно, словно эфирным пламенем, овеяла его в этом одиночестве любовь. Целый юный мир расцвел в его душе.

Внезапно в нее, словно оклик, ворвался звон байрейтских колоколов, ознаменовавший ему час разлуки; и его объяла та тревога, какую мы ощущаем, если после расставания слишком долго остаемся вблизи от покинутого града веселья. Он выступил в путь.

Каким ароматом и сиянием украсились все горы и доли, с тех пор как он стал думать о Натали и о незабвенном поцелуе! Зеленеющий мир, на пути сюда казавшийся

ему лишь картиной, теперь обрел доступную его слуху речь. Целый день он нес в самом темном тайнике своей души световой магнит радости, и когда, в разгаре отвлекающих впечатлений и разговоров, вдруг заглядывал внутрь себя, то находил, что ощущает все то же блаженство.

Как часто оглядывался он на байрейтские горы, за которыми впервые пережил дни юности! Там, позади его, Натали удалялась навстречу утру, и утренние ветерки, порхавшие вдали вокруг одинокой, прилетали сюда, и он упивался зефирным воздухом, словно дыханием любимой.

Горы поглотила даль, его рай утонул в небесной лазури, — запад Фирмиана и восток Натали удвоили число своих крыльев, чтобы подальше умчаться друг от друга.

Нарядные равнины, одна за другой, дефилировали мимо него и оставались позади.

Словно мимо лет юности, спешил он, в чередовании созерцания и наслаждения, мимо весны, разметавшейся под своим цветочным покровом.

В долину реки Якст, где на пути в Байрейт он плакал, оглянувшись на свою жизнь, лишенную любви, он в этот вечер пришел с иным сердцем: оно было полно любви и счастья и — снова плакало.

Здесь, — где он тогда под умиротворяющими волшебными светочами вечернего неба вопрошал себя: «Любила ли тебя хоть одна женская душа такой любовью, которая столь часто отображалась в твоих прежних грезах?», и где он дал себе печальный ответ, — здесь он мог подумать о байрейтском вечере и сказать себе: «Да, Натали меня любила». Теперь снова восстала прежняя скорбь, но просветленная смертью. Он поклялся ей, что в этой жизни будет незримым для нее, — теперь он шествовал навстречу своему умиранию и вечной разлуке, — она как бы опередила его в смерти, и лишь унесла с собою в долгие мрачные годы своей жизни скорбь двукратной любви и утраты. «А я плачу здесь и созерцаю свою жизнь!» — сказал он устало и закрыл глаза, не осушая их.

Наутро в нем возник другой мир, но не лучший, а самый старый. Поистине казалось, что концентричные

магические круги Натали и Лейбгебера распространялись и простирались не дальше маленькой долины томления у реки Якст: ибо теперь каждый шаг на пути к родине перелагал поэзию его минувших дней в рифмованную прозу. Холодный пояс его жизни, Кушнаппель, был уже ближе к нему, тогда как жаркий — где еще лепетали, словно посылая прощальный привет, увядшие лепестки эфемерных цветов радости — остался далеко позади.

Но, с другой стороны, картины его домашней жизни все придвигались и светлели и становились Библией с картинками, тогда как изображения его счастливого мая удалялись в темную картинную галерею.

Я это отчасти приписываю дождливой погоде.

К концу недели изменяется не только наряд исповедника и богомольца, но и погода: и небу и людям тогда свойственно менять рубахи и платья. День был сумрачный и облачный. В сырую погоду, когда разверзаются хляби небесные, оболочки нашего мозга, а также и нашей комнаты, ее бумажные обои, впитывают влагу и становятся расхлябанными, пока сухая погода не расправит и те и другие. Под лазурным небом я мечтаю об орлиных крыльях, а под пасмурным — лишь о гусяном пере для писания; там хочется выбраться на простор целого мира, а здесь — забраться в уют дедовского кресла; короче говоря, восемь туч, в особенности когда из них каплет, вызывают в человеке стремление к уюту, филистерство и голод, а ясное небо — жажду и космополитизм.

Эти тучи крепкой решеткой отгородили байрейтский эдем; при каждой крупной капле, стремительно ударявшей в листву, Фирмиан тосковал по сердцу супруги — которым он еще владел, хотя и должен был скоро его утратить — и по своей тесной комнате. Наконец, когда льдины крутых туч растаяли, превратившись в мутную пену, и когда заходящее солнце, словно втулка, было извлечено из этого висячего водоема, так что оттуда закапало, — показался Кушнаппель. Диссонансы, противоречивые чувства затрепетали в Фирмиане. Обывательское местечко, по контрасту с более свободными людьми, показалось ему настолько сморщенным, настолько пропитанным канце-

лярщиной и кухонной латынью, — настолько наполненным троглодитами, что он мог бы среди бела дня вытащить свою зеленую решетчатую кровать на рынок и спать на ней под всеми знатными окнами, не заботясь о пребывающем за ними большом и малом совете. Чем ближе он подходил к театру своего будущего умирания, тем тяжелее казалась ему эта первая и предпоследняя роль; ведь на чужбине люди смеются, а дома робеют. Кроме того его изнурял дым и чад, который сам по себе настолько угнетает нас, что мало кому удается поднять над ним голову и подышать свежим воздухом. Дело в том, что проклятая тяга к покою и уюту прочно засела в человеке; его, как большого пса, можно до бесконечности колоть и дразнить, ибо он предпочитает не утруждать себя вскакиванием, а лишь ворчит. Разумеется, когда он уже на ногах, то не так скоро уляжется, — первый героический поступок, как (по словам Руссо) первый заработанный талер, ценнее, чем тысяча последующих. Нашего Зибенкэза, улегшегося на тюфяк домашнего уюта, хотя и под каплею с туч, колола перспектива долгой, трудной и опасной финансовой и хирургической операции театрального умирания.

Но чем ближе он подходил к холму эшафота, этой мышинной башне его прежней тесной жизни, тем резче и быстрее чередовались в его смятенной душе тягостные ощущения прежней толчеи с предчувствиями грядущего избавления. Он все думал, что ему придется попрежнему изнемогать от забот и скорбей — ибо забывал о разверстых небесах своего будущего; так после тяжелого сна мы все еще тревожимся, хотя он уже миновал.

Когда же он увидел жилище своей Ленетты, столь давно умолкнувшей для него, то из его глаз и сердца исчезло все, и в них не осталось ничего, кроме любви и самой горячей ее слезы. Его душе, которую до сих пор каждая мысль до предела заряжала искрами любви, теперь нужны были узы брака в качестве разрядной цепи!

«О, ведь я вскоре оторвусь от нее навеки и обманом заставлю ее проливать слезы и нанесу ей тяжелую рану трауром и погребением. — И мы больше никогда, никогда не увидимся, бедная ты моя!» — подумал он.

Он побежал быстрее. Запрокинув голову и глядя на верхние окна, он проскользнул вплотную мимо ставней своего соначальника Мербицера. Последний был дома и колот дрова для субботней стряпни; и Фирмиан жестом предупредил его, чтобы этот часовой не выдал его своим окриком; бывший побочный царь немедленно прожестикуюлировал в ответ вытянутыми пальцами, что Ленетта находится наверху одна в комнате. Старый, привычный домашний хор, сварливый визг переплетчицы, богомольная и богохульная сурдина пылкого Фехта ниспадали навстречу Фирмиану, словно сладкий корм, пока он крался наверх по лестнице. Находившийся на ущербе месяц его оловянной подвижности засиял навстречу ему из кухни роскошным серебристым блеском; все это вышло начищенным из бани обновления; медная сковорода для жарения рыбы, — не отравлявшая уксус до тех пор, пока ее не починили, — горела перед ним в дыму растапливаемого кухонного очага, словно солнце в сухом тумане. Он тихо открыл дверь комнаты; в ней он никого не увидел, но услышал, что Ленетта в спальне занимается уборкой постели. Ощущая в груди целую молотобойню, он тихим, крупным шагом вступил в нарядную комнату, которая уже была облечена в воскресную рубашку из белого песка и которую водяная богиня и наяда, теперь занятая уборкой постели, превратила игрой всех своих водометов в изящную игрушку. Ах, все здесь так мирно и дружно покоилось рядом, отдыхая от будничной толкотни! Над всем возшло созвездие Водолея, только чернильница Фирмиана оставалась высохшей.

Его письменный стол оккупировали две большие головы, которые, будучи манекенными, уже нарядились в воскресные головные уборы, дабы те завтра переключались с них, как с неких женских опекунов (*curatores sexus*) на головы различных советниц.

Он шире распахнул приоткрытую дверь спальни и после столь долгой разлуки увидел свою возлюбленную супругу, стоящую к нему спиной. Тут же ему показалось, что он слышит на лестнице тяжелую поступь подступающего Штиблета, и, чтобы первую минуту свидания провести в объятиях жены без постороннего свидетеля, он дважды сказал нежным голосом: «Ленетта». Она стремительно

обернулась, воскликнула: «Ах, господи, это ты?» — Он уже бросился к ней в объятия и прильнул к ее щеке и сказал: «Добрый вечер, добрый вечер, ну, что ты поде- лываешь? Как тебе жилось?» Его собственными устами за- глушались слова, которые он желал услышать, — вдруг она порывистым движением вырвалась из его объятий, — и его поспешно охватили другие, и чей-то бас произнес: «А вот и мы, — добро пожаловать, господин адвокат для бедных. Возблагодарим господина». — Это был советник.

Мы, люди, всегда одержимы лихорадкой, измучены своими и чужими недостатками, — вечное взаимное влече- ние снова и снова сводит нас, и наши надежды на чу- жую любовь вьнут одна за другой, а желания становятся лишь воспоминаниями! Но наше усталое сердце все же бывает светлым и праведным и любвеобильным в часы свиданий после разлуки и в часы неутешного расстава- ния, подобно тому как все созвездия при восходе и за- ходе кажутся более кроткими, величавыми и прекрасными, чем в зените. Однако, тому, кто постоянно любит и никогда не злобствует, эти двое сумерек, когда светит утренняя звезда прибытия и вечерняя звезда прощания, слишком сильно омрачают душу; ему они кажутся двумя мучитель- ными ночами, пережить которые нелегко.

## СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Мотылек Роза в роли древоотца. — Терновые венцы и чертополохи ревности.*

Предшествующая глава была краткой, как наши иллюзии. Ах, она и была иллюзией, бедный мой Фир- миан! — После первого взволнованного взаимного кате- хизирования и после получения и представления отчетов он все более убеждался в том, что незримая церковь Ле- нетты, где Штиблет присутствовал в качестве горнего жениха, явно превращалась в зримую. Казалось, что зем- летрясение минувших радостей разодрало надвое завесу святая-святых, где голова Штибеля порхала в виде хе- рувима. Но, по правде сказать, я здесь сказал ложь; ибо

Ленетта явно старалась выказать особенную приязнь к советнику, который, осчастливленный этим, порхал из Аркадии в Отаити, оттуда в Эльдorado, а из него — в Валгаллу: верный признак того, что в отсутствие Фирмиана он был *менее* счастлив. Советник рассказал, что «Роза рассорился с тайным, и что рентмейстер, которого последний думал использовать как безобидного барана, обернулся против него, словно грозный таран; причиной этого, как говорят, была байрейтская племянница и невеста, которую рентмейстер оставил с носом, потому что застал ее целующейся с одним байрейтским господином». — Фирмиан багрово покраснел и сказал: «Ах, он, таракан несчастный! Жалкий вертопрах не ее оставил, а сам остался с носом. Господин советник, будьте рыцарем бедной девушки и разите эту уродливую ложь всюду, где встретите, — от кого вы слышали эту дрянную сплетню?» — Штибель хладнокровно показал на Ленетту: «Вот от вас». — Фирмиан содрогнулся: «Откуда же ты это взяла?» — Она ответила, причем пылающий румянец ее щек разлился по всему лицу: «Господин фон Мейерн изволил быть здесь и самолично рассказать это». Советник вмешался: «Но я был вызван сюда и ловко спроводил его». — Штибель домогался улучшенной версии этой истории. Фирмиан робко и срывающимся голосом сказал похвальное слово своей фее роз, — тройне заслужившей это прозвание розами своих ланит, своей победоносной добродетелью, достойной венка из роз, и дарением зеленой ветки розы, — но присудил ей, считаясь с Ленеттой, лишь второй приз, а не золотую медаль. Он вынужден был привязать вероломного рентмейстера к жертвенному алтарю, словно барана, заменяющего Натали, или, по крайней мере, припрячь к ее триумфальной колеснице в качестве вьючной клячи и откровенно рассказать, что Лейбгебер расстроил обручение и, обрисовав фон Мейерна в сатирических эскизах, как бы удержал Натали за рукав, когда она хотела сделать первый шаг в логовище Минотавра. «Но ведь это от тебя, — сказала Ленетта, но не вопросительным тоном, — господин Лейбгебер все узнал?» — «Да!» сказал он. — Люди умеют влагать в односложные слова, особенно в «да» и «нет», больше разных интонаций, чем их имеется у китайцев;

в настоящем случае «да» было отрывистое, беззвучное, холодное, ибо оно должно было заменить собою: «Ну?» Она прервала окольный вопрос советника, выпалив напрямик меткий вопрос: когда сам Фирмиан побывал у Натали. Последний, наконец, разглядел в свою полевую подзорную трубу, что в сердце жены происходят всевозможные приготовления к бою; он весело переменял фронт и сказал: «Господин советник, когда вы посещали Ленетту?» — «Не менее трех раз в неделю, и часто еще чаще, всегда около этого времени дня» — сказал тот. «Я не намереваюсь больше ревновать, — сказал Фирмиан с дружелюбной шутливостью, — но посмотрите-ка, моя Ленетта ревнует оттого, что я с Лейбгебером дважды, один раз днем и один раз вечером, был у Натали и прогуливался в «Фантазии»; ну, что скажешь, Ленетта?» — Она надула вишневые губки, а ее глаза, казалось, превратились в Вольтовы электрические конденсаторы.

Штибель ушел, и когда он спускался по лестнице, Ленетта, на лице которой горело два огня — пламя гнева и другое, более прекрасное — бросила ему вслед своим взором такую искру любви, от которой мог бы вспыхнуть целый пороховой погреб ревнивца. Едва супруги вернулись наверх, как Фирмиан спросил ее, чтобы польстить ей: «Проклятый рентмейстер снова мучил тебя?» — Тут ее фейерверк, заготовленные фигуры которого уже давно стояли на виду, зашипел и стал с треском взрываться: «Конечно, ты его терпеть не можешь, твою прекрасную ученую Натали ты ревнуешь к нему. Или ты думаешь, я не знаю, что ты с ней целую ночь расхаживал по лесу и что вы ласкались и целовались! Красиво, нечего сказать! — Фу! Этого я не ожидала. Понятно, что доброму господину фон Мейерн пришлось покинуть прелестную Натали со всей ее ученостью. Ну, попробуй оправдаться!»

Фирмиан кротко ответил: «То невинное обстоятельство, которое касается меня, я рассказал бы заодно с прочими в присутствии советника, если бы не догадался обо всем, глядя на тебя, — разве я сержусь на то, что во время моего путешествия он целовал тебя?» Это разожгло ее еще больше, во-первых, потому, что Фирмиан не мог же этого знать наверное, — так как угадал-то он правильно, — во-вторых, потому, что она подумала: «Теперь ты охотно

прощаешь, потому что любишь другую больше, чем меня». Но ведь по той же самой причине, — так как и она любила другого больше, чем мужа, — и она должна была бы простить. Вместо того, чтобы ответить на его прежний вопрос, она, как водится, сама задала еще один: «Разве я кому-нибудь подарила искусственные незабудки, как некая некоему? Слава богу, мои выкупленные еще у меня в комодке». Тут в нем одно сердце вступило в борьбу с другим: его кроткое было глубоко потрясено нечаянным связыванием столь непохожих незабудок; но его мужественное было сильно разгневано ее ненавистным оборонительным и наступательным союзом с тем, кто спасенную Аквиланой простодушную девочку, как теперь выяснилось, послал в «Фантазию» в качестве троянской деревянной лошадки, чтобы прикрыть ею себя и свои коварные замыслы. Теперь, когда Зибенкэз гневным голосом превратил свой суд королевской скамьи в скамью подсудимых для рентмейстера, обозвал его листогрызом женских сердец, ястребом среди голубок, святотатцем святынь брака и душегубом для любящих душ, — и когда он с величайшим пылом клятвенно утверждал, что не Роза отказался от такой, как Натали, но что она отказалась от такого, как Роза, — и когда он, разумеется, категорически запретил своей жене заниматься распространением лживого рентмейстеровского полуромана, — то бедную жену он превратил с головы до ног в жесткую, едкую эрфуртскую редьку... Не будем слишком долгим и осуждающим взором созерцать эту нервную горячку и гнойную лихорадку бедной Ленетты! Что касается меня лично, то я ее оставлю в покое, ибо предпочитаю напасть сразу на весь женский род. Надеюсь, что я этого достигну, если заявлю, что женщины гравируют наиболее едкими составами, — так что мрачные черные краски Свифта против них не более, как водяные краски, — когда желают изобразить телесные недостатки других женщин; далее, что даже прекраснейшее лицо растрескивается, набухает и заостряется в уродливое, когда вместо печали о перебежчике выражает негодование на сманившую его вербовщицу. Строго говоря, каждая женщина ревнует ко всему женскому роду, ибо если и не ее муж, то другие мужчины волочатся за таковым и тем самым

изменяют ей. — А потому каждая произносит против этих вице-королев земного шара ту же клятву, которую Ганнибал произнес против римлян, этих королей земного шара, и так же хорошо сдержал. Поэтому каждая обладает способностью, которую Фордайс приписывает всем органическим телам, а именно вызывать холод в других; и, действительно, каждая невольно испытывает неприязнь к роду, сплошь состоящему из соперниц. Поэтому многие, например, монахини всех женских монастырей и гернгутерки, называют себя сестрами или «сестрами по духу», очевидно для того, чтобы — поскольку именно сестры больше всего ссорятся — этим наименованием отчасти выразить свое настроение. Поэтому в *parties quarrées de Madame Bouillon* на трех мужчин приходится только одна дама. Это, может быть, и побудило господ Атаназиуса, Базилиуса, Скотуса<sup>1</sup> и прочих отцов церкви предположить, что женщины — за исключением лишь Марии — в день страшного суда воскреснут в виде мужчин, чтобы на небесах не возникло раздоров и зависти. Лишь однуединственную царицу многие тысячи особей ее пола почитают, питают и пестуют, а именно царицу пчел — рабочие пчелы, которые, согласно всем новейшим воззрениям, являются самками.

Эту главу я закончу замечанием, оправдывающим Ленетту. Злой демон Роза, чтобы воздать за равное равным или чем-нибудь еще худшим, высыпал целые кошницы плевел в открытое сердце Ленетты и сначала выгрузил перед ней комплименты и вести об ее муже, а под конец — хулу. Ленетте он внушал большое доверие уже тем, что очернил, покинул и предал — образованную девушку. Но ее злоба против виновного, Зибенкэза, должна была бесконечно возрасти уже из-за того, что вспышку ее она вынуждена была — отсрочить. Далее, в Натали она ненавидела — образованность, неимение которой столь сильно повредило ей самой; подобно большинству женщин, она полагала, что у Венеры (как это думают многие знатоки о медийской) голова не настоящая. Особенно ее возмущало, что Фирмиан больше наступался за незнакомку, чем за собственную жену, и даже в ущерб

---

<sup>1</sup> *Locor. Theol. a Gerard, t. VIII, стр. 1170.*

последней; и что такому богатому господину, каким был Мейерн, Натали из *высокомерия* натянула нос, а не протянула руку, — и что муж во всем сознался — так как его откровенность она, конечно, приняла лишь за деспотическое безразличие к ее неудовольствию.

Что же сделал Фирмиан? — Он простил. Два его побуждения к этому мною одобрены: Байрейт и могила, — первый столь долго разлучал его с Ленеттой, а вторая должна была разлучить навеки. Третьим побуждением могло быть вот какое: обвинительный пункт Ленетты о его любви к Натали был не то, чтобы уж совсем — несправедлив.

## ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Бабье лето супружества. — Приготовления к умиранию.*

Хотя было воскресенье и у супер-интендента очи смыкались не менее, чем у его слушателей (ибо он, подобно многим духовным особам, привык проповедывать с закрытыми — физическими — очами), однако, наш герой истребовал от супер-интендента свое свидетельство о рождении, так как оно было необходимо для бранденбургской вдовьей кассы.

Лейбгебер взял на себя устроить все остальное. Но доволно: я неохотно говорю об этом деле, с тех пор как «Имперский вестник» много лет тому назад, — когда зибенкэзовская кассовая задолженность уже была погашена до последнего гроша, — публично объявил мне, что последним томом «Зибенкэза» я будто бы создал угрозу для добрых нравов и вдовьих касс, а потому он, «Вестник», считает своим долгом задать мне, по своему обыновению, изрядную головомойку. Но разве я и адвокат — одно и то же лицо? Разве неизвестно всем и каждому, что я как с моим супружеством вообще, так и с прусской гражданской вдовьей кассой в частности, поступаю совершенно иначе, нежели адвокат, — что я *dato* не скончался ни притворно, ни всерьез, хотя я уже так много лет под ряд уплачиваю солидные взносы в означенную прусскую кассу? И разве я не намерен, — это я в праве утвер-

ждать, — еще весьма долго, хотя и в ущерб самому себе, ежегодно вносить причитающееся в эту кассу, так что она ко времени моей смерти извлечет из меня больше, чем из какого бы то ни было иного вкладчика? Таковы мои принципы; но и у адвоката для бедных, к чести его будь сказано, они мало отличаются от моих. В Байрейте он, со своим всегда правдивым сердцем, лишь уступил буре и натиску своего Лейбгебера, своего друга, ибо привык исполнять всякое его желание, и, тем более, свои собственные обещания. В тот вдохновенный миг Лейбгебер опьянил его своей дикой, космополитической душой, которая в его вечных, ничем не сдерживаемых странствиях, подобных переселению душ, слишком привыкла смотреть на жизнь как на карточную и сценическую игру, как на азартную и коммерческую игру, как на *opera buffa et seria* одновременно. И так как Фирмиану к тому же были известны презрение Лейбгебера к деньгам и его денежные средства, да и свои собственные тоже, то он согласился играть эту — в сущности неправомерную — роль, карающую мучительность которой он столь же мало предвидел, как и обличительную проповедь из Готы.

И все-таки ему еще повезло, что про возведение Натали в ранг соломенной вдовы проведала только газета Беккера, а не Ленетта. О небо! Если бы она, со своими искусственными «забудками» в руке («не» уже отсутствовало), узнала об адаптационном браке Фирмиана! — Эту женщину я не хочу предать суду, ни чужому, ни моему собственному. Но здесь я ко всем моим читательницам — в особенности к одной из них — обращаюсь с двумя необычайными письменными вопросами: «Возведенная в ранг верховного судьи, разве с высоты вашего судейского кресла вы не подали бы если не дубовый, то хоть цветочный венок или, по крайней мере, не прикололи бы бутоньерку на грудь моему герою за его благородное и участливое обхождение с этими двумя женщинами, которым он позволяет играть в четыре руки на его сердце *сонату с двумя темми?*»

Дражайшие читательницы, вы не могли бы судить прекраснее, чем вы сейчас судили, хотя я не столько пора-

жен, сколько доволен этим. С моим вторым вопросом к вам обратится не кто иной, как вы сами; пусть каждая читательница спросит себя: «Допустим, что эта четвертая книга попала к тебе в руки, но Ленеттой там являешься ты сама, и теперь тебе все известно до мельчайших подробностей; как бы тебе понравилось такое поведение твоего благоверного Зибенкэза, и что бы ты сочла нужным сделать?»

Я скажу, что: рыдать, бушевать,<sup>1</sup> ворчать, негодовать, молчать, порывать и т. д. Так страшно искажает эгоизм чистейшее нравственное чувство и подкупом добывается от него двояких судебных приговоров по одному и тому же судебному делу. Когда я затрудняюсь в оценке какого-нибудь характера или решения, то могу немедленно помочь себе, вообразив его еще влажным, только что вышедшим из-под типографского пресса, изображенным в романе или биографии, — если я и тогда признаю его хорошим, значит, он наверняка хорош.

Когда в любом древнем *сатире* и в Сократе обитали *грации*, это было похвальнее, чем если в *грации* торчит *сатир*; проживавший в Ленетте бодался направо и налево очень колючими рожками. Ее гнев, оставшийся без ответа, сделался насмешливым; ибо кротость Фирмиана составляла с его прежним ропотом и иовиадами подозрительный контраст, из коего жена заключала о полном оледенении его сердца. Прежде он желал, чтобы его, словно султана, обслуживали немые — до тех пор, пока его сатирический плод, его книга, не появится на свет при помощи перочинного ножа, служившего как ронгейзеновскими щипцами, так и хирургическим ножом для кесарева сечения; подобно тому как Захария оставался немым до тех пор, пока ребенок не перестал быть таковым и родился и завопил вместе со стариком. Прежде брак Зибенкэза часто походил на большинство браков, ибо в них супружеские пары подобны тем сросшимся спиною близнецам, которые друг друга вечно бранили, но никогда не видели, и всегда тянули в противоположные стороны, пока один

<sup>1</sup> Лилейная будет плакать, а румяная — бушевать, подобно тому как бледная луна предвещает дождь, а красноватая — бурю (*pal-lida luna pluit, rubiconda flat*).

не пересилил и не убежал вместе с другим.<sup>1</sup> Теперь же Фирмиан каждый раз безгневно позволял Ленетте провизжать все ее диссонансы. На все ее угловатости, на ее *orega superegotationis* в мытье, на неуместные излияния ее языка теперь падал мягкий свет; и чернота тени, которую отбрасывало ее сердце, созданное из темной земли, как и все людские сердца, почти совершенно терялась в небесной лазури, подобно тому как (по Мариотту) под лучами звезд тени голубеют, как небо над ними. И разве не простиралось над душой Фирмиана необъятное лазурное звездное небо, приняв форму смерти. — Каждое утро, каждый вечер он говорил себе: «Разумеется, я должен прощать; ведь нам так скоро предстоит разлука». Каждый повод для прощения смягчал горечь его добровольного расставания: охотно прощают те, кому предстоит странствие или кончина, а тем более те, кто предвидит и то и другое; так и в его груди целый день не остывал источник возвышенной горячей любви. Короткую темную аллею из плакучих ив, ведущую от его дома к его пустой могиле, — ах, для его любви она была наполненной! — он хотел пройти лишь под-руку с дорогими ему людьми и отдыхать по пути на каждой дерновой скамье, между своим другом и своей женой, с любовью держа их руки в своих. Смерть не только делает прекрасным наш мертвый лик (что отметил Лафатер): даже когда мы еще живы, мысль о ней придает лицу более красивые черты, а сердцу — новую силу, подобно тому как розмарин венком обвивает мертвых, а своей живой водой оживляет бесчувственных.

«По-моему, это ничуть не удивительно, — скажет здесь читатель, — в положении Фирмиана каждый и, по крайней мере, я лично размышлял бы так же». Но, милый мой, разве мы все не находимся уже в его положении? Разве близость или отдаленность нашей вечной разлуки составляет разницу? О, ведь если на этом свете мы стоим лишь в виде мнимо-прочных и выкрашенных в красный цвет изваяний возле наших подземелий и, по-

<sup>1</sup> Сросшиеся близнецы — в Коморнском комитете (Виндиш, География Венгрии). — Бухау сообщает о подобных же близнецах в Шотландии.

добно древним властителям в их склепах, рассыпаемся в прах, когда неведомая рука сотрясает истлевшие изваяния, — отчего же мы не говорим, как Фирмиан: «Разве я могу не прощать: ведь нам так недолго осталось быть вместе». Поэтому, если бы нам ежегодно приходилось вытерпеть четыре последовательных дня тяжелой, безнадежной болезни, они были бы для нас лучшими, чем обычные, днями покаяния, молитвы и поста; ибо на одре болезни, этом ледяном поясе жизни, смежном с кратером, мы взирали бы с высоты на увядающие увеселительные парки и рощицы жизни; ибо тогда наши жалкие ристалища казались бы нам более короткими, и только люди — более значительными; и мы тогда любили бы только их сердца, преувеличивая и ненавидя лишь наши собственные пороки, и с одра болезни мы сошли бы с более достойными помыслами, чем те, с коими мы возлегли на него. Ибо для тела, перенесшего болезнь, словно зиму, первый вешний день выздоровления становится днем расцвета прекрасной души; она словно выходит просветленной из холодной земной оболочки в сплошной эдем, она стремится прижать к слабой, тяжело дышащей груди все, людей и цветы, и весенние ветерки, и каждую грудь, сочувственно вздыхавшую в дни недуга; подобно другим воскресшим, она хочет любить все и в течение целой вечности, и все сердце становится теплой, влажной весной, полной бурлящих соков и расцветающей зелени под юным солнцем.

Как любил бы Фирмиан свою Ленетту, если бы она его не вынуждала прощать ее вместо того, чтобы ее ласкать. Ах, она бесконечно затруднила бы ему его искусственное умирание, будь она такою, как в медовые дни!

Но прежний рай теперь принес плоды в виде спелых райских зерен — так в старину называли отборные зерна перца. Ленетта развела огни в чистилище ревности и поджаривала там Фирмиана, чтобы приготовить его для будущих вадуцских небес. Ревницу невозможно исцелить ни делом, ни словом; она подобна литавре, которую труднее настроить, чем какой бы то ни было иной музыкальный инструмент, и которая расстраивается быстрее всех. Любящий, приветливый взор Фирмиана был для

Ленетты словно нарывным пластырем — ибо так же он прежде глядел на свою Натали; — если он имел радостный вид, то, несомненно, думал о прошлом; если же он строил печальную мину, это означало ту же самую мысль, но полную томления. Лицо Фирмиана стало как бы афишей или объявлением с приметами беглых преступников: таковыми были его тайные мысли. Короче говоря, супруг Ленетты постоянно служил ей настоящей скрипичной канифолью, которой она сообщала шероховатость конскому волосу, чтобы целые дни пиликать и пилить на своем нежном виоль-д'амуре. О Байрейте Фирмиан смел проронить лишь самое ограниченное количество слов и едва решался произнести самое его название; ибо она уже знала, о чем он думает. Он даже не мог сильно порицать Кушнапель, не вызывая подозрения, будто сравнивает его с Байрейтом и находит последний (по хорошо известным ей причинам) гораздо лучшим; поэтому он, — не знаю, было ли это всерьез, или только проявлением уступчивости, — говоря о превосходстве моего теперешнего местожительства над имперским местечком, касался лишь строений и не распространял свою хвалу на их обитателей.

С ревностью, понимающей все превратно, он несколько не считался при упоминании и восхвалении лишь одного предмета, а именно своего друга Лейбгебера; но как раз этот последний, под влиянием наговоров Розы и в силу своего пособничества в «Фантазии», стал для Ленетты еще более невыносимым, чем прежде, когда находился у нее в комнате, со своими дикими выходками и своим громадным псом. Кроме того она помнила, что и Штибель, когда бывал у нее, принужден был в высшей степени порицать недостаточную степенность Лейбгебера.

«Мой милый Генрих скоро явится сюда, Ленетта», — сказал Фирмиан. «А его гадкий пес — тоже?» — спросила она.

«Ты могла бы, — возразил он, — несколько больше любить моего друга, и отнюдь не за его сходство со мной, а за его дружескую верность; тогда ты не возражала бы против его собаки, как, вероятно, не возражала бы и против моей, если бы она у меня имелась. Ведь во

время своих вечных странствий ему необходимо преданное существо, которое ему сопутствовало бы в счастье и в несчастье, сквозь огонь и воду, как делает эта собака; и меня Генрих тоже считает за такого верного пса и с полным основанием любит за это. Впрочем, вся эта дружная артель не долго пробудет в Кушнаппеле» — добавил он, имея в виду многое. Однако, сколько он ни проявлял любви, выиграть ею свою тяжбу о любви он не мог. У меня здесь напрашивается предположение, что это было вполне естественно, и что Ленетта, до сих пор согреваемая близостью советника, избаловалась и изнежилась в такой температуре любви, по сравнению с которой супружеская любовь, конечно, казалась ей расколлаживающим сквозняком. Ненавидящая ревность поступает, как любящая: нуль, означающий ничто, и круг, означающий совершенство, изображаются *одним и тем же* знаком.

Адвокат, наконец, должен был притворным недугом подготовить и загрузить свое притворное небытие; но это произвольное забегание и нисхождение в могилу он обманым путем еще выдавал своей совести за простые попытки смягчить ожесточенную душу Ленетты. Так обманывающий и обманываемый человек всегда вышпает свою ложь, выдавая ее либо за меньшую, либо за благожелательную.

Греческие и римские законодатели измышляли сны и пророчества, в которых содержались их строительные проекты, а заодно и строительные материалы и даже дозволение строить; так, например, Алкивиад солгал насчет предсказания о покорении Сицилии. Фирмиан воспроизвел это в своем домашнем быту, соответственно видоизменив. Он часто говорил в присутствии Штибеля о том, — ибо советник проявлял чуткость ко всему чувствительному (а следовательно, это его свойство должно было сообщиться и ей), — что скоро навсегда удалится отсюда, — что скоро будет играть в прятки, причем его уже больше не разыщет ни один взор старого друга, — что уйдет и ускользнет за постельную ширму и занавеску савана. Он рассказал сон, который, может быть, даже и не сочинил: «Советник и Ленетта увидели в его

комнате косу,<sup>1</sup> которая двигалась сама собою. Наконец, пустое платье Фирмиана встало и принялось расхаживать по комнате. «Ему предстоит носить другое» — сказали оба. Вдруг внизу на улице промелькнуло кладбище со свежей могильной насыпью. Но некий голос воскликнул: «Не ищите его под ней, все прошло». Второй, более нежный, воззвал: «Отдохни, усталый!» Третий произнес: «Не плачь, если ты его любишь». Четвертый, ужасный, возопил: «Суета сует вся жизнь и смерть человеческая!» — Сначала заплакал Фирмиан, затем его друг и, наконец, вместе с последним, его сердитая подруга.

Но теперь он уже с величайшим нетерпением ожидал, чтобы рука Лейбгебера лучше и быстрее провела его чрез мрачное предместье и душное адское преддверие притворной смерти; сам он для этого был теперь слишком растроган и расслаблен.

Однажды, в прекрасный августовский вечер он это чувствовал больше, чем когда-либо; лицо его выражало ту радостную, просветленную покорность, бесслезную умиленность и улыбающуюся кротость, которые возникают, когда горе не столько устранено, сколько утомилось; так порою яркое отражение радуги падает на лазурное небо. Он решил сегодня нанести одинокий прощальный визит любимой местности.

Там, над светлым ландшафтом навис незримый для глаз Фирмиана, но зримый для его души прозрачный летучий туман, словно тот ускользящий аромат, который кисть Бергхема и Вувермана набрасывает, вместо покрывала, на все их ландшафты. Фирмиан обходил, осязал, озирали, как бы прощаясь, каждый упругий куст, к которому он прежде, читая, прислонялся, словно к спинке кресла; — каждый темный, бурлящий ручеек под чашей размытых корней; — каждую каменную глыбу, лежащую среди благоухающей зелени; — каждую лестницу из уступов холмов, на которой ему удавалось по несколько раз наблюдать один и тот же восход солнца; — и каждое место, где величие вселенной исторгало слезы восторга из его груди, преисполненной блаженством. Но среди

---

<sup>1</sup> Согласно поверью, будто меч палача начинает сам собою двигаться, когда ему предстоит умертвить кого-нибудь.

нив с высокорослым колосом, среди многократно повторенной истории творения, в кишасщем жизнью инкубаторе природы, в питомнике роскошного, необозримого сада, сквозь бравурные фанфары триумфального шествия природы протяжно прозвучал глухой, надтреснутый голос и спросил: «Чьи мертвые кости бродят по моему живому миру и оскверняют мои цветы?» Ему казалось, что из недр вечерней зари к нему доносится пение: «Блуждающий скелет, со струнным строем из нервов в костлявой руке, — не ты играешь собой; тобою играет дыхание далекой жизни, звучно овевая Эолову арфу». — Но мрачная иллюзия вскоре исчезла, — и он подумал: «Я и звучу и играю — меня мыслят, и сам я мыслю — зеленая растительная оболочка не поддерживает мою дриаду, мой spiritus rector (дух), а сама поддерживается им — жизнь тела так же зависит от духа, как он от нее. Жизнь и сила проникают всюду; могильная насыпь, истлевающее тело, это целый мир, полный действующих сил, — мы переходим с одних театральных подмостков на другие, но не покидаем их».

Когда он пришел домой, то застал следующую записку Лейбгера: «Я уже в пути, пора и тебе! Л.».

## ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Привидение. — Конец августовских гроз или последняя ссора. — Одежды сынов Израилевых.*

Однажды вечером, часов около одиннадцати, на чердаке раздался такой удар, словно туда обрушилось несколько центнеров каменных глыб. Ленетта пошла с Софией наверх, чтобы посмотреть, кто там, чорт или только кошка. Жены вернулись с белыми и длинными, как зима, лицами. — «Ах, господи, помилуй, — сказала чужая, — господин адвокат для бедных лежит там наверху, словно покойник, на складной кровати». Живой адвокат, сидя в своей комнате, выслушал их рассказ, но отказался ему поверить и заявил, что должен был бы тоже слышать треск. По такой глухоте все женщины теперь догадались, что все это предвещает нечто, а именно

его смерть. Сапожник Фехт, который сегодня, согласно порядку престолонаследия, воцарился в качестве ночного сторожа, захотел показать, велика ли его храбрость, и запасся лишь присвоенной сторожу пикой, — в ней и заключался весь его артиллерийский парк, — но незаметно засунул в карман еще и молитвенник в черном переплете, в качестве сонма ангелов-хранителей, на случай если там, наверху действительно лежит чорт. На пути туда он прочел немалую часть вечерней молитвы, чего в сущности сегодня нельзя было требовать от него, как от сторожевого архонта, так как его ежечасная песнь уже сама по себе является растянутой и распределяемой на улицах вечерней молитвой. Собираясь отважно двинуться к складной кровати, он, к сожалению, тоже увидел перед собою белое, как мука, лицо, а за кроватью — адского пса с горящими глазами, который казался свирепым стражем у гроба. Мгновенно остекляневший Фехт, словно надгробное изваяние из алебаstra, стоял, сварившись вкрутую в холодном поту, и выставил перед собою свое холодное и колющее оружие. Он предвидел, что если обернется, чтобы сбежать по лестнице, то Нечто облапит его сзади, оседлает и поскачет на нем вниз. К счастью, чей-то донесшийся снизу голос словно влил мужество в его душу и глоток, другой для храбрости в его глотку; и он нацелился своей рогатиной, намереваясь заколоть это Нечто или, по крайней мере, позондировать его своим зондом. Но когда оснеженное Нечто вдруг стало медленно возноситься перед ним — то он, как ему показалось, почувствовал у себя на голове плотную смоляную шапку, которую кто-то постепенно приподнимал вместе с заключенной в ней шевелюрой, — и свой багор он уже не смог удержать даже двумя руками (он его держал внизу за древко), ибо копье сделалось таким тяжелым, словно на нем повис старший подмастерье башмачника. Он положил оружие и, как вихрь, отважно слетел с верхней дискантовой октавы лестницы до самой нижней басовой клавиши или ступени. Внизу он поклялся домохозяину и всем жильцам, что свою должность ночного сторожа он будет исправлять без пик, ибо призрак заарестовал таковую; его даже дрожь пробирала, когда ему случалось подольше взглянуть в черты лица адво-

ката для бедных. Фирмиан оказался единственным, кто вызвался принести брошенную рапиру. Взойдя наверх, он нашел, как и ожидал, — своего друга Лейбгебера, который посредством старого растрепанного парика напудрил себе лицо, чтобы постепенно подготовить публику к искусственной смерти Зибенкэза. Они тихо обнялись, и Генрих сказал, что завтра придет по лестнице снизу и как полагается.

Внизу Фирмиан сообщил лишь, что наверху не видно ничего, кроме старого парика, — «а вот копые быстроногого копейщика, и здесь можно насчитать двух трусливых зайчих и одного зайца». Но все сборище теперь уже знало, как это понимать, — только сумасшедший был бы теперь способен дать хоть грош за жизнь Зибенкэза: духовидцы и духовидицы от души возблагодарили бога за испытанный ужас, как залог продления их собственной жизни. Ленетта всю ночь не решалась приподняться в решетчатой кровати, боясь, что увидит своего мужа — живым и здоровым.

Утром Генрих, со своей собакой, взошел по лестнице в запыленных сапогах. Фирмиану казалось, что шляпа и плечи его друга должны быть усеяны цветочными лепестками с деревьев байрейтского эдема, — тот был для него словно садовой статуей из утраченного сада. По той же самой причине эта пальмовая ветвь из Ост-Индских владений Фирмиана в Байрейте — не говоря уж о собаке — была сущей терновой ветвью для Ленетты; и сейчас она меньше, чем когда-либо, способна была находить удовольствие в таком чертогрызе и чертополохе — который был так хорош, словно только что вышедший изпод кисти Гамильтона.<sup>1</sup> Впрочем, — я это скажу напрямик, — он, вследствие искренней любви к своему Фирмиану, встретился с Ленеттой (которая была столько же виновата, сколько и права) немного неприветливо и неприязненно. Мы больше всего ненавидим женщину, когда она мучает нашего любимца, тогда как женщина больше всего озлобляется против мучителя ее любимцы.

---

<sup>1</sup> Гамильтон прославился нарисованными колючками, как Свифт колючками иного рода.

Сцена, которую мне сейчас предстоит изобразить, заставляет меня особенно сильно почувствовать, какая пропасть всегда будет отделять сочинителя романов, который может перескакивать через неприятные эпизоды и все подслащать себе и герою и читателям, от бесхитростного историографа, который вынужден все преподносить всецело и исключительно как историк, не думая ни о засахаривании, ни о засолке. И если в прежнем издании я совершенно утаил нижеследующую сцену, это было упущением, но простительным и неудивительным в те годы, когда я стремился прельщать, а не поучать, предпочитая творить красивые картины вместо правдивых изображений.

Дело в том, что Ленетта уже с давних времен порядком не долубливалась Лейбгегера, со всеми его свойствами, потому что он, не имевший ни титула, ни веса, публично обращался столь фамильярно и запросто с ее мужем, кушнапельским старожилом, адвокатом для бедных и ученым, и позволял себе, как и совращенный им ее супруг, расхаживать без косы, так что многие показывали на обоих пальцем и говорили: «Эй, взгляните на эту парочку!» или «*Par mobile fratrum!*» Эти речи и еще худшие Ленетта могла почерпнуть из достовернейших исторических источников. Конечно, для того, чтобы в наши дни прицепить себе косу, требуется почти столько же отваги, сколько нужно было тогда, чтобы отрезать ее. В наше время канонику не приходится украшать себя косой, чтобы тем самым стать украшением общества, а потому он и не обязан дважды в год терять ее, как павлиний хвост, чтобы честно заработать свою тысячу гульденов, явившись к вечерне в хор остриженным в кружок; теперь он в таком виде появляется и за пюпитром хора и за игорным столом. В тех немногих странах, где еще господствует коса, она скорее бывает служебным отвесом и государственным противовесом; и длинные волосы, которые еще для франкских королей были обязательны как знак их королевского достоинства (королевская регалия), представляют собою у солдат, — поскольку те их носят не свободными, как у королей, а туго связанными и скрученными лентой, — столь же выразительный символ служения. В старину фризы клялись, взявшись

за косу, что называлось «клятва чубом», — так теперь во многих странах предпосылкой солдатской или военной присяги является коса; и если у древних германцев уже одна коса, носимая на шесте, была эмблемой целой общины, то, разумеется, воинская часть, где каждый отдельный солдат имеет на затылке свою частную косу, образует как бы совместную косу, служащую эмблемой единства отечества и выражающую дух германской нации!

Ленетта теперь не скрывала от мужа, — ибо чувствовала за собою заочную поддержку Штибеля, — что в сущности ее мало радуют Лейбгебер и его деяния и одеяния. «Мой родитель, блаженной памяти, хотя и долго был магистратским копиистом, — сказала она в присутствии Лейбгебера, — но всегда одевался и поступал, как все прочие люди».

«В качестве копииста, — возразил Зибенкэз, — он, конечно, всегда вынужден был копировать, так или иначе, пером или костюмом; напротив, мой отец заряжал князьям ружья и в ус себе не дул, — будь, что будет. Огромная разница между нашими отцами, жена!» Она уже и прежде при случае сопоставляла и сравнивала копииста с егерем, слегка намекая, что Зибенкэз не имел такого благородного отца, как она, а следовательно, и благородной education, через которую приобретают хорошие манеры и вообще научаются вести себя. От ее смехотворного обыкновения глядеть свысока на его родословное древо он всегда испытывал такую досаду, что нередко смеялся сам над собой. Впрочем, Фирмиану этот небольшой косвенный выпад жены против Лейбгебера меньше бросился в глаза, чем необычайная физическая брезгливость, проявляемая ею к нему; ее невозможно было заставить подать ему руку, «а его поделуй, — говорила она, — означал бы мою смерть». Сколько он ни допытывался и ни допрашивал о причинах, он не добился от нее иного ответа, чем «Я это скажу, когда он удалится». Но, увы, к тому времени и сам он тоже удалится — в могилу, то есть в Вадуц.

Но и это необычайное упорство, достойное деревянной головы манекена, Фирмиан с грехом пополам еще терпел

в такое время, когда его душу одновременно согревала дружба и расхолаживала близкая могила.

Наконец, произошло еще нечто; и об этом, разумеется, никто не расскажет правдивее, чем я, а потому прошу мне верить. Однажды вечером, прежде чем Лейбгебер ушел в свою гостиницу (как я полагаю, в «Ящерицу»), зловещий черный полукруг грозовых туч безмолвно воздвигся сводом на всем западном небосклоне и все дальше надвигался на испуганный мир: вот тогда-то оба друга и заговорили о великолепии грозы, этого бракосочетания неба с землею, высот с глубинами, этого бесцельного сошествия неба на землю, как выразился Лейбгебер; а Зибенкэз заметил, что в сущности грозу здесь будет представлять или изображать лишь фантазия, и только она одна сочетает возвышенное с низменным. Я сожалею, что он не последовал совету Кампе и Кольбе и не применил, вместо иностранного слова «фантазия», отечественный термин «воображение»; ибо пуристка и подметальщица языка, Ленетта, начала прислушиваться, как только он вымолвил это слово. Она, у которой вся душа была полна ревностью, а голова «Фантазией», сочла относящимся к байрейтской «Фантазии» все, за что оба мужчины восхваляли человеческую фантазию, например, то, что она («Именно маркграфская «Фантазия» — подумала Ленетта) дарует нам блаженство красотой своих возвышенных творений, — что, лишь наслаждаясь ее прелестями, можно вынести прозябание в Кушнаппеле («Конечно потому, что мечтают о своей Натали» — подумала она), — что она одевает наготу жизни своими цветами («Парой искусственных незабудок» — сказала Ленетта сама себе), — и что она (маркграфская «Фантазия») серебрит не только пилюли жизни, но и орехи, и даже Парисово яблоко красоты.

О небо, сколько двусмысленностей со всех сторон! И как отлично мог бы Фирмиан опровергнуть заблуждение, принявшее фантазию за «Фантазию», если бы он лишь указал, что в маркграфской имеется мало поэтической, и что природа сочинила прекрасную романтику долин и гор, а французский вкус декорировал и разукрасил их, построив там свои периоды и антитезы, с целыми цветниками риторического красноречия, и что слова Лейб-

гебера о фантазии, серебрящей Парисово яблоко, в другом смысле применимы к «Фантазии», с натуральных яблок которой приходится соскабливать галльское елочное серебро, прежде чем отведать их.

Едва Лейбгебер вышел из дому и, по своему обыкновению, направился навстречу грозе, которой он любил наслаждаться под открытым небом, как разразилась гроза Ленетты — еще ранее небесной. «Так вот, услышала же я своими собственными ушами, — начала она, — как этот безбожник и возмутитель свел тебя кое с кем в Байрейте, в «Фантазии»; да может ли порядочная женщина подать ему руку или хоть один палец?» — К этому она добавила еще несколько раскатов грома; но я считаю своим долгом пощадить бедную женщину, превращенную этим хаотическим смешением в бродильный чан, и не буду перечислять все случаи ее закипания. Тем временем и у мужа закипели кислоты: ибо то, что при нем изрекли хулу на его друга, — каким бы недоразумением это ни было вызвано (а он таковым нисколько и не интересовался, ибо никакое не могло оправдать ее), — он не преминул счесть грехом против святого духа своей дружбы; а посему он преизрядно загремел в ответ. Здесь можно в оправдание мужу — а также, разумеется, и жене — упомянуть, что от грозового ветра раскаленные уголья на его голове еще сильнее разгорались пламенем, а потому он, как бешеный, забегал по комнате, и от его намерения — все прощать Ленетте перед своей кончиной — и не осталось камня на камне; ибо Фирмиан не желал и не мог потерпеть, чтобы к его единственному другу, верному в жизни и в смерти, наследница его имени была несправедлива на словах или на деле. Обо всех вулканических извержениях адвоката, о которых я из любви к нему тоже умолчу, я дам понятие, поведав, что он, как бы состязаясь теперь с грозой, прогремел: «Такому мужу! — и, со словами: — Ведь и ты — женская башка!» — закатил оплеуху манекенной голове, уже наряженной в вызывающую шляпку с перьями. — Так как среди прочих голов эта голова была султаншей-фавориткой Ленетты, которая нередко ее ласково поглаживала, то после такого удара вполне можно было ожидать столь же неистовой вспышки, как если бы он был нане-

сен ей самой (так же, как и Зибенкэз восстал за своего друга), — но последовали лишь кроткие рыдания. «О боже! Разве ты не слышишь этой ужасной грозы?» — только и сказала она. «Наплевать на грозу!» — отвечал Зибенкэз, в котором, — когда он был выведен из своего прежнего состояния философского покоя и покитился с высот философии, — согласно законам душевного и физического падения, сила обвала все увеличивалась до самого дна пропасти. — Да разразит гром весь кушнаппельский сброд, клеветущий на моего Генриха». — Тут гроза забушевала еще страшнее, а потому Ленетта произнесла еще более кротко: «Господи Иисусе, какой удар! — Приготовься же к покаянию. Что, если он поразит тебя сейчас, когда ты погряз в грехах!» — «Мой Генрих теперь под открытым небом, — сказал он, — о, если бы молния убила тотчас его и меня одним ударом, то я избавился бы от всего злосчастливого умирания, и мы не расстались бы!»

Таким строптивым и презирающим жизнь и религию жена его еще никогда не видала, а потому ей приходилось с минуты на минуту ожидать, что молния низринется с небес в мербицеро́вский дом и подстрелит мужа и ее в назидание прочим.

Но вот все небо разверзла такая яркая молния и за ней последовал такой сокрушающий гром, что Ленетта подала руку Фирмиану и сказала: «Я готова сделать все, что ты хочешь, — только, ради бога, стань снова богобоязненным, — я и господину Лейбгеберу не откажу ни в рукопожати, ни в поцелуе, — все равно, умылся он, или нет, после того как был облизан собакой, — и я не стану слушать, сколько бы вы ни расхваливали серебряную и цветущую байрейтскую «Фантазию».

О небо! Как отчетливо осветила ему эта молния оба лабиринта, где блуждала Ленетта: теперь он понял, что она в простоте душевной приняла фантазию за «Фантазию» (о чем я уже говорил), и что сам ошибочно принимал ее брезгливость за ненависть. Дело здесь обстояло так: ее женская чистоплотность и постоянное мытье были скорее сродни кошкам, чем собакам, которые не любят ни того, ни другого, да и самих кошек, а потому рука Лейбгебера, к которой только что прикоснулся язык пса,

была для нее рукой Исавовой, сплошь в хирагре, и пыточными тисками для ее руки, — брезгливость не допускала прикосновений; а рот Генриха и подавно, хотя бы пес к нему подскочил со своей пастью за целую неделю до того, был для ее губ величайшим пугалом, какое только могло быть выставлено отвращением; — для нее даже время не могло сойти за губную помаду.<sup>1</sup>

Но разоблаченные заблуждения на этот раз повлекли за собою не мир, как то бывало прежде, а возобновленную заповедь разлуки. Хотя у Фирмиана слезы навернулись на глаза и он подал жене руку и сказал: «Прости в последний раз! Ведь и без того в августе *настает конец* всем грозам» — однако, он не в силах был предложить или принять поцелуй примирения. Ведь он только что нарушил самые пылкие обеты терпимости, и этим неопровержимо доказывалось, сколь велика взаимная душевная отчужденность супругов. К чему понимать заблуждения, если их источники продолжают существовать? К чему отводить от моря пару рек, если остаются воды туч и морские волны? Больше всего Фирмиану было вспоминать оскорбление действием, нанесенное манекенной голове; она для него превратилась в вечно грозящую и мстящую голову Горгоны.

Он явился к своему другу (как с новой любовью, — ибо пострадал за него, — так и с новым пылом), чтобы обсудить план умирания. «От какой опасной болезни, — начал Генрих медицинскую консультацию, — угодно тебе испустить дух? У нас широкий выбор наилучших, смертельныхших припадков. Желательно ли тебе воспаление бронхов, — или воспаление кишечника, — или воспа-

<sup>1</sup> Едва ли существует нечто столь же нелепое, непреодолимое и непонятное, как брезгливость, этот бессмысленный союз воли с желудочной оболочкой. Цицерон говорит: стыдливый неохотно признает наименование стыдливости — этой трансцендентной брезгливости; и так же поступает брезгливый с брезгливостью, тем более что телесная и душевная чистота близки между собою, как доказал своим личным примером чисто плотный и целомудренный Свифт. Физическая брезгливость, имеющая скорее воображаемую, чем реальную, основу, даже больше влияет на нравственное чувство, чем это принято думать. Попробуй пройти по улице, имея в желудке неперевавленную пищу или рвотное: тогда десятки характеров и лиц, а по возвращении домой еще большее число книг вызовут у тебя более глубокое нравственное и эстетическое отвращение, чем обычно.

ление неба, — пригодится ли тебе больше бешенство или удушье, — или же ты предпочитаешь грудную жабу, колику и чорта и дьявола. Мы располагаем также всеми необходимейшими миазмами и болезнетворными веществами, и если добавим к ним, в качестве ядовитой примеси, август, месяц жатвы жнецов и врачей, то ты этого не переживешь». — Фирмиан отвечал: «Подобно мастеру нищих,<sup>1</sup> ты имеешь в продаже все увечья, слепоту и хромоту и прочее. Что касается меня лично, то я — сторонник апоплексии, этого *volti subiti*, этой спешной почты и внезапного ливня смерти, — я по горло сыт *всякой* процессуальной обстоятельностью». — Лейбгебер заметил: «Апоплексия, это, конечно, *summarissimum* смерти, — но, судя по наилучшим учебникам патологии, какие только я знаю, мы должны решиться на трехкратный удар. Здесь нам приходится руководствоваться не природой, а основным медицинским законом, согласно которому смерть всегда предпосылает три экземпляра векселя (прежде чем там акцептуют и оплатят один) или три аукционных удара молотком. Я знаю, что врачей не переубедишь; а потому согласись на трехкратный удар!» — Но Зибенкэз сказал с комической горячностью: «Чорт побери! Если удар со мной успешно покончит в два приема, то чего же больше может требовать врач? — Однако еще дня три-четыре я не могу заболеть, я должен дожидаться дешевого гробостроителя». Как известно, право постройки гробов передается столярами круговую, словно чаша вина. И вот, такому корабельному плотнику последнего ковчега мы вынуждены платить, сколько он потребует, ибо наследство умершего всегда приходится предоставлять на разграбление декораторам трупов, акцизным чиновникам смерти, как дворец умершего дожа или римского папы.

«Эта отсрочка казни, — ответил Лейбгебер, — может принести еще и другую пользу. Смотри, вот подержанный сборник домашних проповедей; я приобрел его за бесценок, ибо он имеет двойную ценность: ведь нигде нет столь проникновенных и глубоко проникающих про-

<sup>1</sup> Нищий в Англии, имеющий лавку, полную костылей, глазных пластырей, искусственных ног и т. д. для всех, кто желает быть хромым, слепым, увечным. «Брит. летопись», т. I.

поведей на тему о неизбежности смерти, как в этом сочинении, а именно в деревянной крышке его переплета, в которой пребывает и заприходован живой проповедник, словно в церковном приходе». — Действительно, в этой крышке засел жучок, которого называют часовщиком, а также древоточцем и притворяшкой, так как он, если к нему прикоснуться, упорно притворяется мертвым, сколько бы его ни мучили. Его щелчки, которые являются лишь стуком в дверь к возлюбленной самке, принимают за постукивание приближающейся смерти: поэтому утварь, в которой он щелкал, в старину считали благоприобретенным имуществом, способствующим ускоренному приобретению наследства. — Далее, Лейбгебер рассказал Фирмиану, что больше всего на свете ненавидит людей, которые, струсив перед смертью, пытаются перехитрить бога и чорта поспешным покаянием, а потому любит незаметно запрятать свой сборник под мебелью у таких адобязненных грешников, чтобы хорошенько их помучить зловещими проповедями жучка (хотя последний, когда проповедует, всецело занят мирскими помыслами, как и многие священники). «Не следует ли мне ловко запрятать между твоими книгами сборник с предсмертным проповедником, чтобы твоя жена, услышав его, думала о смерти — а именно, о твоей — и все более привыкала к этой мысли?»

«Нет, нет, — воскликнул Фирмиан, — я не хочу, чтобы она заранее столько страдала, она уже достаточно заранее выстрадала». — «Ладно, — отвечал Генрих, — хотя мой жучок был бы тебе как раз под пару, потому что *ritinus pertinax* или притворяшка умеет так же хорошо притвориться мертвым, как это сделаешь ты сам».

Вообще же он был доволен, что все так удачно складывается и что прошел ровно год с тех пор, как он взобрался на стеклянный парик Блэза и с этой возвышенности произносил оскорбления или ругательства, без малейшего ущерба для самого себя. Действительно, оскорбления погашаются давностью по прошествии года; исключения составляют лишь оскорбления критикой, которые остаются в силе не дольше, чем полномочия ректора Рагузы, а именно один месяц, то есть до тех пор, пока выпуск журнала циркулирует среди читателей. Зато кри-

тикующая книга, облеченная диктаторским саном в республике ученых, обладает настолько большим влиянием, что ей именно поэтому разрешено править не дольше, чем римскому диктатору, то есть шесть месяцев, между двумя ярмарками, а именно от крещения до дня поминовения усопших; так что она, подобно сочинителям книг, мертва либо весной, либо осенью.

Друзья вернулись в заново убранную и наряженную комнату. Ленетта сделала, что смогла, чтобы замаскировать трещины своего хозяйства, словно трещины на фарфоре, нарисованными цветами, и постоянно раскладывала такие партитуры, чтобы не приходилось ударять как раз по лопнувшим струнам той или иной мебели. На этот раз Фирмиан пошел навстречу жене в ее попытках прикрыть ширмами степи и пустыри их бедности и охотно пожертвовал многими шутливыми выходками, вопреки своему прежнему обыкновению, которого Лейбгебер придерживался и теперь. Все женщины, даже лишенные всякого остроумия, становятся пронизательнейшими истолковательницами и вещими ясновидицами, когда речь заходит о близких им предметах. Ленетта это доказывает. Вечером присутствовал Штибель, и во время завязавшегося диспута он дал понять, что разделяет мнение Сальвиана и других авторитетных богословов,<sup>1</sup> согласно которому рост сынов Израиля, платье коих в течение сорокалетнего пребывания в пустыне совершенно не рвалось, оставался неизменным, чтобы соответствовать костюму, причем исключение составляли только дети: на них одежда, которую им выкроили из платья, оставшегося после умерших, росла вместе с телами в высоту и в ширину. «Таким путем, — добавил он, — все трудности истолкования великого чуда легко устраняются при помощи небольших вспомогательных чудес». — Глаза Лейбгебера засверкали, и он сказал: «В это я верил еще в материнской утробе. Во всей походной колонне израильтян не могло быть ни одной прорехи, за исключением принесенных с собою из Египта, и те не увеличивались.

<sup>1</sup> «Библиотека древн. и современн.», т. IV, стр. 58, 60. Критические статьи, которые Леклерк поместил там и в «Избранной библиотеке», удачны тем, что отличаются от книг лишь краткостью и содержательностью.

Если предположить, что кто-нибудь в знак печали раздирал свое платье или лицо, то обе прорехи сами зашивались. Сколь плачевно и прискорбно, что эта армия была первой и последней, у которой амуниция была в своем роде превосходной телесной оболочкой, растущей вместе с посаженной в нее душой, — причем домашняя куртка постепенно превращалась в парадный кафтан, вырастая из *microvestis* в *macrovestis*. Как я вижу, в пустыне еда заменяла фабрику сукон, манна — английскую шерсть, а желудок — ткацкий станок. В те времена каждый усердно кормившийся израильтянин тем самым изготовлял все произведения местной промышленности и пустыни. Будь я тогда вербовщиком, я бы не ставил рекрута под мерку, а лишь подвешивал бы к ней его платье. Но как обстоит дело в нашей пустыне, ведущей не в обетованную землю, а в египетское рабство? — В полках круглый год растут рядовые, но не мундиры; более того, амуниция рассчитана лишь на сухую погоду и на сухопарых людей, ибо в сырую она сворачивается, как хороший влагомер, а пот крадет больше сукна, чем ротный портной и даже сам поставщик. У командира, который вздумал бы рассчитывать на то, что амуниция есть растяжимое понятие, подобное ставленному тесту и допускающее парафраз, — основываясь на примерах не только израильтян, но и улиток и платяной моли, которые не по одежде протягивают ножки, так как одежда сама протягивается по ним, — у такого командира, ибо его полки сражались бы почти что в одеянии древних атлетов, лопнуло бы по всем швам терпение, как у его солдат — платье».

Хотя эта безобидная речь должна была обстреливать лишь экзегетическое безумие Штибеля, Ленетта усмотрела в ней намек на свой гардероб. Эта немка была подобна немцу, который в каждой причудливой ракете и фейерверочной вспышке юмора старается разглядеть особо меткий сатирический выстрел. Поэтому Зибенкэз попросил Генриха простить бедной жене, — на сердце которой теперь и без того должно было обрушиться столько острых камней скорби, — неизбежное и непреодолимое невежество ее толкований и, по возможности, даже совсем не вызывать ее на таковые.

Но вот скончался один кушнаппельский цырюльник, который угодил под рубанок дорого запрашивающего столяра. «Теперь, — сказал Фирмиан по-латыни, — мне не следует ни минуты медлить с моей апоплексией; ведь нельзя ручаться, что никто не умрет прежде меня и не перехватит у меня дешевого столяра». — Поэтому заболевание было назначено на ближайший вечер.

## ДВАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Апоплексия. — Старший санитарный советник. — Общинный писец. — Завешание. — Прыжок пленного рыцаря. — Утренний проповедник Рейель. — Второй удар.*

Вечером Генрих распахнул занавес трагедии, полной веселых сцен с могильщиками, а Фирмиан, с головой, пораженной апоплексией, безмолвно лежал на кровати, и вся правая половина его тела была парализована. Со своим притворством и с мучениями, которым оно подвергало Ленетту, пациент примирился лишь после того, как мысленно поклялся, что, сделавшись инспектором в Вадуце, будет анонимно посылать ей ежегодно половину своего дохода, а также утешил себя мыслью, что своей смертью он сразу даст жене счастье, свободу и возлюбленного. Жильцы собрались было вокруг апоплектика, но Лейбгебер выгнал всех из спальни и сказал: «Больному нужен покой». Он был весьма доволен, что теперь беспрестанно может шутливо лгать. Возведя себя в сан наследственного имперского привратника, он охранял вход и наотрез отказался допустить доктора, которого хотели было пригласить. «Я пропишу больному лишь немного, — сказал Лейбгебер, — но это немного вернет ему на время способность речи. Проклятые смертоносные реки микстур, господин советник (тот был немедленно вызван и явился), подобны тем рекам, которые ежегодно требуют человеческих жертв». Он составил рецепт на простой жаропонижающий порошок; «Recipe, — писал он, одновременно произнося вслух: —

R. Conch. citratae Sirup. I  
Nitri crystallisati gr. X  
D. S. жаропонижающий порошок.

Прежде всего, — добавил он повелительным тоном, — нужно сделать пациенту ножную ванну из тепловатой воды».

Весь дом знал, что все это нисколько не поможет, ибо предстоящая смерть больного была как нельзя более достоверно возведена напудренным ликом привидения; и Фехт, как подобало сострадательному человеку, радовался, что не ошибся.

К удивлению всего страхового общества, которое, собравшись в большой комнате, гарантировало смерть пациента, тот, едва проглотив порошок, приобрел опять способность говорить, негромко, но внятно. Домашнее тайное судилище чуть было не запротестовало против такого нарушения своего приговора. Зато добрый Генрих снова получил предлог, чтобы принять обычное веселое выражение лица. Он утешал супругу адвоката изречениями, что скорбь в нашем мире — лишь изысканная шутка, нечто вроде пощечины или удара мечом при посвящении в рыцари.

Приняв порошок, больной провел ночь весьма сносно; и сам он возымел надежду на благополучный исход болезни. Генрих не позволил доброй Ленетте, с ее полными слез и совершенно сонными глазами, оставаться сиделкой у постели больного и обещал, что немедленно окажет помощь, если состояние пациента сделается опасным. Однако это не могло произойти, так как именно в эту ночь оба друга заключили договор — и притом на латинском языке, — как при заключении княжеского союза, — что смерть, или пятый акт их вставной трагедии (составлявшей лишь одно явление в трагедии самой жизни), последует завтра вечером. «Ждать хотя бы до завтра, — сказал Фирмиан, — это слишком долго — мне несказанно жаль мою Ленетту. Ах, мне остается, как царю Давиду, лишь горестный выбор между голодом, войной и мором. — Милый брат, ты — мой Каин и умерщвляешь меня и не больше, чем он, веришь в существование того мира, куда я буду послан тобой.<sup>1</sup> Поистине, прежде чем ты мне про-

---

<sup>1</sup> Равнины утверждают, будто Каин убил своего брата за попытку возражать ему, когда он (Каин) оспаривал бессмертие души и т. д. Итак, первое убийство было актом нетерпимости, а первая война была войной из-за религии.

писал порошок, заставивший меня говорить, я желал в своем мрачном безмолвии, чтобы шутка превратилась в суровую действительность. Ведь придется же мне когда-нибудь пройти через подземные ворота в неприступный замок будущего, где человек избавляется от всех опасностей. О дорогой Генрих, горька не смерть, а разлука с милыми сердцу». — Но Генрих возразил: «Против этого последнего штыкового удара, наносимого жизнью, природа ограждает нас широким Ахиллесовым щитом: на смертном одре человек охладевает душой раньше, чем телом. Странное высокомерное равнодушие ко всем, с кем мы расстаемся, постепенно леденит нервы умирающего. А благомыслящие очевидцы говорят: «Смотрите, с таким отречением от мира сего, с таким упованием на лучший мир встречает свой смертный час только христианин! — Полно, милый Фирмиан, несколько неприятных, жарких минут, которые тебе придется вытерпеть до завтра, послужат для больной души прекрасной аахенской ванной; конечно, она отчаянно пахнет тухлыми яйцами, но когда пройдет несколько времени и она остынет, то, подобно настоящей аахенской ванне, ничем не будет пахнуть».

Утром Генрих стал восхвалять его: «Подобно Катону Младшему, спокойно спавшему в свою предсмертную ночь (истории удалось даже подслушать, как он храпел), в эту ночь ты, повидимому, явил новый пример такого же душевного величия, живя в нашу столь упадочную эпоху: будь я твоим Плутархом, я бы запомнил это обстоятельство». — «Но серьезно, — отвечал Зибенкэз, — я бы очень хотел, чтобы какой-нибудь толковый человек, играющий в литературе такую же роль, как Уэст в исторической живописи, через много лет после того, как смерть уже пошлет мне вторичный вексель, почтил мою странную первичную смерть хорошим печатным описанием»...

Повидимому, теперь ее уже почтил таким описанием некий биографический Уэст; но я позволю себе откровенно сказать, что я был бесконечно рад, найдя среди документов это пожелание, столь основательно выполняемое мною.

Далее Лейбгегер сказал: «Иезуиты некогда издали в Лувене тощую книжицу, в которой неплохо, но на латин-

ском языке, была описана ужасная смерть Лютера. Старина Лютер раздобыл это произведение и перевел его, как в свое время Библию, и всего только приписал в конце: «Я, доктор Мартин Лютер, сам прочел и перевел сие сообщение». — Если бы я был на твоём месте и переводил описание своей смерти на английский язык, то сделал бы в конце подобную же приписку».

Что ж, милый Зибенкэз, поскольку ты ещё жив, сделай здесь такую приписку; но только переведи мою книгу!

Утро освежает всякий полегший колос на ниве человечества (как бы он ни провел ночь, на жестком ли одре болезни, или на более мягком ложе), и утренний ветерок приподнимает поникшие головки цветов и головы людей; но наш больной остался лежать. Его слабость достигла угрожающей степени, и он не мог скрывать, что ему становится все хуже, — во всяком случае он пожелал сделать распоряжения на случай смерти. Этот первый удар погребального колокола тяжкой острой болью отозвался в сердце Ленетты, и теплый поток прежней любви прорвался из него горькими слезами. При виде этого безутешного плача Фирмиан не выдержал и призывно простер руки; страдалица кротко и послушно прильнула к его груди. Их слезы и вздохи и сердца слились в самой горячей любви — израненные, но счастливые, они покоились вместе, столь близко от рубежа разлуки, которым должен был стать могильный холм.

Чтобы утешить бедную жену, Фирмиан стал проявлять признаки улучшения; к тому же, оно было необходимо, чтобы объяснить хорошее настроение, с которым он собирался изъявлять свою последнюю волю. Лейбгебер выразил радость по поводу того, что пациент снова был в состоянии поест (на перине, служившей салфеткой) и выхлебать глубокую миску легкого супа, как спускают воду из пруда, — то есть до дна. «То, что больной снова развеселился, — сказал Лейбгебер Штиблегу, — внушает мне большие надежды; но суп он, очевидно, поглощает лишь из любви к жене». — С сатирическими и юмористическими целями Лейбгебер лгал охотнее и чаще, чем кто бы то ни было; но он был самым непримиримым врагом настоящей недобросовестности и коварства. Он мог ты-

сячу раз солгать в шутку и не смог бы хоть дважды солгать всерьез; для шуточного обмана он легко находил любое выражение лица, любой оборот речи, но для серьезного не находил ничего.

До полудня к постели больного были приглашены советник и домохозяин Мербицер. «Господа, — обратился к ним больной, — днем я намерен изъявить свою последнюю волю, и на эшафоте, куда возвела меня природа, я скажу три предсмертных речи, как это разрешалось в Афинах осужденным;<sup>1</sup> но уже сейчас я хочу приступить к оглашению завещания, прежде чем составлю второе или, лучше сказать, кодицилл к первому. Все мои писания мой друг Лейбгебер должен упаковать и принять на хранение, как только сам я буду упакован в последний конверт с надписанным адресом. — Далее, я желаю и требую, чтобы меня беспрекословно (поскольку я ссылаюсь на прецедент датских королей, старинных австрийских герцогов и знатных испанцев, из коих первые приказывали себя погребать в своих доспехах, вторые — в львиных шкурах, а третьи — в жалких капуцинских рубищах), итак, повторяю, — чтобы меня беспрекословно пересадили на грядку иного мира, не вынимая из старого стручка, в котором я цвел в здешнем мире; короче говоря, таким, каков я есть и каким я здесь изъясляю сию волю. Это второе распоряжение вынуждает меня сделать и третье: пусть женщине, обмывающей мертвых, заплатят, но с тем, чтобы немедленно прогнать ее, так как в течение всей моей жизни я одинаково люто ненавижу двух женщин — ту, которая вмывает нас сюда, и ту, которая вымывает нас отсюда, хотя вторая нас моет в большей лохани, чем первая: я подразумеваю повивальную бабку и обмывальщицу покойников. Пусть она даже пальцем не коснется меня, и вообще да не посмеет этого делать никто, кроме моего Генриха».

Неприятнь Зибенкэза к этим служительницам жизни и смерти, как я полагаю, вызвана той же причиной, что и моя собственная, а именно деспотизмом и корыстолю-

<sup>1</sup> О том, что в Афинах каждому осужденному предоставлялось право сделать публично три заявления, говорит Казобон в своих XV Exerc. ad Varonii Prolegomena in Annales, — Бароний, в свою очередь, ссылается по этому поводу на Свиду.

бием, с которым эти две плантаторши и пайщицы колыбелей и гробов дают и жмут нас в часы величайшей радости и величайшего горя, когда мы наиболее беззащитны.

«Далее, я желаю, чтобы, как только на моем лице запечатлеются признаки кончины, Генрих навеки прикрыл и защитил его нашей длинношеей маской, которую я принес сверху из старого сундука. Я хочу также, чтобы, удаляясь с лугов моего прошлого и не слыша за собою ничего, кроме шелеста осенних трав, я имел на груди хоть искусственный букет моей жены как жетон или фишку утраченных радостей. С таким бутафорским знаком отличия пристойнее всего уходить из жизни, угощающей нас столькими паштетами с картонной крышкой и воздушной начинкой. — Наконец, я не хочу, чтобы меня провожали колокольным звоном; подобно тому, как посетителям Карлсбада башенный сторож при въезде и при выезде приветствует звуками рога, нас, хилых и недолговечных посетителей источника жизни, встречают и провожают колокольной музыкой с церковных башен; однако услуги церковного причта нам обходятся не так дешево, как приветствия карлсбадского сторожа, который за оба трубных салюта рассчитывает получить лишь три чеканных портера суверена».

Затем он велел подать себе силуэт Ленетты и сказал, запинаясь: «Я попрошу моего доброго Генриха и господина домохозяина выйти на минутку и оставить меня наедине с господином советником и с моей женой».

Когда это было исполнено, он долго и безмолвно смотрел с теплым чувством на маленькую дорожную тень; слезы хлынули из его глаз, словно скорбь, размывшая берега; он подал силуэт советнику, от волнения не смог говорить, но, наконец, произнес: «Вам, мой верный друг, только вам одному могу я отдать этот дорогой для меня портрет. Вы ее друг и мой — о боже, ни один человек во всем необъятном мире не станет заботиться о моей милой Ленетте, если вы ее покинете, — но не плачь так горько, дорогая, он тебя не оставит, — о мой лучший друг, это беспомощное, невинное сердце будет разбито горем и одиночеством, если вы не будете ей покровителем и утешителем: не покидайте же ее, как это сделал

й». — Советник поклялся всемогущим богом, что никогда ее не покинет, и, не глядя на плачущую Ленетту, взял и пожал ее руку, склонился над своим немеющим другом и приник к его лицу, роняя слезы, — но Ленетта отстранила его от груди своего супруга, освободила руку и припала к устам, слова которых так потрясли ее сердце, — и Фирмиан обнял ее левой рукой, прижав к утешенному сердцу, а правую руку протянул своему другу, — и так он держал у своей стесненной груди два неба, ближайших к земле, дружбу и любовь. . .

О смертные, ваша жизнь полна обмана и раздоров, но меня всегда утешает и радует в вас именно то, что все вы сердечно любите друг друга, если только видите друг друга в чистом человеческом облике, без повязки и пелены на глазах; что нас всех заставляет *ослепнуть* лишь боязнь *охладеть*, и что наше сердце, как только смерть вознесет наших собратьев над тучами наших заблуждений, тает от умиления и любви, увидев их парящими в прозрачном эфире, в образе прекрасных людей, не искаженных туманами и кривыми зеркалами земли, и не имеет сил сдержать вздох: «Ах, явились бы вы раньше в этом облике, я никогда не был бы к вам несправедлив». — Поэтому каждая добрая душа простирает объятия к тем людям, которых поэт показывает нашим внутренним очам в виде гениев созданного им облачного неба; но если бы он мог свести их к нам на землю, то на загрязненной почве наших житейских потребностей и ошибок они вскоре утратили бы свою прекрасную просветленность, подобно тому, как прозрачную глетчерную воду, которая не холодит, а лишь освежает, надо улавливать налету, когда она каплет с ледяных кристаллов — так как она загрязняется воздухом, едва коснувшись земли.<sup>1</sup>

Советник ушел — но лишь к доктору. Этот достойный генералиссимус друга Гайна, недаром (уж, конечно, не даром) носивший титул старшего санитарного совестника, оказался весьма расположенным посетить больного, во-первых, потому, что советник был уважаемым и состоятельным человеком, а во-вторых, потому, что

---

<sup>1</sup> См. у Делюка 3-й том «Маленьких путешествий для дилетантов».

нельзя было позволить Зибенкэзу умереть, так как он был участником покойницкой лотереи, при которой состоял членом-корреспондентом и *frère servant* сам доктор: ибо эта похоронная касса в действительности была лишь имперской банковской и ссудной кассой, выручавшей высокопоставленных лиц при денежных затруднениях. При виде старшего здравоохранителя, наступающего в боевом порядке, Лейбгебер до смерти перепугался, ибо предвидел, что доктор вызовет действительное ухудшение, так что Зибенкэз оставит после себя такую же славу, как и Мольер, который, как известно, скончался на сцене, играя мнимого больного. Лейбгебер находил, что отношения между врачами и пациентами так же неясны, как отношения между дятлами или короедами и деревьями: ведь до сих пор еще спорят, погибают ли деревья от того, что эти твари продырявливают их и кладут в них яйца, или же, наоборот, эти твари заводятся на дереве потому, что его кора уже разрушается, а ствол уже засох.

Я полагаю, что жучки и дятлы — а также врачи — попеременно оказываются то причиной, то следствием, и нет такого существа, бытию которого непременно должно было бы предшествовать разрушение чего-либо; иначе при сотворении мира пришлось бы заодно создать дохлую клячу для мясных мух и большой козий сыр для сырных клещей.

Сердито игнорируя здоровых, старший санитарный советник Эльхафен подошел прямо к больному и немедленно взялся за пульс, эту секундную стрелку жизни и волшебную палочку медицины; глубоко всахивающий плуг сатирического гнева провел на лице Лейбгебера кривые борозды. «Я нахожу у больного, — сказал исцелитель, — типичную нервную апоплексию от переполнения желудка, — позвать врача нужно было раньше, — наполненный твердый пульс предвещает повторение удара, — против него я пропишу рвотный порошок, который окажет наилучшее действие». — При этом он извлек несколько рвотных *billet-doux*, изящно завернутых, словно конфеты. Он имел рвотные порошки собственного издания и вел безобидную торговлю ими, ходя по домам, как еврей-разносчик. Мало было таких болезней, против которых доктор Эльхафен не мог бы использовать свое

рвотное средство в качестве святых даров, тележного домкрата, насосного стакана или чистилищного огня; своим рабочим и осадным орудием он весьма усердно подготавливал приступы — не крепостей, а рвоты — при апоплексиях, грудницах, мигренях и желчных лихорадках. «Оно является, — говорил доктор, — первым путем к тому, чтобы произвести уборку в пищеварительном тракте», и заодно оно легко убирало и самого обладателя этого тракта и отравляло последним путем всякой плоти.

Замесив по-другому лицо, чтобы скрыть свое бешенство, Лейбгебер сказал: «Уважаемый коллега и господин протомедикус Эльхафен, мы вполне можем учредить здесь *consilium* или *consilium* или *collegium medicum*. Мне кажется, что прописанный мною жаропонижающий порошок принес пользу, так как вчера он помог *aroplectico* вновь обрести способность речи». — Протомедикус принял его за шарлатана, и не удостоив коллегу ни единым взглядом, сказал Штибелю: «Распорядитесь, чтобы принесли тепловатой воды, я дам ему принять лекарство». Лейбгебер вспыхнул: «Тогда, давайте, примем его мы с вами, так как у нас обоих разлитие желчи — но пациент не может, не должен и не будет этого делать». — «Милостивый государь, разве вы — практикующий врач?» — гордо и презрительно спросил старший санитарный советник.

— «Я — торжествующий доктор, — ответил тот, — с тех пор, как я перестал быть сумасшедшим. Как вы наверное помните, у Галлера приводится случай, когда умалишенного, утверждавшего, будто он обезглавлен, излечили тем, что изготовили для него свинцовую шляпу: голова, прикрытая и изолированная свинцом, ощущает себя так отчетливо, как если бы она была налита им. И вот, господин коллега, я был почти таким же безумцем; заболев воспалением мозга, я слишком поздно узнал, что мою болезнь уже вылечили и прекратили. Короче говоря, я вообразил, что моя голова отслоилась и отпала, как отпадают — подобно клешням рака — омертвевшие ноги у людей, отравленных спорыньей. Когда приходил дыряльник и снимал свою пурпурную сумку с рабочими инструментами, похожую на колчан, я говорил: «Любезный господин старший мастер Шпёрль, хотя мухи, черепахи и

ужь, будучи обезглавленными, еще продолжали жить, подобно мне, но материала для бритья на них оставалось немного. Ты человек разумный, и видишь, что на мне так же нечего брить, как на пресловутом торсе в Риме. Что же ты мне будешь намыливать, господин Шпёрль?» — Едва он уходил, как являлся парикмахер: «Приходите в другой раз, господин Пейссер, — говорил я, — если только у вас нет охоты завивать в локоны окружающий меня воздух или же растительность у меня на груди, то спрячьте ваши гребни обратно в жилетный карман. С самой полуночи я живу без фриза и карниза и стою здесь подобно Вавилонской башне, лишенной купола. — Но если вы разыщете в соседней комнате мою голову и этому *caput mortuum* причешете косу и тупей, то я согласен надеть голову вместо парика с косой». — К счастью, пришел ректор университета, врач, и увидел, как я скорбно всплескивал руками, восклицая: «Где мои четыре мозговых желудочка и мой *corpus callosum* и моя *anus cerebri* и мой яйцевидный центр, в котором, согласно Глазеру, находится способность воображения? Если в моем парламенте нет верхней палаты, то на что он будет нацеплять себе очки и во что вставлять слуховые трубки? (Причины общеизвестны.) Неужели лучшая однодольная голова в целом мире уже дошла до того, что не может служить своему обладателю даже плодовой коробочкой?» — Но ректор велел принести из университетского гардероба старую докторскую шляпу и, нахлобучив ее на меня легким ударом, сказал: «Наш факультет надевает свои докторские шляпы исключительно на головы — на пустоте шляпа не могла бы держаться». Благодаря этой шляпе вслед моей фантазии у меня выросла новая голова, как у обезглавленной улитки. И вот, с тех пор как я сам излечился, я лечу других».

Старший санитарный советник отвратил от него свой взор василиска, яростно схватил свою трость и, словно тюк, скатился с лестницы, оставив распечатанный рвотный порошок (он же посошок — для пути на тот свет), так что пациенту остается лишь оплатить его из собственного кошелька.

Однако доброму Генриху пришлось теперь выдерживать новую войну, против Штибеля и Ленетты, пока Фир-

миан не вмешался в качестве посредника, заявив, что он и без того отказался бы принять рвотное, ибо оно могло бы ему повредить в виду застарелой сердечной болезни (ах, это было сказано фигурально) и сложного заболевания нескольких нервных узлов — гордиевых узлов в завязке его жизненной драмы.

Тем временем ему становилось все хуже и хуже, и никаким притворством он уже не мог бы этого скрыть; рикошетный удар апоплексии был возможен в любой момент. «Мне пора составлять завещание, — сказал Фирмиан, — я жажду увидеть общинного писца». Как известно, это должностное лицо, согласно кушнапельскому сельскому и городскому праву, записывает все последние волеизъявления. — Общинный писец Бёрстель наконец вошел; это была дряблая, высохшая улитка с робким и настороженным лицом, похожим на круглую пуговичную форму и выражавшим голод, страх и внимание. Многие думали, что мясо Бёрстеля лишь намазано на его кости, как обмазка на новый шведский кровельный картон. «Что должен я сегодня записать для *Вышеозначенных* господ?» — начал Бёрстель. «Изящный кодицилл, — ответил Зибенкэз, — но сначала задайте мне один-другой каверзный вопрос (с какими обычно обращаются к завещателям), чтобы между прочим выведать, нахожусь ли я еще в здравом уме и твердой памяти». Тогда тот спросил: «Кто я такой, по мнению *Означенного* господина?» — «Вы — господин общинный писец Бёрстель» — ответил пациент. — «Это не только правильно, — заявил Бёрстель, — но и доказывает, что вы бредите лишь немного или даже совсем не бредите, а потому можно без околичностей приступить к составлению завещательного акта.»

### *Последняя воля Зибенкэза, адвоката для бедных.*

«Я, нижеподписавшийся, ныне желтеющий и опадающий совместно с прочими августовскими яблоками, в виду близости к смерти (которая освобождает от власти тела мою душу, принадлежавшую ему на правах крепостной души), желаю протанцовать еще несколько веселых па, назад и в сторону, и несколько фигур грассфатера, за три минуты до базельской пляски смерти».

Писец прервал запись и с удивлением спросил: «Должен ли я заносить на бумагу тому подобное?»

«Прежде всего я, Фирмиан Зибенкэз, alias Генрих Лейбгебер, желаю и предписываю, чтобы господин тайный фон Блэз, мой опекун, безожно зажиливший у меня, своего подопечного, находившиеся в опекунском заведывании 1200 рейнских флоринов, в годичный от сего числа срок вручил их моему другу Генриху Лейбгеберу,<sup>1</sup> вадуцскому инспектору, который затем добросовестно передаст их моей милой супруге. Подъяв, как для присяги, три перста, я произношу здесь, на смертном одре, клятву, что если господин фон Блэз откажется это исполнить, то после мсей кончины я буду его всюду преследовать, не судебным, а духовным порядком, и всячески пугать, либо являясь ему в виде чорта или долговязого белого призрака, или же просто голосом, смотря по тому, как мне позволят мои посмертные обстоятельства».

Рука писца, державшая перо, застыла в воздухе, и охваченный пугливой дрожью Бёрстель прервал работу: «Я лишь опасуюсь, — сказал он, — что если я буду записывать такие вещи, то господин тайный в конце концов возьмут меня за жабры». — Но Лейбгебер с воинственным и угрожающим видом преграждал ему путь к побегу через адские врата комнаты.

«Далее, как правящий король стрелков, я желаю и предписываю, чтобы никакая война из-за наследства не превратила мое завещание в порошок для ускорения наследования, губящий ни в чем неповинных людей; — чтобы республика Кушнапфель, на пост гонфалоньера и дожа которой я был баллотирован пулями стрелков, не вела сборонительных войн, так как не ими она может обороняться, а вела лишь наступательные войны, дабы хоть расширить границы своей территории, поскольку их трудно защитить; — и чтобы ее граждане были такими же усердными сочленами дровосберегающей корпорации, как

---

<sup>1</sup> То есть самому Зибенкэзу. Он желает, чтобы наследство было выдано ему, а не его вдове, так как хочет оставаться осведомленным на случай, если она в течение вышеуказанного срока выйдет замуж за какого-нибудь богача; кроме того при таком порядке Зибенкэзу легче узнать о возможном неисполнении его воли, а следовательно, и осуществить угрозу, которой он сейчас разразится.

отец-государь их страны и имперского местечка, ныне смертельно больной. У нас теперь сжигают больше леса, чем его подрастает, так что единственный выход заключается в том, чтобы протапливать самый климат и превратить его в большую инкубационную, сушильную и полевую хлебопекарную печь, дабы можно было обойтись без комнатных печей; к этому средству давно уже прибегли все почтенные коллеги, столь компетентные в лесном уставе: прежде всего они принялись истреблять самую лесную материю, а именно леса, так что зимой те промерзают насквозь. Если принять в соображение, насколько теперешняя Германия отличается от описанной Тацитом и насколько ее нынешний климат стал теплее лишь вследствие поредения лесов, то легко сделать вывод, что мы в конце концов достигнем такой степени теплоты, при которой воздух будет греть нас, как волка греет его шерсть: это произойдет, как только все леса будут начисто истреблены. Поэтому-то и нынешние обильные запасы леса превращают в золу, чтобы поднять на него цену — подобно тому как в 1760 году в Амстердаме публично сожгли на восемь миллионов ливров мускатных орехов, чтобы поддержать их цену на прежнем уровне.

«В качестве короля кушнапельского Иерусалима я желаю сенату и народу кушнапельскому, *Senato populoque Kuschnappeliensi*,<sup>1</sup> не вечной гибели, а блаженства, особенно на этом свете; далее, желаю, чтобы городские магнаты не проглатывали кушнапельские гнезда (дома) заодно с индийскими, и чтобы налоговые деньги, которым приходится проходить через четыре желудка сборщиков, через рубец, сетку, книжку и сычуг, в конце концов все же превращались из млечного сока в красную кровь (из серебра в золото) и, пройдя через млечные сосуды, цистерну и млечный проток, действительно поступали в си-

---

<sup>1</sup> Так значится на общественных зданиях местечка, хотя получается смешной контраст, когда такая болонка, как Кушнапель, подражает большим датским догам, вроде, например, Нердлингена и Бопфингена, которые, конечно, с несколько большим правом пишут на своих общественных зданиях и на указах: *Senatus populusque Bopfingensis, Nördlingensis*.

стему государственного кровообращения. — Далее, я желаю и предписываю, чтобы большой и малый совет. . .»

Писец хотел прекратить запись и заметно затряс головой; но Лейбгебер стал шуточно раскачивать висевшее на стене ружье, при помощи которого завещатель в свое время вознесся на трон стрелкового короля (тогда как другие короли обычно вспрыгивают на троны, опираясь, словно на шесты, на чужие шомпола), — и Бёрстель в поте лица продолжал записывать:

«Итак, я желаю, чтобы бургомистр, казначей, тайный, восемь ратманов и президент сделались сговорчивее, а также не награждали никаких заслуг, кроме чужих, и чтобы подлец фон Блэз и подлец фон Мейерн ежедневно по-родственному накладывали дубасящие руки друг на друга, дабы они хоть взаимно себя наказывали. . .»

Но тут писец вскочил и, заявив, что у него дух захватило, подошел к окну, чтобы освежиться; когда же он увидал, что внизу, на небольшой дистанции от оконного косяка, возвышается куча дубильного корья, то преследовавший его страх подтолкнул его и поднял на подоконник; после такого первого шага писец, прежде чем его успел схватить сзади один из свидетелей завещательного акта, сделал второй размашистый шаг прямо в пустой воздух и, качнувшись, как собственная стрелка своих весов, пролетел мимо оконного косяка, так что смог легко угодить на низкий трамплин — я имею в виду кучу корья. По прибытии туда этот падший художник не смог предпринять ничего лучшего, как воспользоваться своим лицом в качестве грабштихеля и пластической формы и копировального пресса, и сотворил ими на куче свое изображение в виде тисненой фигуры и меццо-тинто; на той же куче оказались, в качестве прилежно работающих скульпторских стекк, его пальцы — и сами скопировали себя, а нотариальной печатью, которую он раньше поставил возле чернильницы и затем захватил с собою, он случайно скрепил все происшествие. Очевидно, создать нотариуса другому нотариусу так же легко, как и пфальц-графу. Но Бёрстель не заинтересовался ни своим со-нотариусом, ни всей этой игрой природы, и на пути домой размышлял о совершенно иных предметах. Зато господа Штибель и Лейбгебер глядели в окно, и когда писец до-

бежал до своего убежища, занялись двойником его внешней оболочки, который лежал внизу, растянувшись, как труп в анатомическом театре, и издавал запах юфти; но об этом автор настоящей книги больше не проронит ни слова, кроме слов Генриха: «Писец пожелал приложить под завещанием особенно крупную печать, которую никто не сможет подделать, а потому оттиснул ее собственным телом, — и вот там внизу мы видим весь сфрагистический оттиск».

Завещательный акт, поскольку он был составлен, подписали свидетели и сам завещатель, — и большего едва ли можно было требовать при таких обстоятельствах и от такого полувоенного завещания.

Теперь приближался вечер, когда больной человек, подобно земле, на которой он живет, отворачивается от солнца и обращает лицо лишь к слабо мерцающей звезде иного мира; когда больные удаляются в него, а здоровые устремляют к нему взоры, — и когда Фирмиан надеялся беспрепятственно подарить милой жене прощальный поцелуй и тихо скончаться. Как вдруг в комнату с шумом вошел, подобный грозовой туче, церковнослужитель (викарий), он же утренний проповедник, Рёйель.<sup>1</sup> Он явился в церковном доспехе, в отложном воротнике и при шарфе, чтобы прочесть больному (которому он в свое время завязал узы брака в виде двойного банта на шее) должную нотацию за то, что, в качестве злостного неплательщика денег за исповедь, тот пытался объехать заставу причащения для больных и здоровых на пути на небеса и в преисподнюю. Согласно указанию Линнея, старинные ботаники, например, Кролл, Порта, Гельвеций, Фабриций, из сходства растения с какой-нибудь болезнью заключали, что оно ее излечивает, а потому прописывали желтые растения, шафран и желтый имбирь, против желтухи, драконову кровь и катеху — против дизентерии, кочанную капусту — против головной боли, и острые предметы, рыбы кости — против колотья

---

<sup>1</sup> Его зовут именно Рёйель (а не Рейль, как я писал прежде); это обстоятельство меня тем более радует, что такому церковнослужителю незачем носить фамилию, созвучную с фамилией полезного служителя медицины, каким был великодушный и свободомыслящий Рейль.

в боку; — итак, лекарственные растения хотя бы отдаленно напоминают тот недуг, против которого они помогают, — точно так же в руках добрых проповедников, подобных Рёйелю, духовные целебные средства, проповеди и увещания, принимают вид духовных болезней, гнева, гордости и скупости, против которых они действуют, так что разница между больным и врачом часто заключается лишь в их общественном положении. Таков был Рёйель. Он больше всего заботился о том, чтобы в нашу эпоху, когда лютеранского священнослужителя злые языки так легко объявляют тайным иезуитом и монахом, отличаться от последнего не на словах, а на деле: а так как монах ничего не называет своим и не может иметь собственности, Рёйель весьма явно охотился за наживой и ловил ее, где только мог. Осия Лейбгер попытался превратиться в заградительный канат и турникет для проповедника, а потому задержал его на пороге следующей речью: «Здесь едва ли можно много помочь, ваше высокопреподобие, — вчера я тоже пытался налету, *volti subito, citissime* обратить его на путь истины и, так сказать, перечеканить; но в конце концов он упрекнул меня в том, что я и сам не обращен — и это совершенная правда: в яровом рапсе моих убеждений кишат бесчисленные полевые мыши ересей и гложут его». Рёйель ответил тоном, колеблющимся между минором и мажором: «Служитель божий выполняет свой священный долг и старается спасти души как от атеизма, так и от других грехов, но будут ли успешны эти старания, всецело зависит от самого грешника».

Итак, черная грозовая туча, полная синайских молний, проплыла в темную спальню. Словно знаменем, восстаивливающим честь, размахивал викарий своим развевающимся широким рукавом над простертым на простыне атеистом, — за которого он принимал Зибенкэза, — и сеял на пациента семена добра, подобно тому как шведские крестьяне сеют репу, а именно просто выплевывая семя на грядки. В своем увещании больному (обычно дополняемом надгробной проповедью), которое, быть может, когда-нибудь достигнет под последней периной и меня и моих читателей, и которое я не посылаю для печатания из Байрейта в Гейдельберг, так как на этом

пути его можно слышать в комнате каждого больного, — в этом увещании он, как враг всяких обиняков, заявил напрямик, что Зибенкэз — жаркое для дьявола и притом вполне готовое. Готовое жаркое закрыло глаза и терпело. Но Генрих, которому было больно, что проповедник раскаленными клещами терзает возлюбленные уши и возлюбленное сердце его друга, и раздражало, что это делается лишь для того, чтобы запугиванием заставить больного исповедаться, поймал на лету развевающийся рукав и тихо предупредил: «Господин проповедник, я считал невежливым заранее сказать, что у больного притуплен слух, и тем самым побудить вас кричать. До него еще не дошло ни одно ваше слово. Господин Зибенкэз, кто это там? Видите, он ничего не слышит. Просветите-ка при случае меня, за стаканом пива: мне это будет приятнее и, к тому же, я лучше слышу. Боюсь, что он сейчас бредит, и если увидит вас, то примет за чорта, ибо умирающим приходится вести с ним последний поединок. Жаль, что больной не слышал вашей речи; так как он не хочет исповедаться, она бы его основательно рассердила, а в восьмом томе «Физиологии» Галлера сказано, что когда умирающим удавалось как следует рассердиться, их жизнь нередко удлинялась на целые недели, — но наш больной, в сущности, истинный христианин, хотя он так же мало исповедывался, как апостолы или отцы церкви; после его блаженной кончины вы лично от меня услышите, как мирно, истинно похристиански, он преставился, без всяких там корчей, судорог и предсмертных страхов: он привык ко всему духовному, как хохлатая сова к церковным башням, и я ручаюсь, что как она остается сидеть на перекладине колокола во время благовеста, так и наш адвокат будет слушать погребальный звон совершенно хладнокровно, ибо из ваших проповедей он вынес убеждение, что после смерти его жизнь еще продолжится».

Конечно, в этой речи содержалась несколько резкая шутка насчет мнимой смерти Фирмиана и веры в бессмертие — шутка, которую мог одновременно понять и простить только такой человек, как Фирмиан; но Лейбцебер готов был и всерьез нападать на людей, которые

случайное физическое спокойствие умирающего принимают за душевное, а физические муки — за муки совести.

Рейель ограничился тем, что заявил: «Вы сидите в совете нечестивых, и господь вас покарает — а я умываю руки». — Но так как он предпочел бы их наполнить, и так как ему все же не удалось довести чадо дьявола до исповеди, проповедник, провожаемый непрерывными смиренными поклонами Ленетты и Штибеля, вышел молча и с красным лицом.

Хотя для доброго Генриха плавательным пузырем и, к сожалению, часто и «глоточным шаром», являлся его желчный пузырь, не надо воображать последний бóльшим, чем он был в действительности; напротив, к этому природному недостатку следует отнестись снисходительнее, потому что Генрих уже не раз встречал у постели умирающих таких же духовных frères terribles, более пригодных для напутствования висельника, которые и без того хилое и слабое сердце еще посыпают солью; подобно мне, он полагал, что из всех часов жизни человека его последний час нужно признать самым малоценным для религии, так как он бесплоден и в нем не всходят никакие семена, способные прорасти деяниями.

Когда учтивая пара вышла проводить проповедника, Фирмиан сказал: «С меня довольно, довольно, довольно! Я больше не буду шутить — через десять минут я солгу в последний раз и умру, и клянусь богом, я бы хотел, чтобы это не было ложью. Смотри, чтобы сюда не проник свет, и немедленно прикрой меня маской, так как я предвижу, что не в силах буду удержаться от слез, а под маской я могу позволить моим глазам плакать, каким угодно, — о мой Генрих, мой милый!» Как видно, бесформенный хаос увещаний Рейеля все же привел в серьезное и умягченное настроение нашего усталого статиста и мима смерти. Чуткий, заботливый и любящий Генрих добровольно избавил своего друга от всех ролей их пьесы, требовавших словесной лжи, и выполнял их сам. Поэтому, как только оба провожавших вернулись в комнату, он испуганно и громко воскликнул: «Фирмиан, как ты себя чувствуешь?» — «Лучше, — ответил тот; но продолжал растроганным голосом, — в земном мраке начинают мер-

цать звезды, — увы, я связан с прахом и не могу вознестись к ним, — по мертвому морю жизни мы плывем так близко от берега прекрасной весны, но он крут, а эфемера еще не имеет крыльев».

Смерть, этот возвышенный закат нашего краткого дня, это доносящееся сюда великое «аминь» нашего упования, приходила бы к нашему ложу в образе прекрасного, увенчанного цветами гиганта, плавно и мощно подымала бы нас в эфир и убаюкивала в нем, если бы люди не падали в ее могучие объятия такими истерзанными и оглушенными; только болезнь лишает блеска нашу кончину, и крылья возносящегося духа, запятнанные кровью, орошенные слезами и отягченные землей, ломаются и бессильно висают. Но смерть бывает полетом, а не падением, когда герой погибает всего лишь от одной, смертельной раны, когда человек подобен волшебному миру, полному свежих цветов и зрелых плодов, а потусторонний мир внезапно пронесится мимо него, словно комета, и увлекает за собою к солнцу малую планету прежде, чем на ней наступит увядание.

Для более пронизательного наблюдателя, чем Штибель, именно этот приподнятый тон Фирмиана явился бы признаком восстановления сил и выздоровления: любоваться блеском секиры смерти способен лишь посторонний зритель, а не жертва, повергнутая ею, — погребальный колокол подобен прочим колоколам, призывный гул и звон которых слышен только издали, но не доходит до того, кто сам стоит под гудящим куполом.

Так как в час смерти каждая душа становится откровеннее и прозрачнее, подобно сибирскому наливному яблоку, в котором, когда оно созревает, зерна и сладкая мякоть плода покрыты лишь прозрачной, как стекло, оболочкой, то Фирмиан, в тот час дифирамбического упоения, находясь столь близко от сверкающего лезвия косы смерти, был бы способен пожертвовать всеми мистериями и цветами своего будущего, то есть раскрыть их, если бы это не значило нарушить свое слово и вместе с тем обрушить горе на любимого друга; но теперь Фирмиану не оставалось ничего, кроме терпеливо страдающего сердца, немых уст и плачущих глаз.

Ах, разве каждое из этих притворных прощаний не было действительным, и когда он дрожащими руками привлек к своему сердцу верного Генриха и советника, разве это сердце не сжималось от печального сознания, что оно вскоре навеки лишится их обоих, советника — завтра, а Генриха — через неделю! Поэтому следующая речь содержала лишь истину, но только истину печальную: «Ах, мы вскоре будем разлучены — о, человеческие объятия — это слабые узы, и они так скоро рвутся! — Пусть вам живется лучше и счастливее, чем когда-либо заслужил я сам: пусть хаотическое нагромождение камней, составляющее дни вашей жизни, никогда не будет лавиной, катящейся вам под ноги или обрушивающейся на голову, и пусть окружающие вас скалы и утесы весна украсит зеленью и ягодами! — Спокойной ночи навек, возлюбленный советник, — а ты, мой Генрих». . . Его он привлек к своим устам и молча целовал, думая о близости действительного расставания.

Зачем он допустил, чтобы уколы терний разлуки довели до такого лихорадочного состояния его сердце? — Он слышал, как его Ленетта плакала, спрятавшись за кроватью, и почувствовал в переполненном жалостью сердце широкую смертельную рану: «Приди, дорогая Ленетта, приди проститься!» — и он страстно простер объятия к невидимой возлюбленной. Она, шатаясь, подошла и упала в них, прильнув к его груди, — он замолчал, подавленный наплывом дробящих чувств, — и, наконец, тихо сказал ей, трепещущей: «Моя покорная, моя верная, моя бедная! Как часто я причинял тебе боль! О боже, как часто! Простишь ли ты мне? Забудешь ли ты меня? (В судорожном порыве скорби она, потрясенная, еще теснее прильнула к нему.) Да, да, забудь же меня совсем, ведь ты не была счастлива со мной». . . Рыдания сердец прервали голос, и только слезы продолжали струиться — томящая, ноющая боль росла в усталой, опустошенной душе, и он повторил: «Нет, нет, со мною ты поистине ничего, ничего не имела, только слезы, — но судьба осчастливит тебя, когда я тебя покину». Он в последний раз поцеловал ее и произнес: «Будь счастлива и прости». Она повторила, заливаясь слезами: «Нет, нет, ты не умрешь». Но он отстранил от своего сердца ее,

изнемогающую, и торжественно воскликнул: «Свершилось — судьба нас разлучила — свершилось». Бережно отводя прочь плачущую Ленетту, Генрих мысленно проклинал свой плач и тоже плакал; он сделал знак советнику и сказал: «Фирмиан теперь хочет отдохнуть!» Тот повернул к стене свое опухшее от слез, измученное лицо. Ленетта и советник горевали вместе в большой комнате. — Генрих выждал, пока бурные волны несколько улеглись, — затем он тихо спросил: «Пора?» Фирмиан ответил утвердительным жестом, и его Генрих закричал, как безумный: «Ах, он умер!» И с искренними, горячими слезами, струившимися, словно кровь из свежей раны, упал на неподвижно лежавшего друга, чтобы оградить его от всякого исследования. Из большой комнаты вторая безутешная пара бросилась к первой. — Ленетта хотела обнять отвернувшегося супруга и горестно воскликнула: «Я должна его видеть, я должна еще раз проститься с моим мужем». Но Генрих велел советнику, — надеясь на его влияние, — удержать и увести безутешную вдову. С первым советник справился — хотя его собственное спокойствие было лишь притворным и должно было доказывать победу религии над философией, — но он не смог увести из спальни Ленетту, когда она увидела, что Генрих взялся за посмертную маску. «Нет, — гневно воскликнула вдова, — ведь я же имею право в последний раз взглянуть на моего супруга». Генрих поднял маску, осторожно повернул от стены лицо Фирмиана, на котором еще не высохли полуотертые слезы разлуки, и, прикрыв его, навеки оградил от заплаканных взоров супруги. Великое событие вдохновило его и, пристально глядя на маску, он произнес: «Такою же личину налагает смерть на все человеческие лица, — когда-нибудь и я так вытянусь в непробудном, мертвом сне и сделаюсь таким же длинным и важным. — Мой бедный Фирмиан, стоила ли труда и свеч игра *à la guette* твоей жизни? Правда, мы не *игроки*, а лишь *принадлежности игры*: наши головы и сердца старуха смерть катит по зеленеющему бильярдному столу в лузу савана и, сделав шара, то есть прикончив одного из нас, звонит, словно в колокольчик, в погребальный колокол. Так как ты

в известном смысле еще продолжаешь жить,<sup>1</sup> — если только фресковую живопись души можно без повреждения отделить от разрушающейся стены тела,<sup>2</sup> — то пусть же тебе больше повезет в твоём пост-скриптусе к первой жизни. — Но что с того? Ведь и она кончится, — каждая жизнь в каждом мире когда-нибудь догорает, — все планеты существуют лишь на правах трактиров и не могут никого *надолго приютить*, а только дают нам раз-другой выпить айвового вина, смородинного сока, водки, но большей частью подносят лишь полосканье, которое нельзя глотать, или даже симпатические чернила (то есть liquor probatorius), снотворные лекарства и протраву, — затем мы отправляемся дальше и странствуем так в течение целых тысячелетий. — О боже милостивый, куда же куда? Пока что наш земной шар оказался наихудшим кабаком, где большинство посетителей нищие, мошенники и дезертиры; высшими радостями можно наслаждаться лишь в пяти шагах оттуда, либо в *воспоминаниях*, либо в *воображении*, причем если не только вдыхать аромат этих роз, а попытаться их вкусить, проглотив отвар из их листьев, то не получишь от них ничего, кроме sedes. . .<sup>3</sup> О ты, утихший, пусть в других тавернах тебе повезет больше, чем здесь, и пусть какой-нибудь ресторатор лучшей жизни откроет перед тобою дверь настоящего винного погреба, вместо прежнего погреба с винным уксусом».

## ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА

*Д-р Эльхафен и медицинское обувание. — Погребальные мероприятия. — Спасительный череп. — Фридрих II и надгробное слово.*

Лейбгебер прежде всего переселил скорбящую вниз, к парикмахеру, чтобы создать для мертвеца большие

<sup>1</sup> Лейбгебер одновременно подразумевает загробную жизнь, в которую он не верит, и предстоящее в Вадуге продолжение первой жизни Фирмиана.

<sup>2</sup> В Италии крупную фресковую живопись снимают со стен, не повреждая.

<sup>3</sup> Листья роз оказывают на желудок такое же действие, как александрийский лист.

удобства на время его посмертного промежуточного состояния. «Отсюда, где нас окружают печальные сувениры, — сказал он ей, — вы должны удалиться до тех пор, пока не состоится вынос усопшего». Она послушалась, так как боялась привидений; значит, он мог с легкостью дать покойнику поесть; Генрих сравнил его с замурованной весталкой, которая в своем склепе находила лампаду, хлеб, воду, молоко и масло, как сообщает Плутарх в Нуме. «Но ты, пожалуй, похож на ухвертку, — добавил он, — которая, будучи разрезана пополам, обрачивается, чтобы пожрать свои собственные останки». — Подобными шутками он вызвал или, по крайней мере, пытался вызвать прояснение в облачной и осенней душе своего любимца, видевшего вокруг себя лишь руины прошлой жизни, начиная с платьев овдовевшей Ленетты и вплоть до ее рабочих принадлежностей. Манекенную голову, которую он ударил во время грозы, пришлось спрятать в отдаленный угол, так как, по словам Фирмиана, ему казалось, что та корчит страшные, горгоноподобные гримасы.

Наутро доброму Лейбгеберу, взявшему на себя роль распорядителя при погребении, пришлось одновременно выполнять Геркулесовы, Иксионовы и Сизифовы работы. Один за другим являлись конгрессы и пикеты, чтобы созерцать и восхвалять наследователя — ибо человеку и актеру аплодируют лишь при уходе и видят нравственный облик мертвеца, как это утверждал Лафатер о физическом, — облагороженным; но Генрих отгонял публику от покойницей: «Такова была воля моего усопшего друга, — говорил он, — выраженная в его завещании».

Затем явилась камеристка смерти, обмывальщица мертвых, и хотела омыть и обрядить Фирмиана; Генрих вступил с ней в перебранку, заплатил и изгнал ее. — Затем ему пришлось притворяться перед Штиблетом и вдовой, будто он притворяется и хочет наружно скрыть, что у него сердце истекает кровью. «Но я его насквозь вижу, — сказал советник, — он лишь прикинулся философом и стойком, потому что он не христианин». — Штибель подразуемвал пустую черствость придворных и светских Зенонов, подобных тем деревянным придворным и светским фигурам, которым обмазка из дробленого камня придает вид каменных статуй

и кариатид. Далее был взыскан покойницкий пай и выигрыш или дивиденд с похоронной кассы, которая предварительно послала своего казначея обегать с тарелочкой для сбора всех акционеров и участников корпорации. — Таким путем об этом узнал и старший санитарный советник Эльхафен, как действительный сочлен и платательщик. Желая с пользой провести утро, предназначенное для обхода больных, он отправился в обитель скорби, чтобы во-всю позлить своего мнимого собрата по профессии, Лейбгебера. Поэтому он притворился, будто известие о смерти еще не дошло до его слуха, и прежде всего осведомился о состоянии больного. «Последним бюллетенем о состоянии здоровья, — сказал Генрих, — установлено, что оно вполне установилось: он почил с миром, господин протомедикус Эльхафен, — в августе, марте, сентябре смерть собирает свою дань, свой урожай». — «Как видно, жаропонижающий порошок, — отвечал мстительный врач, — изрядно понизил жар, так как пациент стал совсем холодным». — Лейбгебера это задело, и он сказал: «К сожалению, да! Впрочем, мы сделали, что могли, а именно заставили его проглотить ваше рвотное, — но он не выbleвал ничего, кроме души, самой болезнетворной материи у людей. Вы, господин протомедикус, облечены высшей судебной властью и можете выносить смертные приговоры; но мне, как адвокату, дела подсудны лишь в первой инстанции, а посему я отнюдь не смел подвергнуть риску что-либо, в особенности — жизнь пациента; воображаю, как бы он ужаснулся при виде подобного самоуправства: на нем прямо лица бы не было».

«Ну, а теперь лицо есть и, к тому же, вытянулось в Гиппократово» — возразил не без колкости врач. — Тот любезно ответил: «В этом я вам охотно верю, ибо мне, как профану, редко случается видеть подобные лица, тогда как врачи могут хоть каждый день вызывать у своих больных Гиппократову физиогномику; а потому врач с большой практикой отличается особо наметавшимся глазом, позволяющим ему предсказывать смерть своих пациентов; этого не смог бы сделать никто, кроме лекаря, проводившего многих на тот свет».

«Будучи столь блестящим знатоком, — сказал Эльхафеи, — вы, разумеется, не преминули приложить к ногам больного горчичники: но только они, надо полагать, уже не оказали отвлекающего действия?»

«Я, конечно, подумал и догадался, — ответил Лейбгембер, — что следовало по всем правилам искусства снабдить ноги покойного подошвами из горчицы и кислого теста и оклеить икры нарывными пластырями; но пациент, который, как вы знаете, всегда был насмешливым субъектом, называл их медицинским обуванием, а попутно нас, врачей, — сапожниками смерти, которые бедному больному, когда природа ему уже крикнула: «gare, голову прочь!», еще нацепляют шпанские мушки вместо испанских сапог, горчичники вместо котурнов, кровососные банки вместо ножных кандалов, как будто без этого медицинского туалета, и без красных каблуков горчичных пяток, и без красных кардинальских чулок нарывных пластырей человек не может шествовать на тот свет. При этом покойный ловко лягался, стараясь угодить ногами в мое лицо и в пластырь, и сравнивал нас, ученых врачей, с кусающимися мухами, которые всегда садятся людям на ноги».

«О мухах он, пожалуй, говорил вам не без основания, вас тоже какая-то муха укусила; да и вам сапожник смерти мог бы кое-что нацепить на ноги — для лечения вашей головы, *caput tribus insanabile*», ответил доктор и весьма поспешно удалился.

Выше я уже упоминал об его рвотных средствах и приемах; тепер я к этому добавлю следующее: хотя он действительно пользуется ими для умерщвления, но все же иным образом, чем лиса, — ибо последняя (по сообщению старинных естествоиспытателей) издали подражает звукам человеческой рвоты, чтобы приманить собак и напасть на них. Однако даже лучший друг врачей не может не признать, что их уголовная судебная или королевская карательная власть подвержена некоторым ограничениям. Согласно европейскому международному праву, одной армии дозволено расстреливать другую отнюдь не стеклянными пулями, а только свинцовыми, и дозволено подсыпать в неприятельские съестные припасы и колодцы отнюдь не яд, а только навоз; подобно этому, хотя меди-

цинская полиция разрешает врачу, представляющему высшее судилище, свободно применять narcotica, drastica, emetica, diuretica и всю фармакологию, и было бы даже нарушением полицейских правил препятствовать ему в этом, — однако, если бы даже самый великий городской или окружной лекарь рискнул угощать население своего судебного округа вместо пилюль шариками настоящего яда, и, вместо сильно действующего рвотного порошка, мышьяковым порошком, то высшие судебные коллегии отнеслись бы к этому серьезно, — если только мышьяк не был прописан лекарем лишь против лихорадки; — и я полагаю даже, что целая медицинская коллегия не избежала бы судебного преследования, если бы человеку, которому она в любое время может вскрыть жилы ланцетами, она попробовала проткнуть их тесаком и попыталась бы уложить его на месте военным, а не хирургическим инструментом; так и в уголовных хрониках можно видеть, что не оставались безнаказанными врачи, которые швыряли человека с моста в воду — взамен погружения в меньшую ванну, минеральную или иную.

Как только парикмахер прослышал, что деньги, выигранные в лотерею покойников, прибыли в гавань, он взмошел наверх и вызвался соорудить своему усопшему жильцу несколько локонов и косу и напутствовать его гребнем и помадой в его нисхождении под землю. Лейбгебер должен был соблюдать бережливость ради бедной вдовы, которая уже и без того была наполовину ошипана столькими клешнями и когтями и клыками погребального персонала, — и он сказал парикмахеру, что может лишь купить у него гребень и засунуть в жилетный карман усопшего, дабы тот мог сам причесаться по своему вкусу. То же самое он сказал и цырюльнику и добавил еще, что в могиле, где, как известно, волосы продолжают расти, все тайное и плодоносное общество щеголяет пышными бородами, подобно шестидесятилетним швейцарцам. Оба коллеги по волосным работам, возвращаясь, как два спутника Урана, вокруг одной и той же планеты, ретировались с укоротившимися надеждами и удлинившимися лицами и кошельками, причем один выразил пожелание, чтобы ему довелось теперь из чувства благодарности побрить погребального церемониймейстера Генриха, а дру-

гой пожелал его причесать. На лестнице они проворчали, что при таких делах неудивительно будет, если мертвец не обретет покоя в гробу, а примется бродить и пугать людей.

Лейбгебер подумал, что есть опасность поплатиться за длительную мистификацию, если кто-нибудь, когда он сам случайно выйдет в соседнюю комнату, — так как перед каждой более долгой отлучкой он запирает дверь, — захочет поглядеть на покойного господина. Поэтому он пошел на кладбище, взял из склепа череп и спрятал под сюртук. Дома он вручил его адвокату и сказал, что если засунуть этот череп под зеленую решетчатую кровать — на которой лежал *defunctus* — и привести в связь с его рукой посредством зеленой шелковой нити, то можно будет, по крайней мере в темноте, извлекать череп в качестве Белидорова напорного шара, или в качестве ослиной челюсти против филистимлян и филистеров, которых пришлось бы отпугивать, если они вздумают нарушить покой неостывшего мертвеца. Конечно, в случае крайней необходимости Зибенкэз мог бы очнуться от своего продолжительного обморока и — что, к тому же, явилось бы одолжением медицинским теориям — прорепетировать сцену апоплексического удара в третий раз; однако череп все же был предпочтительнее удара. Фирмиан со скорбным чувством созерцал эту мансарду души, эту остывшую инкубаторную печь мыслей и сказал: «Стенолазу<sup>1</sup> он бесспорно служит более уютным и спокойным гнездом, чем улетевшей райской птице».

Затем Лейбгебер посетил на дому церковный и школьный причт и внес обрядовые и мостовые сборы, ругаясь про себя, и сказал, что «погребение усопшего состоится послезавтра втихомолку и шито-крыто». Все участие причта должно было выразиться лишь в том, чтобы, — он на это охотно согласился, — положить в карман почтовый сбор, взимаемый за отправку мертвецов на тот свет; исключение составил только один старый бедный школьный служитель, который сказал, что считает грехом взять

---

<sup>1</sup> Как известно, стенолаз, подобно душе (ко занимая больше места), вьет гнездо в черепе.

хоть крейцер с неимущей вдовы, ибо знает, каково терпеть нужду. Но этого-то как раз и не могли знать те, кто был побогаче.

Вечером Генрих сошел к парикмахеру и Ленетте и оставил ключ в двери, ибо теперь, когда возникли слухи о привидении, все жильцы верхнего этажа оробели настолько, что не осмеливались даже выглянуть из своей собственной комнаты. Волосяных дел мастер, все еще злившийся оттого, что не получил разрешения завить шевелюру умершего, напал на мысль, что сможет хоть немного вознаградить себя, прокравшись наверх и начисто срубив волосяной лес. Сбыт волос, как и дров, — тем более, что из первых сплетают кольца и вензеля, — не покрывается их приростом, а потому следовало бы опускать умерших в могилу без гроба и без собственных волос, которые уже и древние срезали для алтаря подземных богов. — Итак, Мербицер проскользнул на цыпочках в комнату и уже раскрыл клешни ножниц. В спальне Зибенкэз поглядел искоса через глазные прорезы маски, и по ножницам и профессии домохозяйина угадал надвигающуюся беду и похищение локона Пюпа. Он понял, что в этой крайности может рассчитывать не столько на свою голову, сколько на безволосую, что под кроватью. Домохозяин, боязливо оставивший дверь за собою открытой на случай отступления, подступил наконец к плантации человеческой черепной растительности и намеревался в этом месяце жатвы выступить в качестве жнеца и, объединив в себе цырюльника с парикмахером, отомстить за обоих. Зибенкэз, пальцы которого были прикрыты, стал, насколько мог, наматывать ими нить, чтобы словно кабаном вытянуть наружу череп; но так как этот маневр подвигался слишком медленно, — а Мербицер, напротив, продвигался слишком быстро, — то в качестве временной меры Фирмиан был вынужден прибегнуть к тому, чтобы, — тем более что дыхание злых духов столь часто касается человека, — выдуть навстречу домохозяину сквозь прорез рта маски длительный ночной ветер. Мербицер не знал, чем объяснить это долгое и подозрительное дутье, навевавшее на него удушливый воздух и смертельный самум; и теплые элементы его организма постепенно выпали в виде ледяных кристаллов. Но, к со-

жалению, покойник, быстро выпалив, израсходовал весь заряд своего дыхания и был вынужден медленно зарядить свое духовое ружье. Этот перерыв позволил похитителю локонов снова прийти в себя и в азарт, а потому он опять вознамерился ухватиться за кисточку ночного колпака и снять этот тонкий и легкий головной убор, словно урожай, с волосяных нив. Но во время хватания он услышал, что под кроватью что-то шевелится, — он остановился и спокойно ждал (так как это могла быть крыса) — во что выльется дальнейший шум. Но среди ожидания он вдруг почувствовал, как что-то круглое перекачивается по его ляжкам и передвигается по ним вверх. Он поспешно опустил свободную руку, — ибо другая держала раскрытые ножницы, — и она бессильно повисла, прикасаясь, словно приложенная по касательной линейка, к восходящему гладкому шару, который и под ней все подымался и подымался. Мербицер мгновенно окостенел и окаменел. Но когда он снова почувствовал, что его опущенная рука приподнимается, и взглянул на появившуюся под ней рукоять, то прежде чем он, скисший и створожившийся, успел осесть на дно (то есть сесть на пол), — испуг наградил его таким пинком, что он стремительно пролетел через комнату, как меткая картечная пуля, извергнутая из пушечного жерла порохом страха. Внизу он вскочил в самую середину комнаты с раскрытыми ножницами в руке, с щиро раскрытыми глазами и пастью, и с такой белильней на лице, что по сравнению с ней его салфетки и пудра казались придворным трауром; однако в этом новом положении Мербицер, — о чем охотно сообщу, чтобы воздать ему честь, — проявил столь много благодарзумия, что ни словом не обмолвился обо всем происшествии: отчасти потому, что, рассказывая о привидении раньше девятого дня, навлекаешь на себя величайшую беду, отчасти же потому, что о своей каперской стрижке волосяной шерсти он вообще не мог бы рассказывать ни в какой день.

Около часу ночи Фирмиан осведомил своего друга обо всем происшествии с такой же точностью, какую я сам здесь старался соблюдать по отношению к читателю. — Это навело Лейбгебера на удачную мысль поставить у траурного ложа высокопоставленного покойника внушительный траурный караул, в который он, за неиме-

нием камергеров и прочей придворной челяди, смог назначить лишь гончую.

В последнее утро, которое должно было отказать от квартиры нашему Зибенкэзу, прибыла *saза santa* человека, эта *chambre garnie*, — наша последняя плодовая коробочка, а именно гроб, за который пришлось уплатить, сколько запросили. «Вот последнее официально разрешенное сооружение в сей жизни и последний обман плотников» — сказал Генрих.

После полуночи, около половины первого, когда уже не видно было ни одного нетопыря, ни одного ночного сторожа, ни одного ночного гуляки, ни одного ночника, а слышны были лишь несколько кузнечиков в скирдах и несколько мышей в домах, Лейбгебер сказал тоскующему любимцу: «Теперь выступай в поход. Ты и так ни минуты не был счастлив и весел, с тех пор как совлек с себя брентную плоть и отошел в вечность. Обо всем прочем я сам позабочусь. Жди меня в Гофе на Заале; мы должны еще раз увидеться после смерти». Плачущий Фирмиан молча принял к его горячему лицу. В этот пред-рассветный час он еще раз пробежал по всем цветущим лужайкам прошлого, по выходе из которых он словно погружился в могилу; его размягченное сердце спешило излить последние слезы на каждое платье его скорбной, утраченной Ленетты, на каждую работу и на все, что носило на себе отпечаток ее трудолюбивых рук, — ее свадебный букет из роз и незабудок он плотно прижал к своей жаркой груди, подавляя рыдания, и словно выброшенный землетрясением с родной земли на ледяной берег чужбины, проскользнул вниз по лестнице вслед за своим лучшим другом, пожал ему вниз у порога его руку помощи, и вскоре ночь заслонила его могильным холмом своей гигантской тени. — Когда он исчез, Лейбгебер дал волю слезам; капли падали на каждый камень, который он запрятывал в гроб, и на старую колоду, которую он заключил в свои объятия, чтобы уложить в гробовую раковину груз, соответствующий весу трупа. Заполнив приют людских тел, он запер ковчег завета и повесил ключ от гроба, словно черный крестик, себе на грудь. — Теперь он впервые спокойно заснул в обители скорби: все было совершено.

Наутро он не утаил от носильщиков и от Ленетты, что тело, собственноручно и с большим трудом, уже уложено им в гроб. Она хотела еще раз увидеть своего усопшего супруга; но ключ от пестрого футляра Генрих где-то затерял в темноте. Нося ключ с собой, он усердно помогал искать его, — но это было совершенно тщетно, и многие присутствующие скоро догадались, что Генрих лишь обманывает вдову, не желая еще раз показывать ее заплаканным глазам сконцентрированный объект скорби. Неся в мнимом гробу безбилетного пассажира, шествие направилось на кладбище, блиставшее росой под свежим голубым небом. Ледяной холод пополз по сердцу Генриха, когда он прочел текст могильной плиты. Она была снята с могилы деда Зибенкэза (превращенной в плоскую гернгутеровскую) и перевернута, и на гладкой стороне блестящая вырезанная надгробная надпись: «Стан. Фирмиан Зибенкэз скончался 24 августа 1786...» Это имя прежде принадлежало Генриху, а его теперешнее «Лейбгебер» значилось на обратной стороне монумента. Генрих размышлял о том, что через несколько дней он, лишившись имени, словно ручеек затеряется в океане человечества и, утратив свои берега, сольется с чуждыми волнами, — ему казалось, будто сам он, со своим старым и новым именем, нисходит в могилу; он испытывал такое смешение чувств, словно прирос к замерзшему потоку жизни, а жаркое солнце сверху жжет льды, и он лежит там между зноем и льдом. К тому же тут прибежал советник, прижав платок к глазам и носу, и с горестным лепетом сообщил только что полученную в местечке новость, что старый король прусский скончался семнадцатого текущего месяца. — Первым движением Лейбгебера было взглянуть на утреннее солнце, словно из него око Фридриха шлет утреннее пламя на землю. — Легче быть великим королем, чем добродетельным; легче вызывать удивление, чем одобрение; король прилагает *мизинец* к длиннейшему плечу огромного рычага и, подобно Архимеду, действуя лишь мускулами пальца, поднимает корабли и земли; но велики лишь машина и ее строитель — рок, а не тот, кто ее применяет. Каждый слог речи короля отдается громовым эхо в бесчисленных долинах вокруг него, а исходящий от него тепловатый луч отражается от бесчисленных плоских

зеркал в виде сосредоточенного жгучего фокуса. Но Фридриха трон мог лишь в высокой степени *унизить*, ибо вынужденный *сидеть* на троне, он не мог *встать во весь рост*, и ум Фридриха мог бы лишь свободнее развиваться, не будь его голова заключена в парфорсный ошейник и заколдованный круг столь тесного венца. И еще менее мог ты, великий духом, достигнуть счастья; ибо, хотя внутри себя ты разрушил Бастилию и темницу низменных страстей; хотя своему духу ты даровал то, что Франклин миру, а именно громоотвод, гармонию и свободу; хотя ты считал самым прекрасным и стремился максимально расширить царство истины; хотя кастрированной философии галльских энциклопедистов ты позволил отнять у тебя лишь вечность, но не божество, и лишь веру в добродетель, но не самую добродетель, — однако твое любящее сердце получило в дар от дружбы и человечества лишь отзвук их вздохов — флейту; и твой дух, подобно бразильской сосне часто разрывавший своими гигантскими корнями скалу, на которой он произрастал, твой дух испытывал — от яростной борьбы твоих желаний с твоими сомнениями, от борьбы твоего идеального мира с действительным и с воображаемым тобою — разлад, который без утешительной веры в иной мир не мог плавно разрешиться созвучием, а потому ты не мог обрести покоя ни на троне, ни возле него, нигде, кроме теперешнего места твоего упокоения.

Иные люди в одно мгновенье оживляют перед нашим взором все человечество, как иные события — целую жизнь. В раскрытую грудь Генриха ударили осколки рухнувшей горы, обвал которой он услышал.

Встав у открытой могилы, он произнес следующую речь, больше обращенную к невидимым слушателям, чем к видимым: «Итак, надгробная надпись является некой *versio interlinearis* столь мелко отпечатанной жизни? — Сердце не ведает покоя до тех пор, пока не будет, подобно голове, заключено в золотую оправу.<sup>1</sup> — О ты, сокрытый бесконечный, преврати могилу в суфлерскую будку

---

<sup>1</sup> Как известно, королевское сердце помещают в золотой гробовой футляр.

и скажи, как должен я мыслить обо всем театре. Впрочем, что есть в могиле? Немного праха, немного червей, холода и мрака, — клянусь небом, над нею тоже нет ничего лучшего, если не считать, что там это еще и ощущают. Господин советник, время торчит за спиной нашего брата и читает календарь жизни так бегло, перелистывая один месяц за другим, что я могу себе представить, будто вырытый здесь ров могилы, этот крепостной и замковый ров вокруг наших воздушных замков, удлинился и зияет у моей постели, и меня с постельных простынь вытряхивают, — как шпанских мушек, которых стряхнули с ветвей и собрали, — в эту подвальную духовку. Извольте, сказал бы я, — извольте, я попаду либо к старому Фрицу, либо к его червям — и на этом баста! Клянусь небом, стыдно ощущать в себе жизнь, когда величайшие люди уже лишились ее. — А теперь фьюить!»

## ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА

*Мимходом в «Фантазии». — Снова на Биндлохской горе. — Бернек, раздвоение личности. — Джефрис, обмен платьем. — Мюнхберг, на свистывание. — Гоф, Скала радости, двойное прощание и Тёпен.*

Генрих теперь пустил в ход больше крыльев, чем серафим, чтобы скорее полететь вдогонку за своим другом. Он поспешно уложил в пакет его писания и адресовал их в Вадуц, — запечатанное завещание, изделие общинного писца, было вручено местным властям, — от последних были испрошены свидетельства о смерти, дабы прусская вдовья касса видела, что ее не обманывают, — а затем он отчалил, наделив еще несколькими вескими утешениями и несколькими вескими дукатами удрученную соломенную вдову, которая, в своем клетчатом ситце, соблюдала подобающий траур.

Теперь мы, раньше, чем он, догоним и проводим его усопшего друга. В первый час ночного пути лишь беспорядочные картины прошлого и будущего теснили одна другую в сердце Фирмиана, и ему казалось, будто для него не существует настоящего и между минувшим и гря-

душим простирается сплошная пустыня. Но вскоре прохладный, изобильный месяц жатвы — август — возвратил ему проигранную жизнь, и когда настало сияющее утро, то земля простерлась пред ним мирной и светлой после низвергнутой грозы, о молниях которой теперь напоминало лишь их прекрасное подобие — сверкание капель на колосьях, словно озаренных луной. — То был новый мир, а он был новым человеком, который проломил гробовую скорлупу и вышел с созревшими крыльями, — обширная, болотистая, мрачная пустыня, по которой он долго скитался в мучительном сне, исчезла вместе со сном, и он бодро и зорко взглянул на эдем — далеко, далеко, особенно за последнюю неделю, протянулись извилины страдальческого пути, сообщающие нашей краткой жизни иллюзию чрезмерной длины и дали — подобно тому, как коротким аллеям сада сообщают извилинами обманчивую протяженность. Вместе с тем, его облегченную, избавленную от прежних тяжестей грудь вздымали глубокие вздохи, то тревожные, то радостные, — ибо он слишком углубился в Трофониеву пещеру могилы и слишком близко видел смерть, — поэтому ему представилось, что наши селения, виноградники и воздушные замки расположены на вулкане могильного холма, с его кратером, и будут засыпаны в ближайшую же ночь. Сам себе он казался одиноким, извлеченным из могилы и воскресшим, а потому каждое человеческое лицо представлялось ему в сиянии, словно лицо брата, вновь обретенного после разлуки. «Это мои оставленные на земле собратья» — говорило его сердце, и горячая, вешняя, плодоносная любовь разливалась по всем его фибрам и жилам, и оно своими нежными, цепкими ростками плеща обвивалось вокруг каждого чужого сердца, — но самого дорогого оно еще слишком долго было лишено; поэтому он шел очень медленно, чтобы Лейбгебер, которого он опередил в странстве и во времени, мог его нагнать раньше, чем он достигнет Гофа. Сотни раз он почти невольно оборачивался на пути и озирался, словно уже мог увидеть друга, спешащего ему вдогонку и настигающего.

Наконец, он прибыл в байрейтскую «Фантазию», в такое утро, когда мир блестел каплями росы до самых серебристых облаков; но всюду было тихо; умолкли все

ветерки, и август уже не имел певцов ни в своем воздухе, ни в кустарниках. Фирмиану казалось, что он, распростившись со смертными, бредет по иному, просветленному миру, где образ его Натали, с любовью в очах, с задушевными словами, мог свободно, отрешившись от земных уз, шествовать рядом с ним и говорить ему: «Здесь ты благодарным взором взглянул на звездную ночь, — здесь я отдала тебе мое израненное сердце, — здесь мы решили расстаться в земной жизни, — а здесь я часто бывала одна и вспоминала о твоём кратком появлении». — «Но здесь, — сказал он себе, когда пред ним предстал прекрасный дворец, — она в последний раз проливала слезы в этой прелестной долине, расставаясь со своей подругой».

Теперь она одна была просветленной; он казался себе покинутым, взирающим ей вслед в другой мир. Он чувствовал, что больше не увидит ее на этом свете. «Но люди, — сказал он себе, — должны уметь любить, не видя друг друга». Всю его убогую будущность станут освещать лишь небесные грезы. Но настоящий человек, подобно дереву (по Бонне), растет столько же в воздухе — или в небе, — как и в земле, питаясь и там и здесь; и теперь Фирмиан еще больше, чем прежде, жил грядущим, углубившись в видимую землю лишь немногими отростками своего Я; все дерево, с ветвями и кроной, стояло на воле и впитало своими цветами воздух небес, освежаемое лишь живительными мыслями о незримой подружке и о незримом друге.

Наконец, волшебные ароматы сна сгустились в туман. Пред Фирмианом возник образ Натали, скорбящей об его смерти, — чувство одиночества сдавило его сердце, и душа, до боли томимая любовью, несказанно возжаждала близости любящего существа; но это существо, его Генрих, еще мчится позади, стремясь его догнать.

«Господин Лейбгебер, — вдруг воскликнул чей-то голос, спешащий вдогонку. — Пойдите же! Вот ваш платочек, я его нашла там внизу».

Он оглянулся: та самая девочка, которую Натали вытащила из воды, подбежала к нему с белым платком. Так как его собственный был при нем, и малютка удивленно оглядела его и сказала, что платок он уронил за

час до того, внизу у бассейна, но тогда был одет не в такой длинный сюртук, — то радость хлынула в его сердце: Лейбгебер уже прибыл и побывал внизу.

Взяв платок, он стремительно побежал в Байрейт. Платок был влажен, словно к нему прижимались плачущие глаза друга; Фирмиан пылко прижал его к своим, но уже не мог этим осушить их; ибо он представил себе, как живет в одиночестве Генрих, осуществляя собственное изречение: «Кто щадит свои чувства и таит их в себе, словно под броней, тому они причиняют наибольшие страдания: так и на пальце самой чувствительной является кожа под ногтем». — В гостинице «Солнца» он узнал от кельнера Иоганна, что Лейбгебер действительно прибыл с полчаса тому назад и ушел. Не обращая никакого внимания на окружающее, словно ослепленный и оглушенный, помчался за ним Фирмиан по дороге в Гоф и настолько стремительно преследовал своего друга, что забыл даже о влажном платке.

Нескоро увидел он Генриха за селением Биндлох, на длинном подъеме, представляющем собою настоящую горную дорогу, по которой нельзя было быстро продвигаться ни вверх, ни вниз. Лейбгебер карабкался вверх как только мог скорее, чтобы нагнать адвоката, неожиданно для него, еще перед Гофом, хотя бы в Мюнхберге или Джефрисе, а то и в Бернеке, отстоящем от Байрейта на несколько часов почтовой езды.

Но разве не вышло все в десять раз лучше? Ведь Зибенкэз, находясь у подножия горы, наконец увидел Генриха наверху, недалеко от ее плоской вершины, и окликнул его по имени, и тот не услышал; и он изо всех сил побежал с платком в руке вслед за медлительным другом, уставшим от восхождения на гору; и наверху случайно тот обернулся, чтобы обозреть залитый солнцем окрестный ландшафт, и увидел весь Байрейт и под конец даже — бегущего друга. И, наконец, они, спеша — один с горы, другой на гору — сблизились, но не как две враждебных армии, а как два увенчанных цветами, пенящихся кубка радости при заздравном тосте дружбы.

Генрих вскоре угадал, что в душе его друга борются, сплетаясь, могучие и разрушительные силы, прошедшее и будущее; поэтому он попытался примирить и умудо-

стивить «наяд потока слез». «Все сошло чудесно, и все здоровы, — сказал он, — теперь ты свободен, как я, — цепи сброшены, мир открыт пред тобою, — вступи же в него бодро, как я, начни, наконец, жить по-настоящему». — «Ты прав, — сказал Фирмиан, — мы поделились, словно после смерти, радостно и тихо, и над нами теплое, любящее небо». Поэтому он и не решился спросить о покинутых, в особенности о вдове. Лейбгебер выразил много радости по поводу того, что перегнал его уже за четыре перегона перед Гофом. «Это мне тем приятнее, — сказал он, — что ты сможешь еще очень долго провожать меня до Гофа, где нам предстоит расстаться», — это последнее он, в сущности, и хотел сказать и подчеркнуть.

Теперь начались, чтобы предотвратить проявление растроганности, его шуточки насчет умирания, которые, как настоящие придорожные столбы или каменные скамьи, выстроились вдоль всего шоссе до Гофа, и которые все мы должны захватить с собою на этом пути, чтобы не пришлось возвращаться за ними. Он спросил Фирмиана, хватило ли ему порционных денег, которые он ему дал с собою, как их давали древние германцы и римляне и египтяне своим покойникам, — он признал, что Фирмиан, должно быть, очень благочестив, ибо, едва успев совлечь с себя брэнную плоть, уже воскрес из мертвых, и что он подтверждает учение Лафатера о существовании двух видов воскресения из мертвых, более раннего для набожных и более позднего для безбожников. Далее он заявил: «После твоей кончины ты не мог бы иметь лучшего архимима,<sup>1</sup> чем я; и каждая муха, которую я видел пробегающей по твоей руке, напоминала мне о древних римлянах: справедливо полагая, что если муха садится на руку, это не будет на-руку, они назначали к каждому покойнику слугу с опахалом против мух; не соблюдая этого священного обычая, я совершил греховное упущение». Походка Лейбгебера и ход его мыслей скорее походили на целый ряд скачков: «Я счастлив и свободен, — сказал он, — пока я на вольном воздухе, — под облачным небом

<sup>1</sup> Архимим — актер у древних римлян, который при погребении воспроизводил покойного всей своей мимикой. (Сатиры А. Персия Флакка.)

я становлюсь безоблачным. — В молодости резкий северный ветер жизни лишь служит человеку попутным ветром; и, клянусь небом, я моложе, чем любой рецензент».

В Бернеке они переночевали между высокими мостовыми устоями гор, между которыми некогда мчались моря, покрывшие нашу планету наносами для будущих полей. Время и природа, великие и всемогущие, покоились рядом, на границах своих царств — между высокими отвесными обелисками в память сотворения мира, среди незыблемых гор, безлюдные горные замки распадались в руины и между округлыми зеленеющими холмами были разбросаны обломки утесов и каменные глыбы, словно разбитые скрижали первых дней творения.

Когда они подошли к Бернеку, Генрих сказал: «Пасторы отсюда до Вадуца не должны знать, что ты отошел от жизни в вечность; иначе они истребуют с тебя плату за требы, которую обязан вносить каждый мертвец в каждый пасторат на пути своего следования». — «Если бы мы находились не в Бернеке, а в древнем Риме, — сказал он перед гостиницей, — то хозяин впустил бы тебя в дом лишь через дымовую трубу; а будь это в Афинах, тебе пришлось бы пролезть сквозь кринолин,<sup>1</sup> как это приходится делать, если хочешь пролезть на духовную должность». — Имея столь неисчерпаемую тему для шуток, он никак не мог остановиться, — чем он, к своей невыгоде, отличается от меня, — и говорил, что к метафорам и аналогиям применимы слова Руссо о золотых монетах: первую раздобыть труднее, чем тысячу последующих.

Поэтому вечером он был не в силах удержаться от остроты, когда увидел, что адвокат обстригает ногти. «Глядя на тебя, я не понимаю, почему Катерина Викри, ногти которой пришлось аккуратно окарнать через двести пятьдесят лет после ее смерти, не могла этого сделать сама с таким же успехом, как ты теперь, после того как отдал душу богу». Когда же он увидел, что тот в постели повернулся на левый бок, то ограничился замечанием,

<sup>1</sup> На то и другое должны были соглашаться те, кого сочли мертвыми и в качестве таковых почтили погребением. «Археология» Потгера, в переводе Рамбаха, стр. 530 и последующие.

что адвокат вздымает и опускает свою перину совершенно так же, как евангелист Иоанн по сие время свою земляную перину, то есть могильную насыпь.<sup>1</sup>

На следующее утро небольшой дождь оросил эти цветы юмора. Когда Лейбгебер омывал холодной водой свою волосатую львиную грудь, адвокат увидел, что он откидывает маленький ключ, и спросил, что можно им отпереть. — «Отпереть — ничего, — сказал тот, — но он послужил для того, чтобы *запереть* заполненный *sepotaphium*». <sup>2</sup> Чтобы незаметно осушить глаза, Фирмиан был вынужден выглянуть из окна; продолжая оставаться в этом положении, он сказал: «Дай мне ключ, — он словно отпущенная на воске копия будущего подлинника, — я превращу его в музыкальный ключ моих душевных мелодий и повешу на стену и буду ежедневно глядеть на него, а если струна моих благих намерений ослабнет, я вновь натяну ее этим ключом настройщика». Он получил ключ. Тут Лейбгебер случайно поглядел в зеркало. «У меня почти что двойтся в глазах, а то и тройтся, — сказал он, — одно из моих Я несомненно умерло, или то, что внутри, или то, что снаружи. Кто же тут в комнате действительно умер и затем является другому? Или мы оба лишь мерещимся самим себе? — Эй, вы, три моих Я, что вы скажете о четвертом?». — спросил он и повернулся к их обоим зеркальным отражениям, а затем к Фирмиану и сказал: «Вот и я здесь!» — В этих речах было нечто зловещее для лейбгеберовского будущего, и Фирмиан, которого, при всем его душевном волнении, холодный рассудок заставил опасаться, что под влиянием одиноких скитаний Генриха иллюзорное раздвоение его личности примет угрожающие размеры, сказал с нежной заботливостью: «Милый Генрих, если в твоих вечных странствиях ты останешься столь одиноким, то, я боюсь, это повредит тебе. Ведь и сам бог не одинок, ибо созерцает вселенную».

«Я могу даже и в полном одиночестве всегда быть троим, даже не считая вселенной, — ответил Лейбгебер,

<sup>1</sup> Комментарий Августина к Евангелию от Иоанна, XXI, 23.

<sup>2</sup> Или же *tumulus honorarius*: так называлась пустая гробница, сооруженная друзьями для мертвеца, тело которого не удалось отыскать.

странно растроганный гробовым ключом, и подошел к зеркалу и, надавив указательным пальцем глазное яблоко, сместил его вбок, так что увидел свое отражение двойным, — но третьего лица ты там, конечно, не увидишь». — Однако, заметив, что его друга это мало обрадовало, и желая его успокоить, он подвел его к окну и продолжал несколько веселее: «Там внизу, па улице, мне это, конечно, удастся лучше, и общество получается гораздо больше; я приставляю указательный палец к глазу и немедленно фабрикую каждому, кто бы он ни был, его близнеца, и имею как любого трактирщика, так и его мелок, в двух экземплярах. Когда в заседание идет хотя бы самый бесподобный президент, я его наделяю созданным по его образу и подобию орангутангом, и оба идут передо мною tête à tête. — Если гений желает иметь подражателя, то по указке моего указательного пальца сразу же возникает живое facsimile. — Со всяким ученым сотрудником трудится еще один сотрудник, к командирам прикомандировываются еще командиры, единственные сыновья становятся двойственными; ибо, как ты видишь, я всегда имею при себе свой скульпторский талант, свою тычинку, свою стекку, а именно палец. — И лишь в редких случаях я позволяю солисту-танцору прыгать не на четырех ногах, и в воздухе он у меня висит в виде пары; посуди же, сколько я выигрываю такой группировкой одного-единственного парня и его конечностей. — Сочти, наконец, какой получается прирост народонаселения, если я даже целые похоронные и прочие процессии удваиваю в двойников, усиливаю каждый полк целым полком фланговиков, которые во всем проделывают и выделывают все, что полагается; ибо, как уже сказано, я, подобно саранче, имею при себе яйцеклад, то есть палец. — Из всего изложенного ты, Фирмиан, почерпнешь, по крайней мере, то утешение, что я наслаждаюсь более многолюдным обществом, чем все вы, а именно ровно вдвое большим и притом сплошь состоящим из особ, которые, передразнивая, как обезьяны, самих себя каждым движением, так легко могут развеселить чем-нибудь поистине смехотворным!»

Затем оба поглядели друг другу в лицо, но вполне дружелюбно и радостно и без неприятного осадка от

предшествующей дикой шутки. Посторонний в этот миг испугался бы их сходства, ибо каждый был гипсовым слепком с другого; но для обоих любовь сделала их лица несходными; каждый видел в другом лишь то, что он любил вне собственного Я, и с чертами их лиц дело обстояло так же, как с прекрасными поступками, которые нас умиляют или даже удивляют в других, но не в самих себе.

Когда они снова оказались под открытым небом и на пути в Джефрис, и гробовая отмычка, вместе с предыдущими разговорами, непрестанно напоминала им о разлуке, смертоносная коса которой, описывая дугу, приближалась к ним с каждой пройденной милей, то Генрих попытался направить в затуманенную душу Фирмиана несколько розовых лучей тем, что вручил ему подробный каждодневный протокол всего сказанного и сделанного у вадудского графа. «Хотя граф подумал бы лишь, — сказал он, — будто ты забыл эти беседы, но так все же будет лучше. — Ты, словно невольник-негр, покончил с собою, чтобы попасть на свободу и на золотой берег твоего серебряного берега, — и было бы адски несправедливо, если бы ты еще угодил в ад после твоей кончины». — «Я никогда не смогу тебя достаточно отблагодарить, мой дорогой, — сказал Фирмиан, — но ты не должен был бы еще больше затруднить мне это, и, словно протянутая с небес рука помощи, вручив мне все свои лары, снова скрыться за тучами. Скажи, почему после нашей разлуки я больше не должен с тобою встречаться?» — «Во-первых, — отвечал тот хладнокровно, — люди — граф, вдовья касса, твоя вдова — могут проведать, что я существую в двух изданиях, что было бы страшной бедой в здешнем мире, где человека едва терпят в одном подлинном экземпляре, одноместном и односпальном. Во-вторых, на земном корабле глупцов я намерен выбирать для себя такие дурацкие роли, которых не буду стыдиться до тех пор, пока меня ни один чорт не знает. — Ах, да, у меня были и другие веские аргументы! — Мне, кроме того, нравится, что я смогу столь неожиданно, стремительно, необузданно, как игра природы, как *diabolus ex machina*, как чуждый всем лунный камень, свалиться с луны, на землю к людям. Итак, решено, Фирмиан. Быть

может, через много лет я тебе пошлю одно-другое письмо, тем более, что галаты<sup>1</sup> адресовали умершим письма и отправляли их на костер, словно на почту. — Ну, теперь мы на этом и порешим, не правда ли?» — «Я бы не подчинился всему этому так легко, — сказал Зибенкэз, — если бы у меня не было все же предчувствия, что я с тобой вскоре снова встречу; ведь я не таков, как ты: я уповаю на два свидания, одно внизу, другое наверху. Дай бог, чтобы и я помог тебе как-нибудь умереть, как ты помог мне, и мы затем снова свиделись бы на некой Биндлохской горе, но дольше оставались бы вместе!»

Если читателям это пожелание напомнит Шоппе в «Титане», то они отсюда усмотрят, в каком смысле судьба часто истолковывает и исполняет наши пожелания. — Лейбгебер ответил только следующее: «Надо уметь любить друг друга, и не видясь. И, в конце концов, можно любить даже самую любовь, а ее мы можем каждый день видеть в самих себе».

В джефрисской гостинице Лейбгебер предложил ему воспользоваться столь кстати представившимся досугом (так как ни внутри, ни вне этого городка, с его единственной улицей, нечего осматривать), чтобы обменяться платьем, в особенности потому, — привел он в качестве существенного основания, — что тогда вадудский граф, который его много лет видел лишь в теперешнем одеянии, не заметил бы в адвокате ничего странного и нашел бы все в точности таким же, как прежде, вплоть до каблучков, подбитых гвоздями. Словно широкий сноп теплых лучей февральского солнца проник в душу адвоката при мысли, что он будет как бы обнят руками Генриха и охвачен и согрет всеми его внешними реликвиями. Лейбгебер вышел в соседнюю комнату и сначала выбросил оттуда через полуоткрытую дверь свою короткую зеленую куртку и крикнул: «Давай сюртук», — затем вслед за галстуком и жилетом, длинные брюки со штрипками, говоря: «Давай короткие», — и, наконец, даже свою рубашку, со словами: «Давай саван!»

Влетевшая рубашка сразу сделалась для адвоката истолковательницей мысли Лейбгебера; он угадал, что пере-

---

<sup>1</sup> Alexand. ab. Alex. III 7

сёлением тел в платъа тот преследовал более возвышенную цель, чем театральное переодевание для вадудской роли, а именно хотел обитать в оболочке, облакавшей его друга. В целом томе геллертовских или клопштоковских писем, полных дружбой, и в целой неделе жертвенных дней Лейбгебера адвокат не ощутил бы столько любви и отрады, как в этом унаследовании платъа. Догадку, осчастливившую его, он не хотел профанировать, высказав ее; но подтверждение ей он усмотрел в том, что когда Лейбгебер вышел переодетый Зибенкэзом, то ласково поглядел на себя в зеркало и затем безмолвно возложил на лоб Фирмиана свои три перста: это у него было наивысшим проявлением любви; а потому и меня и Фирмиана обрадовало, что Генрих во время обеда (причем разговор шел о маловажных предметах) повторил этот жест свыше трех раз. Как много и долго шутил бы насчет сбрасывания скорлупы Лейбгебер в иное время и в ином настроении! Уж, конечно, он не преминул бы (ограничимся лишь несколькими предположениями) воспользоваться взаимным переплетением их двух фолиантов, чтобы ввергнуть господина Лохмюллера — хозяина джефрисской гостиницы — в величайшее и превеселое замешательство этой путаницей, из которой названный любезный человек не мог бы выпутаться до той самой минуты, когда ему пришла бы на помощь эта четвертая книга, которая сейчас еще находится в Байрейте и даже еще не побывала под типографским прессом? — Но Лейбгебер ничего этого не сделал; да и по части остроумия ограничился лишь немногими и слабыми, а именно говорил о себе и друге как о подменных детях и об их подменном действе, о быстрых французских переходах людей *en longue robe* в людей *en robe courte*; — и, кроме того, он, кажется, заявил, что впредь намерен называть Зибенкэза уже не «блаженной памяти преображенным в сапогах», а «в башмаках», ибо это будет пристойнее и звучит несколько более возвышенно.

Он особенно обрадовался, увидев, как его собака, гончая, растерялась среди прежних тел и новых одежд, словно между двух огней любви, и многократно принималась длинным носом то к одному, то к другому; конкордат между обеими партиями, урезки одной и прира-

щения другой поставили живётное втупик, но не наста-  
вили на ум. «За то, что она себя так ведет с тобой, —  
сказал Лейбгебер, — я ее ценю вдвое больше; уверяю  
тебя, она отнюдь не становится неверной мне, когда верна  
тебе». Едва ли он мог сказать адвокату что-нибудь более  
ласковое.

На всем длинном и безлесном пути из Джеффриса  
в Мюнхберг адвокат из благодарности всячески старался  
отражать на Генриха солнечные лучи веселости, кото-  
рыми тот постоянно стремился осветить его. Фирмиану  
это было нелегко, в особенности когда он глядел, как его  
друг шагает в длинном сюртуке. Наиболее тяжело Фир-  
миану стало в Мюнхберге, являвшемся последней оста-  
новкой перед Гофом, где длительное отдаление должно  
было как бы ампутировать им руки, которыми они обни-  
мали друг друга.

Пока они, более молчаливые, чем до сих пор, шли по  
большой гофской дороге, и Лейбгебер был впереди, по-  
следний снова оживился при виде Фихтельгебирга, пока-  
завшегося справа, и принялся — как он всегда привык  
делать в пути — насвистывать веселые и печальные на-  
родные мелодии, большей частью в миноре. Он сам го-  
ворил, что считает себя свистуном, не заслуживающим  
освистания, и, как ему кажется, славно орудует своим при-  
рожденным почтовым рожком пешего почтальона. Но Фир-  
миану при мысли о столь близком прощании эти звуки —  
словно отголоски долгих прежних и одиноких будущих  
странствий Генриха — казались заунывными песнями  
швейцарских пастухов, надрывавшими ему сердце, и он,  
к счастью, идя позади Генриха, не смог, несмотря на все  
усилия, удержаться от слез. — О, пусть умолкнут песни,  
когда сердце переполнено скорбью, но не смеет ее из-  
лить!

Наконец, он смог придать своему голосу столько спо-  
койствия, чтобы как ни в чем не бывало спросить: «Ты  
охотно и часто насвистываешь в пути?» Однако в самом  
тоне вопроса как-то чувствовалось, что ему эта музыка  
не доставляет столько радости, сколько самому музы-  
канту. «Всегда, — отвечал Лейбгебер. — Я освистываю  
жизнь, всемирный театр, и то, что в нем представляют,

и прочее — многое из прошлого — и, музицируя словно карлсбадский башенный сторож, приветствую будущее. Разве тебе не нравится? Может быть, мой свист фальшивит в фугах или нарушает правила чистой гармонии?» — «О, нет, он только слишком хорош» — сказал Зибенкэз.

Тогда Лейбгебер начал снова, но раз в десять громче, и исполнил на органчике своего рта столь прекрасную мелодичную пьеску, что Зибенкэз четырьмя размашистыми шагами догнал его и, — причем он одновременно прижал левой рукой платок к своим влажным глазам, а правой нежно коснулся губ Генриха, — сказал ему прерывающимся голосом: «Генрих, пощади меня! Не знаю, отчего, но сегодня каждая нота слишком сильно волнует меня». Музыкант посмотрел на него, — весь внутренний мир Лейбгебера сосредоточился в этом взоре, — затем он резко кивнул головой и молча пошел большими шагами впереди Фирмиана, не видя его и невидимый им. Но руки, быть может невольно, продолжили несколько мелодий, слегка двигаясь в такт.

Наконец они, удрученные, добрались до Грэбстрит или монетного двора, где я грунтую и раскрашиваю<sup>1</sup> эти ассигнации для целых полушарий, а именно — до Гофа. Разумеется, для меня не очень выгодно, что мне тогда осталось совершенно неизвестным все, о чем теперь от меня узнает половина Европы, — тогда я был гораздо моложе и, желая сформировать свою голову, одиноко сидел дома, ибо многолюдие при этом гораздо менее желательны, чем при формировании головы походной колонны. Для юноши легче, приятнее и полезнее перейти из одиночества в общество (из теплицы в сад), чем наоборот, с рыночной площади в уединенный угол. Исключительная нелюдимость и исключительная общительность вредны, и, за исключением их *степени*, важнее всего их *чередование*.

В Гофе Зибенкэз заказал у хозяина гостиницы две комнаты, так как думал, что Лейбгебер расстанется с ним только утром. Но тот, — его уже давно раздражали собственное заранее вынесенное решение о разлуке и боязнь

---

<sup>1</sup> Это указание относится к 1796 году.

ее, — мысленно поклялся, что еще сегодня осуществит разрыв между обеими душами, а затем немедленно ретируется на саксонскую территорию, хотя бы и в одиннадцать с четвертью часов ночи, — но, во всяком случае, сегодня. Он, не возражая, вселился в свою комнату, отпер дверь в смежную зибенкэзовскую и стал думать о мелодиях, которые сегодня насвистывал: у него, как и у адвоката, они еще звучали в памяти, если не в сердце; но вскоре он выманил его из опустевшей глухонемой комнаты в развлекающую суматоху общего зала; однако и там он оставался недолго и, — когда молодой месяц, словно горящая лампа, встал над своим фонарным столбом, возвышавшимся на рыночной площади, — попросил своего друга предпринять с ним плавание вокруг города. Оба пошли и взобрались наверх по аллее и взглядели вниз, на гофские сады, разбитые в городском рву и, может быть, пригодные для замены искусственных лугов, так как эти сады, больше чем иные луга, засеяны для скота. Отсюда я заключаю, что Лейбгебер, побывавший в Швейцарии, столь поздно ночью сделал следующее замечание, — ибо видел перед собою местность, которую природа украсила и усыновила, а искусство лишило наследства: «Жители Гофа подобны швейцарцам, вся страна которых — сплошной английский сад, за исключением немногих имеющихся в ней садов».

Описывая вокруг города все более обширные концентрические круги, друзья перешли через мост, с которого они увидели только поросший травой эшафот; он им напомнил другой пояс льдов с его кратером, где они растались ночью ровно год тому назад, но с более отрадной надеждой на более скорое свидание. Двое таких друзей, как эти, всегда мыслят одинаково в сходных положениях; каждый является если не унисоном, то октавой, квинтой, квартой другого. В темной обители скорбной души своего друга Генрих попытался зажечь немного света посредством шеста деревянной птицы, — который, словно командирский жезл или пожарный багор, торчал недалеко от местонахождения высшей инстанции королевского суда, — и заметил: «Король стрелков имеет здесь под рукою (помимо шеста для прыгания и подъемного рычага, посредством которых ты поднялся до ранга

кушнапельского великого негуса и могола) превосходный собственный эшафот, свой злодейский Синай, на котором он может как давать свои законы, так и отмищать за их нарушение. . . Бюфонов закон природы, гласящий, что каждому холму противостоит другой, одинаковый по высоте и материи, распространяется на многие взаимно координированные высоты, например, здесь эшафот и трон, — в больших городах аристократические и публичные дома, — оба хора в церквях, — пятый этаж и Пинд, — театральные сцены и сверхштатные профессорские кафедры».

Так как Фирмиан, погруженный в более печальные сравнения, молчал, то замолчал и Лейбгебер. Далее он повел его — ибо превосходно знал всю местность — к другому возвышению, имевшему более красивое название, а именно — Скала радости. Когда они карабкались к ней в гору, Фирмиан наконец задал Генриху смелый вопрос: «Скажи мне, — я к этому готов — прямо и честно, когда ты навсегда уйдешь от меня?» — «Тотчас» — отвечал Генрих. Под предлогом облегчения подъема на горный хребет, одетый в душистые горные травы, каждый держался за руку другого, и в это время каждая рука сжимала другую как бы случайно и механически. Но скорбь пронизывала сердце Фирмиана все более разрастающимися корнями и разрывала его, как древесные корни скалу. Фирмиан прилег на сером скалистом выступе, — который был отдельно от других вбит в зеленеющую возвышенность, словно каменный пограничный столб, — и привлек к себе на грудь своего уходящего любимца. «Присядь еще хоть раз поближе ко мне» — сказал он. Каждый стал — как это всегда делают друзья — показывать другому все, что видел. Генрих показал Фирмиану разбитый у подножья горы лагерь города, который казался приникшим и дремлющим и в котором ничто не двигалось, кроме мерцающих огней. Под лучами месяца река, словно гигантская змея с переливчатой чешуей на спине, обвилась вокруг города и вытянулась из-под двух мостов. Неяркое сияние месяца и белые прозрачные туманы ночи вознесли в небеса лес и горы, и землю, — и воды на земле были усеяны звездами, как ла-

зурная ночь над ними, — и земля подобно Урану вела с собою двойную луну, словно двух детей за руки.

«В сущности, — начал Лейбгебер, — мы всегда можем видеть друг друга; для этого мы должны лишь посмотреть в одно и то же зеркало: таким зеркалом для нас будет лунный диск». <sup>1</sup> — «Нет, — сказал Фирмиан, — условимся о времени, когда каждый из нас будет думать о другом — в наши дни рождения и в день моей пантомимной смерти — и в сегодняшний». — «Хорошо, это будут начальные дни наших четырех триместров» — сказал Лейбгебер.

Рука последнего нечаянно дотронулась до мертвого жаворонка, вероятно убитого градом. Внезапно Генрих взял Фирмиана за плечо и сказал, заставляя его подняться: «Вставай, мы — мужчины, к чему все это? — Прощай! — Да разразит меня бог тысячей громов, если твой образ когда-нибудь исчезнет у меня из головы и из сердца. Ты вечно будешь у меня в груди, словно горячее живое сердце. Итак, прощай же, и пусть на Бергхемосской марине твоей жизни ни одна волна не достигнет размеров слезы! Будь счастлив». — Они прильнули друг к другу и горько плакали; но Фирмиан еще ничего не отвечал и лишь гладил рукой волосы своего Генриха. Наконец он отвернулся, обратив профиль к глазам любимого; перед его собственными глазами сияло обширное ущелье ночи, и его уста, отстранившиеся от поцелуя, произнесли, но глухо и беззвучно: «Будь счастлив, сказал ты мне? Ах, ведь я не могу быть счастлив, когда я утратил моего самого верного, моего самого старого друга. Земля для меня останется отныне такой же мрачной, как теперь вокруг нас. Тяжело мне будет, когда в предсмертной мгле я стану ощущать искать тебя и думать в бреду, что кончина снова притворная, как в тот раз, и когда я скажу: Генрих, закрой мне снова глаза, я не могу без тебя умереть». — Они умолкли в судорожном объятии. Генрих глухо прошептал у него на груди: «Если хочешь,

---

<sup>1</sup> Пифагор сделал так, что все написанное им посредством бобового сока на зеркале, можно было прочесть на лунном диске. *Cael. Rbodogin.* IX. 13. — Когда Карл V и Франциск I воевали между собою под Миланом, то посредством такого зеркала все, что днем происходило в Милане, ночью в Париже легко можно было прочесть на луне. *Агриппа de occ. philos.* 2. 6,

спроси меня еще о чем-нибудь. А затем я онемею, или да покарает меня бог». Фирмиан пролепетал: «Будешь ли ты продолжать любить меня, и скоро ли я тебя снова увижу?» — «Нескоро, — ответил он, — а люблю я тебя непрестанно». Когда он хотел вырваться, Фирмиан удержал его и попросил: «Хоть раз еще посмотрим друг на друга». И когда они разомкнули свои объятия и с лицами, искаженными потоком переживаний, в последний раз взглянули друг на друга, ночной ветер, подобно приходу, слился с глубокой рекой и забушевал и помчался с нею вместе, вздымая высокие волны, и гигантские горы вселенной содрогнулись в мрачном мерцании помутившихся глаз. Но Генрих вырвался, сделал рукою жест, как бы говоривший «все кончено», и обратился в бегство, спускаясь с горы.

Через некоторое время Фирмиан, сам того не сознавая, ринулся вслед за ним, толкаемый острыми зубцами колеса скорби, и душа, как бы онемевшая под давящим жгутом, перестала ощущать боль совершившейся ампутации. Оба, хотя и отделяемые один от другого горами и долами, спешили по одному и тому же пути. Каждый раз, когда Генрих останавливался и оглядывался, Фирмиан делал то же самое. Ах, после такой напряженной бури все волны застывают в ледяные пики, и сердце лежит на них, пронзенное. Ведь когда наш Фирмиан, с таким разбитым сердцем, бежал по нераспознаваемым темным тропам, ему слышался преследующий звон бесчисленных погребальных колоколов, ему казалось, что впереди мчится улетающая жизнь, — и когда он увидел, что голубое небо пересеклось черным облачным деревом,<sup>1</sup> разве не должно было тогда все кругом него воскликнуть: «С вас и с вашей земли и с вашей любви судьба этим туманным мерилom снимает мерку для последнего гроба».

По неизменности расстояния между ним и отвернувшейся фигурой Генрих наконец заметил, что она за ним следует и что она останавливается лишь одновременно с ним. Поэтому он решил, что задержится под прикры-

---

<sup>1</sup> Длинное облако с ответвляющимися полосами, которое взвешивает бурю.

тием ближайшего селения, незаметно для крадущегося преследователя. В ближайшем селении, расположившемся в долине Тёпен, он стал ожидать приближения этого неведомого существа, укрывшись в широкой тени мерцающей церкви. Фирмиан бежал по белой, широкой дороге, одурманенный горем, ослепленный лунным светом, и вдруг замер вблизи от утраченного друга. Каждый из них был для другого, словно душа, витающая над покинутым телом, и каждый принял другого (как суеверные люди — заживо погребенного, стучащего в крышку гроба) за призрак. Фирмиан содрогнулся, боясь, что его любимец разгневается, издали простер трепетные руки и пролепетал: «Эго я, Генрих» — и пошел к нему навстречу. С горестным воплем бросился Генрих к нему на грудь; но клятва связывала его язык, — и так оба несчастных или блаженных, онемевшие, ослепленные и плачущие, еще раз крепко обнялись, сблизив свои бьющиеся сердца. — И когда миновало безмолвное мгновение, полное мук и счастья, то последующее — холодное, железное — оторвало их друг от друга, и рок схватил их своими всемогущими руками и швырнул к северу одно окровавленное сердце, и к югу — другое. И согбенные, немые трупы медленно и одиноко шли в ночи, и все возрастала разлучившая их даль. . . О, почему же так разрывается и мое сердце, почему еще задолго до рассказа об их расставании я уже не в силах был осушить глаз? Ах, не потому, мой милый Христиан, что в этой церкви покоятся и истлевают те, кто некогда был в твоих и моих объятиях. — Нет, нет, я уже привык к тому, что в черной магии нашей жизни вместо друзей вдруг встают скелеты, — что из двух обнимающихся один должен умереть,<sup>1</sup> — что неведомое дыхание выдувает хрупкую склянку, именуемую человеческой грудью, и неведомый вопль снова разрушает стекло. О вы, два брата, спящие в церкви, мне уже не столь горестно, как прежде, что жестокая, холодная рука смерти так рано согнала вас с медвяной росы жизни, и что ваши крылья разорвались, и что вы исчезли — ведь ваш сон спокойнее, чем наш, ваши грезы — отраднее, ваша явь —

---

<sup>1</sup> Существует поверье, что из двух детей, которые целуются, не умея говорить, один умрет.

прекраснее. Ибо нас над каждой могильной насыпью терзает мысль: «О милое сердце, как бы я спешил любить тебя, если бы мог предвидеть, что разлука столь близка». Но никто из нас не может взять усопшего за руку и сказать: «О ты, мертвенно-бледный, ведь я услаждал твою недолгую жизнь, и твоему сердцу, ныне истлевшему, я не дал ничего, кроме сплошной любви, сплошной отрады» — и так как все мы, когда, наконец, время, печаль и зимняя пора жизни, лишенная любви, облагородили наше сердце, приходим к поверженным, засыпанным могильной лавиной, и вынуждены с тщетными вздохами сказать: «О, как мне горько, что теперь, когда я стал лучше и добрее, я больше не вижу вас и не могу любить, — что пустота зияет сквозь кости вашей разрушенной груди, и уже нет в ней сердца, которое я бы теперь мог нежнее любить и больше осчастливить, чем прежде», то нам остается лишь тщетно скорбеть, терзаться немым раскаянием и лить непрестанные горькие слезы. О, нет, мой Христиан, нечто лучшее остается нам — горячее, вернее и нежнее любить все души, которых мы еще не лишились.

## ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА

*Дни в Вадуце. — Письмо Натали. — Новогоднее пожелание. — Пустыня судьбы и сердца.*

Нашего Фирмиана, который при своей отставке из мира сего, как офицеры при своей, был произведен в высший чин, а именно — в чин инспектора, мы вновь обретаем в Вадуце, в инспекторских апартаментах. Ему теперь приходилось пробираться сквозь столь многочисленные чащи терновника и чертополоха, что он при этом забывал, до чего он одинок, совсем один на свете. Никто не вынес и не вытерпел бы одиночества, если бы не надеялся иметь общество в будущем или — незримое — в настоящем.

Перед графом Фирмиану приходилось казаться лишь тем, чем он был на самом деле; тогда он оставался наиболее похожим на Лейбгебера. В графе он нашел соста-

рившегося светского человека, который одиноко, без жены, сыновей, без женской прислуги, заполнял и украшал свои седые годы науками и искусствами, — наиболее длительными последними радостями жизни, исчерпавшей все наслаждения, — и в целом мире — за исключением шуток над ним — больше всего любил свою дочь, некогда грезившую вместе с Натали под звездами и цветущей сенью юных дней.

Так как в прежние времена он прилагал все душевные и телесные силы к тому, чтобы взбираться на самые скользкие и высокие призовые мачты радостей и срывать с них все до единой приманки, то он слез оттуда, ощущая некоторую усталость в обеих частях своего существа; его теперешняя жизнь была как бы лечением и лежанием в теплой ванне, из которой он не мог подняться без дрожи и брызг и куда постоянно приходилось доливать теплую воду. Являвшееся для него делом чести соблюдение данного слова и забота о возможно большем счастье для дочери были единственными неразорванными поводьями, которыми его издавна сдерживал нравственный закон, тогда как все прочие узы такового он скорее принимал за цветочные гирлянды и жемчужные нити, столь часто разрываемые и снова связываемые светским человеком в течение жизни.

Так как легче подражать прихрамыванию, чем ровной походке, то Зибенкэзу в этом отношении легче было разыгрывать роль милого хромого беса, своего Лейбгера. Граф изумился лишь пятну натуральных белил на его лице, его печальному выражению и множеству неуловимых отклонений (девиаций и aberrаций) от Лейбгера; но инспектор рассеял сомнения своего сюзерена, вскользь упомянув, что со времени своей болезни сам себя еле узнает и превратился в своего собственного оборотня или самозванца и что присутствовал в Кушнапеле при кончине и погребении своего университетского товарища Зибенкэза. Короче говоря, граф был вынужден поверить тому, что слышал, — и в самом деле, кому придет в голову столь сумасбродная история, как излагаемая здесь мною? И если бы мой читатель тогда присутствовал в комнате, то и он поверил бы инспектору больше,

чем мне самому; ибо о своих прошлых беседах с графом Фирмиан помнил (разумеется, из дневника Лейбгебера) больше, чем сам граф.

Впрочем, так как ему приходилось говорить и действовать в качестве предстателя и заместителя своего милостивого Генриха, то он должен был обладать в высшей мере двумя качествами: быть веселым и добродетельным. Юмор Лейбгебера отличался более яркими красками, более размашистым рисунком и более поэтическим, космополитическим и идеальным содержанием,<sup>1</sup> чем собственный юмор Фирмиана, а потому последний был вынужден настраивать свой камертон на такой же высокий тон, чтобы если и не уподобиться, то хоть подражать ему. И этот напускной веселый юмор в конце концов превратился в действительный. Точно так же на жизненном пути Фирмиана его чуткость и дружба всегда несли перед ним, словно на Моисеевом облачном столпе, увеличенный, сияющий образ Генриха, увенчанный лавровым венком и лучистым ореолом, которые сплелись между собою; и все мысли в нем твердили: «Будь благороден, будь божественен, будь подобен Сократу, для того чтобы поддерживать честь того духа, чьим посланником ты являешься». Да и кто из нас был бы способен грешить, выступая под именем любимого человека?

Никого на свете — даже монархов и женщин — не обманывают так часто, как совесть; инспектор уверил свою, что он ведь и без того, как известно, назывался в прежние годы Лейбгебером, совершенно так же, как он подписы-

---

<sup>1</sup> «Поэтому я предвижу, что в настоящих «Цветках» дружеские обращения Лейбгебера, пускаемые им в обращение, словно дружеские векселя, будут опротестованы большинством читателей. Большинство немцев — в этом им нельзя отказать — понимают грубую шутку, но не все — тонкую, и лишь немногие — юмор, в особенности лейбгеберовский. Поэтому сначала, — ибо книгу все же легче переделывать, чем публику, — я хотел сфальсифицировать все лейбгеберовские и заменить их более понятными; впрочем, ведь еще можно устроить во втором издании так, чтобы сфальсифицированные включить в текст, а подлинники пристегнуть позади, в качестве приложения». — Это оказалось совершенно излишним. Но, боже, как могли первые издания настолько промахнуться и несправедливо отнестись к столь многим читателям, которых вторые издания впоследствии отстаивают с нелицемерным жаром,

вается теперь, — да и графу он достаточно полезен, — и что он бесповоротно решил когда-нибудь, при случае, исповедаться последнему вплоть до мельчайших подробностей, тем более что графу (это легко можно предвидеть) такой юмористический, юридический и оптический обман и подлог своей оригинальностью понравится больше, чем все необходимые логические истины и *responsa prudentum*, не говоря уже о графской радости по поводу того, что здесь один и тот же друг, и юморист и юрист, имеется налицо двуглавым, двоедушным, четвероногим и четвероруким, короче говоря — *in duplo*. И он не может не отметить, что чаще произносит не шуточную, а вынужденную ложь, ибо прежние разговоры и обстоятельства Лейбгегера упоминает столь же неохотно, как и редко, а больше распространяется о своих собственных и ближайших, не исключаяющих возможности быть правдивым.

Таков не только инспектор, но и все человечество. Последнее одержимо несказанным влечением к половинчатости — быть может, потому, что является полубогом и колоссом, стоящим, широко расставив ноги, на двух мирах, — а именно: к полуроманам, к полумаскам эгоизма, к полудоказательствам, к полужайкам, к полупразднествам, к полушариям и, следовательно, к дражайшим половинам.

В течение первых недель всевозможные новые труды и заботы Фирмиана заслоняли от него (по крайней мере пока светило солнцу) его горести и тоску. Однако наибольшую отраду ему доставило то, что граф был доволен его юридическими познаниями и аккуратной работой. Когда тот однажды сказал ему: «Друг Лейбгегер, вы добросовестно выполняете ваше прежнее обещание; ваша проникательность и пунктуальность еще более делают вам честь; я охотно признаюсь, что у меня на этот счет, сколь я ни ценю прочие ваши таланты, невольно возникли некоторые сомнения: подобно вашему Фридриху II, я провожу строгое различие между занятыми разговорами и деловыми занятиями, и я требую, чтобы последние протекали с величайшей методичностью и тщательностью», — то Фирмиан тайно возликовал в своих мыслях: «Итак, я оградил моего милого Генриха от незаслуженных

упрсков и заслужил для него похвалу, которую, конечно, он и сам мог бы снискать, если бы только захотел.

После такой радости самопожертвования человеку хочется, — как детям, которые, если они что-нибудь подарили, всегда стремятся дарить еще и еще, — испытывать подобные радости в еще большей мере и приносить все большие жертвы. Фирмиан извлек из пакета свои «Избранные места из бумаг дьявола» и отдал их графу и сказал ему совершенно откровенно, что сам это сочинил. «Этим я его нисколько не обманываю, — подумал он, — хотя он и припишет «Избранные места» Лейбгеберу: ведь и сам я теперь называюсь именно так». Граф прямо не мог вдоволь начитаться и нахвалиться «Избранными местами» и в особенности одобрял то, что на путях юмористики автор усердно и пылко следовал за путеводной звездой двух соотечественников графа — за британским созвездием Близнецов юмора, Свифтом и Стерном. Похвалу своей книге Зибенкэз выслушал с таким наслаждением и с такой блаженной улыбкой, что выглядел совершенно как тщеславный автор, хотя он был лишь влюбленным в своего Генриха, на имя и образ которого в душе графа он смог возложить еще несколько лавровых венков.

Однако эта единственная радость была ему так же необходима, как утешение и услада в мрачной и холодной жизни, протекавшей между двумя крутыми берегами из кип документов, неделя за неделей, месяц за месяцем; ах, он не слышал ничего лучшего, за исключением лишь дружеских речей графа, необычайная доброта которого еще больше согрела бы душу Фирмиана, если бы тот мог его за нее благодарить одновременно и от чужого и от своего имени, — повторяю, он не слышал ничего лучшего, чем иногда раздававшийся рокот потока своей жизни. Каждый день он снова оказывался в тяжелом положении критика, — каковым он бывал и раньше, — обязанного прочитывать то, что ему предстояло судить, то есть прежде авторов, а теперь адвокатов; он заглядывал в столь многие пустые головы, в столь многие пустые сердца; в тех было столько темных мыслей, а в этих столько черных замыслов; он видел, что простой народ, когда он странствует к целебному источнику адвокатских чер-

нильниц, чтобы избавиться от почечных камней, весьма уподобляется пациентам Карлсбадского курорта, у которых под действием горячего источника выступают наружу все тайные болячки; он видел, что большинство старых и злонравнейших адвокатов лишь в том весьма сходны с ядовитыми растениями, что, подобно последним, они, пока были молоды и цвели, являлись несравненно менее ядовитыми и, пожалуй, даже безвредными; он видел, что быть судьей и легче и противнее, чем быть адвокатом, но что оба ничего не теряют от несправедливости, ибо судья преспокойно получает плату за кассированный приговор, как и адвокат за проигранный процесс, и что эти два служителя неисправного правосудия преисправно живут за счет его упадка и распада, как шафгаузенцы — за счет своего водопада; что подданного приучают к чистоте, обирая его дочиста, — и, наконец, увидел, что наиболее тяжело приходится именно тому, кто все это видит, и что всего труднее послать к черту тех, кто сами — сущие черти. . .

При таких трудах и перспективах съезживаются мягкие артерии сердца и немеют руки души, простертые для объятий, — обремененный человек уже не только не успевает, но почти и не желает любить. Мы всегда овладеваем *вещами* за счет *людей*, и человек, который слишком много работает, слишком мало любит. Просьбы и пожелания своей кроткой души бедный Фирмиан ежедневно выслушивал лишь в одном присутственном месте, а именно — на подушке своего изголовья, наволочка которой превратилась в белый носовой платок, дождавшийся его влажных глаз. Весь его прежний мир залило слезным потоком, и ничто не всплыло, кроме двух надгробных венков умерших дней: то были безжизненные цветы Натали и Ленетты — словно увядшие лекарственные растения для его больной души или бордюрные растения с опустошенных клумб.

Так как он был столь оторван от всего и не находился под эллиптическим сводом, то не мог ничего услышать ни из Кушнаппеля, ни из Шраплау, ни о Ленетте, ни о Натали. Только из «Божественного вестника немецких программ» узнал он о своей безвременной кончине и о том, что названная критикующая институция, к своему при-

скорбью, лишилась одного из лучших и наиболее деятельных своих сотрудников, так что инспектора почтили ученого раньше, чем какого бы то ни было немецкого ученого, и не менее заблаговременно, чем Эвтима,<sup>1</sup> за которым изречение дельфийского оракула признало право на жертвоприношения и божеские почести еще при жизни. Не знаю, для каких ушей трубит в свою трубу немецкая богиня славы, — для *глухих* или для *длинных*.

И все же Зибенкэз, пока его сердце, молившее о любви, изнывало от зимней стужи, сохранил в пустыне своего одиночества живой, прекрасный цветок, — и это был прощальный поцелуй Натали. О вы, погибающие от ненасытимой жадности, если бы вы знали, как один-единственный поцелуй, первый и последний, озаряет всю жизнь, словно неугасимая алая двойная роза безмолвных уст и пламенеющих душ, вы научились бы искать и находить более долговечные радости. Тот поцелуй скрепил для Фирмиана союз двух душ и увековечил любовь на ее цветочной вершине; речи умолкших уст все слышались Фирмиану, — веяние духа оведало его непрерывными легкими дуновениями, — и по ночам, смежив влажные глаза, он в тысячный раз видел, как Натали, с ее величавой скорбью, навеки уходит от него и скрывается в темной аллее, и все не мог насытиться прощанием и скорбью и любовью.

Наконец, через шесть месяцев — в прекрасное зимнее утро, когда белые горы, с их снежно-кристальными лесами, как бы купались в алой крови солнца, и когда широко распростерты крылья утренней зари легли на сверкающую землю, — в пустые руки Фирмиана, словно принесенное утренними ветерками, предвестниками грядущей весны, впорхнуло письмо — оно было от Натали, которая, как и все, принимала его за прежнего Генриха.

«Дорогой Лейбгебер!

Я больше не властна над моим сердцем, — оно все время стремилось открыться или разбиться перед вашим лишь для того, чтобы показать вам, как много ран у него внутри. Ведь вы были некогда моим другом: неужели я

<sup>1</sup> Плиний, «Н. N.», VII, 48.

со́всем забыта? Или я и вас утратила? — Ах, я верю, что нет, вы лишь от горя не в силах говорить со мною, ибо ваш Фирмиан умер в ваших объятиях и теперь, мертвенно-холодный, покоится на опустевшей, скорбной груди, медленно распадаясь в прах. О, почему вы убедили меня принять плоды, растущие на его могиле, и каждый год как бы вскрывать его гроб? Первый день, когда я их получила, был горьким, самым горьким днем моей жизни. Что я чувствую иногда, вы узнаете из небольшого новогоднего пожелания, обращенного мною к себе самой и посылаемого при этом письме. Одно место там относится к кусту белых роз, на котором я у себя в комнате вырастила среди зимы несколько бледных цветов. А теперь, друг мой, исполните просьбу, явившуюся поводом для настоящего письма, и, умоляю вас, наделите меня еще большими скорбями: тогда я обрету утешение; поведайте мне, — ибо никто иной этого не может сделать, и я больше никого не знаю, — о последних часах и минутах нашего дорогого, что он говорил и что он выстрадал, и как закрылись его глаза, и как настал его конец; все, что будет терзать меня, должна я знать, — что может это стоить вам и мне, кроме слез? А слезы — услада для больных глаз. Остаюсь вашим другом.

*Натали А.*

N. S. Если бы меня не удерживало столько обстоятельств, то я сама отправилась бы туда, где он жил, и собрала бы реликвии для моей души; впрочем, я не останюсь пред этим, если вы не ответите. Желаю вам успеха в вашей новой должности и надеюсь, что как-нибудь смогу это сделать устно; ведь когда-нибудь моя душа настолько исцелится, что я смогу посетить мою милую подругу у ее отца и увидеть вас и не умереть в порыве горя, пробужденного вашим сходством с покойным другом, теперь, увы, уже несходным с вами».

\* \* \*

Ее прекрасное творение, написанное по-английски и в стихах, я рискнул перевести следующим образом:

*Мое новогоднее пожелание самой себе.*

«Новый год otvorил свои врата. Среди пламенеющих утренних облаков судьба стоит над пеплом умершего года и оделяет дарами — о чем просишь ты, Натали?»

«Не о радостях — ах, все они, что были в моем сердце, не оставили в нем ничего, кроме черных терний, и скоро утратили свой аромат роз, — рядом с лучезарным солнцем растет тяжкая грозовая туча, и когда мы окружены блеском, это лишь отблеск меча, извлекаемого грядущим днем, чтобы разить беспечную грудь. — Нет, я не прошу о радостях; жаждущее сердце ощущает от них лишь пустоту: оно наполняется только скорбью».

«Судьба назначает грядущее, — чего желаешь ты, Натали?»

«Не любви — ах, у того, кто возложил на сердце колючую белую розу любви, оно обливается кровью, и теплая слеза счастья, оброненная в чашечку этой розы, быстро стынет и высыхает, — на заре жизни цветущая, сияющая любовь парит в небе, словно гигантская розовая Аврора, но за ней не скрывается ничего, кроме тумана и слез. — О, не желай любви, умри от более возвышенных скорбей, погибни под высоким анчаром, а не под низкорослым миртом».

«Ты преклонила колени пред судьбой, Натали, — скажи ей, чего ты хочешь?»

«Не хочу я и новых друзей, нет — все мы стоим рядом на вырытых и прикрытых могилах, — и после того, как мы, с такой любовью держась за руки, столь долго страдали вместе, под другом внезапно рушится насыпь, и он падает мертвый в зияющую яму, а я, объятая одиночеством холодной жизни, стою у заполненной могилы. — Нет, нет; но когда настанет бессмертие, когда друзья свидятся в вечном мире, тогда пусть сильнее бьется обновленное сердце, пусть льются радостные слезы из немеркнущих очей, и пусть уста, которым более не суждено умереть, произнесут: «Приди же ко мне, возлюбленная душа, ведь нашей любви уже не грозит разлука».

«О ты, покинутая Натали, о чем же ты просишь на земле?»

«Лишь о терпении и скорой смерти, больше я ни о чем не прошу. Но этой мольбы не отвергай, безмолвный рок! Осуши мне глаза, затем закрой их! Успокой мое сердце, затем уничтожь его! — Да, в грядущем, когда душа раскроет крылья в более прекрасном небе, когда новый год настанет в более чистом мире и когда все вновь будут вместе и воскреснет наша любовь, тогда скажу я, чего желаю. . . Но не для себя, ибо я и так уже буду безмерно счастлива. . .»

\* \* \*

Какими словами могу я описать душевное онемение и оцепенелость, объявшие ее друга, когда он, прочтя письмо, все еще держал и созерцал его, хотя уже не в состоянии был ни видеть, ни мыслить. — О, ледяные глыбы глетчера смерти все больше надвигались, погребая под собою все новые Темпейские долины, — одинокого Фирмиана уже не связывали с людьми никакие узы, кроме веревки, приводящей в движение похоронный колокол и гроб, — и его кровать была для него лишь широким смертным одром, — каждая радость казалась ему украденной у чужого увядшего сердца. И так ствол его жизни, как стебли иных цветов, все глубже<sup>1</sup> уходил под землю, и крона превращалась в скрытый корень.

Всюду разверзались пропасти трудностей, и каждое действие или бездействие было в равной мере неосторожно. Эти трудности или решения я изложу здесь читателям в том порядке, в котором они дефилировали сквозь душу Фирмиана. В человеке чорт всегда взлетает раньше, чем ангел, и наихудшие намерения возникают раньше, чем хорошие:<sup>2</sup> его первое было безнравственным и за-

---

<sup>1</sup> У лютиков и норичника нижняя часть стебля с каждым годом уходит глубже под землю и заменяет собою отмирающий корень.

<sup>2</sup> В энтузиазме последовательность бывает обратной. Чтобы гораздо точнее, чем по решениям и деяниям, изучить твои моральные устои, ты должен лишь проследить радость или досаду, которая в тебе сначала, с молниеносной быстротой, возникает при каком-либо требовании, известии или отказе морального характера, но затем снова исчезает, подавленная последующей рефлексией и репульсией. Какие большие гниющие куски ветхого Адама мы нередко обнаруживаем при этом.

ключалось в том, чтобы ответить Натали рассказом, о котором она просила, то есть солгать. Человеку столь же приятно, когда по нем носят траур другие, сколь ему уютно, когда он надевает траур по другим. «Но ее прекрасное сердце, — сказало его собственное, — я растерзаю новой скорбью, растравляя его рану продолжающейся ложью; ах, даже настоящая моя смерть не была бы достойна такой печали. Итак, мне остается лишь молчать». Но тогда она неизбежно подумает, что Генрих на нее разгневан и что она лишилась и этого друга; и она, может быть, отправится тогда в Кушнаппель и подойдет к надгробной плите Фирмиана и взвалит ее новым бременем на согбенную, трепетную душу. В обоих случаях возникала еще и третья опасность, а именно — что Натали явится в Вадуц, и тогда письменную ложь, которой он избегнул, он вынужден будет превратить в устную. Ему оставался еще один путь к спасению, наиболее добродетельный, но и самый крутой, — Фирмиан мог сказать ей правду. Но при этом признании сколь сильно рисковал бы он всем своим положением, хотя бы Натали и молчала, — и его милый Генрих предстал бы пред ее глазами в каком-то странном свете, ибо ей не было известно великодушные его цели и обманов. Однако, ненадежный путь правды был наименее мучителен для сердца Фирмиана, а потому он, наконец, остановился на этом решении.

## ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

*Вести из Кушнаппеля. — Нисходящая градация девушек. — Вскрытие семи печатей.*

Так вот, нередко меня прямо выводит из себя то, что, если мы и акцептуем вексель, трассированный на нас добродетелью, мы все же оплачиваем его лишь после стольких отсрочек и просрочек, тогда как дьявол, словно Константинополь, ничего этого не признает. Фирмиан уже не приводил никаких возражений, кроме мотивирующих проволочки; он просто откладывал свою исповедь и доказывал самому себе, что Аполлон является наилучшим

утешителем (Параклéтом) людей и что василиск скорби, — которому Натали показала его собственный образ в зеркале поэзии, — погибнет от этого отображения. Так все наши добродетельные порывы парализуются в нас трением низменных страстей и времени.

Но достаточно было одного письма, чтобы снова перепутались все декорации его театра. Оно прибыло от советника Штибеля.

«Высокоблагородный и особо высокочтимый господин инспектор!

Ваше высокоблагородие, без сомнения, изволит помнить сделанное нашим общим другом, покойным г-ном адвокатом для бедных Зибенкэзом, завещательное распоряжение, согласно коему г-н тайный фон Блэз имел выплатить находящийся в его опекуном заведывании капитал — и притом, как известно вашей милости, с тем чтобы вы таковой, в свою очередь, вручили вдове, — в случае же неисполнения сего завещатель намеревался объявиться в качестве призрака. В обсуждение сего последнего обстоятельства я не стану вдаваться: как бы то ни было, по имеющимся сведениям, в течение нескольких недель некий призрак в образе нашего покойного друга всюду преследовал г-на тайного, который по сей причине настолько сильно занемог, что причастился святых тайн и принял решение действительно выдать означенный капитал. А посему не откажите сообщить, угодно ли вам предварительно получить таковой лично или же он (что, пожалуй, естественнее) подлежит непосредственному вручению вдове. Еще должен сообщить, что с последней, то есть с бывшей г-жой Зибенкэз, я, в соответствии с желанием наследователя, в свое время вступил в брак и что на ней ныне почиет благословение грядущего материнства. Она прекрасная домохозяйка и супруга; мы живем в мире и согласии; она отнюдь не похожа на Талею<sup>1</sup> и с такой

---

<sup>1</sup> Супруга Пинария, Талея, в царствование Тарквиния Гордого была первой, которая стала ссориться со своей свекровью, Геганией (Плутарх, в жизнеописании Нумы). Быть может, история Германии некогда еще больше прославит первую супругу, которая не бранилась со своей свекровью; по крайней мере, желательно, чтобы какой-нибудь немецкий Плутарх попытался отыскать таковую.

же готовностью пожертвовала бы жизнью за своего мужа, как он за нее, — и мне чрезвычайно хотелось бы, чтобы мой предшественник, ее добрый, незабвенный первый супруг, Зибенкэз, который иногда имел свои небольшие причуды, мог сделаться очевидцем того ничем не омраченного благоденствия, в коем ныне обретается его дорогая Ленетта. Она его оплакивает каждое воскресенье, когда проходит мимо кладбища; но все же она признает, что ей теперь живется лучше. К сожалению, мне так поздно довелось услышать от моей жены, сколь плачевны были денежные обстоятельства покойного; с какой радостью протянул бы я, как подобает христианину, руку помощи ему и его супруге! Если покойный, который ныне обладает большим, чем мы все, может своим просветленным оком созерцать нас, то он, конечно, простит меня. — Покорнейше прошу о незамедлительном ответе. Добавочной причиной выдачи капитала, принадлежавшего подопечному, может быть, является то, что г-на тайного (который в общем человек честный) уже не подстрекает г-н фон Мейерн; по имеющимся сведениям, они теперь между собою совершенно рассорились, и последний отделался в Байрейте от пяти невест и ныне по обрядам св. церкви вступает в законный брак с одной кушнапельской жительницей.

Моя жена сердита на него настолько, насколько это допускает долг христианской любви к ближнему, и она говорит, что когда он ей попадается навстречу, она себя чувствует, словно охотник, которому утром встретилась старуха. Ведь он способствовал многим досадным пререканиям с ее мужем; и она часто с удовлетворением мне рассказывала, как ловко вы, высокочтимейший г-н инспектор, иной раз осаживали этого опасного человека. Впрочем, ко мне в дом он не смеет и носа показать. — Я имею к вам еще одну просьбу, которую пока изложу лишь вкратце: не пожелаете ли вы занять в качестве сотрудника место ушедшего, ныне еще вакантное, в «Божественном вестнике немецких программ», который (я в праве сказать это) пользуется успехом в гимназиях и лицеях всей Швабии, вплоть до Нюрнберга, Байрейта и Гофа. Сейчас наблюдается скорее избыток, чем недостаток жалких

пачкунов, стряпающих бездарные программы, а потому вы являетесь (позвольте вам это сказать без лести) как нельзя более подходящим человеком, с которым мало кто сравнится в умении изгонять бичом сатиры подобных головастиков из Кастальских ключей. Впрочем, подробности последуют в дальнейшем! — Моя милая жена также шлет здесь самый сердечный привет высокочтимому другу ее покойного мужа, а сам я пребываю в надежде на скорое исполнение моей просьбы.

Вашего высокоблагородия  
покорный слуга *С. Р. Штибель*,  
школьный советник».

\* \* \*

Сильной скорбью, которая делает человека нечувствительным к слабой, он защищен против последней так же, как водопадом против дождя.<sup>1</sup> Фирмиан забыл обо всем, чтобы вспоминать, чтобы страдать, чтобы восклицать, обращаясь к самому себе: «Итак, я утратил тебя совсем, навеки. О, ты всегда была добра, только я — нет. Так будь же счастливее, чем твой одинокий друг. Ты права, оплакивая его каждое воскресенье». — Свои сатирические причуды он теперь признал виновными во всех прежних судебных процессах своего супружества и усмотрел в своей собственной пасмурной погоде причину неурожая радостей.

Но теперь он был более несправедлив к себе, чем прежде к Ленетте. Я здесь же одарю мир своими соображениями по этому поводу. Для девушек любовь — это момент наибольшей близости к солнцу, или же прохождение Венеры через солнце идеального мира. В эту пору высокого стиля их души они любят все, что и мы, даже науки и весь лучший мир, заключенный в груди; и они пренебрегают тем же, что и мы, даже платьями и новостями. В течение этой весны соловьиные трели раздаются вплоть до солнцестояния, и день свадьбы является самым дол-

---

<sup>1</sup> Известный водопад Pisse-Vache ниспадает со скалы настолько дугообразно, что под ним можно проходить, а следовательно, и укрыться от дождя. «Живописное путешествие по Альпам».

гим его днем. Но затем все летит к чорту если не сразу, то по кусочку ежедневно. Мочальные узы брака связывают крылья поэзии, и брачное ложе является замком св. Ангела и темным карцером, где сидят на хлебе и воде. В медовый месяц я нередко следил за бедной райской птицей или павлином души и во время линьки этой птицы подбирал утерянные ею роскошные маховые и хвостовые перья, и когда муж затем думал, будто он сочелся браком с бесперой вороной, я предъявлял ему весь плюмаж. В чем же здесь дело? Вот в чем: брак прикрывает мир поэзии корой действительности, подобно тому, как по Декарту наш земной шар — это солнце, покрытое корой грязи. Руки, огрубевшие от работы, неуклюжи, жестки и мозолисты, так что им уже трудно держать или вытягивать тонкую нить для ткани идеала. А потому в высших сословиях, где вместо рабочих комнат имеются лишь рабочие корзинки, где миниатюрную прялку держат на коленях и нажимают на ее педаль пальцем и где в браке любовь еще продолжает существовать — и часто даже по отношению к мужу, — обручальное кольцо не столь часто, как в низших сословиях, становится кольцом Гигеса, делающим невидимыми книги и искусства — музыку, поэзию, живопись и танцы; на высотах все растения и цветы, в особенности их женские особи, становятся более ароматными. В отличие от мужчины, женщина не обладает способностью защитить свои внутренние воздушные и волшебные замки против внешней непогоды. В чем же может женщина найти себе опору? — В своем супруге. Возле расплавленного серебра женской души муж всегда должен стоять с черпаком и непрестанно снимать накипающую на ней пленку шлаков, чтобы продолжало блестеть чистое серебро идеала. Но существуют два рода мужей: аркадские пастушки и лирики жизни, вечно любящие, как Руссо, когда он уже был убелен сединами, — таковые неукротимы и неутешны, когда на женской золотообрезной антологии они уже не видят золота, как только начнут перелистывать книжечку страница за страницей (это случается со всякой книгой, имеющей золотой обрез); во-вторых, существуют грубые пастухи и свинопасы, — я разумею мастерзингеров или дельцов, благодарящих бога, когда *волшебница*, подобно прочим

волшебницам, наконец превратится в мурлыкающую обыкновенную кошку, вылавливающую крыс и мышей.

Никто не испытывает большей скуки и страха, — оттого я и хочу, наконец, привлечь к нему сочувствие читателей настоящего комического жизнеописания, — чем дородный, неуклюжий, увесистый басист-делец, который подобно слонам, плясавшим на канате в древнеримском цирке, вынужден танцевать на провисшем канате любви и своей любовной мимикой больше всего напоминает мне сурков, пробужденных комнатным теплом от зимней спячки, но все еще неспособных начать двигаться по настоящему. Лишь со вдовой, жаждущей не столько любви, сколько брака, тяжеловесный делец может начать свой роман с той ступени, на которой его заканчивают все сочинители романов, а именно — со ступени брачного алтаря. У такого человека, построенного в элементарнейшем стиле, гора с плеч свалилась бы, если бы кто-нибудь согласился любить от его имени его пастушку до тех пор, пока на его долю не осталось бы ничего, кроме свадьбы; и вот за такую разгрузку и снятие с поста и креста едва ли кто-либо возьмется с большей охотой, чем я сам; нередко мне хотелось опубликовать в газетах для всеобщего сведения (но я опасался, что это примут за шутку), что всем сносным девицам, которых деловому человеку некогда любить, я берусь клясться в платонической вечной любви, вручать надлежащие любовные декларации в качестве полномочного посланника жениха, короче говоря, в качестве *substituti sine spe succedendi* или кавалера-компаньона, вести таковых под-руку через всю изобилующую неровностями Брейткопфову страну любви, до самой границы, где я сдал бы груз вполне готовым в собственные руки грузополучателя (жениха); таким образом, это была бы не столько свадьба, сколько любовь через представителя. Если бы кто-либо (при такой *systema assistentiae*) пожелал назначить нижеподписавшегося, — так как в течение медового месяца еще фигурирует немного любви, — и на это время верховным уполномоченным и попечителем, то, разумеется, он должен был бы сообразить, что сие условие надо оговорить заранее. . .

В Ленетте Зибенкэза без всякой его вины уже в час брачного обряда идеальный остров блаженных сразу же

погрузился в морскую пучину; муж при этом был и безвинен и незащищен. Милый педагог и советник Кампе, ты бы вообще не должен был столь сильно ударять крающей тростью по твоему попитру, если в соседнем пруду одна-единственная лягушка проквакает нечто такое, что может быть послано для напечатания в какой-нибудь альманах: не лишай кроткие создания, — влетающие в пустую жизнь прекраснейшие грезы, полные цветов воображения, — недолгой иллюзии нежной любви; они и без того будут скоро, ах, слишком скоро пробуждены, и мы с тобою не сможем снова усыпить их всеми нашими писаниями!

Зибенкэз в тот же день кратко и поспешно написал в ответ Штибелю, что весьма одобряет его намерение точно сообразоваться с завещанием и законами, и всецело уполномачивает его истребовать деньги, но просит его, как великого ученого, который в подобных делах часто понимает меньше, чем ему кажется, вести их все через адвоката, ибо без юристов никакая юриспруденция не помогает, да и при них нередко тоже. — Рецензировать программы ему некогда, не говоря уже о том, чтобы читать их, и он шлет сердечный привет супруге.

Как я вижу, все мои читатели (и это мне отнюдь не неприятно) уже сами догадались, что призрак, или страшный бука, или Мумбо-Джумбо,<sup>1</sup> который успешнее, чем карательные отряды имперского суда, вырвал из когтей тайного фон Блэза похищенное наследство, был не кто иной, как Генрих Лейбгебер, воспользовавшийся своим сходством с покойным Зибенкэзом, чтобы сыграть роль revenant (выходца из могилы); а потому я могу не рассказывать читателю то, что ему уже известно:

Когда человек, цепляясь, словно древесная лягушка, наконец всползет на крутую гору, то часто первое же, что он видит сверху, — это новое зияющее перед ним ущелье; Фирмиан увидел пред собою новую бездну: он был вынужден отказаться от своего недавнего намерения, — я хочу сказать, что он теперь не смел сказать Натали ни слова о своем воскресении из загробных серных

<sup>1</sup> Мумбо-Джумбо — это пугало, высотой в 9 футов, из коры и соломы, которым негры-мандинго пугают своих жен, чтобы улучшить их поведение.

вани, ни полслова о своем посмертном бытии. Ах, ведь тогда счастье его Ленетты, которая, хотя и без ее вины, имела двух мужей, будет висеть на кончике женского языка: виноват будет Фирмиан, а обездолена — Ленетта. «Нет, нет, — сказал он, — со временем в добром сердце Натали мой бледный образ покроется пылью и выцветет».

Короче говоря, он молчал. Гордая Натали тоже молчала. В этом ужасном положении он боязливо проводил свои часы на сцене, вблизи от жесткого, вечного узла трагедии, — на все прелести весны падала мелькающая тень вороньей стаи забот, и сон его отравляли, словно ржа, ядовитые сновидения. Каждая ночь со сновидениями рассекала узел орбиты заходящей планеты, а вместе с тем и сердце. Как же судьба спасла его из этого чада, из этих удушливых паров страха? Чем исцелила она язву его перста, носившего обручальный перстень? — Тем, что отняла руку. — В один долгий вечер, незадолго до отхода ко сну, граф обратился к Фирмиану настолько дружески, насколько это могут светские люди. Он сказал, что имеет ему сообщить нечто весьма приятное, но позволит себе начать с некоторого предварительного напоминания. «Со времени вашего вступления в должность, — продолжал он, — вы мне кажетесь не столь юмористически настроенным, как до того; и, если мне позволено будет сказать, я иногда нахожу вас удрученным и слишком сентиментальным; между тем вы сами прежде говорили (но это он слышал от другого Лейбгегера), что предпочитаете людей, которые в беде ругаются, а не горюют, и что когда у наших ног зима, мы все же можем дотянуться носом до весны и, стоя в снегу, нюхать цветков». — «Я это охотно прощаю, ибо я, кажется, угадываю причину» — добавил он; но его прощение, в сущности, было не вполне искренним. Ибо ему, как и всем знатым людям, всякое сильное чувство, даже любовное, но в особенности печальное, было досадно, а крепкое дружеское пожатие рук было ему словно пинок ногой; скорбь он соглашался созерцать лишь улыбающейся, зло — лишь смеющимся или, в крайнем случае, высмеиваемым: ибо самые холодные светские люди подобны человеческому организму, в котором наибольшая

теплота сосредоточена не столько в грудной, сколько в брюшной полости.<sup>1</sup> Отсюда следует, что прежний Лейбгебер — это ясное, темносинее небо, с которого непрестанный бурный ветер сгонял все облака, — должен был прийти графу больше по душе, чем нынешний, мнимый. Но насколько иначе, чем мы, спокойно читающие этот упрек, отнесся к нему Зибенкэз. Эти *солнечные затмения* его, Лейбгебера, которые не были присущими тому *солнечными пятнами* и которые он сам, повидимому, вызвал своим поведением, он вменил себе в вину как столь тяжкие преступления против своего любимца, что счел своим долгом в них исповедаться и покаяться.

Когда же граф продолжал: «Ваша чувствительность на верное объясняется не только тем, что вы лишились вашего друга Зибенкэза, ибо о нем вы после его смерти вообще отзывались не так тепло, как при его жизни; простите мне эту откровенность», — то при виде этой новой тени, омрачившей образ Лейбгебера, лицо Фирмиана исказилось скорбью, и он с трудом сдержался, чтобы дать своему судебному сенёру высказаться до конца. «Но у меня, любезнейший Лейбгебер, это не попрек, а похвала, — не следует вечно скорбеть о мертвых, чего скорее заслуживают живые. Впрочем, и эта последняя ваша скорбь тоже сможет прекратиться на будущей неделе, так как прибудет моя дочь и, — это он произнес, растягивая слова, — с нею ее подруга Натали; они встретились в пути». Зибенкэз поспешно вскочил и стоял неподвижно и безмолвно, держа руку перед глазами, не в качестве веера, но в качестве экрана от света, чтобы лучше разобраться в хаотически нагроможденных и сталкивающихся тучах своих мыслей и лишь затем дать ответ.

Но граф, который его в качестве Лейбгебера превратно истолковывал по всем пунктам и его чувствительную метаморфозу приписывал влиянию Натали и разлуки с нею, попросил его: «Прежде чем отвечать, выслушайте меня до конца. Уверю вас, я с величайшей радостью сделаю все от меня зависящее, чтобы прекрасная подруга моей дочери навсегда осталась вблизи от нас». О небо! До чего граф запутывал все, что было столь просто!

---

<sup>1</sup> «Физиология» Вальтера, т. II.

Теперь Зибенкэз, когда изменился румб штурмующего его шторма, вынужден был попросить минуту на размышление, ибо у него были поставлены на карту три жизни; но, стремительно пройдясь несколько раз по комнате, он вдруг снова остановился неподвижно и сказал — графу и себе: «Да, я буду правдив!» Затем он обратился к графу с вопросом, согласен ли он дать честное слово, что сохранит тайну, которая ему будет доверена и которая ни в чем не касается и ничем не нарушает интересов его самого и его дочери. «Если так, то отчего же?» — отвечал граф, которому разоблачение тайны представлялось вырубкой дремучего леса, обещающей создать широкий кругозор.

Тогда Фирмиан раскрыл свое сердце и свою судьбу и все; то был прорвавшийся поток, который не вмещается в новом русле и разливается на необозримом пространстве. Граф неоднократно задерживал его рассказ новым превратным пониманием, так как исходил из чисто гипотетической, вымышленной им самим любви Натали к настоящему Лейбгекберу и ни от кого не слышал о действительной ее любви к Зибенкэзу.

Теперь изумленный судебный сеньер изумил, в свою очередь, инспектора, ибо из числа столь многих мин, которых можно было ожидать в подобном случае, — а именно: оскорбленной, гневной, пораженной, смущенной, восхищенной, равнодушной, — он сделал лишь предвольную. «Меня чрезвычайно радует, — сказал он, — что я хоть ощупью натолкнулся на нечто, побудившее меня внести свет в это дело, и что по некоторым пунктам я не судил о Лейбгекбере слишком снисходительно, а по другим слишком опрометчиво; но больше всего я восхищен тем, что я теперь, к счастью, имею Лейбгекбера в двух экземплярах и знаю, что уехавшему не приходится скорбеть по умершем друге».

Невозмутимости графа, конечно, не должен удивляться никто, кому случалось видеть ярко сияющую орденскую звезду на дряхлой, охладевшей груди. Когда наш светский старик увидел ткацкий челнок, спнувший сквозь эту основу дружбы с любовью и самоотречением с каждой стороны, и взял в руки и созерцал сотканный им Рафаэ-

лёв гобелен дружбы, то впервые за много лет испытал наслаждение от чего-то нового; казалось, что он до сих пор глядел из своей роскошной ложи на живую комически-историческую драму, которую мысленно сам развивал и в любую минуту мог снова представить в своем воображении. Да и его инспектор превратился для него в новое существо и чрезвычайно занимательного собеседника как раз благодаря тому, что сошел со сцены, переоделся и в качестве псевдо-покойного Зибенкэза вошел к нему в комнату и в дальнейшем мог ему весьма многое рассказать исключительно о самом рассказчике. И он в равной мере благосклонно отнесся к обоим друзьям, польщенный тем вниманием и привязанностью к нему, которое они считали со взаимным душевным союзом.

Кто наслаждался блаженством оставаться правдивым, тот поймет новое блаженство, которое испытывал теперь Фирмиан, получивший возможность свободно излить свою душу, говоря обо всем, о себе, о Генрихе и Натали; только теперь он вполне почувствовал, сколь тяжело было сброшенное им бремя переработки мимолетного шуточного обмана в комедию с триста шестьюдесятью пятью актами, идущую круглый год. Как легко ему было признаться графу, что он хочет удалиться до прибытия Натали, — ибо не в силах ни продолжать, ни перестать обманывать ее, — и притом именно в Кушнаппель. Увидев, что граф заинтригован, он ему высказал все, что его влекло и подстрекало: стремление к своей надгробной плите и кощунственной могиле, чтобы искренно покаяться; стремление увидеть издали (оставаясь невидимым для нее) Ленетту и, может быть, вблизи — ее ребенка; стремление получить от очевидцев достоверные сведения об ее супружестве и содружестве со Штибелем, ибо письмо Штибеля было словно ветерок, который запорошил ему глаза цветочным пеплом минувших дней и зашелестел лепестками увядшего цветка супружеской любви; стремление пройтись по арене своих прошлых унижений, сбросив бремя и гордо выпрямившись; стремление услышать в местечке что-либо новое о самом Лейбгере, который ведь совсем недавно побывал там; стремление встретить в одиночестве годовщину своей смерти,

в августе месяце, когда его постигла судьба виноградной лозы, которой обрывают листья, чтобы солнце сильнее согрело ягоды.

Скажу двумя словами, — ибо к чему приводить много доводов: ведь достаточно лишь пожелать, как доводы сами являются в избытке, — он отправился.

## ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

*Путешествие. — Кладбище. — Привидение. — Конец бедствий и книги.*

С каждым днем я все больше убеждаюсь, что я и прочие 999 999 999 людей<sup>1</sup> являемся лишь вместилищами противоречий, неисцелимых ничтожеств и таких намерений, из которых каждое имеет свою противодействующую мышцу (*musc. antagonista*), — другим людям мы противоречим и вполнину не так часто, как самим себе; эта последняя глава служит новым тому доказательством: я и читатель до сих пор домогались лишь того, чтобы закончить книгу, и теперь, когда мы подошли к этому вплотную, нам обоим это чрезвычайно не по вкусу. Поэтому будет не лишним, если ее конец — словно конец сада, тоже изобилующего цветами, плодами и терниями, — я как можно лучше замаскирую, высказав здесь разные мысли, которые, во всяком случае, удлинит это произведение.

Инспектор, наконец, вырвался на простор полей и свободно вздохнул своей крепкой, мускулистой грудью, которую уже не давила тяжкая гора молчания и обманов. Вообще лавина, нависшая над его жизнью, наполовину растаяла под солнцем его теперешнего счастья; электрическая обкладка повышенного оклада и даже возросшее количество дел зарядили его пылом и отвагой. Его должность представляла собою гору, пронизанную столькими серебряными и золотыми жилами, что он уже в этом году смог направить в прусскую вдовью кассу анонимные взносы, чтобы сначала уменьшить свой обман наполовину, а затем и окончательно уничтожить и загладить его. Об этом выполнении долга я совершенно не стал бы дово-

<sup>1</sup> Тысяча миллионов ползает по этому шару.

доть до сведения публики, если бы не опасался, что Криттер из Геттингена, который закрытие ворот этой кассы отложил на 1804 год, или еще более снисходительные вычислители, исчислившие ей в качестве даты соборования 1825 год, — что они, пожалуй, воспользуются моими «Цветами», чтобы объявить инспектора виновником «пляски смерти» вдовьей кассы. Иначе я чрезвычайно раскаивался бы, что вообще упомянул обо всем этом деле в «Цветах».

Фирмиан избрал путь не через Гоф или Байрейт, не по прежним романтическим маршрутам; он опасался, что рука судьбы, этого заоблачного сеятеля, направит Натали навстречу его мнимому трупу. И все же он немного надеялся, что та же рука позволит ему случайно натолкнуться на его Лейбгегера, ибо тот лишь недавно крейсировал в кушнапельских водах. Кроме того в пути он снова воплотился в рубашку и куртку и всю внешнюю оболочку Лейбгегера, полученную от него при обмене в Джеффрисской гостинице, и это одеяние служило Фирмиану зеркалом, которое постоянно показывало ему отсутствующего друга. Когда возле дома одного лесничего гончая, похожая на лейбгегеровскую, повернула к нему голову, сердце его затрепетало от радости: но чутью этой собаки он был так же незнаком, как ее хозяину.

По мере того как он приближался к тем горам и лесам, за китайской или кладбищенской стеной которых находились два его пустых жилища — его могила и комната, — все тяжелее становилось у него на сердце, стиснутом тисками тоски. То не была боязнь быть опознанным; этого ни в коем случае (по причине его теперешнего сходства с Лейбгегером) не могло произойти; уж скорее бы его приняли за его собственный неугомонный призрак и пророка Самуила, чем за еще здравствующего Зибенкэза; но, помимо любви и ожидания, причиной его тревожного настроения было еще и другое тоскливое чувство, которое однажды охватило меня самого, когда я странствовал среди геркуланских древностей моего детства. Мою грудь опять стеснили железные узы и обручи, которые стягивали ее в детстве, когда маленький человек, еще беспомощный и безутешный, трепещет перед страданиями жизни и смерти; в такие минуты мы стоим между сорван-

ными колодками, разомкнутыми наручниками и кандалами и высоким, бурно шелестящим «деревом свободы» философии, которая повела нас на свободное, открытое поле брани и в коронационный зал земли. В каждом кустарнике, вокруг которого Фирмиан прежде бродил во время своей убогой, пустынной осени, он видел висящие, сброшенные кожи змей, некогда обвивавшихся вокруг его ног, — воспоминание, этот отголосок суровых мрачных зимних дней, вторглось в светлую пору его жизни, и из сближения столь непохожих чувств, гнета прежних оков с нынешним вольным ветром, проистекло третье, горькое, сладкое, тревожное.

В сумерки он, внимательно вглядываясь, медленно шел по улицам города, усеянным рассыпанными колосьями: каждый ребенок, пробежавший мимо него с вечерней кружкой пива, каждый знакомый пес и каждый удар старого колокола были сплошными отпечатками на сланце, оставшимися от роз счастья и страстоцветов, которые сами давно уже распались в прах. Когда он проходил мимо своего прежнего дома, то услышал, что как раз в бывшей его комнате два чулочновязальных станка шелкают и скрипят во весь свой скрипичный ключ.

Он остановился в гостинице «Ящерицы», которая едва ли была самым роскошным отелем в местечке, так как адвокату там подали говядину на оловянной тарелке, которая, судя по ее резаным и колотым ранам, посредством факсимиле его собственного ножа некогда вписалась в реестр заложенных тарелок; — однако эта гостиница представляла то преимущество, что Фирмиан смог занять вознесенную на высоту трех лестниц каморку № 7 и устроить там обсерваторию или корабельный марс для наблюдений, непосредственно против штибелевского кабинета, расположенного ниже. Но его Ленетта не подошла к окну. Ах, если бы он ее увидел, то, сокрушенный, упал бы на колени в своей комнате. Лишь когда совсем стемнело, он увидел, что из окна выглянул его старый друг Штиблет и при свете заката — потому что в комнате было слишком темно — просматривал печатную страницу (можно с уверенностью сказать, что это был корректурный лист «Вестника немецких программ»). Фирмиана удивило, что советник выглядел очень осунувшимся и имел на рукаве

крепкую повязку. «Неужели, — подумал он, — бедное дитя моей Ленетты уже умерло?»

В поздний час он с трепетом прокрался в тот сад, откуда не каждый возвращается и с которым соприкасаются висячие райские сады потусторонней жизни. На кладбище он был защищен от внимательных зрителей историками с привидением, коими Лейбгебер вырвал из рук опекуна капитал подопечного. Так как он не мог сразу добраться до своей порожней подземной постели, то прежде прошел мимо родильницы, у которой на могильной насыпи — тогда черной, а теперь поросшей травой, — он посадил букет цветов, чтобы доставить сердцу своей Ленетты неожиданную радость, но доставил лишь неожиданное горе. Наконец он очутился перед постельной ширмой могильной сестры, перед своей надгробной плитой, надпись которой он прочел сверху донизу, холодея и дрожа. «Что, если бы эта каменная дверь легла над твоим лицом и заслонила бы все небо?» — сказал он себе — и подумал о том, какой хаос туч, холод и мрак царят вокруг обоих полюсов жизни (как и вокруг обоих полюсов земли), вокруг начала и конца человека, — свое передразнивание последнего часа он считал теперь греховным; траурный веер длинной темной тучи был раскинут перед луной, — его сердце встревожилось и смягчилось; как вдруг нечто яркое, находившееся вблизи от его могилы, привлекло к себе его взор и потрясло всю его душу.

То была свежая, еще рыхлая могильная насыпь, в крашеной деревянной обшивке, наподобие ларя; на этих ярко размалеванных досках Фирмиан читал, пока ему не помешали хлынувшие из глаз слезы: «Здесь в боге почитает Венделина Ленетта Штибель, урожденная Эгелькраут из Аугспурга. Ее первым мужем был блаженной памяти адвокат для бедных Ст. Ф. Зибенкэз. Она вторично вступила в брак здесь же 1786 года октября 20 дня со школьным советником Штибелем и, счастливо прожив с ним три четверти года, скончалась 22 июля 1787 от родов, и покоится здесь со своей мертворожденной дочкой, ожидая радостного воскресения. . .»

«О ты бедная, бедная!» — вот все, что он смог мысленно произнести. Теперь, когда дни ее жизни сделались более ясными и теплыми, ее поглотила земля, и с собою в мо-

гилу она унесла лишь руки, мозолистые от работы, лицо, сморщенное предсмертными муками, и сердце, умиротворенное, но порожнее, ибо оно, прозябая в лощинах и ущельях земли, видело так мало соцветий и так мало созвездий. Ее страдания всегда надвигались на нее такой тесной, мрачной и громадной толпой, что никакая фантазия не могла их смягчить и расцветить многокрасочными образами поэзии, подобно тому, как не может быть радуги, если все небо затянуто дождевыми тучами. «Почему я тебя столь часто огорчал, и огорчил даже моей смертью, и столь мало прощал твои безобидные причуды?» — сказал он, заливаясь горькими слезами. Дождевого червя, который выполз из могилы и свился в кольцо, он отшвырнул далеко прочь, словно тот только что явился насыщенным из любимого, охладевшего сердца, хотя червь сыт тем, чем, в конечном счете, насыщаемся и мы, — *землею*. Он подумал об истлевающем дитяти, которое, словно его собственное, обняло его душу поблекшими, тонкими ручками и которому смерть дала не меньше, чем некий бог Эндимиону, — сон, вечную юность и бессмертие. Наконец он, шатаясь, медленно покинул эту арену скорби, когда слезы не облегчили, а лишь истомили его сердце.

Когда он вошел в гостиницу, арфистка под аккомпанемент маленького флейтиста пела в общем зале песню с припевом: «Что прошло, тому не быть, — что мертво, тому не жить». Это были те же музыканты, которые играли и пели в новогодний вечер, когда его Ленетта — ныне сраженная и примиренная — терзалась душевными муками и одиноко плакала, прикрыв платком свое страдальческое лицо. Ах, горящие стрелы звуков, свистя, пронзали его сердце, — несчастный не имел против них щита. «Я сильно мучил ее тогда, — повторял он непрестанно, — как она вздыхала, как молчала! — О, если бы ты видела меня теперь с твоих высот, где ты, несомненно, более счастлива; если бы ты созерцала мою окровавленную душу — не для того, чтобы простить мне — нет, для того, чтобы мне на долю выпало утешение хоть сколько-нибудь страдать ради тебя. О, теперь я относился бы к тебе совсем по-другому!»

Так говорим все мы, похоронив тех, кого мучили; но в тот же вечер скорби мы глубоко вонзаем дротик в другую, еще теплую грудь. О, сколь слабы мы с нашими твердыми намерениями! Если бы тот, кто сейчас истекает и чьи раны, нами же нанесенные, мы искупаем слезами раскаяния и добрыми намерениями, был заново создан и в расцвете юных сил вернулся в нашу среду и остался бы с нами, то вновь обретенную, еще более дорогую нам душу мы лишь в течение первых недель сжимали бы в своих объятиях, тогда как позднее мы сжимали бы ее прежними острыми орудиями пытки. Я убежден, что с нашими покойными любимцами мы поступили бы именно так, ибо, — не говоря уж о нашей жестокости к живым, — в сновидениях, когда нас посещают образы усопших, мы повторяем все те направленные против них поступки, в которых наяву каемся. — Я говорю это не для того, чтобы отнять у скорбящего утешение раскаяния или чувство большей любви к утраченному существу, но лишь для того, чтобы побудить его меньше гордиться этим раскаянием и этим чувством.

Когда Фирмиан еще в тот же поздний час увидел, как его старый друг, — сердце которого ныне обладало столь малым, — с изможденным, поблекшим от скорбных дней лицом возвел взоры к небу, словно отыскивая там среди звезд похищенную подругу, — то боль выжала последнюю слезу из опустошенного сердца, и, обезумев от мук, он вменил себе в вину даже страдания своего друга, словно тот не должен был раньше благодарить, а лишь затем прощать его за них.

Он проснулся, изнуренный горем, то есть ощущая то обескровление всех чувств, которое, наконец, переходит в сладостное забытие и в жажду смерти. Ведь он все потерял, даже то, что не было погребено. К советнику он не смел идти, опасаясь, что выдаст себя или, по крайней мере, поставит на карту в двусмысленной игре спокойствие ни в чем неповинного человека, ибо ни ортодоксальная совесть, ни самолюбие последнего не могли бы примириться с мыслью о женитьбе на женщине, еще состоявшей в другом браке.

Но он мог посетить куафёра Мербицера, меньше рискуя себя выдать, и мог получить от него большой за-

пас вестей. — Впрочем, теперь коса смерти рассекла, одновременно с узлами любви, все его цепи и запутанные узлы; теперь он не повредил бы никому, кроме себя, если бы снял перед другими, и даже перед оплакивавшей его Натали, свою личину мертвеца и явился бы не истлевшим, — тем более что его совесть каждодневно и при каждом добром деле требовала с него проценты за просрочку со всей суммы непогашенного долга правдивости и отказывалась предоставить какие бы то ни было льготные сроки. — Далее его Я поклялось, словно некий бог своему Я, что он останется здесь лишь на этот день и больше никогда не вернется.

Куафёр сразу же догадался по хромоте, что перед ним не кто иной, как вадуцский инспектор, Лейбгебер. Он, подобно потомству, возложил на прежнего жильца, Зибенкэза, претолстые розмариновые венки и утверждал, что его теперешние верхние жильцы, эти бестии-чулочники, и в подметки бы не годились покойному господину и что весь дом трещит, когда они скрипят и стучат там, наверху. Далее он сообщил, что не прошло и года, как покойный забрал жену к себе, что она так и не могла забыть мербицеровский дом и часто по вечерам, одетая в свое траурное платье, — впоследствии ее в нем и похоронили, согласно ее желанию, — приходила побеседовать и рассказывала о наступившей в ее жизни перемене. «Они жили друг с дружкой, — сказал парикмахер, — словно два младенца, — стало быть, Штибель и она». Этот разговор, этот дом и, наконец, его собственная, теперь столь шумная комната оказались не чем иным, как сплошными пустырями на месте разрушенного Иерусалима, — где раньше был письменный стол, теперь стоял вязальный станок чулочника и т. д., — и все его вопросы о прошлом были только сбором подаяний, который этот погорелец производил, надеясь за счет его вновь воздвигнуть из фениксова пепла сгоревшие воздушные замки. Надежда — утренняя заря счастья, а воспоминание — его вечерняя заря; но последняя так часто ниспадает бесцветной, тусклой росой или дождем, и лазурный день, возвещенный багрянцем зари, действительно настает, но на другой земле, при другом солнце. — Мербицер, сам того не ведая, шире и глубже вскрыл тот надрез, в который он прививал на

сердце Фирмиана срезанные цветоносные побеги минувших дней, — и когда его жена под конец рассказала, что Ленетта после соборования спросила вечернего проповедника: «Ведь после смерти я вернусь к моему Фирмиану?» — то Фирмиан отвернул грудь от этих непреднамеренных ударов кинжала и поспешил прочь; теперь он стремился на простор, за город, чтобы не встретиться ни с одним человеком, которого вынужден был бы обманывать.

И все же его влекло к людям, хотя бы их можно было найти лишь под самой низкой кровлей — на кладбище. В насыщенном парами и туманами тепличном воздухе грозового вечера росли все порывы скорби; по небу летели растерзанные клочья еще не созревших грозовых облаков, а на восточном горизонте бушующая гроза уже метала свои смоляные зажигательные венки и тяжкие тучи в неведомые края. Он пошел домой; но когда он проходил мимо высокого палисадника блэзовского сада, то ему показалось, что в беседку проскользнула одетая в черное фигура, похожая на Натали. Только теперь его мысли сосредоточились на недавнем сообщении Мербицера о том, что несколько дней тому назад какая-то знатная траурная дама пожелала осмотреть все комнаты его дома и особенно долго задержалась в зибенкэзовской и обо многом осведомлялась. При отважном и романтическом характере Натали отнюдь не было невероятно, что, направляясь в Вадуц, она окольным путем посетит Кушнапель, так как она к тому же никогда не видела местожительства Фирмиана, а инспектор ей не ответил ни на один вопрос, — так как Роза уже был женат, — и со времени появления призрака Блэз помирился с нею — и так как наступление месяца смерти Фирмиана весьма естественно могло побудить ее совершить паломничество к месту его успокоения.

Понятно, что ее друг теперь весь вечер со скорбной нежностью думал о той, которая, как единственная еще не скрывшаяся звезда, мерцала на затянутом тучами звездном небе его прошлых дней. — Но вот уже стемнело; повеяло прохладой; гроза истощила свою ярость над другими землями; лишь черно-багровые руины туч, словно тлеющие, полуобугленные головни, громоздились на небе. Он в последний раз пошел к тому месту, где смерть за-

сыпала землю красную гвоздику, срезанную вместе с ее ростком; но в его душе, как и вне его, уже веял не удушливый, а более свежий ветер, — горечь первого приступа скорби была разбавлена слезами; он, смирившись, чувствовал, что для людей земля лишь место, где *мастерят* всякие мелочи, а не место, где *воздвигают* настоящие здания; — на востоке длинная голубая полоса над ушедшими за горизонт грозами засияла восходящими звездами, — световой магнит небес, лунный диск посылал снопы лучей в разрыв распластанного облака, и отдаленные тучи таяли, оставаясь неподвижными.

Когда Фирмиан, приблизившись к дорогой могиле, поднял поникшую голову, на могильной насыпи покоилась черная фигура. Он остановился, он всмотрелся пристальнее: то была женщина, неподвижно глядевшая на него; ее лицо застыло и замерзло, скованное льдом смерти. Фирмиан подошел ближе: его милая Натали бессильно прислонилась к яркому надгробному помосту, ее губы и щеки осеннее дыхание смерти покрыло белым инеем, взор ее широко раскрытых глаз померк, и только капли слез, еще повисшие на ресницах, показывали, что она только что была жива и что она его приняла за привидение, о котором столько слышала. Погруженная в печальные грезы над его могилой, она, с ее сильным и тоскующим сердцем, мысленно пожелала явления призрака, и когда увидела приближающегося Фирмиана, то подумала, что рок ее услышал; и тогда металлическая рука холодного ужаса, сдавившая алую розу, превратила ее в белую. О, ее друг был несчастнее; его мягкое, обнаженное сердце лежало, раздавленное между двумя столкнувшимися мирами. Он горестно воскликнул: «Натали, Натали!» Уста дрогнули и раскрылись, дуновение жизни согрело взор; но так как мертвец продолжал стоять перед ней, глаза ее сомкнулись, и она, содрогнувшись, сказала: «О боже!» Тщетно его голос призывал ее обратно к мукам бытия: едва она подняла взор, сердце ее застыло от близости привидения, и она смогла лишь вздохнуть: «О боже!» — Фирмиан стремительно взял ее за руку и воскликнул: «Ангел небесный, я не умер — только взгляни на меня — Натали, разве ты меня не узнаешь? О боже милосердый! Не карай меня столь ужасно, не сделай меня виновником

ее смерти!» Наконец она медленно подняла отяжелевшие веки и увидела, что старый друг трепещет возле нее со слезами страха и с искаженным лицом, сведенным судорогой от уколов ядовитых шипов страдания; он заплакал радостнее и сильнее и скорбно улыбнулся ей, когда глаза ее остались открытыми: «Натали, ведь я еще живу на земле и страдаю, как ты. — Или ты не видишь, как я трепещу за тебя? — Возьми мою теплую человеческую руку. — Ты еще страшишься?» — «Нет» — сказала она, изнеможенная; но она глядела на него боязливо, словно на сверхъестественное существо, и не осмеливалась просить разъяснения загадки. Он со слезами умиления помог ей подняться и сказал: «Покиньте же вы, неповинная, это печальное место, на котором уже пролито столько слез. — Для вашего сердца мое не имеет больше тайн. — Ах, я могу вам все сказать, и я все скажу вам». Он повел ее мимо безмолвных могил, поднимаясь по склону холма, и вывел с кладбища через верхние ворота; но при восхождении она шла с трудом, устало опираясь на его руку, и только слезы, одновременно извлеченные из ее глаз счастьем, миновавшим страхом, печалью и утомлением, струились, словно теплый бальзам, на охладевшее, расщепленное сердце.

С трудом, словно изнуренная больная, она взошла на вершину холма, присела, — и пред ними распростерлись черные леса ночи, пересеченные решеткой из белых нив и прорезанные проливами тихого моря лунного света; природа приглушила все звуки сурдиной полночи, и возле Натали стоял дорогой воскресший. Теперь он поведал уговоры Лейбгекера — краткую повесть своей кончины — свое пребывание у графа — всю тоску и слезы своего долгого одиночества — свое твердое решение бежать от нее, чтобы не обманывать и не ранить ее прекрасное сердце словами или письмом — и признания, которые он уже сделал отцу ее подруги. Во время расказа об его последней минуте и о том, как он навеки простился с Ленеттой, она рыдала, словно все было правдой. Она думала о многом, но сказала только: «Ах, вы лишь пожертвовали собою ради чужого, а не ради своего счастья. Но теперь вы прекратите или искупите все за-

блуждения». — «Все, насколько я смогу, — сказал он, — моя душа и совесть наконец обретают свободу: ведь я сдержал даже клятву, что встречу с вами лишь после моей смерти?» Она нежно улыбнулась.

Оба погрузились в молчание, полное упоения. Вдруг, когда она положила к себе на колени застывшую от холодной росы бабочку-траурницу,<sup>1</sup> ему бросился в глаза ее собственный траур, и он необдуманно спросил: «Разве и вы скорбите по ком-нибудь?» — Ах, ведь это по нем она облеклась в траур. Натали отвечала: «Теперь уже нет!» — и, глядя на бабочку, участливо добавила: «Немного холода и росы — и бедняжка совсем оцепенела». — Ее друг думал о том, как легко могла бы судьба покарать его дерзость, повергнув навеки в оцепенение более прекрасное (хотя одетое в такой же траур) существо, которое и без того столь долго содрогалось в заморозках жизни и в холодной росе слез. Но от любви и печали он был не в силах ей ответить.

Они умолкли, разгадывая и понимая друг друга, наполовину погруженные в свои чувства, наполовину в созерцание величественной ночи. Все тучи — ах, лишь на небе — поглотил необъятный эфир — луна, с ее нимбом, словно лучезарная мадонна, склонилась со своих чистых лазурных высот, стремясь приблизиться к бледной земной сестре — невидимый поток продолжал пробиваться сквозь осевшие туманы, как поток времени сквозь туманы стран и народов. Ночной ветер улегся позади их, словно на солому, на пригнувшиеся, шелестящие колосья, усеянные синими васильками, а внизу перед ними лежали полегшие колосья иного мира, подобно помещенным в гробовую оправу драгоценным камням, которые смерть сделала *холодными и тяжелыми*,<sup>2</sup> — и кроткий, набожный человек, словно по контрасту с подсолнечником и с пылинками солнечных лучей, превращался в лунную фиалку и тянулся к луне и, подобно пылинке, резвился в ее холодных лучах и чувствовал, что под звездным небом нет ничего великого, кроме упований.

<sup>1</sup> Дневная бабочка: крылья черные, с белой каймой.

<sup>2</sup> Настоящий драгоценный камень холоднее и тяжелее, чем фальшивый.

Натали оперлась на руку Фирмиана, чтобы встать, и сказала: «Теперь я уже в состоянии идти домой». — Он держал ее руку, но не поднимаясь с места и не говоря ни слова. Он глядел на колючий венец засохшей ветви розы, некогда врученный ею, и, сам того не сознавая и не чувствуя, уколол пальцы о шипы — стесненная грудь вздымалась от долгих и жарких вздохов — на его ресницах повисли жгучие слезы, и дрожавший перед глазами лунный свет ниспадал в виде дождя метеоров — и целый мир давил душу Фирмиана и сковывал его язык. «Дорогой Фирмиан, — сказала Натали, — что с вами?» — С оцепенелым взором широко раскрытых глаз обернулся он к нежно вопрошавшей и показал рукою вниз, на свою могилу: «Со мною рядом мой дом, который уже так долго пустует. Ведь сон жизни снится нам на слишком жестком ложе». Он умолк в замешательстве, потому что она горько плакала, и ее лицо, на котором разлилась небесная нежность, было слишком близко от его лица. Он продолжал с самым глубоким и горьким волнением: «Разве не удалились все мои дорогие, и разве ты не удаляешься тоже? Ах, почему всем нам мучительница-судьба возложила на грудь воскового ангела<sup>1</sup> и с ним опустила нас в холодный земной мир? О, хрупкий образ разрушится, и ангел не явится нам. — Правда, мне явилась ты, но ты исчезнешь, а время раздавит твой образ у меня на сердце — и самое сердце тоже; ведь когда я тебя утрачу, я останусь совсем одиноким. Будь же счастлива! Клянусь богом, ведь умру же я когда-нибудь настоящей смертью — и тогда я снова явлюсь тебе, но не так, как сегодня, и лишь в вечности. Тогда я скажу тебе: «О Натали, там, на земле, я любил тебя в бесконечных муках, вознагради меня здесь!» — Она хотела ответить; но голос не повиновался ей. Она возвела к звездному небу свой глубокий взор; но он был полон слез. Она хотела встать; но ее друг удержал ее исколотой терниями, окровавленной рукой и сказал: «Неужели ты можешь меня покинуть, Натали?» — Тогда она величаво поднялась, быстро отерла слезы, и ее воспарившая душа обрела дар слова, и, мо-

---

<sup>1</sup> В старину мертвецов, уложенных в гроб, наделили восковым изображением ангела.

литвенно сложив руки, она сказала: «О вселюбящий — я утратила его — я вновь обрела его — вечность настала на земле — дай ему счастье со мною». И она нежно и устало склонила к нему голову и произнесла: «Мы останемся вместе!» — Фирмиан пролепетал: «О боже! О ты, ангел, — ты будешь со мною в жизни и в смерти».

«Вечно, Фирмиан!» — тихо сказала Натали; и страданиям нашего друга наступил конец.



# П Р И М Е Ч А Н И Я





При составлении примечаний были использованы основные немецкие издания «Зибенкэза»: издание Неррлиха в «Kürschners National-Literatur», издание Фрея в шести- и восьмитомных собраниях сочинений Жан-Поля (изд-ва Бонга) и издание «Зибенкэза» в юбилейном полном собрании сочинений Жан-Поля. Ряд имеющих по преимуществу ироническое значение «ученых ссылок» Жан-Поля на авторов и произведения, которые ничем не примечательны и которые никак специально не характеризуют творчества Жан-Поля, я счел возможным оставить без комментария.

#### Предисловие ко второму изданию

Стр. 1—4

Величайшие увелечения — в основу настоящего перевода положено в основном именно второе издание, значительно расширенное.

Пифия — так назывались предсказательницы в древней Греции.

Геспера — первый большой законченный роман Жан-Поля. Второе издание «Геспера» вышло в 1797 г., третье издание в 1818 г.

Фикслейн — самая крупная идиллия Жан-Поля (первое издание — 1795 г., второе издание — 1796 г.) (ср. стр. XV).

Осенние цветочные богини — сборник мелких очерков и сатир Жан-Поля.

Введение в эстетику — «Предварительная школа эстетики», излагающая принципы жан-полевской поэтики.

Левана — педагогический трактат Жан-Поля.

Кушнаппель — созданный Жан-Подем типический образ холостного немецкого городишки. Его прототипом является в первую очередь Гоф (ср. стр. VII), хотя Гоф фигурирует в романе и сам по себе. Аналогичный Кушнаппелю, также созданный воображением Жан-Поля, Крвинкель («вороний угол», соответствует нашему «медвежьему углу») стал в Германии именем нарицательным. Само название Кушнаппеля заимствовано от одной деревушки.

Письма Жан-Поля — подразумевается «полуроман» Жан-Поля «Письма и предстоящий жизненный путь» (ср. стр. XXXIII), где фигурирует ряд персонажей «Зибенкэза».

Лейбгеберяны — речи и письма Лейбгебера.

Изгнание из страны слов-иностранных. Злоупотреблявший в своих ранних произведениях иностранными словами, Жан-Поль впоследствии сокращает их число. Однако он был очень далек от националистического пуризма (Кампе).

Книжный магазин берлинских реальных училищ — в издании этой «книжной торговли» вышла в свет вторая редакция романа.

## Предисловие

Стр. 5—20

«Дни собачьей почты» — подзаголовок «Геспера», предшествовавшего «Зибенкэзу» романа Жан-Поля.

Книгоиздательство, выпускавшее в свет оба произведения — «Геспер» и «Зибенкэз» были изданы Карлом Мацдорфом в Берлине.

Шерау — созданный Жан-Полем в «Геспере» город, типичная резиденция небольшого немецкого княжества. В своих произведениях Жан-Поль неоднократно возвращается к Шерау.

Судебный сеньер — владелец рыцарского поместья обладал судебным суверенитетом, то есть сам назначал судей. Разбогатевший Эрман приобрел такое поместье и стал судебным сеньером.

Венские римессы (финансовый термин) — посылка с деньгами или ценными бумагами от одного купца к другому с целью улучшения баланса.

Рождественские альманахи — последние десятилетия XVII века Германия была наводнена поэтическими альманахами, заполненными на 90% никуда негодными произведениями.

*Libro maestro* (итал.) — главная книга.

Багдад — в подлиннике *Byzanz* (Византия), но при переводе надо было сохранить аллитерирующее Б.

*Cogrus callosum* (лат.) — часть мозга, соединяющая оба мозговых полушария.

Нодеус — Габриель Нодэ (1600—1653) — известный ученый своего времени.

*Spiritus rector* (лат.) — оживляющий дух.

Шотландский мастер — одна из высших степеней масонских лож.

Четвертый факультет. Начиная с конца средних веков, университеты обладали обычно четырьмя факультетами: теологическим, юридическим, философским и медицинским, так что философия входила в число «официальных наук».

*Conclusio* (лат.) — заключение, решение.

Линней (1707—1778) — знаменитый шведский ботаник, создатель классификации растений.

Гердер (1744—1804) — знаменитый немецкий теоретик искусства и историк; Жан-Поль был к нему очень близок (ср. стр. XIII сл.).

Гете (1749—1832) — величайший немецкий поэт и глубокий мыслитель; об отношении Жан-Поля к Гете ср. стр. LIII.

**Лессинг (1729—1781)** — знаменитый немецкий писатель и критик, открывающий своим творчеством период немецкой классической литературы.

**Виланд (1733—1813)** — крупный немецкий поэт с подчеркнуто светским мировоззрением, создатель легкого, изящного стиля.

**Лютер (1483—1546)** — виднейший деятель немецкой реформации. Своим переводом Библии на немецкий язык оказал большое влияние на развитие немецкого национального языка.

**Трофейный колокол** — огромный колокол, отлитый в 1711 г. для собора св. Стефана в Вене из пушек, отнятых у турок.

**Синяя библиотека** — французские «народные книги», популярные романы (частично переделки средневековых рыцарских романов), проникшие и в Германию.

**Война с Францией** — подразумевается война европейской реакционной коалиции против революционной Франции.

**Клопшток (1724—1803)** — знаменитый немецкий поэт, выступивший с проектом реформы немецкой орфографии.

**Картезианцы и ньютоналисты** — последователи знаменитого французского философа-рационалиста Декарта (1596—1650) и великого английского ученого Ньютона (1643—1727), одного из виднейших представителей эмпиризма.

**Флаксенфингенский князь** — один из персонажей «Геспера». Флаксенфинген — созданный Жан-Полем типический образ немецкого мелкого княжества.

**Opusculis (лат.)** — произведения.

**Codex (лат.)** — том; книга.

**Lexicon Homerisum (лат.)** — гомеровский словарь (т. е. словарь гомеровских героев и т. п.).

**Афинский или английский стиль** — Жан-Поль говорит здесь о двух основных направлениях в современной немецкой литературе: о грубоватом, юмористическом реализме (опиравшемся на английский роман) и о классицизме.

**Mundus muliebris (лат.)** — женские украшения.

**Хоммель (1722—1781)** — правовед.

**Я, как известно, возведен в сан князя**. В «Геспере» Жан-Поль оказывается одним из незаконных сыновей князя.

**Суперинтендент** — местный глава реформированной церкви.

**Ходячий ост-индский торговый дом**. Эрман воплощает для Жан-Поля капитализм; поэтому он сопоставляется с самой знаменитой и могущественной в то время торговой компанией — ост-индской.

**Бёкельсцоон** — голландец, которому приписывается изобретение соления рыбы.

**Эразм (1466—1536)** — знаменитый гуманист, сатирик. Автор «Похвалы глупости» (ср. стр. VIII сл.).

**Кампе (1746—1818)** — известный в свое время немецкий педагог, моралист и языковед (в частности вел ожесточенную борьбу против иностранных слов, являясь одним из наиболее значительных пуристов).

**Контрафактор** — человек, не испрашивая разрешения и не платя ни копейки автору, перепечатавающий чужие книги. Контрафакторы использовали в своих целях раздробленность Германии, препятствовавшую юридической охране авторских прав, и наносили большой вред авторам и издателям, лишая их доходов от последующих изданий.

**Diminuendo** (итальянский музыкальный термин) — постепенно затихая.

## КНИГА ПЕРВАЯ

### Первая глава

Стр. 25—42

**Аугсбург** — крупный город в северной Баварии. В южно-немецком произношении Ленетты — Аугспург.

В Фуггеровом квартале — часть Аугсбурга, построенная в 1519 г. богатейшим в то время банкиром Фуггером.

**Эпиктет** (I—II в. н. э.) — греческий философ, один из виднейших стоиков. Был долгое время рабом. Ниже Жан-Поля имеет в виду следующий эпизод: однажды, когда хозяин Эпиктета сильно ударил его по ноге, Эпиктет сказал: «Ты мне ломаешь ногу» и спокойно произнес, когда хозяин, повторив удар, действительно сломал ее: «Я же тебе говорил». (О стоицизме у Жан-Поля ср. стр. XXXVII.)

**Антонин** (121—180) — одно из имен Марка-Аврелия, был в 161—180 гг. римским императором; философ-стоик.

**Яблоко красоты и раздора** (из греческой мифологии) — яблоко, с надписью «прекраснейшей», брошенное богиней раздора Эрис во время свадебного пира Пелея и Фетиды, послужило отдаленной причиной Троянской войны.

Как мирно они здесь покоятся — начальные слова популярной в XVIII в. похоронной песни А. К. Штюкмана (1751—1821).

**Лейзер... Meditationes** — «Meditationes ad Pandectas» («Размышления о пандектах», то есть римских законах) — название главного сочинения знаменитого немецкого юриста XVIII в. Лейзера.

**Сведенборг** (1688—1772) — мистик, один из предшественников спиритизма.

**Горациева сатира**. Гораций (65 г. до н. э. — 8 г. н. э.) — знаменитый поэт эпохи расцвета римской поэзии. Большой мастер формы, требовал от поэтов сдержанности и меры.

**Аристофанова площадная песнь**. Аристофан (450—385 до н. э.) — наиболее реалистический и острый сатирик среди древнегреческих драматургов.

**Титан** — самый обширный роман Жан-Поля (первое издание — в 1800—1804 гг.) (ср. стр. LI).

**Геркуланум** — древнеримский город близ Неаполя, погребенный под лавой извержением Везувия в 79 г. Начавшиеся в

XVIII в. раскопки обнаружили ряд ценнейших памятников античного быта и искусства, в том числе богатую стенную живопись.

**Пророк Иона.** По библейскому сказанию, Иона был проглотен китом. Жан-Поль имеет в виду легендарное библейское чудовище — бегемота.

**Птица Феникс.** По греческому сказанию Феникс бессмертен, через каждые 500 лет он сжигает себя и возрождается из собственного пепла.

**Курфюрст** — так назывались наиболее влиятельные князья (светские и духовные) старой Германской империи, обладавшие правом участвовать в выборах императора.

**Palais** (франц.) — одновременно означает дворец и небо. На этом построена игра слов в тексте.

**Non Mousseux** (франц.) — нешипучее.

**На десятой музее...** Античная мифология знала лишь девять муз (покровительниц искусств), три грации (олицетворение красоты) и одну Венеру (богиню любви и красоты). Таким образом, Штифель делает здесь галантный комплимент Ленетте, приравнивая ее ко всем этим мифологическим существам.

**Питт (1759—1806)** — знаменитый английский политический деятель, премьер-министр с 1783 г., вдохновитель войны против революционной Франции и Наполеона.

## Вторая глава

Стр. 43—65

**Франкфуртский двуглавый орел.** Коронация германских императоров происходила в городе Франкфурте-на-Майне и сопровождалась рядом празднеств; в частности народ получал угощение, в том числе вино, бившее из клювов огромного двуглавого орла (государственного герба империи). Погадкой называются переваренные остатки пищи, изрыгаемые хищными птицами.

**Ultima... antepenultima** (лат.) — последний слог слова, третий от конца слог слова.

**Реомюр, Бонне и Кювье.** Реомюр (1683—1757) — знаменитый французский физик; Шарль Бонне (1720—1793) — крупный швейцарский философ и естествоиспытатель; пытался соединить материализм в биологии с религиозными воззрениями; Кювье (1769—1832) — знаменитый французский зоолог, основатель палеонтологической зоологии.

**Семьдесят господ из большого совета...** Сведения о государственном устройстве Кушнаппеля заимствованы из конституции Берна. Численность советов и членов уменьшена в два раза (ср. стр. 66).

**Conspectus** (лат.) — конспект, обзор.

**Имперский город.** Города, обладавшие самоуправлением и подчинявшиеся лишь непосредственно императору, назывались вольными имперскими городами.

**Anno** (лат.) — в лето; в год такой-то.

**Edictaliter** (лат.) — установленный народом.

**A dato** (лат.) — с сего числа.

**Pro mortuo** (лат.) — приравнен к умершим.

**In integrum** (лат.) — в прежней чистоте.

**Encaustum** (лат.) — багряные, пурпурно-красные чернила, которыми подписывались римские и византийские императоры.

**Бланшар** (1738—1809) — в 1784 г. совершил первый полет на воздушном шаре.

**Кришна** — одно из верховных индийских божеств.

**Физик Марат** (1744—1793) — знаменитый революционер, вождь народных масс во Французской революции, одновременно также автор ряда работ по физике.

**Sans façon** (франц.) — без церемоний.

**По-немецки, Блазиус.** Жан-Поль пародирует здесь пристрастие немецких ученых и чиновников к латинизации своих фамилий (латинское окончание *ius*).

**Lever** (франц.) — торжественное пробуждение; утренний туалет.

**Парик из стеклянных нитей** — такие парики (из переплетенного стекла) были тогда в моде.

**Praeter propter** (лат.) — до некоторой степени.

**Tertia comparationis** (лат.) — косвенное признание.

**Comparatio literarum** (лат.) — сличение почерков.

**Гернгутеры** — распространенная в XVIII в. религиозная секта, строго евангельского направления.

**Нерон** (37—68) — римский император.

**Себастиан** (1554—1578) — португальский король.

**Юстиниан** (483—565) — византийский император.

**Квисдорп** (1737—1795) — знаменитый немецкий криминалист.

**Iniuriandi animus** (лат.) — намерение оскорбить.

**Cage d'amour** (франц.) — любовный сувенир.

**Ессе hominulus** (лат.) — се человечико! (пародия на евангельское «се человек»).

**Фемида** — богиня правосудия в греческой мифологии.

**Пристлеевское зеленое вещество.** Пристлей (1733—1814) называл зеленой материей или веществом образующуюся в стоячей воде зеленую массу из водорослей.

**Кенигштейнская крепость** — считавшаяся неприступной крепость в Саксонии.

**Байрейтские земли** — Байрейт, небольшой город в северной Баварии, был до XVIII в. столицей маленького одноименного княжества.

**Платон** (427—347 до н. э.) — великий древнегреческий философ, основатель философского идеализма.

**Свифт** (1667—1745) — великий английский сатирик, особенно знаменит своими «Путешествиями Гулливера».

**Арбетнот** (1675—1735) — английский врач и сатирический писатель.

**Поп** (1688—1744) — знаменитый английский сатирик и переводчик. Поп, Свифт и Арбетнот действительно были очень дружны. Они написали совместно сатиру «Мемуары Мартина Скриблера».

**Морлаки** — сербское племя в Далмации.

## Приложение ко второй главе

Стр. 65—71

**Николай (1733—1811)** — известный немецкий рационалист, книгоиздатель и критик.

**Шлецер (1735—1809)** — политик и историк.

**Нюрнберг...** Ульм — крупные города в южной Германии.

**Гейдельбергская бочка** — огромная бочка, построенная в 1751 г. и находящаяся в Гейдельберге.

**Plethora** — полнокровие.

**Вартбург** — небольшой город в Тюрингии, в XVI в. был некоторое время центром реформации и местожительством Лютера.

«Неизгладимое» пятно. Такая легенда о Лютере действительно существует у протестантов.

## Третья глава

Стр. 71—108

Эти религиозные древности. В подлиннике приводится ряд языковых форм архаического характера (XVI в.), которые, однако, продолжают существовать в диалектах. В переводе даны аналогичные архаические русские формы, независимо от их правильности или неправильности.

**Очковые талеры...** Каждый из многочисленных князей Германии имел право чеканить собственную монету. Они назывались часто по рисункам или по особенностям портретов, отгиснутых на них (очковый талер, дукат с косичкой). Эфраимитами назывались прусские монеты, выпущенные во время семилетней войны откупщиком Эфраимом.

«Избранные места из бумаг дьявола» — такая книга была действительно издана в 1789 г. в Гере, но принадлежала она перу самого Жан-Поля. Характерный штрих, подтверждающий близость фигуры Зибенкэза к автору.

**Конректор Винкельман (1717—1766)** — величайший знаток античного искусства в XVIII в. Положил основание подлинному проникновению в сущность классического искусства, показывая его обусловленность общественным строем древней Греции. Сын сапожника, будучи школьным учителем (конректором), вел нищенское существование в Германии, в 1755 г. переехал в Рим, где получил титул «президента римских древностей».

**Ганнибал (247—183 до н. э.)** — великий полководец Карфагена, наступавший со своей армией на Рим.

**Орус (лат.)** — произведение.

**Двенадцать таблиц** — типичное для Жан-Поля сопоставление разномасштабных вещей: двенадцатью таблицами именуются первые римские законы.

**Расин (1639—1699)** — знаменитый драматург французского классицизма XVII в.

**Научные геттингенские известия** — популярный научный журнал, издававшийся с 1750 г. в Геттингене.

Всеобщая немецкая библиотека — критический журнал рационалистического направления, издававшийся Николаи в Берлине с 1765 г. Жан-Поля неоднократно в этом журнале поругивали, так что его замечание имеет иронический характер.

Немезида (из греческой мифологии) — карающая богиня.

Легочная проба — популярное в старинной судебной медицине испытание, имевшее целью определить, родился ли ребенок живым. Легкие опускали в воду, — если они плавали, то это служило показателем наличия в них воздуха, что считалось достаточным доказательством хотя бы недолгой жизни ребенка.

Ордалии — распространенные в средние века обряды, имевшие целью разрешить какой-нибудь спорный вопрос с помощью «непосредственного вмешательства бога».

Школьные программы. В немецких гимназиях существовала традиция издавать ежегодно свои программы в сопровождении какой-нибудь ученой статьи, обычно филологического характера.

Зальцбургская... Зальцбург — город в Австрии.

Иенская я... Иена — университетский город в Тюрингии, игравший большую роль в духовной жизни Германии в конце XVIII в. (в нем жил и преподавал Шиллер, он был центром ранних романтиков).

Лернейская гидра — многоголовое чудовище из греческой мифологии, у которого на месте каждой отрубленной головы вырастали новые.

Humaniora — филологические науки.

Гиббон (1737—1794) — известный английский историк.

Гесснер (1730—1788) — немецкий писатель, автор известных идилий из жизни патриархальных швейцарских пастухов и на библейские темы. Одновременно художник-гравер.

Доусеи (франц.) — лакомство.

Трактат Рубениуса. Вероятно, Жан-Поль имеет в виду книгу А. Рубенса (1614—1653) «Об одеяниях древних».

Pièce fugitive (франц.) — случайный набросок.

Immo, immo (лат.) — напротив, напротив.

«Опасные связи» (liaisons) — намек на роман Шодерло де Лакло «Опасные связи».

Кольбе (1757—1835) — один из крайних пуритистов.

Геральдическое животное. Каждый евангелист имеет эмблему — животное. У евангелиста Луки — это бык.

Зоотомическая — рассекающая животное на части.

Септембризатор — намек на избиение революционными массами Парижа заключенных врагов народа в сентябре 1791 г.

Польша. Как раз в конце XVIII в. происходили разделы Польши между Россией, Пруссией и Австрией. Замечание Жан-Поля о «честности» этого раздела является, конечно, открыто ироническим.

Пиетизм — ср. предисловие, стр. XIII.

Demi-négligé (франц.) — полуодетое состояние.

Двенадцать геркулесовых работ. Величайший герой греческой мифологии Геракл совершил для Эвристея, царя Аргоса, двенадцать труднейших подвигов.

Фюрт. . . Эллванген — города в южной Германии. В Эллвангене с 1774 г. жил Иоганн Иосиф Гасснер, выдававший себя за исцелителя хромых, слепых и эпилептиков, чем привлекал в Эллванген множество больных.

En masque (франц.) — замаскированная.

Молукские острова — расположенные в Азии (Индонезия), Молукские острова были знамениты своими пряностями.

Циммерманновская зоологическая карта. Циммерманн (1743—1815) — ученый, много занимавшийся вопросом о границах обитания разных пород животных.

Добантон (1716—1799) — французский естествоиспытатель.

Паскаль (1623—1662) — знаменитый французский ученый и моралист.

Камералисты — ученые финансисты.

Железная рука Геца. Гец фон Берлихинген (1480—1562), один из вождей рыцарского восстания 1516 г., участвовавший в крестьянской войне, но впоследствии предавший крестьян, на войне потерял одну руку и заменил ее железным протезом. В XVIII в. фигура Геца стала очень популярной благодаря драме молодого Гете «Гец фон Берлихинген» (1771).

Engagements (франц.) — приглашения.

Jabot (франц.) — жабо, кружевной воротник.

Faites honneurs (франц.) — приносит комплименты.

Тройль — шведский путешественник.

In petto (лат.) — про запас.

Species facti (лат.) — изложение обстоятельств дела.

Паулин — см. прим. к стр. 9.

#### Четвертая глава

Стр. 108—129

Игра à la guerre (франц.) — так называется одна бильярдная игра, но буквальное значение — «игра в войну».

Эпиктет — см. прим. к стр. 27.

Bagatelle (итал.) — шутка.

«Генриада» Вольтера — эпическая поэма Вольтера, воспевающая короля Генриха II. Одно из слабейших произведений Вольтера.

Dea ex machinae (лат.) — богиня из машины в позднем античном театре «богом из машины» назывались сверхъестественные существа, спускавшиеся на сцену в момент крайней запутанности действия и разрешавшие своим вмешательством узел интриги.

Jus comrasui (лат.) — право совместного пользования пастбищем.

Бутлер (1612—1680) — английский поэт-сатирик. Особенно известна его сатирическая поэма «Гудибрас».

Стерн (1713—1768) — знаменитый английский сентименталист (ср. стр. XXIII).

Великан Герион (из греческой мифологии) — обладавший тремя телами великан, побежденный Геркулесом.

**Regeat** (лат.) — да погибнет.

**Флибустьер** — кличка пиратов в XVIII в.

**Катилина** (108—62 до н. э.) — римский политический деятель; его заговор против аристократического сената был раскрыт, и Катилина был убит в сражении.

**Inhibitoriales** (лат.) — запретительные эдикты.

**Verba anomalia** (лат.) — неправильные глаголы. В переводах здесь допущены некоторые вольности с целью передать архаически и религиозно окрашенную речь Ленетты.

**Когнат** — кровный родственник.

**Пуфендорф** (1632—1694) — знаменитый юрист, один из создателей теории естественного права.

**Patrimonium Petri, Pauli, Judae** — наследство Петра, Павла, Иуды.

**Взгромоздить...** еще пару венцов — намек на папскую тройную тиару.

**Пинд** — горы в северной Греции. Античная мифология считала их обиталищем муз.

**Пегас** (из греческой мифологии) — крылатый конь муз.

**Siècle de Louis XIV** — век Людовика XIV; так называется в основном совпадающая с царствованием Людовика XIV: 1643—1715) эпоха расцвета французского абсолютизма, выдвинувшая ряд крупнейших поэтов и ученых.

**Rationes dubitandi** и **decidendi** (лат.) — основания для сомнений и для разрешения (термины школьной логики).

**Part** (лат.) — часть.

**Usus epanorthoticus** — правоучение.

**Orbus pictus** — мир в картинах; так назывались в XVII—XVIII вв. книги с рисунками, изображавшими все основные явления и достопримечательности мира.

**Бонне** — см. прим. к стр. 45.

**Громадный Христофорчик** — святой католической церкви. Легенды рассказывают об его огромном росте.

**Выписанная англичанами...** солдатня. В XVIII в. ряд мелких немецких князей продавал своих солдат другим странам, в частности Англии, которая их использовала для войны против восставших североамериканцев.

**Хева** — форма, более близкая к древнееврейскому Хава.

**Лувр** — старый дворец французских королей; впоследствии музей.

**Энак**. По библейской легенде энаки были племенем гигантов на юге Палестины.

**Corpus juris** (лат.) — свод законов.

**«Ученые Германии» Мейзеля** — двадцатитрехтомный сборник биографий немецких ученых. Издавался в 1796—1834 гг.

**«Лексикон ученых» Иехера** — четырехтомный словарь 1750—1751 гг.

**Принц Уэльский, Калабрийский, Астурийский и Бразильский** — все это наследные принцы (Англии, Сицилии, Испании и Португалии), то есть Каин объявляется здесь наследным принцем Адама.

- Scientia medica* (лат.) — медицинская наука.
- Nisus formativus* (лат.) — творческая способность.
- Блуменбах (1752—1840) — знаменитый врач и естествоиспытатель.
- Jus primae noctis* (лат.) — право первой ночи.
- Limbus infantum* (лат.) — обиталище душ детей, умерших некрещеными.
- Бедлам — знаменитый дом для умалишенных в Лондоне.
- Dogmaticum... clinicum* (лат.) — виды схоластических латинских школ.
- Левенхук (1632—1723) — голландский естествоиспытатель.
- Штатгальтеры на римском стуле — римские паны.
- Люнебургский стул пыток — знаменитый средневековый инструмент для пыток в Люнебурге (город в северной Германии).
- Площадь *Grève* — площадь в Париже, на которой происходили казни.
- Борджиа — знаменитый своей жестокостью и вероломством итальянский князь эпохи Возрождения, сын папы Александра VI.
- Пизарро — завоеватель Перу, прославившийся своей жестокостью.
- Святой Доминик — основатель ордена доминиканцев, которому была поручена инквизиция.
- Потемкин — один из фаворитов Екатерины II. В Западной Европе много писалось об его жестокости.
- Stegocleidomastoideum* (лат.) — мускул, соединяющий ухо с шеей.
- Зоммеринг (1755—1830) — анатом и физиолог.
- Плодоносное общество — так называлось значительнейшее из немецких языковых обществ XVII в.
- Clausula salutaris* (лат.) — спасительная оговорка.
- Виттенберг — город в Тюрингии, один из центров реформации.
- Байрейтский генерал-суперинтендент — глава протестантской церкви в Байрейте.
- Павия — старый университетский город в Италии.
- De Piles* — Роджер де Пиль (1635—1709), художник и теоретик искусства.
- Янус (из римской мифологии) — божество начала и конца. Обычно изображалось с двумя лицами, смотрящими в противоположные стороны.

Окончание предисловия и первого тома

Стр. 129—138

- Аргус (из греческой мифологии) — тысячеглазый великан, стороживший красавицу Ио. Стал синонимом неусыпного стража.
- Манна св. Николая — известный яд.
- Я — сын — в «Геспере» Жан-Поль вводит себя самого в действие романа и оказывается одним из сыновей флаксенфингенского князя.
- Филамела (греч.) — соловей.

Гензериx — король (с 427 по 477 г.) прославившихся своею дикостью вандалов.

Мильтон (1608—1674) — знаменитый английский поэт, автор поэм «Потерянный рай» и «Возвращенный рай».

Праздник мира... — в «Плодовом фрагменте» (опущенном в настоящем издании) описывается весенний праздник группы друзей (героев «Геспера», в их число входит и сам Жан-Поль), мечтающих о совершенной душевной умиротворенности, о забвении вражды и ненависти.

Долгий парламент — так называется английский парламент, заседавший во времена английской революции с 1640 по 1660 г.

1794 год — год ожесточенных боев между европейской коалицией и Французской революцией. Во Франции этот год был переломным: 9 термидора были свергнуты Робеспьер, Сен-Жюст и другие вожди якобинцев.

1624 год — но Вестфальскому миру лица и области, обладавшие свободой вероисповедания в 1624 г., сохраняли ее и впредь.

## КНИГА ВТОРАЯ

Предисловие ко второй, третьей и четвертой книгам

Стр. 141—147

Sub. litt. (лат.) — под литерами.

От А до Я — в оригинале «от А до Z» (Z — последняя буква латинского алфавита). В XVIII в. для удобства брошюровщиков печатные листы обозначались по порядку буквами алфавита.

До пасхальной ярмарки — в XVIII в. издание книг в Германии обычно приурочивалось к книжным ярмаркам (особенно знаменитой была весенняя лейпцигская ярмарка, куда съезжались книготорговцы со всей Германии и раскупали новые издания).

In сохроге, in шого (лат.) — все вместе, хором.

Республика ученых — в XVIII в. популярное название для немецкой науки и литературы: писатели и ученые образовывали как бы особое единое государство в раздробленной Германии.

Саннадаро (1458—1530) — итальянский поэт, действительно вознагражденный венецианским сенатором шестьюстами цехинами за шестистроичное стихотворение, превозносящее Венецию.

Юнга (1681—1765) — известный поэт и критик, подчеркивавший решающую роль гения в художественном творчестве. В его стихах преобладают сентиментальные, романтические мотивы: ночь, смерть и т. д. На эти особенности Юнга и намекают слова Жан-Поля.

Eau de vie (франц.) — водка (буквально: живая вода).

Летят на виноградные кисти — сообщают, что греческий художник Зевксис нарисовал однажды юношу, державшего кисть винограда, и когда к последней подлетела птица, сказал, что виноград нарисован лучше, чем юноша: будь его изображение столь же совершенным, птица побоялась бы приблизиться.

Сравнены с землей — могилы гернгутеров (см. прим. к гл. II), лишены всяких украшений и памятников.

Вестминстер — старинное Вестминстерское аббатство в Лондоне служило местом погребения великих людей.

Титан — см. прим. к гл. I.

## Пятая глава

Стр. 148—179

Церковные споры — в подлиннике *Nuntiaturstreitigkeiten*: споры об институте нунциев; очевидно Жан-Поль имеет здесь в виду закон австрийского императора Иосифа II об уничтожении судебной власти в церковных делах, которой пользовались папские послы — нунции (1785), а также последовавшие затем переговоры.

Морфей (из греческой мифологии) — бог сна.

*Cours de morale* (франц.) — курс морали; курс этики.

*Collegium pietatis* (лат.) — так назывались благочестивые сентиментальные проповеди на библейские темы, которые с конца XVII в. были популярны в Германии.

Княжеский союз — в подлиннике «*Der Fürstenbund*». Так назывался основанный в 1785 г. союз Пруссии, Ганновера и Саксонии, направленный против императора Иосифа II.

«Избранные места...» — указанная сатира «Дворянин...» действительно содержится в «Избранных местах из бумаг дьявола», т. IV, стр. 42. Она направлена против дворянства в защиту нищих, обраемых крестьян. Все остальные сатиры Зибенкэза, о которых упоминается в романе, также содержатся в «Избранных местах».

А в особенности моей чернильницей я надеюсь удержать... Зибенкэз намекает на свои писания, которыми он надеется кое-что заработать, и в то же время на известный анекдот о Лютере, гласящий, что он бросил чернильницей в чорта, пытавшегося его соблазнить.

Каждый мой утренний час действительно дарит золотом нас — перефразированная известная немецкая народная пословица: *Morgenstunde hat Gold im Munde*.

В Швабских, саксонских и померанских землях... В Швабии и особенно в Саксонии действительно издавались ведущие литературные журналы. Под Померанией, вероятно, подразумевается вообще Пруссия.

Перед всеми честными швабами напрямик заявляют, что я-де осел — особый комический оттенок приобретает это место потому, что сами швабы в немецком фольклоре известны своей глупостью.

Мартинов день — характерно, что святой Мартин считается патроном нищих.

*In patria* (лат.) — в естественном виде.

*Chevalier d'honneur* (франц.) — палладин.

Герцог Христиан Брауншвейгский — здесь имеется в виду брауншвейгский герцог Христиан младший (1599—1626), который в начале тридцатилетней войны перелил в деньги монастыр-

ское серебро. Дата, приведенная Жан-Полем, ошибочна, — она явилась, вероятно, результатом описки, и вместо 62 следует читать 26.

Гуго из Сан-Коро — французский кардинал, умер в 1263 г. Им было произведено разделение Библии на главы.

Легенды — легендой называется надпись на ободке монеты. В оригинале у Жан-Поля точно такая же игра слов.

Словарь Рейнгольда к «Леване» Жан-Поля. В 1808 г. Р. Рейнгольд издал первый (и единственный) том словаря к произведениям Жан-Поля, в частности к его педагогическому трактату «Левана», написанному в 1806 г.

Басовые педали... тридцатидвухфутовый регистр... Жан-Поль имеет в виду орган, — его самые большие трубы достигают длины тридцати двух футов.

Исавова трапеза (из библейской легенды) — блюдо чечевицы, за которое Исав продал свое первородство. Здесь символ вредной пищи, вообще незначительного, но очень дорого обходящегося удовольствия.

Кроме листа Е, где я описываю вознесение справедливости на небеса — один из эпизодов из «Избранных мест».

Триумфы Александра — оратория Генделя, написана в 1736 г.

Шэфтсбюриев пробный камень истины. Шэфтсбюри (1671—1713) — английский философ и моралист.

Насмешка — в подлиннике *das Lächerliche* (смехотворное).

*Interim* (лат.) — временное разрешение императором того или иного религиозного вопроса в эпоху Реформации.

Клешни рака для Геркулеса в его борьбе с гидрой (из греческой мифологии) — когда Геракл боролся с Лернейской гидрой, на него напал гигантский рак.

Корреджио (1494—1534) — знаменитый итальянский художник. Его картина «Ночь» находится в Дрезденском музее.

Плиний младший (61—113) — римский ученый, сын Плиния старшего, историка.

Лампа Эпиктета. Об Эпиктете см. прим. к стр. 27. После его смерти лампа, при свете которой он работал, была продана за баснословные деньги.

*Entre chien et loup* (франц.) — в сумерках.

Вестфальский договор — мирный договор, которым в 1648 г. закончилась тридцатилетняя война.

Пенна — домашняя богиня в римской мифологии. Впоследствии считалась богиней бедности.

Ларарии — ларец, в котором хранились изображения домашних богов, ларов, в древнем Риме.

*Refugies* — так назывались протестанты, в 1685 г. бежавшие из Франции после отмены Нантского эдикта о веротерпимости.

*Magister legens* (лат.) — учитель чтения: бродячий лектор.

Колесо Иксиона (из греческой мифологии) — король лапифов Иксион за оскорбление Геры распластан в Тартаре на быстро вращающемся колесе, причиняющем ему ужасные муки.

Бедные Сизифы (из греческой мифологии). Знаменитый

своей хитростью Сизиф в Тартаре осужден вкатывать тяжелый камень на высокую гору. Когда камень достигает вершины, он срывается и падает обратно. Поэтому выражение «сизифов труд» стало обозначать беспечную работу.

Lessingii... (лат.) — Эмилия Галотти) Лессинга.

Пиндар — знаменитый древнегреческий поэт, особенно известен его оды.

Карданус (1501—1576) — итальянский ученый.

Ариаднина нить (из греческой мифологии). Дочь Критского короля Миноса, Ариадна, спасает Тезея, отправившегося на борьбу с чудовищем минотавром; чудовище живет в лабиринте, из которого невозможно выбраться, но Ариадна дает Тезею клубок ниток и с помощью размотанной нити Тезей, убив минотавра, находит дорогу из лабиринта.

## Шестая глава

Стр. 179—198

Ведро Данаид (из греческой мифологии). Данаиды — пятьдесят девушек из Аргоса, убившие своих мужей, осуждены в Тартаре вечно черпать воду в сосуд, дно которого продырявлено.

Пактол — река в Малой Азии, славившаяся прежде своей золотосностью.

Sermo academicus... (лат.) — академическая речь о положении гражданина врача в государстве и об обязанностях, проистекающих из предписаний закона: автор — Фрелих (1785).

Saladière и saucière (франц.) — салатник и соусница.

Лихтенберг (1742—1799) — ученый и писатель, принимал ближайшее участие в издании популярного журнала «Геттингенского карманного календаря», ср. стр. XXVII.

Сходство (в оде) между Горацием и Рамлером. Гораций (см. прим. к гл. I), знаменитый римский поэт, оказал большое влияние на второстепенного, но непомерно всхваляемого немецкого поэта Рамлера (1725—1798). Указание Жан-Поля на «сходство» между ними имеет подчеркнуто иронический оттенок.

Клопшток — см. прим. к стр. 11.

Лессинг — см. прим. к стр. 7.

Апсога (итал.) — еще раз! бис!

Bis (итал.) — бис.

Автор книги «О браке» — Гиппель (1741—1796), сатирик и романист, оказавший большое влияние на Жан-Поля, ср. стр. XXVIII.

Якоби (1743—1819) — писатель и моралист-философ, к которому Жан-Поль был очень близок.

Пифагорейское учение — последователи древнегреческого философа Пифагора проповедывали молчание.

Флогистон — вещество, являвшееся, по мнению тогдашней химии, носителем огня и причиной горения. Существование флогистона было опровергнуто наукой.

Раппе — третий нюхательный табак.

Peine fort et dure (франц.) — сильное и долгое мучение (термин из старинного английского уголовного права).

Н о я б р и з и р у е т — делает мрачным, приводит в осеннее настроение. Образовано по примеру «сентябризовать» (см. стр. 88).  
О т а и т и — острова в Тихом океане, служившие символом счастливого райского существования людей.

## Продолжение и окончание шестой главы

Стр. 198—215

С т а р и к К а т о н — см. прим. к стр. 332.

Р а e f i c a (лат.) — плакальщицы по покойникам в древнем Риме.  
Ч е р н а я ш л я п а — парадным цветом был черный.

И з г н а н н ы е и з Л е н е т т и н о г о З а л ь д б у р г а — сопоставление заклада вещей с изгнанием протестантов из Зальдбурга, произошедшим в 1731—1732 г.

Н о н п e u r s (франц.) — почетные обязанности.

Ш м а л ь к а л ь д е н с к и е с т а т ь и — в городе Шмалькальдене в 1537 г. Лютер представил съезду протестантов ряд пунктов с изложением его учения. Там же в 1531 г. был подписан договор о союзе протестантских государств. Кроме того Шмалькальден известен своей железоделательной промышленностью, что и служит Жан-Полю основанием для дальнейшей игры слов.

Г е н р и х П т и ц е л о в (876—936) — германский король.

V o l i è g e (франц.) — загородок для птиц.

В ч е м е м у у с т у п а е т И с п а н и я. Испания вела по преимуществу импортную торговлю.

В с в о й т о р ж е с т в е н н ы й д е н ь в о Ф р а н к ф у р т е. Во Франкфурте происходила коронация германских императоров. По церемониалу коронации император должен был облачаться в старинные платье Карла Великого.

Р а б л е (1495—1553) — знаменитый французский сатирик-гуманист, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюель».

Л ю д и с ч е р н ы м п я т н о м н а л б у. В третьей части «Путешествий Гулливера» Свифта изображены люди, рождавшиеся с черным пятном на лбу и обладавшие бессмертием. Однако это бессмертие являлось для них величайшим несчастьем, так как они постепенно лишались разума и начинали вести бессмысленное, жалкое существование.

С и м о н и д (556—468 до н. э.) — греческий поэт.

И е р е м и а д ы (библ.) — клеймящие, обвинительные речи.

И о в и а д ы (библ.) — сетования.

## Седьмая глава

Стр. 215—247

Ч е т ы р е а л ф а в и т а — м. прим. к стр. 141.

С о х р а н и в л и ш ь к р ы л ь я и ш а р. Богиня счастья в римской мифологии, Фортуна, изображалась иногда стоящей на шаре (символ неустойчивости).

О р е с т (из греческой мифологии) — сын Агамемнона; мстя за смерть отца, убил свою мать Клитемнестру; преследуемый эринниями, ски-

тался по свету, сопровождаемый своим верным другом Пиладом. Орест и Пилад стали олицетворением дружбы. Характерно, что Жан-Поль сопоставляет Зибенкэза с прославившимся своими мучениями Орестом.

Капуцинский генерал (точнее: генеральный викарий) — высший сан монашеского ордена капуцинов.

Аугсбургцы. Составленное в 1530 г. аугсбургское исповедание веры является основой евангелической церкви в Германии. Поэтотому аугсбургцы — протестанты.

Аркебузирова н и е — расстрел (аркебуза — одна из старинных разновидностей ружья).

И п e f f i g e (лат.) — в изображении.

Фискал — прокурор, которому были подведомственны государственные доходы.

Генерал-суперинтендент — см. прим. к стр. 16.

Пейшва — так назывались государи мараттов, одного из индийских племен.

Карлсбадцы. Карлсбад и по настоящее время является одним из известнейших курортов. Расположен в Чехии.

Эйлеровский прыжок коня. Знаменитый математик Эйлер (1707—1783) написал между прочим трактат о шахматах и придумал знаменитую шахматную задачу с ходом коня.

Наполненные Louis XVI догами. Существовала французская золотая монета луидор (буквально означает — золотой Людовика). Жан-Поль с юмористической целью разрывает это сложное слово и указывает на «порядковый номер» Людовика. При этом он (сознательно или бессознательно) путает: Расин жил при Людовике XIV.

Речь Посполитая — Польша. В 1795 г. совершился третий раздел Польши, после которого она перестала существовать.

Беллармин (1542—1621) — видный католический теолог.

Подобно парламентскому охвосту. Охвостом называли остатки левых партий в английском парламенте после Кромвеля.

Сенека — римский ученый, стоик.

Шэмгамфораш — одно из имен еврейского бога.

Diminuendo (итал.) — постепенно затихая.

Фэспид — полумифический основатель греческого театра.

Эсхил... Софокл — величайшие трагики древней Греции.

Галлиен — римский император в 259—268 гг.

Хассфуртский локоть. Хассфурт — город в Баварии.

Гиппокрена (из греческой мифологии) — источник, посвященный богу поэзии Аполлону.

Шнейдеровская оболочка — слизистая оболочка носа (названа так по имени открывшего ее врача К. В. Шнейдера).

Салические законы — законы салических франков (одного из франкских племен), записанные в V в.

Мейнерс (1747—1810) — историк.

Замок св. Ангела — замок в Риме, долгое время служивший тюрьмой.

Шпандауская крепость — прусская крепость, служившая также местом заточения.

Короны... даже из ртути — намек на сифилис, от которого лечили ртутью.

*Spiritus nitri* (лат.) — селитренный спирт.

Вильом — немецкий пастор и педагог.

В институте Кампе — см. прим. к стр. 19.

Указная мера — рост, требующийся для службы в армии.

*Mores* (лат.) — нравы.

Равноправие религий... Ряд договоров определял соотношение и создавал известное равновесие между различными религиями в Германии, между тем как в отношении политическом Германия представляла картину полного разброда.

## Восьмая глава

Стр. 247—263

*Louis d'or* — французская золотая монета, имела широкое распространение по всей Европе (поэтому Жан-Поль пишет о ней «наша»).

Война мышей и лягушек — древнегреческий комический эпос, приписывавшийся Гомеру.

Как некий библейский пророк — по библейской легенде, евреи в одном сражении с амалекитянами побеждали все время, пока Моисей держал свои руки поднятыми.

Иродова кровавая баня — по евангельскому преданию, иудейский царь Ирод приказал умертвить всех еврейских младенцев.

Гомеровская или каролингская принцесса. Изображенные Гомером царевны жили еще чрезвычайно простой жизнью, труд считался естественной и необходимой вещью. Под каролингской принцессой, вероятно, подразумевается дочь Карла Великого — Эмма, которая, по преданию, жила в нищете со своим возлюбленным Эгинхардом.

*Fraticellozum Zeghardorum* (лат.) — братцев бегардов (бегарды — название одного из монашеских орденов).

Лизимах — один из спутников Александра Македонского в его походах.

Шеллер (1735—1803) — латинист, занимался методикой преподавания древних латинских авторов.

## КНИГА ТРЕТЬЯ

### Девятая глава

Стр. 267—306

Картофельные войны — картофельной войной называется бескровная война за баварское наследство между Австрией и Пруссией (1778—1779).

Academie Royale de Musique (франц.) — королевская музыкальная академия.

Гейдельбергский... — в Гейдельберге находится один из известнейших немецких университетов.

Voilage pittoresque (франц.) — путешествие по живописной местности.

Ликург — спартанский законодатель, положивший основание спартанской умеренности, неприхотливости и закаленности. Презрение к удобствам жизни сближает его со стоиками, что и подчеркивает Жан-Поль, называя его рядом с Эпиктетом.

Алкандр — существует предание, что недовольный законами Ликурга юноша Алкандр выбил ему глаз. Но Ликург, вместо того, чтобы отомстить ему, сделал его своим слугой и, обращаясь с ним дружелюбно, добился его любви и уважения.

Рабби Акива — еврейский законоучитель и проповедник I—II вв. н. э.

Ирландская туча — в Германии XVIII в. существовало представление об Ирландии как о стране романтической и сумрачной, богатой грозами.

Затопить... словно голландскую крепость. Защищая свою страну, голландцы неоднократно открывали свои плотины и преграждали водой путь врагам.

Янус — см. прим. к стр. 127.

Картезий — Декарт. См. прим. к стр. 12.

Аббат Галиани (1728—1787) — ученый и политик.

Базедов (1723—1790) — врач, моралист и педагог. Один из основателей новых учебных заведений, филантропинов.

D'Illes Бурман и Рейске — в XVII и XVIII вв. голландское семейство Бурман отличалось высокой культурой. Рейске, жена филолога И. И. Рейске, была действительно чрезвычайно ученой женщиной.

Dictata — записи, предписания.

Готтский герб — герб бывшего княжества Заксен-Гота.

Саре (франц.) — берегись.

Magister legens (лат.) — см. прим. к стр. 176.

Еще до континентальной блокады. Континентальная блокада началась в 1806 г. и продолжалась до разгрома Наполеона в 1814 г. Она была направлена против английской торговли, но в виду английского господства на море свелась к почти полному прекращению ввоза колониальных товаров, в частности кофе, что повело к значительному повышению цены на него.

Шареау бас (франц.) — сняв шляпу.

Индоссированный — снабженный передаточной надписью.

Vis-à-vis (франц.) — друг против друга.

Иосиф Горани — известный в XVIII в. государствовед.

Кришна — индийское божество.

Меркель — незначительный писатель и критик, один из литературных врагов Жан-Поля.

Praemissa... (лат.) — введение в историю байрейтских генерал-суперинтендентов, продолжение двадцатое.

**Index exurgondogum** (лат.) — перечень книг, подлежащих «очищению», то есть изъятию мест, запрещенных католической церковью.

**Тимур** (1336—1405) — глава монгольских племен, завоевавший большую часть Азии и Восточной Европы.

**Жижка** — один из предводителей революционного крестьянского движения в Чехии (XV в.). После его смерти его кожа была натянута на барабан.

**Туфля Казема** — сапожник Казем, один из персонажей «Тысячи и одной ночи», обладает туфлями, которые приносят ему несчастье.

**Император Адриан** (76—138) — римский император.

**Вифездская купель** — пруд в Иерусалиме. По евангельской легенде, в этом пруду «ангел возмущает воды».

**Минерва** (из римской мифологии) — богиня мудрости, рас-судка. «Шлем Минервы» означает здесь защиту от жизненных неприятностей мудрым отношением к жизни.

**Неккер** (1732—1804) — финансист и политический деятель. Стоял в оппозиции к Людовику XVI, был популярен в народе и послужил одним из косвенных подготовителей революции, но вскоре перешел к реакции.

**Ришелье** (1585—1642) — министр Людовика XIII; долгое время был фактическим властителем Франции. Один из виднейших деятелей укрепления абсолютизма во Франции.

**Aut, aut** (лат.) — или — или.

**Аркадия** — пастушеская страна в древней Греции; стала символом идиллического, патриархального существования.

## Десятая глава

Стр. 307—328

Кто в 1785 году проживал в Лейпциге... — Немецкий сентиментализм получает широкое распространение с начала семидесятых годов, но своего апогея он действительно достигает уже в восьмидесятых годах.

**Sades** (лат.) — понос.

**Эуфон** — изобретенный в 1790 г. музыкальный инструмент.

«К самому себе» императора Антонина — основное философское сочинение Марка-Аврелия; см. прим. к стр. 27.

«Эпиктет» Арриана — греческому историку и философу Арриану (II в. н. э.) принадлежит жизнеописание Эпиктета.

**Патмос** — остров в Эгейском море. По евангельскому преданию сюда был изгнан евангелист Иоанн.

**Depositum** (лат.) — судебный депозит.

**Poste aux ânes** (франц.) — ослиная почта, то есть почта, транспортируемая на осликах. У Жан-Поля здесь явная игра слов: подчеркивается комизм поведения супругов.

**Морери** (1643—1680) — теолог.

**Локк** (1632—1704) — английский философ-сенсуалист.

Вадури — городок под таким именем существует в Лихтенштейне, но Жан-Поль имеет в виду не его, а некую условную местность.

Белларми — см. прим. к стр. 224.

Девятый курфюрст — в Германии было восемь курфюрстов, то есть князей, участвовавших в избрании императора.

Рюйш (1638—1731) — анатом.

Dictionnaire... — энциклопедия чудес природы.

Одна египетская царица. По преданию, одна гетера (впоследствии жена Фараона Псамметиха) на добытые ею деньги построила высокую пирамиду.

Св. Ромуальд — салернский епископ с 1121 по 1138 г.

Петро Бембо — знаменитый итальянский ученый XVI в.

Корнелиус Агриппа (1486—1535) — знаменитый врач, алхимик и философ.

Нодэ — см. прим. к стр. 7.

Манна св. Николая — см. прим. к «Окончанию предисловия и первого тома», стр. 551.

Павел Ковиус (1483—1552) — историк, писавший о Корнелиусе.

Portentosum ingenium (лат.) — выдающийся гений.

Clarissima sui saeculi lumina (лат.) — ярчайшие светила своего века.

«История Реформации» — десятитомная история Реформации Шрекка, вышла в начале XIX в.

Эразм — см. прим. к стр. 19.

Меланхтон (1497—1560) — один из знаменитейших ученых своего времени. Знаток классических языков и еврейского языка. Подверг текстологической критике священные книги христианской религии.

Капелланус (1595—1674) — историк. Время его жизни не совпадает со временем жизни Корнелиуса. Возможно, что Жан-Поль допустил такой анахронизм сознательно. Он особенно уместен в устах Лейбгера, с его алогизмом, гротеском, вообще «юмором» в романтическом смысле этого слова (см. стр. XLIV).

Авессалом и его отец (библ.). Авессалом был сыном царя Давида, отличался красотой и мужеством. Лейбгер дает здесь сугубо гротескное перечисление «замечательных» людей, в котором действительно великие люди, например «оба Катона», перемешаны с мифологическими персонажами, подчас присбренными даже комическую окраску. Яркий образчик лейбгерберовского юмора, в котором серьезное сливается со смешным.

Оба Катона. Катон старший (234—149 до н. э.), римский государственный деятель и полководец, отличался твердостью и прямолинейностью характера, боролся против роскоши и разврата. Катон младший, правнук предыдущего.

Оба Антонина. Антонин-Пий (86—161), римский император, отличавшийся справедливостью и милосердием, и Антонин-Марк-Аврелий (см. прим. к стр. 27).

Семьдесят толковников — существует предание, что в 200 г. до н. э. семьдесят два ученых еврея перевели Библию на греческий язык, причем их переводы чудесным образом совпали друг с другом.

Таубманн — известный своими шутовскими выходками профессор изящных искусств в Виттенберге.

Эйленшпигель — герой немецкого комического фольклора.

Генрих IV (1553—1610) — французский король.

Бэйль (1647—1706) — знаменитый французский ученый. Составил между прочим биографический словарь ученых.

Нинон — Нинон де Ланкло (1616—1706), куртизанка, отличавшаяся умом и остроумием. До глубокой старости собирала в своем салоне поэтов и ученых.

Je ne sais quoi (франц.) — неизвестно чем.

Бушготтентоты — слияние двух слов: бушмены и готтентоты; так называются две африканские народности, стоящие на крайне низком уровне развития.

Дома посвященных — дома, в которых обитают иезуиты, обладающие высоким саном и посвященные во все орденские таинства.

Нюрнбергские безделушки. Нюрнберг был знаменит производством детских игрушек.

Содомское яблоко. Яблоки, растущие в окрестностях Мертвого моря (образовавшегося, по библейской легенде, на месте городов Содомы и Гоморры, униженных за грехи), во время засухи бывают полны трухи и пыли.

Aqua toffana — медленно действующий яд.

Inclus. (лат.) — включительно.

## Двенадцатая глава

Стр. 340—372

Allegro (итал.) — быстро.

Франкировать — оплачивать (употребляется по отношению к почтовым отправлением).

Ковентгарден — театр в Лондоне.

Гэйевские «Оперы нищих». Реалист и сатирик Гэй (1688—1732) написал в 1727 г. «Оперу нищих».

Бесконечная мать — природа.

Картезианская келья — монахи-картезианцы должны были вести очень аскетическую жизнь, в частности жить в темных и маленьких камерах.

Аристотелевские завязки трагедии. В своей «Поэтике» Аристотель определил принципы строения трагедии, которые пользовались огромным влиянием и в новые времена. Восприятие жизни как театра имеет параллель в том же «Зибенкэзе» (ср. стр. 255, где бедняки «разыгрывают пьесу Шекспира»).

*Pays coutumier* (франц.) — местность, управляемая по собственным обычаям.

*Pays de droit écrit* (франц.) — местность, управляемая по римскому праву (буквально: по писанному праву).

*Фантазия* — такой парк действительно находится в окрестностях Байрейта.

*Зейфесдорф* — долина около Дрездена.

*Капуя* — город в южной Италии, перешедший на сторону Ганнибала во Второй пунической войне. По мнению многих историков, долгая остановка Ганнибала в Капуе послужила конечной причиной неудачи его итальянского похода.

*Гласкорд* — музыкальный инструмент XVIII в., стеклянная гармоника.

*Nouvelle du jour* (франц.) — новости дня.

*De la nuit* (франц.) — ночи (родительный падеж единственного числа).

*Эрмитаж* — такой парк в Байрейте действительно имеется.

*Собьешь голову*, словно со стебля мака. По преданию, Тарквиний Гордый, желая захватить власть в Риме, спросил совета у одного мудреца. Тот, ничего не ответив, взял палку и стал сбивать наиболее высоко выросшие головки маков. Тарквиний по своему возвращении приказал убить виднейших римлян.

*Три духовных курфюрста*. Духовные князья, будучи католическими священниками, не могли вступать в брак, так что были лишены прямых наследников.

*Император Священной Римской империи*. Император выбирался курфюрстами, так что при жизни он формально не мог иметь прямого наследника в лице своего сына.

*Generatio aequivoca* (лат.) — зарождение живого существа (из неживого), вызывающее сомнения.

*Lusus naturae* (лат.) — игра природы.

*Гелиогабал* — римский император (царствовал в 218—222 гг.).

*Древнееврейский гласный знак*. В древнееврейском алфавите обозначение гласных звуков отсутствует. Лейбгебер хочет сказать, что ломотки будут равны нулю.

*Исавова рука*. Исава, один из библейских персонажей, обладал волосатыми руками и грубым голосом. Когда его брат, Иаков, хотел под видом Исава просить благословения у их слепого отца Исаака, то прикрыл свои руки козьей шкурой, но не смог изменить своего нежного голоса.

*Голос Иакова* — ср. вышеизложенную библейскую легенду.

*Леди Крэвен* — любовница, затем жена маркграфа Ансбахского; выступала в литературе.

*Гермесовские убеждения*. Гермес (1738—1821), пастор и писатель, в своих романах проповедывал соблюдение даже самых внешних и условных требований филистерской морали. В своем романе «Путешествие Софии из Мемеля в Саксонию» Гермес из теологических соображений высказывается за нерасторжимость брака.

Друг Гейн — это название для смерти ввел в семидесятых годах немецкий писатель Маттиас Клаудиус, изображавший смерть веселым собутыльником

Joujou de Normandie (франц.) — нормандская игрушка (очевидно воздушный шарик).

Com spe succedendi (лат.) — с надеждой на заместителя.

Gracioso (исп.) — комический актер.

Lingua franca (лат.) — составленное из слов различных (преимущественно романских) языков арго, употребляемое на ближнем востоке (левантийский жаргон).

Протей (из греческой мифологии) — одно из морских божеств, служит символом для обозначения изменчивых, ускользающих людей.

Темпейская долина (в древней Греции) — посвященная Аполлону долина вблизи Олимпа.

Все бременские журналы для утехи рассудка и остроумия — известный журнал, издававшийся под подобным названием (буквально «Бременские взносы...» — Bremer Beiträge) с 1745 г. в Бремене Гертнером, Рабенером, Геллертом и др., стоял целиком на почве добропорядочной бюргерской морали (ср. стр. XVIII).

Фаросский маяк — высокая мраморная башня-маяк, построенная в древности на острове Фаросе. В XIV в. была разрушена.

Руст (1739—1796) — скрипач и композитор сентиментального направления.

## Тринадцатая глава

Стр. 372—384

Линней — см. прим. к стр. 7.

Шерау — главный город княжества Флаксенфинген в «Геспере». В произведениях Жан-Поля этот придуманный им город фигурирует неоднократно.

Орега buffa e seria (итал.) — трагикомическая опера.

Штольберговский Гомер. Поэт Л. Штольберг перевел «Илиаду».

Письменный идеал — Натали знала Мейерна прежде только по его письмам.

Sponsus (лат.) — нареченный.

A posteriori (лат.) — после, задним числом.

Буцентавр — корабль, на котором дож Венеции выезжал в море совершать торжественное обручение с Адриатическим морем. Буцентавр был украшен бычьей головой с рогами, — Жан-Поль намекает здесь на мужей-рогоносцев.

Бардтовский виноградник. Немецкий ученый теолог Бардт к концу своей жизни стал трактирщиком и виноградарем близ Галле. Характерно, что эта попытка «опрощения» образа жизни заинтересовала Жан-Поля.

Gorge de Paris (франц.) — фальшивая грудь.

Cull de Paris (франц.) турнюр.

## Четырнадцатая глава

Стр. 384—401

Содомское яблоко — см. прим. к стр. 334.

Маэстро (музыкальный термин) — торжественно.

Всеобщая немецкая библиотека — см. прим. к стр. 78.

Воклюзский источник — источник в Воклюзе, недалеко от Авиньона, прославлен сонетами Петрарки.

Ex voto (лат.) — принесенный в дар по обету.

Тристрам — знаменитый роман английского писателя Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди», 1759 г. (ср. стр. 111).

Антипаросская пещера. В Греции на одном из Цикладских островов, Антипаросе, есть знаменитая сталактитовая пещера.

Иорик — один из центральных персонажей «Тристрама» и герой «Сентиментального путешествия» Стерна, отличающийся своей сентиментальностью. Эпизод с «бедной Марией» принадлежит к числу наиболее сентиментальных эпизодов «Тристрама».

Ogus pictus — см. прим. к стр. 118.

Пристрастие к... британцам и британкам. К Британии был пристрастен и сам Жан-Поль. Для бюргерской идеологии XVIII в. вообще характерна ориентация на Англию.

Франкфуртские коронационные одеяния — см. прим. к стр. 43.

Франклиново острее. Знаменитый американский писатель и политический деятель Франклин (1706—1790) сделал важные открытия в области атмосферного электричества, изобрел громоотвод.

Нанкинская фарфоровая башня — высокая древняя башня из фарфора в Нанкине (разрушена в 1864 г.).

## ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА

### Пятнадцатая глава

Стр. 405—423

Арпеджирование (музыкальный термин) — взятие аккорда не одновременное, как на рояли, а складывающееся из последовательно звучащих тонов, как на арфе.

Diminuendo (итал.) — см. прим. к стр. 20.

Globus hystericus (лат.) — спазмы в горле у истериков (глочный шар).

Instanter, instantius, instantissime (лат.) — степени сравнения наречия «настоятельно».

Элоиза Абельяра — знаменитый средневековый ученый Абельяр (1079—1142) встретился в Париже с семнадцатилетней Элоизой. Их любовь, сначала счастливая, затем вовлекшая их в несчастье, нашла свое отражение в их письмах, своеобразном романе.

Сен-Пре — герой романа Руссо «Новая Элоиза».

Лаура поэта. Петрарка воспевал свою возлюбленную под именем Лауры.

Лотта Вертера — возлюбленная героя в романе Гете «Страдания молодого Вертера».

Тетракорд — четырехструнный музыкальный инструмент, а также аккорд из четырех тонов.

Бриарей (из греческой мифологии) — обитающий на дне моря сторукий великан.

Magum verum (лат.) — кошачья мята.

Охотничья регалия... — привилегия на охоту.

Заживо приковывают — в средние века такое наказание за браконьерство действительно существовало. Приковывали к рогам оленя или лося.

Исократ (436—338 до н. э.) — афинский ученый и политик. В своем «Панегрике» трактовал о заслугах афинян перед всеми эллинами, дающих право Афинам претендовать на гегемонию в Греции.

Темнейшая долина — см. прим. к стр. 367.

Эрмитаж — основное значение этого заимствованного из французского языка слова: обитель отшельника.

Моисеево покрывало. По библейской легенде, Моисей, после того как он получил скрижали законов на Синае, должен был закрывать свое лицо покрывалом, когда он говорил с другими людьми, так как его лицо было слишком лучезарным.

Кранмер — один из деятелей реформации в Англии. Сожжен в 1556 г.

Геркуланум и Портичи. Жан-Поль имеет в виду города, засыпанные извержением Везувия. Однако Портичи засыпан не был (он находится над Геркуланумом). Жан-Поль, вероятно, думал о Помпее, в которой в XVIII в. действительно прожвонились раскопки.

Memento mori (лат.) — помни о смерти.

Lit de justice — торжественный суд.

Кванц — известный флейтист XVIII в.

Al pari (итал.) — по паритету (финансовый термин).

Перипатетический — здесь в значении «гуляющий, прогуливающийся» (перипатетики — философские последователи Аристотеля, назывались так по месту своих собраний, большому саду).

Избирательные капитуляции — условия, которые курфюрсты ставят избираемому императору.

Гравюры Хоггарта. Хоггарт (1697—1764), морально-сатирический английский художник. Мастер гротеска.

Ван-дейковские головы. Знаменитый художник голландской школы Антони Ван-Дейк (1599—1641) особенно прославился своими портретами, характеризующимися между прочим мягкостью колорита и округленностью контуров.

Гиппоцентавр — мифологическое существо, соединение человека с лошастью.

Оноцентавр — мифологическое существо, соединение человека с ослом.

Вольф (1759—1824) — знаменитый филолог, выдвинул теорию о происхождении гомеровских поэм из отдельных песен.

Пюттер (1775—1807) — геттингенский историк права.

Circulating schools (англ.) — странствующие школы.

**Нить Ариадны** — ср. прим. к стр. 179.

**Пинд** — см. прим. к стр. 117.

**Дельфийское...** — подразумевается дельфийский оракул.

**Антоний Падуанский** — святой католической церкви.  
Существует легенда, что рыбы приплывали слушать его проповеди.

## Шестнадцатая глава

Стр. 423—429

**Mon heros** (франц.: мое отдохновение) — княжеский дворец у Нейвида на Рейне.

**Sans-souci** (франц.: без забот) — прусский королевский дворец (расположен в провинции Бранденбург, которая некогда именовалась также Маркой).

**Мышинная башня** — башня на Рейне, в которой, по преданию, мыши загрызли скупого епископа Гаттона. Это предание легло в основу известной баллады В. Скотта, переведенной на русский язык Жуковским.

## Семнадцатая глава

Стр. 429—434

**Отити** — см. прим. к стр. 196.

**Эльдорадо** — сказочная, баснословно богатая страна в Америке.

**Валгалла** — рай в германской мифологии.

**Фея роз** — в оригинале «Rosenmädchen», соответствует французской *gosiègre* — девушке, увенчанной розами за добродетель.

**Минотавр** — см. прим. к стр. 179.

**Интонации...** у китайцев. В китайском языке существуют четыре тона для произнесения слова, в зависимости от которых одно и то же звуко сочетание может приобрести разные значения.

**Ганнибал** — см. прим. к стр. 76.

**Фордайс** — английский врач и химик.

**Partie carrée** (франц.) — комбинация из ломберной игры.

## Восемнадцатая глава

Стр. 434—442

**Dato** (лат.) — по настоящее время.

**Орега buffe regia** (итал.) — см. прим. к стр. 374.

**Гота. В Готе** издавался «Имперский Вестник»; издателем был Беккер.

**Грации в сатирах.** Жан-Поль разворачивает образ, данный Платоном в «Пире»: Алкивиад сравнивает Сократа со статуями сатиров, в которых обитают боги.

**Ронгейзен** — один из изобретателей акушерских щипцов.

**Захария.** По библейской легенде, Захария, отец Иоанна-крестителя, оставался немым до тех пор, пока его сын не заговорил.

**Opera supererogationis** (лат.) — добрые дела, совершаемые сверх «обязательного минимума».

**Мариотт** (1620—1684) — известный французский математик и физик.

**Лафатер** (1741—1801) — писатель и проповедник, создатель полумистической науки физиономики.

**Viola d'amour** (франц.: буквально — скрипка любви) — скрипка с двенадцатью, затем с семью струнами.

Мое теперешнее местожительство. Второе издание «Зибенкэза» Жан-Поль подготавливал в Байрейте.

**Алкивиад** (451—404) — знаменитый афинский политик.

**Бергхем** (1620—1683) — голландский пейзажист.

**Вуверман** (1619—1668) — голландский живописец, особенно известен как баталист.

## Девятнадцатая глава

Стр. 442—455

**Архонт** — так назывались члены священной стражи в древнегреческих Фивах.

**Гамильтон** (1670—1754) — английский художник.

**Parvobele fratrum** (лат.) — два «славных» брата (заимствовано из «Сатир» Горация).

**Éducation** (франц.) — воспитание.

**Кампе** — см. прим. к стр. 19.

**Кольбе** — см. прим. к стр. 81.

**Французский вкус.** Парки во французском стиле были полны украшений, имели искусственную планировку, вообще были культивированы в отличие от английских парков, стремящихся подражать природе.

**Рука Исавова** — см. прим. к стр. 359.

**Volti subito** (лат.) — быстро переверни (пишется на нотных страницах).

**Summarissimum** (лат.) — итог (здесь может быть: ультиматум).

**Рагуза** — город в Далмации, в средние века самостоятельная аристократическая республика, во главе с ректором.

От крещения... В Германии XVIII в. книги издавались обычно к лейпцигской ярмарке, на которую съезжались книготорговцы со всей Германии. К следующей ярмарке издавались новые книги, и большинство прежних изданий забывалось.

**Сальвиан** — теолог, жил в V в.

**Microvestis** (лат.) — короткое платье.

**Macrovestis** (лат.) — длинное платье.

**Экзегетический** — истолковывающий (термин применялся к теологическим толкованиям священных книг).

Веселые сцены с могильщиками. В английском театре шуты и клоуны выступали сперва в образе могильщиков. Следы этого есть у Шекспира («Гамлет»), которого, вероятно, и имеет в виду Жан-Поль.

Ахиллесов щит — знаменитое описание изготовления щита Ахиллеса есть в «Илиаде» Гомера.

Аахенская ванна. Аахен — старинный город в рейнской области, обладает целебными источниками, которые содержат сероводород и поэтому пахнут тухлыми яйцами.

Катон младший — см. прим. к стр. 332.

Плутарх (50—120) — знаменитый греческий писатель, автор «Биографий героев».

Уэст (1738—1820) — английский исторический живописец и баталист.

Друг Гейн — см. прим. к стр. 364.

*Frère servant* (франц.) — послушник.

Мольер (1622—1673) — знаменитый французский драматург; играя в своей собственной комедии «Мнимый больной», почувствовал себя плохо и вскоре умер.

*Billet doux* (франц.) — любовная записка.

*Consilium... consilium... collegium medicum* (лат.) — медицинский консилиум... медицинский отзыв... управление здравоохранением.

*Apoplectico* (лат.) — парализованному ударом.

Галлер (1708—1777) — немецкий поэт и естествоиспытатель.

Торс в Риме — знаменитая статуя Геркулеса в Ватикане лишена головы и ног.

*Caput mortuum* (лат.) — мертвая голова.

*Corpus callosum* — отверстие в черепе, через которое спинной мозг соединяется с головным.

*Apus cerebri* — часть мозга.

Пляски смерти — популярные в XV—XVII вв. изображения бренности всего земного в образе хоровода скелетов. Базельские «пляски» принадлежат к самым ранним.

Гонфалоньер (итал.) — знаменосец; глава республики Сан-Марино.

Тацит (55—120) — римский историк, в его книге «О Германих» содержатся первые подробные сведения о германских племенах.

Сфрагистический — от слова «сфрагистика» (наука о печатях).

*Volti subito* — см. прим. к стр. 451.

*Citissime* — быстрейшим образом.

Из Байрейта в Гейдельберг. Во время второго издания «Зибенкэа» Жан-Поль жил в Байрейте. Печаталось второе издание в Гейдельберге.

*Frère terrible* (франц.) — масонский термин; так назывались масоны, подвергавшие страшным испытаниям вновь вступающих в орден.

*A la guerre* — см. прим. к стр. 108.

*Sedes* (лат.) — понос.

## Двадцать первая глава

Стр. 476—487

Плутарх в Нуме — см. прим. к стр. 457.

Горгоноподобные. Горгоны (из греческой мифологии) — ужасные чудовища; при виде головы медузы-горгоны человек окаменевал.

Геркулесовы, Иксионовы и Сизифовы работы (из греческой мифологии). На службе у Эвристея Геркулес выполнил двенадцать «работ» — героических подвигов (см. прим. к стр. 90 и 176).

Лафатер — см. прим. к стр. 437.

Зеноны. Зенон (IV—III вв. до н. э.) — один из основателей стоицизма. (Штифель относится к стоицизму отрицательно, считая его языческим.)

Протомедикус — старший врач.

Гипократово лицо — лицо человека, изменившееся после смерти.

*Саге* (лат.) — внимание!

*Caput tribus insanabile* (лат.) — голова, которую не могут излечить даже трое.

*Narcotica, drastica, emetica, diuretica* — одурманивающие, слабительные, рвотные, мочегонные средства.

Плодоносное общество — см. прим. к стр. 123.

*Defunctus* (лат.) — скончавшийся.

Белидор (1698—1761) — инженер и артиллерист.

Ослиная челюсть... По библейской легенде, Самсон победил филистимлян, будучи вооружен лишь ослиной челюстью.

Похищение локона Попа. Известному английскому поэту Попу (1688—1744) принадлежит комический эпос «Похищение локона», очень популярный и вызвавший ряд подражаний в Западной Европе XVIII в.

*Casa santa* — священный дом (католики называют так дом, в котором будто бы жила Мария, сохраняемый в Лоретто).

*Chambre gaunie* (франц.) — меблированная комната.

Гей — см. прим. к стр. 341.

Старый король прусский — в 1786 г. умер прусский король Фридрих II.

Франклин — см. прим. к стр. 392.

Гармония — здесь в значении музыкального инструмента, гармоника.

*Versio interlinearis* — подстрочный перевод.

Философия галльских энциклопедистов. Философия французских рационалистов и материалистов XVIII в. (о философских воззрениях Жан-Поля — см. стр. X сл., XLIV сл.).

## Двадцать вторая глава

Стр. 487—505

Трофониева пещера — пещера в Беотии (Греция), в которой делал предсказания оракул; обстановка была таинственной и устрашающей.

Бонис — см. прим. к стр. 45.

Лафатер — см. прим. к стр. 437.

Tête à tête (франц.) — с глазу на глаз.

Земной корабль глупцов. «Кораблем глупцов» называлась сатира видного немецкого сатирика эпохи Реформации Себастьяна Бранта.

Diabolus ex machina (лат.) — дьявол из машины, пародирование известного выражения «бог из машины», которое было взято из старинной театральной практики, где божество, разрешающее в конце спектакля все конфликты и сюжетные узлы, опускалось машиной сверху на сцену.

Геллерт (1719—1769) — популярнейший немецкий писатель середины XVIII в., сентименталист и моралист; считался мастером эпистолярной формы.

Клопшток — см. прим. к стр. 11.

En longue robe (франц.) — в длинном платье (его носили до XVI в. аристократы и духовенство).

En robe courte (франц.) — в коротком платье (его носили военные).

Грэбстрит — улица в Лондоне, на которой жило много литераторов.

Бюффон (1707—1788) — знаменитый французский естествоиспытатель.

Petits maisons (франц.) — дома для умалишенных (так же назывались публичные дома).

Пинд — см. прим. к стр. 117.

Пифагор (VI—V в. до н. э.) — один из первых греческих философов.

Карл V (1500—1558) — испанский король и германский император.

Франциск I (1515—1547) — французский король.

Бергхемовская марина — изображающая море картина Бергхема (см. прим. к стр. 441).

Мой милый Христиан — Жан-Поль обращается здесь к своему ближайшему другу, Христиану Отто. Такие личные обращения (к друзьям, к возлюбленной), как важный стиливый прием, ввел в литературу Стерн (см. прим. к стр. 111).

Два брата, спящие в церкви — друзья Жан-Поля, братья Ортель.

## Двадцать третья глава

Стр. 505—515

Милый хромой бес — намек на роман Лесажа (1668—1747) «Хромой бес».

Responsa prudentum (лат.) — мудрые решения (юридические).

In duplo (лат.) — в двойном количестве.

## Двадцать четвертая глава

Стр. 515—526

Параклет (греч.) — утешитель; одно из названий святого духа у христиан.

Перигелий — момент наибольшей близости к солнцу.

Замок св. Ангела — в Риме; служил долгое время тюрьмой.

Кольцо Гигеса — легендарное кольцо, делавшее невидимым.

Substituti sine spe succedendi (лат.) — заместителя, без надежды на преемство.

Systema assistentiae (лат.) — система служения.

Кампе — см. прим. к стр. 19.

Брейткопф — известная издательская фирма в Лейпциге. Издавала между прочим географические карты, пользовавшиеся большой популярностью.

Рафаэлев гобелен дружбы. По десяти наброскам Рафаэля были вытканы гобелены с различной тематикой.

## Двадцать пятая глава

Стр. 526—538

Криттер. В 1785 и 1794 гг. сенатор Криттер публиковал статьи, в которых доказывал неизбежное банкротство «Вдовьей кассы» и предсказывал его срок.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Роман Жан-Поля В. Г. Адмони . . . . .	V
Предисловие автора ко второму изданию . . . . .	1
Предисловие к первому изданию . . . . .	5

### КНИГА ПЕРВАЯ

Глава первая . . . . .	25
Глава вторая . . . . .	43
Приложение ко второй главе . . . . .	65
Глава третья . . . . .	71
Глава четвертая . . . . .	108
Окончание предисловия и первой части книги . . . . .	129

### КНИГА ВТОРАЯ

Предисловие ко второй, третьей и четвертой книгам	141
Глава пятая . . . . .	148
Глава шестая . . . . .	179
Экспромт о женских разговорах . . . . .	183
Экспромт об утешениях . . . . .	195
Продолжение и окончание шестой главы . . . . .	198
Глава седьмая . . . . .	215
Глава восьмая . . . . .	247

### КНИГА ТРЕТЬЯ

Глава девятая . . . . .	267
Глава десятая . . . . .	307
Глава одиннадцатая . . . . .	329
Глава двенадцатая . . . . .	340
Глава тринадцатая . . . . .	372
Глава четырнадцатая . . . . .	384

К Н И Г А Ч Е Т В Е Р Т А Я

Глава пятнадцатая . . . . .	403
Глава шестнадцатая . . . . .	423
Глава семнадцатая . . . . .	429
Глава восемнадцатая . . . . .	434
Глава девятнадцатая . . . . .	442
Глава двадцатая . . . . .	455
Глава двадцать первая . . . . .	476
Глава двадцать вторая . . . . .	487
Глава двадцать третья . . . . .	505
Глава двадцать четвертая . . . . .	515
Глава двадцать пятая и последняя . . . . .	526
Примечания . . . . .	541

*Переплет, титул и шмуцтитула  
С. Пожарского.*

Ответств. редактор *Т. Сильман.*  
Технич. редактор *С. Брусиловская.*  
Корректор *О. Волькенштейн.* Лен-  
гослитиздат № 997. Лениблгорлит  
№ 1896. Тираж 10 000. Сдано в на-  
бор 1/XI 1936 г. Подписано к пе-  
чати 7/IV 1937 г. Бум. 82×110<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Уч.-авт. л. 33,5. Печ. л. 40. Бум. л. 10.  
Тип. зн. на 1 бум. л. 137 088 Заказ  
№ 1076. Цена 6 р. 50 к. Переплет  
1 р. 25 к. Набрано и отпечатано во  
2-й типографии ОГИЗа РСФСР  
треста „Полиграфкнига“ „Печатный  
Двор“ им. А. М. Горького. Лени-  
град, Гатчинская, 26



О П Е Ч А Т К И

<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Надо</i>
48	12 ст.	Штутгартскую	Штутгартскую
35	14 »	своими	своими
105	19 ст.	Свидетелей	Свидетелей
123	6 ст.	жестокошерстной	жестокошерстной
213	13 ст.	озобляет	озобляет
335	12 ст.	подземный	подземный
380	13 »	открыть	открыть

Зак. 1076

7р. 75к.